Д·В·ГРИГОРОВИЧ

Сочинения

Д·В·ГРИГОРОВИЧ



Д·В·ГРИГОРОВИЧ

СОЧИНЕНИЯ

В трех томах



МОСКВА
«Художественная литература»
1988

Д·В·ГРИГОРОВИЧ

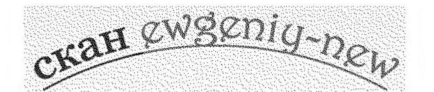
СОЧИНЕНИЯ
Том третий

КОРАБЛЬ «РЕТВИЗАН»

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ



МОСКВА
«Художественная литература»
1988



ББК 84Р1
Г83

Составление,
научная подготовка текстов
и комментарии
А. А. МАКАРОВА

Оформление художника
И. М. ГИРЕЛЬ

Григорович Д. В.

Г83 Сочинения. В 3-х т. Т. 3: Корабль «Ретвизан»; Переселенцы: Роман/Сост., научная подгот. текста и коммент. А. Макарова. – М.: Худож. лит., 1988. – с. 624.

ISBN 5-280-00064-7 (Т. 3)
ISBN 5-280-00061-2

В третий том Сочинений Д. В. Григоровича включен роман «Переселенцы» (1855–1856) и отрывки из путевых заметок о путешествии автора на корабле «Ретвизан» (1859–1863).

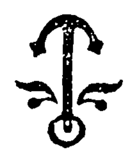
Г $\frac{4702010100-211}{028(01)-88}$ 3-88 **ББК 84Р1**

© Состав, комментарии, оформление. Издательство «Художественная литература», 1988 г.

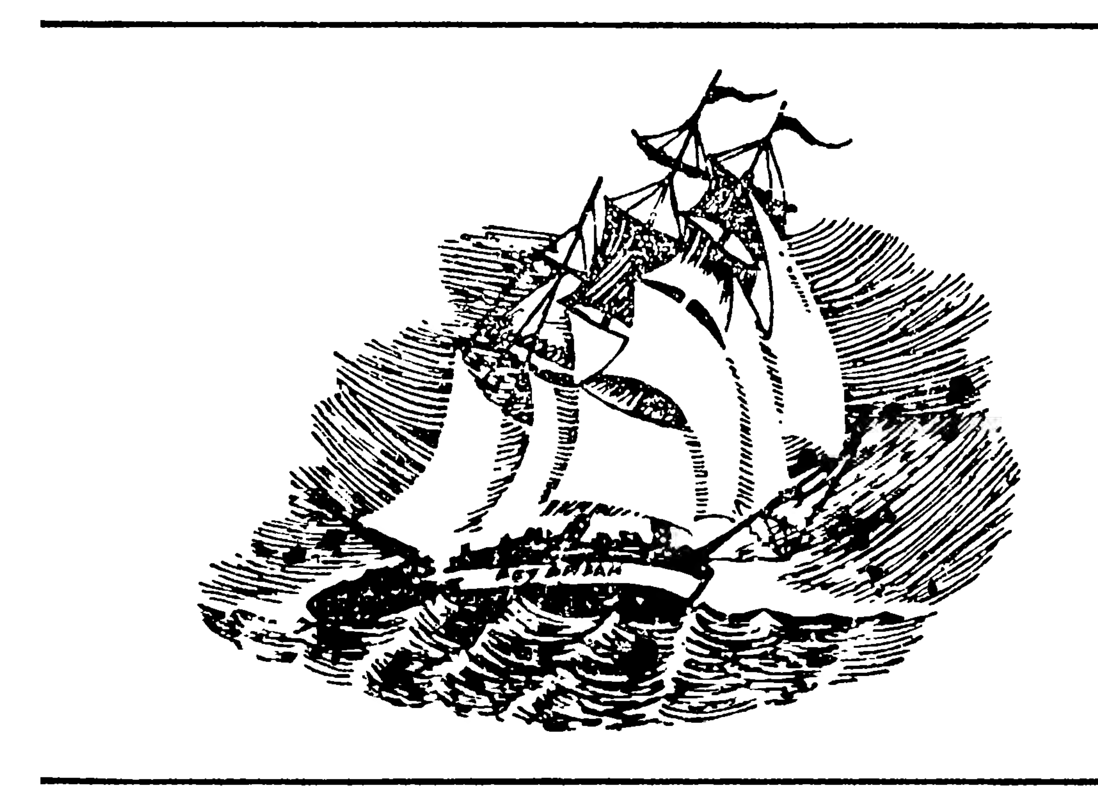


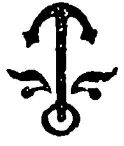
КОРАБЛЬ «РЕТВИЗАН»

Путевые заметки









КОРАБЛЬ «РЕТВИЗАН»

(Год в Европе и на европейских морях)

I

Что заставило автора переменить почву мирного сельского коноплянника на корабельную палубу. — Визиты. — Кронштадт. — «Ретвизан» и купеческая гавань. — Морская поговорка. — Винт с флюсом. — Поэтические мечты, вызванные созерцанием Кронштадта. — Таинственный подводный враг. — Док снова принимает «Ретвизан» в свои отеческие объятия. — На рейде. — Проводы. 〈...〉

В первых числах мая 1858 года автор этих похождений, столько же сухопутных, как вы увидите, сколько и мореходных, — смиренно проживал в одном из самых глухих, отдаленнейших уголков России, когда неожиданно получено было им письмо такого содержания:

«Корабль «Ретвизан» сымается с якоря пятнадцатого мая, с тем, чтобы отправиться на годичное плавание в Средиземное море. Предупреждаю: корабль уходит из Кронштадта 15 числа «наверное» (последнее слово было дважды подчеркнуто); примите же ваши меры и бога ради не опоздайте...»

Письмо было от одного из моих литературных товарищей.

Дня два спустя я сидел в вагоне железной дороги и стремительно летел в Петербург.

Но здесь читатель, заинтересованный не столько, конечно, личностью автора, сколько странностию новых отношений литературы к кораблям и экспедициям, скажет, вероятно: «С какой же стати литератору писать другому литератору о таком предмете? Корабль, сколько нам до сих пор известно, — сам по себе, — литератор также сам по себе; первый составляет неотъемлемую принадлежность морского министерства, второй, сколько известно, не принадлежит ника-

кому ведомству и министерству; связи между ними никогда не существовало; решительно нет ничего общего... Общее в том разве, что корабль строится из дуба, тогда как перо литератора добывается из гуся или выбивается из стали...»

Все это, прибавлю я с своей стороны,— как нельзя более справедливо.

Вот в чем дело, однако ж, и как все это случилось.

Месяцев за шесть до описываемых событий в доме одного литератора говорили о превосходных статьях г. Шестакова в «Морском сборнике».

— Кстати о морях и мореходах,— сказал П., хозяин дома,— нынешний год снова назначены морские экспедиции, даже целых три: одна на Амур, другая в Пирей, в Грецию, третья в Средиземное море; морское министерство не шутя начинает вести дела свои en grand!..[1] Знаете ли также, что на каждую из этих экспедиций приглашаются литераторы? я знаю это из самых достоверных источников; меня просили даже узнать, нет ли желающих... Не хотите ли, господа? Стоит сказать «да» — я передам об этом кому следует, и дело решено! Не угодно ли, например, кому-нибудь на Амур?

— Слишком уж что-то далеко...— отозвались присутствующие.

— Ну, так в Пирей, в Грецию...

— На сколько времени?

— Не знаю наверное... кажется, на год...

— Слишком неопределенно...

— Ну, так в Средиземное море...

— На сколько времени?

— На год! — всего только на один год, господа! — сказал П. несколько даже умиленным голосом.— Такой экспедиции у нас еще не было; это собственно не столько сухая, скучная экспедиция, сколько пикник.

— Как пикник?

— Да, пикник! Мне говорил об этом один господин, которому дело знакомо как собственная ладонь; начать с того: корабль — одно из лучших судов нашего флота; на нем восемьсот человек экипажа и восемьдесят четыре пушки... но впрочем, для вас, я полагаю, это вовсе не интересно; главное то, что корабль зайдет поочередно во все порты Европы; из Кронштадта

[1] по большому счету!.. *(фр.)*

он отправится в Копенгаген, оттуда в Шербург (заметьте: рукой только подать до Парижа!),— потом пойдут в Кадикс; в Кадиксе верно воспользуются случаем и съездят в Севилью; там в Ниццу, Геную...

Я стал внимательно прислушиваться.

— Из Генуи,— подхватил П., заметив мой взгляд и преимущественно обращаясь ко мне,— из Генуи пойдут в Чивитта-Веккию (заметьте опять, рукой подать до Рима!), из Рима в Неаполь, из Неаполя в Сицилию. Вы увидите Палермо, Сиракузы, Мессину...

Я сделался еще внимательнее.

— Повторяю вам, господа,— продолжал П., заметно воодушевляясь,— все это, в общей сложности, составит очаровательнейшую, поэтическую прогулку, какую когда-либо приходилось делать человеку!.. Не будь у меня на руках действительно серьезных дел по журналу, не будь я связан теперешними обстоятельствами,— я бы ни на секунду не призадумался... Вот вы, Г.,— промолвил он, неожиданно становясь передо мною,— вы, который слушаете теперь с таким вниманием,— скажите на милость, отчего бы вам, например, не поехать? Вы, с тех пор как я вас знаю,— а это очень давно,— вы не перестаете мечтать и говорить о путешествиях за границу, вы так страстно порывались всегда в Италию,— вот случай! другого такого случая никогда уже не встретится!..

— Все это очень хорошо,— промолвил я,— но нельзя же вдруг...

— В чем же остановка? — нетерпеливо перебил П.

— Желательно было бы знать прежде всего,— продолжал я,— с какою целью пригласят меня на корабль? Чего там от меня потребуют, что имеется при этом в виду? Что лежит в основании этой экспедиции по Средиземному морю?..

— Цель экспедиции мне незнакома,— возразил П.;— но дело не в этом; дело в факте, а факт тот, что вам представляется удивительный случай ехать в Средиземное море и побывать в Италии, которую вы так любите. Что ж касается собственно до цели, с какой приглашают в экспедицию литератора,— цель самая простая, естественная: вы поедете на том же основании, как Гончаров ездил в Японию,— с тою разницею, однако ж, что Гончаров плавал три года, испытывал всевозможные невзгоды, бури, штормы, и проч.,— с вами ничего этого не случится... Средиземное море,

сравнительно с другими морями и океанами, это салон, гостиная; оно от них отличается столько же изяществом и прелестью своих форм, сколько утонченною деликатностью обращения... Обязательства ваши в отношении к морскому министерству будут заключаться в следующем: изощряйте вашу наблюдательность и передавайте на бумагу как можно более правдиво и живописно ваши впечатления. Статьи ваши будут печататься в «Морском сборнике»; цель этого издания вам известна: цель – польза, которая непосредственно истекает из правды, – той правды, которой мы до сих пор так боялись! Зная направление журнала, вам тем более легко будет удовлетворить его требованиям, что сами вы всегда разделяли его убеждения...

– Действительно все это очень соблазнительно, – сказал я.

– Еще бы! – радостно воскликнул П., – главное, такого случая уже более не повторится, – ловите его, дорогой друг; ловите, говорю вам, – ловите! – присовокупил он, разгорячаясь и убедительно размахивая руками.

– Что ж, я не прочь... – вырвалось у меня невольно.

– По обыкновению своему, Г. не шутя начинает, кажется, увлекаться, – сказал посмеиваясь один из собеседников, – о! велика ты, твердость воли и несокрушимая сила убеждений! Вспомните, однако ж, господа, зачем час тому назад явился сюда Г.! Он явился, питая в душе твердое, непоколебимое намерение уехать в свое захолустье, в свой коноплянник, как выражается П., – с тем, чтобы прожить там безвыездно год и писать роман...

– Скажи, пожалуйста, – перебил П., раздражаясь, – какое тебе дело до этого?

– Дела нет никакого...

– Из чего же ты горячишься и хлопочешь? – продолжал П.

– А ты из чего горячишься и хлопочешь? – спросил собеседник.

– Я убеждаю Г. ехать, имея в виду его же собственную пользу; я знаю, как он любит путешествовать, и хочу, чтобы он увидел Италию... Оставь, пожалуйста, Г. увлекаться, сколько ему угодно...

– Но Г. так охотно соглашается потому только,

что понятия не имеет о море; бьюсь об заклад, Г. кроме как на картинках не видал даже моря...

— Почти что так...

— Вы не плавали даже по Финскому заливу дальше Петергофа?

— Нет...

— Не видали даже в глаза линейного корабля?

— Нет!

— Я вижу только, вижу, что насколько мне хочется, чтобы Г. ехал на корабле, настолько тебе этого не хочется,— перебил П.,— повторяю тебе: из чего ты хлопочешь?

— А я повторяю: из чего ты хлопочешь?

— Я уже сказал, что убеждаю Г., имея в виду исключительно его пользу...

— Не веришь ли ты также в его влеченье к морю?..— смеясь перебил собеседник; — взгляни на него: взгляд этот должен убедить тебя сразу в его неспособности к морским похождениям; у него нет морских ног,— это очевидно, и сверх того,— это мое убеждение,— он в сильнейшем градусе должен быть подвержен морской болезни... Г. думает, вероятно, что море, по которому он собирается странствовать, то же, что море ржи и коноплянника, которое описывает он в своих романах...

— Не думаю,— возразил я, невольно настраиваясь под общий веселый лад,— если на то пошло, я скажу вам, что постоянно, всегда чувствовал большое влечение к морю.

— Где это?.. не в Тульской ли губернии?..

— Именно.

— Этого только недоставало!

— Берусь даже доказать это.

— Долго будет продолжаться доказательство?

— Нет, всего минуту.

— Доказывайте!

— Извольте; если хотите знать, море, или вода, все равно, увлекают меня с самого детства: лет четырех, переезжая на лодке чрез большую реку, я повис на руле,— оборвался и упал в воду; лет тринадцати, купаясь в Петергофе, я сел верхом на одно из бревен, которыми обнесено место для купанья,— перевалился на другую сторону,— и пошел ко дну как камень; лет двадцати, стоя на плоте на речке Смедве, я поскользнулся и прямехонько шлепнулся в воду; далее, когда

я вступил уже в зрелые лета,— и это засвидетельствует присутствующий здесь П.— я с особенным удовольствием ездил к нему в Ораниенбаум на дачу и там, по целым дням, с утра и до вечера прогуливался по берегу Финского залива,— и как еще прогуливался,— не выпуская из рук зрительной морской трубы!.. Все это ясно, кажется, говорит в пользу моего влеченья к воде... Но если мало вам таких доказательств,— я заключу тем, что совершенно соглашаюсь с П. и готов самым серьезным образом принять приглашение морского министерства!

— Не может быть,— воскликнули все в один голос.

— Серьезно...

— И вы не шутите? — спросил П., подпрыгивая от восхищенья.

— Нисколько.

— Браво! — закричал П., открывая мне свои объятья.

Мы обнялись и тут же разразились самым неистовым смехом, какой выходил только из груди человеческой.

Разговор этот, имевший от начала до конца шутливый характер, решил, однако ж, тем не менее мою судьбу по крайней мере на год.

На другой же день получил я форменную, официальную бумагу; морское министерство приглашало меня идти в Средиземное море и просило письменного согласия, в случае если я согласен.

Случись все это дня через два или три — я бы, по всей вероятности, отказался,— тем бы, конечно, дело и кончилось. Но после вчерашнего разговора мысли настроены были к путешествиям; к тому же доводы П. живо еще представлялись памяти и подогревали воображение.— Я подписал бумагу.

Начало плавания назначено было к маю будущего года; был тогда январь месяц; в ожидании будущего странствия, я отправился в свое захолустье,— где и прожил до той минуты, пока не получил письма, выставленного в начале главы.

Сколько я себя помню,— меня постоянно преследует страх не поспеть ко времени, преследует мысль, что я непременно опоздаю на свидание или не явлюсь к назначенному сроку. На этом основании я всю жизнь мою являюсь на вечера прежде, чем там зажгут свечи и лампы,— являюсь на железную дорогу часа за

два до отправления,— на свиданье, назначенное приятелем, в то время, когда приятель спит еще крепким сном, и т. д. Можете судить, что сталось со мною при получении этого письма.

— Сегодня пятое число,— говорил я, суетясь как человек, запертый в комнате в такую минуту, когда кругом раздаются крики «пожар!».— «Ретвизан» снимается с якоря пятнадцатого; остается всего, следовательно, десять дней... Десять дней! — и в это время надо успеть доехать до Москвы, приехать в Петербург, успеть сделать кой-какие распоряжения и необходимые дорожные покупки...

Дней пять спустя я подъезжал уже к Петербургу.

Первым делом моим было броситься в дрожки и поскакать в Адмиралтейство.

При входе в главные ворота этого здания я почувствовал, однако ж, что надо поневоле укротить порывы своего нетерпения и охладиться. Я увидел себя в положении человека, попавшего в страну совершенно незнакомую,— точно в другой мир какой-то.

Вправо шла галерея со сводами, которая тянулась бесконечно и, казалось, пропадала в неизвестности; налево точно в зеркале отражалась такая же точно перспектива; там и сям сновали люди в фуражках и куртках со светлыми пуговицами.

— Скажите, пожалуйста,— обратился я к первому встретившемуся туземцу,— где здесь можно узнать о кораблях, которые отправляются из Кронштадта в заграничное плавание?

— Не могу знать! — возразил туземец, вытягиваясь по швам.

Он очевидно был из русских; меня это значительно ободрило: я поочередно начал обращаться с моим вопросом к каждому, кто только попадался навстречу.

Ответ был неизменно один и тот же.

Не знаю, сколько пришлось бы бродить по этому лабиринту, если б не выручил офицер; он очень обязательно объяснил мне, что такие справки получаются в инспекторском департаменте, находящемся в том же здании.

Инспекторский департамент найти было не очень трудно: «язык доведет до Киева», говорит пословица.

— Кого надо? — спросил меня часовой, приставленный к дверям инспекторского департамента.

— Генерала! — сказал я наобум.

Часовой обомлел и вытянулся; я вступил в комнату, наполненную офицерами, просителями и писарями.

— Что вам угодно? — спросил один из офицеров.

Я рассказал ему, в чем дело; он передал меня на руки адъютанту, который выслушал меня, наклонив набок голову; после этого адъютант передал меня на руки полковнику, который также выслушал меня, наклонив набок голову; затем полковник передал меня другому адъютанту, и я введен был куда следует.

Но, увы! в инспекторском департаменте решительно ничего не было известно о сроке ухода «Ретвизана». Я узнал только, что «Ретвизан» действительно существует, узнал, что «Ретвизан», точно, не шутя идет в Средиземное море; мне показали даже список гг. офицеров, назначенных на «Ретвизан»; но когда корабль сымается с якоря, — на это инспекторский департамент не мог дать никакого ответа.

— Нельзя ли узнать, по крайней мере, где живет капитан «Ретвизана»? — спросил я как бы по вдохновению.

«Капитан, — думал я, — должен же знать что-нибудь определительнее об этом предмете; иначе быть не может...»

Было бы проще, конечно, отправиться прежде всего к П. и справиться, на чем основывал он письмо свое; но когда уж человек сбит раз с толку и засуетится, — ему свойственнее еще больше запутываться и усложнять дело; простые способы, — ведь это некоторым образом яйцо Колумба, — они обыкновенно последними приходят в голову.

Адрес капитана был тотчас же мне доставлен.

«Теперь одиннадцать часов, — подумал я, спускаясь с лестницы департамента, — кронштадтский пароход отходит в двенадцать; мне остается ровно столько времени, чтобы не опоздать на пристань».

В двенадцать часов пароход отвалил от набережной Васильевского острова, а в два часа я пристал к Кронштадту.

Я никогда прежде не бывал в Кронштадте; к сожалению, на этот раз я ничего не могу сказать вам об этом городе; дул сильный ветер, и так как в Кронштадте приходится проезжать сначала большую немощеную площадь, потом длинную улицу, в которой вымощена одна только половина, — ветер держал в воздухе такую страшную тучу пыли, что надо было

избрать одно что-нибудь: или открыть глаза и ослепнуть; или зажмурить глаза и не видать Кронштадта; я решился на последнее. Я открыл глаза тогда только, когда извозчик остановился у подъезда капитанской квартиры.

Подымаюсь по лестнице, звоню; выходит человек с белокурыми завитками на голове.

— Здесь живет капитан б.[1] Т. ?..

— Здесь.

— Можно его видеть?..

— Никак нет-с; их дома нет; они в гавани.

Сажусь на извозчика и лечу в гавань.

— Капитан б. Т. здесь?

— Капитан только уехал домой; работы кончились, и команда села обедать.

Снова сажусь на извозчика, снова подымаюсь на лестницу, снова звоню и снова встречаю неудачу.

— Капитан только что вышел, — говорит человек с белокурыми завитками на голове, — они пошли в клуб читать газеты.

Я устал жестоко, и пот катил с меня градом; но делать нечего; я решился не выезжать из Кронштадта, пока не добьюсь толку.

Капитан действительно находился в клубе.

Я назвал себя по имени, рассказал капитану о своем назначении и убедительно просил его сообщить мне наверное о дне, когда «Ретвизан» уйдет в море.

Капитан посмотрел на меня с удивлением.

— К сожалению, я ничего не могу сказать вам об этом, — произнес он ровным, спокойным голосом, — корабль только вооружается... Вообще, надо вам заметить, у нас в морском деле никогда нельзя рассчитывать или определять наверное...

Капитан остановился; светлые глаза его ясно между тем говорили, что он еще хотел что-то прибавить, но как будто стеснялся чем-то.

— Я должен вам сказать, — присовокупил он, наконец, тем же ровным, спокойным тоном, — я не получил еще никакого предписания насчет вас... мне даже слова об этом не сказано... Признаюсь, я в первый раз даже слышу, что с нами пойдет литератор...

[1] брига. — *Ред.*

При этом известии меня с головы до ног окатило холодным потом.

«Что ж это значит? — рассуждал я мысленно, — уж не мистификация ли все это? не подшутил ли П. надо мною... Но нет! быть не может! Не далее как в январе месяце получил я официальное приглашение ехать на «Ретвизане» в Средиземное море... Как же объяснить слова капитана? Где же и каким образом добиться истины...»

П. жил в Ораниенбауме; из Кронштадта я прямо к нему отправился.

— Откуда взяли вы, что корабль уходит пятнадцатого мая? — спросил я, передав ему все неудачи настоящего утра.

— Мне сказал об этом Г., — возразил удивленный П., — мне собственно Г. и поручил передать вам это известие.

— Сию же минуту еду отыскивать Г., — возразил я, хватаясь за шляпу.

— Совершенно напрасно.

— Это почему?

— Недели полторы назад Г. уехал за границу.

Вот тебе на! Признаюсь: этого только недоставало!

Ясно было: пускаться в дальние хлопоты и расспросы значило только убивать золотое время; я тут же решил уложить чемодан и отправиться восвояси.

План мой не удался, однако ж, и вот почему: пока я собирался, мне принесли пакет; в нем заключалось второе, форменное приглашение от морского министерства.

Я тотчас же успокоился; настолько успокоился, насколько прежде волновался: меня снова потянуло в Кронштадт; но на этот раз я поехал туда с радостным сердцем. Мне хотелось взглянуть на корабль и познакомиться с офицерами, будущими моими мореходными товарищами.

Для человека, который незнаком с Кронштадтом, который судит о нем по наружности, который видит только стены этого города и не знает, что скрывается за этими стенами, словом, для которого сокрыт дух, смысл города, для такого человека Кронштадт не представляет ничего особенно замечательного. Впечатление, производимое Кронштадтом, можно передать такими словами: заборы, собор, казармы, опять ка-

зармы и толпы матросов, которые идут на работу или возвращаются домой, неся в руках селедку или котомку с стружками и щепками за спиною.

«Ретвизан» стоял в купеческой гавани, и я прямо туда отправился.

Кто хоть раз был в Кронштадте и проникал в купеческую гавань, тот легко согласится, что поговорку: «язык доведет до Киева», — можно бы с успехом заменить поговоркой: «язык доведет до кронштадтской купеческой гавани!».

Прежде всего вам предстоит пройти длинную-длинную дорогу, вымощенную булыжником; справа тянется широкий канал, запруженный судами всякого рода; налево, от самой подошвы дороги расстилается широкое пространство воды, по которому снуют по всем направлениям лодки, баркасы, ялики; далее, в глубине, все заслоняется лесом мачт и снастей. Советую вам, однако ж, быть как можно осторожнее, не зевать по сторонам и не засматриваться; дорога завалена досками, бревнами, железными цепями, которые тут же красят смолою, — веревками, которые, кажется, для того только здесь и протянуты, чтобы спотыкались и кувыркались через голову люди неосмотрительные и рассеянные.

Миновав дорогу, вы спускаетесь на другую, но уже не каменную, а дощатую; вы, некоторым образом, уже на воде: стоит прыгнуть, чтобы сквозь щели брызнула вода на ваши панталоны. Описывая зигзаги, дорога приводит вас к мостику, который с помощью блоков поминутно опускается и подымается, чтобы дать проход баркасам и шлюпкам.

Чем дальше подвигаешься вперед, тем шум, который раздавался еще издали, становится слышнее и слышнее. Там, вправо, где, как толпа купающихся слонов, громоздятся большие корабли, грохот делается особенно заметен: тут каскадами сыплется уголь, здесь что-то падает и обрушивается в воду; в другом конце орда матросов тянет снасти, притоптывая в такт ногами и припевая во все горло:

О — о дубинушка ухни,
О — о зеленая сама пойдет...

С противуположной стороны, как бы в контраст, визжат тонким дискантиком немазаные блоки или раз-

дается пискливое «о-ио!», которым английские матросы ободряют себя, когда тащат тяжести; и над всем этим, как свист ветра, немолчно заливаются на всевозможные лады свистки боцманов и унтер-офицеров.

Описав еще два-три зигзага, плавучая дорога приводит вас к дощатому крутому помосту; вы поднялись, вы на так называемой «стенке».

Стенка, попросту: крепостная стена, вал, огибает весь Кронштадт со стороны моря. Перед вами открывается залив с кораблями, стоящими на рейде в отдалении, и пароходами, которые, дымясь и фыркая, проходят по всем направлениям. Под ногами вашими, у подошвы гранитной стены, круто упирающейся в море, плещут волны, и запах воды и пены щекочет ваши ноздри.

Над стенкой, со стороны города, возвышаются борты кораблей, которые вооружаются. Стенка и корабли соединяются мостиками, которые качаются на блоках.

Палуба кораблей, реи, снасти, мостки, мостики и самая стенка усыпаны сотнями матросов; все это движется, бегает, спускается, подымается, качается, тащит, отпускает, вносит и выносит те тысячи и тысячи предметов, которые служат для полного корабельного вооружения; над всем этим неумолкаемо носятся крик, гам, топанье, приправляемые неизбежными трелями сотен свистков. По самой стенке невозможно почти продраться; чтобы двигаться вперед, приходится выделывать ногами самые замысловатые узоры.

Все пространство стенки буквально загромождено ядрами, бочками с салом, канатами, чугунами, котлами машин, такелажем, офицерскою мебелью, гвоздями, блоками, койками, скарбом офицерского и морского походного хозяйства.

Хаос увеличивается людьми: через каждые десять шагов встречаются артели матросов, которые, не принимая участия в общей суматохе, тем не менее стесняют дорогу; одни, сбившись тесными кружками, обедают; другие тут же легли отдыхать и вкушают сладкий far-niente[1], не обращая внимания, что по ним ходят, наступают им на головы и переносят через них огромные тяжести. Вас поразят здесь самые невоз-

---

[1] ничегонеделание *(лат.)*.

можные, невероятные позы: у одного под головою ядро, а ноги аршином выше, на груде блоков; у другого ядро под ребрами, голова в яме, левая нога поднята бочкой, тогда как правая спряталась в паровой котел; у третьего виднеются только ноги, а голова и туловище закатились неизвестно куда, и проч., и проч.

Мне пришлось пройти всю стенку; «Ретвизан» стоял дальше всех кораблей, которые тогда вооружались.

Вот наконец и «Ретвизан»!

— Господи, что это за громада! — вырвалось у меня невольно.

Корабль, по наружному виду, совсем уже был готов, так по крайней мере показалось тогда моему неведению; снасти, мачты, реи, все это стояло на месте; сбоку виднелся даже якорь, словом, — садись да и отправляйся. А между тем по снастям и по палубе бегали толпы матросов, которые что-то тянули; унтер-офицеры яростно свистали, перекликались с другими матросами, стоящими на стенке и которые также что-то тянули; с наружной стороны борта, что синие пауки, качались в воздухе матросы, державшиеся одною рукою за веревку, другою рукою стукая молотом, долотом или управляя кистью с краской.

Я машинально пошел за матросами, которые подымались по мостику, соединявшему корабль со стенкою, пролез в дыру, откуда высовывалась пушка, и очутился на верхней палубе.

Первое впечатление было такого рода, что показалось мне, будто я вдруг сплюснулся, уменьшился по крайней мере на десятую долю против обыкновенного моего роста; веревки, казавшиеся издали обыкновенными, были толще руки, блоки, мелькавшие точками, были больше головы, мачты принимали вид обелисков; белую трубу машины принял я тут же за самую почетную, главную каюту.

Не успел я прийти в себя, как меня окружили офицеры. Они знали уже о моем назначении: все тотчас же вызвались показать мне мою каюту.

— Как, разве уж и каюта назначена? — спросил я.

— Назначена, и даже отличная! пойдемте...

Каюта была точно отличная; одно только было в ней не совсем удобно: не было физической возможности лечь, сесть и еще менее думать о работе; от ок-

на до двери, от стены до стены каюта почти вплотную занята была огромной пушкой.

— Помилуйте, господа, что же мне с этим делать? — воскликнул я с ужасом.

— Успокойтесь, — сказал один из них, — капитан отдал уже приказание: не далее как завтра пушку вынесут и каюта ваша будет совершенно свободна.

Будь капитан на палубе, я бы никак не утерпел и в порыве благодарности бросился бы обнимать его; но капитана на корабле не было.

— Все это превосходно, господа, — сказал я, когда мы несколько осмотрелись и познакомились, — но не можете ли сообщить мне, хоть сколько-нибудь определительно... не слыхали ли вы, хоть мельком, когда мы уходим?

— Трудно это определить; невозможно, — отозвалось несколько голосов. — Вы должны знать прежде всего, что в морском деле нет ничего положительно верного и решительного.

«Как, снова такое изречение! Надо думать, оно действительно имеет большое основание...» — проговорил я мысленно.

Из последующих разговоров я узнал несколько подробностей о самом корабле.

«Ретвизан» выстроен в Петербурге; 17 сентября 1855 года он спущен в Неву и в том же году переведен в Кронштадт, где был окончательно отделан. Он вмещает в себе всевозможные усовершенствования, введенные первый раз на наших кораблях и ставящие его наряду с лучшими судами иностранных морских держав. «Ретвизан» уже потому должен заслуживать наше внимание, что на нем все русское, национальное, начиная с леса и кончая машиной, которая построена на одном из лучших петербургских заводов. «Ретвизан», по-шведски, значит правосудие. Вы спросите, вероятно, почему русскому, чисто национальному кораблю дано шведское название. Вот как это произошло: не помню, в каком году, каким образом и даже каким капитаном взят был шведский корабль, носивший такое название. С тех пор имя «Ретвизан» сохранилось в нашем флоте. «Ретвизан» выражает, следовательно, две мысли, которые в одинаковой степени могут удовлетворить нашу гордость: победа над шведами и, главное, преуспевание наше в кораблестроительном искусстве.

Вот все, что узнал я пока о «Ретвизане»; но и этого, кажется, довольно.

После поездки этой в Кронштадт я стал приезжать туда почти каждую неделю; постепенно начал я даже перевозить свою мебель и устраивать каюту.

А между тем об отъезде все-таки не было помину.

Проходили дни, недели, стали проходить месяцы, – «Ретвизан» все еще не поворачивал носа к морю и красовался в купеческой гавани.

– Но ради самого неба, откройте же мне, наконец, тайну, скажите, почему мы не уходим? – повторял я, оглядывая с недоумением корабль, – ведь все уже, кажется, давно готово.

– Все решительно; остаются только иллюминаторы.

– Что такое: иллюминаторы?..

– Окна, которыми освещаются каюты на кубрике.

– А кубрик... что же такое: кубрик?

– Третья палуба, где расположены офицерские каюты.

Я быстро успокоился: «иллюминаторы, так иллюминаторы!» – повторял я, стараясь найти в этом повторении что-нибудь ободрительное.

Но проходила неделя, другая, отделка иллюминаторов все еще не приходила к концу.

Что ж бы это значило?..

Оказалось, что в кронштадтском порте была всего-навсё одна только машина для сверления иллюминаторов; оказывалось также, что и эта единственная машина находилась в таком виде, что могла только просверливать по одному иллюминатору в день; иллюминаторов было счетом тридцать шесть; надо было, следовательно, отложить попечение об отъезде на тридцать пять дней по крайней мере.

– Иллюминаторы готовы! – с восторгом сказал мне один из офицеров при встрече раз на палубе.

– Когда же мы едем? – спросил я, ожидая, что он скажет: «завтра!» – и при этом, признаюсь, оторопел и даже сробел несколько.

– Неизвестно.

– Как неизвестно? да ведь иллюминаторы готовы; чего ж еще больше? ведь за этим только и была остановка?

– Теперь завязалось другое дело... Дело с винтом...

— Как с винтом?

— Да; не входит!

Оказывалось, что винт действительно не входил в ту часть корабля, куда следовало ему войти и где назначено было ему вертеться, чтобы двигать «Ретвизаном». «Ретвизан» без винта уже никаким образом не мог быть «Ретвизаном», т. е. — винтовым кораблем; винт и пар играли в нем ту же роль, что сознание и просвещение у человека; что же человек без просвещения и без сознания?

«Но как же это могло произойти? — восклицал я мысленно, — медный винт, в пятьсот пудов, сколько известно, не может быть подвержен флюсу; а между тем он распух, если не входит, — это очевидно; с другой стороны, нельзя также предположить, чтобы место, назначенное для винта, могло съежиться, ссохнуться в тот короткий промежуток, как сняли с него мерку для отливки винта; еще менее можно предполагать, чтобы вовсе не сняли мерки ни с места, назначенного для винта, ни с винта, назначенного для места!..»

Как бы там ни было, винт, однако ж, не входил.

Пришлось прибегнуть к слесарям и приступить к *обрубке* винта, т. е. к срезке того злополучного остатка, который ставил «Ретвизан» в такое критическое положение.

Морская поговорка день ото дня для меня уяснялась; с каждым разом, как я приезжал в Кронштадт, я убеждался в глубоком смысле этой поговорки. В самом деле, определенного ничего не было; невозможно было ручаться за будущее и вперед загадывать. Не так ли, впрочем, оно и следует: ведь дело имеешь с морской стихией — самой непостоянной, самой изменчивой: все, что к ней прикасается и на ней действует, неминуемо должно покоряться ее законам: это слишком естественно, и сомневаться в этом могут только люди, не имеющие понятия о подвижности морских валов, непостоянстве ветров и неопределенности морских пространств.

Винт был наконец подпилен или обрублен; но это обстоятельство все-таки не обрубило гордиева узла, который привязывал «Ретвизан» к купеческой гавани; гордиев узел, казалось, только усложнялся и затягивался.

Мало-помалу случайности и неожиданности пере-

стали удивлять меня; мною начинали уже овладевать то стоическое спокойствие, та рассудительность, которые приобретаются опытом и заставляют смотреть на вещи с настоящей, примирительной точки зрения.

Скучно было только, что нечего было делать. Ожидая с каждым днем отъезда, не стоило приниматься за какой-нибудь серьезный труд. Бродя в совершенном бездействии по Кронштадту и Петербургу, я от нечего делать отдавался иногда мечтаниям.

Мечты мои обращались преимущественно вокруг предметов мне близких или сделавших на меня в последнее время особенно сильное впечатление; они часто носились над Кронштадтом и если делали скачки, то это было от города к порту, от порта к стенке, от стенки к «Ретвизану», который почему-то глубоко врезался в мое сердце.

Не считаю лишним заметить, что мечты эти, обращаясь к предметам, с которыми я едва познакомился, весьма естественно должны были принимать иногда самый распущенный, фантастический характер.

Так, например, одною из любимейших фантазий моих было основать в Кронштадте бумажную писчую фабрику. О чем бы я ни думал, куда бы ни стремились мысли,— бумажная фабрика, постоянно, как тень Банко, становилась поперек остальных мыслей. Известно, что в России только три несомненные способа к обогащению: питейная часть, булочно-хлебное производство и бумажные писчие фабрики.

Кто бы мог думать, однако ж, чтобы Кронштадт, где все, по-видимому, должно было заключаться в постройке и оснащении кораблей, в изготовлении сухарей и паровых машин, т. е. в деле чисто практическом,— чтобы Кронштадт был до такой степени заражен грехом чернильной невоздержности, чтобы в нем, сравнительно, было больше потребности на писчую бумагу, чем в городах, уснащенных палатами, канцеляриями и департаментами! А между тем это факт,— факт,— могу вас уверить.

Предоставляю вам судить, насколько основательны мечты мои об устройстве в Кронштадте бумажной фабрики.

Корабль вооружается; прекрасно. Если вы хоть раз в жизни видели корабль,— вы легко можете себе представить, сколько для создания его требуется лесу, веревок, гвоздей, винтов, блоков и проч. Капитан ко-

рабля, т. е. лицо, которое лично заведует вооружением, — требует, положим, дюжину гвоздей; вы думаете, ему тотчас же их выдадут? Как бы не так! Капитан прежде всего должен взять лист бумаги и написать прошение в контору над портом. Контора над портом начинает с того, что посылает от себя инженера с целью удостовериться, правду ли говорит капитан, точно ли нужны гвозди; убедившись — инженер пишет об этом конторе над портом; та высылает требуемое и также пишет. На вооружаемом корабле нужна железная скобка, — новая бумага со стороны капитана, новая бумага со стороны инженера, новая бумага со стороны конторы над портом.

Сколько же тысяч разных предметов требуется для одного корабля! Помножим это число на число требований капитана и ответов конторы над портом, — вы получите уже несколько тысяч листов бумаги с одного вооружаемого корабля; возьмите же в расчет число кораблей, ежегодно вооружаемых в Кронштадте! Бумажная фабрика, очевидно, поведет вас к вернейшему обогащению.

Меня увлекает здесь, уверяю вас, не одна эгоистическая точка зрения о выгоде; нет! Я думал также о том страшном замедлении в делах, которое неизбежно связано с перепиской; переписка куда бы ни шла: она, положим, изощряет грамотность, поощряет в отечестве чернильное производство, которое, как известно, в большом упадке, и дает хлеб классу писарей, который в Кронштадте очень многочислен.

Я не переставал думать о потере времени по случаю переписки и, главное, по случаю того, что инженер от порта между каждой бумагой должен прогуляться от места своего к кораблю и от корабля опять к своему месту. И тут-таки беды бы большой не было, если б капитан и инженер смотрели на предмет одинаково; но горе в том именно, что они ни под каким видом не только не могут быть согласны, но даже не могут понимать друг друга: требования капитана основаны на опыте; он говорит о бурях, штормах, приводит в доказательство законности своего требования такой-то случай на море и проч.; инженер, знакомый с кораблем только по чертежу, по рисунку, а с морем, — только со стенки купеческой гавани, выставляет капитану на вид книгу о такелажном положении, говорит, что железных скреплений положено по штату

столько-то, а не больше и т. д.; — словом, один практик, другой теоретик; — они понять друг друга не могут; время их совещания тянется неимоверно долго, чтобы не сказать — бесполезно, — и часто дает повод объяснениям, выправкам, справкам, поверкам и т. д. — а время между тем уходит да уходит!

Размышляя обо всем этом и отдаваясь более и более действию воображения, я понять не мог, как не наскучит вся эта возня конторе над портом, как, наконец, не утомится она нравственно, питая постоянно в душе своей подозрение и недоверчивость в отношении к капитанам, как не проникнется она, наконец, тою простою истиной, — что в спокойствии заключается единственное благо жизни! И чего бы легче, кажется, приобрести ей это спокойствие: стоит только взять пример с провиантского департамента того же министерства! Провиантский департамент действует таким образом: он выдает каждому капитану пачку бланок; капитану нужны, например, сухари; он черкнет на бланке число сухарей и свое имя, — провиантский департамент тотчас же выдает ему требуемое; бланки служат впоследствии для поверки счетов. Отчего же, — думал я, — отчего же конторе над портом не последовать такому благодетельному примеру? Пускай себе капитан требует сколько ему угодно винтов, блоков, и пр., и пр.

«Мое дело, — скажет себе контора, — мое дело, — исключительно заботиться об изготовлении предметов, и гордость свою поставляю я в том, чтобы предметы эти изготовлялись превосходно, — лучше чем в Англии и во Франции!.. Что ж касается до капитанов, — я не хочу иметь с ними ничего общего! Мое дело сторона; выдай мне бланку с требованием, — и я выдам беспрекословно предмет!.. А там, если и произойдет что-нибудь, — пускай капитан ведается с высшим правительством, а не с моими инженерами, — лицами, по преимуществу смиренными и кабинетными!»

И в самом деле, поверить капитана (если только поверка требуется, потому что, поручая ему такое значительное государственное добро, как корабль, правительство находит его, вероятно, настолько опытным, чтобы знать, что нужно для корабля и чего нет, — и главное, — настолько честным, чтобы не употребить во зло доверие), — поверить капитана очень легко.

Вооружив корабль, капитан объявляет об этом ми-

нистерству; министерство, вытребовав от конторы над портом бланки с требованиями капитана и за его подписью, поручает ревизию над вооруженным кораблем комиссии, составленной исключительно из опытных моряков; корабельное дело знакомо им как ладонь; руководясь опытом, они тотчас же увидят, насколько требования товарища были основательны или нет; там, где инженер или контора над портом придут в ужас от лишней дюжины болтов против числа, назначенного по положению, — тут опытные капитаны, припоминая такой-то шторм, найдут требование совершенно дельным и основательным; — им и книги в руки! — как говорится.

Если случилось, что капитан употребил во зло доверие правительства, — всегда будет время и возможность снять с него голову. Но вряд ли это может понадобиться.

Известно, что ничто на свете так сильно не раздражает нравственно человека, не способно так заглушить в нем понятие о чести и личном достоинстве, как мысль, что, несмотря на полное отсутствие данных, способных запятнать честь его, несмотря на самые бескорыстные стремления, его все-таки неизбежно будут считать лицом, не заслуживающим полного доверия!

Какой же человек не упадет при этом духом? В этой постоянной, вечной борьбе против ничем не сокрушимого недоверия и подозрительности в ком же не ослабнет стремление к действиям безвозмездным, — действиям, ищущим награды только в общественном мнении, в сознании честного исполнения долга! В ком не потухнет, наконец, этот благодатный жар, возбуждаемый мыслью о пользе и славе отечества, — мыслью, которая одна только и способна творить истинно великие и сильные дела.

Но воображение завлекло меня слишком далеко за пределы моего рассказа.

Вскоре после истории с винтом получил я телеграфическую депешу: меня извещали, что «Ретвизан» готов, вышел на рейд и послезавтра отправляется вместе с другими кораблями на пробную экспедицию до Ревеля.

Человеку, решившемуся сделаться моряком, не могло представиться лучшего случая для испытания своих мореходных способностей. «Но точно ли пойдет

«Ретвизан» послезавтра или не пойдет?..» – думал я попеременно. Не верилось что-то.

Я поехал, однако ж, в Кронштадт, – и отлично сделал. В назначенное утро и даже час «Ретвизан» снялся с якоря.

Но не стану описывать вам пробной экспедиции, цель которой заключалась в испытании новых паровых машин, обучении команды и проч. Сознаюсь чистосердечно, меня несравненно больше занимали вопросы, – буду ли я подвержен качке и морские ли у меня ноги или нет, чем то, что вокруг меня совершалось. Подымались флаги всех возможных цветов, ставились и опускались паруса, разводились пары, давали винту 45, 37, 23 и т. д. оборотов, – я знал, что все это так следует, если так делается; но с какою целью делалось так, а не иначе, все это оставалось для меня мертвою, совершенно непонятною и притом вовсе даже не интересною буквой.

На девятый день мы возвратились в Кронштадт; пробная экспедиция окончилась как нельзя благополучнее. Расставаясь на берегу, мы поздравили друг друга с скорым отплытием в столь ожидаемое Средиземное море.

Я поехал в Петербург делать необходимые дорожные закупки; мне хотелось также успеть проститься с лицами, особенно дорогими сердцу.

Но скоро сказка сказывается, не скоро дело делается; не знаю, случилось ли вам собираться в дальнее путешествие морем и делать закупки? Располагаешь покончить все в один час, – и вряд ли поспеешь переделать дело в двое суток. Покупаешь мыло, – ну, думаешь, – куплю уж кстати новую мыльницу; покупка мыльницы дает мысль приобрести скромный дорожный несессер, чтобы сохранить мыло и мыльницу, и т. д. Бегаешь как угорелый из лавки в лавку, из улицы в улицу и с ужасом видишь, что список покупок только увеличивается и, что всего замечательнее, – делаются именно те покупки, которых не было в списке и о которых никогда даже прежде не думал.

В такой беготне проходит время, столь дорогое всегда перед отправлением; наконец, бросаешь все, чтобы уделить последние минуты на прощальные визиты; но тут новая история. Был июль месяц и все знакомые мои жили на даче. Поедешь на три часа в Царское Село, смотришь, – заболтался, прозевал па-

ровоз, – и ночевать остался; отправишься на утро в Петергоф и проживешь там двое суток. Словом, я недели две не показывался в Кронштадте.

Раз, в Ораниенбауме, П. говорит мне:

– Не бесполезно было бы воспользоваться близостью Кронштадта.

– А что? – спросил я.

– Не мешало бы туда съездить; чего доброго, уйдет «Ретвизан».

– Не может быть: мне дадут знать!

– Конечно, но вот уже две недели как вас нет дома; вам в это время могли десять раз послать сказать, что корабль уходит...

Час спустя я сидел на палубе парохода «Луна», делающего рейсы из Ораниенбаума в Кронштадт.

Первое лицо, встретившееся со мною, был лейтенант Ф.; встреча эта мгновенно меня успокоила. «Ретвизан», стало быть, еще не уехал! – подумал я.

– Несчастие случилось! – сказал Ф. шагов еще за десять.

– Что такое? – спросил я, и сердце у меня дрогнуло.

Мысль, что Ф. остался на берегу вследствие какого-нибудь распоряжения начальства и «Ретвизан» ушел без меня, – насквозь пробуравила мое сердце.

– Мы остаемся в Кронштадте и, вероятно, надолго, – сказал Ф.

Слово «*мы*» снова меня ободрило.

– Как так? – спросил я, не без волнения, однако ж.

– Очень просто, остаемся, да и все тут!

– Но что же случилось?

– Разве вы не слыхали?

– Ни слова.

– «Ретвизан», входя на рейд, – помните, в то утро, после пробной экспедиции...

– Ну? – перебил я, едва переводя дух.

– Входя на кронштадтский рейд, напоролся на чужой якорь.

– И пошел ко дну?.. – спросил я, обливаясь холодным потом.

– О нет, но только теперь разоружается, чтобы снова войти в док...

– Сколько же потребуется времени на то, чтобы

разоружить, починить и снова вооружить корабль? – спросил я.

– Месяц, по крайней мере.

– Боже мой! – воскликнул я, не ожидая такого удара.

– Вам говорили, кажется, что в морском деле ничего нет определенного, верного; у нас вперед загадывать нельзя ни под каким видом.

– Верю, – верю; теперь это ясно, – проговорил я с убеждением.

Когда Ф. объяснил мне подробно, в чем заключалось вооружение и разоружение, – я повесил голову и окончательно потерял надежду привести в известность, морские ли ноги у меня или нет. Труд предстоял действительно неимоверный: следовало снять с корабля восемьдесят четыре орудия огромного калибра, затем требовалось ввести корабль в док, потом выпустить из дока воду, починить рану, нанесенную враждебным якорем; снова наполнить док водою, вывести корабль в гавань и снова поставить на него восемьдесят четыре орудия, – и все это с помощью перевозки водою.

– И вы говорите, что на все это потребуется только месяц, – спросил я Ф. тоном человека, давно уже утратившего все мечтания и обращающегося к юноше, полному еще самых горячих надежд и верований.

– Да, не больше... Может быть, меньше... Вы не знаете еще нашего матроса; не знаете, что может он сделать, – прибавил Ф., как бы выстреливая в меня à bout portant[1].

Ф. был прав; сомневаясь тогда в вероятии его слов, я доказывал только, что действительно не имел понятия о наших матросах, не знал, на что способно это существо, соединяющее в себе силу буйвола, ловкость обезьяны, живучесть кошки и терпение русского простолюдина... нет, мало этого, – терпение матроса!

С того же дня, как с «Ретвизаном» случилось несчастие при выходе на рейд, – офицеры и вся команда приступили к делу. Сами они потом говорили, что в то время ими овладела какая-то горячка, какой-то азарт деятельности.

Мудреного нет, проведя четыре месяца на палубе «Ретвизана» до выхода его на пробную экспедицию,

---

[1] в упор *(фр.)*.

работая все это время с рассвета до позднего вечера, все в равной степени рвались на простор, всем равно хотелось погулять на море.

Воодушевленные одною мыслью, имея в виду одну цель, как матросы, так и офицеры совершили тогда чудо. В три дня «Ретвизан» был разоружен, в три дня вооружен; через две недели корабль стоял уже на рейде, совершенно готовый к отплытию.

Проживи я хоть мафусаиловы лета, — я все равно и тогда не забыл бы дня, когда с крепости раздался последний салют в честь «Ретвизана», покидающего кронштадтский рейд.

Это было пятого августа. Часов в десять утра, простившись в последний раз с лицами, провожавшими меня до Кронштадта, я сел на вольную шлюпку и отправился на корабль; он стоял довольно далеко на рейде.

Утро было чудеснейшее. Море расстилалось как зеркало, отражая безоблачное, лучезарное небо. Впереди на всем рейде и даже в самой отдаленной глубине залива не было ни одного судна; сверкающий горизонт перерезывался только стройными мачтами «Ретвизана», который стоял боком от солнца и темною неподвижною массою выступал на первом плане пространной светлой картины; выкрашенный заново, вылощенный, выхоленный, он смотрел как-то празднично: точно именинник важного чина и сановитого вида, который, слегка наклонив голову, приветливо, ласково прислушивается к поздравлениям мелкого чиновного люда.

В это утро, я уверен, однако ж, — никто не расточал в честь его столько похвал и приветствий, сколько владетель ялика, на котором я ехал. То был старый, седой отставной матрос, — финн по происхождению, но совершенно обрусевший и притом большой весельчак; он находился в числе команды, которая была при постройке «Ретвизана». Присутствуя при рождении, можно даже сказать, при зарождении младенца, который рисовался теперь таким богатырем, он говорил о нем с необыкновенным увлечением; он рассказывал, как ходил на стройку, как таскал для «Ретвизана» бревна, как спускал его на воду, как потом выехал он на своем ялике, чтобы взглянуть, как пойдет «Ретвизан» под парами, применение которых к кораблю называл он «премилым и прелюбезным делом».

Как ни занимательны были рассказы старика, я едва к ним прислушивался; глаза мои смотрели на «Ретвизан»; мысли устремлялись далеко-далеко, совершенно в другую сторону. Трудно представить себе, чтобы кто-нибудь ждал нетерпеливее меня минуты отъезда; я считал часы и минуты; минута эта наступила,— и вдруг сердце стеснилось, стало тяжело, грустно...

С такими чувствами поднялся я на корабль; там все, начиная с верхних снастей до палубы, лоснилось, блистало на солнце и глядело еще праздничнее, чем казалось издали; все ходило и двигалось под звук свистков, заливавшихся нескончаемою трелью.

Несмотря на движение, многие лица заметно, однако ж, сохраняли выражение задумчивости; многие лица были даже бледны; очевидно, не я один находился под тягостным впечатлением недавних проводов и разлуки. Во второй палубе ставили иконостас для напутственного молебна.

Я отправился к себе в каюту. Приехал П.; мы еще раз простились; это было последнее близкое, родственное лицо, с которым суждено мне было не видаться год; появление П., напомнив мне лишний раз разлуку, усилило только сердечную тоску.

В полдень над головою моею нежданно грянула музыка; отворяю дверь каюты и выглядываю на палубу: там, вытянувшись в одну линию, стояли все наши офицеры; за ними плотными рядами стояли матросы. «Генерал-адмирал едет; шлюпка подходит к трапу»,— сказал кто-то. По прошествии двух минут генерал-адмирал был на палубе. После молебствия, на котором находился весь экипаж, генерал-адмирал простился с нами и, пожелав нам счастливого, благополучного плавания,— оставил вскоре корабль.

Уже при начале молебствия можно было видеть с юта, как стенка Кронштадтской крепости постепенно наполнялась народом; в то же время на рейде показывались одна за другою шлюпки, собиравшиеся проводить нас. Над кораблем давно клубился столб дыма, возвещавший Кронштадту, что «Ретвизан» разводит пары; дым клубился также и над корветом «Баян», который стоял ближе к крепости и должен был оставить Кронштадт в одно время с нами.

— Готовы ли пары? — раздалось с юта.

— Готовы, — отозвался голос, выходивший словно из преисподней.

На корабле прошла минута мертвого молчания.

— Якорь поднять! — произнес голос с юта.

Послышались свистки, мерно затопали сапоги матросов, ходивших вокруг шпиля.

Корабль дрогнул и медленно начал поворачиваться носом к морю.

Все мы, без исключения, вооруженные, кто зрительной трубой, кто театральным биноклем, стояли на юте; глаза каждого пристально устремлялись к стенке, унизанной пестрой каймой шляпок и зонтиков.

Но раздался выстрел из нижней палубы, за ним другой, третий, — и все скрылось в седом облаке порохового дыма. Когда дым рассеялся и начались салюты с крепости, «Ретвизан» шел уже полным ходом к морю. Пестрая толпа, окаймлявшая крепостную стенку, махала платками; на катерах, которые нас провожали, гремела музыка; множество шлюпок и яликов неслось за нами на всех парусах или во весь мах весел.

Отдаленное «ура!» раздалось с крепостной стены, и платки замахали еще живее. Крик этот, подхваченный народом на судах, переходя постепенно ближе и ближе к нам, послышался на катерах, на яликах и, смешиваясь с звуками нескольких хоров музыки, разлился по всему заливу.

— Матросы по вантам! — закричал капитан с юта.

В одно мгновение ока снасти, передовые борта, ванты или веревочные лестницы, идущие от мачт к палубе, покрылись почти всем народонаселением «Ретвизана». Фуражки, пестрые матросские платки, белые платки и шляпы офицеров, — все пришло в движение и сотни голосов прокричали прощальное «ура!».

— Ура! — отозвалось снова на гребных судах, которые заметно уже отставали один от другого.

— Ура! — гремели с «Ретвизана».

Последняя шлюпка с белыми косыми парусами, шедшая скорее других, подняла свои весла, — и остановилась; она не двигалась с места и между тем заметно стала уменьшаться; другие шлюпки чуть видными точками мелькали в отдаленьи, белые платки на крепостной стене пропали; самая крепостная стена представлялась уже тонкою полоскою, едва отделявшеюся от моря, — но вот и она скрылась... Все ушло и попряталось за линиею горизонта; она опояса-

ла весь кругозор, и всюду засверкало море, по которому далеко тянулась широкая глянцевитая струя, оставляемая быстро уходившим «Ретвизаном». ⟨...⟩

IV

ПАРИЖСКИЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ

Отъезд из Бреста. — Многосложная биография. — Виды Бретани. — Первое впечатление. — Бульвары при вечернем освещении. — Дом Дюма-отца. — Фланерство. — Тюльерийский сад и дворец. — Пале-Рояль. — Богатство и мизерность в образе café des aveugles et du sauvage[1]. Соотечественник. — Ambigu comique[2]. — Гризетка. — Машинист и писатель. — Змея, выдержавшая 150 представлений сряду. — М. В. пропадает. — Лувр. — Собор Богоматери. — Дюма-сын. — Картина с натуры в мрачном вкусе. — M-lle Rosalba[3]. — Мабиль и его нравы. — Роскошь. — Заключение.

Насколько скучен был переход из Ниборга до Английского канала, настолько весело нам было ехать через Бретань до Парижа. С одной стороны, — несомненная уверенность, что пройдены, наконец, ненавистные Каттегат, Скагеррак и Немецкое море; с другой стороны, — улыбающаяся перспектива быть завтра в Париже! Двух таких фактов уже довольно, чтобы оживить самых апатических смертных и дать игривое направление самым нахмуренным мыслям.

По обыкновению своему, боясь опоздать к часу отъезда, я разбудил ни свет ни заря М. В. Дилижанс отходил в семь. В половине седьмого мы явились перед конторой, сопровождаемые *малым* исполинского роста, которого взяли мы из гостиницы для переноски багажа.

Дилижанс только что выкатывали из сарая и устанавливали.

Экипаж принадлежал к разряду тех старых, давно заброшенных coucou[4], которые так любит Поль де Кок; древность дилижанса придавала ему историческую занимательность; он был, вероятно, не только

---

[1] кафе слепых и дикаря *(фр.)*.
[2] Амбигю комик *(фр.)*.
[3] Мадемуазель Розальба *(фр.)*.
[4] кукушек *(фр.)*.

свидетелем многих переворотов, но, очевидно, принимал в них даже личное участие; облупленная желтая краска наружных стен его, искалеченная, заржавленная оковка – ясно говорили, что ему не раз приводилось лежать поперек улицы и служить подкреплением баррикады; уцелевший coucou попал тогда в руки промышленности, которая совершенно изменила его наружность: к передним двум местам прилепился сзади огромный ящик для укладки почты; над верхом ящика воздвиглась кожаная арка, долженствовавшая вмещать пассажирские чемоданы; впереди, перед сидением кучера и входом под кожаную арку, открылись еще два места, получившие название: place de l'impériale[1].

Места эти нам очень понравились; оттуда удобнее было рассматривать виды, и вообще было там свободнее. Но места были заняты; пока мы объяснялись с кондуктором, в контору вошли два пассажира.

– Обратитесь к этим двум господам,– сказал кондуктор,– я уверен, они не сделают никаких препятствий; им, без сомнения, приятнее будет сидеть в coupé[2].

Два господина тотчас же согласились. Мы поспешили взобраться наверх; но, к удивлению нашему, там сидел уже какой-то молодой человек. Оказалось, что в империале было не два места, как мы предполагали, а целых три. Спутник наш, к счастью, не был толст, и мы кое-как уладились.

Между тем запрягали лошадей и укладывали чемоданы.

Ровно в семь часов кондуктор и кучер,– оба в синих блузах,– уселись на козлы, раздалось новое для нашего слуха: hue! allons, hue donc![3] – захлопал бич, и дилижанс покатился.

Дорога уже сама по себе располагает к болтливости,– особенно при начале, на первых двух станциях; но когда к этому путешественники весело еще настроены, сообщительность превращается в неодолимую потребность. По прошествии пяти минут все, сидевшие в империале, не выключая кучера и кондуктора, вели между собой оживленную беседу.

---

[1] империала *(фр.)*.
[2] купе *(фр.)*.
[3] ну, пошли! ну же! *(фр.)*

Особенной болтливостью отличался наш молодой спутник; у него, по-видимому, чесался язык уже с той минуты, как сели подле него русские; он был в России и узнал нас по выговору; впрочем, у французов удивительное чутье узнавать русских. Он тотчас, без дальних предисловий, приступил к повествованию своей жизни. В юности отец отдал его в семинарию; получив в скором времени отвращение от духовного звания, он бежал и определился юнгой на купеческое судно; морская жизнь не замедлила точно так же разочаровать его; он решительно не знал, куда девать себя, когда случайно встретился с господином, устраивающим фонари для маяков; господин ехал в Россию и предложил юноше ему сопутствовать. Ни господин не знал юноши, ни юноша господина; оба не имели понятия о России; тем не менее оба, однако ж, отправились; они не сомневались вернуться оттуда с состоянием. Но, увы! – в России не встретилось никакой надобности в маяках; господин пропал без вести; юный товарищ его не упал духом: он принялся за выделку застежек и замочков для портмоне. Так провел он год; – c'était, parbleu, une bien pénible année![1] Потом случай свел его с помещиком, который уговорил его ехать с ним в Орел в качестве гувернера; юноша, конечно, согласился; проведя три года в деревне, он возвращался теперь на родину, сгорая желанием обнять престарелых родителей.

– Что ж вы потом думаете делать? – спросил я.

– Ma foi, je n'en sais rien moi-même![2] Думаю снова отправиться в Россию; но уже поеду теперь в Сибирь или на Амур; мне давно хотелось побывать в тех местах!..

Между тем мы выехали из ворот Бреста.

Вплоть до Ландерно, маленького городка в двадцати верстах от Бреста, не встречается ничего, заслуживающего особенно внимания. Дорога постоянно идет в гору; в обе стороны, на неоглядное пространство, убегают неровные каменистые скаты, покрытые кой-где тощим, темным кустарником; иногда на поворотах покажется справа или слева синий горизонт океана; но не успеешь обернуться в ту сторону, как уже снова все заслонилось кустами и серыми, каменистыми изгибами.

---

[1] это был, черт побери, очень тягостный год! *(фр.)*

[2] Ей-богу, я ничего сам об этом не знаю! *(фр.)*

Подъезжая к Ландерно, я был удивлен странным зрелищем: вправо, на большой глубине, открылась между деревьями широкая долина, покрытая сплошной корой темной, глянцевитой грязи; по скатам долины и на самом дне лепилось множество судов всякого рода: которое стояло прямо на киле, которое лежало на боку; все были вполне оснащены и даже на многих раздувались паруса.

Кондуктор поспешил объяснить мне, что все эти суда пользовались отливом, чтобы поконопатиться и посмолиться; вечером, вместе с приливом, они опять уйдут в море. Меня поразила высота и быстрота океанского прилива, который каждый день, утром и вечером, пробегает пространство в двадцать верст и на таком расстоянии может подымать большие суда. Впрочем, в Бресте прилив достигает иногда восемнадцати футов вышины.

По мере того как удаляешься от океана, местность принимает характер более оживленный и живописный. Причудливо нагроможденные горы и скалы, покрывающие эту часть Бретани, изламывают дорогу на всевозможные лады. На каждом повороте открываются новые виды.

То спускаешься в дикую пропасть, кругом обставленную отвесными гранитными скалами, вырезывающими в голубом небе чудовищно фантастический профиль; то дорога изгибается над бездной, и бедный наш coucou чуть не задевает одним боком висящую над ним кремнистую стену, изрытую порохом. То взбирается дорога на вершину, и тогда во все стороны открывается широкая панорама зеленеющих долин и холмов — отраслей Гименейских гор (Guiménée). Здесь заметно несравненно больше населения, чем от Ландерно до Бреста. Часто проезжали мы мимо деревень и отдельных ферм, окруженных садами и пашнями; но все это — и дома, и пашни казались мне беднее, чем в Дании; надо признаться, все смотрело далеко не так приветливо, чисто и даже весело — даром что освещалось ярким блеском полуденного солнца; сельские дома, выстроенные из плитняка, неоштукатуренные, крытые темной черепицей и чаще соломой, прорезанные маленькими окнами, имеют вид унылых, подслеповатых старичков; почти подле каждого дома возвышается в уровень с крышей гора навоза; покривившиеся соломенные навесы, топкий двор с разве-

шенным поперек тряпьем на веревке, сломанные лестницы, валяющиеся кадки, куры, бегающие в беспорядке, – все это хорошо только в картинах. Насколько прелесть датского ландшафта заключается в общем впечатлении чистоты, приволья и хозяйственности, настолько здесь все ограничивается одной красотой местности. Не будь здесь гор, тучной зелени вяза, местами позолоченной осенью, ярких переливов света и тени – не захотелось бы выглянуть из окна кареты.

Но что чрезвычайно мило в Бретани и действительно может быть находкой для живописца, – это маленькие города, которые встречаются на дне долин. Все дома, – сбитые обыкновенно в одну кучку и выглядывающие один через другой своими черепичными острыми крышами, – тесно обступают берег речки, облепленный самыми живописными мельницами; все тонет в зелени; внизу – серые, головастые ветлы, выше – вязы, перепутанные плющом; еще выше над кровлями возвышаются, как минареты, темные, пирамидальные тополи; кой-где над водой деревянные навесы, прикрывающие толпу женщин; высунувшись по пояс на солнце, они моют белье, наполняя весь городок своим смехом и песнями. Кругом, точно задняя декорация в театре, подымаются громадные, угрюмые утесы, которые контрастом своим придают городку еще больше миловидности и веселости; часто, на самой макушке вершины, чернеют в небе развалины старого феодального замка.

От St. Brieuc[1] до Ренна проезжаешь собственно самой сердцевиной старой Бретани. Тут местность и самая почва принимают опять особый характер. Камня и скал как не бывало; шоссе стелется все время прямым полотном, слегка взволнованными холмами, перерезывающими ландшафт холодными, строгими линиями. Вся страна принимает мало-помалу строгий, задумчивый характер; вид редко оживляется зеленью; нигде не показываются маленькие веселые города на берегу речки; их заменили длинные селения с узкой, извилистой улицей, обставленной сплюснутыми домами из плитняка и крытыми темной черепицей. Особенно неприятно поражают деревянные переплеты стен и ставни, выкрашенные черной краской; на всем встречаешь здесь печать чего-то траурного; края дороги

---

[1] Сен-Брийо *(фр.)*.

усеяны деревянными крестами; рабочий народ является как словно для того только, чтобы дополнить впечатление печали: женщины в черных шерстяных платьях и белых высоких чепцах; мужчины в длинных колпаках, наподобие тех, какие носят лазарони, но только не красных, а черных; куртки их и панталоны того же цвета; прибавьте к этому темный грунт земли, исполосованный по всем направлениям рядами растрепанного, колючего кустарника, сухость очертаний и скудность природы, вы получите верный очерк страны.

При всем том переезд через Бретань оставляет хорошее впечатление. Веселое настроение духа, овладевающее путешественником при выезде из Бреста, скоро утомляет; радуешься случаю отдохнуть на время под влиянием раздумья, которое невольно сообщает страна. Ее угрюмый вид вполне гармонирует с глубокой драмой, которую представляет история Бретани.

Вся красота ее в прошедшем, в ее минувшей жизни. Признаки этих воспоминаний рассыпаны на всем, куда ни обращаешь глаз; нет, кажется, такого холмика, нет ручья и старого дупла, о которых бы до сих пор любой крестьянин не рассказал предания и легенды. В этом отношении, впрочем, вся Франция земля удивительная! Столько было в ней пережито, что не найти такой квадратной мили на всем ее пространстве, которую могла бы обойти история.

Отчего же, думал я, – и думал об этом, могу вас уверить, с сокрушенным сердцем, – отчего же путешествие по России так мало оживляется воспоминаниями? Неужто мы не жили?.. (Тут невольно приходит на ум монумент, заказанный в память тысячелетия.) Если мы жили, отчего же у нас так мало исторических памятников? отчего все былое изгладилось из памяти народа? отчего здесь, в любом крестьянском семействе, из рода в род передаются предания, и до сих пор так еще живы они в народе; отчего у нас не сохранилось в народе ни одного почти рассказа о былом? Мне больно было припоминать, как недавно один мой знакомый, проезжая мимо Куликовского поля, спросил нарочно у ямщика, что здесь за место? «А кто его знает! с французом что ли-то война была!..» – отвечал ямщик. Двенадцатый год – последнее историческое воспоминание русского народа. Слово «татары» произносится, но воспоминание о них ограничивается

только словом; все остальное окружено непроницаемым туманом. Проезжаете через Новгород: много ли вам там народ порасскажет? Достаточно, что дом Марфы-посадницы был превращен в кузницу, чтобы все кузницы шли за дом Марфы-посадницы. Под Каширой и Коломной огромные курганы и крепостной вал, каширцы и коломенцы роют в них бани, нимало не любопытствуя узнать, откуда взялись такие насыпи. И так далее, вплоть до Малороссии; там опять пошли в народ исторические воспоминания, предания и легенды одна другой поэтичнее.

Всему, говорят, татары виноваты!.. Так ли это?.. Главная причина всему закоснелая дикость, невежество, безграмотность и отупение, – неизбежные последствия трехсотлетнего крепостного состояния.

Все эти замечания, вызванные, поверьте, весьма горьким чувством, без сомнения, рассердят патриотов и помещиков; помещикам, которые, в настоящее время, стоят за крепостное право, не отвечает уже ни один человек, сколько-нибудь себя уважающий; что же касается патриотов, они раздражением своим докажут, что действительно люди русские... в том смысле, конечно, что потеряли привычку слушать правду и поражаются ею, как будто чем-то чудовищным.

Проехав St. Brieuc на третьей или четвертой станции, М. В., я и наш юный француз были перепуганы самым неожиданным образом. Начало уже смеркаться и нас клонило к дремоте, как вдруг, непосредственно за нашими спинами, у входа под кожаную арку дилижанса, послышался шорох и вслед за тем сиплый, надорванный голос прокричал:

– Ohé, cocher!.. Ohé? avons nous passé St. Jouan?..[1]

Откинувшись в сторону, мы увидели солдата с заспанным лицом и дыбом всклоченными волосами.

– Нет, еще не проехали, – отвечали ему кондуктор и кучер, – мы вам скажем, когда придет время.

Успокоив таким образом солдата, который снова нырнул под арку и улегся, кучер сообщил нам, что пассажир этот не кто другой, как контрабандный товар; не имея чем заплатить за дорогу, солдат этот спрятался на империале, когда дилижанс стоял еще в сарае; кучер и кондуктор пожалели его и обещали даже довезти до места назначения.

---

[1] Эй, кучер!.. Эй? проехали Сен-Жуан?.. *(фр.)*

— C'est un pauvre diable après tout; ça ne ruinera pas l'entreprise![1] — промолвил кондуктор.

Несмотря на свою инвалидную наружность, наш coucou подвигался, однако ж, очень исправно. Всего удивительнее было, что кучер ни разу не ударил по лошадям и лошади ни разу не вышли из мерной рыси. Сначала мы не переставали волноваться и поминутно обращались к кондуктору с замечанием, что, если так пойдет дело, мы всюду будем опаздывать и никогда не приедем.

— Не беспокойтесь! — весело возражал кучер, вынимая из кармана серебряную луковицу, весом с фунт по крайней мере, — вот они, глаз не спускаю; если мы где-нибудь хоть десятью минутами просрочим, вы получите назад ваши деньги! Allons, hue donc, la Blanche! hue![2] — присовокупил он, дружелюбно покрикивая на лошадей.

И действительно, мы нигде не опаздывали. Дело в том, что здесь, благодаря исправности и порядку, не пропадает секунды времени. Едва показалась вдалеке станция, сменочные лошади уже выведены и дожидаются, без предуведомления рожка; закладка продолжается не долее минуты; здесь не существует жребия, который никогда не кончается, старост, которые никогда не являются и если являются, то для того только, чтобы просить на водку; будьте вы хоть десять раз генералом, вас не прождут лишней минуты против назначенного срока; кондуктор, несмотря на скромную блузу свою, оставит вас на дороге без дальнейших церемоний. Много времени выигрывается через то еще, что никогда не случается, чтобы лопались постромки, соскакивали гайки и кучер ронял бы свой кнут, аккуратно на каждой версте.

Путешествуя впоследствии по Нормандии, Германии и Англии, я всюду встречал тот же порядок. Едешь, кажется, едва двигаешься, а приедешь всегда вовремя, — минута в минуту.

С зарей мы прибыли в Rennes;[3] мы простились с дилижансом и пересели в вагон.

Тут все переменилось; нас словно сразу перенесли из мирного уединения в шумное общество; оглу-

---

[1] Это несчастный в конце концов; мы от этого не разоримся! *(фр.)*

[2] Пошла, ну же, Бланш! ну! *(фр.)*

[3] Ренн.

шенные свистом машины, грохотом тачек, навьюченных чемоданами, быстрым говором с резким ударением на *р*, — мы в первую минуту потеряли голову и сами начали суетиться без всякой надобности. На каждой станции толпа прибывала, а вместе с ней и давка; везде показывались тоненькие барышни с черными глазами, черными волосами и неуловимо скорыми движениями, толстые и худощавые маменьки, с седыми буклями, трепещущими увядшими цветами на шляпках и пестрыми шерстяными cabats[1] в руке; разжиревшие буржуа, с животами и оплывшими лицами; нянюшки с детьми, разодетыми как новые куколки; вострые и косые физиономии, увенчанные chapeau claque[2] или bonnet de police;[3] франты, торопливо докуривающие сигары, и проч., и проч.; все это бросалось из стороны в сторону, тискалось друг на дружку, призывая кондукторов, и кидалось в вагоны, которые уносили нас далее.

Вот промелькнули Laval, Le Mans, Chartres[4], куда так давно мечтал я доехать, чтобы взглянуть на знаменитый собор. Чем ближе продвигались мы к Парижу, тем знакомее звучали в ушах названия мест, городов, станций, — и тем более усиливалось лихорадочное нетерпение. Несмотря на быструю езду, дома мелькали непрерывными рядами; часто то тут, то там показывались виноградники, усеянные народом; к сожалению, картина сбора винограда исчезала так же быстро, как и все остальное.

— Versailles![5] — прокричали кондукторы, пробегая мимо вагонов.

Я поспешно выглянул из окна; передо мною воздвигалась гладкая стена, оклеенная сверху донизу желтыми, красными и синими афишами, с аршинными буквами. Опять свисток, опять поехали.

— Который час?

— Без четверти четыре!

— Через четверть часа мы в Париже!

— Где он? Не видать ли? — слышалось в разных концах вагона.

---

[1] вязаная сумочка *(фр.)*.
[2] низкая фетровая шляпа *(фр.)*.
[3] кепи с длинным козырьком *(фр.)*.
[4] Лаваль, Манс, Шартр *(фр.)*.
[5] Версаль! *(фр.)*

Вот наконец и Париж; паровоз остановился; — приехали!

Мы спустились по широкой каменной лестнице в огромную залу, где пассажирам раздаются чемоданы; слева находятся большие, настежь раскрытые ворота, откуда видна часть города, усеянная куполами и башнями, исполосованная впадинами улиц и убегающая в глубину туманного горизонта; слева рисуется купол Инвалидов, освещенный заходящим солнцем. Ворота эти нарочно, кажется, для того только и устроены, чтобы раздражать путешественника; раздача чемоданов происходит неимоверно долго; они доставляются сверху и спускаются в залу через потолок на трапах, которые вдесятеро больше производят грома, чем делают дела. Мы ждали около часа, прежде чем получили багаж и уселись в карету.

— Oú voulez vous aller? [1] — спросил кучер в лакированной шляпе и красном жилете.

— Rue d'Amsterdam, 77!.. [2]

Это был адрес Дюма-отца, который просил меня остановиться у него в доме, когда я буду в Париже. Сам Дюма в это время путешествовал.

Прежде еще, чем думал я когда-нибудь быть в Париже, я знал его, как свои пять пальцев, — знал лучше даже Петербурга. Благодаря бесчисленным описаниям, гравюрам, политипажам и литографиям, которыми французы знакомят целый свет со своею столицей, я мог начертить на память главные линии огромного города; фасад каждого замечательного здания, памятника, площади встречались, как давнишние знакомые.

— Вот проехали мы отжившее Сен-Жерменское предместье, — пояснил я М. В., который знал Париж так же мало, как я Пекин, — сейчас выедем на набережную... Вот и Сена! Видите, направо вдалеке эти две башни, — это церковь Богоматери; а вот впереди, прямо против нас, Лувр и рядом с ним левее Тюльерийский дворец. Еще левее Тюльерийский сад... а вот и Елисейские поля показались!..

Беседуя таким образом, миновали мы Сену и въехали на площадь Согласия. Вот и улица Риволи направо. Она показалась мне, с первого взгляда, одно-

---

[1] Куда желаете ехать? *(фр.)*

[2] Улица Амстердам, 77!.. *(фр.)*

образной; проехав еще несколько времени по прямому направлению, я снова взглянул направо; мне хотелось убедиться, верное ли понятие составил я себе о бульварах: ничего, хорошо! То, что я воображал, оправдывалось. Миновав церковь Магдалины, мы долго подымались по шумной, суетливой улице; наконец фиакр остановился перед узеньким трехэтажным домом с широкими коричневыми воротами.

Почти в то же время в воротах отворилась маленькая дверь и на пороге показалась худощавая женщина, в чепце и серых буклях.

Я рассказал ей, в чем дело.

— Мы вас давно ждем, — сказала она. — Господин Дюма предупредил письмом, что вы будете; войдите, m-r Grégory [1], войдите... все для вас давно приготовлено...

Она ввела нас в кухню, потом в темную комнату, и мы начали подыматься по витой лестнице в третий этаж. Было уже около семи часов; сумерки наводняли дом таким мраком, что ничего нельзя было рассмотреть. При пламени свечки, которую зажгла женщина, введя нас в маленькую комнату, я мог только различить зеленые шерстяные обои, громадный брюхастый умывальник и широкую постель, кругом простеганную ватой и обитую пестрой богатой материей.

Тереза (так звали кухарку, экономку и bonne [2] Дюма) предложила сходить в ближайший трактир за обедом, предлагала ванну и потом постель для отдохновения после дороги; но до того ли было! Мы принялись одеваться с такой поспешностью, как будто завтра Париж должен был непременно провалиться и нам никогда уже больше не удастся его видеть.

Взяв у Терезы ключ от наружной двери дома, мы чуть не бегом пустились прямо к бульварам.

На улицах сиял уже газ; возни и шуму было, казалось, еще больше, чем когда, час назад, мы проезжали.

У церкви Магдалины я остановился, чтобы перевести дух.

— Послушайте, М. В., — сказал я, — куда же мы так бежим?..

— Как? Ведь все это надо успеть осмотреть, — по-

---

[1] мосье Грегори *(фр.)*.

[2] гувернантку *(фр.)*.

смотрите-ка, что за великолепие! — подхватил М. В., порываясь вперед

— Великолепие останется, не убежит от нас; вы забыли, кажется, что мы сегодня почти ничего не ели...

— Забыл, — отвечал он, не слушая и снова порываясь вперед.

— А я так не забыл и умираю от голода... отчасти также и от усталости...

В отыскании кафе не представлялось затруднений; кругом было их несколько. Мы вошли в первый попавшийся на глаза, отлично, хотя торопливо, пообедали и снова побежали.

Я едва поспевал за моим товарищем.

Первое наше знакомство с Парижем было очень эффектно: по впечатлению действительно трудно найти что-нибудь подобное парижским бульварам, особенно при вечернем освещении. Непрерывный ряд великолепных магазинов, залитых газом и ослепляющих страшным разнообразием и пестротой своих товаров, роскошные кафе, облепленные внутри зеркалами, повторяющими сотни огней, шумный говор толпы, крики продавцов, неумолкаемый гул карет и омнибусов, хлопанье бичей, движение взад и вперед, — все это с первого раза производит действие страшного утомления и, вместе с тем, какого-то сладкого опьянения. Чувствуешь, что голова идет кругом, глаза ослепляются, ноги подкашиваются, а между тем оторваться нет силы и все идешь да идешь вперед.

Так подвигались мы, то увлекаемые толпой, то сами за ней увлекаясь.

Дойдя почти до Porte St. Martin[1], я почувствовал, что решительно не могу идти далее; еще десять шагов, и я повалился бы на мостовую.

— Ну, можно ли быть таким слабым, можно ли? — повторял М. В., бросая во все стороны жадные взгляды, — можно ли!.. Я готов проходить таким образом четверо суток не отдыхая, — ей-богу, готов.

— Покорно вас благодарю, — отвечал я, едва имея силы, чтобы позвать кучера.

Мы взяли фиакр и покатили на улицу d'Amsterdam.

На другое утро первым нашим делом было осмотреть дом, в котором мы поместились.

Дом Дюма-отца интересен в том отношении, что

[1] Порт Сен-Мартен *(фр.)*.

он сразу знакомит вас с характером своего владельца, — человека, одаренного артистическим вкусом и еще более — самой непостоянной, самой капризной фантазией. На всем следы роскоши, страшной неряшливости и всюду великолепные затеи, остановленные при самом начале. Драгоценный резной шкаф шестнадцатого столетия стоит в комнате, обитой бархатной материей, которая местами съедена сыростью, местами висит лохмотьями; белье, связки бумаг, книги, покрытые пылью, в беспорядке покрывают редкую, очень дорогую мебель. В гостиной второго этажа потолок и стены отделаны в китайском вкусе и обтянуты удивительной китайской тканью; тут же старый, ободранный ситцевый диван, загроможденный разрозненными книгами, рамами, обломками разной мебели и всяким пыльным хламом. Две-три отличные картины и между ними копеечные литографии. В третьем этаже множество очень дорогого китайского фаянса и фарфора; но все это расставлено зря и покрыто паутиной. Там же, из террасы, Дюма устроил маленький зимний сад: зеленый трельяж на стенах, вьющийся плющ, тропические растения и посреди них бронзовая статуя Аполлона, — все это очень мило; но пол сгнил и во многих местах обвалился; сверху в крыше недостает многих стекол, и при каждом дожде здесь происходит наводнение. Дюма отделал этот дом для какого-то праздника; с тех пор он больше о нем не заботится, мало даже живет в нем; большей частью ведет он жизнь кочевую.

Из задних двух комнат нижнего этажа выход в маленький садик, представляющий крайнюю степень запустения; на дне его возвышается шале, очень красивое деревянное здание, которое выстроил сам Дюма и которое, неизвестно почему, получило название «Нельской башни». Большое итальянское окно открывается в сад; под окном груда мусора и сора за десять лет. Окно освещает небольшую комнату, стены которой покрыты сверху донизу сосновыми полками, заваленными связками бумаг и рукописей; в этой комнате постоянно сидят несколько наемных писцов; обязанность их состоит в том, чтобы каждый новый роман переписывать в числе нескольких экземпляров для рассылки в Мадрид, Бельгию и Вену. Три крошечные комнатки занимают верхний этаж этой Нельской башни; по всему видно, Дюма хотел здесь устроить изящ-

ный, комфортабельный приют; но тут же ему это надоело, и он все бросил, чтобы увлечься другой фантазией. Несмотря на свои шестьдесят лет, он не может успокоиться; он вечно чего-то ищет, чего-то ждет, остановится на каком-нибудь несбыточном, фантастическом проекте, говорит о нем и радуется ему, как ребенок, и вдруг, совершенно неожиданно, перестает о нем думать и даже сердится, когда ему об этом напоминают. Так купил он место в окрестностях Парижа и выстроил там свою виллу Монте-Кристо; дом стоил более восьмисот тысяч франков; продали его за сорок; я нахожу и то дорого; чего стоило новому владельцу осушить один искусственный пруд и вытащить из середины его огромную искусственную скалу, которая должна была представлять остров Монте-Кристо, созданный Дюма, этим фантазистом и увлекательным рассказчиком в литературе и балованным младенцем в жизни.

Спустившись в садик, мы встретились и познакомились тут же с тремя господами: один был доверенный по делам Дюма, другой секретарь Дюма, третий также секретарь, но только не Дюма, а другого, очень также известного французского писателя. «Что за секретари такие и в чем может состоять их должность?» – думал я, стараясь понять, какая надобность литератору или художнику в секретаре или chargé d'affaires[1]. Впоследствии, познакомившись короче с артистическим кругом Парижа, я открыл, к великому моему удивлению, что не было почти ни одного сколько-нибудь известного литератора, живописца или скульптора, который не имел бы своего секретаря. Должность такого лица заключается в том, чтобы исполнять мелкие поручения, относить письма на почту, делать визиты заимодавцам, продавать книжки и театральные билеты, посылаемые автору, прислушиваться за дверью, как издатель высчитывает автору наполеондоры, и получать из числа их ровно столько, чтобы не умереть с голоду. Такие поручения, конечно, могли бы исполнить лакей или la bonne; но тогда автор лишен был бы удовольствия припутывать к своему разговору выражение: mon sécrétaire![2]

Чтобы дать вам полное понятие о секретарях,

[1] поверенному в делах *(фр.)*.

[2] мой секретарь! *(фр.)*

стоит привести разговор мой с одним из них, тем самым, который жил в доме известного N. Он оказал мне несколько мелких услуг и накануне моего отъезда пришел проститься. В это время я укладывался; придумывая, чем бы отблагодарить его, я в ожидании предложил ему выбрать на память любой из моих новых галстуков.

— Oh, m-r, vous étes vraiment tpor magnifique![1] — воскликнул секретарь таким тоном, как будто я делал счастье его жизни.

— Помилуйте, это безделица... это так, на память... — бормотал я.

— Безделица! — подхватил он, делая сильные жесты, — une bagatelle, fichtre! comme vous y allez! Une bagatelle![2] — промолвил он, выбирая самый длинный, яркий галстук, — это безделица! Обладать таким галстуком было любимейшей мечтой моей жизни! (Секретарю было уже лет сорок, и у него была дочь лет шестнадцати.) Вот скоро двадцать лет, как я при N., и никогда, «au grand jamais»[3] не подумал он предложить мне что-нибудь подобное... Но бога ради, — заключил он, понижая вдруг голос и боязливо оглядываясь во все стороны, — бога ради, при встрече с N. не говорите, что вы мне что-нибудь дали... Oh, il faut tout lui cacher, — tout, absolument tout!![4]

Если уж француз начал спускаться под гору рабства, он доходит до самой глубины пропасти; если француз глуп, — такого глупца не сыщешь уже в целом свете: у них никогда, ни в чем не бывает середины.

Раскланявшись с новыми нашими знакомыми, мы снова пустились бродить по бульварам. Насилу мог я убедить М. В. последовать моему совету и с первого дня не бросаться осматривать памятники, здания и достопримечательности. Приезжая в большие города, я постоянно держался такого правила и никогда в этом не раскаивался. Начав знакомство с городом беготней по музеям и церквам, выносишь только смутное, неполное впечатление, сумбур в голове, мигрень, лом в шее и боль в ногах. Необходимо прежде осмотреться хорошенько, усвоить себе общую физиономию города, успокоить в себе то внутреннее волне-

---

[1] О, мосье, в самом деле, вы слишком великодушны! *(фр.)*
[2] безделица, черт побери, по-вашему! Безделица! *(фр.)*
[3] никогда *(фр.)*.
[4] О, от него нужно все скрывать, — все, абсолютно все!! *(фр.)*

ние и беспокойство, которое невольно овладевает человеком в первые дни после приезда в новую страну или новый город.

В Париже такое успокоение более, чем где-нибудь, необходимо. Уличная, фланерская жизнь в самом деле здесь очень увлекательна; надо исчерпать ее до дна, чтобы она окончательно утомила и надоела; в противном случае, она долго не даст покоя и постоянно будет отвлекать вас. Во многих отношениях здесь нельзя даже считать фланерство праздным, пустым препровождением времени. Так как почти все население Парижа живет на улицах, фланерство дает возможность знакомиться с нравами, которые часто интереснее памятников. Кроме того, исторический интерес памятников, — большею частью заказных и официальных, — далеко не так говорит воображению, как иногда самая обыкновенная улица, площадка, фасад какого-нибудь вовсе незаметного дома. Париж пережил так много, жил такой лихорадочной и часто трагической жизнью, что стоит обратить глаза на любое место, чтобы перед вами развернулись страницы, исполненные самой захватывающей занимательности. Огромные перестройки во многом, конечно, изменили физиономию прежнего Парижа, но все же не настолько, чтобы усыпить любопытство и заставить забыть прошлое.

Вот хоть бы Тюльерийский дворец и сад, куда незаметно привело нас фланерство. Перед дворцом кипит работа; террасу со стороны Сены превращают в крепостной гласис, с которого, при надобности, *свободно* можно будет обстреливать всю окрестность дворца и сада; гласис обкладывают дерном, везде устраивают на нем клумбы; уже на многих клумбах разводят цветы. Толпы дам, детей и кавалеров восхищаются травою, цветами и тем еще, что Наполеон неусыпно печется об украшении столицы. Но разве терраса эта при своем теперешнем виде и самый фасад дворца не вызывают, все равно, других воспоминаний...

Характер французов решительно ставит в тупик; не знаешь, чему больше удивляться, силе или слабости, огню или быстроте охлаждения, или мелочности, соединенной со страшной непоследовательностью и легкомыслием; нравственная эта мозаика отражается во всем: в истории народа и самой его жизни. Рождается ли здесь великая мысль, — соседний народ принимает

ее только наполовину, и выходит из этого важный результат; у французов великая эта мысль часто оканчивается ничем, *пшиком*. Француз кажется физически таким жиденьким, а между тем, как недавно еще, завоевывает он полмира, производит работы под силу одним титанам; строит Тюльерийский дворец, Лувр, перебрасывает везде колоссальные мосты, усыпает всю страну рельсами, в какие-нибудь пятнадцать лет ломает весь Париж и строит на его месте совсем почти новый город. Он мелочен, легкомыслен, — и это не мешает ему писать отличные книги, двигать вперед науку, перехитрять в политике соседей, вести торговлю так же серьезно и в таком же масштабе, как в Англии.

Чтобы убедиться в последнем, стоит бродить, как делали мы с М. В., по целым дням на улицах. Весь нижний, часто даже второй этаж парижских домов превращен в один сплошной магазин. Все эти миллионы предметов, выставленные в окнах и наполняющие лавки, произведены самой Францией без посторонней помощи: все сделали Лион, Бордо, Марсель, Руан, Тур и проч. и проч. Нет в целой Франции города, который не рвался бы опередить другой мануфактурною своею деятельностью и не доставлял бы Парижу своего промышленного образчика. Все эти предметы вошли в общее употребление, сделались общей потребностью, покупаются целым миром, который, в обмен, отдает французам свое золото.

Случалось нам заходить в большие магазины: движение внутри ровно ничего не значит пред тем, которое происходит в задних комнатах: там толпы приказчиков исключительно заняты упаковкой товаров, предназначенных для отправки во все возможные страны света, за все возможные моря.

Только общая потребность этих изделий и может объяснить громадное богатство Франции и Парижа, который ежегодно тратит сотни миллионов на украшение своих улиц и введение новых удобств.

В тот же день зашли мы в Пале-Рояль; он так мне понравился, что потом я часто туда заглядывал.

Назначение Пале-Рояля то же, что наших гостиных дворов; но что это за разница! Уже одно здание не может идти в сравнение; оно поражает своими размерами; оно свободно может вместить пять таких построек, как петербургский гостиный двор. Под арка-

ми, идущими вокруг сада, тянутся сплошной стеклянною стеною самые роскошные магазины; здесь большей частью производится торговля золотыми изделиями; голова кружится при виде этих гор бриллиантов, золотых драгоценных вещей по части тонкой orfèvrerie[1] и bijouterie[2]. При слабом характере избави боже отправиться сюда с молоденькой женою или возлюбленной, – особенно парижанкой; человек пропал по прошествии получаса! Не знаю, искусство ли, с которым выставлены товары, блеск ли освещения, суетливое ли движение взад и вперед, – но мне казалось, что в любом из этих пассажей больше торговли, чем на всем Невском проспекте. В углах Пале-Рояля дворы, – и снова магазины, снова шум и движение. Но это еще не все: внизу под сводами подвального этажа место также не гуляет.

Проходя мимо одной лестницы, ведущей вниз, услышали мы трескотню барабана, и в то же время глазам предстала надпись на стене схода: «Café des aveugles et du sauvage»; ну, как не зайти? При входе человек раздает карточку, род афиши, вот она от слова до слова:

Tous les jours.

Scénes comiques et populaires.
Séance du Ventriloque
par l'homme à la poupée, connu en Europe sous le nom
de Broudieu.
Exercices du savage,
chants, solos de violon et de flûte, éxécutés par un orchestre
composé de musiciens Aveugles[3].

---

[1] золотые и серебряные изделия *(фр.)*
[2] ювелирные изделия *(фр.)*
[3] Ежедневно.

Комические сцены и сцены из народной жизни.
Сеанс чревовещателя
с говорящей куклой, известного в Европе под именем
Брудье.
Пляски дикаря,
песни, соло на скрипке и флейте, исполняются оркестром
слепых музыкантов *(фр.)*.

Мы поспешили сойти вниз.

К великому удивлению нашему, нашли мы там тесную комнату с закопченными стенами и сводами; кругом лепились грязные столики так, что трудно было пройти между ними; задняя стена разгорожена пополам; слева сидят на возвышении пятеро слепых стариков с инструментами; справа на пространстве сажени открывается темная, грязная сцена. В этой клетке крайне плохими актерами разыгрываются народные сцены; тут является l'homme à la poupée, человек с куклой, говорящий таким образом, что кажется, как будто говорит кукла, и наконец le sauvage. Дикий этот не кто другой, как тощий француз, одетый в трико тельного цвета, с перьями на голове и на поясе. В одном только афиша сказала правду и не преувеличила: представления точно продолжаются круглый день; каждые десять минут прислужник обходит посетителей и провозглашает, что если им угодно остаться долее, следует спросить новую порцию чего-нибудь.

Снова мелкота и недостойное шарлатанство рядом с истинным великолепием и громадностью.

Париж тем хорош для праздного человека, что последний может составить себе программу увеселений не только на день, но впредь на целую неделю. Пообедав в Пале-Рояле, мы спросили афишу, вместо нее нам подали газету, усыпанную названиями театров, пьес и актеров.

— Боже мой? Боже мой! — повторял с изумлением М. В. — куда же идти?..

— Разумеется, прежде всего в Comédie Française;[1] все нам благоприятствует: сегодня, как нарочно, дают «Скупого» Мольера и самый театр под боком.

Мы отправились. Но подле театра стояло уже такое множество народа, что надо было отложить надежду достать место.

— Если вы хотите взять ложу или stalle d'orchestre[2], — сказал нам обязательно сосед, заметивший, вероятно, наше неудовольствие, — обратитесь прямо в кассу, там, быть может, еще достанете...

Мы обошли кругом театр, вступили на двор и отыскали кассу, но к кассе точно так же нельзя было продраться.

---

[1] Комеди Францез *(фр.)*.
[2] кресло в партере *(фр.)*.

— Мы, кажется, соотечественники,— неожиданно пролепетал подле меня господин.

— Вы русский?..

— Да... я даже вас знаю... мы встречались...

— Извините, право, не помню...

— Странно,— проговорил соотечественник, переменяя вдруг тон,— мы едва сошлись, как уже приходится вас беспокоить... Я хочу взять ложу бельэтажа... и что ж? — оказывается, что у меня недостает пяти франков... не можете ли вы...

— Toutes les places sont prises![1] — громовым голосом прокричал кассир, высовываясь из форточки.

Мы поспешили нырнуть в толпу, которая хлынула в двери, и таким образом потеряли из виду соотечественника.

Вечер проведен был, однако ж, в театре. Но, боже, что это за безобразие! Мы попали в Ambigu Comique[2], где давали пьесу: «Les fugitifs»[3]. Много приводилось видеть на сцене всякой чепухи, оскорбляющей вкус, слух и зрение, но подобной я еще никогда не видывал. Пьеса из пяти актов представляет семейство добродетельного плантатора, которое скитается по первобытным лесам, убегая от взбунтовавшихся диких. Интерес пьесы сосредоточивается на жене плантатора,— матери многочисленного семейства.

Никогда еще баснословный великан не рвал с таким остервенением баснословных своих печенок, как разрывала себя на части эта несчастная, баснословная мать и супруга. Впрочем, и было из чего: уже в первом действии дикие в ее глазах убивают ее мужа; потом, последовательно, одного за другим, убивают детей (по ребенку в каждом действии); наконец, она остается одна, на скале, окруженная морем; но и тут автор не дает ей отдыха; он вздувает море, которое стремится на скалу и грозит залить героиню пьесы. Я предвидел минуту, когда несчастная актриса, не зная уже чем выразить скопление в груди своей стольких бедствий, разорвет на клочки свое платье, оторвет себе сначала ноги, потом голову и бросит все это в публику. От всей души жаль было не мать пьесы, но бедную актрису; под конец четвертого действия она совсем потеряла голос. И так беснуется она каждый

---

[1] Все места заняты! *(фр.)*

[2] Амбигю Комик *(фр.)*.

[3] «Беглецы» *(фр.)*.

божий вечер, в продолжение многих месяцев; пьеса «Les fugitifs» выдержала более полутораста представлений; при мне давали ее по возобновлении. Я нимало не удивился, когда рассказали мне, что молоденькая и очень даровитая актриса, *создавшая* роль матери в этой пьесе, не выдержала пятидесяти представлений, слегла в постель и умерла от горловой чахотки. Надо видеть, с какой жадностью рвутся смотреть такие гадости; трудно достать место. Во время этого представления подле меня сидела очень молоденькая, миленькая и бедно одетая гризетка; она поминутно закрывала лицо руками, пряталась за мое плечо и обливалась горькими слезами при каждом новом несчастии матери.

— Зачем же вы здесь остаетесь, если вам так тяжело видеть все это? — говорил я ей, — не лучше ли оставить театр... Пойдемте, я вас выведу отсюда.

— No, m-r, je veux rester... Cela m'effraye, mais j'aime ça... Cela me fait plaisir d'avoir peur![1]

Зала Ambigu вполне отвечает своему репертуару: нестерпимо душно, грязно, тесно, неудобно; чтобы сесть, надо сначала опустить свое место, приделанное к пружине, которая подымает сиденье не только когда встаешь, но даже когда сидишь на нем; локти и колени буквально девать некуда; не постигаю, как устраиваются парижанки, чтобы уместиться здесь со своими кринолинами! А между тем весь партер усеян ими; зато только и слышишь:

— M-r, vous m'abimez![2]

— M-me, ce n'est pas ma faute![3]

Занавес падает, начинается антракт. «Ну, — думаешь, — отдохну от криков и раздражающих нервы впечатлений»; не тут-то было! едва спустили занавес, в залу врывается несметное множество торгашей обоего пола, которые взапуски начинают бегать по скамьям и кричать во все горло и под самым ухом: «Journal du soir! Location des lorgnettes! Vert-Vert! Le programme de la piàce avec le nom des acteurs! L'Entracte! Eventails à un sou!»[4] — и т. д.; словом, наступает совер-

---

[1] Нет, мосье, я хочу остаться... Это меня пугает, но я люблю это... Мне доставляет удовольствие бояться! *(фр.)*

[2] Мосье, вы меня мнете! *(фр.)*

[3] Мадам, я не виноват! *(фр.)*

[4] Вечерняя газета! Прокат лорнетов! Вер-вер! Программа пьесы с именем актеров! Антракт! Веер за одно су! *(фр.)*

шенный ад и радуешься до смерти, когда выберешься на бульвар и дохнешь свежим воздухом.

Сколько потом ни скитался по парижским театрам, повсюду выносил то же раздраженное, недовольное чувство. Исключение составляют только: Comédie Française, Итальянская Опера, Gymnase[1], театр Пале-Рояля, Комическая Опера. Грохот в антрактах и теснота почти та же; но здесь по крайней мере все вознаграждается хорошим репертуаром и актерами.

Никогда не забыть мне также театра Porte St. Martin и его пьесу «Фауст», о которой, за три недели до первого представления, кричали все газеты Парижа Автор, Денери, взял из «Фауста» Гете одно только название; не довольствуясь поэтическими сторонами первой и второй части гетевского произведения, Денери наполнил свою пьесу такими эффектами, которые, конечно, никогда не снились Гете. Так, например, при поднятии занавеса вы видите греческих танцовщиц, пляшущих вокруг саркофага, с возлежащей на нем Еленой; внезапно сцена темнеет; Елена и танцовщицы бегут за кулисы; тогда, посреди мрака, раздается адский хохот Мефистофеля; хохот этот, сопровождаемый каждый раз внезапным мраком, повторяется по нескольку раз в каждом действии. У танцовщиц, для вящего эффекта, юбки разрезаны с боков до корсажа, так что, при каждом пируэте, публике доставляется удовольствие видеть почти обнаженных женщин. «Foost! Foost!»[2] – поминутно пищит Гретхен; «Grétquène! Grétquène!»[3] – отвечает ей с другого конца сцены Фауст; словом, отвратительно! Столь хваленый Дюмен (le beau Dumaine![4] – как называют его парижане), игравший Фауста, весьма плохой актер из школы неистовых. На месте директора Ambigu, я непременно пригласил бы Дюмена играть роль матери в пьесе «Les fugitifs»; это тем более возможно, что у Дюмена есть что-то женское в лице, и, наконец, на бульварных театрах, по-видимому, больше значит эффектная наружность, чем дарование. У актрисы роскошные белокурые волосы, – кончено, роль ее готова; она распустит волосы и будет играть Гретхен; по поводу роскошных волос напишут даже специаль-

---

[1] Жимназ *(фр.)*.
[2] Фауст! Фауст! *(англ.)*
[3] Греткен! Греткен! *(фр.)*
[4] красавчик Дюмен! *(фр.)*

ную пьесу, в роде «красавицы с золотыми волосами»; человек имеет сходство с Наполеоном I, довольно; пишется пьеса «Les pyramides d'Egypte»[1], в которой актер играть будет Наполеона I, и т. д. Не произвели также на меня большого впечатления столь прославленные декорации парижских театров; я ждал гораздо большего; даже в опере и балете не раз вспомнишь декорации: Девы Дуная, Гитаны, Озера волшебниц, Фенеллы и Жидовки, написанные Роллером.

Жалкое состояние большинства театров и самого репертуара есть неминуемое следствие того спекулятивного духа, который до крайней, невозможной степени овладел всем Парижем. В руках теперешних директоров театры совершенно утратили свое назначение; театры ничего больше, как торговля, спекуляция. Какое дело спекулятору, что в театре его извращается вкус и даются в ужас приводящие пошлости; он знает, что парижане не могут жить без театра, как рыба без воды; что ни давай в театре, публика пойдет поневоле; он рассчитывает также на иностранцев, которых ежедневно прибывает и убывает в день по десяти тысяч; защищенные эгидой наполеоновского порядка, воспрещающего la licence[1] в зале театра, спекуляторы не боятся, чтоб вытащили их на сцену и забросали печеными яблоками. Licence та же здесь, что прежде, но только она перешла теперь в руки сильных и капиталистов. Нельзя себе представить, как ею пользуются, — хоть бы эти самые директоры. Раз вечером, у одного театра, я встретил знакомого актера, который занимал в труппе одно из самых видных мест.

— Что вы здесь делаете? Играете сегодня? — спросил я.

— Нет, пришел за другим делом! — возразил он, явно сдерживая негодование, — как видите, я третий вечер прихожу с тем, чтобы получить сорок франков, которые мне здесь должны два месяца; директор и кассир избегают встречи со мной; не будь у меня жены и детей, не знаю, чего бы я тут не наделал! Не забудьте, они не отдают денег, которые давно уже заработаны, на которые я имею полное право, словом, мою собственность! А между тем я обязан по контракту играть каждый вечер, каждое утро ходить на

---

[1] «Пирамиды Египта» *(фр.)*.
[2] вольность *(фр.)*.

репетицию, и, в случае малейшей неисправности с моей стороны, с меня берут огромные штрафы.

— Но неужели из-за такой безделицы, как сорок франков...

— Безделицы! — перебил он. — Знаете ли, сколько получаю я в год всего-навсё жалованья?.. Играя здесь первые роли, я получаю 2500 франков и по четыре франка за представление...

Это происходило подле театра Bouffes-Parisiens[1], который каждый день битком набит и директор которого Оффенбах беспрерывно задает блистательные праздники, вечера и пиры! Но что прикажете делать актерам и публике и как последней не рваться в театры, когда все почти газеты и фельетонисты куплены директорами; послушайте только, какие чудеса рассказывают каждое утро о пьесах, актерах, директорах и декорациях! Многие газеты принадлежат даже директорам как собственность; они печатают на их столбцах все, что заблагорассудится. Драматические писатели, за редкими исключениями, относительно директоров в том же почти положении, как актеры; директор — полный хозяин; от него зависит принимать или не принимать на свой театр произведения писателя; он часто сам дает ему тему пьесы, основанной большей частью на таких эффектах, которые, по соображениям директора, могут давать выгодные сборы. В тот самый день, как заказана пьеса, заказывается также статья; купленный фельетонист говорит в ней, что такой-то директор положительно разоряется, что он истратил более 200 тысяч на постановку новой пьесы, успех которой должен затмить все, что до сих пор было видано, и т. д.

Драматическая литература дошла теперь во Франции до последнего упадка. В мое время начался процесс между авторами пьесы «Cricri»[2] и театральным машинистом; последний доказывал, что ему следует выделить из сбора равную часть с автором, потому что успех пьесы принадлежит ему собственно. Действительно, без превосходных машин и превращений пьесы бы не было; она очевидно сочинена так только, для проформы: нельзя же подымать занавес для одних превращений! Машинист выиграл процесс. Дру-

---

[1] Буфф-Паризьен *(фр.)*.

[2] «Крикри» *(фр.)*.

гой машинист, на другом театре, *сочинил* большую змею, которая всползала на дерево. Этого было достаточно, чтобы, месяц спустя, сотни газет призвали Париж смотреть драму «Les pirates de la savance»[1], в которой le beau M. Dumaine убивает эту змею; только слышно было: «Avez-vous vu le fameux serpent?..»[2] Не знаю, как здесь поладил автор с машинистом и кому пришлось получить больше из сбора.

Переходя от театра к литературе, встречаешь и здесь тот же дух спекуляции, то же пользование средствами слабого и безденежного, то же личное угнетение и эксплуатацию; здесь место директоров занимают редакторы больших газет и журналов и издатели, которых расплодилось теперь в Париже больше, чем литераторов; они захватили последних в свои когти и деспотически управляют ими; но о литераторах будет еще время поговорить.

Пора было, однако ж, оставить праздную жизнь. Париж тем хорош, что рядом с грязью физической и нравственной, рядом с дрянью и мелкотой, которым не приищешь названия, беспрерывно встречаются предметы, действительно заслуживающие удивление; к тому же фланерская, праздная жизнь произвела на меня свое действие: я страшно утомился и чувствовал, что в настоящее время по крайней мере (за будущее я не ручался) она не увлечет меня, не помешает пожить другой жизнью.

Товарищ мой был совсем другого мнения. Эти два-три дня фланерства поглотили его совершенно. Он ничего уже не хотел слышать о достопримечательностях и предметах, *вызывающих на размышление;* уличная жизнь произвела на него совсем другое действие: она засасывала его все глубже, подобно тому, как засасывается крупичное зерно, попавшее в мельничный кузов во время самого быстрого порханья жернова. Каждый день пропадал он с восьми часов утра и никогда не возвращался ранее полуночи. Всего удивительнее было, что М. В. ни слова не говорил по-французски и не имел в Париже ни одного знакомого. Где он скитался, как находил дорогу, с кем беседовал, все это оставалось неразгаданной тайной. Из разговора его я мог узнать только, что он исходил верст тридцать, никуда

---

[1] «Пираты саванны» *(фр.)*.
[2] Видели вы знаменитую змею?.. *(фр.)*

решительно не заходя, кроме кофейной, где завтракал, обедал и ужинал. Возвращался он обыкновенно страшно утомленный, падал на постель, подпирал голову ладонью и, размахивая в воздухе другой рукой, произносил умиленным голосом:

— Боже мой, что это за ножки!.. Боже, что за ботинки!.. Боже! Боже!! — после чего он опускался на постель и мгновенно засыпал непробудным сном праведника.

Я начал свои похождения с Лувра.

Ничего не скажу вам о старом здании и новых, изумительно громадных и оконченных постройках, соединяющих старый Лувр с Тюльерийским дворцом. Сотни раз говорилось об этом несравненно подробнее и лучше, чем я могу это сделать.

Совершенно на том же основании не стану распространяться о картинах, статуях и древностях всякого рода, наполняющих Лувр. Для любителей искусства легкий очерк обо всем этом будет только повторением; равнодушные, которым не любопытно было прежде познакомиться с Лувром, обойдутся с описанием моим известно каким образом: они перевернут страницу.

Наконец, я того убеждения, что каждое искусство имеет свои пределы, переступать которые совсем не следует; сколько, например, ни описывай вам красоту музыкального произведения, вы поймете его и оцените тогда только, как сами услышите; тут литературе делать нечего. Хорошая фотография, хоть бы, например, с Венеры Милосской, даст вам во сто раз больше понятия и удовольствия, чем самое блистательное описание внешних красот статуи; в пластических искусствах особенно все дело в непосредственном, наглядном наслаждении. Изучение законов искусства и эстетики не научит любить и понимать художество, когда нет к нему любви истинной, врожденной, внутреннего, сильного влечения.

Лувр удивил меня, но только совсем в другом отношении, как вы, может быть, ожидаете. Необыкновенное умение французов придавать блестящий вид самой ничтожной, пустой вещи, мастерство и вкус в декоративном деле, умение выставить товар лицом и озадачить наружным эффектом заставили меня думать, что внутреннее расположение Лувра, постановка находящихся в нем сокровищ опрокинет меня навз-

ничь. В этом-то именно я и ошибся. Здесь на обстановку далеко не обращено той любви к предмету, которая поразила меня, например, в Копенгагене в музее Торвальдсена.

Нет возможности исчислить сокровищ Лувра по всем отраслям искусства и археологии; но все это помещено и расставлено самым жалким и недостойным образом. Все галереи, за исключением музея древностей египетских, ассирийских и еще комнат, где находятся картины Ватто, Буше, Греза и их подражателей, освещены очень дурно, хотя во многих из них свет падает сверху.

Множество драгоценнейших картин покрыты грязью и копотью; те из них, которых комиссия реставраторов, учрежденная при Наполеоне I, не успела реставрировать, — так и остались неотчищенными. Знаменитая мадонна Рафаэля «La Vierge aux Anges»[1], известная у любителей эстампов под именем «Vierge d'Edélink»[2], так черна, что кажется завешенной черным крепом; а между тем она одного почти времени с мадонной «Фолиньо» в Ватикане, которая, благодаря теперешнему искусству реставрировать без нанесения вреда картине, свежа, как словно вчера только вышла из мастерской Рафаэля. Свадьба в Кане, Веронеза, чтобы производить полное впечатление, требует втрое больше простора и настолько же больше света. Дивный Михаил Архангел Рафаэля также страшно запущен и висит слишком высоко. В масляных картинах письмо Рафаэля так нежно и тонко, что вполне оценить его можно только на близком расстоянии.

Прогулка по галереям Лувра, которая могла бы быть высшим наслаждением, оставляет неудовлетворенное чувство в том еще отношении, что все картины, особенно итальянских, испанских и фламандских художников, развешены без всякой системы и хронологической последовательности. С умыслом, по заказу, на премию, нельзя разместить картины с большим беспорядком; в Лувре восемь картин Рафаэля; из них три первоклассные; отчего бы не собрать их в одно место? нет, вы проходите бесконечный ряд комнат и вдруг, между произведениями художников конца XIV столетия, перемешанными с Джиорджоне и Вела-

---

[1] «Мадонна с ангелами» *(фр.)*.
[2] «Мадонна Эделинка» *(фр.)*.

скесом, встречаете портрет Кастильоне, писанный Рафаэлем, и другую картину, ему же приписанную: «Портрет Рафаэля и его фехтовального учителя»; обе эти картины повешены против огромных холстов Рубенса, изображающих историю Марии Медичи и которые как нарочно писаны самым декоративным образом, недавно отчищены и поражают своим блеском.

В мое время музей скульптуры переделывался; Венера Милосская и другие замечательные статуи расставлены были в нижней части здания под какими-то мрачными сводами. В одной из комнат Лувра собрана коллекция драгоценных древних кубков, эмалей, резных вещей из кости, образчиков фаянсовых изделий времени Возрождения, блюд Бернарда де-Палисси и проч., и проч.; комната эта чуть ли не самая темная из всех комнат Лувра; все эти драгоценности собраны в шкафах из черного дерева и находятся в полумраке: шкафы прислонены к стенам и свет из окна, направо и налево, проходит только через середину комнаты. Тот же самый недостаток встречается в отделении рисунков; комнаты глубоки и освещены с одной стороны; рисунки расположены в стеклянных конторках, огибающих кругом стены; в глубине комнат нет уже возможности рассмотреть что-нибудь как следует; вместо удовольствия чувствуешь только досаду.

Но, как я уже говорил вам, — и заметьте, так по всей Франции, — рядом с беспорядком, неряшеством и чепухой встречаются удивительные вещи, умнейшие учреждения и постановления.

Так, например, в Лувре круглый год, кроме, кажется, понедельника, все двери открыты настежь; входи кто хочет! От посетителей требуется только, чтобы они ни к чему не прикасались руками, не мешали другим смотреть и вели себя благопристойно; никому не воспрещается громко говорить, гулять и садиться на казенные диваны и кресла.

В том же здании, недалеко от галерей, устроено особое отделение под названием: «Calcographie du Louvre»[1], цель этого отделения прекрасна; сюда поступают все лишние дублеты эстампов, гравюр и снимков картин, статуй и рисунков, находящихся в Лувре и гравированных большей частью французскими художниками; всем этим предметам сделан ка-

---

[1] «Калькографическая мастерская в Лувре» *(фр.)*.

талог по разрядам, и каждый может приобретать их за самую сходную цену, тут же означенную в каталоге.

Я вышел из Лувра с той стороны старинного фасада, который смотрит на Сену. Жаль, что здесь место не возвышенное: вид был бы чудесный на всю часть заречного города, который усыпан древними зданиями и несравненно живописнее нового Парижа.

Вообще вся заречная часть Парижа имеет ту живописность, которую дает только время, ломающее одно, воздвигающее другое, громоздящее новое подле старого, накладывающее такие тоны и краски, создающее такие изгибы и перспективы, которых никогда не придумают сотни соединенных архитекторов и декораторов.

Башни «Notre-Dame»[1] особенно говорят воображению; я прямо туда отправился, не покидая левой набережной. Пройдя мимо всего фасада Лувра и невольно остановившись на минуту, чтобы взглянуть на окно, из которого, говорят, Карл IX стрелял в народ, я миновал башню св. Якова, заставленную тогда лесами, и вышел на площадь Ратуши (Hôtel de Ville[2]).

Несмотря на то, что ратуша жестоко пострадала от революций, она все-таки чуть ли не самое лучшее архитектурное здание Парижа; по крайней мере больше, чем где-нибудь, сохранился во всей чистоте своей роскошный и вместе с тем изящный стиль Возрождения; только те части Фонтенблоского дворца, которые выстроены при Франциске I, могут соперничать с главным фасадом ратуши. «Hôtel de Ville» не менее интересен и в историческом смысле; чего только не перебывало перед этим фасадом, чего не видали и не слыхали внутренние стены! История этой парижской ратуши может наполнить целые темы. Но Наполеону III не нравится ее история; желая, вероятно, предупредить дальнейшее ее продолжение, он выстроил непосредственно за ратушей казарму и написал таким образом: fin[3].

Башни церкви Богоматери почти против ратуши; их разделяет Сена и небольшой древний квартал, окружающий церковь.

---

[1] Нотр-Дам *(фр.)*.
[2] Отель де Виль *(фр.)*.
[3] конец *(фр.)*.

Пройдя мост d'Arcole[1], я вступил в узенькие, извилистые улицы, полузаслоненные от света восьмиэтажными мрачными домами с высокими черепичными кровлями; здесь также везде кафе и лавочки; но все смотрит как-то мутно, уныло; куда девались шум и веселость, которая в Париже часто вырывается наперекор нищете и даже голоду? Сюда, очевидно, слилось бедное население, которому стыдно показываться на роскошных улицах и бульварах. Движения здесь так мало, что кажется, попал неожиданно в крошечный, заброшенный уездный городок; изредка прогремит двухколесная телега с овощами или известью, перекликнутся торговки у двери лавочек, пройдет бедно одетая швейка или худощавый студент в широкополой порыжевшей шляпе. Часто потом случалось проходить через этот квартал,— всегда встречал я то же самое; изредка разве, вечером, в каком-нибудь кафе услышишь щелкотню бильярдных шаров, говор или нестройную хоровую песнь подгулявших студентов.

На самом неожиданном месте поворачиваешь на небольшую светлую площадку, и вдруг перед вами развертывается главный фасад готического собора со своим чудным порталом, верхними галереями и двумя башнями, которые хотя сами по себе очень характерны, но далеко не отвечают тонкому изяществу нижней части церкви.

Темная, мрачная, истертая и изъеденная веками, она облечена поэзией древности и той еще, которую придает ей воображение, настроенное воспоминаниями, сотнями описаний и романов Виктора Гюго. При всем желании сделаться внимательным и сосредоточиться, Клод Фролло, Эсмеральда, Квазимодо, Клопен Трульфу и толпа, взбирающаяся по лестницам, приставленным к стенам собора, долго вас не оставляют. Впоследствии я много видел готических зданий; некоторые, как, например, Кельнский и Страсбургский соборы, нравились мне несравненно больше церкви Богоматери, но положительно нигде нет такого великолепного главного входа или портала. Принимая в соображение страшные перевороты, которых здание было свидетелем, надо удивляться, как портал мог сохраниться в такой целости; реставрация, нало-

---

[1] Арколь *(фр.)*.

жившая свою медвежью лапу на все остальные части здания, к счастью, не прикоснулась ко входу. Глядя на тщательную отделку орнаментов, завитков и святых, расположенных один над другим и рядами украшающих изгибы остроконечной арки, невольно стараешься дать себе отчет, откуда взялось это бесконечное совершенство частей и, вместе с тем, эта гармония общего, отличающая готические здания. Понятно, что все это могло создаваться и делаться тогда только, когда глубокое, искреннее религиозное чувство увлекало общество, когда все, что ни приступало к постройке храма, начиная от архитекторов до последних каменщиков, — все вдохновлялось одним чувством и проникнуто было одной общей мыслью.

Так уж следует, видно, что в Париже везде должна господствовать внешность! В церкви Богоматери, точно так же, как и в Лувре (здесь, конечно, говорится только о стенах и внутреннем устройстве), — наружный вид обещает больше, чем дает внутренность. Церковь, под руками тупоумных распорядителей и реставраторов, совершенно утратила поэтический колорит древности; впечатление такое, как будто рассматриваешь древнюю библию, пергаментные листы которой покрыли мелом — для чистоты — и расписывали почерком современной каллиграфии. Стены собора выбелили; колонны, идущие по обеим сторонам, глупейшим образом размалеваны заново. Вообще видно, внутренность храма не успели окончить вдохновленные зодчие, воздвигшие портал. Последнюю руку наложило уже последующее поколение, утратившее великую тайну готической поэзии. Внутри замечательны только громадные цветные окна верхнего яруса; многие из них были вынуты, и места закрыты досками.

Не понимаю, какой бес укусил парижан, но они приняли, по-видимому, намерение повалить весь старый Париж; половина города заставлена лесами; на многих площадях и улицах заборы с выглядывающими поверх их обломанными стенами и трубами; путь поминутно преграждается рядами громадных телег с тесаным камнем, известью; со всех сторон сыплется мусор и раздаются стук лома и крики штукатуров; расположение к перестройкам обнаружилось прежде всего у Наполеона III; оно быстро привилось к буржуазии и мгновенно заразило всех до степени белой горячки. Что Наполеон так усердствует в пере-

стройке Парижа,— дело понятное; ясно, к чему ведут эти широкие, прямые улицы, перерезывающие город по всем направлениям и замкнутые по концам казармами с такими окнами, что страх берет идти мимо: так и ждешь, что высунется оттуда пушка и начнет стрелять картечью. Но вот что удивительно: из чего так хлопочут парижане? Не всех же до такой степени одурманивает тщеславие, чтобы верить, что проекты Наполеона служат только к украшению Парижа! Может быть и то также, что неугомонная деятельность парижан, теснимая со всех сторон, рада, faute de mieux[1], миролюбиво ломать дома, ворочать камни и разрушать улицы; может быть и то также, что такая уж пришла мода на перестройку; прежде кричал Париж: — Vive l'échafaud![2] — теперь кричит: — Vive l'échafaudage!..[3]

Сказав вам несколько слов о Лувре, ратуше, старой Сите и церкви Богоматери, я считаю, что далеко уже перешел за черту, которую предписал себе в этом очерке. До приезда в Париж я дал себе слово осмотреть все достопримечательности города и его окрестностей, но вместе с тем произнес торжественный обет не упоминать о них в моих записках. Фонтенбло, Версаль, Инвалиды, церкви, музей Клюни, Ботанический сад, частные галереи, музеи, не было ли все это тысячу раз описано? К тому же впереди, в Испании и Италии, предстоят такие чудеса искусства, для которых надо поберечь место.

Каждому путешественнику хочется сказать что-нибудь новое; в этом отношении не лучше ли обращаться к нравам? Они дают несравненно больше пищи для наблюдений, чем церкви и здания; описывать последние значит повторять уже сказанное; но никто еще не исчерпал сторону нравов до такой степени, чтобы не было чего-нибудь к ним прибавить. «Разве не все уже сказано об Англии?» — заметили англичанину, который готовился печатать книгу о нравах своего отечества. «Конечно, все,— отвечал он,— но тем не менее обо всем еще остается сказать!» Каждый, приезжая в любую страну или город, наталкивается на случаи, происшествия и на людей, которых вчера не было и которые не встретятся или не повторятся завтра; пу-

[1] за неимением лучшего *(фр.)*.
[2] да здравствует эшафот! *(фр.)*.
[3] да здравствуют подмостки!.. *(фр.)*.

тешественник, передающий бумаге свои впечатления, непременно внесет что-нибудь новое в самую богатую массу наблюдений своего предшественника.

Париж особенно такой город, что каждый прожитой в нем день может дать материалу на целый том в правоописательном роде. Нигде так человечество не движется, как здесь, и не может быть так уподоблено морю, которое то приливает, то отливает, то неожиданно вздымает свои волны, вскидывая их под облака, то вдруг плашмя падает и лоснится, как щеки разжиревшего, самодовольно-пошлого и только что выбрившегося буржуа.

Рыская по городу и окрестностям, я совершенно забыл, что у меня в портфеле хранилось множество писем к лицам более или менее интересным и совершенно разнородным. Письма к Дюма-сыну у меня не было; но все равно я отправился к нему прежде, чем подумал о других; этого требовала учтивость; я жил в доме его отца.

Прежде еще говорили мне, что Дюма-отец и Дюма-сын совершеннейшие антиподы по характеру. Я убедился в этом, как только вошел в комнаты сына. Все сразу говорило, что здесь живет человек, щедро наделенный изящным вкусом, но прежде всего, — человек положительный, бережливый, влюбленный в порядок. Наружность сына напоминает отца; но вместе с тем, с первого взгляда, не остается сомнения в разнице характера того и другого. Насколько фигура отца постоянно вся в движении и лицо его носит отпечаток страстей и неугомонных огненных порывов, — настолько сын кажется спокойным и даже холодным. Недаром, видно, говорит он, когда речь идет об отце: «Mon père est un grand enfant, que Dieu m'a donné quand j'ai été jeune homme!»[1] Огонь и живость отца перешли в глаза сына, которые блещут остроумием. Дюма-сын совершенный джентльмен. Когда я вошел к нему, он занимался расчетом со своим грумом или конюхом.

— Счеты, как сами вы, я думаю, знаете, — не последнее дело литераторов, — сказал он.

Я выразил сожаление, что до сих пор не видал ни одной его комедии. В Gymnase давали каждый вечер

---

[1] Мой отец — это большой ребенок, которого мне дал бог, когда я был совсем молодым! *(фр.)*

новую какую-то пьесу; он очень обязательно взялся устроить дело. Действительно, несколько дней спустя прислал он мне билет на «Demi-monde»[1]. Я прежде читал эту комедию; увидав ее на сцене, я лишний раз поверил на деле, что пьеса, увлекательная в чтении, редко достигает такой цели на сцене. «Demi-monde» отличается полнейшим отсутствием драматического движения, все принесено в жертву остроумию, обрисовке характеров и современности. При встрече с автором я, разумеется, не мог передать ему моих впечатлений; я ограничился только вопросом, почему бросил он совершенно повествовательный род и посвятил себя так исключительно театру. Смысл ответа его был таков, что роман падает, повествовательная форма видимо всем приелась... разве явится новый Бальзак... Но на это мало надежды! Публике читать теперь некогда; она ударилась в дела, спекуляции и живмя живет на бирже; свободное время свое отдает она театру; надо, следовательно, писать для театра, чтобы составить себе имя; к тому же оно и *выгоднее*.

Дюма, может быть, не сказал последнего слова; но я с умыслом подчеркнул его; дальнейшее знакомство с литературным кругом убедило меня, что слово: *выгода* вполне выражает точку зрения современных писателей Франции на предмет их занятий. Литераторы, журналисты, драматические писатели, даже поэты,— voir[2] Мери,— милого, остроумного Мери, который нашел небесполезным сочинить торжественный гимн Людовику-Наполеону,— все исписывают стопы бумаги, вдохновляясь одними банковыми билетами,— и что еще хуже,— надеждами на получение казенного места или ордена Почетного легиона. Словом, они потеряли всякое достоинство. Сколько я могу судить из разговоров, любой из них готов променять поприще свое на звание смотрителя тюльерийских фонтанов. Меня поразили в них дух раболепия и вместе с тем безмерная напыщенность и невежественное чувство тщеславия, которое признает только свое *я* и с презрительным равнодушием относится ко всему, что выходит за пределы крепостного вала парижских фортификаций. Сделки, которые в другом кругу были бы приняты за оскорбление, здесь вещь самая обыкновен-

[1] «Полусвет» *(фр.)*.
[2] смотри *(фр.)*.

ная. Позовите обедать в Café Anglais[1] или еще проще, — дайте денег, — и завтра же самое ничтожное изобретение, самую плохую книжонку десятки газет превознесут до небес, как у нас превозносили когда-то Излера. Здесь только делается понятным выражение французских газет: *faire* une danseuse, un acteur, un auteur[2] и т. д. Подобно тому, как находишь у Иверских ворот в Москве толпу оборванцев, которые за гривенник свидетельствуют своей подписью что угодно, — в бульварных кафе восседают за стаканом absinte[3] маленькие журналисты, которые за двадцать франков будут писать что угодно и кому угодно.

Частная их жизнь нисколько не лучше общественной. Одна объясняет другую. В Париже существует общество драматических писателей и литературы, но собственно общество литераторов от этого нисколько не соединилось; все живут между собой, как кошка с собакой. Они избегают друг друга, боясь, верно, дурного знакомства. Издатели, которых в Париже столько же теперь, сколько писателей, ловко пользуются таким несогласием. Литератор, не защищенный обществом своего сословия, лишенный представителей и опоры, — является перед издателем, как единица, которой тот боится и душит ее в когтях своих до последнего издыхания. В его власти пустить в ход статью, книгу и даже человека, точно так же, как может он придавить и статью, и книгу, и человека.

Большая часть издателей — хозяева журналов; попробуй-ка литератор выйти из повиновения; его, или книгу его, — что все равно, — мигом прихлопнут. В больших журналах, на которые смотрим мы издали с таким уважением, повторяется, как в зеркале, та же жалкая картина литературных нравов. Пять-шесть известных писателей и фельетонистов сидят на плечах редакторов и сильно нажимают им шею кулаками; редакторы, в свою очередь, сидят на плечах остальных сотрудников и в досаде еще сильнее надавливают кулаками на их шею, — взаимная эксплуатация и нажимание.

Я познакомился с Б*, который пишет повести в одну из первых revue[4] Франции. Б* трудолюбив, как

---

[1] кафе Англе *(фр.)*.
[2] *сделать имя* танцовщице, актеру, автору *(фр.)*.
[3] абсента *(фр.)*.
[4] журналов *(фр.)*.

бык, и во вкусах своих скромен, как овца. Б* живет между тем на чердаке и постоянно ходит во фраке, потому что ему, по собственному признанию, не на что купить сюртука. Редактор, печатающий восемь тысяч экземпляров своей revue, платит Б* пятьсот франков за повесть. Нечего и думать переходить в другой журнал; там все места уже вперед заняты по контракту; кроме того, нет и расчета; там платят не больше.

— Отчего не прибегнуть бы вам к защите Г. или Д.? (я назвал двух фельетонистов, сидящих на плечах редактора той revue, где работал Б*). Они ваши товарищи, собраты; они верно ничего не знают о ваших отношениях к редактору; иначе, конечно, они не допустили бы его до такой гнусной эксплуатации.

— Г. и Д.,— возразил Б* с горькой усмешкой,— Г. и Д., захватив так много денег, знают очень хорошо, что редактор, который также хочет жить, не может больше платить остальным сотрудникам. Они не захотят испортить своих собственных дел; Г. и Д. пробили себе дорогу, сделались известными и пользуются своим положением; надо ждать очереди!..

Такая невеселая, но правдивая картина нравов объяснит вам отчасти причину того страшного, беспримерного упадка, в котором находится современная литература во Франции. Беспримерно, впрочем, и направление, которое приняло теперешнее парижское общество: спекуляция, алчность к деньгам, жажда скорей нажиться — обуяли всех решительно; молоденькие мальчики, с едва пробивающимся пушком на подбородке, молоденькие женщины, в шипящем кринолине,— нимало уже теперь не мечтают друг о друге; их мысли заняты счетами, мечты витают вокруг дивидендов акций, которые продаются на бирже, цинический эгоизм так в лицо и бросается; он овладел всеми, сделался достоянием всех слоев общества.

С легкой руки Дюма-сына, каждый день почти пошли у меня новые знакомства.

Утром, на другой день после представления «Demi-monde», кто-то постучался в дверь.

— Entrez![1]

Входит длинная Тереза.

— Вас, Gregory, желает видеть monsieur V. P.

— Кто это?

---

[1] Входите! *(фр.)*

– C'est un monsieur que fait des livres[1], – отвечает Тереза с таинственной улыбкой.

«Еще литератор!» – подумал я, и, признаюсь, на этот раз без всякого уже удовольствия.

Судите о моем удивлении, когда вместо господина с усами и бородой в дверях явилась хорошенькая женщина, в голубой шляпке и цветной мантилье.

– Извините мою бесцеремонность, – сказала она весело, – имя мое F., но я пишу под псевдонимом V. P.; как видите, я собрат ваш по литературе; зная, что вы здесь, я пришла поговорить с вами о вашем отечестве и спросить у вас несколько советов.

Проговорив все это без страха и так скоро, что я едва мог следить за ее мыслью, V. P. рассказала, что пишет романы и повести, но получает за них так мало, что едва имеет чем жить; она думала оставить Париж и ехать в Россию; ей казалось, что в России она успешнее будет подвизаться на литературном поприще. Она убедительно просила высказать откровенно мое мнение по этому предмету.

Не успел я произнести двух слов, – в комнату влетела другая хорошенькая фея, это была подруга V. P., которая пришла за ней.

– Позвольте вас познакомить, – сказала V. P., – еще собрат, bas-bleu[2], как и я, N.; вы не слыхали ее имени: она не подписывает.

N. занимается переводами с английского: между переводами она, по собственному ее выражению: fait de la copie[3], то есть берет переписывать набело рукописи других писателей; она получает за это по пяти су с листа. Переписка и переводы, занимая ее по двенадцати часов в день, дают ей в год полторы тысячи франков, иногда даже меньше.

– Ну, так что же вы думаете о *нашем* проекте, – сказала V. P., – я говорю: *нашем*, потому что N. тоже едет со мной в Россию.

Я поспешил исполнить желание обоих собратов: мнение мое навзничь опрокидывало их проекты. Но, к великому моему удивлению, ни V. P., ни N. не обнаруживали при этом и тени горести; обе с прежней веселостью объявили, что если дело не может клеиться

---

[1] Это господин, который пишет книги *(фр.)*.
[2] синий чулок *(фр.)*.
[3] делает копии *(фр.)*

в России с литературой, они готовы отказаться от служения искусству и поступить в гувернантки.

Я представил им тогда легкий, но весьма колоритный очерк положения гувернантки в Екатеринбурге или Арзамасе и убедительно просил их не оставлять Парижа.

– Вы правы,– нимало не задумываясь, сказала V. P.– Париж все-таки первый город в свете, и тот, кто привык к нему, нигде уже больше не может ужиться!..

Вслед за тем беседа наша приняла совершенно другой оборот; о проектах не было и помину, проекты как словно никогда даже не существовали; говорилось с увлечением о парижской жизни, увеселениях и развлечениях.

Едва расстался я с V. P. и N., которые взяли с меня слово заглянуть в их *киоск* (они жили на даче в полмили от Парижа и занимали крошечную беседку, в которой с трудом помещались две кушетки и столик), как получил я записку такого содержания:

«М. Г., прошу вас уделить мне полчаса времени; мне нужно переговорить с вами о вашем отечестве и посоветоваться с вами о деле большой важности».

Строки эти подписаны были женским именем, которое не раз случалось встречать на обертках французских романов.

Я отправился, не медля ни минуты; но дамы не было дома; вскоре, впрочем, я встретился с нею у одного общего знакомого; на этот раз я увидел женщину уже под шестьдесят, одетую очень небрежно, хотя с ферроньеркой на лбу. Она думала точно так же ехать в Россию с целью писать там и печатать свои романы; решимость ее, по-видимому, была непреклонна; она просила меня объяснить ей некоторые детали.

– М. государыня,– проговорил я самым почтительным тоном,– в Петербурге шесть-семь книгопродавцев; вы поставите их в необходимость сделаться издателями; они должны дать вам большие деньги за рукопись, должны будут покупать бумагу, хлопотать с изданием и взять на себя всю ответственность распродажи вашего романа; предоставляю вам судить, пойдут ли они на это, когда дело их ограничивается теперь только следующим: им стоит черкнуть в списке выписываемых книг число экземпляров вашего романа, чтобы получить его тотчас уже совсем готовым на

свою конторку: дело, как видите, обходится им несравненно дешевле и бесхлопотнее. Могу вас уверить, ни один из них, при всем уважении к вашему имени, не купит у вас листа вашей рукописи!

— Autant alors rester à Paris[1], — проговорила писательница полувопросительным, полууверенным голосом.

— Я сам так думаю.

Несмотря на зрелые лета, она отказалась от своего проекта, давно ее занимавшего, так же легко и скоро, как молоденькие, ветреные V. P. и N.

Такая переходчивость мыслей и непрочность убеждений поражает здесь не только в женщинах, но и в мужчинах. Все живут день за днем; не удалось одно, живо переходят к другому; жизнь принимается как шутка; призадумываются тогда только, как деньги приходят в обрез и достать их положительно неоткуда; фортуна улыбнулась, — все забыто, парижанин снова счастлив, весел, бегает по театрам, балам, бульварам или берет деньги и играет ими на бирже. Здесь только встретить можно эту игру жизнью, это существование на воздухе; под ногами у них словно не земля, а воздушный шар, который носит их куда ему вздумается. Все приносится в жертву удовольствиям и временному наслаждению; сама жизнь ничего не стоит. Если людьми не руководит расчет, ими управляет, по-видимому, не столько собственная воля, сколько случайность, каприз, увлечение.

Немного спустя после моего приезда входит ко мне раз Тереза: на ней, против обыкновения, чепец, и вообще во всей ее физиономии что-то торжественное, необыденное.

— M-r Grégory, я пришла с вами посоветоваться, — сказала она, потрясая чепцом и усаживаясь в кресло.

— Сделайте милость...

— M-r Grégory, у меня дочь... Родители имеют привычку хвалить детей своих — это уж так водится; но я буду беспристрастна; дочь моя — личность замечательная во всех отношениях: она хороша собой, как ангел, имеет кроме того все таланты: она декламирует, поет, играет на фортепиано. Она два года назад дебютировала на одном из здешних театров... Elle

[1] С таким же успехом можно остаться в Париже *(фр.)*.

a éffacé tout le monde! C'était étourdissant[1]. Тут встречается un monsieur hollandais; oh, Mr. Grégory, – c'etait pour le bon motif![2] Она уехала с ним в Голландию; son monsieur[3] оказался негодяем; он убежал в Индию, и дочь моя возвратилась снова в Париж; она не может теперь поступить в свой театр, прежние подруги ее, – des rien du tout, quoi![4] – заняли все места и страшно стали интриговать... Я собственно пришла вас просить, не можете ли лично взглянуть на нее, убедиться в необыкновенных ее талантах и отрекомендовать ее на французский театр в Петербурге или в Москву, – все равно; она дивно поет и, сверх того, может давать уроки на фортепиано...

Но, увы, я не успел убедиться в талантах m-lle Rosalbà (так звали дочь Терезы); по прошествии недели ее увез какой-то офицер в Африку, – также: pour le bon motif... Приехав в Париж год спустя, я узнал, что офицер умер и m-lle Rosalbà открыла сначала кофейный дом в Танжере; но дело не пошло, и она скоро уехала в Бразилию, с одним богатым плантатором.

М. В. продолжал между тем исчезать аккуратно с восьми часов утра вплоть до полуночи. Он был в упоении от Парижа. Прислушиваясь к восторженным речам его, я охотно согласился снова посвятить целый день фланерству и отдал себя в полное его распоряжение.

Он повел меня прямо в Елисейские поля. Проходя мимо площади Согласия, – бывшей площади Революции, которую до сих пор видал я мельком, – я не мог не остановиться. Это бесспорно самая великолепная площадь в мире; не знаешь, чему удивляться: громадности задуманного и приведенного к окончанию плана, – или громадности воспоминаний, которые осаждают ум и сердце, как только войдешь на площадь. Декорация ее поэтично хороша: слева Тюльерийский сад, справа густая зелень шумных Елисейских полей; против законодательное собрание, – прежняя assemblée nationale;[5] по углам колоссальные мраморные группы, изображающие главные города Франции; по-

---

[1] Она затмила всех! Это было оглушительно *(фр.)*.

[2] некий голландец; о, мосье Грегори, – это было так кстати! *(фр.)*

[3] ее господин *(фр.)*.

[4] ничтожества! *(фр.)*

[5] национальная ассамблея *(фр.)*.

средине Луксорский обелиск и монументальный фонтан. Все это, вместе с грохотом и вечным движением, оживляющим площадь, принимает волшебный вид, особенно при закате солнца или вечером, когда вокруг зажигаются тысячи газовых фонарей и отдаленная музыка Елисейских полей вторит шуму фонтана.

Елисейские поля, по-моему, одно из самых милых мест Парижа: широкое пространство между домами и липами, которыми обсажено с обеих сторон шоссе, ведущее к Arc de l'Etoile[1], а оттуда в Булонский лес, покрыто тенью старинных дерев, однолеток с деревьями Тюльерийского сада. Нет возможности перечислить всех café chantans[2], театров марионеток, качелей, каруселей, выстроенных между этими деревьями; тут находится также театр Bouffes Parisiens и цирк. Дети всех возможных возрастов, солдаты, нянюшки, старики и молодежь, денди, камелии, почтенные буржуа с семействами, гризетки и блузники,— все это смешивается здесь и производит самую разнообразную, живописную пестроту. Дети, особенно девочки, удивительно здесь милы; ничего нет на свете грациознее, живее, непринужденнее.

Заплатив су за стул, мы по целым часам просиживали, любуясь, как они катают обруч, играют толпами в мячик или воланы, прыгают по две и по три через веревочку. Девочки одеты большей частью просто, но с тем изяществом вкуса, которым так справедливо хвастают французы.

Что, если бы этих девочек, до замужества, не отдавали в монастыри и более еще безобразные пансионы под ферулу хитрого католического попа и таких же сухих и хитрых дам, зараженных самой узкой, пошлой, рутинной нравственностью! Воспитание, которое ожидает их, превратит их сначала в идиоток и рабынь развращенного мужа, потом, по закону противодействия,— в самых продувных львиц и кокеток.

Бедные девочки!

Елисейские поля оживляются тем еще, что через шоссе, перерезывающее их во всю длину, проезжает каждый день чуть ли не все фешенебельное и веселящееся население Парижа. Булонский лес теперь модная и, следовательно, самая любимая прогулка не

---

[1] арке на площади Звезды *(фр.)*.
[2] кафе-шантаны *(фр.)*.

только парижан, но и иностранцев. Я знал одну русскую даму, которая говорила, что тот день для нее не существует, когда она не могла faire son bois de Boulogne;[1] уже одно это выражение ясно свидетельствует, что вышеупомянутая соотечественница в совершенстве усвоила себе язык и привычки Парижа. Вообще русские скоро усваивают форму, язык и привычки тех стран и городов, где бывают; я встречал типических господ Ивановых и господ Сидоровых, которые, прожив два месяца в Париже, начинали уже картавить, не могли лечь спать без стакана сахарной воды, делались учтивыми с людьми так называемого низшего класса (последнее, правда, досталось им не дешево и приобрелось не без уроков), — говорили: parbleu![2] и fichtre![3] с такой интонацией, что можно было побожиться, что они родились в Париже и никогда отсюда не выезжали. Родной наш язык часто звучит на улицах Парижа; но странно: там, где скорей всего следовало бы его слышать, как, например, в русской церкви, там-то именно никогда его и не услышишь; там, как нарочно, более чем где-нибудь, приходится удивляться чистоте парижского акцента в устах соотечественников; все почти дамы являются даже с молитвенными книжками, красиво переплетенными в бархате; словом, Париж совершеннейший!

Елисейские поля объяснили мне отчасти долгие исчезновения М. В. Действительно, придя сюда в десять часов утра, не видишь, как время промелькнет до вечера. На каждых десяти шагах любопытство увлекает или в толпу, или на наружный тротуар шоссе, по которому скачут верхом и катятся стремительно тысячи экипажей, уносящие щеголих Сен-Жерменского предместья, квартала Бреда и лореток и всякого рода. Последних, по-видимому, несравненно, однако ж, больше, чем первых.

Останавливаясь таким образом, глазея по сторонам и просиживая по целым часам, чтобы снова глазеть, мы в этот день не дошли до Булонского леса. В нем нет, впрочем, ничего особенно замечательного, кроме pré Catelan;[4] это огромное увеселительное ме-

---

[1] заниматься проституцией *(фр.)*
[2] черт подери! *(фр.)*
[3] черт возьми! *(фр.)*
[4] луга Кателян *(фр.)*.

сто, устроенное со всем изяществом и декоративной роскошью, на которую так способны французы; хрустальные фонтаны с золотыми рыбками, играющими под льющейся водой, искусственный сталактитовый грот, озеро и гондолы, кафе и театры,— все это очень мило и в самом деле заслуживает, чтобы видеть; из увеселительных мест pré Catelan самое лучшее — театр цветов; в мое время там давала представление труппа испанских танцовщиц, которые превосходно исполняли свои национальные пляски.

Из Елисейских полей мы не могли урваться раньше семи часов; в это время все облилось газом и со всех сторон послышались музыка и пение café chantans; ну есть ли возможность уйти! Елисейские поля еще лучше, еще оживленнее при вечернем освещении.

— Взгляните,— сказал мне после обеда М. В., указывая на газовый треугольник, внезапно вспыхнувший с левой стороны, недалеко от дворца промышленности,— знаете ли вы, что там такое?..

— Знаю,— вход в Мабиль.

— Что же вы на это скажете?

— Скажу, что нам необходимо туда отправиться, чтобы достойным образом окончить этот фланерский день.

Пять минут спустя мы подходили к сияющим воротам Мабиля, бросавшим яркий свет на толпу зевак, которые собираются сюда каждый вечер, чтобы глазеть на подъезжающих дам и кавалеров.

Только что поравнялись мы с воротами, из-за ближайшего дерева показалась молоденькая женщина в шляпке и мантилье; она прямо подошла к нам.

— Господа,— торопливо заговорила она,— дайте мне вашу руку, soyez si gentils;[1] меня только что вывели из Мабиля... но я, право, не знаю за что, я танцевала, как и все... Если вы не дадите мне вашей руки, меня одну ни за что уже туда не впустят.

— Что она говорит? Что она говорит? — суетливо спрашивал М. В.

Я объяснил ему в чем дело; мы подхватили даму, вошли в ворота и взяли билеты.

Эффектное устройство Мабиля вполне заслуживает ту репутацию, которую ему сделали. Сначала идет густая аллея, на дне которой поставлена декорация, из-

[1] будьте так любезны *(фр.)*.

ображающая в перспективе продолжение дерев и дороги; все это так искусно освещено, что аллее, кажется, конца нет; слева, сквозь зелень, сверкают сотни огней, там гудит ускоренным тактом оркестр, слышатся восклицания, хохот, говор и тот глухой, переливчатый гул, который всегда носится над движущейся толпой; туда ведут несколько дорожек; они изгибаются между насыпными клумбами, усеянными цветами и газовыми огнями, блистающими в траве, в цветах и часто под водой, которая падает с уступа на уступ стеклянным сводом; деревья и кусты усыпаны цветными фонарями и газовыми рожками. Дорожки приводят к широкой асфальтовой площадке с возвышающимся посередине павильоном, освещенным так ярко, что смотреть больно; здесь помещается оркестр, площадка представляет картину такого оживления, какое можно только видеть в одном Париже. Со всех сторон, вокруг оркестра, танцующие пары, перемешанные с толпами зрителей; на дороге, окружающей площадку, с трудом можно двигаться,— так велика давка. Дальше, как сказочные маленькие дворцы волшебниц, сверкают кофейни, лавочки с букетами и bibelots[1], резные навесы, осеняющие бильярды, биксы, тиры для карабинов и пистолетов и не знаю что еще! Справа большое длинное здание, вмещающее зал, предназначенный укрывать танцоров во время дождя. Между строениями, под высокими деревьями, куча беседок из зелени, столики и стулья, все это полно народом.

Но главный центр возни и давки,— все-таки вокруг оркестра.

Публика Мабиля разнообразнее, чем где-нибудь. Тут встречаются львы всех стран Европы и даже Бразилии, приказчики магазинов, лица, изящно одетые, но сомнительного существования, дипломаты; часто любопытство завлекает сюда знатных леди и наших русских путешественниц. Общество дам, т. е. собственно habituées[2] Мабиля, состоит исключительно из камелий и лореток второго разряда, ведущих неуловимо-воздушную жизнь,— живущих изо дня в день. Но боже, как все это разодето и обуто! Вас ослепит шелк,

---

[1] безделушки *(фр.)*.
[2] завсегдатаи *(фр.)*.

бархат, кружева, шляпки, цветы, модные мантильи, веера, бурнусы...

Все это скачет и неистово движется под такт оркестра, который играет с таким увлечением, что, кажется, в состоянии расшевелить мертвого; можете судить, как увлекает он парижанок! Они то стелются перед беснующимися своими кавалерами, то выпрямляются и быстро вскидываются в сторону, избивая при этом ногой кринолин и всегда стараясь показать шитый рубец своей юбки; едва успеваешь следить за ними; не знаешь, чему удивляться: ловким ли изгибам талии, быстрой ли работе ног, огню ли во взглядах; понятно, что молодые новички-иностранцы теряют здесь голову и в первое время делают пропасть глупостей.

Опыт, который не стоит, впрочем, приобретать, — опыт может научить только, что весь этот огонь, необузданное увлечение, — искусственны, и средства для приманки *жобаров*.

Приходится выпить не один стакан *соды* с дамами Мабиля, прежде чем разгадаешь, сколько незримой, ужасающей нищеты скрывается под этими кружевами и беззаботными веселыми улыбками, сколько загрубелой, нравственной порчи, притворства, хитрости скрывают эти лица, часто кажущиеся такими невинными и откровенными.

Стоит прислушаться, как мужчины, habitués, обращаются с этими феями, чтобы стать на настоящую точку зрения в отношении к последним и получить к ним полное отвращение.

Но новички не хотят прислушиваться; отуманенные ножками, взглядами, улыбками, они слышат только шум в собственной голове. Habitués говорят всем дамам — *ты* и зовут их не иначе, как вымышленными именами: Souris, Carabine, Mirobolante, Boboche, Zizi и т. д. Дамы отвечают тем же; выражения: mon petit chien, imbécile [1], сказанные кавалеру, считаются последними лучшей наградой. «Tiens, comme vous ressemblez à mon propriétaire!» [2] — неожиданно говорит дама, останавливаясь перед незнакомым господином. Новичок таращит глаза и глупо улыбается. Habitué без остановки отвечает: «Mademoiselle, on ne dit plus: pro-

---

[1] мой песик, дурачок *(фр.)*.

[2] Смотри-ка, как вы похожи на моего хозяина! *(фр.)*

priétaire,— on dit: topinambour»[1]. Почему topinambour? Но кавалер и дама в восхищении, и оба заливаются смехом.

В Мабиле встречается только самый ничтожный образчик того огромного женского сословия, которое наполняет все театры, гуляния и увеселительные места Парижа. Как бы ни был поверхностен предлагаемый очерк современного Вавилона, нравы этого сословия не могут быть из него выпущены; темные пятна так необходимы в картине, как и светлые части; без контрастов света и тени картины не существует.

Вот для образчика разговоры и сцены, которые в Мабиле повторяются каждый вечер в сотне местах.

Новичок, обвороженный танцами и наружностью дамы, подходит к ней и делает ей комплимент.

— Je voudrais bien prendre quelque chose...[2] — возражает дама без дальнейших прелюдий.

— О, помилуйте, все, что вам угодно,— говорит восхищенный кавалер, поспешно сгибая в кольцо руку.

Пройдя десяток шагов, дама останавливается.

— Voulez vous me donner un bouquet?[3] — говорит она.

С последним словом, как будто по волшебству какому-то, выскакивает, бог весть откуда, старуха с лотком букетов.

— M-r veut étrenner madame? Voilà le plus joli petit bouquet du monde... M-r, c'est trois francs...[4]

— Нет,— говорит дама, переменяя неожиданно намерение,— я не хочу букета; дайте мне лучше un bibelot... букет так скоро увядает... bibelot я сохраню на память...

Новичок поспешно увлечен к лавочкам, заставленным фарфоровыми куклами, безделушками всякого рода, между которыми попадаются, однако ж, жардиньерки в сорок франков и другие довольно ценные вещи.

При входе в Мабиль каждая дама обходит сначала все лавки и внимательно высматривает, где лежит ка-

---

[1] Мадемуазель, больше не говорят: хозяин,— говорят: топинамбур *(фр.)*.

[2] Я хотела бы чего-нибудь выпить... *(фр.)*

[3] Не подарите ли мне букет цветов? *(фр.)*

[4] Мосье хочет сделать подарок мадам? Вот самый красивый на свете букетик... Мосье, с вас три франка... *(фр.)*

кая вещь; соколиный глаз ее, умягченный бархатными ресницами, безошибочно падает на сорокафранковую безделушку.

— У меня нет жардиньерки, — говорит она обворожительным голосом, и прежде еще, чем кавалер успел предложить что-нибудь, — vous seriez bien gentil, si vous m'en offriez une...[1] вот здесь, как нарочно, такая хорошенькая... Oh Dieu, qu'elle est gentille![2] — заключает она, подпрыгивая, как милое, наивное дитя.

Новичку жмут руку; он вынимает сорок франков; дама дает торговке свой адрес; сделав еще пять шагов, дама выражает странное желание приобрести букет. У всех букеты, у меня одной нет его.

Старуха снова выскакивает как словно из земли.

— M-r veut étrenner madame, и т. д.

Букет куплен. Новичок и дама направляются к столикам под деревьями.

— Чего вы хотите? — спрашивает новичок.

— Un petit soda[3].

— Garçon![4]

— Monsieur?[5]

— Un soda! deux soda!.. des sodas!![6] — восторженно кричит новичок.

Лакей ставит на стол стаканы с несколькими каплями вишневого соку и с особенным эффектом пускает в стаканы струю содовой воды, которая превращает сок в розовую пену.

Почти в ту же минуту оркестр берет аккорд; дама бросает недопитую пену, схватывает руку кавалера и стремится к танцевальной площадке, снимая дорогой шляпку и мантилью; все это вместе с букетом поручается новичку; благодаря такому маневру новичок оказывается застрахованным своей дамой. Он может вдруг разочароваться, ему может понравиться другая дама, он может натолкнуться на приятелей, которые увлекут его в другую сторону; со шляпкой и мантильей он уже не убежит. Новичок, конечно, и сам далек от подобной мысли; он упоен более, чем когда-нибудь: он глаз не сводит с дамы, которая при всяком

---

[1] Вы будете очень любезны, если подарите мне одну... *(фр.)*.

[2] О господи, как она прелестна! *(фр.)*

[3] Стаканчик содовой *(фр.)*.

[4] Гарсон! *(фр.)*

[5] Мосье? *(фр.)*

[6] Одну содовую, две содовые!.. всем содовые!! *(фр.)*

удобном случае, прыжке и повороте дарит его то взглядом, то улыбкой. Она делает решительно чудеса; едва отвернулся sergent [1], — полицейский, — она выкидывает такие хореографические штуки, которые каждый раз вызывают гром рукоплесканий. Аплодисменты окончательно кружат голову новичку. Накидывая мантилью на плечи своей дамы, он не приискивает слов для выражения своего восторга.

— Je voudrais bien prendre quelque chose... [2] — говорит она задыхающимся от усталости голосом.

— Quoi, un soda? [3]

— Non, un vin chaud! [4]

— Garçon!

— Monsęur?

— Un vin chaud!

— Voilà, monsieur... [5]

Горячее красное вино выпито.

— Хотите пройтись со мной по саду... — предлагает дама.

— С величайшим удовольствием... можете ли даже об этом спрашивать?..

Новичок, у которого при этом зарябило в глазах от счастья, подает руку, и оба отправляются.

— Итак, я вам нравлюсь... — нежно говорит дама.

— Вы восхитительны!.. Я в упоении, в восторге...

— И вы будете меня любить?..

— Еще бы... всю жизнь... всегда... сколько угодно...

— Et moi aussi je t'aimerai bien!.. [6]

У новичка подкосились ноги: ему сказали *ты*; он готов упасть к ногам; но дама верно предугадывает его намерение; она ловко подставляет ему щеку.

— Я хочу убедиться, точно ли вы будете любить меня, — говорит она, поправляя шляпку, — пойдемте к колдунье; это удивительная женщина, она всем здесь предсказывает и всегда говорит правду...

— Куда же ехать? В Marais? [7] На конец города? — спрашивает новичок.

— О нет, это подле, в Мабиле... Сюда, — говорит,

---

[1] сержант *(фр.)*.
[2] Я хотела бы чего-нибудь выпить... *(фр.)*
[3] Что, содовую? *(фр.)*
[4] Нет, горячего вина! *(фр.)*
[5] Вот, мосье... *(фр.)*
[6] Я тоже буду тебя любить!.. *(фр.)*
[7] Маре *(фр.)*.

посмеиваясь, дама, увлекая кавалера в один из отдаленных углов сада, где между кустами устроен грот, завешанный ковром.

За ковром сидит старая француженка, с тюрбаном на голове à la Lenormand[1] и с густо накрашенными бровями, придающими ей восточный вид.

Перед этим гротом происходят часто самые забавные сцены. Раз я был свидетелем, как один англичанин, желая провести свою даму к колдунье, приподнял ковер, но тотчас же отошел, сказав:

— Погодите, il y a déjà quelqu'un, une femme...[2]

— Милостивый государь! — воскликнул стоявший тут француз, — я замечу вам: неучтиво говорить: quelqu'un...[3]

— Я сказал: une femme[4], — заметил англичанин.

— Еще хуже! Еще невежливее! — подхватил, разгорячаясь, француз. — В гроте жена моя, м.г.! Прошу вас не осмеливаться ставить здесь всех на одну доску...

— Я, кажется, нимало не оскорбил вашу жену, назвав ее женщиной.

— Вы должны сказать: une dame![5] — кричал француз, все более и более хорохорясь.

— Всякая дама — женщина, сама королева Виктория — женщина...

— Je me moque bien de votre reine Victoire![6]

— Comment?[7] — вскричал в свою очередь британец, задетый за живое.

Сцена кончилась бы, вероятно, трагическим образом, если б в ту же минуту, откуда ни возьмись, не выскочили полицейские. Парижские sergents de police совершенные волшебники; они так славно предугадывают, когда в них нуждаются, и являются всегда самым неожиданным образом; впрочем, это волшебники снисходительные и учтивые, — чуть ли не самые учтивые люди Парижа, не в укор будь сказано учтивейшей и просвещеннейшей нации мира, как говорят французы.

По прошествии минуты дама выходит от кол-

---

[1] а-ля Ленорман *(фр.)*.
[2] уже кто-то есть, женщина... *(фр.)*
[3] кто-то... *(фр.)*
[4] женщина *(фр.)*
[5] дама! *(фр.)*
[6] Я плевал на вашу королеву Викторию! *(фр.)*
[7] Как? *(фр.)*

дуньи, но уже без букета. Колдунья служит здесь, разумеется, только предлогом; ей отдается трехфранковый букет и в обмен получаются полтора франка, которые поступают в портмонэ лоретки; букет переходит опять к торговке и часто покупается опять за три франка тем же кавалером.

Новичок, конечно, ничего этого не подозревает; до того ли ему! Он весь поглощен своей дамой, которая при выходе из грота кажется очень расстроенной.

— Что с вами? — пристает он, нежно пожимая ручку. — Не верьте предсказаниям... они все врут... Она, верно, сказала вам что-нибудь неприятное...

— Нет, не то... — плаксиво возражает дама, стараясь держаться как можно ближе к глухим беседкам, — совсем не то... я думаю о другом... Mon Dieu... Mon Dieu...

Тут она испускает вздох и садится на скамью.

Новичок ничего не понимает; он приходит окончательно в тупик и теряется, когда дама вынимает платок и закрывает им глаза. Долго не может он добиться толку; наконец, с неимоверным усилием она признается ему во всем: завтра, в семь часов утра, ее выгоняют из квартиры... (дама захлебывается), она должна... (тут она останавливается и давит себя платком, чтобы заглушить рыдания), она должна... Вот смотрите! — заключает она наконец, вынимая из бокового кармана лоскуток бумажки, испещренный цифрами и словами: chandelle, charcuterie... blanchissage, loyer[1] — итог: шестьдесят два франка.

Раз, после Мабиля, у одного из наших соотечественников собрались пятеро приятелей; каждый из них ходил к прехорошенькой даме, в доказательство чего каждый вынул лоскуток бумажки; на каждом лоскутке оказались тот же счет и тот же итог в шестьдесят два франка.

Само собой разумеется, новичок спешит успокоить даму и тут же отсчитывает деньги.

С первым звуком оркестра глаза дамы осушаются; она быстро вскакивает; она дала слово танцевать, и, верно, теперь ищет ее кавалер. Шляпка и мантилья снова поступают во владение новичка и снова приковывают его на прежнее место. Кадриль очень ожи-

[1] свеча, копчености... стирка, плата за жилье *(фр.)*.

влена; танцует père Chicard[1], отвратительный шестидесятилетний старик в жакетке, с выломанными назад руками и сморщенной самодовольной физиономией фарсера, уверенного заранее в своем торжестве; аплодисментам нет конца; bravo, père Chicard! bravo, la Mirobolante! bravo!![2] — кричит толпа и вместе с нею новичок, который начинает уже себя считать *своим* в Мабиле.

Кадриль кончилась.

— Знаешь что, mon petit chien[3], — нежно говорит дама в то время, как новичок кутает ее в мантилью, — не мешало бы тебе пригласить pour prendre quelque chose[4] Давида и Пети; это мои всегдашние танцоры; ты этим польстил бы их самолюбию...

Если новичок не совершенно глуп, он напрямик отказывается от такого приглашения: он начинает уже каяться, что зашел далеко, дал себе много воли и истратил порядочно денег. Им овладевает тогда что-то похожее на меланхолию. Маленькая ножка жмется к его ноге и поощряет его к откровенности.

— Послушай, — говорит он со всей возможной нежностью, — ты позволяешь мне говорить тебе: *ты*?

— Parbleu! — восклицает дама, устремляя на него беспокойный взгляд.

— Послушай, — шепчет он, — я говорю это не насчет тебя, нисколько; говорю так, вообще... Что это здесь за дурная манера сразу накидываться на человека и выпрашивать у него то букет, то деньги, то... Повторяю, я не насчет тебя это говорю, что до меня касается, я совершенно счастлив, я говорю вообще... Этим способом женщины только пугают человека; право, так; другой посмотрит да и отойдет; не лучше ли, уж коли на то пошло, вести себя таким образом, чтобы внушить доверие и надолго привязать к себе человека.

— Ты думаешь, я не знаю этого! — перебивает дама, судорожно передвигая тоненькими, изящно выведенными бровями, — ты думаешь, мы ходим сюда для удовольствия; сюда приходят, и я первая, pour s'étourdir!..[5] здесь все потерянные женщины, — и я первая!

---

[1] отец Шикар *(фр.)*.
[2] браво, отец Шикар, браво, Мироболант, браво!! *(фр.)*
[3] мой песик *(фр.)*.
[4] выпить чего-нибудь *(фр.)*.
[5] чтобы забыться!.. *(фр.)*

— Перестань, пожалуйста,— говорит новичок, заметив слезы на глазах дамы и боязливо озираясь на стороны.

— Нет, не перестану! — подхватывает она еще громче и при этом начинает плакать,— я хочу высказать тебе всю правду; je suis la femme la plus misérable, la plus méprisable du monde... As-tu été à Nimes?[1] — неожиданно спрашивает она.

— Нет...

— Там в Ниме одна из первых гостиниц: она принадлежит моему отцу и моей матери; родители мои, как ты видишь, почтенные и богатые люди... moi j'ai fui la maison paternelle...[2]

— Ради самого неба, перестань, на нас все смотрят,— убеждает новичок.

К великому его благополучию, заиграл оркестр; дама его приглашена танцевать; ему снова поручаются шляпка и мантилья. Кадриль началась; он смотрит на свою даму, и в голове его все поворачивается вверх дном; с первым ударом смычка дама его вся превращается в один прыжок, в одну улыбку; куда девались слезы, раскаяние и нимские родители.

— Несмотря на твое раскаяние и слезы, ты, однако ж, весело танцевала,— замечает новичок, когда кончилась кадриль.

— Вы все так легко судите! — возражает дама.— Ты, стало быть, мне не веришь?

— Верю, но...

— А я так верю, что ты будешь любить меня... Уведи меня, уведи, бога ради, поскорее отсюда! J'ai horreur de cet endroit![3] Ноги моей никогда здесь больше не будет... по крайней мере до того времени, пока ты не оставишь меня и снова нужда не принудит меня сюда вернуться... Уйдем, уйдем отсюда!

Голос ее звучит такой искренностью, глаза смотрят так прямо, откровенно, на лице столько душевной усталости,— как не поверить?

Новичок сажает даму в карету, она дает свой адрес кучеру.

Новичок истратился, но он доволен; ему удалось, быть может, вытащить из бездны бедную жертву па-

---

[1] Я самая униженная женщина, самая презираемая на свете... Ты уже был в Ниме? *(фр.)*

[2] я убежала из отцовского дома... *(фр.)*

[3] Я в ужасе от этого места! *(фр.)*

рижского развращения, он спас ее, быть может, от верной погибели, — на время, конечно, — но все равно — autant de gagné[1]. Углубленный в такие мысли, он не замечает, что, едва дама села в карету, лицо ее ожило; расправив кринолин, закинув назад голову, она с гордым самодовольствием оглядывает толпу, мимо которой проезжает.

— Mon chéri[2], — говорит она при повороте на площадь Согласия, — о чем ты задумался?

— Я думаю о тебе...

— И я о тебе думаю... и также... также о бедных моих родителях; я целый день нынче их вспоминала и плакала... так плакала, что, представь, — ничего решительно сегодня не ела...

— Хочешь ужинать?

— Да, только не хочу, чтоб ты тратился; rien, qu'une toute petite cotelette[3]... Куда же мы поедем?

— Куда хочешь...

— Cocher! — повелительно кричит оживившаяся дама, — chez Deffieux, vous savez, — près de la Porte St. Denis[4]...

Новичок может еще благодарить бога, что она не велела ехать в Café Anglais или Maison d'or[5].

У Дефье la petite cotelette превращается в несколько дюжин устриц, в бутылку старого бордо, страсбургский пирог и десерт.

Такой аппетит нисколько не удивителен, не всякий день попадаются новички; опыт научил дам Мабиля предусмотрительности.

После ужина дама чувствует большое утомление и просит отвезти ее домой: дом этот состоит большей частью из страшной мансарды в шестом или седьмом этаже дома, затерянного в глухом, неосвещенном переулке. Новичок не верит глазам своим: «Как! неужели здесь обитает эта хорошенькая фея, разодетая в атлас, бархат и кружева?» При доброте сердца, сильном воображении и отсутствии опыта новичок сильно поражается картиной нищеты. Слезы и новые рассказы обитательницы расслабляют его окончатель-

---

[1] прямая выгода *(фр.)*.
[2] Мой миленький *(фр.)*.
[3] ничего, кроме маленькой отбивной котлетки... *(фр.)*
[4] Извозчик! к Дефье, знаете, — у Порт Сен-Дени... *(фр.)*
[5] кафе Англе или Золотой дом *(фр.)*.

но; он отдает остаток денег в кошельке, отдает даже перстень, запонки и рубашечные пуговки.

После уже узнает он, что дама эта нанимает во втором этаже того же дома три комнаты, очень мило устроенные. Когда он при встрече говорит ей об этом, она обыкновенно смеется и говорит, трепля его дружески по плечу:

— Bèta, c'était pour mieux t'attendrir![1]

Такое бесконечное бесстыдство и развращение овладело всем сословием так называемых свободных женщин. Совершенно те же нравы встречаются даже в столь прославленном своим добродушием и наивностью Quartier Latin[2]. Я долго жил подле Люксембурга и не раз имел случай в этом убедиться. О прежних гризетках, ходивших в чепчике, скромном ситцевом платье и деливших все пополам с бедным студентом,— там нет уже и помину. Бернерета Альфреда де Мюссе существовала, надо думать, очень давно. В Closerie des Lilas[3],— бале, куда преимущественно собираются бедные студенты и работницы, ничего не видишь, кроме шелковых платьев, дорогих шляпок и кружевных мантилий. Стоит сунуться к любой, чтобы повторилась точь-в-точь сцена, описанная нами, с дамой Мабиля. Исключения так редки, что не идут в счет общего характера.

В одно время со мной жил в Quartier Latin один очень богатый молодой человек, выдававший себя за студента медицинской академии; он является в Closerie и на улицах квартала не иначе, как в старом сером пальто, широкополой шляпе и с серебряными старомодными часами в кармане. Цель его была такая, чтобы встретить любовь бескорыстную; но сколько ни старался он, цель его не была достигнута; он с тем и уехал из Парижа.

Причина такого упадка нравственности — безумная роскошь, которая, как отрава какая-то, заразила все сословия Парижа. Роскошь эта началась, разумеется, в верхнем сословии и всеми силами поддерживалась и поощрялась правительством. Что же мудреного, если она, бросаясь в глаза и оскорбляя низший класс народа, развивает в нем чувство зависти и таким образом развращает его.

---

[1] Дурачок, это чтобы тебя растрогать! *(фр.)*

[2] Латинском квартале *(фр.)*.

[3] Клозри де Лиля *(фр.)*.

Роскошь, сколько мне кажется, необходимое следствие общего стремления нижних слоев общества стать в уровень с высшими; такое стремление заметно не только во Франции, но и во всех европейских государствах. Непросвещенный класс, при пробуждении своем, прежде всего ослепляется наружным блеском, его окружающим; не разбирая причины чужого благосостояния, он начинает с того обыкновенно, что сильно ему завидует. Не подозревая (и это очень понятно, потому что для нравственного воспитания народа французское правительство ничего не делает) – не подозревая, что сущность жизни образованного человека составляют высшие духовные и умственные наслаждения, – народ завидует только его внешней обстановке. Под влиянием зависти, – такого худого советчика и чувства, – все наперерыв рвутся к достижению внешнего блеска, который кажется им верхом человеческого блаженства. Бедный народ! В Париже не только среднее сословие, но самые последние ремесленники, блузники, начинают уже поневоле развращаться роскошью.

Во всем городе не существует ничего, что бы успокаивало дух и давало уму простого человека трезвое, здоровое настроение. Здесь на каждом шагу вспоминаешь Англию, мудрые ее распоряжения и заботливость в отношении к улучшению нравственности и благосостоянию рабочего класса. В Париже, напротив, все сделано для того только, чтобы раздражать и еще сильнее развивать дурные начала.

Стоит заглянуть в те части, куда народ собирается обедать или проводить праздное время; везде ослепительный блеск сотен огней, повторяемых зеркалами, везде позолота на потолках и стенах, везде безнравственные зрелища и пение безнравственных песней. Большинство народа, и без того страх развращенного, расположенного к праздности и грубым удовольствиям, живмя живет в этих заведениях, пропивает и проедает здесь все свои деньги, забывая семью, которая между тем сгнивает в нищете и нуждается в куске хлеба. О семейной жизни, об очаге, который играет такую важную роль в Англии, даже в самом бедном рабочем сословии, – здесь нет и понятия.

Не существуют они точно так же ни в среднем сословии, ни в Сен-Жерменском предместье. Лица, ко-

торые долго жили в Париже, изучили его в совершенстве и преимущественно жили в кругу аристократии,— лица, которые вполне заслуживают доверия, передают такие факты, что, право, не знаешь, где больше гнездится безнравственности: внизу или вверху. Стоит припомнить последние процессы, которые ежедневно печатаются в газетах, чтобы узнать, которому сословию отдать преимущество перед другими, в смысле развращения и морального упадка...

В Париже нет, стало быть, вовсе добродетелей? — спросит читатель. Добродетель существует, но только в отдельных представителях или личностях, которые ничего не доказывают, коль скоро речь идет о характере целого огромного общества. И наконец, мораль французов совершенно особого рода; она словно одна исключена была из общего передвиженья нравов и мыслей; она осталась неподвижно на одной точке и удержала форму, данную ей когда-то католическими иезуитскими монахами. Мораль эта состоит исключительно из сухих, пошлых, давно изношенных и ни к чему не ведущих нравственных сентенций, рутинных правил, воспрещающих, например, восемнадцатилетней девушке ничего не читать, кроме St. Augustin[1], тупоумного ханжества и поповского католического притворства, благодаря которому восемнадцатилетняя девушка научается скрывать от матери затаенную любовь в сердце и роман Фейдо под подушкой. Не лучше ли было бы, если б такой морали вовсе не существовало? «Si elle n'existait pas,— справедливо замечает Бальзак,— il faudrait ne pas l'inventer!»[2]

Что же остается после этого в Париже? Чем же он всех привлекает? Что же в нем хорошего?..

Начать с того, что нет человеческой возможности исчерпать Париж до дна и разом показать его со всех сторон, так, чтобы в одно и то же время бросились в глаза лицевая сторона и изнанка; от этого непременно одна сторона берет перевес или другая. Этот лицевой фас существует, однако ж; надо уметь только стать к нему лицом, чтобы он ослепил вас; лицевую сторону Парижа представляют неисчислимые его способы к просвещению, его промышленность, усовер-

---

[1] Святого Августина *(фр.)*.

[2] Если она не существовала... ее не следовало бы выдумывать! *(фр.)*

шенствования во всех возможных родах, его удобства и внешняя, отшлифованная *общим образованием* форма, которая делает здесь общественную жизнь чрезвычайно легкою и приятною.

Многие не хотят видеть всего этого; озадаченные сразу уличными нравами, которые ошибочно принимаются за выражение нравов целой Франции, многие приходят в безотрадное отчаяние касательно будущего всей страны; они кричат, что при таком состоянии общества все кончено, нет возврата к лучшему, что нация изжилась, сгнила, упала в бездну, из которой никогда уже не выкарабкается.

Такая резкость суждений казалась мне всегда преувеличенной и по тому самому несправедливою. Нельзя не согласиться, что в настоящее время нравы Парижа оставляют грустное впечатление. Несмотря на тысячи его развлечений и даже оценку лицевой его стороны, постоянно находишься под влиянием утомляющего, неудовлетворенного чувства, нравственной духоты и гнета. Париж – не вся Франция, как многие полагают. Франция живет совсем другой жизнью. Деятельно работая, до пота лица, – она выказывает такую силу, что сама Англия, сильнейшая из всех держав мира, боязливо на нее косится. Нет, нация стоит еще твердо, и много в ней задатков для будущего!

Современное состояние парижских нравов – ничего больше, как переходное состояние, род насморка, который не раз уже повторялся, снова пройдет, и снова жизнь примет свое правильное движение вперед.

Я въезжал в Париж с самым веселым, певучим настроением духа, уезжал я из него, ощущая в душе недовольное, разочарованное чувство. Тем не менее при расставаньи, когда город начал постепенно исчезать и теряться в вечернем тумане, – я дал себе слово непременно туда вернуться при первом удобном случае.

Сколько потом ни приводилось встречать путешественников, – все по поводу Парижа испытывали то же самое чувство: живешь, – бранишь не на живот, а на смерть, – а уехать не хочется!

VI

УГОЛОК АНДАЛУЗИИ

Разлука с Кадиксом. — Пароход. — Tortillas per herbas[1]. — Пассажиры. — Берега Гвадалквивира. — Приезд в Севилью. — Первое впечатление. — Фонда de Paris. — Рассказы. — Севилья ночью. — Несколько слов о нравах. — Утро. — Севилья днем. — Хиральда. — Собор. — La Caridad[2]. — Легенда о Дон-Хуане. — Натурализм. — Св. Феликс de Cantalicio[3]. — Драгоценное фланерство. — Периана. — Торговая площадь. — Церковная процессия. — Религиозность. — Поездка в Alcala[4]. — Дороги. — Происшествие. — В театре. — Зала национальных танцев. — Бонанца. — Дорога и страна. — Разочарование. — Херес. — Puerto St.-Maria[5]. — Возвращение в гавань Кадикса.

Кадикс решительно околдовал нас. С каждым днем мы более и более к нему привыкали, с каждым днем труднее было из него вырваться. Возвращаясь поздно ночью в фонду Vista Allegri[6], мы всякий раз давали себе слово непременно уехать завтра; но наступит утро, выйдешь на балкон, заглянешь на синий океан, на белый город, который начинает пробуждаться, — и тут же исчезнет вчерашняя решимость, тут же начнешь хитрить с самим собой и примешься обдумывать, как бы склонить товарищей остаться здесь еще лишний день. Так действовал каждый из нас, но действовал втайне, потому что с наступлением вечера каждый в свою очередь красноречиво начинал доказывать, что лишний этот день был некоторым образом жертвой, принесенной в видах дружбы и товарищества.

Как ни трогателен такого рода combat de générosité[7], но время, по-видимому, нимало им не умилялось: оно шло себе своим чередом и с каждой секундой сокращало срок, назначенный нам для путешествия по Испании. Под конец мы даже испугались.

— Господа! — повторяли мы чаще один другому,

---

[1] омлет *(исп.)*.
[2] Ла Каридад *(исп.)*.
[3] из Канталичио *(исп.)*.
[4] Алкала *(исп.)*.
[5] Пуерто Санта-Мария *(исп.)*.
[6] Виста Аллегри *(исп.)*.
[7] игра в благородство *(фр.)*.

и каждый раз с большею энергией и убеждением, — господа! Шутки в сторону, продолжая таким образом, мы, право, рискуем не видать Севильи...

Наконец решено было выехать из Кадикса 15 октября.

Каждое утро отправлялись из Кадикса два парохода: один отходил в одиннадцать часов, другой в двенадцать; между Кадиксом и Севильей всего семь часов расстояния по Гвадалквивиру. Предположите, что в конце плавания по Гвадалквивиру находится не Севилья, но Коломна или Серпухов, — и тогда бы, кажется, с удовольствием можно было предпринять такое путешествие; а между тем (судите по этому, какой город Кадикс) нам все-таки трудно было с ним проститься.

В условный день, часу в одиннадцатом, мы стояли, однако ж, на пристани.

Накупив свежих, только что сорванных с дерева гранат, сели мы в шлюпку и отправились на пароход. На черных крыльях его колес большими золотыми буквами написано было: «Севилья». Мы приехали почти целым часом раньше; палуба была совершенно пуста.

— Господа! — вспомните, что мы еще не завтракали, — произнес С*, между тем как мы смотрели на белый Кадикс, пестревший своими зелеными балконами, полосатыми маркизами и террасами, наполненными цветами и зеленью; все это местами повторялось на гладкой, густой лазури океана. — Господа! мы так боялись не сдержать слова, — продолжал С*, — так боялись не ослабеть духом и снова не остаться в Кадиксе, что совершенно забыли о желудке. Нечего ждать приезда пассажиров; надо, напротив, спешить избавить себя от такой опасной конкуренции; начнут есть — нам меньше останется. Пойдемте-ка в буфет и распорядимся заблаговременно...

Речь С* не могла не встретить сочувствия: действительно, все были очень голодны. Общество поспешило сойти во вторую палубу, где расставлены были два стола, покрытые скатертью.

— La lista! carta![1] — закричали все в один голос, обращаясь к буфетчику, которого, даже без больших усилий воображения, легко было принять за бандита,

[1] Меню! *(исп.)*

перерядившегося в черную куртку и такие же панталоны.

В деле насыщения себя «lista» оказалась, однако ж, совершенно лишней вещью.

Из двадцати блюд, означенных на ней, мы ни в одном не могли дать себе даже приблизительного отчета; не было названия, которого каждый из нас не толковал бы по-своему. Каждый день в Vista-Allegri мы находили готовыми завтрак, обед, и никому тогда в голову не пришло – хоть раз спросить название блюд, записать их или запомнить, чтобы при случае не стать в тупик, как это теперь с нами делалось.

– Господа, вот тут, под номером восьмым, написано: Tortillas per herbas, – заметил Б. Т.*, – это, без всякого сомнения, значит: суп tortue[1], черепаховый суп. Делать нечего, спросим хоть суп tortue; он очень питателен; авось достаточно будет, чтобы заморить голод до Севильи.

– Tortillas per herbas! – уже говорили мы буфетчику, подымая кверху четыре пальца правой руки, что обозначало четыре порции.

В ожидании принесены были сверху купленные гранаты; мы принялись завтракать, заедая их маленькими белыми хлебцами, которые тут же лежали на столе, в плетеной соломенной корзинке.

Хлеб был из рук вон плох; кисель тяжел, отзывался чем-то затхлым; другого хлеба мы, впрочем, не пробовали еще в Испании; даже в милой нашей фонде Vista-Allegri он не был лучше. Его пекут здесь из кукурузной муки и без дрождей. Гранаты зато оказались превосходными. Между здешними гранатами и теми, которые продаются у нас в Милютиных лавках, сходство то же, что между свеженькой семнадцатилетней девушкой и сорокалетней старой девой, умирающей от сухотки. Здесь розовая оболочка зерен наполнена прохлаждающим сладким соком, которой льется струйками и обсахаривает пальцы, как только начнешь снимать шкуру.

Полчаса после ухода буфетчика, он снова явился с подносом, уснащенным четырьмя тарелками.

– Вот наконец и tortillas! – раздалось радостное восклицание.

Но радость сменилась изумлением, как только за-

---

[1] черепаха *(исп.)*.

глянули мы в тарелки: вместо черепахового супа перед нами красовались четыре яичницы! Tortillas per herbas! – по-испански яичница. Наши гастрономические сведения пополнились сверх того тем еще, что испанская яичница невозможна даже для голодного человека: она приправляется зеленоватым оливковым маслом, пересыпается рубленым чесноком и кусочками прогорклого свиного сала.

Беда да и только! Приходилось почти умирать с голоду на пороге буфета и кухни, наполненных, по всей вероятности, съестными припасами всякого рода. К счастью, вскоре подошел на выручку один пассажир: он нам знаком был по Кадиксу.

Это был молодой человек лет тридцати, весельчак, умный малый, родом берлинец; он уже девятый раз совершал путешествие по Испании, живал здесь по нескольку месяцев сряду, знал язык отлично, а страну – как свои пять пальцев. Его посылали сюда в качестве своего поверенного хозяева одной из самых значительных полотняных фабрик северной Пруссии. Таких комиссионеров по части полотняных изделий Германии здесь очень много.

Белые рубашки, которыми любуешься на груди majos[1], юбки, из-под которых выглядывают маленькие ножки андалузянок, – все это, не мешает заметить, произрастает и обрабатывается на немецкой почве. Пораженный щегольством кадиктанов и кадиктанок, я, признаюсь, сначала начинал сомневаться в истине того, что читал о жалком состоянии промышленности в Испании; но беседы с нашим знакомым немцем и потом время убедили меня, что читанное и слышанное нимало не преувеличено. На всем пространстве Пиренейского полуострова нет ни одной фабрики, ни одного завода, за исключением одной только Каталонии и преимущественно Барселоны. Самая промышленность Каталонии и Барселоны важна только сравнительно; произведения их как капля в море в отношении к общей потребности; к тому же, так как удобных дорог не существует и произведения эти доставляются на мулах, они, весьма естественно, обходятся покупателю втридорога. Всевозможные товары приходят сюда из Германии, Франции и Англии; они достигают своей цели частью правильным торговым

---

[1] девушек *(исп.)*.

путем, и тогда, благодаря огромной таможенной пошлине, обходятся еще дороже местных произведений; частью заграничный товар распространяется контрабандой; последний несравненно больше в ходу, потому что, сравнительно, все-таки продается дешевле. Говорят, правительство начинает принимать меры касательно поощрения национальной промышленности. Давно бы пора! Слушая рассказы о том, как оно до сих пор действовало, кажется, словно переходишь из мира действительности в мир фантастических кошмаров.

Правительство, еще в конце семнадцатого столетия, преследовало купцов хуже очумленных: оно отводило им в городах самые отдаленные, глухие улицы, оставляло безнаказанными и даже поощряло всевозможные оскорбления, которые умышленно наносились купцам, как «низким людям»; правительство позволяло грабить купца и само ловило случай, чтобы конфисковать его имущество. Правительство, которое и тогда, вероятно, состояло из людей сравнительно более просвещенных, тем не менее разделяло дикую, невежественную точку зрения народа в отношении к торговле и вообще промышленным людям; нелепое, безумное чувство ненависти и презрения к последним, как ни вредило успехам и процветанию страны, было, однако ж, сильнее чувства национальной, государственной пользы.

Причина презрения к промышленности объясняется отчасти историей, а также характером испанского народа. В глазах старых испанцев тот, кто занимался ремеслом, клал на себя клеймо вечного бесчестия; он словно отделял себя от испанцев и шел по стопам ненавистных арабов, которые первые внесли ремесло в отечество и до изгнания их одни занимались промыслами. Тот, кто доставал себе пропитание ручной работой, презирался потому еще, что никто не мешал ему променять низкое орудие промысла на благородное оружие; никто не мешал ему бежать с оружием на защиту отечества и тем самым облагородить свое положение званием гидальго; если он не делал этого, он, стало быть, был трус, слабодушен, не имел чувства достоинства, не имел понятия о чести. Так думал народ в то время; отчасти он и теперь еще не совсем отрезвился от таких понятий. Дух рыцарства хотя значительно уже выдохся, но и поныне еще живет в ис-

панском народе. Несмотря на это, по мере того как время смягчало ненависть к давно изгнанным арабам, промышленность, конечно, взяла бы свое и мало-помалу необходимость дала бы ей право гражданства; но тут задержало ее еще другое обстоятельство, именно страшный наплыв золота из Америки; возможность доставать себе все необходимое, не производя ничего своими руками, немилосердно обленила и избаловала испанца. Баловство и леность с успехом также поддерживались бесчисленными монастырями, которые покрывали почву Испании; в них прокармливали даром всякого, кто ни являлся. Так было в старой Испании; но не забудьте, давно ли, например, уничтожены здесь эти монастыри, приучавшие народ к лености и дармоедству.

Причины эти все-таки не имели бы, кажется, тех горьких последствий для промышленности, если б, как я заметил, дух рыцарства, лихости, удальства, героизма своего рода не жил еще до сих пор в душе почти каждого испанца, если б народ сильно ему не сочувствовал. Дух этот натурально противится жизни оседлой, замкнутой, тихо-трудолюбивой. Удаль, ловкость, опасность, решимость, сила,— имеющие вес в мнении каждого полудикого народа, конечно, должны казаться особенно соблазнительными испанцу, существу натуры огненной, страшно впечатлительной, склонной к чудесному, к приключениям, быстро увлекающейся воображением. Здесь имена великих деятелей на поприще мануфактурном,— имена, которыми готовы были бы гордиться Англия, Бельгия и Франция,— долго не встретят еще сочувствия народа. Вот, например, матадор Монтес, или Хозе-Мария, удалой разбойник, прославившийся грабежами на больших дорогах,— это другое дело! Хозе-Мария увлечет кого угодно; недаром имя его так популярно, недаром народ любит говорить о нем, с жаром рассказывает о его похождениях и называет его храбрым cabalero[1] и честным, удалым, добрым малым. Такие отзывы слышишь здесь даже от людей действительно почтенных, вполне заслуживающих уважения, честность которых неприкосновенна.

Но возвратимся к нашему пароходу, который пущен уже в ход и бьет колесами воду.

---

[1] рыцарем *(исп.)*.

На палубе, кроме нас и еще знакомого немца, прибыло пять пассажиров. Несмотря на то, что общество наше состояло всего-навсё из десяти человек, оно, надо сказать, странно было составлено: тут было трое русских, два курляндца, один пруссак, два испанца, один американец; единственная особа женского пола, ехавшая с нами (особа очень хорошенькая, с черными блестящими глазами, черными прекрасными волосами и веселым вздернутым носиком), оказалась впоследствии француженкой.

Говорю «впоследствии», потому что в первое время мнения по этому предмету были слишком различны, они служили поводом к долгим, даже весьма серьезным прениям. Одни, ссылаясь на кавалера юной путешественницы, – молодого рыжего американца, с выдающейся нижней челюстью и одетого в серый дорожный костюм, – хотели непременно видеть в ней южную смуглую американку или ирландку по крайней мере; другие навзничь опрокидывали такое предположение: они стояли на том, что дама – испанка чистейшей крови; последнее мнение особенно горячо защищал Ф*. Напрасно надрывался наш немец, стараясь убедить всех и каждого, что пассажирка – француженка, что сам он слышал, как изъяснялась она на чистейшем парижском наречии, что, если хотите знать, – она даже не жена американца, как предполагали многие, но возлюбленная его, захваченная им по дороге из Парижа, – Ф* стоял все-таки на своем; он предлагал пари и, в силу своего мнения, приводил, как несомненное доказательство андалузской породы, маленькую ножку, быстроту глаз, цвет кожи и, наконец, черное атласное платье путешественницы.

– Ручаюсь чем угодно, что она не соотечественница! – неожиданно заговорил один из испанцев, высокий молодой человек, которого, бог весть почему также, приняли мы сначала за доктора.

Он попросту был empleado[1], чиновник, мы познакомились с ним еще в буфете и нашли в нем, как вообще во всех испанцах, с которыми приводил случай сталкиваться, очень любезного, приветливого и добродушного человека.

– Не могу утвердительно решить, какой она нации, – продолжал он, косясь на нее, – но только она

---

[1] чиновник *(исп.)*.

не испанка; за это вам ручаюсь. Впрочем, в этом легко убедиться: сядем рядом с ней, вы с одной стороны, я с другой,— заключил он, обращаясь ко мне, так как я стоял к нему поближе.

Предложение было мгновенно приведено в действие. Хорошенькая дама углубилась в чтение какой-то книжки и, по-видимому, не обратила на нас ни малейшего внимания.

Испанец, говоривший довольно хорошо по-французски, начал расспрашивать меня о Париже.

С первых же слов глаза дамы оторвались от книжки и украдкой взглянули в нашу сторону.

Не медля ни минуты, я приступил к самому одушевленному описанию парижской жизни и увеселений; хорошенькое личико соседки заметно оживилось; наконец, когда я заговорил о публичных балах и коснулся Мабиля, соседка, очевидно, не могла уже владеть собой; она засмеялась, но, желая, вероятно, сохранить на время инкогнито, поспешила нагнуться через борт и сделала вид, как будто смотрит на воду.

Французская живость и сообщительность скоро, однако ж, взяли свое: не прошло минуты, дама обернулась и первая с нами заговорила. Минут десять спустя мы беседовали так же непринужденно и весело, как будто век были знакомы.

Общество наше, вполне теперь примиренное и согласное, поспешило к нам присоединиться. Разговор сделался общим; американец, спутник француженки, принял в нем не последнее участие. Внимание, оказанное его даме, очевидно, ему польстило; он начал с того, что предложил всем сигары и выказал при этом развязность, которую никак нельзя было ожидать от господина, созданного, по-видимому, из флегмы и несообщительности.

Мы не замедлили узнать в нем одного из тех эксцентриков-туристов, которые служат всегда французам неистощимой темой для остроумия. Это действительно был чудак первого номера. Он ехал в Севилью не столько из любопытства и по собственному побуждению, сколько потому, что там в начале нынешнего столетия был его отец, потом старший брат и, наконец, пять лет назад, второй брат. Каждый из них имел при этом специальную цель: собрать библиотеку из трех тысяч томов старых испанских изданий; нельзя же было третьему брату, который вместе с миллиона-

ми наследовал фамильную страсть к библиомании, нельзя же было ему не последовать примеру родителя и братьев! Так как отец и братья пробыли в Севилье ровно год, третий брат решил пробыть в Севилье до пятнадцатого октября следующего года, что, считая с нынешнего числа, составляло ровно триста шестьдесят пять дней.

Француженка между тем, нимало не стесняясь, явно выказывала, что все эти объяснения ее спутника, и даже сам он, жестоко ей надоели; она поминутно вмешивалась в разговор и перебивала его.

— Edouard![1] — повторяла она, приправляя слова свои милыми улыбками и взглядами, которые, очевидно, скорее нам предназначались — je veux aller en Russie! Nous irons en Russie... N'est-ce pas, que tu me prends en Russie?..[2]

— Peut-être[3], — возражал ломаным языком и всякий раз с той же невозмутимой флегмой ее спутник, — peut-être! Cela existe dans mon dictionnaire![4]

Он носил с собой книжку, в которой трехгодичное его путешествие по Европе расписано было день в день; на третий год положено было пробыть шесть недель в Москве и Петербурге.

Между тем как мы таким образом болтали и смеялись, пароход продолжал делать свое дело.

В глубине темно-синего залива, по которому клубился седой след парохода, Кадикс обозначался уже белой полоской; над ней двумя темными крапинами выступали купол и колокольня собора. Мы начинали приближаться к противоположному берегу, плоскому, песчаному, и с каждой минутой явственнее обрисовывались на нем белые деревни и города. Прямо против нас постепенно вырастал и расширялся город Puerto Santa-Maria. Здесь пароход круто поворачивает влево, так что нос его прямо приходится против устья Гвадалквивира; но в этом месте устье так еще широко, что нельзя определить глазом берегов реки; присутствие ее обозначается пока тем только, что темно-голубой цвет воды теряет свою прозрачность и превращается в мутно-желтоватый. Немного погодя на

---

[1] Эдуард! *(фр.)*

[2] Я хочу поехать в Россию! Мы поедем в Россию... Не правда ли, ты меня возьмешь в Россию?.. *(фр.)*

[3] Может быть *(фр.)*.

[4] может быть! Это входит в мои планы! *(фр.)*

помутившейся поверхности залива глаз явственно начинает отличать широкую кайму грязи; пароход входит в нее и следует ее изгибам, потому что она служит вернейшим фарватером для входа в реку. Эта грязь — не что другое, как вода поэтического Гвадалквивира.

Мало-помалу начинают выясняться оба берега; слева выставляется низменная болотистая равнина, убегающая в неизмеримую даль; ее замыкают горы, которые по отдаленности приняли мы сначала за облака на горизонте; кое-где у самой воды подымаются группы тощих тополей, и тут же чернеют шалаши из ветвей и листьев, жилища рыбаков. Остальное пространство покрыто илом и заросло камышом; над ним беспокойно носились большие белые морские чайки, испуганные шумом парохода. С каждым поворотом колес река делается у́же и все менее оправдывает свое арабское прозвище Гвадалквивира, то есть большой реки. Часа полтора после ухода из Кадикса Гвадалквивир представляет желтую грязную реку шириной сажен в пять. Словом, разочарование было бы самое полное, если б не берег правой стороны, который нарочно как будто для того и создан, чтобы путешественник не забыл, что он в милой Испании. Он не перестает тешить глаз красивыми деревушками и городками, выбеленными словно заново. Часто встречаются одинокие фермы; они точно так же сверкают белизною; по большей части они выбегают с своей плоской террасой и красной черепичной кровлей из гущи зелени, которая если уж привилась к почве, то является здесь во всей силе тропической растительности. По всему этому берегу, вплоть до Бонанцы, города сменяются фермами, фермы — виноградниками или оливковыми плантациями; на песчаных желтых откосах, спускающихся к воде, то и дело встречаются стада баранов, которых пригнали на водопой; местами живописно лепятся рыбацкие слободки с длинными, опрокинутыми кверху дном лодками и красноватыми сетями, которые развешаны фестонами на кольях и сушатся на солнце. Все это, благодаря яркому освещению, необыкновенной прозрачности воздуха и густому бархатному колеру неба, который сообщает теням нежный голубой цвет, — превращается в столько же милых картин самого веселого, праздничного характера. Глядя на все это, не перестаешь себя спрашивать: где ж эта запущенность

и бедность, сделавшиеся провербиальными в отношении к Испании? Верить ли им или нет?

Вот, наконец, вправо показалась Бонанца, или, вернее, San-Lucar de Barromedo[1]; Бонанцой называется собственно место, где расположена пристань Сан-Лукара. Город, окруженный зеленью, белеет над крутым, золотистым, песчаным обрывом, который заметен еще издали; надо миновать его, чтобы достигнуть пристани. Тут пароход останавливается минут на пять, чтобы взять новых пассажиров и высадить старых. Пароход наш никого не выпустил и принял только несколько тюков и бочонков, предназначенных в Севилью.

Мы поехали далее.

За Сан-Лукаром тянется лес из зонтикообразных, раскидистых сосен, который на минуту переносит нас мысленно в Италию; далее берег неожиданно понижается; еще два-три поворота реки – он обращается в такую же безжизненную пустыню, как его vis-à-vis. Куда ни глянешь, повсюду желтоватые, обожженные солнцем луга; справа – плоские, постепенно суживающиеся и убегающие вдаль линии сливаются с горизонтом; слева пустыню замыкает хребет Сиеры-Морены, который по отдаленности принимает вид фантастического миража: точно гряда перламутровых облаков, которые просвечивают сквозь туман.

Говоря так неуважительно о Гвадалквивире, я забыл передать вам об одном его свойстве, которое, по всей вероятности, и заслужило ему в древности название большой реки. Грязная и по-видимому ничтожная эта речонка подвержена страшным разливам; они бывают иногда так сильны, что опустошают всю страну от Кадикса до Севильи.

Разливы происходят обыкновенно осенью или зимой, в дождливую пору года, но не вода дождей этому виной, хотя они льют здесь как из ведра и часто продолжаются по нескольку суток сряду. Главной причиной служат потоки, которые образуются от талого снега, растворяемого дождем; в несколько часов они страшно раздуваются и яростно устремляются с гор на Гвадалквивир; если к этому задует юго-западный ветер и море запрет устье реки, – вода стремительно выбегает из берегов и затопляет всю долину.

[1] Сан-Лукар де Барромедо *(исп.)*.

В зиму 1626 года наводнение продолжалось сорок дней, вода поднялась до Севильи, и так высоко, что третья часть города была потоплена. В некоторых кварталах вода достигла третьего этажа. Три тысячи домов были разрушены; народу погибло бездна, и столько же от потопления, сколько от голода; потеря разного рода имущества в городе и по окресностям превышала сумму в двадцать миллионов.

Так бывало в старину, так и теперь нередко повторяется.

Ко всему этому надо присовокупить еще то обстоятельство, что вода, долго оставаясь после разлива в низменных местах, превращает почву в болото; с наступлением жаров воздух заражается и повсеместно распространяет перемежающиеся лихорадки и эпидемические болезни. Говорят, герцог Монпансье, которого супружество сделало постоянным жителем южной Испании, давно и сильно хлопочет, убеждая правительство предпринять работы для канализации берегов и долины Гвадалквивира; неизвестно, насколько успел он в этом, факт тот, однако ж, что до сих пор ничего еще не сделано. Гвадалквивир продолжает разливаться и, кроме того, год от году сильнее затягивается илом: он теперь судоходен только до Севильи.

От Бонанцы, часа на три по крайней мере, правый и левый берег остаются теми же, безо всякой перемены: те же неоглядные луговые равнины, покрытые чахлой, желтоватой травой, сожженной солнцем. Гвадалквивир делает время от времени такие крутые, частые повороты, что рулевой едва успевает править пароходом; колеса с трудом, кажется, ворочаются в густой, бурой грязи; на поверхности ее появляются струйки чистой воды, когда поблизости вливается в реку родник или ручей. Один этот шум колес да свист пара пробуждают мертвую тишину окрестности; не пролетит даже птица. Точно перенесло вас вдруг в пустыню Нового Света; точно плывешь по одной из тех иловатых, рыжих речек, которые орошают луга Северной Америки и которые так превосходно описывает Купер. Нельзя себе представить, что еще полтора-два часа – и вдруг очутишься... где же? – в шумной, многолюдной Севилье!

Единственным развлечением этих унылых пустынь служат стада полудиких быков. Они пасутся здесь

круглый год; это те самые быки, которых готовят для corrido di torros[1] не только Севильи, но других городов Андалузии. Иногда пароход заставал врасплох целое стадо на водопое; испуганные животные одним махом выскакивали из воды на берег и стремительно неслись в глубину лугов, случалось, бывали смельчаки, которые не следовали за своими товарищами; утопая по брюхо в тине, они не трогались с места и только поворачивали голову, всматриваясь притупленно-удивленными глазами вслед удалявшемуся пароходу. На плоских, убегающих вдаль линиях пустыни вырезывался иногда характерный силуэт погонщика, человека верхом, вооруженного длинной пикой, с ружьем, сверкающим за спиной, в высокой, черной широкополой шляпе, из-под которой краснел край платка, которым здесь народ обвязывает голову, ноги его, обернутые до колен кожей, исчезали до половины икры в железных стременах, имевших вид заостренных лодок; из-под шляпы обрисовывалась пара бакенов, обстриженных в виде котлетки, и между ними смотрело смуглое бедуинское лицо, оживленное белками глаз; красный кушак, коричневая куртка, коротенькие штаны, плащ, брошенный на одно плечо,– дополняли костюм. Иногда такая фигура, припав грудью к луке высокого арабского седла, проносилась по степи во весь дух лошади, крутя над головой петлю аркана, которым ловят непокорных, строптивых быков. Все это, оживляя пустыню, усиливало вместе с тем впечатление дикости, отдаляло мысль о близости цивилизации.

Время от времени поворот реки словно приближал нас к линии гор, которые продолжали замыкать горизонт левого берега. хребет Сиеры-Морены был очень далек, но необыкновенная чистота и прозрачность воздуха давали возможность явственно различать зубчатый профиль снежных вершин, очертание пропастей и уступов, которые в беспорядке громоздились друг на дружку. Солнце садилось прямо против нас; невозможно передать словами тех эффектов света и тени, какими одевались горы; цвета радуги, чистейший кобальт, перламутр, грудь голубя, золото и розовое серебро слабо передадут дивную фантасмагорию ярких и вместе с тем неуловимо-нежных воздушных красок, которые переливались по скатам Сиеры-Морены. Свет

---

[1] корриды *(исп.)*

от нее разливался как будто по всей окрестности; он словно сообщался даже грязному Гвадалквивиру, изгибы которого ярко теперь сверкали в потемневших берегах.

С приближением к Севилье Сиера-Морена снова уходит в глубину и постепенно затушевывается отдалением. Как бы взамен этого, оба берега, особенно правый, опять начинают оживляться. Все заметно говорит о близости большого города. Снова одни за другими и постепенно чаще и чаще показываются отдельные фермы и белые как молоко деревни, потопленные зеленью. Растительность здесь еще роскошнее, чем даже в окрестностях Сан-Лукара. Виноградникам нет конца; оливковые плантации и серебристые тополи сменились апельсинными рощами и гранатовыми деревьями; местами, над белым каменным куполом мирадора (вышки, пристроенной к верхней части здания), сохранившим свою арабскую форму, стройно выбегает пальма; местами, над песчаным обрывом берега, синеют исполинские алоэ или фантастически путаются и лезут вперед ярко-зеленые лопатки колючего кактуса. Самый Гвадалквивир как будто стыдится своей грязи и старается себя украсить; на поверхности его, кроме мелких рыбацких лодок, появляются время от времени барки с треугольными латинскими парусами, поставленными в виде раскрытых ножниц. Все это – барки, скаты берегов, зелень, деревни, словом, весь передний план картины, которая развертывалась перед глазами, постепенно погружалось в густую синеватую тень; над ней все ярче и ярче разгорался между тем закат, исполосованный пурпуровыми, волокнистыми линиями. В воздухе заметно посвежело.

Немного погодя на верхушке отдаленной башни сверкнула золотая точка.

– Это статуя веры над Хиральдой! – подсказал знакомый наш немец, – а подле нее открылась теперь верхняя часть собора, – добавил он, указывая на темную, зубчатую массу, которую издали можно было принять за возвышенную часть города.

Крутой поворот Гвадалквивира неожиданно открыл глубокую золотистую перспективу, в которой фиолетовыми пятнами обозначались арки какого-то моста, церкви, здания и множество лодок, наполненных народом; говор и восклицания неслись оттуда;

с каждой минутой городской шум усиливался; вместе с тем сгущались тени и холодел воздух. Слева, в темноте, потянулся наконец ряд зданий, которые, казалось, вырастали из воды. здесь начинался (так объяснил нам немец) квартал Трианы. Справа между тем вдруг потянул запах лимонных и апельсинных деревьев; минуту спустя мы огибали густую стену зелени, которая в этом месте превращает берег в роскошнейшую прогулку: это Alameda Cristiana[1], любимый загородный сад жителей Севильи; между совершенно черными стволами кипарисов, олеандров, гранатовых, лимонных и апельсинных дерев мелькали в голубоватом полусвете белые движущиеся пятна и раздавались голоса гуляющих.

Пароход прямо шел к низенькой башне, которая выставлялась над водой.

— Это так называемая Toro del Oro[2] — башня, куда, говорят, складывалось в былое время все золото, привозимое из Америки,— пояснил нам немец.

Toro del Oro превращена теперь, кажется, в таможенный сторожевой пункт. Саженях в десяти до нее находится пристань.

Когда пароход остановился, заря успела окончательно угаснуть; вместе с зарей исчезли также как будто черные, мрачные пятна, местами затемнявшие перспективу города; они расходились, начинали сквозить и постепенно сливались в общий голубоватый тон, который сообщался всему густым синим цветом звездного неба.

Все эти впечатления промелькнули для нас почти бессознательно; страшная суета происходила на палубе парохода. Каждый спешил скорее выбежать на пристань, оживился даже наш американец, по крайней мере голос его не переставал раздаваться посреди общего гама.

С первым шагом на берег нас обступила толпа носильщиков; поднялась кутерьма невообразимая; все кричали разом, и каждый немилосердно тащил в свою сторону. Напрасно надсаживались мы, повторяя: Fonda de Paris[3],— куда нас рекомендовали, напрасно цеплялись мы отчаянно за наши дорожные мешки: ниче-

---

[1] Аламеда Кристиана *(исп.)*.

[2] Золотая башня *(исп.)*.

[3] Фонд де Пари *(фр.)*.

го не помогало. Бог весть, чем бы все это кончилось, если б не подоспел на выручку знакомый испанец и потом немец; оба хотели остановиться в одной гостинице с нами; вскоре на крик испанца: Джиованни! Джиованни! – выскочил весь впопыхах из толпы маленький человек, сопровождаемый белым пуделем; это был итальянец, служивший в качестве проводника или гида при гостинице Fonda de Paris. Он тотчас же распорядился наймом носильщиков, нагрузил наш багаж, и мы вошли в Севилью через темные ворота, проделанные в высокой зубчатой стене.

Не знаю более мучительного состояния, как то, которое испытываешь, вступая ночью в новый город; особенно когда город этот давно возбуждал любопытство, перечтешь заранее всевозможные описания, ловишь каждый живой рассказ, чтобы короче с ним познакомиться, строишь обольстительные планы, жадно ждешь минуты, чтобы проверить, насколько воображение украсило или не дошло до действительности, – и видишь между тем, что все это надо отложить на завтра... да, на завтра, даром что идешь самым городом и даже ко всему можешь, так сказать, прикоснуться рукой. Бесполезность усилий, чтобы рассмотреть тот или другой предмет, который вдруг живо напомнит прочитанное или слышанное, еще сильнее раздражает любопытство и усиливает сердечное волнение. Проходя мимо собора, я не мог утерпеть, чтобы не взбежать на ступеньки одного из входов, еще минута – и я приподнял бы кожаный фартук, которым заслоняются здесь двери храмов, – но Б. Т. удержал меня. «Что за ребячество? – сказал он, – вы только портите себе первое впечатление; поберегите его. Что теперь увидите? Мрак только один и ничего больше! То ли дело завтра будет!..»

Улицы, по которым мы проходили, были темны и узки; множество народа толкалось взад и вперед; кое-где раздавался свист, хохот и бряцанье гитары. Совершенный мрак, посреди которого все это совершалось, усиливал впечатление. Два-три раза из темной впадины протянулась к нам рука и сиплый голос произнес. una limosina por l'amor de Dios![1] Мы вышли наконец на небольшую площадь, обсаженную вокруг

---

[1] Подайте ради бога! *(исп.)*

деревьями, фонтан шумел посредине; между деревьями блеснуло несколько освещенных окон.

Это были окна Fonda de Paris.

Наружная дверь прямо вводит в patio[1], — довольно просторную комнату, где вместо потолка натянут холст; пол вымощен квадратами из серого и белого мрамора; по стенам, выбеленным мелом, стелются вьющиеся растения; в углах горшки с олеандрами, обсыпанными цветами; мраморные скамьи с высокой спинкой окружают patio; посредине бассейн, обложенный мрамором, цветами и раковинами; над ним узорчатая мраморная чаша, из которой бьет фонтан. Все это освещается мягким полусветом нескольких цветных бумажных фонарей, привешенных к веревкам, идущим поперек patio, от карниза к карнизу

Номера расположены во втором этаже; он весь состоит из каких-то длинных, низеньких коридоров, напоминающих старинные католические монастыри. Комнаты здесь так же чисты, как в Vista-Allegri Кадикса; во весь пол разостланы пестрые плетеные ковры из цветной соломы; над постелями кисейные пологи от мускитов; цену взяли с нас почти ту же, что и в Кадиксе, несмотря на то, что приняли нас здесь за путешествующих англичан.

Разобрав свой багаж по номерам, мы спустились в столовую, — длинную залу, которая непосредственно находится за patio. Общество фонды давно уже отобедало; но так как вместе с пароходом из Кадикса всегда ждут новых гостей, одна половина стола оставалась накрытой.

На дальнем конце стола сидели человек восемь испанцев и французов, по всей вероятности, то были привычные посетители, habitués гостиницы; они громко разговаривали, покуривая сигары и папиросы, которые тут же свертывали.

Не помню решительно, какие подавались блюда, не помню даже, были ли они приправлены оливковым маслом, были ли подогреты или состояли из свежих припасов. Кадикс приучил нас быть невзыскательными. Вообще в Испании еда не составляет удовольствия: здесь пьют и едят ровно настолько, чтобы поддержать существование. Помню только, что во время этого обеда поглощено было неимоверное количество

---

[1] патио *(исп.)*.

винограда, свежих фиг и апельсинов. Равнодушие к блюдам происходило, может статься, оттого также, что с первой минуты, как сели мы обедать, внимание наше сильно было заинтересовано разговором, происходившим на другом конце стола. Предметом беседы были разбойники. Мы только что начинали знакомство с Испанией; была ли возможность не прислушиваться?

Говорилось, между прочим, о происшествии, которое случилось на днях с почтовой каретой, перевозившей путешественников из Кордовы в Мадрид. На нее напали разбойники связавши кучера, начальник шайки объявил, чтобы никто не боялся за свою жизнь, что он никого не тронет; он требовал только немедленной выдачи казенных денег. «Я был на службе государства,— сказал он,— правительство у нас неблагодарно, оно не платило мне жалованья несколько лет сряду; я, следовательно, считаю себя вправе взять то, в чем мне так несправедливо отказали за мои заслуги. Отымая эти деньги, я беру только то, может быть, даже менее того, что задолжало мне правительство!..» Взяв деньги, он развязал кучера, велел распрячь лошадей и потребовал, чтобы путешественники не трогались с места по крайней мере два часа; это было необходимо, чтобы дать время ему и его товарищам уйти в горы; в случае неисполнения такого уговора он грозил снова напасть и уже на этот раз обещал всех перерезать как цыплят. Мы тут же узнали, что в настоящее время в госпитале Севильи находится до шестидесяти человек, раненных ножом; но в этом обстоятельстве разбойники не принимали никакого участия. Раненые были по большей части жертвы manoa irada,— «раздраженной руки»: так говорят здесь, желая выразить увлечение, минутную вспышку, досаду, которые в Испании оканчиваются обыкновенно ударом ножа.

Нож, navaja — любимейшее оружие андалузцев; у них он такой же точно предмет щегольства и необходимости, как шашка у черкесов. Лезвие navaja имеет форму рыбы и конец заострен с обеих сторон; оно покрыто узорами и надписями, выведенными грубой эмалью красного и черного цвета: нож носят за поясом, но не сбоку, а за спиной. Не считая majos, щеголей и удальцов, каждый почти андалузец умеет биться на ножах; умение это обусловливается столько же необходимостью, сколько составляет особое искусство,

усовершенствование в нем не последний предмет хвастовства; говорят даже, опытным людям довольно взглянуть на разрезы раны, чтобы тотчас узнать молодца, который нанес ее.

Все эти рассказы являлись как нельзя более кстати при дебюте в столице Андалузии; они открывали перед нами один уголок местных нравов в их настоящем свете.

Было уже около девяти часов, когда мы встали изза стола; нас давно подмывало пройтись по городу.

Повернув с площади налево, мы прямо вышли на главную улицу; она называется, кажется, Cale de Toledo[1], это Невский проспект Севильи. Улица освещалась одними только окнами и дверями богато убранных магазинов и лавок; впрочем, она была так узка и невысока (редкий дом имел более двух этажей), что и при этом даровом освещении можно было превосходно рассматривать гуляющих; лучи света, вырывавшиеся из окон и дверей, придавали толпе еще более пестроты и живописности.

С первых же шагов нас поразило множество женщин; они составляли две трети толпы по крайней мере. Вторым предметом удивления, – но на этот раз не радостным, а досадливым, – были кринолины, шали и шляпки, – пошлые современные французские шляпки, которые попадались на каждом шагу. Не странно ли, что именно то, чего не следовало никак перенимать у Европы, что было здесь так красиво, то скорей всего и переделалось на европейский лад! Баскина, мантилья, грациозная прическа из волос и живых цветов, которая так идет к андалузскому типу, видимо, исчезают, чтобы дать место изобретениям парижской моды. От прежнего сохранился только веер; он шумит и переливается в руках каждой женщины, сверкая в полумраке своими блестками. Множество мужчин одеваются также по-европейски; беспрестанно попадались франты, которые сделали бы честь итальянскому бульвару в Париже. Но как эффектно зато выставлялись посреди всего этого маленькая, надетая набекрень, войлочная шапочка с затянутыми кверху полями; цветная куртка, шитая шнурками, убранная по швам серебряными пуговками и открывающая на груди белую рубашку, перехваченную у талии широким

---

[1] Калс де Толедо *(исп.)*.

красным или желтым кушаком; с какой жадностью следишь в толпе за мантильей и головкой, убранной волосами с двумя пучками жасмина на висках! Здесь точно так же, как в Кадиксе, мужчины не дают руки дамам; женщины ходят отдельными группами.

Севильянки, сколько я мог заметить, живее кадикстанок, меньше их ростом и смуглее. Походка их и приемы проникнуты чем-то неуловимо быстрым, смелым, игривым, кокетливым; невообразимая миловидность и грация движения, с каким несколько раз в секунду женщина раскроет и сложит веер, уверенность во взгляде и поступи, — все это, в соединении с красотой типа и выражением чего-то страстного в каждой черте лица и каждом движении, делает их обольстительными выше всякого описания: при встрече с ними часто удерживаешься, чтобы не ахнуть; сердце невольно вздрагивает. И стыдно, и досадно делается, когда вспомнишь, что прежде мог восхищаться парижанками. Выражения: зажигательные взгляды, молниеносные взгляды здесь только имеют место; понятно, отчего кажутся они у нас такой натяжкой. Как вообще во всех породах чистой крови, тип севильянок не отличается большим разнообразием; все словно напоминают одна другую; у всех большие черные глаза с красивым арабским разрезом, идущим к вискам; веки окружены густой бахромой темных, как уголь, ресниц; сверкание белка на смуглом лице усиливает блеск и без того огненного взгляда; никогда прежде не видал я таких прелестных, ярких губок; всевозможные поэтические сравнения будут бледны пред действительностью.

Ничего не скажу вам о маленьких ножках и ручках, о красоте волос, стана и плеч (здесь, заметьте, носят на улицах, как и в Кадиксе, платья с открытым лифом и короткими рукавами); все это так хорошо, так в самом деле соблазнительно, так способно сладко одурманить человека, что духу недостает описывать; портишь только впечатление.

Обворожительные улыбки и страстные взгляды здесь, впрочем, очень дешевая монета; обращаясь к равнодушному, они служат только знаком веселости и бойкости, отличающих андалузский характер; не только взгляд и улыбка, но самый непринужденный разговор не дает еще повода уноситься мечтаниями касательно успеха. Не думайте, однако ж, чтобы

страшная эта свобода речей и обращения действовала во вред так называемой нравственности: ничуть не бывало; между ними нет ничего общего. Чистота нравов нисколько здесь не хуже той, которую встречаешь в наших северных обществах, где внешняя воздержанность, la retenue, и ханжеская мораль (говорю ханжеская, потому что никто ей не верит: ни те, которые ее проповедуют, ни те, которые ей следуют) часто скрывают грубейшую растленность воображения и самого сердца. В Испании никто не оскорбляется видом влюбленного молодого человека, который настойчиво ухаживает за девушкой; влюбленный или novio – жених, как его здесь неправильно называют, потому что ухаживание ни к чему еще не обязывает, – видится с предметом своего сердца по нескольку раз в день, говорит с девушкой без свидетелей, проводит напролет ночи, беседуя с ней у решетки окна или балкона: не менее ли это опасно и предосудительно, в смысле строгой морали, чем затаенные пылкие желания, тайные переписки или ухаживание и волокитство, которые ничем не оправдываются, ни страстью, ни даже влечением? Эта свобода, которой точно так же пользуются девушки Англии, дает самостоятельность, делает женщин существами вполне сознательными; раннее сближение с обществом мужчин развивает опыт, который столько же служит потом защитой собственной нравственности, сколько дает умения отличить пустого волокиту от человека, в самом деле привязанного сердцем. При страстности темперамента и пылкости воображения здесь, сколько слышно, очень мало, однако ж, *несчастных случаев*, как у нас говорится; ухаживатели за замужними женщинами здесь точно так же редкое исключение; уж одно это не довольно ли говорит в пользу морали? При короткости женского обращения, которое у нас тотчас же дает мужчине право быть смелым и самоуверенным, в Испании ненарушимо сохранилась утонченная рыцарская вежливость; женщине, даже между простонародьем, уступают всегда первый шаг, дают первое место. Учтивость бросается в глаза даже в обращении мужчин простого класса между собой; впрочем, и то надо сказать: бранное слово, оскорбительное название, толчок – встретили бы здесь короткий ответ: нож в бок без дальних церемоний.

В Толедской улице нет ровно ничего особенно за-

мечательного, а между тем не было возможности урваться отсюда раньше поздней ночи: так обаятельно действуют страшное оживление и веселость севильской толпы.

Черные атласные и белые веера, усыпанные блестками или расписанные изображениями боя быков, шуршат и движутся со всех сторон, как мириады больших пестрых ночных бабочек; веселые восклицания и затаенный шепот, пение фанданго, раздающееся то тут, то там; взгляды, от которых захватывает дыхание, милое, полное грации движение головкой, каким приветствуют знакомых на улице, из окон и балконов; аккорды гитар и смех в окнах, потопленных мраком; язык, лица, огненная, полная выражения мимика,— все это носит такую печать оригинальности, дышит так воодушевленно, так полно неги, страсти, жизни, что поневоле себя ощупываешь: точно ли живешь посреди всего этого, или так только, во сне все это видишь?

Возвращаясь домой темными, узенькими, извилистыми переулками, освещенными только сверху синей полосой звездного неба, мы встретили несколько novios со шляпой, надвинутой на глаза, в плаще и с гитарой; гитара умолкала, как только раздавались наши шаги; нас предупредили, что лишнее любопытство в этих случаях считается верхом невежества; зная, сверх того, что оно не всегда обходится даром, и не имея желания получить на сон грядущий удар navaja между ребрами, мы спешили пройти мимо.

Здесь любовь, кажется, главная цель и самое серьезное занятие в жизни. В Испании точно так же, как в Сицилии, случалось мне встречать людей, наделенных природой всеми возможными дарами; до знакомства с ними спрашиваешь:

— Кто этот господин? Что он делает? Служит где-нибудь?

— Нет.

— Художник он?

— Нет.

— Певец?

— Нет.

— Литератор?

— Нет.

— Негоциант?

— Нисколько.

— Что же он, наконец?

— Были вы вчера в театре? — спрашивают вас вместо ответа.

— Да.

— Не заметили ли вы во втором бенуаре с левой стороны хорошенькую женщину в белом платье?

— Да.

— Господин, о котором вы спрашиваете, любит ее вот скоро уже пять лет! — отвечают вам так же спокойно, как если б дело шло об определении самого серьезного занятия, самой блистательной, деятельной карьеры.

Он любит: что же вы еще хотите, чтоб он делал! Жизнь его достаточно, кажется, наполнена.

Климат, темперамент, национальный характер обусловливают жизнь народа; естественно, что жизнь в Испании должна управляться другими условиями, чем у нас. Романтик, восторженный мечтатель — у нас, например, комические типы, чуть ли не синонимы школярства, сумасбродства, тупоумия; романтическое направление не только осмеивается в личностях, его преследуют даже в произведениях литературы. Теперь только в Испании, да еще, может быть, в Сицилии романтизм и поэзия сохранились не только в старых романсах, но и в самой жизни. Вы их встречаете здесь гуляющих по улицам так же действительно и свободно, как у нас чиновников, офицеров и так называемых деловых людей.

Ступайте ночью по Севилье, загляните в любой переулок, не в ту часть его, которая посеребрена луной, но в другую, где черная тень домов обрисовывается на синем небе — вы непременно различите мужскую фигуру, завернутую в плащ; широкая шляпа низко надвинута на глаза, правая нога упирается в ступень или камень, пальцы слегка перебирают струны гитары... Идите дальше: под сенью душистых лимонных дерев или розовых акаций, окружающих площадь, на мраморной скамье, ближайший угол которой охвачен голубым лучом месяца, сидят мужчина и женщина; затаенный ли любовный лепет, вздохи ли несутся оттуда, или то слышится неровный шелест фонтана, который как призрак белеет посреди темной площади... Далее, из кромешного мрака неожиданно выступит patio, освещенный цветными бумажными фонарями и алебастровыми лампами, обставленный

цветами и зеленью, зеркалами и картинами, с мраморным фонтаном и столами, покрытыми хрусталем с сорбетами и студеной водой; несколько пар мужчин и женщин танцуют болеро; живой грохот кастаньет, восклицания, веселый смех, бряцанье гитар шумно вырываются на улицу; каким огнем дышит здесь каждый взгляд, каждое движение! какая простодушная, откровенная веселость, сколько страсти и простой, естественной грации! Еще далее – и снова все окуталось мраком, снова окружает вас мертвая тишина. Но даже и в тишине здесь слышится что-то жизненное, точно глухо стучит чье-то сердце, точно пульс бьется ускоренным тактом. Дело в том, что Севилья, даже в самый поздний час ночи, только притворяется спящей; она засыпает только с зарей. Как бы поздно ни было, в самых глухих, отдаленных переулках не перестает бродить таинственный шелест, в котором чудятся вам то отдаленный лепет и вздохи, то мелодические аккорды гитары... В самом воздухе, напитанном запахом лимонных и апельсинных дерев, проносятся словно какие-то жаркие струи, чье-то страстное дыхание, которое наполняет сердце неведомыми до того волнением, желаниями, страстью...

И все это, поверьте, не мечты, не выдумки, а действительность; каждый, кому приводилось быть на юге Испании, подтвердит вам, что сам лично испытывал обаяние поэтичной жизни, той жизни, которую здесь только можно еще встретить.

На другой день меня ни свет ни заря пробудил звон колоколов; он, очевидно, раздавался не с колокольни, потому что дребезжал под самыми моими окнами, к тому же колоколов было слишком много и звук их слишком был тонок и мелок. Я поспешил вскочить с постели, отдернул занавеску, отворил дверь балкона и выглянул на площадь.

Заря только что занималась, разливая по небу нежно-розовый свет; тот же свет наполнял площадь, проходил по деревьям, обрызганным росой, окрашивал фонтан и мраморные скамьи. По мостовой, между деревьями и зданием фонды, выступала длинная вереница мулов, навьюченных глиняными красными кувшинами, в которых по ночам привозят снег с гор для дневного потребления Севильи; под шеей каждого мула болтался длинный медный колокол, имевший вид опрокинутого бокала. Звяканье колоколов, сухой стук

подков по мостовой, возгласы погонщиков далеко раздавались по пустынным улицам; город еще не пробуждался. На мраморных скамьях под деревьями лежали врастяжку и завернувшись в плащ какие-то молодцы, курившие папиросы; они, быть может, провели здесь ночь, не имея другого приюта, быть может, нарочно пришли сюда с тем, чтобы встретить первые лучи и погреться, tomar el sol, – наслаждаться солнцем, – как выражаются испанцы.

Как бы сильно ни было впечатление, которое оставляет Севилья, – справедливость требует сказать, что город собственно играет тут последнюю роль. Испанская поговорка:

Quien no ha visto Sevilla,
No ha visto maravilla,

т. е. кто не видал Севильи, тот не видал чуда, справедлива ровно настолько, насколько относится к собору, к национальному музею, наполненному драгоценнейшими картинами севильской школы, к Алькасару – старому мавританскому дворцу, к церкви la Caridad, но главное – к собору. Это здание не только чудо Испании, но чудо Европы. Город собственно, – я разумею общий вид домов и улиц, общественные увеселения, удобства, окрестности, – не представляет ничего особенно поразительного. Севилья пересечена по всем направлениям тесными, извилистыми, узенькими и очень дурно вымощенными улицами. По ним круглый день, поминутно скользя и спотыкаясь, проходят только вереницы мулов; редкая из них так широка, чтобы свободно могла проехать карета; поэтому ли, или по другой причине, экипажей здесь почти не видно; ездят только за город. По большей части все ходят пешком; шумная, живая толпа постоянно толкается посреди мостовой. Дома редко превышают два этажа, их аккуратно белят два или три раза в год; город, как вообще все испанские города, где мы были, – смотрит очень чисто. Но известь и штукатурка, проходя одинаково по всем зданиям, отымает у физиономии города ту живописность, которую вправе ожидать каждый, особенно от старой Севильи: штукатурка и мел, кроме того что нестерпимо ослепляют глаза, окончательно затерли и замазали лепные мавританские узоры, следы которых и теперь кое-где выступают над старыми воротами и по стенам домов

частных обывателей; благодаря штукатурке, окончательно сгладилась скульптурная резьба из камня и дерева, исчезла живопись, которой так недавно еще украшались фасады богатых домов.

С Хиральды, на которую мы поднялись (с этого начали мы первые наши похождения в Севилье), город открывается как на ладони: он лежит посреди совершенно плоской, обожженной солнцем равнины, которая уходит, с одной стороны, к подножию Сиеры-Морены, с другой – пропадает в золотистом, знойном просторе, кое-где оживленном прихотливыми изгибами Гвадалквивира. Панорама Севильи и ее окрестностей, – даже при всей готовности моей повергнуться в прах перед ней, – не произвела на меня ожидаемого эффекта; в грандиозном отношении я ничего не знаю лучше вида Кадикса с высоты его соборной колокольни.

Не знаю также, что сказать вам о столь прославленной Хиральде. Издали, на меня по крайней мере, сделала она гораздо больше впечатления; кроме того, что воображение настроено было столько лет в ее пользу, она действительно очень грациозно рисуется над общей массой города и невольно привлекает глаз розовым своим колером. Вблизи это ничего больше как огромная четырехугольная кирпичная башня, сохранившая бледные следы арабских лепных украшений вокруг крошечных редких окон, имевших вид бойниц. Сведения о том, что выстроена она около 1000 года мавританским архитектором аль-Гебором, изобретателем будто бы алгебры; что верхние три яруса, окруженные мраморными галереями, с крышей, увенчанной колоссальной бронзовой статуей веры, – воздвигнуты гораздо позже, испанским архитектором Франциском Руис, – интересны для археолога, для историка; художественному чувству до них все равно; оно нимало этим не подкупается, потому что понимает и чувствует только наглядные, непосредственные наслаждения.

Самое замечательное, по-моему, в Хиральде – это ее лестница; она винтообразно обходит снизу вверх всю внутренность башни; ступенек нет, она идет en pente douce[1] и так широка, что два человека верхом свободно могут взобраться до первого надстроенного

[1] плавно поднимаясь *(фр.)*.

яруса, где привешены колокола; освещается она теми маленькими окнами, которые видны снаружи.

Впрочем, при входе на Хиральду, после первого беглого взгляда, все внимание исключительно отдаешь собору; он почти примыкает к Хиральде, которая служит ему колокольней.

Сверху он представляется целым кварталом серых каменных зданий, соединенных в одно целое. Сначала глазам не веришь, что все эти террасы, окруженные каменными балясинами и идущие одна за другой, что это бесчисленное множество верхушек, сводов и каменных куполов, что весь этот лес башен, готических стрелок, контрфорсов – принадлежит одному строению.

Размеры собора еще более увеличиваются, когда сойдешь вниз и начнешь оглядывать его у основания. В наружности его нет и не могло быть одинакового общехарактерного стиля. Он начат еще арабами; главная часть мечети и теперь совершенно цела; она выходит на двор de los Naranjeros[1], сохранивший прежнее свое назначение сада; цел даже фонтан, где мусульмане совершали омовение; двор обсажен громадными апельсинными деревьями; они, говорят, посажены еще арабами. В четырнадцатом столетии к мечети, обращенной в церковь, начали пристраивать новый храм. Соборный причет, владевший тогда несметными сокровищами, принес в жертву на постройку его все свои доходы, оставя для себя только необходимое. Так определено было *по обещанию*. Основанием плану служила такая мысль: «Построить храм, какого еще не было на земле христианской, которому бы мир удивился!» Надо сказать, – цель была вполне достигнута. Для выполнения ее конечно много способствовали громадные средства; но сравнительно с тем, что осуществилось, средств одних было мало; к такому результату могло только привести религиозное, фанатическое увлечение, которое тогда вдохновляло каждое отдельное лицо и управляло всем обществом. С постепенным ослаблением религиозного чувства в Испании постройка собора замедлялась и наконец вовсе остановилась; теперь, по всей вероятности, он уже никогда не кончится.

Приподняв кожаный фартук, которым завешивают-

---

[1] продавца апельсинов *(исп.)*.

ся здесь церковные двери, и войдя во внутренность собора, человек, кто бы он ни был, чувствует себя приплюснутым, уничтоженным, превращенным в муху.

Пять длинных стрельчатых сводов чистейшего стиля первой эпохи готики, скрещиваясь между собой, составляют потолок; его поддерживают ряды колонн, которые у капителей кажутся тоненькими, между тем как у основания они толщиной с башню; средний свод высоты необъятной: под ним свободно могла бы уместиться Ивановская колокольня; по всей окружности собора, вдоль внутренних стен, идут счетом восемьдесят приделов и отдельных часовен; многие из них могут служить большими церквами; в общей громаде размеров их почти не замечаешь. Все это строилось отдельными лицами или семействами из поколения в поколение и строилось со времени основания собора до конца прошлого столетия. Тут можете вы проследить всевозможные стили архитектуры, от строгого готического до напыщенного рококо, который, попав под руку испанским художникам, превзошел богатством орнаментации и фантазией все границы самого необузданного воображения. Скульптурные изображения сцен из Ветхого и Нового завета и святых из бронзы, кости, серебра, мрамора и дерева; резьба из всевозможных камней и дерев; колонны, карнизы и фронтоны из порфира, яшмы, хрусталя, мрамора и обожженной расписной глины; мозаика и редкие картины, – украшают бесчисленные ниши и выступы этих приделов; престолы их уставлены, кроме того, распятиями, маленькими статуйками, драгоценными подсвечниками, складнями, дарохранительницами, цветами в вазах самой тонкой, художественной работы. Стены между этими отдельными часовнями украшены статуями, барельефами и картинами первоклассейших живописцев и скульпторов Испании; тут между прочим и знаменитый св. Антоний Падуанский Мурильо, – картина, которую многие считают лучшим его произведением.

Но желание дать обо всем этом хотя даже приблизительное понятие было бы безумием. Бывая здесь каждый день в продолжение круглого года, все-таки невозможно все высмотреть. Ум теряется, голова идет кругом при одном воспоминании такого страшного изобилия чудес искусства; они рассыпаны здесь с той

невероятной щедростью, о которой могут дать понятие одни разве церкви Италии и Сицилии.

Собор освещается восьмьюдесятью тремя окнами, расписанными сюжетами из Священного писания; живопись принадлежит лучшей эпохе процветания живописи на стекле; оригиналами служили рисунки первых итальянских, немецких и испанских мастеров времени Возрождения. Так как окна расположены на значительной высоте и обходят вокруг внутренние стены, — солнце освещает их попеременно, проходя свой дневной круг. В какое время ни войдешь в собор, лучи солнца, пронизывая с той или другой стороны окна и окрашиваясь яркими цветами, спускаются радужными полосами в сумрачный полусвет величавого здания; изламываясь на прихотливых, мелких гранях колонн, проходя сквозь облака ладана, закрадываясь в глубокие, смуглые барельефы и завитки из дерева, захватывая местами мозаику и позолоту, — бросая пестрые пятна на каменные плиты пола с изображением гербов и надписей, на живописные группы преклоненных молельщиков, — лучи эти дополняют магический эффект собора, невольно приводят самого равнодушного зрителя к ощущению чего-то близкого экстазу.

На мои глаза, главное чудо этого общего чуда — это иконостас (retablo) и хор, — место, где орган и куда во время службы собирается причт для пения псалмов и молитв. Они расположены друг против друга и занимают середину главного свода.

Retablo отгорожен высокой бронзовой решеткой во вкусе богатейшего renaissence[1]: за ней, во всю ширину свода, от колонн до колонн идут мраморные ступени, оканчивающиеся площадкой; тут главный престол. Глаза ослепляются звездами из драгоценных камней, мерцанием огней сотен паникадил, блеском налоев, шитых жемчугом и золотом, богатством утвари, столько же драгоценной по работе, сколько по ценности. За престолом все пространство между колоннами замыкается иконостасом, который в вышину равняется высоте свода. Он весь из дерева; ряды барельефов идут один за другим; о числе их можете судить уже по тому, что на retablo изображен весь Ветхий и Новый завет; каждый барельеф обрамлен широкой деревян-

[1] ренессанса *(фр.)*.

ной резной каймой, изрытой как медовый сот, покрытой херувимчиками, фигурами, ангелами, святыми; все это путается с листьями, плодами, орнаментами, фантастическими химерами; страшное богатство воображения озадачивает не менее, чем самое выполнение: каждый узор резца показывает сознательного, сильного мастера; ничтожнейшая мелочь пройдена с любовью, а между тем все бойко, смело, свободно от рутины, дышит чем-то индивидуальным, проникнуто огнем истинного вдохновения. Барельефы, в которых фигуры вышиной около аршина, выполнены чуть ли еще не с большим мастерством.

Хор точно так же весь деревянный. Вы входите в замкнутое пространство, открытое только сверху; оно вокруг исполосовано высокими монументальными седалищами, усыпанными изящнейшей резьбой; все, что только могла придумать готика, все, что присоединило к ней потом пламенное воображение испанских художников, является здесь в самом полном, самом пышном виде. Толстые томы гравюр, десятки тысяч фотографий, целые коллекции гипсовых слепков, конечно, не передадут вполне невероятное изобилие этих деталей, которые при бесконечном разнообразии форм сливаются все-таки в одно гармоническое, очаровательное целое.

Глядя на такие работы, невольно падаешь духом, когда мысленно перенесешься к тому, что теперь производится в том же роде...

Искусство резьбы из дерева, не мешает заметить, неотъемлемо принадлежит Испании; оно процветало здесь с незапамятных времен и, вероятно, перешло с испанцами во Фландрию. В редкой деревенской церкви не встречаются здесь хорошие образчики скульптуры из дерева. Лучшие художники, Берругует, ученик Микеланджело и основатель мадридской школы Бехера, Алонзо-Кано и другие не пренебрегали деревом; из такого рода произведений нередко встречаются здесь истинные chefs d'oeuvre[1].

Над хорами возвышается один из самых больших католических органов; трубы его, толстые как колонны, украшены также деревянной резьбой. В хоре участвуют более ста пятидесяти человек, не считая сотни детей, которые подтягивают дискантом, зани-

[1] шедевры *(фр.)*.

маясь в то же время перелистыванием пудовых нотных книг, воздвигнутых на вертящихся скульптурных налоях.

Случалось, в это самое время войдешь в собор: человеческие голоса и звуки органа теряются в отдалении; прислушиваешься — точно поют несколько серафимов, которые спрятались где-нибудь под завитком или гранью, в неизмеримой вышине главного свода.

Между хором и retablo возвышается бронзовый подсвечник; его примешь сначала за памятник, поставленный над могилой какого-нибудь важного прелата; он служит поддержкой восковой свечки, в которой две тысячи пятьдесят фунтов весу: это целая мачта! В год сожигается в соборе двадцать тысяч фунтов воску и столько же фунтов масла; красного вина на совершение тайны причащения выходит до восемнадцати тысяч литров, всякий день в восьмидесяти приделах происходит до пятисот служб. Поэтому предоставляю вам сделать окончательный вывод о размерах севильского собора. Размерам этим, надо заметить, отвечает богатство сокровищ, которые нам показывали в ризнице: здесь буквально нагромождены горы золота, серебра, жемчуга и драгоценных камней; мы видели между прочим огромные часовни и модели храмов из золота и серебра; их выносят иногда во время церковных процессий; одна из них помещается на особых парадных носилках, которые могут поднять не менее сорока человек. Резные шкафы, обступающие кругом стены ризницы, битком набиты драгоценной утварью и ризами, которым цены нет. Словом, описать собор и все, что в нем заключается, невозможно; повторяю вам: при одном воспоминании голова идет кругом и мысли путаются!

Чтобы разом кончить с архитектурой и художествами, попрошу вас на минуту в бывшую монастырскую церковь de la Caridad; монастырь превращен теперь в городскую больницу. Уже причина, которой церковь обязана своим существованием, сама по себе интересна: ее выстроил — кто бы вы думали? — выстроил ее дон Хуан де Марана, — тот самый дон Хуан, который, справедливо или нет, пользуется несколько столетий известностью первого волокиты, гуляки, развратника и безбожника. Вот что рассказывает о нем легенда по поводу церкви la Caridad: раз ночью дон Хуан возвращался с пирушки в самом веселом на-

строении духа; на повороте в темную улицу слух его был поражен унылым, протяжным пением; он остановился, голоса приближались. Вскоре из-за угла показалась погребальная процессия; впереди шли в два ряда монахи с зажженными свечами, освещавшими их коричневые капоры, с дырами, прорезанными для глаз; позади несли покойника. «Кого хоронят?» – спросил дон Хуан. «Дон Хуана де Марана!» – гробовым голосом отозвались монахи. Такой ответ несколько озадачил гуляку, он подошел еще ближе и повторил свой вопрос. «Хороним дон Хуана, – повторили в свою очередь монахи, – последуйте за нами, почтенный cabalero[1], помолитесь за упокой грешной души его!..» Дон Хуан взглянул в лицо покойника; так как в Испании покойников носят с открытым лицом, дон Хуану легко было убедиться, что покойник действительно был не кто другой, как его собственная особа. «Странно!» – подумал отрезвившийся волокита. Не произнеся ни слова, он присоединился к шествию и пошел в церковь; тут присутствовал он при отпевании и погребении самого себя. На другой день его нашли лежащего в обмороке на том самом месте, где происходила погребальная церемония. Это обстоятельство так сильно подействовало на дон Хуана, что он вполне раскаялся, постригся в монахи и пожертвовал все свое состояние на постройку церкви, теперешней de la Caridad.

Церковь великолепна: тут во всей своей ослепительной роскоши является соединение всех возможных мотивов итальянского renaissance с французским *рококо*, – стиля, который особенно часто украшает храмы Испании; его зовут здесь plateresco;[2] белые стены храма наполовину исчезают под позолотой орнаментов. Здесь находятся две знаменитые картины Мурильо: умножение хлебов и Моисей, исторгающий воду из скалы. Хотя картины эти по величине чуть ли не самые большие произведения художника (во второй восемнадцать фигур в натуру), но обе повешены так высоко, что вполне насладиться ими можно только с помощью бинокля. В той же церкви у входа видел я странную картину Хуана Вальдеса: из темного фона выступают на первый план два трупа, лежащие один

---

[1] сударь *(исп.)*.

[2] платереско *(исп.)*.

против другого; они в состоянии полного гниения; кожа местами раздулась и позеленела, местами треснула, сползла и пропускает мириады белых червей с красными головками; один труп в порфире и короне; другой в тиаре и парадном папском облачении; у ног их навалены в беспорядке скипетр, регалии, короны, груды золота; знаки земного отличия поставлены здесь в контраст неизбежному отвратительному жизненному концу, который всех уравнивает.

Нельзя, кажется, придумать менее симпатического сюжета; прибавьте еще к тому страшную пластическую правду выполнения. Но живопись такое многостороннее искусство, что дает долю эстетического наслаждения уже тогда, когда хотя одно из его условий превосходно выполнено; письмо Хуана Вальдеса так великолепно, исполнено такого вкуса, такой жизненности, что, независимо от сюжета, против воли все-таки не отрываешься от картины.

Не могу утерпеть, чтобы не упомянуть о колоссальном деревянном барельефе, который поставлен здесь вместо запрестольного образа. Девять фигур в рост окружают Спасителя, только что снятого с креста. Вы представить себе не можете, какая поражающая сила в выражении лиц: следы страданий, начертанные не только в лице Христа, но в сжатых мускулах его тела, даже на самой коже, местами висящей лохмотьями: все это, однако ж, по мнению художника, было слишком еще слабо для полноты впечатления; он расписал барельеф красками, и так натурально, что, готов побожиться, видишь перед собой живых людей. Таких скульптурных произведений много в церкви la Caridad. Нам показывали деревянную статую Спасителя, изображенного в ту минуту, как он привязан к позорному столбу; глядя на эту статую, также расписанную, невольно замирает сердце и дух захватывает; Христос стоит совершенно как живой; кожа висит клочьями, обнажая местами кости колен и ребра; кровь льется ручьями по лицу и одежде; стекла рубинового цвета вставлены там, где кровь запеклась или остановилась в виде капли; помутившиеся глаза, которым художник дал выражение страдания, какого век не забудешь,— сделаны для большей верности из цветной эмали; они смотрят из-под темных впадин, осыпанных прядями *натуральных волос*; воло-

са в свою очередь вырываются из-под *настоящего* тернового венца...

Такие изображения на каждом шагу попадаются в Испании. Здесь реализм в искусстве дошел до крайних своих пределов. Стремление к натуральному, все равно в каком бы отвратительном виде оно ни представлялось, составляет одну из самых характерных черт испанского художества. Кроткий идеал, вдохновлявший итальянских живописцев и скульпторов XV, XVI века, проникал сюда, но, по-видимому, в то время никого не увлек, никого не тронул; не того искало пламенное, необузданное воображение испанца; разжигаемое безумием религиозного фанатизма, оно могло находить удовлетворение только в потрясающих эффектах, в таких произведениях искусства, которые не только льстили, но, если можно, усиливали бы в нем фанатическое настроение духа. Художникам легко было достигнуть такой цели; они стремились к ней столько же по собственному чувству, сколько вследствие направления, данного искусству духовной инквизицией; она находила свою выгоду поддерживать фанатизм: это было удобнейшее средство управлять народом по своему произволу.

После картин, имеющих предметом пытки, истязания монахов, забивающих себя до смерти камнем в грудь и т. д., с большим еще умилением останавливаешься и отдыхаешь сердцем перед головками мадонн и ангелов Мурильо. Глядя на них, не ощущаешь того тяжелого гнета, который невольно ложится на душу перед мрачными картинами большей части его соотечественников. В религиозных произведениях Мурильо грозная, ужасающая сторона религии заменена сердечной, человеческой, любящей, которая собственно составляет главный смысл христианского учения. Доброта, кротость, милосердие были идеалами Мурильо; такими чувствами, по крайней мере проникнуты все лица его картин священного содержания; не потому ли они так нам и симпатичны, что самый идеал художника всем доступнее?..

Беда да и только! Эта Севилья заключает в себе такое изобилие художественных сокровищ, что, право, не знаешь, на что решиться, упомянуть ли только о самом значительном или уж лучше сряду пропустить все художественное, так как дело здесь собственно в беглом очерке путевых впечатлений? Последнее

по-моему благоразумнее. С другой стороны, на каждом шагу встречаются здесь такие редкости, что, право, совестно как-то пройти их молчанием. Можно ли, например, слова не сказать об Алькасаре, мавританском дворце, недавно еще возобновленном стараниями герцога Монпансье?.. Решаюсь, однако ж, умолчать о нем, хотя бы даже из чувства уважения к нему же самому. Тут целыми страницами ничего не скажешь, не передашь даже приблизительного понятия читателю, незнакомому, например, вовсе с архитектурой арабов. Читатель, не бывший в Испании, но интересовавшийся когда-нибудь ее арабскими памятниками, по всей вероятности, давно уже перечел все, что говорится о них в книгах Виардо, Боткина, Готье и других, более специальных сочинениях. К тем же источникам пусть обратятся все те, кого особенно занимает национальный музей Севильи (el museo provincial[1], как сказано в каталоге). Историю испанской живописи, точно так же как биографию художников, найдете вы у Рачинского и Виардо; Боткин так прекрасно определил поэзию мурильевской живописи, так верно и тонко объясняет его стиль и манеру, что пришлось бы только повторять его слова, говоря о великом живописце.

Музей сам по себе, как архитектурное здание, а также и в отношении внутреннего декоративного устройства, не заслуживает особенного внимания. Снаружи мрачные, старинные стены. Здесь весь интерес и роскошь сосредоточиваются в картинах. Так, например, вы входите в длинную, большую залу с темным, закоптелым потолком и паутинами во всех углах; стекла огромного итальянского окна в глубине, очевидно, не мыты с того дня, как здание перестало быть монастырем; пол выстлан кирпичом, весь потрескался и покрыт пылью; но в этой зале счетом девятнадцать запрестольных картин Мурильо[2]. Можете су-

---

[1] провинциальный музей *(исп.)*.

[2] 1. Богородица и преклоненный перед ней св. Августин.

2. Зачатие Пресвятой Девы (в том же роде, как у нас в Эрмитаже).

3. Св. Леандр и Бонавентура.

4. Рождество Спасителя.

5. Св. Феликс (de Cantalicio), подносящий Христа-младенца Богородице.

6. Св. Фома (de Villanueva), раздающий милостыню нищим.

дить, что могло бы ожидать здесь зрителя, если б картины эти были хорошо освещены и обставлены достойным образом! По-моему, перл этого драгоценного собрания — св. Феликс, подносящий Христа-младенца Богородице. Не знаю, чтобы кисть Мурильо произвела что-нибудь совершеннее; здесь полотно, краски, словом материальные части живописного искусства окончательно как бы исчезли; перед вами открывается воздушное, квадратное пространство, в котором клубятся легкие облака, насквозь проникнутые светом; слева, в белой, развевающейся одежде тихо спускается Богородица; прелестное, кроткое лицо ее освещается невидимыми небесными лучами; справа, внизу, на едва приметном клочке земли, стоит на коленях святой; лицо его, опрокинутое назад, исполнено восторженного умиления; вся душа перешла, кажется, в полные сладких слез глаза, устремленные к дивному видению; руки его, простертые вперед, покрыты белым покровом; на нем спящий Христос-младенец. Картина особенно тем еще замечательна, что в ней, кроме поэзии и прелести выражения, еще менее высказывается условного, чем в других произведениях Мурильо; она, очевидно, написана в минуты самого горячего вдохновения. Сюжет, взятый, вероятно, из местной легенды и нимало не трогающий современного зрителя, подтверждает только то, что мы сказали по поводу картины Хуана Вальдеса; в живописи, более чем в другом пластическом искусстве, главное дело не столько в содержании, сколько в поэтическом чувстве художника и потом в совершенстве технических условий.

---

7. Св. Юста и св. Руфина, поддерживающие модель Хиральды.

8. Св. Антоний падуанский и Христос-младенец, являющийся на библии.

9. Зачатие Пресв. Девы; над Нею Бог-отец и сонм ангелов.

10. Тот же сюжет.

11. Благовещение.

12. Христос на кресте и св. Франциск.

13. Св. Феликс (de Cantalicio); поясная фигура с Христом-младенцем на руках.

14. Св. Иоанн-креститель.

15. Богородица с Христом-младенцем.

16. Тот же сюжет.

17. Ангел, поддерживающий тело Христово.

18. Богородица с Христом-младенцем на руках.

19. Иосиф с Христом-младенцем на руках. *(Примеч. Д. В. Григоровича.)*

Но чудеса искусства сами по себе; как бы велика ни была жадность к картинам, статуям и вообще предметам художества, является, наконец, минута пресыщения; нервы утомляются, падают и требуют отдохновения. Но даже и мимо искусств нет города, где бы время проходило так приятно, как в Севилье. Не знаю, в какой степени развита в ней общественная жизнь и насколько удовлетворяется ею постоянный житель; но путешественник, который приезжает сюда на три-четыре недели, который раз уже если может познакомиться с внешней обстановкой, у которого нет времени подсмотреть изнанку и тем самым, может быть, испортить свежесть первых впечатлений,— такой путешественник ни в каком случае не соскучится в Севилье. Мы прожили там по крайней мере так приятно, как ни в каком другом городе Европы.

Утро начиналось всегда с того, что отправишься бродить по городу без цели, куда глаза глядят; зайдешь обыкновенно в собор, Алькасар, музей la Caridad или другую церковь; часто сюда привлечет не столько чувство изящного, сколько попросту желание отдохнуть. Я уже сказал, что Севилья как город не представляет ничего особенно великолепного, а между тем нигде не фланируешь с таким наслаждением. Любопытство постоянно настороже, ни на секунду не усыпляется; на всем здесь такая печать своеобразности, так все непохоже на Европу, и вместе с тем, благодаря солнцу и небу, благодаря инстинктивному чувству изящного, свойственному южным народам,— все является здесь в таком картинном, живописном виде, что самое фланерство получает свой процент эстетического наслаждения.

По целым часам засматриваешься иногда в голубую тень, падающую от старой стены, где толпа смуглых, кудрявых, черномазых muchachos (мальчишек) скачут и возятся как чертенята, играя в toros[1]. Взявший на себя роль быка подражает с необыкновенным искусством всем приемам и движениям разъяренного животного; другие, кто сидя верхом на палочке, кто с клочком бумаги или листом лопуха в руке, прыгают вокруг, представляя пикадоров и banderillos[2]. Наконец, подбоченясь с комической важностью, выступает матадор; бычок бросается вперед и в ту же

[1] быков *(исп.)*.
[2] бандерильос *(исп.)*.

секунду падает к ногам матадора при громких возгласах всех остальных ребятишек; нередко к тоненькому голоску детей присоединяется богатырский бас взрослого человека: проходя мимо, он не мог не остановиться, а под конец и сам увлекся. Местами поднятый ковер наружной двери позволяет любоваться patio с его милой, грациозной обстановкой: цветами, фонтаном и женщинами, играющими веером. Местами внимание останавливается на группе нищих: выразительность лиц, позы, живописность лохмотьев, охваченных яркими переливами солнца и тени, объясняют, отчего даже идеальный Мурильо не мог противиться обольщению и брал иногда нищих оригиналом для своих картин.

Иногда отправлялись мы в отдаленнейшие части города, заходили в Триану, – квартал, слывший когда-то самым опасным углом чуть ли не всей Андалузии. Население Трианы, состоявшее преимущественно из цыган (gitanos), наполнялось еще людьми самого сомнительного промысла. Теперь Триана интересна только по воспоминаниям; на улицах ее, лишенных мостовой, взбудораженных точно после землетрясения и обставленных жалкими низенькими мазанками, поросшими репейником и алоэ, изредка разве встретишь оборванное цыганское семейство, которое варит что-то в котелке у входа в жилище. К уничтожению опасного населения Трианы нимало, однако ж, не содействовало правительство; оно здесь не настолько заботливо и предусмотрительно. Как мы ни расспрашивали, никто не мог сказать, отчего Триана год от году пустеет.

Гвадалквивир отделяет предместье от города; чтобы снова попасть в Севилью, надо перейти каменный мост и миновать большую площадь; ее замыкают справа набережная и городская стена; слева площадь открывается на Кампанию, в которой величаво рисуются арки римского водопровода. Площадь эта с утра до вечера, не выключая часов сиесты, постоянно полна народом; здесь торгуют съестными припасами и теми мелкими обиходными предметами, которые составляют потребность простого класса; здесь также продают и пробуют лошадей, ослов и мулов; посреди шумного, непонятного говора не раз приходилось слышать знакомые слова цыганского языка, которые удавалось прежде слышать в Зарайске или Серпухове.

Громадные дощатые телеги с сеном, запряженные парой волов, длинные цепи разукрашенных мулов с перекидными плетеными корзинами, наполненными овощами, арбузами, виноградом, гранатами и кувшинами; гурты гусей и синих свиней, собаки и лошади, – все это снует и движется в страшном беспорядке посреди толпы, которая, по-видимому, нимало этим не стесняется. Тут можно увидеть костюмы всех провинций Андалузии и Каталонии. Не знаешь, куда деваться от суеты и гама, от оборванных muchachos, которые кричат над самым ухом: «Fuego! fuego!»[1], – предлагая огонь в медных тазах с угольями; от продавцов воды, которые тут же голосят во всю силу легких: «Agua! agua gelato! Quien quiere agua fresquita!»[2]

При всей своей беспорядочной суете, толпа эта, надо заметить, ведет себя необыкновенно прилично; причина того трезвость и еще та вынужденная осторожность и учтивость в обращении друг с другом, о которой я говорил выше. О кабаках здесь нет помину; их заменяют так называемые refrescos[3], лавочки, где за самую ничтожную плату можно получить порцию снега с лимонным соком или стакан холодной воды, в который для вкуса опускается кусок отверделой сахарной пены, весьма схожей с нашими кондитерскими безе. Во всю мою бытность в Испании раз только случилось видеть пьяного; толпа muchachos, взрослых мужчин и женщин, шла за ним, сопровождая каждый его шаг свистом и насмешками, из окон высовывались головы любопытных; при виде пьяного мужчины начинали свистать и лаять по-собачьему.

Фланерство наше, надо правду сказать, не всегда, однако ж, было без цели; мы только почему-то тщательно иногда скрывали ее друг от друга. Случалось, например, что каждый из нас выразит желание отделиться от общества и идти сам по себе; прекрасно, все соглашаются, разойдутся в разные стороны и потом, час спустя, смотришь – все сошлись, пожалуй, хоть бы в дверях сигарной фабрики. Сигарные фабрики чаще других мест Севильи служили пунктом таких неожиданных столкновений. Дело в том, что здесь,

---

[1] Огня! огня! *(исп.)*

[2] Вода! холодная вода! Кому свежей воды! *(исп.)*

[3] Прохладительные напитки *(исп.)*.

в одной зале, работает до пятисот молоденьких девушек; из них бездна хорошеньких; все это поет, болтает, смеется и курит; они курят сколько хотят, с тем, чтобы не уносить табаку из фабрики. Cigarera[1] совершенно особенный тип; он соответствует прежнему типу парижской гризетки; в многочисленном классе женского населения Севильи только сигареры сохранили национальный костюм; они являются по праздникам в коротенькой баскине, корсаже, обнажающем плечи и с широкими рукавами, усыпанными блестками; вечером, на всех площадях и прогулках вы их встретите с сигарою во рту и веером, который быстро переходит из одной руки в другую; они гуляют небольшими группами; в нескольких шагах непременно следуют лихие, щегольски одетые majos; случалось, впрочем, встречать и русских.

Нет, кажется, города в мире, где бы встречалось на каждом шагу столько случайностей, такое разнообразие ощущений и такие контрасты, как в Севилье; оттого-то именно она так и дорога фланеру. Не успеешь отвести глаз от группы веселых, хорошеньких cigareros, — и вдруг наталкиваешься на зрелище, от которого замирает сердце от ужаса и в волосах пробегает озноб: мимо вас проносят окровавленного человека, который бьется в предсмертных судорогах; сейчас за соседним домом он сделался жертвой «раздраженной руки», то есть попросту его хватили ножом; крик, шум, смятение мгновенно наполняют улицу. Несколько шагов далее, снова мертвая тишина; и вдруг из-за угла, на повороте, вас неожиданно оглушают веселые звуки военной музыки. — Что это? — спрашиваешь. — Церковная процессия!..

Первый раз, как застигнул меня на улице такой неожиданный музыкальный концерт, — я поспешил прижаться к стене, нимало не сомневаясь, что навстречу идет батальон или полк солдат. Ничуть не бывало! Музыканты, игравшие какой-то вальс, служили авангардом церковной процессии. За музыкантами, в несколько рядов и в полном облачении, выступало духовенство; под фиолетовым бархатным балдахином, украшенным кистями, золотым шитьем и страусовыми перьями, тяжело пыхтел и переваливался старый жирный поп, с глазами, неподвижно, насильственно

---

[1] Сигарера *(исп.)*.

как-то опущенными к земле; вокруг суетились мальчики в белой одежде, державшие зажженные свечи или махавшие во все стороны курившимися кадилами; далее ярко пестрели и сверкали на солнце хоругви, серебряные резные фонари, воздвигнутые на цветных шестах, изображения церквей и башен или возвышалась на богатых носилках деревянная крашеная Мадонна с венком роз на голове и одетая в пышное бальное платье с бесчисленным множеством кружевных воланов; за ними гнусливо, но во весь голос и совершенно вразлад пели певчие; шествие замыкалось новыми, нескончаемыми рядами духовных лиц в полной парадной одежде. Все это было очень живописно и даже эффектно, если хотите, но ради чего это делалось, решительно не могу объяснить себе.

Сколько я мог заметить при встрече с такими процессиями, испанцы не только не умиляются ими, но остаются к ним совершенно равнодушными; мало того, не обращают даже на них никакого внимания. Процессия состоит иногда более чем из двухсот лиц духовенства, а между тем ее сопровождают несколько нищих старух и толпа mushachos; последних, очевидно, привлекает только музыка.

Впоследствии разговоры, а также и то, что приводилось самому видеть, окончательно убедили меня, что Испания, слывшая когда-то самой религиозной страной католического мира,— теперь, наоборот, едва ли не самая равнодушная к религии.

Причина этого очевидна: она вся в действиях самого духовенства, которое в свое время перешло здесь всевозможные пределы власти злоупотреблений. Впадая в крайности, свойственные пылким народам, испанцы перерезали монахов своих, как только перестали их бояться. Белое духовенство уцелело каким-то чудом; не потому ли, может быть, что слишком уже презиралось народом? Надо видеть, с каким восторгом встречаются в театре сцены, где смеются над духовенством, пародируют духовных лиц и комически распевают «de profundis» [1]. И все это происходит каких-нибудь сорок лет спустя после уничтожения инквизиции, которая, в ханжеском усердии своем поддержать веру, пережгла, перерезала и передушила более

[1] де профундис *(исп.)*.

десяти миллионов человек испанского народа. Нечего сказать, цель славно достигнута!

Иногда, уговорившись накануне, мы вставали часов в шесть-семь утра и делали поездки за город. Раз даже заехали мы очень далеко. Не знаю, кто-то сообщил Б. Т., что верстах в пятнадцати от Севильи, в местечке Alcala, превосходная охота с ружьем; там, уверяли, в таком страшном изобилии водились в это время куропатки, что можно было стрелять их дюжинами, почти не сходя с места. Б. Т. страстный охотник; судите, что с ним сделалось после такого известия. Мы пробовали было его успокоить, советовали справиться, так ли действительно было, как рассказывали, выставляли ему на вид всем известное свойство андалузцев,— свойство, которое, вероятно, недаром заслужило им название испанских гасконцев,— ничего не помогало; мы все равно что толкли воду. Ясно, следовательно, приходилось сделать уступку в его пользу. Что прикажете делать с человеком, который не шутя видел высочайшую степень земного блаженства в том, чтобы подстрелить куропатку в Андалузии! Мы согласились ему сопутствовать и решили завтра же чем свет съездить в Алкалу.

В тот же вечер Джиованни (гид фонды de Paris), сопровождаемый своим неизбежным белым пуделем, отправился заказывать лошадей и экипаж; последний предназначался тем из нас, которые наотрез объявили, что скорее согласятся пронести лошадь под мышкой до Алкала, чем просидеть на ней пятнадцать верст верхом.

Часов в шесть мы были на ногах и выходили из дверей нашей фонды. Джиованни и еще три человека в коричневых плащах и с такого же цвета лицами держали под уздцы лошадей.

— Где же карета? — спросили мы.

— Готова.

— Что ж она не является?

— Невозможно проехать: она слишком широка и не пролезла бы в улицу,— спокойно возразил Джиованни.— Пусть господа, которые едут верхом, садятся; остальных я провожу до экипажа...

— Далеко ли идти?

— Почти на край города, к puerto de Carmona...[1]

[1] Пуерто де Кармона *(исп.)*.

Puetro de Carmona выходит на большую торговую площадь, о которой я уже говорил.

Делать нечего, тронулись в путь.

Почти у выхода на площадь, под черепичными навесами с толстыми каменными столбами, увидели мы длинный крытый фургон, запряженный шестью мулами по два в ряд. Фургон, напоминавший наружной своей формой старые омнибусы, срамившие когда-то Невский проспект, был по внутреннему своему устройству еще неудобнее последних: две голые скамьи во всю длину, и только доски пола просвечивали и перегибались под ногами. Зато мулы, выбритые от задних ног до половины спины, исчезали почти под кистями, буфами и помпонами из цветной шерсти; mayoral — кучер и, вместе с тем, владелец экипажа и мулов, представлял из себя одну из тех пышных, великолепных фигур, которыми нельзя довольно налюбоваться, даром что их на каждом шагу встречаешь в Севилье. Несмотря на свои шестьдесят лет, он был одет совершенным щеголем: красный широкий кушак, коротенькие голубые панталоны с серебряными пуговками по швам, кожаные штиблеты до колен, открывающие с боков голую икру, голубая шитая куртка, яркий платок вокруг шеи с длинными концами, падающими на белую рубашку; голова его с седыми висками, резко выступавшими на смуглой как корица коже, повязана была желтым, ярким фуляром; ее прикрывала сверх этого маленькая надетая набекрень шапочка с круто загнутыми полями и украшенная кисточками; лицо кучера, гладко выбритое, с парой черных бакенов в виде котлет по бокам, исполнено было выражения веселости, лихости, удали,— словом, лицо вполне андалузское.

Подле мулов хлопотало еще несколько человек, напоминавших лицом и одеждой тех бандитов, которые неожиданно выскакивают из бочек в пьесе «Фра Дьяволо».

Увидав нас, mayoral послал нам знак приветствия, исполненный достоинства, подобрал вожжи и сел на козлы, приглашая нас скорее занять наши места.

Прошло, однако ж, более десяти минут, прежде чем мы тронулись с места; мулы ни за что не хотели выйти из-под навеса: крики людей и хлопанье бичей усиливали только, по-видимому, их упрямство — они бились, рвались, лягали, и чем более стоявшие вокруг

люди кричали и дергали, тем менее подвигалось дело. Наконец раздался ужасный крик, мулы рванулись вперед как бешеные, во весь дух понесли нас по мостовой; до сих пор не понимаю, каким чудом выскочил наш фургон и мы вместе с ним целы и невредимы из лабиринта столбов, окружавших двор и навес. В первую минуту у нас решительно отшибло память; помню только, как мы скакали по мостовой, держась друг за дружку и стукаясь головами в кузов и дощатые стены.

— Aya! aya! — кричал во весь голос mayoral, яростно между тем размахивая в воздухе сигарой.

— Aya! aya! — вторили ему еще громче из толпы, которая не знаю как успевала раздаваться, чтобы дать нам дорогу и не быть раздавленной.

На конце площади, уже при самом въезде на мост, все эти крики, грохот экипажа и топот подков слились вдруг в один неистовый гам, и фургон получил неожиданно такой толчок, от которого едва не рассыпался в щепки. Мы поспешили выскочить вон. Мулы наши целиком вломились в обоз, спускавшийся гуськом с места.

Пока распутывались постромки, разводили мулов, мы лишний раз имели случай заметить ту учтивость в обращении, которая отличает испанский народ от всякого другого; такой случай, не говорю у нас, но во Франции и даже Англии, не обошелся бы без обмена бранных слов, пожалуй, даже драки; здесь все ограничилось только выразительными жестами и взглядами; после этого все сообща принялись подсоблять друг дружке; минут пять спустя mayoral закурил свою сигару, учтиво предложил огня товарищам, уселся на козлы, и мы снова поскакали, продолжая стукаться головами.

В Alcala надо ехать по той же дороге, как в Мадрид. Миновав мост Гвадалквивира, оставя влеве Триану, мы вскоре очутились на совершенно пустынной дороге; странно даже было видеть, что в таком близком расстоянии от города не было и признака жилья. В обе стороны развертывалась песчаная, однообразная равнина, усеянная грудами камней, насквозь прожженных солнцем; кое-где на краю дороги лепилась развалина мазанки, обросшая репейником или громадными синеватыми алоэ, которые высоко выбегали своими колючими остряками над плоской, зной-

ной линией горизонта. Время от времени попадались длинные цепи мулов, перегибавшихся под тяжестью мешков с мукой; встречались также верховые в коричневых плащах, закрывавших нижнюю половину лица, с ружьем за плечами, в широких, надвинутых на глаза шляпах.

Жар между тем заметно начинал донимать нас; дребезжавший дощатый потолок фургона чувствительно накаливался. К этому вскоре присоединилась тонкая песчаная пыль, которая клубами врывалась в окна, в щели и нестерпимо жгла и саднила лицо. Кто-то предложил закрыть окна; но в ту же минуту принуждены были снова опустить их, потому что чуть не задохлись от духоты.

На шестой или седьмой версте один из наших обратил внимание на человека, который бежал подле фургона; он был без шляпы, в оборванной синей рубашке и таких же панталонах, которые придерживал рукой, из боязни, вероятно, потерять их на дороге. Заподозрив его тотчас же в злостных намерениях стащить что-нибудь, мы стали украдкой наблюдать все его движения; по прошествии минуты мы узнали в нем одного из тех подгоняльщиков (zagal), которых берут здесь кучера, чтобы подгонять путем-дорогой капризных, упрямых мулов. Zagal появлялся то с одной стороны фургона, то с другой, то забегал к передовым мулам; носясь таким образом во весь дух и придерживая свои панталоны, он успевал в то же время подбирать камешки, которыми со всего маху пускал в мулов, заставлял их скакать еще шибче; пот лил с него ручьями; набрав горсть камней, он иногда ловко вскакивал на козлы и передавал камни кучеру, который в свою очередь принимался пускать ими и в хвост, и в голову. Наш zagal мог еще, по всей справедливости, считать себя счастливейшим человеком: ему представлялась еще возможность садиться на козлы; по большей части козлы бывают также заняты пассажирами; в таких случаях бедняга пробегает от станции до станции, не имея возможности перевести дух; заметьте, станции здесь огромные, не менее двадцати пяти верст.

Но здесь, впрочем, этому никто не удивляется: андалузцы недаром слывут людьми самыми легкими на подъем, лучшими ходоками и скороходами.

Часам к десяти жар сделался решительно невыно-

сим; к счастью, около этого времени прибыли мы в Alcala de los Panaderos[1].

Несмотря на такое трескучее название, в Алкале всего одна улица; она обставлена жалкими, низенькими домами, выбеленными мелом; их до того накаляло солнце, что подле них чувствовался жар, как от плавильного жерла чугунного завода. Алкала расположена между голыми, кремнистыми холмами и одним концом своим примыкает к маленькой мутной реке с двумя водяными мельницами; здесь печется часть хлеба, доставляемая каждую ночь на мулах в Севилью. На одном из холмов вырезывается в сверкающем до ослепления небе профиль римских развалившихся укреплений. Кругом ни одной былинки, ни одного деревца; отовсюду сверкает один камень, накаляющий воздух; у мельницы торчат две-три чахлые ветлы, но и те от корня до маковки засыпаны жгучей пылью и мукой.

Possada (постоялый двор), где мы остановились, ничем не отличалась от остальных домов; с улицы входишь в мрачную закоптелую кухню с пучками луковиц, развешенных по потолку; на стенах бросаются в глаза ружья и мушкетоны, и ни одной кастрюли; прямо – ряд столбов, а за ними непосредственно конюшня, так что, заказывая завтрак, мы вдоволь наблюдали, как наш mayoral устанавливал мулов; запах кухни, конечно, не так щекотал наши ноздри, как запах навоза. Слева низенькая дверь приводит в обширную комнату со сводами и полом, вымощенным плитами; вокруг стен каменные скамьи и длинные сосновые столы, пропитанные насквозь запахом масла.

Несмотря на зной, Б. Т. настоятельно требовал, чтобы мы немедленно отправились с ним на охоту.

– Завтрак будет скуден, это уж по всему видно, – сказал он в виде убеждения, – не лучше ли походить часок-другой и прибавить к нему дюжинки две жирных куропаток!

Джиованни, которого мы взяли с собой, передал нам, что, по словам кучера, загаля и содержателя посады, лучшим местом для охоты был холм, где возвышались развалины.

Б. Т. схватил ружье, оглянул нас торжествующим взглядом и ринулся к двери.

---

[1] Алкала де лос Панадерос *(исп.)*.

Мы невольно за ним последовали.

На половине холма, покрытого колючим кустарником и глыбами обвалившихся стен, мы едва уже могли переводить дух; солнце, кроме того что ослепляло глаза, расслабляло нас до того, что мы едва передвигали ноги; нечего было думать идти далее, прежде чем не спадет зной. Б. Т., очевидно, сам начинал это чувствовать, но страсть брала верх над всем; он все-таки лез выше и, казалось, употреблял еще больше стараний, чтобы нас ободрить. Призвав на помощь последние силы, мы с отчаянием пошли за ним. Наконец, когда, полчаса спустя, покрытые царапинами, пылью и потом, взобрались мы к развалинам,— Б. Т. вдруг сел на камень и уныло свесил голову.

— Что ж это значит? — спрашивали мы,— отчего вы не идете дальше? Мы исполнили ваше желание: видите, мы здесь! Ступайте же за вашими куропатками...

— Дальше идти незачем! — возразил он, мрачно озираясь вокруг.

— Как?

— Не стоит!

— Стало быть, нет куропаток? — спросили мы, тщетно стараясь отыскать клочок тени, куда бы можно было укрыть хоть голову,— но этого быть не может! с чего же все они уверяли, что здесь куропатки водятся в таком изобилии?..

— А черт же их знает, с чего они это взяли! — досадливо разразился Б. Т.— Здесь дичь вот какая: одна только и может быть! — добавил он, указывая на мириады ящериц, которые быстро сновали по сверкавшим на солнце обломкам.

Отдохнув немного, мы поспешили спуститься. Но в посаде нас ожидало новое разочарование: хозяин, обещавший прежде пустить для нас в ход всю свою провизию, объявил теперь, что в его распоряжении только луковицы, чеснок, шоколад, виноград и хлеб. Делать нечего, надо было покориться горькой судьбе; мы тут же принялись за хлеб, который, даром что здесь изготовляется, оказался почему-то еще жестче и преснее, чем в Севилье.

Но этим еще не кончилось.

Едва сели мы в большой комнате со сводами и пропустили в рот первую виноградинку, из кухни

послышались такие неистовые крики, поднялся такой грохот, что мы разом, как бы по команде, вскочили на ноги. В ту же секунду в комнату стремительно влетели два человека верхом на лошадях; один был молодой, другой уже старик; оба неистово гикали и вращали над головой нагайками. Не успели мы откинуться назад, как лошадь молодого поскользнулась и шарахнулась об пол; седок вывернулся из-под нее с неимоверной ловкостью, поставил ее на ноги, ударил нагайкой, вскочил в седло, пригнулся к луке, гикнул и пропал в дверях в сопровождении старого своего товарища. Все это было делом нескольких секунд.

На крик хозяина и хозяйки мы выбежали в кухню в ту самую минуту, как верховые во весь дух проскакали по улице. В жизнь не забуду того яростного отчаяния, которому предавались владетели посады; они рвали на себе волосы, метались по углам, били себя в грудь кулаками, крестились, испускали то глубокие вздохи, то потоки угроз и проклятий. Даже увещания кучера, загаля и Джиованни, которые сюда же выбежали, долго не могли привести их в более спокойное состояние.

Наконец дело объяснилось: молодцы, наделавшие всю эту суматоху, были гидальги, — отец и сын, два мелких владельца землей, которые давно острили зубы на хозяев посады и выжидали только случая насолить им. Чтобы вернее достигнуть цели, они выбрали минуту, когда собрались гости; врываясь верхом, они имели в виду наделать больше скандала и тем усилить оскорбление хозяевам. Как могли они изловчиться, чтобы проскочить на лошади в низенькую, узкую дверь кухни и потом нашей комнаты, это для меня до сих пор остается загадкой.

Переждав зной, мы к обеду тем же путем вернулись в Севилью.

Разъезжая таким образом по окрестностям (но с большей, однако ж, удачей) или фланируя по улицам, не видели мы, как проходил день. А между тем главный запас сил надо было всегда приберегать к вечеру; потому что только от семи часов до поздней ночи Севилья начинает жить полной своей жизнью; она тогда только является во всем своем блеске. В эту пору впечатлений еще больше, и они еще разнообразнее. О веселье и говорить нечего. Веселость андалузского характера сообщает всему городу оживление, о кото-

ром одни разве Палермо или Неаполь во время карнавала могут дать понятие.

За час до солнечного заката, когда улицы начинают потопляться прохладной тенью, и только крыши домов и колокольни горят еще золотом и пурпуром, ярко вырезываясь в густой синеве неба, идешь обыкновенно на площадь del Duque[1] или на Alameda christiana[2]: последняя – сад на берегу Гвадалквивира; сюда по вечерам собирается весь beau-monde[3] Севильи. Так бывало, впрочем, тогда только, когда узнаешь за обедом, что афишки не возвещают bayte nacional, т. е. балет или национальные танцы. В таком случае christiana и фланерство по улицам без размышления приносились в жертву театру. В Севилье их несколько. Один особенно (не помню его названия) отличается великолепием; зала бледно-лилового цвета с позолотой; вместо стульев вольтеровские кресла, обитые красным сафьяном. Но зала, превосходные декорации, игра актеров и самая прелесть танцовщиц, – все забывается перед рядами красавиц, которыми унизаны ложи. Обнаженные руки, играющие веером, взгляды, которыми обмениваются из ложи в ложу, милое движение голов при встрече с знакомыми, мантильи, откинутые назад и открывающие матовые, чудные плечи, пряди черных волос с магнолией или камелией на висках, – все это поминутно отрывает от сцены.

Первый раз, как случилось мне быть в театре, я лишний раз убедился в присутствии грации, которая проникает природу южного человека и высказывается в самых даже мелочных его привычках и обычаях.

На сцену вышла молоденькая, хорошенькая актриса; она спела сайнет, национальную песню, и спела ее превосходно; с окончанием второго куплета зала, к великому моему удивлению, вдруг наполнилась неистовым шипением, смешанным с особенным каким-то звуком, похожим на чмоканье. Я взглянул на бедную актрису: она обводила публику глазами и, приложив руку к сердцу, кланялась во все стороны; она, – так по крайней мере показалось мне в эту минуту, – вымаливала снисхождение. В негодовании на

---

[1] дель Дюк *(исп.)*.
[2] Аламеда христиана *(исп.)*.
[3] высший свет *(фр.)*.

публику я обратился к сидевшему рядом со мной бельгийскому консулу.

– Это ни на что не похоже,– сказал я,– она прелестно поет: за что же все на нее вдруг напустились?

– Как напустились? – проговорил он с удивлением,– напротив, слышите, публика в восхищении и благодарит ее...

– Странный способ выражать благодарность; все шипят и чмокают!

– Ну да, чмокают: этим-то именно публика и хочет сказать ей, что находит ее очень милой и потому посылает ей поцелуи!

Здешние театральные танцовщицы очаровательны. Они могут только не нравиться нашим балетмейстерам, танцорам и танцовщицам, у которых нелепейшая рутина и так называемая «школа» окончательно извратила вкус, которым противоестественные труды выломали кости, безобразно вывернули носки и колени и вдобавок заморили их до чахотки; вместо грации вы видите только искусственную, приторную аффектацию; вместо хорошенькой женщины перед вами более или менее разогнутый циркуль.

Испанская танцовщица – просто прежде всего хорошенькая женщина; в ней увлекательно именно то, что нет ничего заученного, условного; каждое ее движение отмечено свободой и природой, натуральной грацией; она танцует не по заказу, но страстно, с увлечением. По этому самому любитель танцев (а кто же не сделается им в Испании!), чтобы вполне усладить себя, никак не должен идти в театр; сценическая обстановка решительно отымает здесь половину удовольствия; вы видите живой танец, исполненный страстными воодушевленными женщинами, вам не сидится на месте, вас невольно тянет вперед, вы увлечены, а тут сиди, не трогайся с места и смотри издали!

Андалузцы, большие охотники до танцев, предупредили такое неудобство. В Севилье существует особое место, куда сходятся по вечерам танцоры и любители национальных танцев. Там только, с полной непринужденностью, во всем великолепии исполняется настоящий типический болеро, jota agaronesa[1], оле фанданго и сегидилья.

---

[1] арагонская хота (*исп.*).

Мы, конечно, не пропускали ни одного такого вечера.

Еще заранее, во время обеда, ни о чем больше никто не говорил, как о предстоящем удовольствии. Слушая наши рассказы, изо всего нашего общества один молодой американец (тот самый, что ехал на пароходе) сохранял невозмутимое равнодушие. В продолжение этих двух недель, как мы приехали в Севилью, он буквально ни разу не ступил за порог фонды.

— Торопиться мне незачем,— говорил он, когда мы выражали ему наше удивление,— я пробуду здесь до следующего октября; в год все успею увидеть; к тому же ходить мне теперь некогда: я занят составлением каталога тех книг, которые намерен отыскать.

Он точно так же не выпускал, однако ж, из фонды и свою спутницу-парижанку. Можете судить, что происходило с этой особой, созданной из одного нетерпения, любопытства и подвижности. Прислушиваясь к нашим рассказам, она выходила из себя; сидя в своем нумере, она положительно с ума сходила и лезла на стены; под конец сам американец стал нам на нее жаловаться.

Тронутый ее положением, я начал раз его упрашивать пойти с нами после обеда посмотреть национальные танцы. Он долго упрямился, наконец все приступили к нему с той же просьбой; он согласился, но с тем условием, однако ж, чтобы прийти на место не раньше той минуты, как начнутся танцы. Таков уж был каприз его, иначе он не соглашался; он говорил, что сейчас же уйдет назад, если придется дожидаться.

Было около восьми часов; танцы начинаются ровно в восемь: я поскорее отправился; я обещал дождаться условной минуты и возвестить о ней всему нашему обществу.

Место, где происходят танцы, находилось в соседней улице; оно занимало второй этаж старинного, мрачного дома; витая каменная лестница с потертыми ступенями приводит прямо к двери большой залы с бревенчатым потолком и голыми стенами, освещенными несколькими лампами; вместо мебели вокруг деревянные скамьи. Толпа привычных посетителей была уже в полном сборе; человек до ста испанок и испанцев, кто одетый по-европейски, кто в национальном костюме, несколько приезжих иностранцев — стояли группами, расхаживали взад и вперед, шумно

разговаривали, играли веерами и курили. Посередине залы прогуливался сам хозяин и вместе с тем учитель танцев, человек лет пятидесяти, в серой куртке, коротеньких панталонах и белых чулках à jour[1]. На полу кой-где по углам живописными группами сидели цыгане, мужчины и женщины, старые и молодые; все они были в лохмотьях, случайно подобранных на улице; кой-где на полинявших цветочных лоскутьях сверкала уцелевшая блестка или выдавалась яркая новенькая заплата; но даже и под такой одеждой многие из моloденьких бросались в глаза дикой своей красотой. Танцовщицы еще не являлись; они выходят по знаку из соседней комнаты, которая доступна только учителю: но танцоры, большей частью из цыган, были уже налицо и настраивали гитары. То, что я говорил о танцовщицах, относится точно так же и к танцорам: это такие лихие, красивые и полные одушевления молодцы которые так вот и просятся в картину; андалузский костюм, сам уже по себе щеголеватый, придает их движениям какую-то особенную мужественную красоту и грацию; густые свои волосы прячут они в пунцовую или синюю сетку, она концом спускается на затылок и потом свешивается на плечо.

— Скоро начнутся танцы? — спросил я у двух-трех знакомых мужчин, которые неизменно приходили сюда каждый вечер.

— Минут через пять... может быть, даже ранее. Уж почти восемь часов.

Я побежал предупредить общество, но не успел сойти десяток ступеней, как неожиданно до слуха долетели трескотня кастаньет и живое бряцанье гитар, возвестившие появление танцовщиц. Много уже раз приводилось мне бывать в этой зале; я знал, что меня там ожидало; но при всем том, в эту минуту, — признаюсь чистосердечно, — забыл француженку, американца, забыл ожидавшее меня общество и стремительно, сломя голову, полетел вверх по лестнице в залу. Никто, впрочем, не был из них потом в претензии; каждый соглашался, что на моем месте сделал бы то же самое. Сама француженка и ее спутник, явившиеся четверть часа спустя, объявили напрямик после первого же танца, что находят мое увлечение совершенно натуральным и вполне его оправдывают.

---

[1] ажурных *(фр.)*.

Не смейтесь, читатель; вам, может быть, не случалось заглядывать в эту танцевальную залу Севильи; когда вы там побываете, тогда скажете свое мнение.

Мне, по крайней мере, не случалось еще видеть более увлекательного зрелища.

Начать с того, что все танцовщицы прелесть как хороши собой; костюм их очень живописен; он состоит из цветного, очень низенького корсажа и коротенькой баскины; все это обшито блестками, яркими пучками лент и живыми цветами; ножки так хороши, обуты с таким изяществом, что так и тянет перецеловать их от первой до последней. Наконец, неподдельная страстность взглядов и движений, необыкновенная живость самого танца, исполненного сладострастной неги и грации, мотив песни, которая сопровождает танец, бряцанье гитар, лихорадочный трепет кастаньет, воодушевление, которое постепенно овладевает зрителями,— все это делает из этой залы чуть ли не самое соблазнительное место Севильи и легко может вскружить голову самому апатическому смертному.

Самый обворожительный танец для меня — это òle: в нем танцор и особенно танцовщица переходят все оттенки постепенно разгорающейся страсти. В мое время танец этот исполнялся неизменно одной и той же парой.

По данному знаку на середину залы выходила молоденькая цыганка; рубашка, низко обнажавшая плечи, и пестрая юбка были всей ее одеждой; маленькая ее головка и тонкая, грациозно выгнутая шея с трудом, казалось, выносили тяжесть смоляных кос, из которых на правый висок выбегал живой пунцовый цветок. Трудно представить себе что-нибудь изящнее овала ее лица, золотисто-бронзового и вместе с тем покрытого матовой бледностью,— не той бледностью, которая на Севере служит признаком болезни, но южной бледностью, которая еще более возвышает красоту женщины; ни на одной камее не встречал я более тонкий профиль; в линиях плеч, рук и ног этой девушки сохранилась во всей чистоте своей высочайшая тонкость породы; они дышали той женственной прелестью и строгой законченностью, которой любуемся мы на древних греческих изваяниях; вся она почему-то представлялась (и не мне одному) типом Клеопатры в молодости. К такому сходству способствовала также величавость и строгость выражения,

которые резко отличали эту девушку от остальных ее подруг.

Танец начинался с того обыкновенно, что она слегка наклоняла голову и опускала глаза, так что ресницы ее бросали тень на щеки; она, казалось, задумывалась о чем-то, не замечала ни толпы, ее обступавшей, ни своего танцора, который между тем впивался в нее огненными глазами и слегка побрякивал гитарой; при втором и третьем аккорде хор цыган, сидевших тут же, испускал вздох: этим вздохом начинаются многие припевы, поющиеся во время танцев. Вздох незаметно переходил в мотив; он постепенно подхватывался всем хором; к нему мало-помалу присоединялись звуки кастаньет и гитар. Первые движения танцовщицы были медленны; стоя на месте и продолжая смотреть в землю, она лениво, как бы после сна, перегибала стан и плавно разводила руками; танцор тем временем оживлялся с каждой секундой; по мере того как учащался темп мотива, звуки гитар и кастаньет усиливались, энергическое лицо танцора наполнялось выражением какой-то сатанинской страсти; глаза его сверкали как у тигра, пальцы судорожно дергали по всем струнам гитары, он нетерпеливо топал ногами. Наконец, танцовщица подняла голову и бросила на него взгляд; глаза их встретились.

— Ауа! ауа! — раздалось кой-где из толпы. Зрители плотнее обступили танцоров; увлекаясь заодно с ними, они начинали также притопывать ногами и трещать кастаньетами, потому что каждый приносит непременно кастаньеты в кармане.

— Ауа! ауа! — подхватывали десятки голосов.

— Ауа! ауа! — дико покрикивал в свою очередь танцор, разжигая все более и более танцовщицу.

Глаза ее уже сверкали огнем; увлекаемая как будто магнетической силой взглядов, она тянулась к танцору, который ускорял шаг, заходил к ней то с одной стороны, то с другой, манил ее глазами и все более и более старался разжечь ее. Но дело уже было сделано: огненная, неукротимая страсть говорила в каждом ее движении; плечи ее вздрагивали, щеки горели, руки жадно ловили танцора, тонкий стан изгибался и сладострастно опрокидывался назад; черные зрачки блистали огнем ненасытных желаний.

Из всех присутствующих не было человека, у которого при этом не вздрагивало бы сердце; толпа реши-

тельно выходила из себя; все вокруг стучало ногами, трещало кастаньетами, судорожно вскрикивало, вторя крикам цыган и цыганок, которые исступленно били в ладоши, звенели гитарами и постепенно ускоряли темп песни; энтузиазм толпы, очевидно, все более и более воодушевлял танцоров. Под конец танец принимает характер такой бешеной и откровенной страсти, которая сделала бы его невозможным ни на какой европейской сцене; он оканчивается тем, что танцовщица в страстном изнеможении падает на грудь танцора, который быстро обхватывает ее талию, приподымает ее на воздухе, целует и торжественно выносит из толпы.

Сколько кажется, во всех танцах Испании танцоры и танцовщицы действуют не столько ногами, сколько всем корпусом; глаза и выражение лица, на котором проходят все гаммы страсти, играют также не последнюю роль. Здесь хорошенькие ножки, не обезображенные сверхъестественными трудами, служат как бы для того только, чтобы бить такт, между тем как стан, руки, бюст и головка, повинуясь быстроте или медленности темпа, производят грациозные перегибы. Во многих танцах существуют позы, где стан опрокидывается назад до такой степени, что плечи танцовщицы почти касаются пола; руки следуют тому же движению и трещат кастаньетами, между тем как ножка, вытянутая вперед, бьет такт, но в самую ту минуту, когда вам кажется, что танцовщица изнемогает от усталости и едва имеет силы играть кастаньетами, она вдруг быстро вскакивает, снова осыпает вас искрами своих взглядов, — и вся превращается в один неуловимый вихрь, в одну подвижность.

Многие танцы тем оканчиваются, что танцовщица, выбрав глазами кого-нибудь из зрителей, — исполняет для него собственно самые соблазнительные свои позы; по окончании танца она неожиданно подбегает к избранному и бросает ему на лицо свой платок... Перед возвращением платка в него завертывают обыкновенно деньги. Не советую, однако ж, быть слишком щедрым: платки полетят на вас со всех сторон; и тогда, если у вас хоть сколько-нибудь слаб характер, вы погибли, — это неизбежно: так было, по крайней мере, со многими из наших товарищей; сердце их чуть ли не до сих пор еще в Севилье!

Когда выйдешь на улицу после таких впечатлений, можете судить, как обаятельно должна действовать жаркая, голубая севильская ночь! Самые старые и холодные из нас, даром что сознавали весь комизм своего положения, выказывали тем не менее в эти минуты самые явные знаки восторженности и страстного настроения. Да, так случалось; о молодых и говорить нечего. Для всех нас, впрочем, пребывание в Севилье вряд ли когда-нибудь изгладится из памяти.

Прощаясь с ней с палубы парохода, мы отвернулись тогда только, когда блестящая маковка фигуры над Хиральдой окончательно скрылась в золотом паре, потоплявшем равнину Гвадалквивира.

Нам оставалось еще два дня до срока, когда наш корабль должен был оставить рейд Кадикса, с тем, чтобы войти в Средиземное море. Надо было воспользоваться этим временем, чтобы увидеть еще что-нибудь, кроме Севильи. Мы остановились на таком плане: спускаясь по Гвадалквивиру в Кадикс, остановиться на пристани Бонанца; оттуда хотелось нам проехать сухим путем до Puerto Santa-Maria, потом сесть в вагон железной дороги, осмотреть Херес и на другой день снова вернуться в Puerto. Капитан парохода обещал между тем, по приезде в Кадикс, выслать с корабля катер, который должен был ждать нашего возвращения в Puerto.

В Бонанце произошла с нами довольно забавная сцена. Едва сошли мы с парохода и ступили на пристань, нас плотно обступила ватага кучеров, их было до пятидесяти. Сверкая глазами, производя неистовые жесты, все принялись кричать в одно время, и каждый порывался вперед, усиливаясь захватить скорее наши дорожные мешки; напрасно надсаживали мы горло, повторяя заранее приготовленные фразы и стараясь вразумить их, стараясь объяснить, по крайней мере, куда хотим ехать, — ничего не действовало; напротив, чем отчаяннее защищали мы мешки свои, тем крепче они их держали; чем громче мы кричали, тем настойчивее они наступали, тем яростнее на нас лезли. Словом, мы положительно не знали, как выпутаться, и не шутя начинали падать духом. Даже Б. Т., никогда в жизни не терявший терпения, сохранявший невозмутимое равнодушие в минуты самых жестоких штормов и сильной опасности, — и тот, наконец, вышел из себя. Рванувшись отчаянно вперед, он вдруг замахал

руками и прокричал громовым голосом, который на секунду покрыл все голоса:

— Sacha diavolo! — Russia batimento! — Imperatore batimento de la Russia![1]

Но так как и это не произвело никакого действия, напротив, к крикам присоединился еще громкий смех, Б. Т. рассудил за лучшее засмеяться в свою очередь, чему и все мы невольно последовали. Мы решились отдаться в руки этим разбойникам и следовать за теми из них, из рук которых труднее было вырвать мешок. Каждый кучер завладел таким образом двумя из нас, и порядок мгновенно восстановился. Шагах в двадцати стояло множество двухколесных красных одноколок вроде неаполитанских coricolos; разница в том, что маленький кузов испанской calessa прилажен непосредственно к оглоблям так, что каждое движение мула передается седоку; кучер усаживается точно так же, как и в Неаполе, — частью на оглоблю, частью на дощечку, куда упираются ноги путешественников. С великим трудом мы поместились вдвоем в каждой calessa. Кучер в национальной андалузской шапочке, белой рубашке, шитой куртке, красном кушаке и кожаных штиблетах прыгнул с неимоверной легкостью на свое седалище, но тем не менее отдавил нам ноги; улыбнувшись в виде извинения, он свернул papelitos (папироску), взял лихую, молодецкую позу, весело подмигнул нам — и мы понеслись, подпрыгивая как мячики. Мул вообще неохотно двигается с места; но если уж пришло ему желание скакать, он летит без удержу; его тогда ничем не остановишь. Не могу сказать, чтобы нам было покойно и мягко сидеть.

Нельзя сказать также, чтобы мы были совершенно покойны нравственно.

Мы прежде еще слышали, что вообще вся страна между Сан-Лукаром, Хересом и Puerto была далеко не безопасна. На наше счастье, как нас уверяли, конечно, мог попасться кучер, связанный тесной дружбой с разбойниками, — дружбой, которая застраховывала нас от опасности; такая дружба скрепляется тем обыкновенно, что кучер платит разбойнику условленную контрибуцию и таким образом на известное время покупает безопасность себе и седокам своим. Очень могло

[1] Набор искаженных испанских слов, которые, вероятно, можно перевести следующим образом: — Не цапайте, дьяволы! — Русские побьют вас! — Вашего императора били в России.

быть, что кучер наш находился в самых братских отношениях с разбойниками и был одним из самых аккуратных плательщиков контрибуции; но даже и при таком обстоятельстве мы все-таки чувствовали себя не совсем спокойно.

Кроме разбойников, на глухих перепутьях Испании встречаются еще так называемые rateros — люди, занимающиеся мирным хлебопашеством, но которые вместе с тем не прочь воспользоваться первым удобным случаем, чтобы напасть на путешественника и пустить его нагишом продолжать путешествие. Эти rateros опаснее разбойников: против последних защищаться не станешь; ограничишься тем, что отдашь кошелек и поедешь далее, напутствуемый: «Vayan ustedes con Dios!»[1] — фразой, которой почти каждый встречающийся на дороге провожает здесь путешественника; против ratero, нападающего часто в одиночку, непременно начнешь отбиваться, и ничего нет мудреного, если почувствуешь в боку navaja, прежде чем успеешь взвести курок пистолета. Кроме того, в первую минуту не придет даже в голову взять предосторожность. Ratero не отличишь от обыкновенного простолюдина; кто знает, это может быть тот нищий, который робко подходит к вам, протягивает руку и жалобно говорит: «Una limosina por l'amor de Dios!»[2] или «buena, camino, cabaleros!»[3] и т. д.

Местность, которая открылась перед нами после San-Lucar, имела, впрочем, такой характер, что мысль об опасности невольно рождалась сама собою. Как только за нами скрылся город, в обе стороны пошла такая дичь и глушь, какой я отроду еще не видывал. Справа и слева возвышались ряды каменистых небольших холмов, которые прятались друг за дружку; на всем этом не было признака какой бы то ни было жизни; вокруг ни былинки; повсюду один голый, рыжеватый грунт и камень с хрящом. Солнце, раскаляя круглый год почву, превращало здесь в золу и пепел самый зародыш растительности; самый этот пепел уносило ветром; оставались только голые, рыжие кряжи холмов, таких сухих, как пемза. Небо сверкало над нами как плавленая медь; скаты холмов, к которым местами приближалась дорога, отражали такой сильный

[1] С вами бог! *(исп.)*
[2] Подайте, ради бога! *(исп.)*
[3] Доброго пути, кабальеро! *(исп.)*

жар и так нестерпимо блистали, что каждый раз приходилось закрывать ладонью глаза, чтобы не ослепнуть. Несмотря на конец октября и пятый час пополудни, пекло так невыносимо, что мы при выезде из Сан-Лукара принуждены были снять сюртук, жилет и галстук; но даже и в одной рубашке было жарко.

Кой-где по окраине дороги над грудой камней торчал деревянный крест, выкрашенный красно-бурой или черной краской. Иногда, в отдалении, по обнаженному холму лепилось несколько мазанок, которых в первую минуту невозможно даже было отличить от почвы; но и там точно так же все казалось выжженным и вымершим; звука не слышалось; не виделось живой, движущейся точки. Изредка случалось перегонять и встречать вереницы белых ослов, навьюченных тростником, кувшинами или соломой; за ними, верхом на бритом муле, следовал человек, завернутый в коричневый плащ, с ружьем за плечами, в широкополой шляпе, из-под которой выглядывало сумрачное оливковое лицо, оживленное белками глаз; иногда в таком же точно костюме неожиданно показывался у поворота одинокий всадник.

— Вот ratero! — шептали мы, ободряя друг друга локтем и поспешая предложить кучеру новую сигару.

Кучер, свиставший и напевавший всю дорогу, брал сигару, обязательно улыбался, закуривал ее, и мы проносились мимо так же благополучно, как если б ехали по Каменноостровскому проспекту.

Несмотря на то, что нам и прежде и после не раз приводилось странствовать без провожатых по дорогам Испании, — с нами не случилось ни одного из тех происшествий, о которых рассказывают путешественники; разбойники и rateros до сих пор остались для нас совершенным мифом, так что под конец стало даже досадно.

Часам к семи, когда холмы и дорога начали окрашиваться пурпуром заката, увидели мы перед собой Puerto Santa-Maria; справа, между белеющими массами домов, открылась синяя полоса океана. Станция железной дороги расположена в версте от города. Кучер показал знаками, что в город ехать незачем, что можно прямее проехать к станции, что там будет несравненно ближе. Действительно, здание станции, несмотря на сгущавшиеся сумерки, явственно обозначалось слева. Мы дали ему знак ехать скорее, потому

что, не зная наверное времени отправления поезда, хотели лучше прибыть раньше.

Вскоре, однако ж, раскаялись мы в нашей поспешности; но поздно было думать поправлять дело. На этой полуверсте, отделявшей нас от станции, мы чуть двадцать раз не сломали себе шеи; с каждым поворотом колес мы схватывались друг за дружку, ожидая, что вот сию секунду вышвырнет нас на дорогу. Вся местность была взрыта точно после землетрясения; колеса уходили то в глубокие расщелины, то въезжали на камни, то с визгом скользили по корням исполинских алоэ, которые мрачно высовывались со всех сторон. На половине этого адского пути солнце село и, как это здесь обыкновенно бывает, наступила вдруг тьма кромешная; раз или два раздался свист паровоза: он возвещал, что паровоз уже готов, может даже быть, сейчас отходит.

К счастью, все ограничилось одними опасениями и беспокойством; мы благополучно подъехали к станции и даже прибыли туда минут за десять до отправки поезда.

На станции, устроенной по образцу французских станций, но только с меньшей роскошью, было так мало пассажиров, что вчуже пришлось пожалеть акционеров; тут, между прочим, успели мы прочесть объявление, которое привешено было на всех стенах, в нем говорилось, что компания «не отвечает за все, что может случиться на дороге с пассажирами»...

У нас не было рекомендательных писем в Херес. Мы не заботились об этом, потому что до сих пор отлично без них обходились. Письма — совсем даже лишняя вещь в Испании, когда приезжаешь, как мы например, на самое короткое время. Здесь такое изобилие предметов, останавливающих любопытство, и все это так доступно каждому, что дай бог успеть осмотреть все, что хочется; нравы и вся внешняя обстановка жизни исполнены в Испании высочайшего интереса; чтобы хоть сколько-нибудь познакомиться с последними, нужны только желание и крепкие ноги, способные выдерживать несколько часов в день фланерства.

При всем том, надо сказать, мы поступили не совсем основательно, предпринимая на авось путешествие в Херес. Единственную занимательность этого города составляют, как известно, погреба, или bode-

gas, как их здесь называют; так как эти bodegas принадлежат частным лицам, – легко могло случиться, что нас бы туда не пустили без особой рекомендации. К сожалению, все это пришло нам в голову уже на пути в Херес.

Мы ехали не одни: в одном вагоне с нами сидело несколько человек испанцев; желая получить какое-нибудь объяснение касательно нашего затруднительного положения, мы приступили к ним с расспросами; с первых слов открылось, что ни один слова не знал по-французски; мимика, спасавшая нас сколько раз в Испании, оказалась на этот раз также бесполезной: в вагоне было темно, хоть глаз выколи.

С приездом в Херес положение наше окончательно усложнилось. Выйдя из вагона, мы очутились на длинной платформе под аркой; перед нами открывалась темная и совершенно почти пустынная площадь. Несколько человек, завернутых в плащ, с шляпами, надвинутыми на глаза, и сигарой во рту, расхаживали поодиночке взад и вперед по платформе.

Подобрав дорожные мешки, мы подошли к ближайшему из них.

– Fonda, fonda! possada![1] – заговорили мы, стараясь пояснить жестами, чего добивались; кто тыкал пальцем в рот и выразительно, аппетитно чмокал; кто, приложив обе ладони к щеке и наклонив голову с видом засыпающего человека, принимался даже храпеть; кто энергически простирал руку вперед, как бы желая сказать, чтобы его только скорее отсюда вывели.

Незнакомец остановился, сверкнул в темноте своими белками, пустил клуб дыму, тряхнул шляпой, отвернулся и пошел далее.

Мы приступили ко второму незнакомцу, повторив перед ним ту же сцену; но и здесь старания наши были одинаково безуспешны: выслушав нас, по-видимому, очень внимательно, он точно так же отвернулся и пошел далее.

– Господа, что ж теперь делать? – воскликнул С*, который обыкновенно скорее всех падал духом в критических случаях. – Куда деваться? Куда идти – прямо, направо или налево? Надо же чем-нибудь кончить. Какое, право, глупое положение!

---

[1] Гостиница, гостиница! постоялый двор! *(исп.)*

— Самое естественное, самое заслуженное положение для тех, которые, являясь в какую-нибудь страну, не заботятся прежде познакомиться сколько-нибудь с языком! — заметил П*.

— Сколько раз говорил я, господа, — вмешался Б. Т., — что, отправляясь куда бы то ни было, необходимо составлять по крайней мере маленький список самонужнейших фраз и слов...

— Все твердили об этом, все постоянно об этом заботились, — и между тем никто до сих пор ни разу этого не исполнил! — досадливо перебил С*. — Все эти размышления ни к чему, однако ж, нам теперь не послужат; надо на что-нибудь решиться. Не ночевать же здесь в самом деле!

Кто-то подал мысль собраться всем в одну кучу и кричать fonda и possada до тех пор, пока не придут к нам на выручку. Мысль показалась всем очень практической.

Секунду спустя арка и часть площади огласилась таким хором, который, по всей вероятности, не отличался еще ни на одном театре; согласие голосов и слова, произносимые хором, были в равной степени замечательны.

Тем не менее все это привело к желанному результату; не прошло минуты, к нам суетливо подбежал маленький человек в куртке и низенькой шляпе.

— Fonda! Possada! — закричали мы еще громче, обступая незнакомца.

Б. Т., видя, что незнакомец отступает, поспешил протянуть ему ладонь, побрякивая мелкой монетой.

Последний этот маневр оказал замечательный успех: маленький человек успокоился, одобрительно кивнул головой и дал знак, чтобы за ним следовали.

Мы прошли несколько темных, узеньких улиц, никого почти не встретив; в редком окне мерцал огонек. Нельзя, однако ж, сказать, чтобы было поздно; припоминая Кадикс и Севилью, которые в это время именно только и кипят жизнью, мы не могли объяснить себе тишины Хереса. Уже одного этого обстоятельства довольно было, чтобы дать о нем не очень выгодное понятие.

— Possada! — сказал маленький человек, останавливаясь перед дверью углового двухэтажного дома.

Сунув ему несколько монет, мы пустились вверх

по лестнице; поспешность наша ясно доказывала, что все мы одинаково были голодны.

Комната, куда мы вошли, освещалась единственной жестяной лампадкой, привешенной к мрачной стене. Свет ее позволял различать бревенчатый потолок, ряд бутылок за прилавком, устроенным в виде алькова, и, наконец, длинный стол, занимавший середину комнаты. С первого взгляда поражала здесь та же особенность, которая так часто встречается в городах Испании; особенность состоит в том, что заботливость домохозяев исключительно, кажется, обращена на внешнюю чистоту домов; сверкающая белизна наружных стен, особенно в фондах и посадах второго разряда, служит самым резким контрастом с внутренней обстановкой; ее составляют обыкновенно голые, закопченные стены, такой же потолок, кирпичный, неровный пол, жирные скамейки и стол, покрытый толстой скатертью весьма сомнительной свежести.

Шум, произведенный нами, разбудил хозяина, который лежал врастяжку подле прилавка. При виде многочисленного общества, которое обещало ему явную выгоду, он нимало, однако ж, не обрадовался; напротив, он досадливо отвернул голову, потирая ладонью сонные глаза и даже произнеся несколько проклятий.

Нимало не обескураженные такой выходкой, мы побросали на пол дорожные мешки, шумно расселись вокруг стола и приступили к той пантомиме, какую пускают в ход балетные пейзаны и разбойники, когда, остановившись перед оторопевшим трактирщиком, настоятельно показывают, что желают добраться до его погреба и кухни.

Мрачное настроение владельца посады, по-видимому, только усилилось; пробудившись окончательно и сверкая глазами, он ринулся вперед, простер руки и прокричал громким голосом:

— Chicolata![1]

— No, no cicolata! Не хотим шоколада! — отозвались все хором, дергая отрицательно головой, — вот еще что выдумал! No, no chicolata! No...

— Может статься, у него ничего нет кроме шоколада...

— Не может быть! что же это за посада после этого! Наконец, что до меня касается, я положительно не

---

[1] Шоколад! *(исп.)*

могу пить шоколада: я так голоден, что выпью семь чашек и к завтраму, наверно, буду болен...

– Знаете ли что, господа, – промолвил Б. Т., – не обратиться ли нам к нашей любезной tortillas per herbas? На этот раз она была бы вовсе не лишней...

– Превосходно! Tortillas per herbas! – закричали все в один голос.

– Chicolata! – отозвался трактирщик еще упрямее и досадливее прежнего.

– Tortillas! tortillas! – прокричали мы, стуча кулаками по столу.

При этом трактирщик вышел уже окончательно из себя; он начал было что-то говорить, но вдруг остановился, ухватил себя за волосы и яростно затопал ногами.

Не знаю, чем бы все это кончилось, если б в эту самую минуту не вошел в комнату новый гость; то был высокий, толстый господин с широким, улыбающимся лицом. Трактирщик бросился к нему и начал говорить очень скоро, сопровождая каждое слово самыми отчаянными жестами.

Можете судить о нашей радости, когда незнакомец, обратясь к нам, заговорил вдруг по-французски; радость удвоилась, когда он объявил, что говорит поиспански так же хорошо, как на родном языке. Это был купец из Бордо, приезжающий сюда ежегодно для закупки вин, которыми торговал с Бельгией; он завернул в посаду, чтобы посмотреть, не было ли тут его товарищей. Но, увы! радость наша не была продолжительна; он сказал, что в посаде, несмотря на то, что она единственная в Хересе, ничего нельзя было достать, кроме шоколада и кукурузного хлеба.

– Утром, во время рынка, другое дело, но теперь придется голодать, если вы не охотники до шоколада, – сказал он. – Херес в этом отношении жалкий городишко; здесь приезжающие останавливаются или у знакомых, или на квартирах от жильцов; впрочем, постойте, может быть что-нибудь еще и найдется! – примолвил он, весело подмигивая, – здесь даже за деньги нередко приходится выманивать услуги трактирщика, как милость какую-нибудь.

Переговорив с хозяином, который упрямо и горячо о чем-то спорил, француз радостно объявил нам, что нашлась утка.

Пока жарили утку, мы воспользовались случаем

и начали расспрашивать нового знакомца, как сделать, чтобы осмотреть погреба.

— Очень легко,— сказал он,— какой погреб желаете вы осмотреть?

— Нам говорили в Севилье, что здесь самый знаменитый погреб принадлежит Домеку.

— Превосходно! Это мой соотечественник; он будет очень рад вашему посещению; самого Домека нет в Хересе, но это все равно: здесь его племянник, очень обязательный и милый человек; вы прямо к нему адресуйтесь. К сожалению, я завтра еду, а то бы сам вас туда свел; но это все равно, имя Домека так популярно в Хересе, что стоит сказать его первому muchacho — он прямо приведет вас на место.

Наконец явилась столь ожидаемая утка.

— Ma foi, je ne m'attendais pas à un *canard* pareil! Il est fort celui-là![1] — воскликнул француз, заглядывая в блюдо и заливаясь дребезжащим смехом.

Но хорошо было ему смеяться на сытый желудок; каково нам приходилось при виде этой утки, состоявшей буквально из одного каркаса, обтянутого кожей, пережженного в оливковом масле! Непостижимым делалось, как могла существовать такая птица: хоть бы один живой мускул, хоть бы один тонкий ломтик мяса! Делать нечего, пришлось обратиться к шоколаду.

— Да, забавная страна! — говорил француз, не умолкавший ни на минуту,— почва плодородна более чем где-нибудь; народ одарен всеми способностями, и между тем все, к чему ни притронешься,— в самом диком, младенческом состоянии!.. Не желаю вам, господа, доброй ночи,— довершил он, прощаясь с нами,— это невозможно в гостинице Хереса; такое желание имело бы даже вид насмешки,— впрочем, сами увидите.

Он нисколько не преувеличивал. Мне и Б. Т. отвели маленькую комнату с кирпичным, голым полом и двумя низенькими диванами, покрытыми вместо подушки какими-то жесткими валунами, которые врезывались в ребра; в окне, доходившем до полу, недоставало двух нижних стекол; одно из них завешивалось тряпкой; раздуваясь по воле ветра, она только напускала еще больше воздуха. Но это были еще цве-

---

[1] Черт возьми! Я не рассчитывал на подобную *утку*! Ну и хороша же она! *(фр.)*

точки; едва улеглись мы на диваны и задули свечку, тело наше почувствовало такой зуд, как будто нас заживо поджаривали; минут через пять мы начали даже стонать: так облепили нас насекомые. Комната эта давно, я думаю, не слыхала таких ожесточенных проклятий. Пособить этому не было никакой возможности; не ночевать же в самом деле на улице! Ворочаясь чуть не до зари, мы, однако ж, заснули.

Немало удивились мы, когда утром, взглянув на часы, увидели, что уже девять.

Подкрепив силы свои неизбежным шоколадом, общество наше, спавшее не лучше нашего, отправилось прямо к Домеку. Француз сказал правду: первый muchacho, к которому обратились мы с именем Домека и которому показали мелкую монету, тотчас же понял, чего мы от него хотели.

Проходя городом, мы немало удивились, увидя улицы запруженными народом. Куда девалась вчерашняя тишина! Все суетилось, двигалось и страшно кричало. Здесь, узнали мы потом, происходили в этот день какие-то важные выборы. Внешняя физиономия Хереса, кроме общих черт, свойственных всем городам Андалузии, то есть узеньких, извилистых улиц, затемненных выступающими крышками низких выбеленных домов, усеянных зелеными жалюзи, — не представляет ничего особенно характерного; мы все это видели уже сотни раз. Спускаясь по одной из улиц, замкнутой слева огромным серым и совершенно голым зданием собора (внутри он так же мало замечателен, как и снаружи), — мы увидели ряд белых стен; они окружали множество высоких строений, столпившихся в одну кучку; это были владения Домека.

Они занимают большое пространство и состоят из множества отдельных дворов; каждый двор имеет свое специальное назначение. Здесь каждый день, в продолжение круглого года, употребляется до двухсот работников; во время сбора винограда число это возрастает до полуторы тысячи. Но самое замечательное здесь — это самые погреба. Девять каменных корпусов, вроде наших манежей, но только выше и освещенных сверху, установлены снизу доверху рядами бочек; каждый ряд отмечен ярлыком и представляет особое отделение; здесь отделение вин, отличающихся друг от друга сортом винограда: пахерете, амонтильядо, — такое, которое совершило кругосветное плава-

ние, такое, которое собирается его сделать, и так далее; тут отличие состоит в большем или меньшем времени, которое вино стоит в бочках. Время, как известно, удобряет херес; улучшается он также и делается мягче через сообщение с воздухом. Херес, как большая часть крепких южных вин, содержит в себе много спирту; известная часть алкоголя должна улетучиваться, и потому большая часть бочек стоит с открытыми отверстиями.

Нам давали пробовать, между прочим, вино, которому сто тридцать лет; его всего две бочки; оно не продается, но время от времени хозяева дарят по несколько бутылок значительным лицам. На мой вкус, вино это имеет свойство всего знаменитого, авторитетного; издали подходишь с благоговением; попробуешь – ничего нет особенного, так что даже выбранишь себя за преждевременное поклонение. Вино это попеременно носило название всех великих людей своего времени: до четырнадцатого года на бочке начертано было мелом: Наполеон I; после того первый путешествующий англичанин стер это имя и написал на его месте: Веллингтон; последнее имя и теперь еще красуется на бочках. Из виноградников Домека ежегодно добывается тысяча пятьсот тонн вина, по тридцати аробов в каждой тонне (ароба равняется шестнадцати литрам). Годичный запас состоит из пятнадцати тысяч бочонков вина всех возможных сортов и достоинств.

Нас, весьма натурально, интересовало узнать, в какой силе существует торговля между Хересом и Россией. Племянник Домека, вызвавшийся быть нашим чичероне, знал очень хорошо имена главных наших виноторговцев; он сообщил, что вот уже скоро девять лет, как дом их прекратил с Россией всякие сношения.

– Это почему? – спросили мы.

– Ваши виноторговцы требовали слишком низкие сорта; для нас выгоднее оставлять такое вино у себя дома: места у нас много; простояв у нас несколько лет, оно получит доброту, которая потом при продаже удвоивает ценность вина; кроме того, та еще выгода, что, выпуская только хорошее вино, мы поддерживаем репутацию дома. Но другие погреба торгуют с Россией; у вас также пьют настоящий, хороший херес, но только, сколько мне известно, он выписывается из Англии; в Англию херес привозится не иначе как разба-

вленный водкой; он иначе не выдерживает перевозку морем.

Бочонок в шестьсот бутылок хорошего вина стоит в Хересе около трехсот пятидесяти рублей серебром; есть сорта несравненно дороже. Об обширной деятельности завода Домека можете судить по башне, которая сложена на одном из дворов из дубовых брусьев, предназначающихся для ежегодного изготовления бочек; нас было восемь человек, и все мы свободно взбирались по ее лестнице, сложенной из тех же брусьев; с высоты этой башни открываются не только владения завода, но часть города и ближайшая окрестность.

Нас пригласили в дом владельца, — очень роскошный дом, в котором между прочим находится интересное собрание картин старых испанских мастеров. Но нам было не до картин, тем менее, что, сколько помнится, ни одной не было особенно знаменитой.

Несмотря на невыгодное впечатление, произведенное Хересом, каждый из нас невольно начинал чувствовать тоску, предшествующую разлуке; этот день был последним, который проводили мы в Испании. Мы поспешили проститься с обязательным племянником Домека, чтобы поспеть вовремя на железную дорогу к трехчасовому поезду.

Херес, сколько можно судить из окон вагона, раскинут посреди холмистых полей. Это те самые поля, на которых в начале VIII столетия арабы одной битвой завоевали у готфов Испанию; но исторический интерес не придает им никакой красоты; самые виноградники, которыми покрыты скаты холмов, представляли теперь самый жалкий вид; плоды были собраны; наружу, вместо густой кудрявой зелени, высовывались мириады голых тычинок; под ними лежали взбудораженными грудами рыжие, блеклые листья. Тот же рыжеватый тон распространялся на лугах, которые, чем дальше отъезжаешь от Хереса, тем больше овладевают местностью; однообразие прерывается большими стоячими лужами. Вы представить себе не можете, до чего, местами, поражает здесь страшная запущенность. Беспечность ли народа тому виной или малое население — не знаю; на каждом шагу встречается местность, которая для землевладельца была бы кладом; она отвечает на все условия выгодной разработки; сила растительности высказывается исполинскими алоэ, достигающими иногда до двух

с половиной саженей; ко всему этому, между тем, со времени арабов, рука человеческая не прикоснулась. В стране, где вода такая редкость, — после каждого дождя стекаются в низменные места, как здесь, например, огромные лужи, — стоит только нескольким рукам притронуться, чтобы разлить эту воду по канавкам и тем оплодотворить почву. Но руки не являются, лужи пересыхают, а до того времени распространяют в воздухе заразу.

В пятом часу прибыли мы в Puerto Santa-Maria, небольшой, но очень оживленный и живописный городок на песчаном берегу голубого залива, который отделяет его от Кадикса. Нас привели в отличную посаду. Столовая — чистая, свежая комната, обставленная горшками с зеленью и удобной мебелью, — расположена в нижнем этаже. Из окон открывается вид на море, усеянное, как пухом, белыми мелкими парусами.

Давно не имели мы в Испании такого славного обеда; он состоял из превосходных, только что вынутых из воды устриц, свежих жареных бараньих котлет с бобами, хорошего вина и плодов.

Puerto — любимая летняя прогулка жителей Кадикса и других ближайших городов; окрестности Puerto усеяны садами и дачами богатых местных негоциантов и землевладельцев. Он славится также своими родниками, из которых многие имеют целебное свойство. Обернитесь спиной к морю, а лицом станьте к городу, и перед вами, за первым планом белых домов, насаженных друг на дружку, с их террасами и зелеными жалюзи окон, — развертываются отлогие холмы, исполосованные белыми линиями стен, из-за которых вырывается самая роскошная растительность; местами над ней выбегают длинные чешуйчатые стволы пальм с их раскидистой, грациозной верхушкой. На всем этом, при обыкновенной прозрачности здешнего воздуха, яркости освещения и голубизне неба, лежит печать чего-то веселого, милого и в высшей степени живописного. Puerto славится также по всей Андалузии своими боями быков; здешняя арена одна из лучших. Но, как я уже сказал, говоря о Кадиксе, нам не удалось видеть этого зрелища; бои быков оканчиваются с исходом сентября; причина этого, как сказали нам, — дожди, которые появляются около этого времени; почва арены размягчается и делается не-

способной для эволюций матадоров, chulos[1], бандерильосов и проч.

Как здесь обыкновенно бывает, – все население, с наступлением вечера, высыпало из домов, и улицы ярко запестрели. В Puerto любимое место прогулки – Victoria, апельсинная роща, раскинувшаяся по берегу моря. Здесь, точно так же как в Севилье и Кадиксе, с первого взгляда бросается в глаза значительное преобладание женского пола над мужским. Большинство женщин, вместо черной кружевной мантильи, покрывает голову ярким красным платком, который ниспадает складками ниже колен; такой наряд идет как нельзя лучше к смуглому цвету лица, черным волосам с голубоватой волной и блестящим андалузским глазам; тип женщин не так строг, как у кадикстанок; он скорее приближается к живому типу женщин Севильи. Чем далее заходили мы вперед, тем более попадалось хорошеньких; не успеешь остановить глаза на одной, смотришь – идет еще красивее.

Но, увы! в то самое время, когда под тенью апельсинных дерев Victoria прибывало с каждой минутой больше гуляющих, когда сквозь веселый шум толпы, смех и шелест вееров стали местами раздаваться аккорды гитар, когда с последними вспышками огненного заката Puerto явился перед нами во всей красе своей, – нам следовало с ним расстаться!

Катер давно уже ожидал нас у пристани. От Puerto до Кадикса одиннадцать верст. Наш корабль стоял от Кадикса в полуверсте; приходилось, следовательно, плыть более десяти верст, и вдобавок плыть в греблю, потому что тишина воздуха не позволяла поставить парус.

Расположившись в катере лицом к берегу, так, чтобы по крайней мере не выпускать его из виду как можно долее, мы любовались городом до тех пор, пока быстро набежавшие сумерки и, наконец, отдаление не скрыли его из виду. Раз или два ветерок принес нам какие-то неясные звуки, и, наконец, все смолкло и затушевалось ночью. Тогда внимание наше обратилось в другую сторону залива, к Кадиксу... Мы все любили его; каждый вынес оттуда столько милых, незабвенных впечатлений! Но Кадикс был слишком еще далек.

---

[1] чулос *(исп.)*.

Вокруг нас расстилалась во все стороны и уходила в темноту незыблемая гладь залива. Небесный свод, который здесь, несмотря на густоту синего цвета, кажется несравненно глубже и еще необъятнее, чем на Севере, усыпан был звездами; они отражались в море во всей чистоте своего алмазного блеска; след нашего катера сверкал таким фосфорическим блеском, что позволял различать лица; с каждым ударом весел вода закипала вокруг миллионами огненных искр и стекала потом с весел серебристыми, блистающими струями.

Несколько недель назад эта самая прогулка вырвала бы у нас крики восторга. Теперь мы плыли молча. Прелесть настоящего впечатления усиливала только тягостное чувство разлуки. «В последний раз! в последний!.. Прощай! Долго не увидимся. Может быть, даже никогда больше!..» – повторял поочередно то тот, то другой. Легко было заметить, что в душе каждого скрывалась одна и та же мысль; ее можно было перевести такими словами: «Ничего, что Испания так далеко отстала во многом от Европы: несмотря на все ее неудобства, беспорядки, безобразие управления, дикость и запущенность, несмотря на голод, который часто приходится испытывать, на жесткие постели, на tortillas с оливковым маслом и несвежими яйцами; несмотря даже на клопов и блох, живо напоминающих родное отечество, – Испания все-таки самая увлекательная, поэтическая часть Европы, и расставаться с ней куда как не хочется!»

Уже поздно ночью увидели мы перед собой огромную черную глыбу нашего корабля; он тихо поскрипывал, очерчивая в звездном небе свои веревки и мачты. За ним, неподалеку и ниже к горизонту, сверкал знакомый ряд огней на Аламеде Кадикса, где мы провели чуть ли не лучшие часы изо всего нашего путешествия.

С зарей мы снова увидели белый, милый Кадикс с его террасами, цветами, вышками и бесчисленными зелеными балконами; но любовались мы им уже недолго; притом любовались с палубы корабля, который летел на всех парусах и с каждой минутой все дальше уносил нас в открытое море...

1859 – 1863

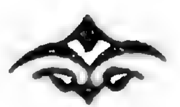


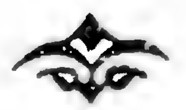


ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Роман
из народного быта







Часть первая

I

ЗАЕЗЖИЙ ТОРГАШ

Только что наступили первые майские дни.

Было воскресенье. Благодаря отличной погоде и, особенно, праздничному дню улица сельца Марьинского снова оживилась, как только прошел послеобеденный час. До сих пор, то есть между полуднем и четырьмя-пятью часами вечера, большинство марьинских жителей отдыхало; на улице слышались только возгласы мальчишек, игравших в бабки на недавно просохнувших, но гладко уже утоптанных лужайках; к этим крикам присоединялся теперь мало-помалу скрип ворот, которые пели на всевозможные лады; на завалинках показывались старики с заспанными глазами и всклоченными волосами, в которых виднелись соломенные стебли – знак, что народ перебрался уже на летние квартиры: в сараи и риги; к старикам выходили соседи. Группы вскоре увеличились присутствием старух с внучатами на руках и баб в пестрых праздничных передниках и писаных ярких головных платках. Старухи и бабы недолго, впрочем, останавливались у завалинок: они большею частью выходили на середину улицы и становились отдельными кучками, в которых тотчас же обнаруживался характер суеты и беспокойства; покажется ли баба в отдалении, ее уже никак не пропустят мимо; «Тетка Авдотья, а тетка Авдотья... куда ты... ась?.. подь к нам, касатка! а?..» Минуту спустя голос тетки Авдотьи дребезжит заодно с голосами ее товарок. На улице, освещенной лучами вешнего солнца, заметно уже склонившегося к западу, чаще стали появляться молодые девки, сопровождаемые неизменными их спутницами, маленькими девчонками; посмеиваясь в ладони и шушукая при встрече с парнями, девки направлялись к хлебному магазину, расположенному на одной линии с избами

и отделявшемуся от последних ветлами. Там, под навесом, бросавшим желтоватую тень, которая делалась все сквознее и золотистее по мере того, как солнце опускалось к горизонту, собралась уже порядочная ватага молодежи; кто стоял, перешептываясь с соседкой, кто сидел, закрыв ладонью нижнюю часть лица и украдкой поглядывая на парней. Парни в свою очередь переминались с ноги на ногу и также молчали. Казалось, вся молодежь Марьинского собралась уже под навесом, но никто еще не подавал голоса; до сих пор по разговорной части отличалась одна лишь молоденькая бабенка с вздернутым, раздвоенным на конце носом и быстрыми карими глазами.

— Что ж вы, девки? а?.. Ну, что сидите руки-то скламши? а? полно вам, взаправду! — надсаживалась она, перебегая от одной группы к другой. — Становись в хоровод, хватайся за руки — ну!.. и-и-эх!

На горе-то мак, мак,
Под горою так, так!..

— Что ж вы, красные? становитесь! «За-а-инька, беленький!» — подхватывала она, снова принимаясь петь, причем всякий раз зажмуривала глаза и выставляла напоказ ряд мелких белых зубов. — Что ж вы не подтягиваете? а? да ну же, ну! Полно вам спесивиться-то!

Но старания ее не подвигали дела; слышно было покуда, как щелкали орехи, как шушукали и втихомолку посмеивались; вообще под навесом царствовала та нерешительность, выражающаяся подталкиваньем локтем и вопросительными взглядами, которая предшествует девичьему веселью. Улица между тем все более и более оживлялась, говор усиливался; кой-где слышался хохот, кой-где раздавались нетерпеливые спорные возгласы; кой-где, и преимущественно из бабьих кружков, раздавалось дребезжанье, весьма похожее на звук битой посуды, которую положили бы в кастрюлю и начали бы трясти изо всей мочи; в одном из таких кружков сильное размахиванье руками и слишком уже часто повторяемые имена Домны и Дарьи служили несомненным доказательством, что там успели уже повздорить.

Наконец в дальнем углу амбарного навеса робко, вполголоса, затянули песню; по-видимому, этого

только и ждали: к голосам этим тотчас же присоединились другие. Подстрекаемые востроглазой запевалкой, парни и девки выступали из-под навеса, схватывались за руки и становились в круг; хоровод устанавливался. Еще минута, и, нет сомнения, звонкая песня заглушила бы уличный говор... но надо же было случиться, чтоб в эту самую минуту в околицу Марьинского въехал воз с красным товаром.

Въезд сопровождался таким неистовым, единодушным лаем собак, что все стоявшие спиною к околице невольно обернулись. Хозяин воза, или *варяг* — так называют в наших деревнях этих торгашей,— не успел подобрать ног от собак, которые, как ядра, летели к нему навстречу, как уж вся деревня заметила его появленье. Началось с того, что бабы, хлопотавшие более других о примирении Домны и Дарьи, немедленно направились к возу.

Достойно замечания, что Домна и Дарья, предоставленные на собственный произвол, тотчас же успокоились; в голове Дарьи мгновенно возникла мысль о ситцевом переднике, который посулил купить муж, как только присядет торгаш; Домне пришла вдруг крайняя надобность прикупить тесемки; одна побежала отыскивать мужа; другая, поправляя головной платок, устремилась к торгашу. Примеру ее последовали многие девки и парни. Из хоровода то и дело убывало, к великому неудовольствию запевалки, которая давно уж била в ладоши и щелкала пальцами над головою; впрочем, она вскоре утешилась и побежала, куда бежали другие.

Спустя самое короткое время воз так облепили, и такая густая толпа окружила его, что старикам, сидевшим на завалинках, стали только видны шапка торгаша и верхний конец дуги над ушами его клячи. Все разом говорило, тискалось и осыпало расспросами торгаша, который решительно не знал, куда повернуть голову.

«Кумач есть?..» — «Покажи тесемку...» — «Почем иголки?..» — «Эй, слышь, на яйца меняешь?..» — «Девушки, касатушки, глянь-кась, серьги-то, серьги!..» — «Ой, батюшки, задавили!..» — «Куда лезешь?.. чего не видали?» — «А тебе, небось, одной глядеть-то хоцца!.. ишь ее прет... Ну! ну!..» — «Ты, слышь, брат, отколева?..» — спрашивали невпопад с другой стороны.

Покупали, однако ж, очень мало; до сих пор торгаш отмерил только два аршина тесемки, сбыл моток ниток да муравленую глиняную дудку — и те, впрочем, променены были на яйца. Тем не менее все продолжали тискаться, спрашивали о цене каждой вещи, лезли друг на дружку, не щадя боков. Некоторые бабы, побойчее, взмостились даже на облучок воза. Хозяина окончательно затормошили. Бабы, сидевшие на облучке, видя, что толку не доберешься, принялись сами распоряжаться: кто примерял наперсток, кто щелкал ножницами, кто накидывал на голову платок, кто прикладывал кусок ситца к переднику. Но и тут-таки более других показала себя востроглазая бабенка, так много хлопотавшая под амбарным навесом: повязавшись желтым платком, перекинув через голову полновесное ожерелье из цветных бус, она подпрыгивала на облучке и, показывая присутствующим раскрасневшееся смеющееся лицо, поминутно вскрикивала: «И-их-на!»

— Что ж это вы в самом деле, бабы?.. Эк их! — заговорил, наконец, торгаш, потряхивая шапкой, устроенной вроде кучерских шапок, с тяжестью на макушке, но тяжесть, вероятно от долгого употребления, съехала на сторону и образовала какой-то неуклюжий, тяжелый ком, находившийся в страшном противоречии с движением головы своего владельца. Ком этот то сползал на затылок, то свешивался на глаза, то переваливался справа налево, но всякий раз в сторону, противоположную той, куда наклонялась голова,— обстоятельство, не очень, по-видимому, беспокоившее хозяина; однако ж, несмотря на сильные эволюции верхней своей части, шапка все-таки плотно держалась на лысой голове.

— Ну, чего, чего лезете?.. Совести в вас нет, никакого постоянства нет! — подхватил старый торгаш голосом не столько сердитым, сколько поддразнивающим.

— Что ты на нас, касатик? разве мы? — бойко возразили две бабы, торопливо сбрасывая платки,— вишь вон энта-то... глянь-кась, вишь что навертела! Ей, небось, не скажешь,— прибавила одна из них, кивая головою на запевалку, которая никак не могла освободиться от ожерелья, украшавшего ее шею.

— Вот оборви нитку-то, рассыпь, рассыпь бусы-

то! — сказал старик, протягивая руку. — Давай сюда... эка баба... давай!

— На, на, на, ешь! — возразила запевалка, освобождаясь, наконец, от ожерелья и отталкивая его с видом величайшего пренебрежения, — рассыпешь! — подхватила она, передразнивая старика и вспыхивая, — не видали дряни такой!.. Ты за другими-то лучше поглядывай! — заключила она, бросая недоброжелательные взгляды двум бабам, сидевшим насупротив.

— Ладно, ладно! слезай лучше до греха! — перебил старик. — Повернуться не дадут, облепили как!.. Покупать так покупать, а то что так-то языком болтать?.. Никакого в вас постоянства нет, бабы! право, нет! Слезай, говорю...

— А ну его, взаправду, бабы! плюньте! вишь невидаль какая! — проговорила востроглазая бабенка, соскакивая с воза.

— Ладно, ладно!.. Эка заноза какая! право, заноза! Коли покупать не хотите, стало, стоять здесь нечего... одни пустые разговоры...

— И то, — промолвил какой-то мужик, до той поры стоявший совершенно смирно, — вон! чего лезете? вон! — неожиданно добавил он, принимаясь работать локтями.

Послышались хохот, писк, брань; толпа стала редеть. Немного погодя под амбарным навесом раздалась песня, возвестившая, что хоровод снова устроился. Это обстоятельство еще заметнее очистило толпу вокруг воза. Вскоре осталось несколько мужиков и баб, которые не отошли прочь потому только, что в праздничный день делать нечего и надо же стоять где-нибудь.

— Поди ж ты, что наделали! не сообразишь никак!.. Взяли на два гроша всего, а разрыли мало что на пять рублев, — сказал старый торгаш, оглядывая присутствующих, которые засмеялись.

Торгашу было уж лет шестьдесят, но он представлял из себя еще свежего, здорового старика; лицо его, шея и руки сохраняли постоянно такую красноту, как будто старик никогда не сходил с банного полка̀, где его парили самым жгучим веником; краснота эта была отличительным и самым резким свойством его наружности, не лишенной веселости и прямодушия.

— Что станешь с ними делать, с бабами-то? — подхватил он, потряхивая головою над грудами взбу-

дораженного товара и приводя в движение макушку шапки,— не соберешь никак... та: «Дедушка, подай!», другая: «Дедушка, покажь!» — никак не сообразишь... совсем затормошили!

— Ничаво не сделаешь! — отозвался кто-то.

— Известно, бабы — кто им рад? — проговорил рассудительным тоном мужик, исполнявший за минуту пред тем должность полицейского.

— Такой уж, видно, ихний род! — смеясь, заметил другой.

— И диковинное это, право, дело...— начал было снова старик; но третий мужик, малый лет тридцати, косой как заяц и рябой как кукушка, который во все время предыдущего разговора ощупывал лошадь торгаша, рассматривал с величайшим любопытством его сбрую и подводу, перебил его:

— Отколева бог несет? — спросил он.

— Еду, то есть, откуда?

— Нет, каких примерно губерний? — подхватил рябой мужичок, укладывая локоть правой руки на облучок, а пальцами правой руки притрагиваясь к оловянным зеркальцам, сверкавшим из бумажного свертка.

— Губернии Ярославской,— словоохотливо возразил старик,— а вы, братцы, здешние?

— Здешние,— отозвались мужики, причем тот, который лежал на локте, приподнял угол бумаги, скрывавшей мотки с шелком.

— Ваша деревня как, братцы, прозывается... Марьинское?.. так, что ли?

— Марьинское...

— Так и есть; стало, здесь... так и сказывали: на третьей версте, сказывали, от большой дороги,— проговорил старик, озираясь на стороны.— Скажите, братцы, нет ли у вас такого мужичка... Тимофеем звать?.. не припомню только: Федосеев ли, Демьянов ли...

— Есть... Федосеева нет, а Демьянов есть.

— Какой такой Демьянов? У нас трое Демьяновых. Вон насупротив один... вон...

— Эй, братцы! уж не Лапша ли? — ухмыляясь, спросил весельчак.

— Какой Лапша?

— А так прозвали у нас одного мужичка Лапшою... Лапша да Лапша — так и стали звать.

— Тебе, дядя, как сказывали?

— Сказывали: как въедешь, говорит, в околицу, на левой руке, тут и живет... никак пятая изба, никак шестая с краю... не помню...

— Ну так и есть, Лапша! — воскликнул рябой мужичок, отличавшийся любознательностью.

— Стало, есть какая надобность?

— Нет, брат его наказывал кланяться, — возразил старик, принимаясь за укладку товара.

При этом известии мужики переглянулись между собою, после чего глаза их с заметным любопытством обратились к старику, и все разом заговорили:

— Где ты его встрел?.. где?.. в коем месте?..

— Нонче зимою встрел, ехамши из Алексина.

— Ах он, разбойник! — закричали мужики в один голос.

Восклицание было так неожиданно и вместе с тем так единодушно, что торгаш невольно поднял голову и взглянул на них пристальнее.

— Что вы, братцы? — спросил он.

— Да ведь этот-то, что с тобой встрелся, первый что ни есть мошенник! — заговорили опять разом все присутствующие. — Вот уж никак пятый год в бегах. Тем только и спасся — бежал! Ему давно бы в Сибири быть...

— Как так?

— Да так! Таких делов наделал... и-и-и!..

— Он мне сказывал, как я с ним встрелся, сказывал, сапожным, вишь, мастерством занимается.

— Ах он, разбойник! — подхватили опять присутствующие.

— Где ты с ним встрелся? — спросил один из толпы.

— Точно, теперь как припомню... точно, чудно как словно, — начал старик. — Ехал я ноне зимою, пробирался к Алексину городу; недалече уж было до ночлега — может, этак верст пяток оставалось; уж примеркать стало... знамо, дело зимнее, день-то короткий, к тому и время такое было: мятель, погода такая посыпала... Слез этто я с воза-то, рукавицами похлопываю, сам иду подле лошаденки. Иду так-то, смотрю, вижу — идет впереди человек; с ним парнек... так, мальчоночек лет этак восьми, а может, и всех десять годков будет... Ну, поравнялись, нагнал их, поздоровались. Куда? примерно, откуда? Разговорились...

Стал этто он у меня просить парнишку посадить,— посадил. Так и так, говорит, сапожным, говорит, мастерством пробавляюсь. «Это,— говорю,— сын у тебя?» — «Нет,— говорит,— чужой, в ученье взят...» А сам такой-то обдерганный: ни на нем, ни на парнишке полушубка нетути. Я и давай спрашивать: «Где ж,— говорю,— поклажа-то у тебя? чай, струмент есть?» — «Жительство,— говорит,— имею поблизности, в деревне; там,— говорит,— струмент оставил...» Такой-то словоохотный, спрашивает, куда еду. «Вы,— говорит,— везде слоняетесь; неравно,— говорит,— доведется в Кашире побывать, в нашей сторонке; там есть,— говорит,— сельцо такое, Марьинское прозывается... коли приведет бог побывать,— говорит,— спроси мужичка Тимофея»,— сказал, как примерно найтить,— «кланяйся ему; скажи, мол, брат поклон посылает...».

— Ну так, так! он и есть, он! Вишь, разбойник! — заговорили опять в толпе.

— Поди ж ты, что выдумал — а? сапожник! Ах он проклятый!.. И парнишка с ним... по отцу пойдет; уж это как есть что по отцу. То-то давно слухов-то не было... Поди ж ты! сказалси!

— Так, стало, паренек-то ему не чужак? — спросил удивленный старик.

— Какой чужак! Говорят тебе: сын, родной сын,— подхватили мужики, перебивая друг друга.— В те поры, как бежал от нас, в те поры и парнишку свово увел. Вот уж пятый год в бегах...

— О чем вы тут? — неожиданно спросил новый мужик, подходя к возу.

— Слышь, вот старик с Филиппом встрелся!.. Филипп, слышь, Лапши нашего брат, беглый-то.

Весть эта произвела, казалось, на новоприбывшего такое же точно впечатление, как и на его товарищей.

— Поди ж ты, какое дело! — проговорил торгаш,— а мне и не в догадку; думал, взаправду мастеровой.

— Вот нашел! Плут первый сорт, темный плут! Чудно, как он с тобою чего не спроворил. Знамо, такими делами живот кормит. Спроси, здесь всякий скажет... его по всей округе-то и то знают... Эй, Пантелей! подь сюда! — заключил вдруг рябой мужичок, принимаясь махать руками по направлению к околи-

це,— слышь, эй! Филиппа видели, Лапши нашего брата... вот старик встрел...

— Где? в коем месте? — спросил, ускоряя шаг, Пантелей, человек мрачного и сурового вида, в котором, по черным и обгорелым рукам и носу, выпачканному сажей, нетрудно было узнать кузнеца.

— Далеко, брат! не поймаешь! А ты уж обрадовался, думал, возьмешь,— начал было весельчак, но другие мужики перебили его и заговорили вместе:

— Не нонче встрел, зимою, у Алексина... далеко, брат, не догнать...

— Вот, дядя, спроси у него, у него спроси: он ти скажет, какой такой Филипп человек есть,— перебил в свою очередь рябой мужичок, стараясь обратить на себя внимание торгаша,— совсем было по миру пустил, совсем решил! — прибавил он, выразительно моргая на кузнеца.— Эй, ребята! Эй, слышишь? — довершил он, снова начиная махать руками и поворачиваясь то в одну сторону улицы, то в другую.— Эй, сват Нефед! ступай сюда: Филиппа видели, Лапши нашего брата... эй...

Даже без этого известия многие из пожилых мужиков и баб, не принимавших участия в хороводе, направлялись к возу. Достаточно ведь увидеть издалека двух-трех человек, собравшихся около одного места, чтоб привлечь толпу; но при имени Филиппа, брата Лапши, каждый из подходивших ускорял шаг. Вскоре вокруг воза снова составился порядочный кружок. Рябой мужичок перестал между тем кричать: он торопливо передавал новость, переходя от одного к другому,— никто, однако ж, не хотел слушать: после первых двух слов каждый махал только рукою, отходил прочь и обращался с расспросами к торгашу.

— Надо полагать, братцы, этот Филипп дал себя знать... вишь, как вы о нем хлопочете! — сказал старик, которого начинало забирать любопытство.

Осажденный новыми расспросами, он очень охотно повторил встречу свою с Филиппом. Во время рассказа, прерывавшегося бранью, как только произносилось имя Филиппа, рябой мужичок ни на секунду не оставался в покое; его точно укусила ядовитая муха: каждый член его, каждая черта лица его, особенно глаза и брови, находились в страшной подвижности; он то подмигивал, то дергал за рукав соседа, приглашая его быть внимательнее, то обращался с поясни-

тельными жестами, наконец не выдержал и неожиданно крикнул:

— Экой разбойник!

Выходка эта встретила на этот раз живое сочувствие в окружающих; крупная брань, как картечь, посыпалась отовсюду.

— Слышь, дядя! у этого, вон у этого две лошади увел! — вмешался рябой мужичок снова, указывая на кузнеца. — Две лошади увел, сам тебе скажет... Скажи, Пантелей, как дело-то было...

Глаза присутствующих мгновенно перешли от торгаша к Пантелею; но Пантелей обманул всеобщие ожидания: он упорно молчал, и только выражение его грубого лица да нахмуренные брови высказали чувства, пробуждавшиеся в нем при воспоминании о Филиппе.

— Кому он здесь только не враг? — сказал седой старик, — о сю пору все поминают. Даром пятый год слухов нет, всем на шею сел.

— Вор ворует — мир горюет. Кто ему, вору-то, рад!

— И парнишку-то свово погубил, окаянный! — прокричала некстати какая-то старуха.

— То-то, я чай, наш Лапша-то подивится, как проведает. Он думает, брата давно уж в живых нету; сам намедни сказывал...

— А ты и поверил! — сурово перебил кузнец Пантелей.

— На таких людей погибели нет; ничего им не делается, — заметил кто-то.

— Ну, а что, братцы, каков у вас этот-то брат? — спросил торгаш.

— Лапша-то?

— Да.

— Все единственно... такой же разбойник! — проговорил кузнец.

Выходка кузнеца не заключала в себе, казалось, ничего особенно забавного, тем не менее в толпе многие разразились хохотом: надо полагать, сближение, которое сделал кузнец между Лапшою и его братом, показалось присутствующим чересчур уж несбыточным, невероятным.

— Стало, такой уж, видно, весь ихний род: все одним путем-дорогой пошли! — произнес торгаш, покачивая головою, причем макушка его шапки обнаружи-

ла несколько раз намерение сорвать с плеч голову своего владельца.

— Вся семья таковская! один в одного! — упрямо подтвердил кузнец.

Снова некоторые засмеялись.

— Полно, брат Пантелей, полно! не греши! — с укором произнес степенного вида мужик, молчавший до того времени. — Станешь так-то про других худо говорить, узнаешь и про своих. Коли говорить, так говори настоящее...

— Я и то настоящее говорю: мошенник — да и все тут!

Степенный мужик досадливо махнул рукою и отвернулся.

— Известно, один брат грабит, другой концы хоронит, — сурово подхватил кузнец. — Слышь, не знает Лапша, жив ли брат — как же! Думаешь, как летось пастух наш встрел Филиппа у рощи, думаешь, этот не знал? Они заодно действуют. Ты верь ему, что он дурачком-то прикидывается, верь...

— Полно, говорю, — начал опять степенный мужик, — не чужим рассказываешь. Тот ограбил тебя — точно; ты на него и серчай: говори, кому хошь, всякой скажет: «грабитель». А этого позорить тебе не за что. Брат за брата не ответчик! Лежачего, брат, не бьют — не приходится!

— Уж это как есть...

Многие из присутствующих, в том числе и бабы, вступились за Лапшу.

— Ну вас совсем! — с досадливым нетерпением крикнул Пантелей и, толкнув плечом двух-трех соседей, пошел своей дорогой.

— Как распрогневался! не по скусу, стало, пришло! — смеясь, заметили в толпе.

— Не пуще силен, не страшно! — сказал с пренебреженьем степенный мужик, вступившийся за Лапшу. — Знамо: ну, за что он его позорит? И без того обиженный человек кругом как есть. Через брата своего всего решился, да за его же худые дела отвечать должон.

— Это точно, настоящее говорит. Человек, точно, смирный, — отозвалось несколько голосов, в числе которых особенно прозвенел голос рябого мужика.

— Такой-то смирный, касатик, — и... и... телята свои лижут! — опять некстати крикнула старуха.

— Кабы, как вот он говорит, заодно действовали, этот не сидел бы без хлеба. От мира не утаишься: все на виду! — подхватил степенный мужик, оставшийся, по-видимому, совершенно равнодушным к поощрительным возгласам окружавших, — а то ведь мы видим: беднее ихней семьи не сыскать по всей округе...

— Уж очевидно, добре отощали, родимый, после брата-то, как брат-то убег, отощали добре, — снова вмешалась старуха.

— Ребят много: они пуще всего одолели! — заметила другая.

— Эк сказала! рази у него одного ребята-то! небось, у всех есть! — проговорил полунебрежно, полунасмешливо высокий мужик с желтыми, как лимон, волосами.

Мужик этот, которого звали Мореем, один из всей толпы не вмешивался до сих пор в разговор; он только слушал, щурил глаза и почесывал затылок с таким видом, что никак нельзя было определить, сердится он или радуется.

— Что ж? он правду говорит: у кого достатки, и тем ребята в тягость; а вот как у Лапши их шестеро, знамо, сокрушают! — сказал степенный мужик, — только совсем не через это Лапша расстроился; главная причина: сам, через себя, а тут еще пришел да брат доконал.

— Так что ж? ему теперь поправляться надыть; радоваться надыть, что от худого человека ослобонился, — сказал торгаш.

— Вот поди ж ты! а он еще хуже стал жить.

— На него, касатик, напущено; лихой человек напустил! — неожиданно перебила все та же старуха.

Морей сомнительно покачал головою и недоверчиво усмехнулся; после этого лицо его сделалось вдруг, в одно мгновение ока, серьезным и даже гневным; он пригнулся к старухе и быстро, как словно выстреливая из пушки, прокричал ей в самое ухо:

— Напущено! кто напустил? сам напустил!

После этого Морей снова впал в молчание и только улыбками выражал свое неудовольствие, когда вступались за Лапшу, что, скажем мимоходом, случалось довольно редко.

— Еще господа бога благодарить должон, что такая жена ему напалась, — сказал степенный мужик, — кабы не она, кажись, не было бы у него с ребятенка-

ми-то ни хлеба прокормиться, ни рубашонки покрыться; так ходили бы нагишом, голодные!.. Не ему бы только ею владеть, потому, надо правду молвить, мужик пустяшный; только женой одной все и держится – голова всему дому!..

Во время этих объяснений старый торгаш не переставал заниматься укладкою своих товаров. Прикрывая воз кожею, он попросил, чтоб ему указали избу Лапши.

– Вон, седьмая с краю, от околицы; вон, что крыша-то обвалилась, ворота обдерганные! – заговорил, махая руками и двигая бровями, рябой мужичок, – то-то, я чай, подивится Лапша-то, как про брата проведает... особливо коли взаправду думал, брата давно в живых нет...

– Ах-э! – крикнул неожиданно Морей и схватил себя за голову.

– Что ты?

– Зачем я ему дал крупу-то! – крикнул Морей с видом отчаянья.

– Кому дал?

– Лапше! стал это просить, пристал: «Дай да дай», – я ему и дал.

– Ну так что ж?

– Отдать, говорит, нечем, пропало, значит, добро! Ах-э! – заключил Морей, снова схватывая себя за голову.

– Ну что! есть о чем горевать! – сказал торгаш, – коли бедный человек, господь воздаст тебе за него. А я заеду к нему, погляжу, – промолвил он, как бы раздумывая сам с собою, – заехать все надобно, поклон отвезти: каков ни есть, все брат; одна полоса мяса – не оторвешь.

– Что говорить! – сказал степенный мужик, – только вряд порадуется, как проведает. Добре уж оченно тот-то худую по себе память оставил.

Старик приладился на облучке, раскланялся с толпою и поехал к избе Лапши, сопровождаемый с одной стороны, рядом, беспокойным мужичком, который начал его убеждать переменить чеку, оказавшуюся, по его мнению, ненадежною, с другой стороны хороводной песней, которая то звенела в ушах, как сотня колокольчиков, то гудела, как шмель, смотря по тому, подхватывали ли бабы и девки, подстрекаемые востроглазой запевалкой, или подтягивали одни парни.

II
ЛАПША И ЕГО СЕМЕЙСТВО

Подъехав к Тимофеевой избе, старый торгаш соскочил наземь, внимательно осмотрел, плотно ли увязана кожа, прикрывавшая товар, и пошел к воротам.

Напрасно искал он веревочки, которая обыкновенно приводит в движение деревянный засов, — засова не существовало, да и не к чему было: целых двух тесин недоставало в воротах, и будь они даже крепко замкнуты изнутри — все равно: каждый мог бы свободно проникнуть во двор. Старик покачал головою, отпер ворота и вступил на тесный топкий дворик; темные кривые столбы, изъеденные снизу сыростью, сверху червоточиной, еле-еле поддерживали серый, полусгнивший соломенный навес, выказывавший голые стропила; плетень огибал двор с трех сторон и составлял заднюю стену навесов; он сваливался фестонами то на один бок, то на другой, так что местами можно было бы рассматривать, что делалось у соседей, если б соседские плетни не отличались крепостью. В задней и самой темной части навеса находились еще ворота; в настоящую минуту они были настежь отворены и представляли посреди темноты, их окружавшей, яркое солнечное пятно, в котором рисовались, как на картинке, узенькая тропинка, протоптанная в крапиве, гряды огорода, изрытые копытами, и в отдалении — рига, грозившая разрушением. Косые лучи заходящего солнца, обдавая ярким блеском всю эту заднюю часть владений Лапши, значительно еще скрашивали их пустоту и бедность.

Живые глазки старого торгаша снова перенеслись во внутренность двора; но смотреть было решительно не на что: если и выглядывало кой-где хозяйственное орудие, то все до такой степени было ветхо и запущено, что доброму мужику оставалось только плюнуть или пожать плечами. Солнечные лучи, проходя сквозь щели плетней и дыры навесов, делали из двора Лапши какое-то подобие старого, брошенного решета. Дерево вряд ли даже годилось на дрова. Осмотревшись еще раз вокруг и видя, что никто нейдет, старик направился к дверям сеней (сени, примыкавшая к ним клетушка и задняя часть избы занимали почти половину двора); в это самое время на пороге сенных дверей

показалась высокая худощавая женщина с лицом смуглым и энергическим; на руках ее покоился грудной ребенок.

— Кого тебе, батюшка? — не совсем ласково спросила она, остановясь и раскрывая удивленные глаза.

— Здравствуй, касатка.

— Кого надо? — перебила она уж с явным нетерпением.

— Здесь живет мужичок... Тимофеем звать?..

— Здесь, — как будто нерешительно выговорила она; на лице ее пробежала тень неудовольствия; она не старалась даже скрыть его и промолвила сурово:

— Ты бы, батюшка, коли надобность есть, постучал с улицы, а то прямо на двор влез.

— Я, матушка, не за худым делом...

— Все одно: так лезть, без спросу, не годится — спросил бы прежде...

— Ты, видно, хозяйка?

— Хозяйка.

— Дома муж?

— Дома.

С этими словами ворота заскрипели, и на двор вбежали сломя голову две чихающие овцы; с улицы послышался рев, блеянье и топот бежавшего стада, которое только что, вероятно, вогнали в околицу. Следом за овцами показалась молоденькая круглолицая девушка с хворостинкой в руке. Увидя чужого человека, она остановилась, поправила ветхий платок на голове и вопросительно взглянула на смуглую женщину.

— Маша, сходи за отцом, — сказала та, — он никак в ригу пошел: скажи, спрашивают, мол.

Девушка с заметною торопливостью направилась к задним воротам. Профиль ее фигуры резко обозначался в светлом отверстии ворот; ступив на тропинку, где снова осветило ее заходящим солнцем, она без оглядки бросилась бежать по направлению к риге. Видно было, что гости очень давно не заглядывали к Тимофею: появление нового, незнакомого лица приводило хозяйку в заметное недоумение; черные ее брови словно подергивало от внутреннего беспокойства; она глядела на старика такими глазами, как будто старалась дознаться, что могло привести его к ним. Чувство недоверчивости и подозрительности вообще свойственно простому народу, но бедные люди этого

сословия присоединяют еще к этим двум свойствам пугливость, иногда вовсе даже ни на чем не основанную, но выходящую, вероятно, из сознания собственного бессилия и ничтожества.

— Надобность, что ли, есть до мужа-то? — спросила она с тою резкостью, которую обнаруживают обыкновенно недовольные, раздраженные люди, поставленные в необходимость скрывать свои чувства.

— Надобности никакой нет,— возразил старик,— только что вот повстречался я ноне зимою с братом мужа, наказывал кланяться.

Трудно выразить, какое действие произвели последние эти слова на хозяйку. Недовольное лицо ее мгновенно выразило испуг и замешательство; смуглые, энергические черты ее вдруг вытянулись, задрожали и покрылись желтоватою бледностью: но это продолжалось всего секунду; ужас ее мгновенно уступил место выражению злобы и ненависти.

— Так вот ты зачем! — крикнула она, быстро перенося ребенка в левую руку и принимаясь правой махать по воздуху,— ступай, ступай подобру-поздорову.. не надыть нам ничьих поклонов, не нуждаемся! Брата нету у нас никакого... Коли кланяться велел, стало, насмех... Ступай, ступай! Отколева пришел, туда и ступай! Мы не нуждаемся...

— Я этих делов ваших не знаю,— перебил старик, ошеломленный этим потоком неприветливых слов.— По мне, пожалуй, пойду... Сказала бы: не надо — и делу конец; без крику эвтого ушел бы... Я ни в чем этом не причастен... потрудил только себя, к вам зашел, вас же жалеючи...

— Всех не пережалеешь, батюшка! мы и в этом не пуще чтобы нуждались,— возразила она как бы тоном оскорбления, но с меньшею, однако ж, запальчивостью. Кроткий, почтенный вид старика, очевидно, обезоружил ее; кроме того, и ребенок на руках ее от сильного движения и крика матери проснулся и заплакал.

— Все это ваше дело, на том, стало, и быть; но только серчать так-то не надо бы... Вам же хотел послужить, а выходит, чуть взашеи не вытолкали Ну, спасибо, касатушка, спасибо...

Сказав это, старик, красное лицо которого превратилось в багровое, поправил шапку и готовился уже

повернуть к воротам, когда глаза его встретили Тимофея (так по крайней мере подумал старик). Тимофей торопливо ковылял по тропинке, сопровождаемый круглолицей девушкой.

Один вид приближавшегося мужика невольно уже как-то приводил на память данное ему прозвище. Нельзя сказать, чтоб он был чрезмерно тощ, белокур и длинен; но все существо его, казалось, насквозь проникнуто переминаньем и мямленьем. Ногами передвигал он довольно скоро, но они выступали нерешительно, путались и бились друг о дружку; туловище его с узенькою, глубоко впалою грудью, и руки словно повиновались движению ног и колыхались без всякой видимой цели; лицом он был, как говорится, *беден*, то есть худощав и невзрачен; оно сохранило желтоватый, болезненный вид, к чему примешивалось еще выражение какого-то беспокойного ожидания и пугливости. Он выступал вперед несколько наискось, бочком, на манер того, как ходят раки, тяжело кашлял и часто выпрямлялся, чтоб перевести одышку; даже зрение его казалось слабым: он щурил глаза, словно глядел на солнце. Ему было лет сорок пять с небольшим, но волосы его заметно уже начали вытираться на макушке; мягкие, как пух, но плоские, как трава, они свешивались длинными жиденькими прядями до бороды, которая была так редка, что позволяла различать очертание рта и острого, выдавшегося вперед подбородка. Словом, это был совершеннейший тип бессилия и слабости. Физическое бессилие, казалось, соответствовало в нем и нравственному. При взгляде на Тимофея приходила невольно следующая мысль: как это могло статься, чтоб у такого человека было такое множество детей?.. Достойно замечания, что большею частию люди этого рода, которые готовы, кажется, сейчас распасться на куски и еле-еле живы, производят почти всегда многочисленное поколение. Одна черта резко только и обозначалась во всей наружности Тимофея: то были брови: они отличались густотою и чернотою; но эта самая особенность служила, казалось, к тому лишь, чтоб окончательно досказать характер внешнего и внутреннего бессилия, проникшего все существо этого человека. Вступая в разговор или даже слушая кого-нибудь, он усиленно как-то приподымал то одну бровь, то другую, иногда даже обе вместе: он точно призывал на помощь какую-то не-

бывалую силу и внутренно старался ободрить себя.

Разварная наружность Тимофея, вероятно заслужившая ему прозвище Лапши, поражала своим контрастом с наружностью его дочери, шедшей рядом, она не была хороша собою, но вся фигура ее дышала необыкновенною подвижностью и оживлением; в смуглых чертах девушки отражались энергия и ум, которые так резко отличали черты ее матери; черные выразительные глаза, окруженные длинными ресницами, и свежесть румянца, который играл на щеках вопреки стесненному воздуху избы, дыму и худой пище, составляли, вместе с молодостью, всю красоту Маши.

По мере того, однако ж, как приближался Тимофей, лицо торгаша принимало выражение обычной веселости.

— Э! знакомый человек! — воскликнул он, как только Тимофей показался под навесом. — Вот не чаял, не гадал! Так, стало, ты самый и есть Тимофей? — подхватил он, выступая вперед, между тем как дочь пошла к матери.

Встреча эта, по неожиданности своей, поразила удивлением и дочь и мать.

— Здорово, брат Тимофей, здорово! Вот господь привел свидеться... не думал, не гадал, что к тебе на двор зашел.. аль не признаешь?

— Как не признать! — начал Лапша протяжным, грудным голосом, но вдруг закашлялся, схватился обеими руками за грудь и замотал головою.

Весть о приходе незнакомого человека, видно, еще сильнее взволновала его и потревожила, чем жену. Руки и ноги его дрожали.

— Как же! я тебя знаю, — продолжал он тем же нерешительным, робким грудным голосом, — не помню вот только, как звать...

— Неужто забыл? — простодушно воскликнул старик, откидывая голову назад, причем макушка его шапки съехала ему на глаза. — Дядю-то Василья забыл! И то сказать, много время прошло... Ах, Тимофеюшка, Тимофеюшка!.. А я, признаться, совсем уж было идти хотел... Хозяйка твоя добре на меня взъелась, так вот и рвет, со двора гонит... Мы, слышь, тетка, с мужем-то старые знакомые, — подхватил он, обращаясь к жене, которая с выражением удивления переносила глаза от гостя к мужу, — два года будет зи-

мою... кабы не он, добрый человек, напался, я бы совсем и с возом-то досселева в Оке сидел: он, спасибо ему, подсобил... только нас двое тогда и было... С обозом, никак, ехал тогда!..

— С обозом,— возразил, едва оживляясь, Тимофей,— от своих поотстал тогда... под Каширой; точно, сошлись на реке... ты мне еще тогда целковый-рубль дал... за хлопоты...

— Что поминать об этом! Я век должон тебя помнить: кабы не ты...

— Да ты спроси у него, зачем пришел,— нетерпеливо перебила жена, выразительно указывая мужу на гостя.

Тимофей замигал глазами.

— Кабы знал я, примерно, обо всех этих ваших делах, лучше бы и говорить не стал; как перед богом, не стал бы! — начал старик.— Вот что, брат Тимофей, слышь: ноне зимою, ехамши под Алексиным, повстречал я твово брата; больше ничего; велел только кланяться...

Весть о брате произвела на Тимофея совершенно другое действие, чем на жену его: он не пришел в негодование, а, напротив, окончательно уже раскис; руки его опустились, голова свесилась — он весь опустился, как будто держался прежде помощью костылей, и костыли эти вдруг отняли.

— Что за диковина, право! Я, признаться, ума не приложу, о чем уж вы больно так сокрушаетесь,— сказал старик, разводя руками.— Знамо, худой человек, ну... ну, и бог с ним! Что слава-то худая, ну так что ж? Худые дела с ним и останутся... Брат за брата не ответчик ни перед кем...

— Главная причина,— робко проговорил Тимофей,— на деревне проведают...

— Это о чем?

— О том вот, что жив-то он и кланяться мне велел...

— Ну, брат Тимофей, в эвтом, признаться, виноват, погрешил. Главная причина, не знал я ничего об этих ваших делах,— произнес торгаш,— как быть-то! Начал спрашивать, где, мол, такой Тимофей живет, так и так, от брата, говорю, поклон привез... стали расспрашивать: тары-бары... ну, признаться, маненько, того... об этом потолковали... Ты не взыщи на мне, потому не знал я ничего этого...

— Проходу теперь не дадут! — проговорил Лапша, ударяя об полы руками с видом крайнего замешательства.

Все это, очевидно, столько же неприятно было жене, сколько и мужу. Неудовольствие ее особенно высказывалось взглядами, которые не переставала она бросать к той стороне двора, где располагались уличные ворота; она передала, наконец, ребенка дочери и нетерпеливо пошла к воротам: увидя нескольких баб, с любопытством смотревших к ней на двор, она выместила на них всю свою досаду.

— Ну, что стали?.. народ только тешить! — с сердцем сказала она, возвращаясь на двор, обращаясь к гостю и мужу, — коли есть о чем толковать, ступайте в избу!

— Зайди, добрый человек, — проговорил Лапша, переминаясь.

— Я бы ништо, пожалуй; время к вечеру, уж солнце садится... ехать погодить надо до завтра, — простодушно вымолвил старик, — опасаюсь вот только насчет воза, как будто на улице оставить не годится... не тронули бы...

— Пожалуй, дочка поглядит, — сказал Лапша.

— Погляди, касатка, пока с отцом посижу, — подхватил старик. — Оченно уж, вижу, убивается.. надо, примерно, поговорить с ним... Хоша я и не причинен, а все как словно через меня дело-то вышло...

Девушка укутала ребенка в ободранную отцовскую овчину, висевшую на плечах ее, и, обменявшись взглядом с матерью, пошла к воротам. Катерина (так звали Тимофееву хозяйку) последовала за мужем и гостем. Войдя в избу, маленькую, тесную и курную, с почерневшей печью в левом углу, старик набожно перекрестился перед иконами.

В настоящую минуту в избе было очень светло; кроме того, что низенькие окна, обращенные к западу, пропускали красноватый блеск огненного заката, последние солнечные лучи, скользнув из-под длинных багровых туч, играли на правой стене; эти солнечные пятна, принимавшие вид пылающих угольев, разливали по всей избе золотисто-желтоватый полусвет, так что легко было различить предметы в самых дальних углах. В одном из них старик увидел женскую фигуру

сидевшую на лавочке. Приняв ее за родственницу хозяев, он поздоровался.

— Не взыщи, касатик, она ничего не смыслит, умом повредилась, — сказал Лапша.

— С чего ж так?

— Так уж, видно, господу угодно, — подхватила Катерина, с явным намерением прекратить дальнейшие расспросы.

Гость сделал вид, будто остался доволен объяснением, но воспользовался первым удобным случаем, чтобы снова глянуть в угол. Безумная, которой всего было лет тридцать, сидела, поджав ноги и положив подбородок на колени; в руках у нее было полено (истертое и почерневшее полено от долгого пребывания в руках); оно было обернуто в тряпье; прижав полено крепко к груди и укачивая, как ребенка, она не переставала бормотать что-то скороговоркою под нос. Старик невольно покачал головою, но, встретив взгляд хозяйки, поспешил сесть на лавку подле Тимофея, который, казалось, все еще не успел оправиться от смущения; складки худенькой рубахи сильно изменяли дрожавшим рукам и коленям; усиленно приподымая то одну бровь, то другую, он, видимо, старался ободрить себя; наконец после долгого переминанья на одном месте, после взглядов, направленных к жене, которая прибирала что-то у печки, он кашлянул несколько раз и как бы собрался с духом.

— Где ж это ты... говорил, где... хм! хм! вишь, одолел, проклятый... почитай... гм! почитай с самой вот осени... Где это ты... с ним встрелся? — добавил он, сопровождая каждое слово пугливым взглядом, обращавшимся то к жене, то к гостю.

Катерина мгновенно отошла от печи и, судорожно скрестив на груди руки, нахмурив брови, остановилась подле разговаривавших. Гость очень охотно приступил к рассказу.

С первых же слов безумная перестала бормотать и подняла голову, едва прикрытую платком, из-под которого вырывались в беспорядке пряди белокурых волос; сначала она исключительно как бы занималась рассматриванием незнакомца; мало-помалу блуждающие голубоватые глаза ее остановились на одной точке, и лицо осмыслилось выражением страха; ноги ее свесились, шея вытянулась; с каждой секундой дела-

лась она внимательнее, с именем Филиппа она задрожала всеми своими суставами и с выражением неописанного страха скрыла полено под лохмотья одежды.

Присутствующие так были заняты своими собственными мыслями и соображениями (старик не отрывал живых глаз своих от Катерины и ее мужа), что не замечали происходившего в углу, где сидела сумасшедшая. Рассказчик дошел таким образом до Степки, сына Филиппа. При этом в избе раздался вдруг такой крик, что старик, Лапша и его жена несколько секунд стояли как громом пораженные. Когда они опомнились, безумная лежала уже на полу, рвала на себе волосы, страшно колотилась головою оземь; посреди рыданий ее, от которых должна бы разорваться на части грудь ее, слышалось имя Степки, сопровождаемое всякий раз болезненно-мучительным стоном, как будто она умирала. Катерина бросилась к ней со всех ног.

— Дунюшка! Дуня! — заговорила она, придерживая ее одною рукой за голову, тогда как другая рука осеняла безумную крестным знамением, — Дуня! полно, касатка!.. Христос с тобою!.. Послушай только меня, — подхватила она с особенною торопливостью, — слышь: Степку привели! там, в огороде стоит, сердечный... тебя дожидает... подь к нему, болезная, подь... Вот погляди-кась, вот этот самый дедушка привез его, на дороге нашел... большой такой стал... погляди-тка... подь к нему, родная, подь! — продолжала она, стараясь приподнять больную и время от времени высвобождая руку, чтоб привести в порядок рассыпавшиеся ее волосы.

Дикое отчаянье Дуни, которую Катерина продолжала крестить и всячески успокаивать, перешло мало-помалу в притупленное внимание; вытянув шею с раздувшимися жилами и как бы прислушиваясь к отдаленным звукам, она не отрывала глаз от двери. Немного погодя она неожиданно встала на ноги и быстро побежала из избы, так что хозяйка едва успевала за нею следовать.

— Что за причина такая? — спросил старик, все еще находившийся под впечатлением удивления.

— Да вот с того самого дня, как брат увел парнишку, с того дня и повредилась... И прежде-то была как словно не в своем разуме... житье добре горькое

было ей от мужа-то, а как увел парнишку, ну и совсем повихнулась,— проговорил Тимофей расслабленным тоном.

— Эка горькая, подумаешь! Стало, она у вас и живет?

— У нас; хозяйка пожалела, взяла... ничего ведь не сделаешь! — добавил Лапша.

— Что ж? доброе дело! вас за это господь не оставит. А я, признаться, Тимофей, маленечко того... погрешил против жены твоей, не знал я в ней такой добродетели... Уж очень с начатия-то она на меня взъелась, так вот и рвет!.. Теперь все у меня на виду, как есть, приметно... баба, значит, точно, душа в ней есть... хорошая, должно быть, баба...

Вместо ответа Тимофей приподнял только брови и свесил голову. Дядя Василий с минуту поглядел на него молча, встал и подошел к окну, в котором все еще горело зарево заката.

— Я, брат Тимофей, все насчет, то есть, воза сумневаюсь,— молвил он, прикладывая красное добродушное лицо свое к стеклу и наклоняя набок голову, чтоб удобнее взглянуть на воз,— не напроказили бы там; время праздничное, народу много добре на улице-то.

— Ты бы его к нам на двор свез,— сказал Тимофей, которого более еще, чем старика, беспокоила мысль, что воз стоит у ворот.

Обращая на себя внимание стоявших на улице, воз невольно приводил на память причину посещения старого торгаша; о Филиппе начали уже забывать — и вот снова подымутся толки о нем. Этого весьма основательно опасался Лапша.

— Ничего, можно, пожалуй, и на двор свезти,— сказал старик,— я уж заодно бы у вас и почевать остался. Куда теперь поедешь?.. Все одно, надо же где-нибудь... ты человек знакомый... сенцо у меня свое есть; а коли потребуется насчет, то есть, себя, я не то, чтобы... я заплачу как следует.

С этими словами вошла Катерина. Проводив Дуню, она, видно, зашла взглянуть на дочь, потому что ребенок снова находился на руках ее. Старик тотчас же передал ей свое намерение и, приняв минутное молчание хозяйки за согласие, суетливо вышел на улицу, которая из конца в конец оглашалась веселыми кликами игравших детей и песнею хороводниц.

III

РЕБЯТИШКИ

Спустя некоторое время на дворе заскрипел воз и послышался голос старика. Когда немного погодя Тимофей и жена его явились на двор, лошадка дяди Василья была уже выпряжена, а сам он суетливо развязывал кожу, прикрывавшую товары; он не переставал болтать с Машей, которая стояла подле. Солнце уже село, но над самым двором висело круглое румяное облако, которое делало предметы яснее и давало всему двору больше света, чем в иной полдень. С первых же слов старика Катерина и ее муж узнали, что он непременно настаивал на том, чтоб девушка взяла от него платочек на память.

— Что ты, батюшка, что ты! господь с тобою! — торопливо сказала мать, — она к этому непривычна, не надоть нам ничего... мы не из того тебя пустили.

— Нет, уж ты, матушка, не замай, брось, оставь ты это дело... уж это моя, примерно, забота... Как же, слышь, — подхватил он, принимая шутливо-озабоченный тон, — слышь, девки поют на улице, играют, потешаются... ну, знамо, и ей хочется — человек молодой! все любезнее будет, как новенький-то платочек повяжет... Ну вот тебе, красавица, не побрезгай, возьми, — заключил старик, тряхнув пестрым бумажным платком и подавая его девушке, которая не трогалась с места.

— Мне... не надо, — проговорила она нерешительно, взглядывая на мать.

— Бери, бери; что уж тут! Бери, коли дают, — сказал старик, добродушно посмеиваясь.

— Ну, что ж! возьми, когда так... когда по душе дает, — сказала мать, обращаясь к дочери, которая взяла, наконец, платок, причем щеки ее вспыхнули, а лицо изобразило такую радость, как будто это был первый подарок со дня ее рождения.

— Ну, спасибо тебе, касатик, — подхватила мать, стараясь сохранить какое-то внутреннее достоинство, — нам хоша чужого и не надобно, а коли охота твоя такая, по душе дал, нам обижать тебя не приходится; спасибо, кормилец!

Тимофей умильно поглядывал на присутствующих и моргал глазами.

— Как уж и благодарить нам тебя! Не заслужили мы этого, касатик... Платок-то ведь, может, рубля два стоит! — промолвил он, наконец, голосом, словно не ему дали, а он вынужден был дать подарок.

— Есть о чем разговаривать! И весь-то всего гривенник стоит! — перебил старик. — Ты как из Оки-то меня тащил, не на гривенник мне добра сохранил. Вот случай привел хошь дочку твою потешить. Ну, что ж ты стоишь, красавица? Ступай, покажься на улице-то... вишь песни как знатно играют — и ты поди! — промолвил он, обращаясь к Маше.

— Что ж? сходи, поди, — сказала мать.

Маша как будто не решалась, совестилась, наконец вошла в избу; минуту спустя она явилась на дворе, повязанная новым платочком, и быстро юркнула в ворота.

— Много у вас детей-то? — спросил старик, провожая ее глазами.

— В чем другом, батюшка, в этом, кажись, нет недостатка: семья большая, — возразила Катерина, и первый раз на губах ее появилась улыбка.

— О-ох! — тоскливо простонал Тимофей.

— Ну, что охаешь-то? ох да ох! — смеясь, сказал старик, делавшийся веселее по мере того, как ознакамливался с хозяевами. — О чем? что детей-то много? Это значит благословение божие.

— Шостеро человек! — произнес Тимофей с таким сокрушенным видом, как будто сам произвел их всех на свет и вторично предстояло ему родить их.

— Ты бы вот, Тимофей, на жену-то поглядел лучше... вишь: разве она ими скучает? а чай, больше твоего об них сердце-то болит; право, так! — добавил старик, указывая на Катерину, которая в это время высоко подымала обеими руками младенца и заставляла его смеяться.

Дядя Василий хотел было что-то еще сказать, но прерван был звонким лаем, раздавшимся у самых ног его. Обернувшись назад, он увидел маленькую, шершавую, черную собачонку с стоячими ушами, вострой мордочкой, украшенной двумя желтыми крапинами над глазами и коротенькими кривыми передними ногами, расположенными как у танцмейстера; лай ее звенел, как тоненький колокольчик; шерсть на спине стояла торчмя, а хвост закручивался, вероятно от злобы, таким тугим кренделем, что, казалось, не было

силы, которая могла бы его выпрямить. Застигнув врасплох чужого человека на своем дворе, она, без сомнения, вцепилась бы в икру его, если б вслед за ее появлением в воротах не раздались четыре тоненькие голоска, которые разом закричали: «Волчок! Волчок!»

Волчок тотчас же задвигал своим кренделем и полетел навстречу четырем мальчуганам, входившим во двор. Трое из них были еще очень малы – лет пяти, шести и семи; ручонками, вынутыми из рукавов, болтали они за пазухой, которая до того была набита всякой всячиной, что животы их казались втрое толще обыкновенного; одежда их, ноги с засученными выше колен штанишками и самые лица до того были выпачканы свежею грязью, что мать раскрыла только глаза и отступила. Четвертый мальчик был лет девяти, с продолговатым оживленным лицом и черными умными глазами – вылитый портрет матери; но энергические, несколько резкие черты Катерины, перейдя к сыну, как бы смягчились и во многом напоминали отца. Одежда его, состоявшая из рубашонки и штанишек, также засученных выше колен, была, однако ж, чище и показывала в нем бережливость и даже внимание к самому себе; но пазуха была так же туго набита, как и у братьев.

Увидя незнакомого человека, первые три мальчика остановились сначала как вкопанные, потом бочком стали подбираться к матери и вдруг разом обхватили ее юбку; старший между тем, поглядывая на старика и желая, вероятно, показать себя перед ним, топал ногою и посвистывал с самым серьезным видом, призывая Волчка, который снова заливался на гостя. Пронзительный лай Волчка мгновенно превратился в ворчливое визжанье, потом Волчок подбежал к мальчику, прыгнул ему на грудь передними ногами и, развернув свой крендель, принялся мотать им во все стороны самым дружелюбным образом.

– Поди ж ты – а! вишь как его слушает! Сейчас отошла; а поди злющая какая! – вымолвил, посмеиваясь, старик.

– Нельзя же, – возразила повеселевшая мать, – она знает своего хозяина... Щенком взял; ноне зимою замерзлого, почитай, в дом принес, под плетнем где-то нашел... Уж такая-то о нем забота: хлебца дашь, и тот пополам делит; ну, она и слушает.

– Это значит свово благодетеля почитает, добро

его помнит... Эки вы, право, ласковые, добродушные какие! собак, и тех жалеете...

— Ах, отцы вы мои! да где ж это вы были-то? — заговорила вдруг Катерина, оглядывая парнишек, жавшихся у ее юбки, — смотри, как выпачкались!.. чумазые какие! Где вы были-то? Не отмоешь никак... так, смотри, теперь и останетесь.

— Ничего не сделаешь! — проговорил Тимофей голосом, как будто в самом деле нечего уже было делать, и дети его весь век останутся облепленными грязью с головы до ног.

— Где ж вы были-то? в лесу, чай?

— В лесу были, да очень добре́ вязко, не обсохло, — сказал старший мальчик, щелкая пальцами над головою Волчка.

— Отцы вы мои! глянь-кась, чего только не нанесли! — подхватила мать, отрывая поочередно от юбки то одного, то другого и начиная вытряхивать пазухи, из которых посыпались наземь камешки, трава, мох, прошлогодние желуди и кусочки цветной глины, которую в изобилии находят в ручьях окрестных мест. По окончании этой операции мальчуганы, дико смотревшие на гостя, снова припали головами к подолу матери.

— Эки молодцы какие! — смеясь, воскликнул старик, — право, молодцы! вот хошь бы этот пузан какой! — добавил он шутливо, тыкая пальцем в живот одного из них.

Но ребенок затрясся всем телом, открыл рот, закричал благим матом и затопал ногами.

— Полно, Костюшка! чего запужался, глупый? не бойся...

— Постой, постой! у меня вот тут есть штука такая... сейчас обзнакомимся, — вымолвил старик, направляясь к возу. — Костюшка, глядь-кась, что у меня? ась? — заключил он, подавая глиняный свисток, устроенный в виде какой-то фантастической утки. Заслышав голос старика, обращенный уже к нему собственно, Костюшка еще глубже нырнул головою в юбку и не прежде, как когда раздались восклицания его братьев, решился выглянуть одним глазком из своей засады.

— Ну, уж нечего, видно, делать, надо и других потешить, чтоб завидки не брали, — промолвил дядя Василий, снова направляясь к возу, между тем как Ко-

стюшка пялил глаза свои навыкат, рассматривая дудку, а мать рассыпалась в благодарностях.

Получив каждый по дудке, мальчуганы один за другим выпустили из рук подол матери, сбились в кучку, с минуту заглядывали друг другу в руки, потом приставили дудки ко рту и вдруг наполнили двор неистово дикими трелями, так что две курицы, совсем уже было заснувшие под навесом, стремительно ринулись наземь и, растопырив крылья, забегали как угорелые по всем углам.

— Ну, а ты, глазун, что на меня смотришь? — подхватил дядя Василий, потряхивая головою перед старшим мальчиком, ласкавшим Волчка, который присмирел, хотя все еще взвизгивал, когда старик подходил к детям, — вот тебе, глазун, на, возьми, — добавил торгаш, подавая ему маленький писаный образок, — ты постарше тех, тебе и вещь такая соответственная, — возьми.

Подарок привел мальчика в больший еще восторг, чем подарки, данные братьям; он бросился показывать его матери. Она, по-видимому, совсем уже примирилась с гостем; известие, привезенное стариком и так сильно встревожившее ее и мужа ее, было ею, по-видимому, забыто. Тимофей кланялся, двигал бровями, кашлял и моргал глазами.

— Эки чудные! за что благодарите... рази я даром?.. вот вы меня за это покормите ужином...

— Душою рады, родной, не взыщи только... у нас ведь хлеб один.

Тимофей с видом бессилия замотал головою.

— А то чего ж еще? Вот! я не привередлив; быть бы только сыту... А эти молодцы забыли, никак, об ужине-то с своими дудками? — добавил старик, указывая на мальчуганов, прыгавших и наполнявших двор визжаньем.

Слово «ужин» напоминало им, однако ж, голод, который привел их домой, и они приступили к матери. Катерина пошла в избу и минуту спустя вынесла несколько кусков хлеба, словно отломанных от разных хлебов и собранных в разное время. Получив по куску, ребятенки бросились к воротам, то кусая хлеб, то дуя в свои дудки.

— А ты что ж, Петя? и ты бы пошел к ним, батюшка! — сказала мать старшему, все еще не отрывавшему глаз от образочка.

— Нет, не хочется,— сказал мальчик,— я в избу пойду...

— Ну, подь, родной, подь, с нами поужинаешь,— сказала мать и, выждав минуту, когда муж и гость вошли в сени, погладила мальчика по головке и оглянула его с выраженьем особенного какого-то самодовольства и нежности.

IV

БЕСЕДА

Ужин, точно, не превзошел обещаний хозяйки: он состоял из обломков хлеба, накрошенных в чашку и приправленных кисленьким кваском.

— Где ж та-то... как, бишь, звать-то ее?.. ну, вот, братнина-то жена? Что ж она нейдет ужинать? — спросил старик.

— Бродит, я чай, поближности где-нибудь, а не то в поле ушла; она теперь ни за что не придет,— отвечала Катерина, делавшаяся все доверчивее и словоохотливее,— она и все так-то, как придет случай вспомянуть ей мальчика, словно в разум войдет; день, иной раз два дня домой не показывается: уйдет в лес либо в поле, ляжет наземь в укромное какое место, голову платком закроет... Слушать тяжко, какие словеса говорит; насилу домой приведешь... Петя, ты бы, батюшка, поглядел, сходил, нет ли ее где поближности,— заключила Катерина, ласково обратившись к мальчику, который уселся было подле старика и не спускал с него глаз.— Коли тут она, снеси-ка ей поди хлебушка. А там пошел бы к ребятам на улицу. Ну, что тебе с нами-то? Подь, родной, право-ну!

— Эки, подумаешь, горькие есть какие! — промолвил старик после того, как мальчик вышел из избы.— Вот и не стар человек, а сколько горя-то принял! Ну уж, точно, должно быть, злодей был муж-то — правду люди сказывали. Шутка, сколько зла сотворил! Знамо, уж коли лихой человек навернется, и уйдет он, а все о себе весть подает, все сказывается! Однако я, тетка, в толк не возьму: он врозь жил с вами, в разделе, али вы вместе жили?

— Оттого вся беда наша, что вместе! — сказала Катерина, лицо которой вмиг утратило свою веселость.

— Как же это так? Видя через него себе такую погибель, вам бы надыть в тот самый час от него отрешиться. Ведь это, выходит, по охоте по своей в дому злодея держать — право, так!

— Охоты нашей держать его не было,— проговорила Катерина, скрещивая на груди руки и потупляя голову.

Тимофей между тем притупленно глядел в землю, тяжко покрякивал и кашлял.

— Кабы знал ты, что это за человек был! Ни стыда в нем, ни совести! — проговорила, наконец, Катерина с выражением ненависти, которая закипала в ее сердце всякий раз, когда речь касалась Филиппа.— Мало ли билась я, мало ли колотилась, чего-чего ни делала. «Не хочу,— мол,— да не хочу делиться!» — только и ответ его был. Каменный был человек. Как отец с матерью жили, все кой-как держался, опаску имел; а как померли они — и пошел, и пошел, словно того только и ждал: так закурил, без удержу без всякого; а уж женат был и детей двое было; только один-то помер, остался в живности большенький — вот с кем ты на дороге-то встрелся. Вовсе не стал тогда ничего опасаться: тащит, бывало, из дому, что под руку попадет!..

Тимофей тоскливо замотал головою.

— Мне самой в эвти дела с начатия-то как словно не приходилось вступаться,— продолжала жена,— взята была я к ним в дом сиротою; приданого ничего этого за мной не было; знамо, совесть берет, сумленье. К тому и помоложе была в ту пору; скажешь только: «Филипп, бога-то хоть побойся!» — а сама иной раз поглядишь так-то на своих на ребят (Маше десятый годок был, Петя в зыбке лежал), погляжу так-то, да так вот сама и зальюсь. Иной день уйдешь от греха в лес с ребятенками, да там и проплачешь. Потом уж и терпенья моего не стало: вижу, совсем пришло дело к разоренью. Были у нас в ту пору две лошадки: он возьми да одну и уведи, и увел-то самую хорошую. Как проведала я, так инда кровь во всей во мне запечаталась! Пристала я к нему тогда, крепко пристала: «Давай, говорю, делиться!» Хошь бы он что, дедушка; в глаза только посмеялся!..

— Чего ж ты-то глядел? и-их! — досадливо перебил дядя Василий, обращаясь к Тимофею, который продолжал кряхтеть, да пропускал между зубами ка-

кие-то неопределенные звуки.— Ты старший брат, тебе надо было сокращать его. Мало ли что можно сделать,— подхватил он, перенося глаза к хозяйке.— Сходили бы к господам, а господ нет, свели бы его к управителю...

— Ходила, батюшка, ходила я к управителю,— возразила она с такой живостью, как будто спешила оправдать мужа в глазах старика.— Увел этто он у нашего кузнеца двух коней (своих-то уж не было — извел, разбойник); возьми да и продай их; знамо, и люди-то недобрые, что купили. Приходит опосля; мы ничего не знаем; приходит, да спьяну-то и расскажи обо всем. Ну, думаю, проведают — всех нас запутал, злодей! Пошла к управителю; думаю: авось после такого дела увидит человека, разделит нас — этого пуще всего хотелось...

— Что ж управитель-то?

— Да что, добре уж очень-то он у нас смирен, прост добре, к нашему крестьянскому делу непривычен, от господ поступил к нам. Знамо, потачки не дал: наказать наказал; а только зачем ходила, этого не взял в рассужденье, не велел делиться: «Хуже,— говорит,— тогда разоритесь; семья ослабнет, рабочих рук меньше будет». И добро бы, кормилец, было бы уж что и разорять-то; разорять-то уж было нечего: все решил!

— Эки дела, подумаешь, эки дела! — вымолвил старик, между тем как Лапша, приподымая то одну бровь, то другую, продолжал стонать и охать.

— Уж это, точно, и нет того хуже, как от домашних придет беда,— продолжала Катерина.— Ближняя собака, знамо, та завсегда скорее укусит. Чужой человек придет, украдет — и нет его: и украдет-то, что под руку попадет; а как свой такой заведется, все одно что пожар в дому загорелся: ничего не утаишь, все пожжет. Целый год жили мы, так-то мучились. От одного сумленья, бывало, ночи не спишь, только и слышишь от баб: «Добре,— говорят,— на тебя очень серчает. Она,— говорит,— показала на меня управителю; я ей,— говорит,— дам себя знать! будет помнить!» — все так-то перед людьми похваляется... А сам хоть бы мне вид какой показал — весь в себе затаился. Знамо, оттого еще пуще сумленье берет... Кто его знает, что у него там на разуме-то! Только, бывало, и покажет себя, как за жену за его вступишься... Шибко бил он ее

в ту пору, и бил-то так, ни за что, словно нам назло — сердце такое имел каменное. Опосля уж и вступаться не стала: вижу, хуже, серчает только. Слышим мы, на стороне, говорят, опять стал безобразничать: в дому-то взять нечего — раза два у соседей поймали...

— Что ж управитель-то? опять в вотчине оставил? — спросил старик полусердито-полунасмешливо.

— Может статься, и услал бы куда-нибудь, да уж последних этих его делов не знал управитель: стали таить от него; всякий, вестимо, за себя опасался. «То, — говорит, — наделаю, — грозит так-то по деревне, — вам, — говорит, — и во сне того не вкинется!» Бояться стали, не поджег бы как: знамо, от такого человека все станется. Пуще всего я за ребят за своих боялась; не однова, сказывали бабы, не однова стращал ими... Такой страх напал на меня! Работу, бывало, возьмешь, так вот из рук и валится, особливо, когда ребят дома нет; все думается: не сотворил бы худобы какой; ни днем ни ночью спокою не было. Стращал, стращал, а под конец сам, злодей, загубил себя, — присовокупила она после минуты молчания. — Остановился раз у нас купец: ехал в Тулу, сказывают; метель захватила его; он к нам и заехал, у старосты ночевать остался. В эту самую ночь у него деньги-то и пропади; и денег-то, вишь, много было. Хвать-похвать... за становым послали, начали спрашивать: тут миром на Филиппа и показали. Вестимо, уж все были о нем известны! Взяли этто его, повезли, в суд представили... Уж чего, кажется? он взял, его было дело: окромя некому; так нет же, поди, всех начал путать: на того покажет, на другого покажет, всю, почитай, деревню так-то запутал, всех в суд таскали. Под конец сам же ведь во всем повинился: «Мое, — говорит, — дело!» Сами, признаться, обрадовались, как в острог его засадили. «Брат, брат, да и бог с ним! — думаем, — никто не понуждал, сам того захотел!» Маненечко без него вздохнули. Одним скучали: через него народ-то оченно нами обижался; всем горек был — все на нас и напали. Первое время и на улицу-то выйти не смей: так всякий тебя в глаза и позорит; за водой пойдешь — у ворот-то топчешься, топчешься, бывало... А все радуешься: слава ти боже, думаешь, ослобонил господь!.. Что ж бы ты думал, дедушка?

Ведь этим злодей не кончил: и осудили его и в острог засадили — нет, опять показал себя! К весне время было; раз вдруг пропал у нас паренек, его-то сынишка. Туда-сюда искать кинулись — нигде нет. До смерти перепужались! Тем временем и слухи пришли: слышим мы, бежал Филипп из острога! Тут и догадались: его было дело! Должно быть, ночью как-нибудь забрался к нам да и увел его. Вот и ты сказывал, видел его с парнишкой...

— Рыженький такой?

— Ну, да: он и есть! Вот с той поры она, сердечная, Дарья-то, она в уме и повредилась. Надо сказать, злодей был: и себя погубил и своих-то всех, да и нас-то, почитай, к тому подвел! Сказать нельзя, сколько мы от одних людей-то через него натерпелись, батюшка; уж на что ребятенки наши, и тем проходу не давали: всякий корит да хает! Мы за это не серчаем, бог с ними! Знамо, обидно: потому мы ни в чем ни словом, ни худыми делами, никаким этим делам его, ни в чем, дедушка, не причастны.

— Вижу, матушка, вижу! — возразил торгаш, — очи ушей вернее; на правду немного слов надобно!

— Проходу теперь опять не дадут! — неожиданно заговорил Тимофей, опуская ладони на колени, — начали как словно забывать его... и нас, как словно, не трогали... теперь, как проведали, жив он, опять житья нам не будет!..

— А пущай их! Слышь, что жена-то говорит? Пущай! — сказал старик, — совесть своя чиста: стало, и сокрушаться не о чем! Живите себе смирно, никого не трогайте; бог, мол, с вами, когда так — да! А главная причина, самому, брат Тимофей, не след тебе так, чтоб уж оченно опускаться, — прибавил он увещевательным тоном, — надо по мере силы возможности хозяйке подсоблять — вот что! трудиться, хлопотать надыть... А то что хорошего?..

— О-ох! — простонал Лапша, которого снова начал давить кашель, — ничего не сделаешь... Всем добре́ много очень задолжали, никак не осилишь... так задолжали, сами того не стоим. Вот теперь и то уж стращать зачали, как проведали, господа едут... жаловаться хотят!..

— Может статься, это так только народ болтает; может, господа-то не приедут...

— Нет, точно, касатик, едут. На прошлой неделе

к управителю писали: беспременно, сказывали, будем! — заметила Катерина.

Тимофей знал не хуже жены обо всех подробностях касательно несомненного приезда господ, а между тем слова ее подействовали на него почти так же, как если б услышал он величайшую новость. Робкие, пугливые люди нетерпеливо всегда ожидают, чтоб им противоречили или их обманывали в том, в чем они сами уверены и даже что очевидно. С последними словами Катерины Тимофей окончательно упал духом. Он ударил ладонями о колени, замотал головою и выразил желание умереть как можно скорее.

— О том только и прошу господа! — заключил он, свешивая на грудь голову.

— Полно, полно! ну куда тебе умирать! зачем? — перебила жена увещевательно, тогда как лицо ее ясно говорило, что мысли и чувства ее, встревоженные воспоминаниями о Филиппе и вообще предшествовавшим разговорам, далеко не были мирного свойства.— Ну что ж, что хотят жаловаться? пущай их! Я сама к господам пойду: «Взять, скажу, нам неоткуда»,— сама просить стану: пускай пошлют в другую вотчину, к должности какой приставят... Лучше в чужом месте жить, лишь бы покой был. Здешняя-то жизнь у нас вот где сидит... Все сказывают: у нас господа-то добрые; они в толк возьмут. Надыть радоваться, стало быть, что едут, а не то, чтобы... Слышь, дедушка, умирать сбирается!.. Ну, ты помрешь; а мы-то как без тебя останемся? Куды я тогда с сиротами-то денусь?.. Ах ты, разумная твоя головушка! — заключила она почти весело и, очевидно, с тем лишь намерением, чтоб ободрить мужа и польстить ему.

Слова эти точно подействовали как будто ободрительно, но не столько на самого Лапшу, сколько на его брови, которые тотчас же пришли в движение и начали приподыматься на узеньком лбу; но это слабое выражение бодрости прошло мгновенно; тогда старик спросил, являлся ли к ним Филипп с тех пор, как увел мальчика. Робкий, пугливый взгляд, брошенный Тимофеем на жену, и смущение последней не были, однако ж, замечены торгашом: он сидел потупясь и задумчиво потирал лоб и лысину. Перекинувшись новым взглядом, муж и жена поспешили сказать, что с той поры о Филиппе не было ни слуху ни духу. После этого ответа беседа тотчас же почти

прекратилась. Ее прервал шум в дверях и приход детей.

— Пойти поглядеть на лошадь, подбирает ли корм,— произнес старик, приподымаясь с места.

— Пойдем,— подхватил Тимофей, следуя его примеру.

— И я с вами пойду! — сказал Петя, старший из мальчиков.

— Ну, пойдем, ласковый, пойдем,— вымолвил повеселевший старик, гладя его по голове,— пора уж, я чай, и на боковую. Завтра рано надо подыматься. Спасибо тебе, хозяюшка, за хлеб, за соль, за угощенье... а пуще того за ласку за твою.

— Не на чем, батюшка...

Старик, Тимофей и мальчик выбрались на двор, где немедленно присоединился к ним и Волчок.

Синяя звездная ночь давно уж обняла небо. Полный месяц стоял высоко, и черная тень от навесов, изгибаясь по столбам, перерезывала двор пополам. В непроницаемой тени одного из углов слышалось мерное чваканье лошади. Извне, с улицы, все еще неслась песня, и по временам долетали хохот и говор; хоровод, очевидно, однако ж, убавился наполовину; самые голоса тянули как-то слабее, сонливее. Время от времени песня словно обрывалась, переходила в один трепетный, замирающий звук, и тогда с разных концов деревни, из старого барского сада, из рощи, из болота раздавались совершенно неожиданно звонкие соловьиные перекаты.

Осмотрев лошадь и ощупав воз, торгаш, сопровождаемый Лапшою, мальчиком и Волчком, направился к риге, месту ночлега. Войдя в ригу и отыскав себе угол, старик оставил товарищей, а сам вышел в загородь и, повернувшись к востоку, долго крестился. Когда он возвратился назад, Тимофей и его сынишка уже спали; один только Волчок бодрствовал, но и он, впрочем, успокоился, как только увидел, что старик улегся на солому, покрывшись полушубком. Дядя Василий долго не мог сомкнуть глаз; все слышанное и виденное им в этот день поневоле занимало его мысли. Переваливаясь с боку на бок, он то прислушивался к песне, все еще не умолкавшей в отдалении, то к раскатам соловья, раздававшимся поблизости, то устремлял глаза к звездному небу, которое глядело на него сквозь многочисленные щели навеса.

Мало-помалу все эти звуки стали как будто слабеть и отдаляться... тише, тише, и, наконец, по всей окрестности воцарилось мертвое молчание.

V

ПРИТОН

Для дальнейшего развития предполагаемой повести нам необходимо теперь перенестись верст за восемь от Марьинского, в деревню Че́рнево.

Чернево расположено по обеим сторонам большой дороги, уже теперь совершенно почти заброшенной благодаря шоссе, которое проходит верстах в восемнадцати. Тут прогоняют только гурты и проезжают обозы из окрестных деревень. Середина деревни прерывается небольшой лощиной, так что, миновав одну половину деревни, вы никак не попадете на другую, не засев сначала на дне лощины; грунт до того рухл и вязок, что не в силах держать в границах ручья, который расползается во все стороны и превращает все это место в густой кисель, местами покрытый ржавчиной. Здесь спокон веку вязнут возы, и колеса уходят по ступицу. Через мост, возвышающийся влево на столбах, очевидно еще опаснее ездить: это один из тех мостов, который, как говорится, не марает, да ноги ломает. Глухою осенью, когда проходит дождливая пора и мороз скует грязь, изрытую копытами и колесами, путь через Чернево делается окончательно невозможным. Нет деревни, которая так хорошо оправдывала бы свое прозвище: ее обступают темные черноземные поля, не оживленные ни одной рощей. Избы по обеим сторонам дороги тесно лепятся друг к дружке и представляют однообразно-скучные ряды серых бревен, ворохов бурой соломы и кривых плетней. С того времени, как заброшена дорога, самые домы кажутся какими-то заброшенными; в косой дождь, когда стены избушек намокнут, их трудно даже отличать от грунта. Серое без просвету небо, дождь, глухая осенняя пора идут, впрочем, как-то к Черневу; вообще говоря, Чернево – незавидное место.

Влево от дороги дно лощины замыкается грубой земляной плотиной, из которой вкривь и вкось торчат пучки хвороста; две старые ветлы, обезображенные галочьими гнездами, похожими издали на наросты,

предохраняют плотину от верного разрушения в паводки. С правой стороны лощина несколько живописнее: грязь постепенно зарастает травою, и немного далее виднеется уж лужайка – любимое убежище черневских гусей и уток. Ручей собирается в одно русло и на пространстве трех сажен делает несколько изворотов; лениво, чуть видно течет он в мягких берегах своих, кажущихся по местам совершенно голубыми от множества незабудок; лист, брошенный в воду, почти не трогается с места, и вы десять раз сядете от усталости, прежде чем он отплывет на аршин; гнилые корни, принимающие в воде подобие волнующихся косматых волос, а также и железная руда, образчики которой находят в лощине, сообщают ручью какой-то буро-золотистый цвет. Шагов двести далее ручей уже пропадает в осоке и тине, которая так плотна и зелена, что часто обманывает пешехода: думая ступить на траву, он прямехонько бултыхается в воду по пояс.

Недалеко от этого места, которое называется «благим» (тут когда-то в глухую осеннюю ночь утонул мужик – совсем утонул, с возом и лошадью), находится крошечная одинокая избенка. Далее нет уж жилья; далее идут, то расширяясь, то суживаясь, обнаженные щеки лощины, которая огибает вместе с ручьем большое пространство; в этом ручье, верст восемь дальше, марьинские бабы полощут белье. Избушка, о которой мы упомянули, бросается в глаза своею ветхостью; она, кажется, минуты бы не удержалась на своем основании, если б не прислонилась одним боком к обрыву. Передняя стена ее наполовину закрыта завалинкой; единственное волоковое окно смотрит словно из земли; со стороны входа устроен род сеней из плетня, на котором видны еще следы глиняной штукатурки; солому на кровле лет десять уж не сменяли; местами она совсем истлела и выказывала жерди и хворост, местами сползала книзу и свешивалась волнистыми буграми, под которыми так любят прятаться воробьи во время осенних ливней и зимних метелей.

Лачуга, построенная давным-давно отставным солдатом, переходила несколько раз от одного хозяина к другому, пока, наконец, лет десять назад не сделалась собственностью одной старухи, черневской уроженки; она занималась знахарством и жила совершенно одиноко.

Грачиха (так звали ее) пользовалась большою из-

вестностью по всему околотку; ее знали верст на двадцать в окружности. Не могу вам сказать, с которого времени Грачиха начала пользоваться такою популярностью и с чего именно началась ее известность; знаю только, что трудно было найти в соседних деревнях мужика и бабу, которые хоть раз в жизни не имели бы в ней надобности. Кроме знахарского дела, которым занималась она успешно — потому что никто лучше ее не мог заговорить от пострела, никто так скоро не возвращал здоровье корове, переставшей доиться, ничье спрыскиванье не исцеляло так верно от тоски наносной, потрясихи, ушибихи и других недугов — кроме всего этого, Грачиха чуть ли еще не успешнее занималась ворожбой и колдовством. Не было почти случая, чтоб обокраденный человек не находил пропавшей вещи, если только прибегал вовремя к Грачихе.

Раз у марьинского мужика увели лошадь. Мужик метался как угорелый двое суток по всем дорогам без малейшего толку; в одной из деревень ему сказали, что видели накануне какого-то оборванного человека, проскакавшего во весь дух на лошади, во всем схожей приметами с пропавшей,— где уж тут искать? Мужик махнул рукою и поплелся домой. Дома жена и родственники приступили к нему: сходи да сходи к Грачихе; мужик взял посулы: штоф вина, полтинник, полотенце и отправился в Чернево. В первый приход Грачиха ничего не открыла, сказала только, что вор близко, и велела зайти на другой день. На следующий день она несравненно долее против первого раза ходила вокруг чаши с водою, поставленной посреди избы, чаще нагибалась, смотрела в воду, шептала и объявила наконец, что вор человек дальний, что искать его нет уж надобности, что силою своего заклинанья она отняла у него лошадь, которая стоит теперь в осиновой роще. Мужик кинулся на показанное место — и, точно, нашел лошадь... Но не перечесть всех чудес черневской колдуньи; достаточно, кажется, приведенного случая, чтоб убедиться, что Грачиха, точно, находилась в таинственных сношениях с «лихим человеком».

Встречались, однако ж, люди, которые не давали веры ее связи с нечистым; носились слухи, будто Грачиха давала приют ворам и мошенникам всякого рода; но слухи ничем не оправдывались, и, наконец, те

самые, которые распускали их, напрямик отклепывались от своих слов, когда дело доходило до положительных объяснений. Из этого видно, что даже смелые головы околотка хорохорились на словах; на самом же деле внутренно разделяли страх, который повсеместно внушала Грачиха.

С виду она не представляла ничего особенного. То была низенькая сгорбленная старуха; ее походка и голос показывали, впрочем, крепость и здоровье. Из-под дырявого платка, прикрывавшего ее голову и местами пропускавшего клочки серых волос, выглядывало худощавое лицо земляного цвета, сморщенное, как чернослив; тонкий, несколько кривой нос состоял, казалось, из одного хряща, заостренного, как у хищной птицы, рот, лишенный зубов, провалился и делался весьма похожим на петлю, крепко стянутую ниткой. Старуха поминутно надвигала на лоб головной платок, чтобы защитить от света больные глаза, страдавшие от золотухи; но в этом народ находил новый повод к рассказам: говорили, что у Грачихи красные глаза.

Что ж касается до внутреннего вида лачуги, она ни в каком уже случае не могла дать повода к суеверным вымыслам. В жилищах наших ворожеек и знахарок вообще редко встречаешь внешний признак, имеющий какое-нибудь отношение к их ремеслу: ремесло само по себе так сильно действует на воображение простолюдина и такую приносит выгоду знахарке, что нет надобности прибегать к вспомогательным средствам. Войдя в лачугу Грачихи, вы подумали бы сначала, что тут никто не живет. Свет, проходивший в волоковое окно, вырубленное в одном бревне, смутно освещал угол печи и часть грубой дощатой перегородки, которая шла от угла печи и упиралась в стену, где было окно. Земляной пол, вырытый в вязкой почве лощины, распространял кислый запах, хватавший за горло; при свете лучины в углах и на потолке выказывались беловатые селитряные пятна; сырость покрывала липким слоем дерево и сверкала каплями в шершавых полосах мха, которые чернели между бревнами. В этой половине своей лачуги хозяйка принимала посетителей и совершала свои заклинанья. Грачиха жила собственно или на печке, или за перегородкой. Там нашли бы вы и кадушки, и ухват, и горшки — словом, всякую домашнюю рухлядь. Волоковое окно, такой же вели-

чины, как и в первой половине, позволяло различать стол и лавки, расположенные прямо против жерла печки. Одиночество старухи не было совершенно исключительно: его разделяла во всякое время дня и ночи тощая желтая кошка с зелеными глазами, светлыми и блестящими, как стекло.

В тот самый вечер, как началась наша повесть, часами двумя-тремя после появления торгаша в Марьинском, за перегородкой горела лучина. Грачиха была не одна. На скамье за столом сидели человек средних лет и мальчик; перед ними лежали обломки хлеба, возвышалась солоница и чашка с кашей. Жадность, с какой оба припадали к еде, ясно показывала, что они недавно вошли и первым их делом было позаботиться об удовлетворении голода. Ворчливое лицо старухи не оставляло сомнения, что она была не рада гостям; она даже и не скрывала своего неудовольствия: роясь подле печки без всякой видимой цели, она не переставала ворчать и с сердцем отталкивала каждый предмет, попадавшийся ей под руки.

Но человек, сидевший за столом, мало, по-видимому, об этом заботился: он продолжал уписывать кашу так же усердно, как будто пришел домой после тяжкой полевой работы.

Ему было лет за сорок, и ни одна еще седина не серебрилась в его черствых, черных как смоль волосах, рассыпавшихся нечесаными кудрями по всей голове; лицо его, оканчивавшееся коротенькой, но густой бородкой, было бы красиво, если б не портил его тот отвратительный болезненно-бурый цвет кожи, местами покрытый свинцовыми оттенками, цвет, исключительно почти свойственный бродягам, арестантам или людям, ведущим самую беспорядочную, неправильную жизнь. Небольшие серые глаза, оттененные жесткими бровями со множеством маленьких вихров (знак строптивого, беспокойного нрава), отличались подвижностью и если останавливались на одном предмете, то смотрели невыразимо плутовато и бойко. Бойкость взгляда не совсем, однако ж, отвечала общему выражению физиономии: не было черты, которая обозначала бы решимость, энергию; все в ней было както мелко, хоть правильно, и выказывало природу в высшей степени порочную, хитрую, но лишенную настоящей отваги и смелости. Голова его, приплюснутая с боков, отвесно почти срезанная на затылке, была

резко заострена на макушке. Есть лица, которых нет возможности забыть, хоть встречаешь их раз, да и то мельком; большею частью вас поражает в них не столько резкая особенность, сколько самое выражение или мелкая черта: родимое пятно, рябинка и проч. Так в человеке, представленном вниманию читателя, трудно было забыть его тонкий нос с горбиком посередине и подвижными, приподнятыми ноздрями, которые открывали с обеих сторон часть носовой перегородки; нос этот никогда уж не изглаживался из памяти, и стоило только припомнить эти открытые ноздри, как уж все лицо тотчас же ясно обрисовывалось. Одним словом, это была фигура, которая поразит не совсем приятно при встрече в лесу... Одежда незнакомца состояла из бараньего полушубка, покрытого заторами и прорезами; правое плечо и локоть выглядывали наружу; вместо петель и пуговиц чернели только ямки; на груди выставлялась разодранная стеганая на вате манишка, какую носят подгородные мещане, фабричные и солдаты; из-под зеленоватых сермяжных панталон, протертых на коленях и зазубренных внизу, выступали ветхие лапти, переложенные соломой. Дороги теперь, особенно бойные, совсем уж пересохли; грязь, покрывавшая лапти незнакомца, невольно заставила подозревать о случайной ходьбе, то есть такой, которая вынуждала его оставлять бойные, всеми посещаемые дороги и пробираться полями.

Те же следы грязи были и на лаптишках мальчика-карапузика, лет десяти, с отчаянно плутоватой, насмешливой рожицей. Круто вздернутый нос, оканчивающийся вострячком, принимал вид толстой, коротенькой запятой, обращенной вострым концом кверху; верхняя губа его, рассеченная пополам, и острые зубы, расположенные углом, как у грызунов, делали его похожим на зайца; щурившиеся карие глазки далеко, однако ж, не отличались заячьими свойствами: в них светилось почти столько же хитрости и лукавства, сколько в глазах его товарища; этим, впрочем, и ограничивалось сходство; волосы мальчугана, жесткие и почти красные, торчали вострякамп во все стороны, что делало голову его весьма схожею со встрепанным артишоком; лохмотья, еще безобразнее, еще обношеннее, чем у товарища, покрывали члены ребенка, отличавшиеся здоровьем и силой.

— Тетка Лукерья, слышь! что уж тут? угощать, так угощай! — начал незнакомец, отодвигая чашку с кашей к мальчику, который казался ненасытным,— полно скупиться... Ну, для старого-то дружка угости, касатка! — прибавил он тоном принужденной веселости, как бы заранее сомневаясь в успехе своей просьбы.

И точно, вместо ответа старуха толкнула только заслонку печи. Мальчик, смекнувший, видно, причину ее неудовольствия, звонко засмеялся.

— Ты что, пострел, зубы-то скалишь?.. туда же! Ел бы, когда некупленным кормят! — проговорила Грачиха.

— Слышь, тетка, один стаканчик всего: заслужу! — подхватил незнакомец.

— Спасибо скажи, что пустили-то,— вот что! — сердито проворчала колдунья.— Много вас здесь шляется! А ты чему обрадовался? давай! — неожиданно заключила она, подходя к столу и протягивая руку к чашке с кашей.

Мальчик одним быстрым движением скрыл чашку под стол. Выходка эта окончательно рассердила старуху; она разразилась бранью и протянула руки, чтоб ухватить мальчишку за волосы; ребенок быстро откинул назад голову, запрятал чашку еще дальше под стол, смеялся и смотрел на нее своими плутовскими глазами. Грачиха, без сомнения, не совладала бы с пострелом, если б не вмешался незнакомец.

— Отдай! — сурово крикнул он, ударив кулаком по столу.

Мальчик нимало, по-видимому, не смутился и отдал чашку.

— Эх, Лукерьюшка! — заговорил тогда незнакомец,— забыла, знать, старого дружка, не нужен стал теперича! То-то вот и есть, не по-нашему значит; по нашему: знал дружка в радости, не оставляй в горести.

Он покосился на мальчика и, заметив, что тот исподтишка толкал ногою ухват, чтоб уронить его наземь, дал ему подзатыльника и после того продолжал как бы ни в чем не бывало:

— Признаться, на тебя на одну только надеялся, право так. Вот, думал, приду в свои места, тетка Лукерья выручит. Помнючи, примерно, прежнюю твою добродетель, как в те поры выручила, так все одно, примерно, и теперь в надежде был... Э-эх-ма!..

Он приостановился, провел ладонью по волосам, пожал губами, крякнул и, пристально устремив глаза на старуху, продолжал выпытывающим голосом:

– Как еще шел-то к тебе, словно к сродственнице шел!.. Думал еще деньжонками у тебя позаняться – вот как...

Старуха, стоявшая лицом к печке и обнаруживавшая самое полное равнодушие к словам гостя, вдруг обернулась.

– Ступай, ступай, отколева пришел! – крикнула она, выказывая такую досаду, как будто в словах гостя заключалась горькая обида, – дали тебе есть: чего еще? ну и ступай!

– Да ты выслушай... полно серчать-то... Выслушай...

– Коли шел затем, – подхватила она, разгорячаясь, – шел бы не ко мне, шел бы лучше...

– Куда? – с суровой усмешкой перебил гость.

– Туда... знаешь... – начала было старуха и вдруг замялась и остановилась, повинуясь взгляду, которым гость указал ей на мальчика.

– Степка! – отрывисто сказал незнакомец, – сыт теперича? Ну и ладно. Пошел в сени либо выйдь к ручью... походи там маленько; далеко не ходи, смотри – слышь?

– Мне не хоцца, я здесь посижу, – бойко возразил мальчик.

– Ступай! – запальчиво крикнул незнакомец, делая движение, чтоб привстать с места, и замахиваясь.

Но и в этот раз угроза, казалось, слабо подействовала на мальчика; он только откинулся в сторону; на губах его появилась лукаво-насмешливая улыбка, которая ясно показывала, что он очень хорошо понимал, зачем хотят его выпроводить. Улыбка эта не сходила с лица его; и во все время, как пятился он к двери, щурившиеся глаза его переходили от старухи к ее товарищу.

– Добре смышлен! – сказал незнакомец, когда мальчик вышел из лачуги, – главная причина – шустёр оченно, плутоват, окаянный; слово скажешь, глазом мигнешь – смекает. Неравно что и сболтнет... Шибко связал он меня!

– Точно приневоливали; сам взял! – неохотно проворчала Грачиха.

– Жену поучить хотел, потому больше, – сурово

возразил гость,— вижу, стала держать их руку, я его и увел. Выходит, только себя наказал. Пожалуй, опять бы теперича отдал — лишняя только тягота — да, первое дело, мать умом повихнулась; второе дело, опасливо: болтать станет; все смыслит, даром на вид неказист; везде таскал с собою, мало ли что видел; где, примерно, бывал — обо всем этом поведает... И то кажинный раз как *туда* иду, не беру с собою — опасливо, боюсь, мать признает, люди увидят.

— Что ж ты его, разбойник, ко мне-то привел? — крикнула Грачиха.

— Эка вздорная какая! Дай сказать! — с досадою перебил гость,— рази кто нас видел, как сюда шли? И то в лощине сидели, ночи дожидались...

— Ступай, ступай! ну вас совсем! Я чай, рыщет теперь пострел... уйдет еще на деревню, наткнется на кого: все тебя знают по всему околотку. Ступай; ну вас! Ступай, говорю!

— Полно, тетка, перестань! — начал упрашивать гость,— коли только из этого, духом сбегаю, приведу его; ночь темная — никто не увидит. Дай, слышь, дай хоть ночь-то переночевать! Лето придет, в лесу тепло будет, не стану тревожить. Сделай милость, не сумлевайся... Эка, право, какая!.. Сейчас кликну, здесь будет.

И, не дожидаясь возражения, он кинулся вон из лачуги. Несколько минут спустя в сенях послышался голос его и голос мальчика; он снова вернулся за перегородку.

— Чего опасалась? Он тут подле избы сидел; ничего, говорю; из сеней теперь не выступит,— проговорил бродяга, между тем как старуха вставляла новую лучину.— Эх-эх! пришло, знать, и мое времечко! — добавил он, выразительно тряхнув кудрявою своею головою.

Он прошелся раза два от печки к столу, сел, провел ладонью по волосам, потом снова встал.

— Тетка, слушай,— сказал он тоном упрека, который худо скрывал досаду, отражавшуюся в каждой черте лица его,— слушай: не знаешь, где найдешь, где потеряешь!.. Полно, тетка! — подхватил он, смягчая речь и голос, потому что первые слова его не произвели ни малейшего действия на старуху,— ну за что серчаешь, за что? Провалиться, не ведаю!.. Хлеба, и того стало жаль. Полно, говорю, не бог знает чего прошу...

Прошу: не оставь!.. Нужда шибко взяла, потому прошу... Вишь, как обносился, вишь, смотри,— примолвил он, поворачиваясь к ней то одним боком, то другим и выставляя напоказ прорехи и заплаты,— тоже, вишь, и лаптей нет... Право, пособи... А уж насчет, то есть... за себя постоим! Скажешь: Филипп, сделай то,— тут и есть! Укажи только, укажи на какое хошь дело... нам рази впервые с тобой ведаться?.. Шепни, примерно, у кого какая лошадь — завтра же к тебе придут за нею, в упрос просить станут...

— Не надыть, не проси... ничего не дам! — упрямо сказала старуха.

— Ты думаешь насчет парнишка, то есть, связал меня? он помешает?

— Хоть бы так...

— На то время можно здесь у тебя оставить...

— Нужда мне с ним возиться! Кто за ним усмотрит? Вишь он, окаянный, шустрый какой!..

— Слышь: выручи только, об одном прошу; выручи; каяться не станешь; выручи только... хоть на время выручи...

— Стало, уж *там* взять-то нечего? *туда* бы шел! — перебила Грачиха.

— Был и *там*, вечор еще был,— торопливо подхватил Филипп.— Коли тебя пришел просить — без толку, стало быть, ходил: не токма денег, хлеба, и того нет. Я уж и так и сяк стращал — ничего не возьмешь; уж это, значит, верно, что нет ничего; а то бы дай, мое было бы; постращай только его — брат ничего не утаит... Мы это дело-то знаем, как с ним справляться: не впервой!.. Потому больше к тебе и пришел: нужда заставила. Сделай милость, Лукерьюшка, пособи! — снова пристал Филипп,— так, малость самую... тревожить больше не стану, уйду; и то сказать, опасливо теперь здесь оставаться. В другое время — ништо, пожил бы; теперь убираться надо. Узнал я вечор, как к брату ходил, сказывали: господ ждут; не ноне, завтра ждут; при них как раз сцапают... надо убраться вовремя, потому больше и прошу: пособи, тетка, сама знаешь, без лаптей недалеко уйдешь.

На этом самом месте в сеничках, где находился мальчик, послышался вдруг такой дикий крик, что Филипп и старуха дрогнули всем телом. Не успели они сделать шагу, как новый крик, еще диче, пронзительнее, раздался в сенях. Филипп кинулся было к лучине

с намерением потушить ее, но Грачиха остановила его, сказав: «Погоди», – и, ковыляя, побежала к двери.

– Кто тут? – спросила она.

В ответ на это над самою ее головою повторился новый крик, еще звонче, еще отчаяннее первых двух.

– Ах ты, разбойник! – закричала старуха, тотчас же, вероятно, смекнув, в чем дело. – Постой! я ж тебя, окаянного!.. Эй, Филипп! – подхватила она, торопливо возвращаясь в избу, – это твой пострел с кошкой... Кошку куда-нибудь, разбойник, запрятал... Я ж ти, погоди!

Грачиха взяла лучину и побежала в сени; Филипп последовал за нею. Крики становились все жалобнее и протяжнее. При свете лучины старуха, точно, увидела желтую свою кошку, которая болталась на перекладине, привязанная к хвосту. Мальчик, свернувшись клубком в углу сеней, спал крепким сном; но храпенье, которое издавал он для вящего эффекта, изменило ему: старуха налетела на него, как разъяренная наседка, проворно перенесла лучину в левую руку и правою рукою схватила его за волосы; мальчик тряхнул головою – и, не подоспей вовремя отец, он укусил бы старухе руку.

– Оставь его, тетка! я его сам лучше проучу; твои руки старые; дай только сперва кошку отцепить.

Сказав это, он приставил к перекладине лесенку, которая вела на чердак и которую мальчик ухитрился поставить на прежнее место. Секунду спустя бедная кошка рухнулась наземь, вскарабкалась на стену и, фыркая, исчезла на чердаке.

– Теперь я до тебя доберусь! – сказал Филипп, подходя к ребенку.

Тот по обыкновению своему не обнаружил ни малейшего испуга; он без сопротивления дался отцу.

– Хорошенько его, хорошенько! – закричала колдунья, становясь на пороге и подымая лучину над головою.

– Вот тебе! помни! вот тебе! – приговаривал между тем отец, делая вид, что дерет его за волосы, но на самом деле тормоша ему только голову, что заставило, однако ж, сына биться по полу и кричать так пронзительно, как будто с него сдирали кожу.

Старуха, испуганная криком, который легко мог дойти до Чернева, велела отцу оставить и поплелась в избу.

— Сюда! — крикнул Филипп, следуя за нею и обращаясь к Степке.

Степка вошел в избу, продолжая хныкать и тереть лицо кулаком, из-под которого выпрыгивали попеременно то один плутовской взгляд, то другой, сопровождаемые не менее плутоватой усмешкой. Отец украдкой подал ему знак и подмигнул на старуху, которая суетилась ворчливо у лучины; Степка кивнул головой и тотчас же перестал хныкать.

Но едва только воцарилась тишина, как в наружную дверь избушки кто-то сильно застучал. Филипп, старуха и мальчик переглянулись с удивлением. Два-три громкие удара снова потрясли наружную дверь избы. Одним прыжком Филипп очутился у лучины, пригнул испуганное лицо к огню и задул его.

— Отопри! — прокричал в то же время за дверью басистый, хриплый голос.

— Тсс! молчи! — шепнул Филипп.

— Может... ко мне... за делом, — проговорила Грачиха.

— Так бы громко не стучался, — возразил Филипп.

Голос сильно, однако ж, изменял ему. Как все люди, имеющие основательную причину бояться преследования, он думал одно только: уж не узнали ли случайно о его возвращении? Не встретился ли он вчера на дороге в Марьинское с кем-нибудь, кого сам не заметил? Не выдал ли брат, или, вернее, братнина жена?.. Мысли эти с быстротою молнии мелькнули в голове его, и с каждым новым ударом в дверь сердце его билось ускоренным тактом, дыхание спиралось в груди и пересыхало в горле.

— Отпирай! эй! — раздался снова басистый голос, но уж теперь с другой стороны лачуги, и кулак застучал под окном.

— Пусти, матушка, Христа ра-а-ди! — неожиданно подхватил другой, старческий, жалобный голос.

Не успел он замолкнуть, как уж раздался третий, звонкий, дребезжащий, как у козла:

— Эй, тетенька, спишь, что ли? Вставай, глазки протирай, слышь: сваты приехали!..

При первых звуках последнего голоса Грачиха покинула свое место.

— Слепые, — проворчала она.

— С коих мест? — торопливо спросил Филипп.

— Чужие! — возразила как бы из милости Грачиха.

Она подошла к окну, отняла палку, которая придерживала старый скомканный зипун, закрывавший окно, и спросила, как водится обыкновенно, для виду кто тут?

— Мы, мы, касатка,— разом отозвались три голоса.

— Полно вам горло-то драть: слышу. Бог подаст! — проворчала старуха.

— Осердчалая какая! Видно, спросонья,— заметил козлячий голос.

— Пусти переночевать! — подхватили другие.

— Вот нашли постоялый двор... Ну вас совсем!. тесно и без вас...

— «Щадни» [1], что ли? — спросили за окном.

— Ступайте на деревню; мало ли дворов... там и ночуете,— сказала Грачиха.

— Были, касатка, да «лунёк» (собак) много добре, лютые такие, к «ры́му» (дому) не подпущают,— заметил, посмеиваясь, козлячий голос.— Пусти, тетка; «сушак» (хлеб) свой; «мерко́ш», «не зеть ничего» (ночь, ничего не видно); «отцепи, масья» (отопри, хозяйка-мать); пошли бы дальше, да лошади стали,— добавил он, принимаясь турукать и посвистывать, как будто и в самом деле подле него стояли лошади.

— Не впервые у тебя ночуем; пусти! — буркнул бас,— дело есть до тебя...

— «Перебу́шки растерял, вершать нечем, без котю́ра стал!» [2] — пояснил козлячий голос.

— С вами еще кто есть? — спросила Грачиха.

— Нет, мальчик только, «котюр»,— отвечали нищие.

Грачиха поправила платок на голове, несколько секунд стояла как бы в нерешительности и, наконец, сказала:

— Ну, ступайте; дайте только лучину вздуть.

И, не обращая внимания на Филиппа, который упрашивал ее не пускать гостей, Грачиха вздула лучину и поплелась в сени.

---

[1] Щадни — гости, на условном языке тульских и рязанских нищих, которые как бы составляют одну семью. Здесь, разумеется, исключительно говорится о нищих по ремеслу. Мы не долго будем пользоваться терпением читателя и приведем только несколько образчиков этого языка, бог весть откуда взявшегося и кем созданного. *(Примеч. автора.)*

[2] Глаза растерял, глядеть нечем, лишился вожака-мальчика, который водит слепых. *(Примеч. автора.)*

VI

Немного погодя в избу один за другим вошли три человека. Грачиха неправильно назвала их слепыми: из трех один только оказался в самом деле слепым, а именно тот, который был веселее других, говорил и смеялся козлиным голосом.

Странное противоречие представляли ухмыляющиеся, можно сказать, прыгающие от веселости черты его с беловатыми, неподвижно-мертвыми зрачками. Но таким полным довольством сияло толстое, красное лицо его, так забавно вздергивался маленький, как пуговица, нос, так насмешливо передвигались губы, едва закрытые редкими волосами, что невольно исчезало неприятное впечатление, производимое зрачками. В самой фигуре его, неуклюжей, коротенькой, напоминавшей медвежонка, даже в его приемах было что-то скоморошное, комическое. Он возбуждал смех, несмотря на его лета и на бесчисленные прорехи и заплаты, которые покрывали его с головы до ног, так что с которой бы стороны ни смотреть, всюду представлялся какой-то пегий человек.

Другой его товарищ казался постарше: это был человек около пятидесяти пяти лет, исполинского роста, атлетического сложения, с черным лицом, как у цыгана, мрачно-нахмуренным и грубым; совершенно открытое темя, исполосанное глубокими морщинами и покрытое загаром, несмотря на только что начинавшуюся весну и длинный промежуток зимы, делалось еще смуглее в соседстве с серовато-желтыми клочками волос, которые закрывали ему уши; его короткие мускулистые руки, пальцы с пучками волос между суставами и могучая шея показывали страшную силу; не только не чувствовал он тяжести полновесной сумы, висевшей у него за спиною, но ничего, казалось, не значило бы ему взвалить на плечи любой мельничный вал. Говорил он отрывисто, и голос его звучал как из бочки.

Третий товарищ был тщедушный, низенький старичок, согбенный годами; ему безошибочно можно было дать восемьдесят лет; на сморщенном лице его все черты как будто прищуривались; оно сохраняло самое жалкое, униженное, полазчивое выражение. Глаза его видели еще ясно; но, вероятно повинуясь жалкой роли

своей, старик закрыл их, как только вошел в избу и увидел при свете лучины постороннего человека.

Весельчак между тем суетливо выступал вперед, держась одной рукой за конец палки, которая находилась в руках худенького, бледного мальчика лет восьми, обутого в такие лапти, что они пришлись бы впору великану; другою рукою весельчак водил по воздуху; ладонь его случайно встретила лицо старичка, и он закричал во все горло:

– Ослеп! ослеп! Братцы-кормильцы, ослеп! Слышь, Верстан (это было прозвище великана), смотри-тка: старик-то наш ослеп! а ведь сейчас еще видел; недавно ослеп и ничего уж не видит, сердечный!..

– Молчи, чужой,– шепнул Верстан.

– Свой,– шепнула в свою очередь Грачиха, шедшая, чтоб запереть дверь.

– Что ж ты нам, «масья» (мать), ничего не сказала? – крикнул весельчак,– э-эх! купил, значит, корову, привел домой, стал было доить, а тут уж был бык! – добавил он, уперев руки в бока и став козырем.

– Мальчик его? – спросил Верстан, указывая старухе на Степку.

– Мой! – отозвался Филипп, к которому, после первого беглого взгляда, возвратилась уверенность.

Весельчак остановился, внимательно прислушался к голосу незнакомца. Услышь он его хоть десять лет назад, он и тогда не ошибся бы; но голос был ему незнаком; приняв Филиппа за своего брата слепца (предположение, которое вызвано было присутствием мальчика), он повернулся к нему и спросил:

– Откуда, небоже?

– Прохожий...

– Вот это ладно, похвалить можно,– произнес слепой тоном недоверчивым и насмешливым,– отколева ни шел, нас не миновал, к куме в гости зашел – это ладно!..

Но, вероятно, не довольствуясь неопределенным ответом Филиппа и побуждаемый подозрительным любопытством, свойственным слепым, весельчак обратился к вожаку своему и сказал ему на своем наречии, чтоб он подвел его к чужому мальчику; поравнявшись со Степкой, слепой неожиданно опустил ему на голову свободную руку свою и так быстро ощупал ему лицо, что тот не успел отвернуться.

– Э-э! курносый какой!.. да и зубы-то заячьи –

едоват, должно быть, паренек-то... Мотри, Мишка, близко не подходи: укусит! — произнес слепой. — Эвна... э! ах ты! поди какой, драться еще вздумал! — подхватил он, почувствовав на руке кулак Степки, — ну, давай, давай, когда так... только, чур, мотри, подножки не ставь... давай, берись; кто кого...

— Полно тебе, бешеный... как те звать-то?..

— Фуфаев, касатка... Фуфаев!.. Зовут Евдоким, величают Фуфаев...

— Полно, когда так; чего развозился? — продолжала Грачиха, появляясь в маленькой дверце между печью и перегородкой.

Там, за перегородкой, успели уж расположиться мрачный Верстан, старик, Филипп и слышались расспросы: откуда? куда? — расспросы, на которые Филипп отвечал самым сбивчивым образом.

— Мишка, — сказал слепой, пробираясь ощупью по палке к своему вожаку, получившему от Степки на свой пай несколько ударов, предназначавшихся слепому. — Мишка, — прибавил он, сбрасывая наземь суму, — садись-ка, поужинай... Вишь у нас с тобой сколько корок-то!.. живой человек — проглотишь!.. да и товарища угости. Выбирайте что ни на есть самую сладенькую из всех — гуляем, значит!.. А жестко покажется, хозяйка молочка даст для праздничка... Где нищий не бывал, там, слышь, по две милостыни дают — так ли, «масья», а?..

— Полно, полно балясничать-то! — ворчала Грачиха, — спать ложись; не время с вами возиться.

Оставив вожака своего, который сел, пригорюнясь, на лавку в первой половине избы, слепой ощупью направился к хозяйке.

Войдя за перегородку, он ощупал ладонью каждого из присутствующих, расположился подле Филиппа и, приподняв руку, провел, как бы нечаянно, ладонью по лицу его.

— Дальше, брат; я этого не люблю, — проговорил он грубо, отталкивая руку.

— Экой ты какой!.. как же так?.. Ведь вот товарищи тебя видят... а мне так уж, стало быть, и нельзя... и мне хочется!.. Даром у меня глаза-то глядят, как собаки едят, и ничего не вижу!.. «Перебухи́-то у меня в пучки сбежали» (глаза у меня в пальцы ушли), там и остались, удержал насилу... Ты этим не обижайся... как те звать-то?

— Евдокимом, — наобум отвечал Филипп.

— Э! ну вот еще и тезка!.. Эка знатная у тебя компания собралась, «масья»! Ты не чаяла, небось, дорогих гостей... оно и все так-то: около проруби и всё слетаются белые голуби! — подхватил Фуфаев, — чем-то нас только угощать станешь?.. Не брезгливый народ! давай хошь «крёса» (мясца), и то съедим... мы люди заезжие, у тебя добро-то завозное — жалеть, стало, нечего.

— Хлеб ешь, коли голоден...

— Да что хлеб! «Сушак» (хлеб) у нас и свой есть! в своих амбарах много, вишь! — сказал он, похлопывая по суме старика, который жадно ухватился за нее обеими руками, — чего испугался, дядя Мизгирь? уж полно, нет ли у тебя тут денег, в суме-то? — подхватил Фуфаев.

Он остановился, поднял брови, выразительно кивнул головою на старика и продолжал:

— Ты, тетка, может, еще не знаешь... и ты, Евдоким, не знаешь... Ведь дядя-то этот у нас богач! Не смотрите, он таким общипанным кажет: он это так, для виду... у него деньги-то и-и! только накопил, сам счет забыл... Нам бы самим невдогад, — подхватил Фуфаев, видимо забавляясь проклятиями, которые посылал ему старик, — сами не ведали, где у него деньги-то спрятаны, да намедни проговорился... во сне выдал: все про какую-то кубышку бормочет... мы давай приставать; что ж? дознались ведь, сказал: у него, слышь, кубышка, с деньгами-то, в Журавлинской роще зарыта... Не сойти мне с этого места, коли не так!

— И не сойдешь, когда так! не сойдешь, окаянный! — злобно проговорил Мизгирь, — ну чего пристал? чего привязался?.. Оставь! — добавил он, огрызаясь, как старый беззубый волк, настигнутый собаками.

— Диковинное дело: кому он только деньги-то копит? — продолжал еще усерднее приставать Фуфаев, для которого не было лучшего увеселения, как дразнить старика, — сам ведь в гроб глядит, а «юсы» (деньги) копит. Умрешь, ничего ведь с собой не возьмешь... И не умирает-то он, братцы, потому больше, боится: дорого возьмут за похороны... Скупые все в одново, они что «маркуши» (овцы): спроси овцу, кому шерсть растит — рази для себя? другим же достанется... Ска-

жи лучше, дядя Мизгирь, право, скажи, в кое место кубышку зарыл?.. Ой, скажи!

— Экой шут какой! — смеясь, заметил Филипп,— и все-то он у вас такой веселый?

— О чем скучать-то? что глаз-то нету? эвна! да ты мне назад их отдай — не возьму, право, не возьму! зачем они мне? Глаза человеку неприятели.

— Ну нет, брат, с глазами-то все повеселее! — сказал Филипп, посмеиваясь.

— Тебе, може статься, так; ты, может, богач, вот как наш дядя Мизгирь, все одно; живешь, может, в каменных палатах, ходишь по садам с цветами всякими... есть и жена-красавица, есть, стало, на что и смотреть... А у меня как нет этого ничего, смотреть не на что, так и глаз не надыть... без них лучше. Вот хоть бы теперь: все вы для меня в сапогах, все в пестрых рубахах... Баба какая подвернется, та и красавица.. все в обновках на глаза мои, словно кажинный день праздник...

— Ну, а сам-то о себе ничего, не тужишь? Все в обновках, а у самого заплаты одни,— сказал Филипп.

— Что ж, что заплаты? Бедный — что горбатый: что на спину попало, то и носит; нам это ничего... была бы мошна, чтоб краюха вошла, был бы живот, чтоб в него перешло!

— Что ж вы?.. Говорили, за делом пришли; коли за делом, сказывайте, а не то спать ложись...— проворчала Грачиха.

— Стой, тетка, стой, твоя речь впереди! — перебил Фуфаев,— вот ты говоришь: спать пора; твоя речь разумная... только слышь: у нас теперь дело пойдет, о чем, примерно, говорили... так надо, примерно, сперва-наперва винца выпить, ум подкрепить, словеса подобрать такие, примерно, к делу пригодные... как хошь, а без винца уж этого нельзя никаким манером.

— Нет, не уймешь его! что жернов, мелет без устали!.. Вишь его, неугомонный какой,— проговорили Филипп и Верстан, первый с усмешкой, второй с досадой.

— Дай сказать... Чего взаправду лезешь?.. дело есть! — забасил Верстан.

— Ну, говори! — произнес Фуфаев, наклоняя голову, чтоб слушать.

— Вот...— начал Верстан.

— Ну что: вот!.. Вот, да и нет ничего! — перебил Фуфаев. — Тебе, брат, не дождаться... дай я расскажу. Слышь, тетка: был у него, у Верстана, мальчик — вожак, по-нашему; был да сплыл; пришел срок, отец назад взял... Стал он теперь один; скучает, сирота как есть; так вот спросить пришел, не знаешь ли, где бы, примерно, вожака достать...

— Я бы и денег не пожалел, — сказал Верстан, — есть теперь рублев с десяток, все бы отдал, кабы потрафилось найти малого...

— Да на что тебе? — спросил Филипп, — глаза худо видят, что ли?..

— Экой ты, братец! — воскликнул Фуфаев, — видит-то он лучше быть нельзя! Брось полушку на траву — его будет, уж это беспременно!... А все без вожака все, нельзя никак. Ну, кто будет его по деревням-то водить?.. ведь уж такая напасть на него: покажись только околица — сейчас ослепнет! Ей-богу, так!.. Вот дядя Мизгирь, так тот еще за версту от околицы ничего уж не видит; сердечный, совсем слепой сделается.

— Эка ягоза, право ягоза! так и шипит, ягоза проклятая! — злобно проворчал старик.

— Теперь вот что, — продолжал Фуфаев, — пришли мы в деревню — ладно; как нет у Верстана малого, волей-неволей с нами идти должон, потому слеп, сердечный, сам идти не может, спотыкается... Вот стали мы у двора — ладно; поем Лазаря... знамо, наше дело такое: горлом хлеб достаем... Ладно; всяк примерно и судит: видит, трое: «Нате, — мол, — вам, касатики, ломтик, а больше не просите, нетути», — ну, и делишь ломоть-то натрое... А как малый-то есть у Верстана, идет он с ним по одной стороне деревни, я да Мизгирь по другой — этак больше наберешь...

Тут Верстан толкнул локтем рассказчика, давая ему знать, вероятно, чтоб он не слишком давал волю языку при постороннем.

— Ты всех, тетка, по округе-то знаешь, — сказал он, — нет ли малого на примете? Право, десять рублев есть, не пожалею, все отдам.

Грачиха отвечала, что никого не знает.

— Я знаю! — воскликнул вдруг Филипп, ожидавший с явным нетерпением ответа старухи.

— Говори, когда так! — сказал Верстан.

— Верны ли деньги?

— Вот они. Малого в руки — и деньги в руки...

— Слушай, коли так,— произнес Филипп, оживляясь вдруг до последнего суставчика,— вечор проходил я... тут недалече есть такая деревня, Марьинская прозывается,— начал он, переглянувшись предварительно с Грачихой и обратив потом быстрые, сверкающие глаза к Верстану,— остановился обедать у мужика... не помню, как его звать (мы не здешние, проходимцы, в Москву идем, знать не для чего). Так вот, видел я у него парнишку, во всем тебе с руки, какой надобен... У отца их никак целая дюжина... Кабы переговорить с ним, отдал бы... потому бедность шибко взяла, есть нечего, да и должишками спутался, сказывал. Уж это верно, что отпустит... а паренечек такой... тебе в самый раз... годков десяток; отпустит, говорю — были бы деньги.

— Мы в этом не постоим,— сказал Верстан,— вот и за того, что был у меня, десять рублев в год отцу давал. Где эта деревня-то? в кое сторону?

Филипп, лицо которого все более и более оживлялось, рассказал во всех подробностях дорогу в Марьинское; он сообщил, как сыскать дом, где находился мальчик.

— Дело немудрое,— заключил он,— седьмая изба с краю... войдете в околицу: с левой стороны. Только вот что, брат, как станешь, примерно, разговор вести, не говори, смотри, обо мне, что, дескать, я посылал; от себя, примерно, дело веди, как словно прежде не знал ничего, пришло к случаю.

— Зачем говорить!

— То-то; верно говорю, никакого толку не будет,— подтвердил Филипп, перекидываясь новым взглядом с Грачихой, которая во все это время посматривала на него с любопытством, но как бы не совсем хорошо понимая, к чему клонится разговор.

— Ну, «масья»! — воскликнул Фуфаев, поворачивая смеющееся лицо к хозяйке,— одно дело справили, теперь другое... Слышь: дай винца! Вот и Верстан скажет...

— Что ж! можно,— произнес Верстан.

— И я бы уж, так и быть, выпил,— сказал расходившийся Филипп.

— Много у вас прислужников-то в кабак ходить! Ничаво, и так уснете,— возразила Грачиха с меньшею, однако ж, суровостью, чем когда отказала в той же просьбе Филиппу.

— Зачем в кабак? Э, полно! Поищи-ка, тетка; авось у тебя найдется...

Присутствующим очень хорошо было известно, что в подвале знахарки находится запас штофов, которые достались ей за труд, то есть даром, и она радовалась всегда случаю сбывать провизию за деньги, эта продажа достававшихся ей запасов составляла одну из главных отраслей ее доходов. Нельзя было, однако ж, высказать прямо свою готовность: необходимо было прежде поломаться; основываясь на этом, она повернулась к ним спиною и принялась бормотать что-то сквозь зубы.

— Ну, полно же, тетка, полно! пошевеливайся!.. на чистые ведь деньги берем... али не веришь? смотри...

Фуфаев торопливо вынул из-за пазухи небольшой кошелек из холстины, болтавшийся на веревке; развязав его зубами, он высыпал на ладонь медные гроши, в числе которых сверкнули серебряные мелкие монеты, и принялся считать их с невообразимою быстротою и ловкостью.

— Давай складчину, ребята... по гривеннику с брата!.. Давай, Верстан.

Верстан вынул из-за пазухи такой же точно мешочек и отсчитал несколько медных пятаков. Ощупав их и убедившись, что счет верен, Фуфаев обратился к старику, который сначала делал вид, будто ничего не слышит, потом начал жалобно уверять, что у него всего два гроша, и наконец решительно объявил, что пить не станет. Филипп между тем привстал с места, отвел старуху в угол и начал с нею шептаться.

— Лучше не проси; не дам без денег. Коли они угостят — пей... я без денег не дам, — сказала она.

— Я ж тебе говорю, ведь это все одно, — возразил Филипп, понижая голос, — уж эти деньги, что брату попадут за мальчика, уж это мои — все одно; к тому, примерно, все дело подвел; отдам, значит. Завтра же вечером схожу... все отдаст до копейки... не впервой мне, сама ведаешь... ну...

Тут голос его совсем понизился. Надо полагать, он нашел, однако ж, способ окончательно убедить старуху; черты ее смягчились, и она утвердительно кивнула головою. Тем не менее она украдкою погрозила ему кулаком и снова замотала головою, когда Филипп, вернувшись к столу, выразительно мигнул ей на день-

ги, лежавшие на ладони слепого. Пересчитав деньги, старуха зажгла лучину и вышла в сени.

Во время всех этих объяснений никто не обратил внимания на шум, раздававшийся в передней половине избы, где сидели мальчики. Голоса их, прерванные вдруг жалобным воплем, заставили присутствовавших приподнять голову.

— Эй вы, молодцы! али кто кого обидел? — крикнул Фуфаев.

Жалобный вопль, превратившийся в рыдание, остановил его.

— Ну их совсем, — сказал Филипп.

— Пущай обзнакомятся! — подхватил Верстан с глупым смехом.

— Нет, погоди, никак мой Мишутка хлюпает, — вымолвил Фуфаев, прислушиваясь, — точно, он!.. Мишка, подь сюда... подь, глупый, не бойся.

С этими словами в маленькой двери между печью и перегородкой показался худенький мальчик, обутый в исполинские лапти; бледное, изнуренное лицо его, казавшееся еще худощавее, бледнее между длинными прядями черных давно не стриженных волос, искажалось теперь от усилий сдержать рыдания; но усилия были напрасны: длинные ресницы, окружавшие его темные глаза, пропускали потоки слез; прижимая изо всей мочи маленький костлявый кулак к узенькой, впалой груди своей, он все-таки силился подавить наружные признаки горя; но горе было видно слишком сильно, и рыдания, прерываемые кашлем, вырывались одно за другим.

— Вишь нюни-то распустил! — сказал Филипп с суровым презреньем.

— Эка зюзя! — промолвил Верстан, — такой-то уж мокрый: обо всем ревет! Был бы ты у меня, я бы тебя проучил...

— Вот что, Верстан, — перебил Фуфаев, — добудешь малого, вот про которого он тебе сказывал, того и учи; а об моем не сумлевайся. Мишка, подь ко мне... о чем? — спросил он, ощупывая ладонью лицо ребенка.

— Я... я... — начал, всхлипывая, мальчик, — я... я его не трогал...

— Стало, он?

— Он все меня бьет, — продолжал мальчик, заливаясь слезами, — я его не трогал ничем... он давно де-

рется... Я все ничего не сказывал... да больно уж дерется...

— Что ж это ты, брат, не уймешь его? Я уйму, когда так! — проговорил Фуфаев, и на лице его в первый раз исчезла улыбка.

Филипп только рассмеялся.

— Эх, уж эти курносые! погоди! подвернешься ко мне в сильные руки, я те отжучу! — сказал Фуфаев, обращая речь к Степке, скрывавшемуся за перегородкой, и, погладив по голове Мишку, прибавил весело: — полно, Мишутка, придет и его черед; он тебя побил, и его побьют; наскочит!.. Надо, брат, привыкать: мал бывал, корки едал; вырастешь — кашу есть станешь, да еще масляную.

Речь его была прервана появлением старухи, которая несла штоф.

— Ай да тетка! молодца́! Ей-богу, женюсь на тебе! право слово, женюсь! — закричал окончательно повеселевший Фуфаев.— Давай я разолью! — присовокупил он, быстро протягивая руки и завладевая штофом.— Ты, Верстан, у тебя руки неверны, как раз солгут, особливо коли себе наливать станешь... Тебя, брат, мы не знаем; каков твой обычай, не ведаем,— подхватил он, повертываясь к Филиппу,— ты, может статься, другим только подливаешь — себя обижаешь... и это неладно... Мизгирь свидетель неверный: полушкой подкупить можно... Тетка невесть чью руку держит... Я разолью! У вас глаза и мера на глаз, у меня мерка настоящая, верная — вот! — заключил он, подымая кверху указательный палец.

Взяв стакан из рук старухи, он опустил в него палец и, налив вино по самый край, подал его Верстану. Таким же порядком налил он и Филиппу.

— Братцы! — сказал он, принимая стакан от Филиппа,— у вас глаза глядят, как собаки едят; погляди-ка на старика: что как он, примерно, с виду-то... хочет винца? Ну, так уж и быть! нальем ему!.. На, Мизгирь, бери!.. — заключил Фуфаев, подавая ему стакан.

Старик прикоснулся уже было пальцами к стакану, но Фуфаев этого только, видно, и ждал: он ловко отнял руку, отпил вина, приподнял стакан над головою и прокричал неистово-восторженным голосом:

— Эх, запили заплатки, загуляли лоскутки! Веселись, значит, нищая братия!..

После этого он залпом допил вино, стукнул стаканом по столу, повернулся лицом к старику и, приняв молодецкую позу, залился во все горло...

VII

ТЕСНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

Облачный, багровый закат, в котором накануне село солнце, оправдал, как нельзя лучше, предсказание марьинских стариков; в ночь поднялся ветер, и к утру небо обложилось из края в край зловещими облаками, которые постепенно суживались и сгущались, приближаясь к горизонту; дальняя линия горизонта казалась берегом бушующего моря. Заря едва заметно пробивалась бледно-лиловыми полосами. Обманутый позднею темнотою утра, старый торгаш поднялся на ноги позже, чем думал. Он разбудил Тимофея, и оба, оставив в риге спавшего мальчика, направились к избе. На дворе они встретили Катерину и ее дочь, с коромыслами на плечах и вальками; подле прыгали три мальчугана с дудкою в одной руке, с коркою в другой; тут же красовался Волчок, который дружелюбно мотал своим кренделем и время от времени подхватывал на лету брошенный ему обломок хлеба.

— Ну, прощай, хозяюшка! — сказал старик, подходя ближе. — Может статься, уж не увидимся; сейчас запрягать стану. Спасибо за хлеб, за соль...

— И-и, полно, родимый, словно невесть чем угощали! Я чай, и лег-то голодный... одного хлебушка поел!

— Значит, слышь, пуще благодарить надо... В такой тесноте живете и не пожалели; уж это, значит, добрая ваша душа! — ласково возразил старик, нахлобучивая шапку, макушка которой тотчас же съехала на сторону и приняла направление совершенно противоположное тому, куда наклонилась голова, — ну и я, того... не бесстыжий какой, — подхватил он, — пришел, примерно, поел, взял шапку и прочь пошел! так не приходится... особливо вашу тесноту видючи, как вы, примерно, во всем нуждаетесь...

— Это ты о чем, родимый?

— Надо, примерно, чтоб вам сошлось что-нибудь за хлопоты; а то как же? У вас у самих ничего нет!..

– Что ты, Христос с тобою, дедушка! Нам этого, что ты говоришь, не надо... мы сами денег не давали, так, значит, и с тебя брать не станем; ты об этом не поминай...

– Знаю... что ж?.. этого не надо, – машинально проговорил Тимофей.

– Как же так, матушка?

– А так же, вестимо, как у добрых людей водится: охотой пустили тебя, да с тебя же потом деньги брать – что ты!

– Всякому свое добро дорого.

– Коли так считаться, то мы у тебя в долгу, дедушка!

– Каким манером?

– Как есть в долгу, – подтвердил Тимофей, подымая брови.

– Как же так? – спросил старик, обращаясь на этот раз к Лапше.

Но Лапша сильно, казалось, затруднился ответом; он опустил брови и вопросительно поглядел на жену.

– Один платок, что вот ей дал, стоит втрое против того, что съел ты у нас хлеба-то! – сказала Катерина, указывая на дочь, – да и других моих ребятишек обделил, всякого чем-нибудь порадовал...

– Ну, как знаешь, хозяюшка! – вымолвил старик. – А, слышь, – промолвил он после молчания, – я, слышь, с начатия-то, как вечор пришел к вам, шибко в тебе обознался, тетка... ей-богу, право!.. Теперича вижу только, какой ты есть, примерно, человек... Дай тебе господь всякого благополучия – и тебе и деткам твоим!..

– Спасибо, кормилец; пошли и тебе господь! Опять будешь в наших местах, опять заезжай: мы завсегда тебе рады... Ну, прости, дедушка; нам пора!..

Сказав это, Катерина подняла на плечо коромысло с тряпьем, висевшим на обоих концах, дочь ее взяла вальки, и обе пошли к воротам, напутствуемые приветствиями дедушки Василья. Старик, не откладывая минуты, начал готовиться в путь. Тимофей, покашливая и покрякивая, принялся пособлять ему. Почти в то же время в задних воротах показался старший мальчик, оставленный в риге.

– А, ласковый! – воскликнул старик, между тем

как Волчок, окончательно уже развернув свой крендель, производил неистовые прыжки вокруг мальчика.– Ну, ласковый, ступай и ты подсоблять!

Вызов старика, очевидно, польстил ребенку, и, обрадованный случаю показать свою силу, он так деятельно принялся за дело, что оказался даже полезнее отца.

– Ты, дедушка, лошадку-то напоил? – спросил он с озабоченным видом.

– Нет еще, касатик; у вас колодезь-то недалеко от дому: напою, как выеду. Что это у тебя, Тимофей, паренек-то знатный какой! – промолвил старик, добродушно посмеиваясь и поглядывая на мальчика, суетившегося подле лошади,– вишь бравый какой! нам без него что бы тут делать? как есть провозились бы до обеда... молодец! право, молодец!

Мальчик тряхнул волосами и с самой озабоченной, серьезной миной побежал отворять ворота.

– Ну, а вы-то, молодцы, чего зеваете? – заговорил старик, поворачиваясь к остальным трем мальчуганам, смотревшим во все глаза на эти приготовления,– садись на воз! надо и вам подсоблять; без вас дело не сладится! Садись, говорю, садись; полно зевать! – заключил он, подсаживая кого на облучок, кого попросту сажая на кожу.

Тут между братьями началось было маленькое несогласие: каждый хотел завладеть вожжами и править лошадью; старик поспешил примирить их: плотно обмотав вожжи вокруг облучка, он отдал концы двум мальчикам, а третьему поручил кнут; все остались очень довольны.

– Дедушка, дай мне, дай я проведу! – закричал старший мальчик, видя, что старик брал лошадь под уздцы,– дай, дедушка!

– Возьми, ласковый, возьми. Смотри только, в воротах не зацепи...

– Нет, дедушка, не бойся, не зацеплю! – подхватил мальчик, отгоняя рукою Волчка, который подпрыгивал к самому лицу его,– уж я, дедушка, знаю, проведу небось; мне не впервинку!..

Он подобрал уздечку в левую руку, принял озабоченный вид и, размахивая правою рукою, повел лошадь, преследуемый лаем Волчка и возгласами братьев, которые разразились криком и затрубили в дудки, как только воз показался на улице. При этом Тимо-

фей, шедший подле, торопливо принялся дергать и тыкать пальцем ребятишек.

— Полно вам... цыц! д...дряни этакие... Ну что кричите-то?.. перестань! — заговорил он, понижая голос и бросая в то же время робкие, боязливые взгляды во все стороны улицы, где только находился народ...

Но Тимофей напрасно опасался. Хотя, точно, народа на улице было довольно, но никто о нем не думал; всеобщая забота состояла в том, чтоб скорее припрячь лошадь в соху и борону и отправиться в поле. Тучи, заметно сгущавшиеся и затемнявшие небо, сырость, приносимая порывами ветра, ласточки, летавшие так низко, что задевали почти землю, — все предвещало скорый дождик. Пахота недавно началась, и каждый спешил, следовательно, кончить работу до ненастья; и без дождя поля не успели еще просохнуть; земля еще «мазалась», как говорится. Приближение дождя побуждало к деятельности почти всех без исключения; мальчишки заранее засучивали штанишки выше колен и прыгали по траве, в ожидании удовольствия прыгать в лужах; бабы раскидывали холсты, предназначавшиеся для беленья; предусмотрительные хозяйки спешили запасаться водою, которая могла замутиться после дождя; другие шли с тряпьем и коромыслами к пруду, сверкавшему вправо от деревни, между последними избами и углом старого барского сада; звонкая стукотня вальков возвещала, что бабы, в числе которых находилась Катерина и ее дочь, усердствовали, не разгибая спины.

Появление Тимофея, сопровождавшееся скрипом воза, лаем Волчка, возгласами ребятишек и пискотнею дудок, едва удостоилось нескольких взглядов. Но Тимофею довольно уже было того, что он вынужден был показаться на улице; мысль, что вчера все узнали о существовании Филиппа, что Филипп послал ему поклон, что все, имевшие причины жаловаться на брата, снова припомнили теперь нанесенное им когда-то зло и снова начнут приставать к нему и вымещать на нем свое неудовольствие, — мысль эта, не покидавшая бедного Лапшу со вчерашнего вечера, приводила его в крайнее замешательство. Во все время, как старик поил у колодца лошадь, он не посмел поднять головы, не посмел кашлянуть, самые брови его оставались недвижны; как видно, он не старался даже ободрять се-

бя. Когда старший его мальчик снова взял лошадь под уздцы и повернул на дорогу воз с ребятишками, Тимофей поспешил стать между торгашом и возом; но сколько он ни корчился, сколько ни уничтожался, голова его все-таки приходилась выше воза и выше головы торгаша. До сих пор все шло, однако ж, благополучно: никто не окликнул его; каждый, встречаясь с торгашом, который приподнимал шапку, отвечал тем же и молча принимался за работу. Тем не менее глаза Тимофея щурились и лицо его принимало расслабленное, жалкое выражение каждый раз, когда лаял Волчок, или когда который-нибудь из ребят, сидевших на возу, дул в дудку, или же когда старший сын, в припадке усердия и детской гордости, кричал уличным ребятам, чтоб они давали дорогу. Один только обычай, требующий, чтоб хозяин провожал своего гостя до околицы, или по крайней мере до средины улицы, мог вынудить Лапшу подвергнуть себя такой пытке.

Дядя Василий между тем рассеянно глазел направо и налево, похваливал строение, лошадей, встречавшихся по дороге, и не переставал подымать тяжеловесную свою шапку.

— Тимофей! а Тимофей! глянь-кась, брат,— сказал он, толкая локтем соседа,— посмотри, кто это?.. не управитель ли ваш едет? — присовокупил он, кивая головою на всадника в дубленом полушубке, который неожиданно повернул из-за угла крайней избы и показался у околицы.

Тимофей бросил робкий взгляд в ту сторону и тотчас же опустил голову.

— Нет,— сказал он, двигая бровями и пожимая губами при каждом слове,— это из дворовых... вечор в город посылали... на почту: стало, оттедова...

Всадник припустил рысью и проехал мимо; но почти в ту же минуту подле старика и Лапши послышался стук копыт, и в ушах того и другого прозвучал знакомый голос:

— Здорово, дядя!.. Лапша, куда ты?.. ай гостя провожать вышел?.. А я... я в поле... Надыть попахаться до дождичка...

То был рябой мужичок, отличавшийся накануне беспокойным любопытством и суетою; он сидел верхом на лошади и так немилосердно болтал босыми ногами, что каждый раз, как пятка его прикасалась

к ребрам клячи, слышался глухой звук, и кляча фыркала и вздергивала голову; позади, дребезжа, подпрыгивая и подымая клуб пыли, тащилась соха, обращенная сошником кверху.

Старик поздоровался.

— Слышь, эй, Лапша! а ведь Филипп-то жив! — воскликнул неожиданно рябой мужичок.

Тимофей страшно замигал глазами и покосился на стороны, желая узнать, не было ли кого-нибудь поблизости, кто бы мог слышать неуместное восклицание; но он успокоился, увидев, что они приближались уже к околице.

— То-то, я чай, подивился ты, как узнал о нем! — начал снова рябой мужик,— мы все думали, его давно уж и в живых нету... один ведь только Пантелей кузнец... Эй, дядя! дядя! — подхватил он вдруг, принимаясь неистово болтать ногами и махать руками,— эй, пррр... мотри, за околицу зацепишь... Эй, Петрушка, держи левей... ворочай налево лошадь-то... дергай ее левей... так!

Он осадил назад и дал им проехать околицу, после чего выровнялся с возом, который остановился.

— Ты, дядя, куда?

— В Чернево; сказывали, есть такая деревня от вас недалеко.

— Тебе, стало, надо прямо ехать в гору. Там перекресток, часовню увидишь... ступай все прямо, а там забирай все влево... А мне сюда! — довершил он, кивая головою направо,— прощай, дядя!

— Прощай, брат! — сказал старик, провожая глазами рябого мужика, который пустил рысью, расставив ноги, как птичьи крылья.— Ну, брат Тимофей, пора и нам проститься! — заключил дядя Василий, обратившись к Лапше, стоявшему с опущенною головою и руками.

— Прости, касатик,— вымолвил Тимофей со вздохом.

— Ты, я вижу, все об том же... о чем вечор сокрушался, об этом и нонче! — сказал старик,— полно, брат, нехорошо! Ну, право же, не годится так-то... плюнь-ка ты, право, на пустые ихние словеса... этим нечего обижаться, а особливо, коли вины твоей нет никакой. Главная причина, себя призирать надо да трудиться, вот что! А там бог милостив! Обтерпись, говорю... право, обтерпись!

— Нет, уж силушки моей нетути, дядя. Терпели, терпели и конца этому не видим,— возразил Тимофей, уныло поглядывая на деревню.

— Ему говори, а он все свое! — произнес старик с заметным нетерпением.— Эх, Тимофей, Тимофей! не видал, значит, ты настоящего-то горя. В такой ли тяготе люди живут, да ведь терпят же! Значит, баловство одно, право так. По душе говорю; потому вижу, какой ты есь человек примерно, добрый и все такое... Ты бы хошь на жену на свою поглядел: что ты, что она — все единственно, горе-то у вас одно, а все держится бодрее тебя, ей-богу, бодрее, а еще баба! Человеку дана, примерно, сила такая — да; надо собою владать, а не то чтобы так, от всякой безделицы опускаться... Ну, что хорошего?.. По душе говорю, потому как я, примерно, человек старый, преклонный, видал много на веку. Так не след; право, не годится!.. Ну, прощай, брат; авось господь приведет, свидимся, поправишься ты во всех делах своих... а мне пора... Слезай, ребятишки! Надыть до дождя поспеть в Чернево... вишь как заволокло!

И точно, небо час от часу все сильнее нахмуривалось; утро давно уже началось, но окрестность и самая деревня окутывались каким-то полусумрачным, синеватым светом, напоминавшим осенние сумерки. Не будь ветра, который разгонял облака, дождь, вероятно, давно бы полил ливмя.

— Ну, прощай, ласковый! — сказал старик, обращаясь к старшему мальчику, который особенно полюбился ему. Он обращался к нему с тою ласкою и приветливостью, с какими обращался к его матери, особенно после того, как с нею ознакомился.— Прощай, паренек! Опять приеду, опять привезу гостинец... Ну, и Костюшке привезу... и всем! — заключил старик, вторично наклоняясь к старшему, чтоб погладить его по голове, и давая этим движением шапке своей случай съехать на самый затылок.

Распрощавшись вторично с Тимофеем, старик взмостился на облучок, тронул вожжами и начал подниматься в гору. Время от времени он оборачивался к околице, и всякий раз движение это сопровождалось возгласами мальчиков, которые следили за ним глазами. Что ж касается до Лапши, он сохранял то же самое положение, с каким выслушивал наставление старика; свесив руки, опустив голову, он не трогался

с места и смотрел на землю с выражением человека, которого ни за что ни про что обидели.

И в самом деле, не грех ли было дяде Василью намекать ему о труде, о необходимости подкреплять себя духом? Не грешно ли было советовать взяться за дело и пренебречь пустыми толками, тогда как Лапша ждал только заступничества и оправдания в настоящем своем положении?.. Но, с другой стороны, как мог знать дядя Василий, что лучшими радостями Лапши было то, когда о нем громко жалели или начинали с ним заодно вздыхать и охать?.. Оправдать расстройство его беспутным поведением брата, мирскими гонениями, людскою злобой и несправедливостью – значило наверное осчастливить Лапшу на несколько дней; он ходил тогда с высоко приподнятыми бровями, выказывал даже меньше покорности и снисхождения в обращении с женою и всех винил и бранил, выставляя собственную правоту свою. Он, очевидно, обманулся в старике. Мысли его устремлялись также к предстоящему возвращению на улицу. С некоторых пор щурившиеся глаза его чаще обращались к деревне и переходили от одной группы мужиков к другой; изба Тимофея приходилась почти посредине правой стороны улицы; не было никакой возможности обогнуть задами: вправо от околицы шли огороды, примыкавшие к оврагу; слева шла полевая дорога, куда выходили гумна крайних к околице изб; за ними тянулся скотный двор, службы, а потом сад, непосредственно примыкавший к пруду.

– Батя, пойдем! дедушка уехал; вон уж и не видать совсем, – сказал Петя, когда, наконец, макушка шапки на голове дяди Василья болтнулась еще раз над горизонтом и скрылась.

Тимофей повернулся к деревне и, боязливо посматривая вперед, направился к околице, куда успели уже вбежать ребятишки. Отец крикнул было, чтоб они шли за ним, но, как нарочно, в эту самую минуту пучеглазый Костюшка приставил дудку к губам; братья мгновенно последовали его примеру, и все трое огласили улицу звонкою трелью. Вторичное появление Лапши совершилось, таким образом, еще торжественнее, чем в первый раз. Он начал браниться и звать ребят, но сделал еще хуже: услышав его голос, ребятишки побежали к нему навстречу и задудили еще звонче.

– Прочь пошли, окаянные! – крикнул он, отгоняя

их, кроме Петруши, впрочем, который смирно шел подле. – Прочь пошли!.. Вот я вас! Домой, пострелы! – заключил он, бросая вокруг себя растерянные взгляды.

На этот раз было, точно, чего опасаться: пронзительные звуки дудок заставили приподнять голову плешивого старика, изъеденного оспой и покрытого веснушками; до того времени он смиренно стоял спиною к улице и чинил борону. Пробираясь к избе, Лапша издали еще с особенною неловкостью косил на него глазами.

– Лапша, подь-ка, брат, сюда! – прохрипел старик, прикладывая ладонь ко лбу.

Смущение Тимофея сменилось истинным страхом, когда, подняв глаза, увидел он кузнеца Пантелея, который приближался в их сторону. В минуты, подобные той, какую испытывал Лапша, когда нет уж возможности пуститься в бегство, люди, смотря по характеру своему, поступают обыкновенно следующим образом: они или стряхивают с себя робость и идут смело, напролом, или принимают вид крайней озабоченности, или же, наконец, стараются придать своей физиономии по возможности жалкий вид, с целью возбудить сострадание противника и смягчить его сердце. Тимофей прибегнул к последнему способу, и вероятно, самому неудачному: рябое лицо плешивого старика хотя и не было злобно, но изобразило скорее досаду, чем умиление.

– Тимофей, что ж ты? Ведь уж Святая прошла: долго ли нам ждать-то, а? – сказал он, пристально устремляя зрачки на Лапшу, который топтался, как гусь, и робко поглядывал то на собеседника, то на приближавшегося к нему кузнеца. – Да ты полно, брат, кашлять-то; только заминаешь... Говори, когда деньги отдашь?

– Не справились... обожди, Карп Иваныч, – проговорил Тимофей, раскисляясь.

– Как же не справились? Ведь ты клялся, божился, говорил, на Святой отдашь...

– Не справились, Карп Иваныч! – мог только произнести Лапша.

– Так что ж это ты, бесстыжая твоя голова, долго ль станешь так-то водить? – промолвил старик. – Так разве делают, а?.. Была надобность – пришел, говорил, через неделю отдам, а теперь каждый раз только

и слышишь: не справился!.. Вот, братец ты мой, Пантелей, вот суди ты: люди-то какие! — подхватил он, обращаясь к подошедшему кузнецу,— два года назад денег забрал, а теперь отнекивается...

— Я рази отнекиваюсь? — сказал Тимофей, забывший, по-видимому, совершенно о своем мальчике, который внимательно между тем прислушивался к каждому слову и переносил любопытные, живые глаза от Карпа к отцу, от отца к кузнецу.

— Все одно, не отдашь, на то же выходит!

— Они и все так-то! — перебил кузнец, сурово нахмуривая брови.— Как брат его мошенничал, так и этот, все единственно... такой уж род ихний! К тому же, видно, и щенка своего приучает...

— Ан нет, не щенок! — возразил мальчик, наклоняя набок голову.

Лапша хотел что-то сказать, но Пантелей не дал ему произнести слова:

— Что с ним разговоривать, дядя Карп! — сказал он, презрительно кивая головою.— Вот теперича я с барского двора; сказывали, господа едут; обожди, пока приедут, сходи-ка, пожалуйста... один конец, а то что с ним разговаривать...

Весть о приезде господ несколько отвлекла старика от Тимофея, и он спросил:

— Верно ли едут?

— Точно; сейчас Алексей с почты вернулся: письмо, сказывают, прислали... А то разговаривать еще стал! — подхватил кузнец, взглядывая с ненавистливым презрением на Лапшу.— Стоит ли он, чтоб с ним еще разговаривать? Расскажи обо всем господам: они сократят их. Да у него, Карп Иваныч, ты не верь ему, у него и деньги есть! — продолжал Пантелей,— он нищенкой только прикидывается, глаза отводит... Они заодно ведь с братом воровали... и теперь промеж себя знаются...

— Пантелей! Богу ты отвечать станешь! — воскликнул Лапша.— Али я тебе какое зло сделал? али супротивное слово сказал? Брат лошадей увел у тебя — точно, опять я этому не причинен...

— Толкуй, рассказывай сивой кобыле, она разве поверит? — с грубым смехом возразил кузнец.— Вишь каким смирнячком прикидывается — поди ты!.. Знамо, вы заодно с братом действуете,— злобно подхватил он.— Вечор еще поклон послал — так как же, коли не

заодно?.. Постойте, дайте приехать господам: обо всем им скажут, обо всех делах ваших; все на виду окажется, вас разберут тогда, кто к чему принадлежит. Може статься, и того еще потащут, кто поклон-то возил; далеко не уедет... из вашей же, может, шайки, такой же мошенник этот старик-от!..

— Ан нет, не мошенник! не мошенник! — подхватил мальчик, выставляя вперед кудрявую свою голову.

— Ты что, щенок?

— Ан нет, не щенок! Сами ребята твои щенки... а дядя Василий не мошенник! — сказал мальчик.

— Молчи! пришибу!

— Не смеешь! — сказал мальчик с таким смелым видом, какого отец во всю жизнь не посмел выказать.

Пантелей сделал шаг вперед; мальчик прижался плечом к отцу, но принял оборонительную позу; личико его разгорелось, брови выгнулись, глаза сверкали; в эту минуту мягкие черты лица его, делавшие его несколько похожим на Тимофея, как бы исчезли и сменились одушевленными, энергическими чертами матери. Пантелея, конечно, не остановили бы ни смелость мальчика, ни робкое заступничество Лапши, если б не удержал его заблаговременно Карп Иваныч. Во все время предыдущего разговора Карп гладил свою лысину и о чем-то раздумывал.

— Полно, Пантелей, не замай! — сказал он, приближаясь к Лапше, — так как же, Тимофей? а? надо решить чем-нибудь... Есть деньги — отдай лучше до греха; право, отдай. Нет — я господам стану жаловаться. Коли до завтра не принесешь шесть с гривной — сколько взял, ей-богу, не сойти с этого места, к господам пойду. Это последнее мое слово; стало, и делу всему конец! — заключил Карп, поворачиваясь к Пантелею, глядевшему торжествующими глазами на сокрушенного Лапшу.

Тимофей, которого давно уже тащил мальчик, медленно повернулся к ним спиною и, тяжко покашливая, поплелся к избе своей. Но едва сделал он несколько шагов, как снова услышал свое имя:

— Лапша!

Голос выходил на этот раз из-под ворот, расположенных на одной линии с воротами Тимофея.

— Лапша! — повторил голос, и вслед за тем из-под ворот выставилась долговязая фигура желтоватого

Морея, принимавшего вчера участие в беседе с торгашом.

— Что ж, ты мне крупу-то когда отдашь? — начал Морей довольно снисходительно, и вдруг, совершенно нежданно, как будто с этою мыслью о крупе ему попали в грудь раскаленные уголья, он замахал длинными руками, затопал ногами и разразился крупной бранью.

Тимофей стоял понуря голову и слушал; жалкое, болезненное лицо его сохраняло выражение, как будто к нему в ухо нечаянно залетел комар и он внимательно прислушивался к его жужжанью.

— Да, взял, так отдавай! А то что ж хорошего: взял — не отдаешь! Ничего хорошего нет. Мы сами крупой-то скучаем, самим надобно, — подхватил Морей, переходя так же неожиданно на снисходительный тон.

— Пойдем, батя, пойдем! — сказал мальчик, цепляясь за рукав отца и притягивая его к дому.

— Пойдем? Нет, стой, погоди! скажи прежде, когда крупу отдашь? Стой! когда крупу? — воскликнул Морей и снова, как помешанный, замахал кулаками, затопал ногами и так сильно затряс головой, что желтые его волосы совершенно закрыли ему лицо.

Этим бы, без сомнения, не кончилось объяснение, если б Морей не был вдруг развлечен суматохою, поднявшеюся на противоположном конце улицы. Причиной суматохи был, казалось, староста, который говорил о чем-то с одушевлением. Гнев Морея как рукой сняло; он выпрямился, откинул волосы, устремил глаза в ту сторону, где был староста, и забыл, по-видимому, о должнике. Тимофей воспользовался случаем и торопливо заковылял к дому. Почти против ворот своих он встретился со старостой.

— Ступай, шевелись, метлу бери — на барский двор... баб гони со скребками... ребят посылай... дорожки в саду прочищать... двор мести! — произнес староста, спешно бросая слова направо и налево, — гони, посылай скорей... Господа послезавтра едут. Скорей все на красный двор — живо! пошевеливайся!

Но скорость и быстрота движений не даны были, как уже известно, в удел Лапше. Пока доплелся он до ворот, староста успел уже достигнуть конца деревни, бросая по-прежнему направо и налево:

— Метлу бери... гони ребят... баб высылай... скреби... на красный двор... господа едут...

Спустя, однако ж, минут десять на улице снова показался Тимофей, и появление его совершилось чуть ли еще не торжественнее, чем в первые два раза: впереди скакал пучеглазый Костюшка с дудкою в зубах; за ним бежали два маленькие брата; за ними бодро выступали Катерина, ее дочь и Петя со скребками на плечах. Позади всех, припадая с ноги на ногу и покашливая, тащился Лапша, влача за собою тоненькую, жиденькую метлу, на которой, казалось, меньше еще было прутьев, чем волос на плешивой голове Карпа Ивановича.

VIII

БАРСКИЙ ДОМ. УПРАВИТЕЛЬ. ПЕСНЬ ЛАЗАРЯ

Старинный барский сад не примыкал к деревне, как это казалось издали; между ним и последними избами левой стороны находилось порядочное пространство, но его скрадывала перспектива. Место было так велико, что даже вмещало в себе многочисленные постройки. Сначала тянулся вал, обсаженный крест-накрест ветлами; потом шло длинное здание скотного двора, которое можно было принять за худо оштукатуренную и еще хуже выбеленную стену, если б не попадались местами узенькие полукруглые окна, с выбитыми, впрочем, стеклами. Потом должно было пройти мимо небольшого участка земли, отданного дворовым людям. Тут, на пространстве десяти сажен, возникала маленькая, но чудовищно безобразная колония, состоящая из кривых, слепых и косых клетушек, сделанных из теса, драни, плетня, рогожи, которые лезли друг на дружку, цеплялись крышками и углами... В общей сложности все это представлялось фантастическим лабиринтом, в котором ноги вязли в грязи, голова стукалась о выступающие углы или путалась в развешанном на шестах тряпье; дыхание стеснялось от духоты, нос чихал, а слух наполнялся кудахтаньем куриц, блеяньем овец и телок. Клетушки прерывались кирпичным флигелем, где помещалась контора и где жил управитель; здесь уже начиналась ограда из каменных столбов; приближаясь к саду, она превраща-

лась постепенно в частокол, потом в плетень, который огибал всю часть сада, видневшуюся из деревни.

Попасть на барский, или красный двор, как преимущественно называли его крестьяне, можно было не иначе, как через большие ворота, расположенные посредине ограды, между флигелем и садом. Два каменные столба с карнизами и выступами, частью обвалившимися, обозначали въезд: на верхушке одного из них виднелся еще остов исполинского железного фонаря; макушка другого украшалась только железным шпилем и пучками белесоватой травы, из которой делают метелки для чищенья платья. Здания, окружающие двор, носили также признаки запустения; некоторые были каменные и даже с колоннами; но крыши были большею частью соломенные. Это последнее обстоятельство всегда сильно сокрушало управителя, добродушнейшего и добрейшего старика. В письмах своих к барину он всякий раз упоминал о необходимости употребить сумму на ремонт, но всякий раз получал только изъявление благодарности за усердие и вслед за тем требование о наивозможно скорейшей высылке денег. Ремонт откладывался с году на год.

Самая тенистая часть сада занимала вместе с барским домом всю правую сторону двора. Дом поражал своею огромностью; он был деревянный, в три этажа, с длинными флигелями по бокам, соединявшимися с главным корпусом крытыми галереями, которые подпирались колоннами. Внутренний вид комнат невольно заставлял думать, как, откуда, каким способом деды и прадеды старых фамилий доставали столько денег и как все, что ни строили они, превосходит размерами, прочностью и даже изяществом все, что теперь строится в том же роде... Марьинский дом построен был дедом настоящего владельца, и построен с тем только, чтобы проживать в нем два-три летние месяца; а между тем вы бы нашли тут массивную дубовую лестницу с вычурными точеными балясами, которая одна могла стоить иного современного помещичьего дома; нашли бы дорогие обои с изображением мифологических богинь, гирлянд и храмов, огромные изразцовые печи, покрытые голубыми разводами и украшенные колонками, галереями, впадинами и переходами. Комнаты оставались почти теми же, какими были в то время, когда их отделали: вдоль

стен возвышались полновесные золоченые стулья с овальными спинками, обтянутыми штофом; в углах стояли брюхастые комоды, выложенные бронзой, костью и цветным деревом; резное дерево почти всюду заменяло дешевую лепную работу; в гостиной, устроенной вроде ротонды, окруженной низкими диванами и украшенной высоким камином, до сих пор еще висела люстра с плоскими гранеными стеклышками, с большим хрустальным шаром внизу и голубым фарфоровым столбиком посредине. Зала, оштукатуренная под розовый мрамор, с голубыми колоннами и хорами, проходила через весь дом и занимала его средину; одна дверь отворялась на парадную лестницу, другая в сад. С этой стороны шли вправо и влево маленькие комнаты; тут находились: диванная, образная, боскетная. Густая зелень лип и акаций, заслонившая теперь окна сверху донизу, сообщала всей этой половине мрачный полусвет; иконы, которыми увешаны были стены образной, едва-едва выступали из мрака; кой-где разве, случайно продравшись между листьями, тонкий луч света задевал ризу или дробился в серебряных желобках богато чеканенного оклада. Сквозь маленькие четырехугольные стекла дубового шкапа с трудом можно было различать остатки богатого сервиза, чашки с медальонами, блюда, исполинские кубки богемского стекла с вензелями и крышками. Кое-где на стенах попадались картины, писанные красками и пастелью; последние имели большею частью овальную форму, но все без исключения изображали прадедов в бородах и без бород, в панцирях и шитых кафтанах, или бабушек в шубейках и бисерных глазетовых кокошниках, в фижмах, или опутанных кисеею, с полумесяцем над головою и колчаном за плечами. Всем этим предметам, покрытым пылью и паутиной, стоявшим, висевшим и лежавшим лет семьдесят без употребления, суждено было, наконец, увидеть свет божий. Это случилось в то самое утро, когда Лапша, провожая за околицу дедушку Василья, встретил посланного из города.

В настоящую минуту окна и двери во всем доме были настежь отворены. По всем комнатам бродили бабы с тряпьем и ушатами; дворовые женщины и мужчины бегали взапуски с мочалками и длинными круглыми щетками, весьма похожими на головы, у которых волосы стали вдруг дыбом. В верхних этажах

слышались говор и топот; на внутренних лестницах раздавались торопливые шаги, потрясавшие ступени. К этому примешивался шум нескольких десятков метел и скребков, скобливших давно заросшие садовые дорожки. На дворе происходила такая же точно суета, если еще не больше.

С лицевой стороны дома почти в каждом окне нижнего этажа, сидя или стоя на подоконнике, торчала баба, вооруженная чашкой и мочалкой; человек в жилете, надетом сверх ситцевой рубашки, стоял на высокой лестнице, приставленной к стене, и, макая длинную кисть в ведро, висевшее на веревке, спешно замазывал те части, где проглядывал кирпич; на противоположном конце два мужика страшно стучали молотком, приколачивая ставень. По всем направлениям красного двора бродили растрепанным строем бабы, мужики и ребята с граблями, лопатами и метлами; телега, наполненная сором и щепками, показывала, что она не уступала в деятельности лицам, наполнявшим сад и внутренность дома. Словом, как двор, так и «хоромы» представляли самую оживленную картину, все двигалось и суетилось; работа кипела даже на самых границах двора: чинили плетни, подмазывали фундамент, красили ограду. Последняя работа подвигалась, надо сказать, несравненно медленнее других: сверх того, что ею занимался один только человек, но и этот человек работал с очевидным неудовольствием. Наружность маляра, одетого в истасканный халат и такие же башмаки, сохраняла во все время самый нахмуренный, несообщительный вид; он не столько действовал кистью, сколько ворчал, и не столько красил, сколько сердито тыкал кистью в места, требующие поправки. Это особенно случалось всякий раз, как поблизости раздавался голос управителя или сам он показывался на дворе. Тыканье маляра принимало тогда освирепелый характер, как будто он хотел сказать: «на же тебе! на, на̣, когда так!»

Нельзя сказать, однако, чтоб наружность управителя могла внушать враждебное чувство или даже опасение. Это был маленький сухопарый старичок хлопотливого, озабоченного вида, с маленьким, красным лицом, выражавшим самую безвредную суетливость. Волосы его, обстриженные под гребенку, были белы, как снег; голову держал он несколько набок и носил сережку в левом ухе. Несмотря на глухую деревенскую

жизнь, располагающую к распущенности, никто никогда не видал его иначе, как в синем чистом сюртуке, таком же жилете и галстуке, который он преимущественно носил всегда белого цвета. Никто не слыхал также, чтоб Герасим Афанасьевич (так звали его) употреблял худые слова или вообще вел себя непристойно. Сейчас видно было, что он принадлежал к числу слуг истинно барского дома и был даже одним из самых приближенных. Испытывая на себе постоянно учтивое, ласковое обращение (истинные господа всегда учтивы и ласковы с людьми), такого рода слуги сами невольно делаются учтивыми и приличными. Герасим Афанасьевич переживал уже второе поколение в семействе господ своих. Он представлял совершеннейший тип тех верных, преданных слуг, которые под старость делаются как бы членами барского семейства, добровольно превращаются в нянек, страшно балуют детей и пользуются, по всей справедливости, неограниченным доверием. Если Герасим Афанасьевич не остался в доме, это произошло единственно потому, что старый барин, отец нынешнего, уговорил его уехать на родину покоить старые свои кости.

Управление Марьинским не было сопряжено с большими хлопотами. Марьинское было на оброке; следовательно, дела управителя ограничивались собиранием оброка и отправкою денег в Петербург; с хлебопашенным хозяйством он бы и не справился. В полевых работах Герасим Афанасьевич ни до чего «не доходил», как выражались сами крестьяне. Вся работа его сосредоточивалась на доме; старания его устремлялись к тому только, чтоб дом сохранил по возможности барский вид: «по крайней мере, если спросит проезжий, чей дом, чтоб без стыда можно было сказать; пускай думает: вот, дескать, как настоящие-то господа живут!» Легко представить себе, в какое смущение приводили старика развалившиеся колонны и соломенные крыши; но хлопоты его о поправке всего этого оставались, как уже сказано, бесполезными. Нечего, конечно, и говорить, что старик не помышлял даже о каких-нибудь доходах для себя собственно; он не проживал даже получаемого жалованья – некуда было. Единственными расходами его были: свечка в церковь да семя на чижей и всяких птиц, до которых он был страстный охотник. Нельзя же старому холостяку, да еще деревенскому жителю, существовать без

какой-нибудь привязанности! Вы непременно нашли бы в его комнате во всякое время года до десяти клеток. В настоящую минуту все, однако ж, было забыто – и пташки и клетки. С тех пор как Герасим Афанасьевич находился в Марьинском – этому скоро девять лет, – никто из помещиков ни разу туда не являлся. Теперь вдруг разом все собрались: и барин, и барыня, и дети. Из письма, полученного утром, значилось, что все ехали в деревню провести весну, лето и даже часть осени.

В это утро Герасим Афанасьевич сделал, конечно, более десяти верст, бегая по одному только двору. Седая голова его появлялась почти в одно время во всех окнах огромного дома, и голос его, ободрявший рабочих, неумолкаемо раздавался в саду, в комнатах и во всех концах двора. До приезда оставалось еще два дня, но старик торопился, боясь дождя, который грозил с минуты на минуту оборваться с неба. Появляясь на пороге дома, управитель всякий раз с беспокойством поглядывал на сизые облака и всякий раз, делая вид, будто не замечает крупных капель, которые падали ему на нос, с удвоенною суетливостью обращался к работникам:

– Ну-ка, братцы, не зевай, не зевай! половину уж дела сделали – молодцы!.. Софрон, вон там щепку забыл, подбери поди – нехорошо. Дружней, ребята, дружней! надо убраться до дождя; время и без того мало: дождик пойдет – не успеем.

– И без того уж давно каплет, Герасим Афанасьич, – заметил, оскабляясь, молодой парень.

– Где?.. разве идет? Это так! – подхватил управитель, торопливо снимая пальцем каплю с кончика носа, – а что за беда, если и идет? пускай его! Не сахарные, не растаем. Ну-ка, братцы, полно, полно! Надо так сделать, чтоб заслужить от господ благодарность. Видите, какую они нам честь делают, что к нам едут! Мало ли у них вотчин-то, а небось в Марьинское собрались: это значит, вас любят! Ну, живо! живо!

И Герасим Афанасьевич, чтоб не получить замечания о дожде, который не на шутку начинал падать, поспешно удалился в другую сторону, шел к скотному двору, обходил службу, появлялся в доме или направлялся к старому маляру, который тотчас же принимал мрачный вид и начинал тыкать своим помазком в ре-

шетку. Наконец дождь так усилился, что сам Герасим Афанасьевич убедился в невозможности продолжать работу.

— Ну, братцы, делать нечего; так, знать, богу угодно! — сказал он, снова появляясь на середине двора.— Вот что, ребята, погодите-ка на минуту: бабы пускай идут по домам, а вы постойте; надо нам кой о чем переговорить. Эй, сходи кто-нибудь за теми, которые в саду работают, зови сюда, скорее! — заключил старик, принимаясь почесывать переносицу и расхаживая с озабоченным видом мимо собравшихся в кучу мужиков.

Немного погодя из саду показалась другая толпа, также с граблями и скребками; все обступили полукругом управителя.

— Вот, братцы,— начал он, весело оглядывая присутствовавших,— господа делают нам великую честь, к нам едут. Смотрите же, братцы, держать себя как можно в аккурате: ни пьянства чтоб этого не было, ни шума, ни шалостей никаких; господа этого не любят, оборони помилуй! Вот еще о чем я вам хотел сказать: вот вы теперь молчите, а приедут господа, полезете к ним со всяким вздором — уж это беспременно... это нехорошо, и господам будет не в удовольствие. Так вот что, братцы: если у кого есть теперь просьбы какие, недостатки или жалобы, лучше теперь говорите, потому, главная причина, не надо этим господ беспокоить... Если в чем сам не смогу помочь, не в моей будет власти, скажите только, все равно я господам передам. Вы меня знаете: значит, веру можете дать; уж я этого никак не сделаю, чтоб, примерно, придет кто из вас да скажет: то-то и то-то, а я пошел бы, примерно, к господам да сказал другое... это уж на что хуже! Главная причина, не надо самим вам ходить, не надо господ беспокоить — вот что!

— Знамо не годится, на что ж ходить? Мы сами знаем! — послышалось с разных концов толпы.

— Ну, то-то же! об том и я говорю, братцы, что нехорошо,— подхватил Герасим Афанасьевич, поглаживая ладонью мокрую голову (дождик усиливался с каждой минутой),— так если у кого надобность есть, говорите теперь,— добавил он, отступая шаг и закидывая руки за спину.

С самого начала этой речи несколько мужиков протискались вперед; в числе их особенно бросался в гла-

за долговязый, желтоголовый Морей. С последними словами управителя он неожиданно замахал руками и заговорил скороговоркою:

— Вели крупу отдать, Герасим Афанасьич! Тимофей Лапша взял — не отдает! Я и то господам хотел жаловаться. Спроси у любого — сами нуждаемся; вели отдать.

— Да ты толком говори, не разберешь никак. Какая крупа?

— Лапша, то есть, так прозывается, Лапша взял... самим надобно,— подхватил было Морей, снова одушевляясь, но Герасим Афанасьевич не дослушал его и обратился к лысому Карпу Ивановичу, который в свою очередь выступил вперед:

— Тебе что?..

— Да вот тоже насчет денег, Герасим Афанасьич: взял — не отдает! говорит: «Нстути!» — о Святой еще взял...

— Кто?

— Все тот же Лапша.

— Брат того, который бежал, тот самый! Они все в однова, весь ихний род такой! — вмешался вдруг кузнец Пантелей.

— Эх! Ведь вот вы какие! сами дадите зря, без толку, потом жалуетесь! — произнес управитель, не обратив внимания на замечание кузнеца.— Эй, Лапша! поди-ка, брат, сюда! — промолвил он, отыскивая его глазами.

Из толпы послышался удушливый кашель и вслед за тем выставилась чахлая фигура Тимофея; под дождем она казалась еще плачевнее; с каждым шагом Лапша подгибал колени и с беспокойным ожиданием оглядывался назад; но так как жены его нигде не было и не было даже надежды, чтоб она явилась на выручку, потому что давно ушла домой с бабами, смущение, видимо, одолевало его все более и более; длинные костлявые руки его так сильно дрожали, что он два раза выронил метлу, прежде чем подошел к управителю. Увидя должника, Морей мгновенно пришел в неописанное раздражение и снова было замахал руками, но Герасим Афанасьевич остановил его.

— Как же это ты так, Тимофей? — снисходительно сказал старик,— дожил до того, что все на тебя жалуются? У этого крупу взял — не отдаешь, у этого — деньги...

Лапша прищурился и усиленно приподнял правую бровь.

— Власть ваша...— пробормотал он.

— Какая тут моя власть? Моя власть вот какая: коли взял, отдать надо — вот что! а не то, чтоб доводить до таких неприятностей. Брал ты у них крупу и деньги?

— Брал,— произнес Лапша, роняя метлу в третий раз.

— Ну, так чтоб завтра же было отдано — слышь? Чтоб господа и не слыхали об этом деле — слышь?

— Рады бы... не осилим, Герасим Афанасьич! взять неоткуда! — сказал Лапша, совсем растерявшись.

— Ну, как знаешь, а чтоб долг отдан был до приезда господ! — вымолвил с некоторою досадой старик.— Отчего же другие ведут дела свои исправно, как следует? Отчего же ты один разорился? Оттого, что на печке любишь обжигаться,— вот что! Плохой ты мужик, как погляжу я. Эх! хуже тебя нет во всей вотчине — срам, просто срам — да... лень, да! В тебе все такое-этакое (Герасим Афанасьевич подогнул колени и скорчил жалкую физиономию) — да, такое-этакое... Ничего нет такого-этакого! (Он выпрямился молодцом и закинул назад голову.) Дрянной ты мужичок — вот что! А долги чтоб были отданы до господ — это беспременно!.. Ну, братцы, дождик-то, видно, зарядил не на шутку,— подхватил управитель, обратившись к мужикам, обступившим его с просьбами,— если кому что нужно, приходите завтра утром в контору; теперь сами видите: так и льет. Ступайте домой! А вы куда, голубушки? вы куда собрались? — крикнул он поспешно, направляясь к бабам, которые повалили из дому, как только увидели, что мужики пошли к воротам.

— Мы думали, ты нас отпустил по домам,— бойко сказала востроглазая бабенка, та самая, что так много хлопотала об устройстве хоровода.

— Это ты с чево взяла, голубушка? — возразил Герасим Афанасьевич,— мужики пошли потому, что дождь; а вам разве в доме дождь-то мешает? Ступай-ка, ступай назад!

— Что ж это такое, бабы? Мужиков отпустили, нас нет: чем мы хуже?.. Знамо, дождя нет, а все одно: ра-

бота, чай, та же! – запальчиво крикнула бабенка, размахивая руками.

– Ступай, ступай без разговоров, когда велят! – закричал в свою очередь Герасим Афанасьевич, спеша к подъезду. – Экая эта скверная бабенка! Я вот тебя до завтра заставлю полы мыть, когда так. Всего первая затейница! Эка заноза, право! И для господ-то, и то потрудить себя не хочет!

Сказав это, старик приподнял воротник синего сюртука и поспешил войти с бабами в дом. Дождь полил как из ведра.

Первым делом Лапши, когда он вернулся в избу, было, конечно, рассказать жене обо всем случившемся. Катерина ничего еще не знала о новых жалобах и решении управителя. Беспечность Лапши, который наполнил избу охами и стонами, начал жаловаться на лом в пояснице и кончил тем, что завалился на печку, – окончательно раздражила ее. Никогда не случалось, чтоб она жаловалась на мужа при посторонних; ее удерживало, вероятно, самолюбие, чувство, которое так же сильно у жен крестьянских, как и у всяких других, и заставляет их иногда, наперекор внутреннему убеждению, вступаться и горячо стоять за мужей, вовсе этого не стоящих. Но теперь ничто ее не стесняло· в избе, кроме детей и сумасшедшей Дуни, никого не было; она принялась осыпать его упреками.

– Всякий добрый человек то же скажет! – говорила она, делая очевидные усилия, чтобы не дать волю вскипевшей досаде, – чем охать да жаловаться без толку, шел бы лучше да дело делал! Кто просил денег у Карпа Иваныча? кто ходил за крупою? Разве мы тебя посылали? Сам хотел; сам просил! Лень было у них работы просить! Вот теперь хоть бы у Карпа брат пролежал всю пахоту: что ж ты не сходил к нему, не нанялся?.. Верно, не стал бы он тогда на тебя жаловаться! Всякий человек, в ком совесть есть, заботу о себе имеет, о своей семье; видали ль мы через тебя пользу какую? Вот навяжется этакой, прости господи! весь век с ним бейся да мучься! Точно сердце мое чуяло, когда неволей шла за тебя, точно сердце чуяло, какая моя жизнь будет... Двадцать лет колочусь, как окаянная какая-нибудь, а за что? От одного брата твово вся высохла... Шел бы уж лучше, когда так, оставил бы меня однуё с ребятами... Наказал меня господь, наказал за тяжкие мои прегрешения!..

На все это Тимофей не отвечал ни слова; он недвижно лежал на печке и только жалобами на усиливающуюся боль в пояснице давал иногда знать о своем присутствии. Ребятишки также были очень смирны, зная по опыту, как опасно шутить с матерью, когда она в сердцах. Они тихонько играли у двери и исчезали в сени всякий раз, как требовалось решить спор или начать ссору. Маша, старшая дочь, молча подсобляла матери в работе и казалась скорее задумчивою, чем веселою; даже безумная Дуня как будто понимала всеобщее расстройство: она просидела в углу и, закрыв голову платком, уткнув подбородок в колени, ни разу не подала голоса.

К вечеру только, когда Маша зажгла лучину, а Катерина собрала ужин, изба немножко оживилась. Но и это произошло скорее случайно и притом благодаря совершенно посторонней причине. Ужин приближался уже к концу (что, мимоходом сказать, было очень близко к его началу), когда со стороны околицы неожиданно раздался пронзительный лай собаки. В одно мгновение ока лай подхвачен был всеми собаками Марьинского. Несмотря на шум дождя и глухое завыванье ветра, который усилился к вечеру, слышалось, как вся эта разношерстная стая стремительно бросилась к околице. Улица, погруженная до того времени в тишину невозмутимую, наполнилась вдруг из конца в конец неистовым, освирепелым визгом и воем. Казалось, собаки разрывали кого-то на части.

— Чего они так?! уж не волка ли почуяли? — сказал, покашливая, Лапша.

При таком неожиданном предположении, сделанном Лапшою с тем лишь, чтоб сказать что-нибудь (он не раз уж покушался вызвать жену на разговор), один из маленьких сыновей его и за ним пучеглазый Костюшка быстро ухватились за поняву матери, которая готовилась поставить на стол чашку с квасом; третий мальчик, самый младший, сидевший поодаль от братьев, выпустил из рук ложку, зажмурил глаза, раскрыл рот, затрясся всем телом и вдруг залился воплем.

— Полно, Вася! не плачь! батя так только постращал... это не волк... волки ходят только зимою, — сказал Петя, старший сын, подвигаясь к маленькому брату, чтоб взять его на руки.

— Умник, батюшка, умник! Какие тут волки!

Слышь, что Петя-то говорит... Ну, пусти же, пусти! — заговорила Катерина, стараясь высвободить свою юбку, но вместе с тем боясь пошевелить руками, из опасения опрокинуть чашку на стол, — пусти, говорю, оставь! никакого нет волка... Маша, отыми ты их от меня... того и смотри тюрю всю расплескаешь... Придет же ведь этакое в голову! — заключила она, не взглянув даже на мужа.

— Должно быть, вор... на мельницу пробирается... — произнес Лапша, думая этим поправить свою ошибку.

Но и это предположение оказалось неверным. Посреди визга и лая собак послышалась вдруг глухая заунывная песня, которую тянули несколько голосов.

— Это нищенки! побирушки! — воскликнул Петя, смеясь и оглядывая братьев своих, которые тотчас же умолкли.

Угрюмый, мерный напев делался слышнее и слышнее; вскоре можно даже было различать отрывистые слова песни. Нищие приближались; вместе с ними приближалась и собачья стая. Иногда хор как будто ослабевал и обрывался. Разъяренный визг собак показывал, что певцы принуждены были переносить внимание от голоса к собственным ногам, которые следовало защищать от нападений; немного погодя, однако ж, басистый голос запевалы, гудевший как исполинский шмель, подхватывал с новою силой:

Жил себе сла-а-вен богат человек,
Пил, ел сладко, кормил хорошо.

К нему тотчас же приставали три другие голоса, в числе которых особенно заливался один, дребезжащий, как у козла, и песня шла своим чередом:

Лежит Лазарь, ле-жит весь изра-а-нен,
С убожеством, с немочью...

Обойдя таким образом большую половину деревни, нищие остановились перед избою Лапши; но тут, волей-неволей, они должны были замолкнуть. Волчок, сидевший до тех пор на завалинке, ждавший, вероятно, своей очереди и изредка только присоединявший свой голос к голосам товарищей, которые преследова-

ли нищих, ринулся вдруг со всех ног, и если б который-нибудь из них зазевался, он, без сомнения, вцепился бы ему в икру.

— Эка злющая эта собачонка! — проговорил Лапша, между тем как за окном слышалась брань и яростное хрипенье Волчка, который цеплялся зубами за палки, подставляемые нищими.

Секунду спустя в окне раздался стук, и жалобный слезливый голос прокричал:

— Отцы-милостивцы, подайте милостинку во имя Христово!..

— Вот нашли у кого просить! самим есть нечего! — с горечью произнесла Катерина.

Она собрала, однако ж, со стола несколько корок и подошла к окну.

Заслышав чужой голос, Дуня, продолжавшая сидеть в углу, сорвала платок, который покрывал ее голову, и насторожила слух; но едва только Катерина подняла окно и безумная увидела постороннее, незнакомое лицо, она быстро поднялась с места и спряталась за печку.

— Не взыщите, касатики; больше нетути! — сказала Катерина, подавая корки нищему, который жадно за них ухватился, — сами нуждаемся... Бог подаст!..

— Наши плачут, стало, и ваши не радуются! — заметил козлячий голос.

Катерина готовилась уже захлопнуть окно, как вдруг перед нею выставилось широкое багровое лицо Верстана.

— Чего тебе еще?.. Ведь дали!.. Ступай в другое место; больше у нас нет ничего, — сказала Катерина.

— Пусти, касатка, переночевать; вымокли все! — забасил Верстан, оглядывая быстрыми глазами внутренность избы.

— Где тут с вами возиться! самим тесно!

— Пусти, родная, — пристал Верстан, — мы, пожалуй, не даром: по копеечке с человека положим; нас четверо; пусти только... хлеб свой... деньги хошь сейчас отдадим, коли не веришь...

— Пусти, тетенька, — подхватил козлячий голос, — четыре человека, стало, два гроша — куча хороша!

Тимофей дернул жену за рукав и отвел ее в сторону.

— Вот ведь ты какая! — шепнул он тоном упрека и как бы поддразнивая ее, — сама ругаешься, говоришь: такой я сякой, а сама что делаешь?.. Все через тебя выходит... Четыре копейки дают — не пущаешь... Завтра бы деньги-то Карпу отдал... А все я во всем виноват... То-то же вот и есть! — добавил он с выражением, которое ясно показывало, что он верил в дельность слов своих.

Катерина только плюнула и пошла убирать со стола. Но Лапша не обратил на это внимания. Чтоб окончательно доказать жене несправедливость ее обвинений и показать себя пред нею деловым, заботливым хозяином, он направился к окну и начал даже торговаться с нищими; но так как ему не уступали, и, в сущности, его не столько занимала прибыль, сколько появление новых лиц, беседа с ними и сладкая перспектива высказать им несправедливые гонения судьбы и людей, он тотчас же согласился на все.

— Ну, да полно вам тут, о чем говорить! словами воздуха не наполнишь! Коли пущать, так пущай!.. Дождик идет!.. — нетерпеливо крикнул козлячий голос, и лицо Фуфаева, вымоченное дождем, показалось за плечами Верстана.

— Отгони-ка поди собаку-то... так и рвет, проклятая! — сказал Верстан.

— Сейчас; ступайте к воротам! — возразил Лапша, захлопывая окно.

— Вот ведь всегда так: во всем я помеха, — подхватил он, останавливаясь перед женою и высоко приподымая брови, — и такой я и сякой... а что, кабы не я теперь?..

— Ну, хорошо, хорошо! — с досадою перебила Катерина, поворачиваясь к нему спиной.

— Да, теперь хорошо; то-то же вот и есть! — произнес Лапша с выражением полного сознания собственной правоты своей.

Но в эту самую минуту в воротах раздался страшный стук, и Лапша торопливо заковылял к двери. Минуты три спустя в сенях послышались голоса, шум шагов, и нищие, предводительствуемые хозяином, вошли в избу.

IX
СДЕЛКА

С появлением нищих, которые посреди окружавшего их сумрака принимали вид каких-то пугал, мальчуганы Катерины побросались с лавок и побежали к матери. Только Петя и старшая сестра его, Маша, остались на местах своих; они оглядывали гостей любопытными глазами.

— Здорово, хозяйка! — пробасил Верстан, отряхая мокрую свою шапку.

Вместо ответа Катерина принялась с сердцем кричать на детей, жавшихся у ее понявы.

Фуфаев между тем велел своему мальчику вести его к хозяйке. Положив руку на плечо ребенка, он пошел вперед, оставляя на полу следы воды, которой пропитаны были его лохмотья.

— Чего лезешь? — крикнула Катерина, бросая ухват в угол печки,— чего надо? — подхватила она еще нетерпеливее и сделала движение, чтоб оттолкнуть мальчика, но жалкий, изнеможенный вид Мишки (вожака Фуфаева) обезоружил ее.

— Здравствуй, хозяюшка! — трещал между тем Фуфаев, моргая белыми глазами,— здравствуй со хозяином своим, малыми цецеревятками, со всем домом на многие лета! Дай бог коровкам твоим кажинный день доиться, овцам кажинный день стричься, одежде не изнашиваться, стенам не...

— Ладно, ступай только назад, в сени: там и отряхивайся! — перебила Катерина, сердито оглядывая слепого.

— Это ты насчет воды, касатка, что водой пол вымочил? — подхватил Фуфаев,— ты на это не серчай: вода, слышь, благополучие — право, так! Вот я тебе скажу...

— Оставь, хозяйке не до нас; полно врать-то! — проворчал Верстан, дергая его за рукав,— врал, врал, да и к ужину оставил...

— А то как же без ужина-то? — неожиданно воскликнул Фуфаев.

Он отстранил рукою Мишку, который служил предметом особенного любопытства для Пети; потом ухватился ладонями за колени и принялся отвешивать хозяйке низкие поклоны.

— Хозяюшка, матушка, голубушка! взмилуйся, касатка, дай поужинать! Многого не спросим: что хошь давай — не бросим! — присовокупил он вдруг шутовским тоном, который редко покидал его. — Нам хоть щи, больше не ищи! Не о себе хлопочу, матушка: мне что? А вот с нами сидит богач один, капиталы свои имеет... знамо, богачи уже все набалованные, без ужина никогда не ложатся... Дядя Мизгирь, где ты?..

— Чего тебе, бешеный? чего надо?.. — злобно проворчал старик сквозь беззубые свои десны.

— О нем, примерно, хлопочу, — подхватил Фуфаев, — сама суди, касатушка, как ему без ужина-то быть — а?.. Никаким манером нельзя!.. Ослободи горшки из неволи — за тем пришли... Знамо, касатка, живой человек живое и думает!.. Эх, щами-то как знатно попахивает! — насмешливо заключил он громко, обнюхивая воздух.

Но Катерина обманула ожидания слепого: шутовские выходки Фуфаева, вместо того чтоб смягчить ее, казалось, еще больше ее раздражали.

— Ступай, ступай! Нечего здесь балясничать: не за тем шли совсем, — сурово сказала она, — ведь они ночевать просились, так что ж ты сюда, в избу-то, ввел? — промолвила она, обратившись к мужу, который, с тех пор как ввел нищих в избу, сохранял вид, как будто сам не знал, что делать с гостями, — нам и без чужих тесно! Денег ваших, что сулили, не надобно, только ослободите избу... Ступай с ними в ригу, там и ночуйте... Дай ему, батюшка, палку-то, веди его! — заключила она, повертываясь к вожаку слепого, между тем как Лапша подмигивал Верстану то одним глазом, то другим, давая знать, что жена не в духе и не лучше ли в самом деле уйти в ригу: ведь все равно — от нее теперь ничего не добьешься!

Верстан был с этим совершенно согласен. Нетрудно было смекнуть, что приступить теперь к делу, которое привело его к Лапше, значило бы испортить его наверное; он решился отложить до утра. Несколько слов, сказанных им на своем наречии, подействовали на Фуфаева лучше всяких убеждений; слепой тотчас же замолк и велел Мишке вести его к двери; за ним последовали Верстан, Мизгирь и Лапша. Последний отстал было от них с очевидным намерением сказать

что-то жене, но яростный лай Волчка, раздавшийся в сенях, и крики нищих заставили его поспешно возвратиться к гостям.

Дурное расположение духа не оставляло Катерины во весь остаток вечера. Вернувшись в избу, Лапша слова от нее не добился; он и сам, впрочем, неохотно пускался в объяснения и как будто хотел показать жене, что сердится не на нее; но так как неудовольствие его выражалось подниманием бровей и кашлем, то она мало обращала на него внимания, молча уложила детей, помолилась перед образами и пошла спать вместе с дочерью в клеть, которая отделялась от избы сенями и выходила на двор. Происшествия этого дня были такого рода, что, думая о них, Катерина долго не могла сомкнуть глаз. Этому, надо также сказать, немало способствовал Волчок. С той самой минуты, как нищие ушли в ригу, он не переставал волноваться; ему не сиделось на месте: он то выбегал к задним воротам, то снова возвращался на свое обычное место, свертывался кренделем под телегой и снова без всякой причины летел на задний двор, наполняя стихнувшую окрестность мелким, дребезжащим лаем. Он не угомонился во всю ночь. На заре лай его разбудил Катерину.

Первою мыслью ее, когда она раскрыла глаза, были нищие. Неистовый вой собаки, которая металась, как бешеная, подле риги, дал ей понять, что гости проснулись и, верно, готовятся отправиться в путь. Катерина поспешила предупредить их; она боялась за рубашки, вывешенные накануне на плетне, мимо которого должны были проходить гости. «Кто их знает, какие они! Пройдет, хвать, сунул в мешок — а там ищи поди!» — подумала она, торопливо выходя на задний двор. Она тотчас же успокоилась, однако ж, увидя белье на своем месте; сомнения ее окончательно рассеялись, когда, подойдя ближе к риге, услышала там голос мужа.

— Я бы ништо! — говорил Лапша своим вялым, ленивым, грудным голосом, — вот только с ней, с женой-то, разве не сговоришь никак: коли упрется — ну, ничего и не сделаешь!.. А я бы ништо; у нас ведь их пятеро, совсем одолели!.. Как один-то уйдет, все меньше тесноты будет... С ней вот только, боюсь, не сговоришь никак... Ничего этого в толк не возьмет... Шутка их поить, растить да кормить! — довершил Ти-

мофей таким озабоченным голосом, как будто на нем одном лежали все эти обязанности.

Катерина торопливо перешла на траву, чтоб не так были слышны шаги ее; она приблизилась к риге и притаилась за воротами подле плетня.

— С чего ж ей так-то артачиться? — подхватил Верстан. — Мы парнишку-то не съедим, цел будет! Походит с нами, опять к вам вернется...

Катерина вошла в ригу.

— О чем это вы тут? — спросила она, стараясь скрыть свое негодование.

— Вот... все о Петрушке старик толкует, — сказал, переминаясь, Лапша.

— Ну, так что ж? — сказала она, стискивая губы, начинавшие дрожать от сдавленной досады.

— Полюбился добре нашему товарищу твой паренек! — воскликнул Фуфаев, — сам я не видал, хорош, сказывают... весь в тебя, касатка...

— Да, мальчик знатный! — проговорил Верстан, одобрительно кивая головою.

— Тебе-то что ж? Хорош! Стало, нам лучше; при нас и останется, — быстро возразила Катерина.

— Так-то так; да что тебе в нем? Покудова мал еще, ни в дело, ни в работу, только хлеб ест! — начал нищий. — Слышь, касатка, отпусти-ка ты его с нами. Право-ну!.. всего на год на один... Вишь ведь другие же отпущают! — прибавил он, указывая на бледного, изнуренного Мишку, который стоял, как живой укор родителям, которые отдали его нищим. — Год походит с нами, не понравится — опять к себе возьмешь... Наша жизнь, сама видишь, тяготы большой не имеет... Отдашь на фабрику — хуже измается...

— Жизнь веселая, тетка! — перебил Фуфаев. — Слышь, Лазаря петь выучим! беззаботное житье: ветром покачивает, дождем помачивает, теплом попаривает, как в бане, право слово!

— Не даром прошу, касатка, — подхватил Верстан, сказав на своем наречии несколько слов Фуфаеву, который тотчас же замолк, — знамо, не даром: сколько вот товарищ за своего вожака дал, столько примерно и я дам. По крайности вам хошь польза через него будет; одно — деньги возьмете; другое — хлеба есть не станет...

— Слушай же, что скажу тебе, — воскликнула Катерина, изгибая брови и подходя к нищему с стис-

нутыми кулаками,— коли ты за тем пришел — вон ступай отселева, вон! чтобы духом твоим здесь не пахло, нехристь ты этакой!.. Проваливай! — заключила она, выпрямляясь и нетерпеливо указывая на ворота.

— Да ты послушай прежде, что он скажет-то... вот ты всегда так! — начал плачевно Лапша,— выслушай прежде... тринадцать рублев сулит...

— А хошь бы тысячу, по мне все одно! А ты и обрадовался! — подхватила она, обратившись к мужу с негодующим, блестящим взглядом.— Тринадцать-то рублев дороже, стало, родного детища?.. Долги, говоришь, платить надо, хлеба нету?.. Коли такая уж бедность одолела, что ж ты сам нейдешь наниматься? а? Ступай с ними, иди!.. Я пока не жалуюсь: ребята мои не в тяготу мне, не скучаю ими! Мне этого, что он говорит, ничего этого не надо! Плюю я на его деньги! Пока сила есть во мне, пока руками владаю, будет у нас и хлеб и одежда, какая ни на есть,— все будет!.. Да я за срам-то за один, что ты говоришь мне об этаком деле, не возьму с тебя денег! Ах ты, нехристь, что выдумал! а?.. Словно, право, сердце мое вечор чуяло: недобрые люди пришли... Вон же, когда так! вон, окаянные! чтоб ноги вашей поганой здесь не было!..

— О чем шумишь-то?..— проговорил было Верстан; но Катерина разразилась таким негодованием, что он счел уже лишним продолжать переговоры.

Он снова сказал несколько слов на своем наречии; товарищи его перекинули мешки за спину и приготовились оставить ригу. Но каждый раз, однако ж, когда Катерина обращалась к мужу, Верстан пользовался случаем и подавал ему несколько знаков; он кивал Лапше головою за ригу.

— С чего это ты так, матушка... Господь с тобою! Кажись, ничем тебя не обидели...— сказал он, выходя из ворот, между тем как товарищи его, повинуясь его знаку, направились к лугу, куда выходили сараи.— Я так, примерно, сказал о мальчике, к слову пришлось.. Никто тебя не понуждает... Знамо, твое детище; не отдаешь — силой никто не возьмет...

— Ступай, ступай! одно слово: ступай! — крикнула Катерина, нетерпеливо махнув рукою.

В ту самую минуту, как она обернулась назад, Верстан подал Лапше новый знак и указал ему на луг; тот кивнул головою и медленно поплелся за женою.

Ступив на тропинку, ведущую к задним воротам, Катерина раза два взглянула на луг и покосилась на мужа; но всякий раз Лапша принимался кашлять; лицо его делалось таким плаксивым и жалким, что у нее всякий раз расходилось сердце и остаток гнева, готовый пасть на его голову, ослабевал сам собою. Кашель продолжал душить Лапшу до той минуты, пока жена не исчезла за воротами; он весь тогда как будто даже оживился. Постояв минут пять подле ворот и время от времени посматривая в щели, он вдруг приподнял брови и пустился отхватывать задами по направлению к лугу. У самого последнего сарая, которым оканчивалась деревня, он встретился с нищими; они стояли, подпершись палками, и, как видно, ждали его, потому что лица их были обращены в его сторону.

– Ну уж, брат, баба у тебя! вот так уж баба! – сказал, посмеиваясь, Фуфаев, который узнал Лапшу по его шагу, – настоящим веником выпарила! А я еще жениться сбирался, невесту приискивал; нет, спасибо; закажу другу-недругу!..

– Я ведь вам сказывал, – начал Лапша, – ничего с ней не сделаешь...

– А ты и поддался ей! – грубо перебил Верстан, – уж не говорил бы лучше, не срамился!.. Слышь, добрый человек, полно ты ее слушать-то; отдай парня; отдай, говорю; ты отец – стало, и сын твой; дочь у матери, сын у отца под началом – уж это по закону так водится... Что ты ее слушаешь! знамо, баба пустоголовая, с ветру врет, сама своей пользы не ведает. И то сказать: съедим мы, что ли, парня-то?.. цел останется... Главная причина, деньги возьмешь, долги отдашь... Потакай ей, она пуще тебя запутает; уж мы видим, какая баба: заноза!.. Може статься, и пропалто все через нее... Видано ль дело, чтобы баба такое распоряженье имела?.. Плюнь ты на нее, не слушай! Спасибо скажешь, добрый человек попался, к добру наставил... Деньги возьмешь, долги отдашь... Сам ведь сказывал: нет тебе спокою ни днем, ни ночью.

В короткий промежуток свидания с нищими сегодня утром и накануне Лапша действительно успел уже передать им почти все свои горести. Он, как уже сказано, никогда не пропускал случая жаловаться на горькую судьбу свою; минуты эти были для него луч-

шими во всей его жалкой жизни; он как будто оправдывал тогда сам перед собою свои слабости и, полный чувства собственной правоты, начинал тотчас же бодриться. Обвиняя Катерину, будто она во зло употребляла свою власть, Верстан сильно польстил ему; Лапша не подтверждал обвинений, не бранил жены, но зато каждый раз, как заходила речь о ней, опускал брови, пожимал плечами, подгибал колени и очень охотно принимал вид жертвы.

Но все, что ни говорил Тимофей о горьком своем положении, уже было известно нищим, особенно Верстану. Ясно видно было, что Филипп распоясался накануне за попойкой и, передав им кой-какие подробности о брате, указал вместе с тем, как вернее на него действовать. Старый нищий, надо отдать ему справедливость, ловко пользовался уроком: он то возбуждал в нем бодрость, говорил ему, что он, глава семьи, может распоряжаться сыном как хочет, советовал забрать жену в руки; то начинал пугать его, принимался высчитывать долги его, напоминал ему о приезде господ, сожалел о нем, говорил, что господа, наскучившись жалобами на него, верно сошлют его на поселение. Тринадцать рублей, конечно, деньги небольшие, но они составляли почти половину долга; отдав их, Лапша, без сомнения, спасал себя от половины жалоб – судьба его тогда значительно облегчалась... Так говорил Верстан. Не было сомнения, что старший нищий хлопотал так много совсем не потому, что мальчик полюбился ему или пришелся по вкусу: он о нем мало даже думал; ему было все равно – этот ли, третий, десятый; в нахмуренных, плутоватых глазах его очевидно проглядывало какое-то намерение. Мальчик сам по себе; но он смекнул, видно, с кем имел дело, и убеждал так сильно Тимофея, имея, вероятно, в мыслях воспользоваться его простотою.

В начале разговора Фуфаев часто ввертывал прибаутки, которые для всякого другого, кроме Лапши, служили бы предостережением; но под конец, движимый чувством товарищества и, вероятнее, опасения (несмотря на свои шестьдесят лет, Верстан владел страшною силой; величина кулаков его была соразмерна его исполинскому росту), Фуфаев перешел на сторону нищего и стал ему поддакивать. Под влиянием того же чувства к нему раза два присоединялся и дядя Мизгирь.

— Ну, так как же, добрый человек, по рукам, стало быть? — сказал Верстан, когда убедился, что дело почти сделано.

— По мне хоть сейчас...— возразил Тимофей, молодцевато потряхивая головой и приподнимая брови чуть не до корня волос.

— Ладно. Стало, и разговаривать нечего...

— Так-то так...— начал Лапша и вдруг снова сплюснулся, как пузырь, в котором прокололи дырку.

— Что ж еще?..

— Сумневаюсь... насчет, примерно... как я его теперь выведу, мальчишку-то... Увидит она, ни за что не даст... ничего с ней не сделаешь... Кабы вечером...

— Знамо, не теперь! Знамо, вечером, как стемнеет... к ночи дело будет...

— Ночь матка — все гладко! — подсказал Фуфаев, сделав выразительный жест.

Он ничего не знал о намерениях товарища касательно Лапши; он понял только, что Верстан назначил ночь с тою целью, чтоб приведенному мальчику труднее было найти дорогу в случае, если б он захотел вернуться назад, что, по всем вероятностям, и случится.

— Теперь,— продолжал нищий,— теперь ступай прямо к вашему управителю; возьми вид мальчику, примерно, отпуск такой. Скажи, отдаешь, мол, на жительство либо в работу какую... он даст. Скажи только, к примеру, этак: деньги дают за парня, долги хочу уплатить... Он и то, сказывал ты, стращал тебя... Отказу, стало, не будет... Возьмешь вид (нам без этого опасливо: мало ли какого народу на дороге попадается!), дома мотри ни гугу!.. А вечер придет, смеркнется, возьми его, скажи: «В поле иду...» Мы тебя станем дожидаться. Знаешь лес... как, чай, не знать? Ну, вон, что мимо-то старая черневская дорога проходит! Туда и ступай; там и ждать будем... Аукни только — тут и есть! сейчас откликнемся.

— Вот так уж расписал! Ай да Верстан! Словно язык-то маслом смазали! — заметил Фуфаев.

Верстан, для большей верности, снова привел на память Лапше долги его, постращал его приездом господ, выставил ему на вид ссылку на поселение, коснулся с насмешкою Катерины и так ловко сумел возвысить Лапшу в особенном его мнении, что тот под

конец снова начал молодечествовать. После этого нищий заставил его побожиться, что не обманет, и ударился с ним по рукам.

– Ну, Мишка, радуйся, товарища нашли! – провозгласил Фуфаев, направляя белые зрачки свои к вожаку, который стоял во все это время, подпершись палкой, и робко поглядывал на говоривших. – Веселись, Мишка, пляши! наша, значит, взяла! – подхватил Фуфаев и принялся выделывать какие-то коленца, но Верстан толкнул его, сказав, что время отправляться.

Все трое простились с Лапшою, повторили ему, что станут ждать его в лесу после заката, и поплелись к дороге, которая вилась по лугу и пропадала за рощей. Вскоре и сами они пропали из виду.

Как ни был бодр Лапша, он не пошел, однако ж, домой по улице. Ему нечего было теперь бояться встречи с Мореем и дядей Карпом: он не сегодня, так завтра мог отдать одному крупу, другому – деньги; но Лапша очень основательно рассудил, что встреча с ними будет заключать в себе нечто даже приятное, когда в руках его будут верные средства зажать им рот; возможность зажать им рот, восторжествовать над ними в ту минуту, как они набросятся на него с новыми угрозами, представлялась воображению Тимофея блистательной победой, торжеством над Мореем и Карпом. Настроившись под такой лад, он твердою поступью выступал по задам Марьинского. В болезненных, вялых чертах его проглядывало что-то настойчивое, упрямое, что даже легко было принять за твердую решимость; но у людей слабых упрямство часто с успехом заменяет твердость духа; вооруженные им, они делают иногда чудеса, достойные энергических характеров.

Как бы ни сильна была степень упрямства Лапши, трудно предположить, чтоб оно не разлетелось вдребезги от соприкосновения истинно твердого, энергического духа Катерины. Встреться теперь жена – решительность его верно бы поколебалась; но Катерина не встретилась. Узнав, что она ушла на пруд, Тимофей сделался еще молодцеватее, еще выше приподнял брови. Опасаясь толков, пересудов и подозрений, которые могли возникнуть в случае, если б увидели его, входящего в контору, он рассудил, что лучше будет попасть туда, обогнув барский сад и гумно. Так он и сделал:

он вошел в контору не прежде, как внимательно осмотревшись на все стороны.

Нищий угадал верно: Герасим Афанасьевич не сделал ни малейших затруднений касательно отпуска мальчика. Он не осведомился даже, куда отдают его, полагая, что отец, верно, сыскал ему хорошее место: старого управителя уже радовало, что деньги, вырученные за Петю, избавят господ от жалоб, которыми грозили Морей и Карп. Впрочем, Герасиму Афанасьевичу в настоящую минуту было не до разбирательств, он готовился ехать в город для разных хозяйственных закупок и потому находился в страшной суете.

Пять минут спустя после появления Лапши в контору он вышел оттуда, снабженный запиской, в которой значилось, что «такого-то уезда, такой-то вотчины отпускается мальчик Петр Тимофеев на заработки, сроком на год от нижеписанного числа...» Внизу была конторская печать и подпись управителя.

Но осторожность, соблюдаемая Лапшою при выходе из конторы, оказалась лишнею: едва подошел он к лабиринту клетушек, где помещались дворовые, как его окликнули по имени; он успел только засунуть отпуск за пазуху. Обернувшись в ту сторону, откуда раздался голос, он почти насунулся на молодого белокурого парня, который тотчас же полез с ним целоваться. Суконный жилет с синими стеклянными пуговицами, синий кафтан, сапоги и волосы, зачесанные в скобку, обличали в нем мастерового; но в лице его не было видно ни бойкости, ни самоуверенности, свойственной этому классу народа: круглые, как бы немножко припухшие черты его полны были кроткого, добродушного выражения. На толстых губах его сияла такая полная, такая добрая улыбка, что, взглянув раз на лицо парня, никак нельзя было вообразить его без этой улыбки; она бросалась в глаза прежде носа, глаз и решительно поглощала остальные черты.

— Здравствуй, дядя Тимофей, здравствуй! — радостно заговорил он, снова принимаясь чмокать Лапшу.— А я, признаться, ждал тебя... я ведь видел, как ты в контору шел... Дай, думаю, погожу.

— Здравствуй, Ваня,— произнес тот, плачевно прищуриваясь.— Слышь, не сказывай только об этом... не говори, примерно, что видел меня в конторе; особливо нашим не сказывай, сделай милость такую!.. Ходил, просил управителя, насчет, то есть, нельзя ли

должишки обождать... боюсь, народ болтать начнет... не говори, касатик!

— Зачем говорить! Сказано: не надо — ну, и нечего, стало быть...

— То-то, братец! А то народ-то наш оченно уж стал завистлив... и то поедом съели. Так обнищали! так-то уж нуждаемся... и-и-и!..

— Слышал, слышал! — сказал Ваня, тоскливо качая головой, но не покидая, однако ж, своей улыбки. — Я как только пришел, дядя Тимофей, сейчас о вас спросил: как, примерно, живете, все ли живы-здоровы...

— Ты что ж это из города-то, с оброком, что ли? — рассеянно осведомился Лапша.

— Да, одна статья — оброк; другая статья — хочу просить, чтобы здесь оставили: больно по деревне соскучился... Хоша и нет никого сродственников, а все на своих поглядеть хотел. Уж, кажется, как хорошо было жить! Хозяин добрый, работой не отягощает; мы ведь больше по обойной части — дело не большой тягости и жалованье также хорошее получаем, а все сюда так тебя и тянет. Может статься, господа приедут; попрошусь — здесь оставят, здесь поживу...

— Ну, ну, прощай, Ваня; мне недосуг... есть дело одно... Смотри же не сказывай... особливо, коли наших увидишь. К нам потом заходи, — добавил принужденно Лапша.

— Как же! уж это беспременно! — радостно возразил Иван, причем улыбка его засияла еще пуще прежнего.

Во весь остаток этого утра Тимофей тщательно избегал встречи с женою. Когда время обеда соединило их вместе, усадило за один узенький стол друг против дружки, Тимофей и тогда старался не смотреть на жену; он не переставал кашлять, всячески норовил показать, что ему сильно нездоровится. Беспокойный, встревоженный вид его, точно, легко было принять за нездоровье. Катерину все это мало трогало; она также, казалось, избегала взглядов его и разговоров. Но сколько мрачны и молчаливы были отец с матерью, столько веселы и говорливы были дети; особенно отличалась на этот раз Маша, старшая дочь Катерины. Всегда спокойная и тихая, она теперь на себя была не похожа: с той самой минуты, как отец, возвращаясь домой, сказал ей о приходе Ивана в Марьинское, она

вдруг повеселела. Откуда что взялось у нее: она неумолкаемо смеялась с маленькими братьями, ходила по всему дому, деятельно пособляла матери в хозяйственных хлопотах, причесала и повязала платком голову безумной Дуни, которая в эти два дня совсем почти не была дома; даже теперь, во время обеда, Маша говорила и смеялась больше других; но отец и мать, занятые каждый своими мыслями, не заметили этой внезапной перемены.

Тимофей поднялся с лавки прежде всех; он вышел в огород, прошелся раза два-три взад и вперед по тропинке, вошел потом в ригу и лег на солому. Но ему что-то не спалось: сколько ни ворочался он с боку на бок, сколько ни лежал с закрытыми глазами — сон не являлся. Он снова вернулся в избу и взлез на печку; но и там ему было как-то неловко; то же самое повторилось и на полатях и на лавке; словом, куда ни переходил он, куда ни укладывался — нигде не лежалось. Соскучившись, видно, перекладываться с места на место, взял он шапку и вышел на двор; но ему не стоялось точно так же, видно, как и не лежалось; со двора перешел он в огород, из огорода снова перешел на двор; подойдет к лугу, поглядит-поглядит, потрясет головою и снова идет к дому. В одну из этих прогулок он встретился с Петей.

— Куда ты, батя? — спросил мальчик, взглянув на шапку отца.

При этом вопросе Лапша поперхнулся, и кашель одолел его до того, что он долго потом держался обеими руками за грудь.

— Хотел вот пройти в лес...— сказал он, боязливо поглядывая на стороны,— я чай, теперь, после дождя-то, грибов много...

— Возьми меня с собою! — весело крикнул мальчик, как бы зная вперед, что отказа не будет.

— Ладно... пойдем...— возразил Лапша, сопровождая каждое слово тяжелым покрякиваньем и беспокойными взглядами.— В избе есть кто-нибудь? — примолвил он.

— Нет, ушли все. Мама и Маша пошли к пруду; братья на улице с ребятами.

— Пойдем-ка в избу,— сказал отец, оглядывая мальчика щурившимися глазами,— я чай, одеться надо... шапку возьми... лапти надень...

— Э! мне ничего!.. ведь теперь лето; я и так пой-

ду... Тепло! — крикнул мальчик, засучивая свои штанишки.

Но Лапша, в котором все более и более заметно было смущение, сказал, что они пойдут далеко, что ночь может захватить их на дороге, что росы велики, такие теперь росы, хуже дождя вымочит!

Они вошли в избу. Тимофей стал пособлять ребенку надевать лапти.

— Э-э! — крякнул он неожиданно, опустил вдруг руки и тоскливо замотал головою.

— Что ты, батя?

— Так... что-то все нездоровится... что-то... — произнес Лапша, но снова как будто ободрился и сказал: — пойдем, бери шапку.

— То-то мамка-то подивится, как мы ей грибов-то принесем! — воскликнул Петя, радостно выходя на крылечко, — вот какой ворох навалим ей грибов-то! — подхватил он, подымая худенькую руку на аршин от земли, — слышь, не взять ли нам кузова?

— Нет... мы так... лучше в шапку либо за пазуху...

— Ну, ладно!

И мальчик запрыгал вперед по тропинке, сопровождаемый отцом, который спешил миновать огород и с каждым шагом оглядывался назад.

— Мы, Петя, лучше нашим оврагом пойдем к лесу-то... Тут, знамо, ближе.

— Ну, что ж! пойдем!.. Я, батя, с тобой до смерти люблю ходить! — воскликнул Петя, лицо которого сияло радостью и красноречиво подтверждало слова его. — Ну, что с ребятами-то пойдешь? кричат только, балуются, дерутся... Да и далеко-то в лес не ходят: всё говорят: «Волк! волк!» Я чай, только стращают — а?..

— Знамо, стращают, — рассеянно проговорил отец. — Ты, Петя, если увидишь кого... по дороге идет, ты, мотри, скажи... — прибавил он, ускоряя шаги.

С этой минуты веселые, ласковые глаза мальчика начали с детской заботливостью устремляться во все части широкого луга, который развертывался все шире и шире, по мере того как оба они удалялись от деревни; но никого не заметил мальчик.

— А что, батя, где-то теперь наш дедушка Василий! Я чай, далеко теперь?.. — неожиданно спросил Петя, когда оба очутились на дне глубокого оврага.

— Кто его знает?.. надо быть, далеко...

— То-то добрый старичок какой! уж такой-то до-

брый! такой добрый!.. — простодушно сказал ребенок, — вишь какой образок подарил! ни у кого нет такого... Вечор мамка обшила его холстинкой, на шнурок привесила: «Век, — говорит, — носи! память, — говорит, — от доброго человека!» Я и то буду носить... — самодовольно довершил он, запрятывая образок за пазуху.

Долго шли они оврагом и еще дольше шли полями. С каждым шагом вперед Лапша делался беспокойнее и молчаливее; ребенок, напротив, не переставал скакать и болтать без умолку.

— Где ж, батя, лес-то? — спрашивал он время от времени.

— Не видать еще; скоро будет видно...

Они перешли старую черневскую дорогу; местность пошла скатом, и перед ними открылся лес. Косые лучи солнца, которое клонилось к горизонту, обливали золотым блеском бескрайные поля, сливвшиеся во все стороны; один только лес, изгибавшийся острыми углами и глубокими впадинами, представлялся темным, мрачным пятном посреди сиявшей окрестности. Тимофей и маленький сын его не замедлили достигнуть опушки и вскоре совершенно скрылись из виду.

X

ОТКРЫТИЕ. ПОИСКИ

Светлая майская ночь сменила уже сумерки; небо усеяно было звездами, и окрестность постепенно освещалась серебристым блеском месяца, который всплывал над темным горизонтом, когда Лапша снова очутился на лугу. Первый человек, который увидел его, была та самая востроглазая, тараторливая бабенка, слывшая в Марьинском первой запевалкой и хороводницей. Она выбежала на луг выкликать телку, которая нигде не отыскивалась, и прямехонько налетела на Тимофея.

— Ох! — пронзительно вскрикнула она, откидываясь в сторону; но испуг ее прошел мгновенно, как только всмотрелась она в черты мужика.

— Фу, как ты меня испугал! Я думала, и бог знает кто! — заговорила она, поглядывая на Тимофея, кото-

рого месяц целиком освещал, с головы до ног,— батюшки! да ты никак хмелен? И то хмелен!.. Где это тебя угораздило? — примолвила она со смехом.

Тимофей действительно качался из стороны в сторону; он бессмысленно водил шальными глазами; волосы его торчали в беспорядке; рубашка и ноги были выпачканы грязью; он держался обеими руками за грудь, из которой вырывалось глухое хрипенье.

— Где ж ты это был-то? а?..— подхватила она,— словно леший какой выпачкался, право!.. Что ты? — промолвила она, пристальнее вглядываясь в Тимофея, который вдруг страшно застонал,— что с тобой делается? ась?..

— Расшибся... ох!.. в вертеп упал, расшибся... добре...— слабым, сдавленным голосом произнес Лапша, продолжая водить глазами и покачиваться с ноги на ногу.

Он очевидно был хмелен.

Востроглазая бабенка, надо полагать, совершенно удовольствовалась этим объяснением. Она оглянула его еще раз и пустилась по лугу, покрикивая пискливым голоском: «Пусень! пусень!»

Лапша простоял минуты две на одном месте, страшно распяливая глаза и как бы желая припомнить, где он. Наконец сознание будто возвратилось к нему; он продолжал путь; но не столько, казалось, управляла им мысль, сколько тяжесть туловища, головы и рук, которые сами собою наклонялись к земле и влекли его вперед. Он машинально добрел до своей риги; ворота были заперты; он пытался несколько раз отворить их, но не осилил и повалился у входа лицом к земле.

А между тем в доме у него еще бодрствовали; спали только маленькие дети. Катерина и Маша стояли под уличными воротами; они очевидно ждали чего-то.

— Диковинное дело, право! нейдет, да и полно! — сказала Катерина, в сотый раз выглядывая на улицу.

— Должно быть, с ребятишками убег куда-нибудь... Далеко, может, зашли,— заметила Маша.

— Куда им зайти? Ночь давно... Давно бы прийти пора. Этого никогда не бывало, чтоб малые ребятенки по ночам шлялись,— нетерпеливо возразила мать.

Услыша детские голоса недалеко от околицы, она вышла из-под ворот и, сопровождаемая дочерью, пошла по улице.

— Петруша! — крикнула она. — Петя!

— Я здесь, — отозвался голос.

Катерина ускорила шаг.

— Петя, ты? — спросила она, приближаясь к группе мальчишек.

Это, точно, был Петя, но только не ее сын, а белокурый курносый мальчуган.

— Ума не приложу! — сказала она, обнаруживая на этот раз очевидное беспокойство.

Она медленно возвратилась к избе своей и села на завалинку. Детские голоса стали умолкать; на улице становилось все тише и тише; кое-где слышался говор мужиков и баб, которые сидели подле ворот своих. Месяц поднялся уже выше крыш, и дальняя часть улицы, которая находилась до сих пор в тени, начала озаряться голубоватым светом. Но Петя все еще не являлся.

— Вот так-то: сидишь-сидишь, ждешь-ждешь, и невесть, право, что в голову приходит! — проговорила Катерина с грустным оттенком в голосе. — Уж не пошел ли он на мельницу?.. в воду не упал ли?.. Да нет, пришли бы, сказали... Главная причина, потому больше берет сумненье: больно мальчик-то смирен; нет этого у него, чтоб он баловать стал либо сунулся зря куда ни попало.

— Слышь, матушка, да вон он где! — радостно воскликнула Маша, — не пошел ли он с ребятами в ночную, лошадей стеречь?.. Пойдем, спросим-ка, пока не ушли еще...

Они встали и проворно пошли к околице. Не дойдя еще до конца улицы, они встретили двух мальчиков, которых звала бабушка, сидевшая у избы.

— Ребята, не видали вы, не пошел мой Петрушка с ребятами в ночную?

— Нет.

— Кто же в ночную-то поехал?

— Двое: Костюшка Дорофеев да Васька Кузнецов, только одни и поехали...

— Чай, дядя Степан с ними, — с живостью подхватил один из мальчиков.

— Знамо, с ними; да ведь она про ребят спрашивает...

— Ах ты господи, творец небесный! да где ж он? — произнесла Катерина взволнованным голосом.

— Ты это о чем, касатка? — спросила, подходя к ней, старуха, сидевшая на завалинке и призывавшая мальчиков.

— Да вот, тетушка, парнишка пропал у меня, — начала Катерина, оглядываясь вокруг и прислушиваясь к каждому крику, срывавшемуся время от времени с отдаленных полей, — боюсь, не прилучилось бы чего, невесть куда делся...

— И-и, касатка, чему случиться! Ведь он с отцом ушел, — спокойно возразила старуха.

— Как, с отцом? Когда?

— Да ноне, вечером... Тетка Арина в рощу ходила; идет оттуда, а они идут... Прошли, говорит, лугом-то, да в овраг и схоронились...

— Вишь, матушка, а ты сумневалась! — сказала Маша, — я говорила: ничего!

— Да разве отец-то не привел его? — спросила старуха.

— Он сам не приходил, самого дома нет, — сказала Маша.

— Что ты, касатка? он давно дома; его давно видели! — возразила старуха. — Эй, невестка, а невестка! — крикнула она, обернувшись к избе.

— Ась? — отозвался дребезжащий голос, по которому присутствующие узнали вострoглазую запевалку.

— Ты, никак, говорила, Тимофея, Катеринина мужа, встрела?..

— А что?

— Да вот, говорят, дома его нетуги... С ним парнишка-то его был?..

— Нет, один шел... да добре очень уж хмелен, бормочет невесть что... не разберешь ничего... расшибся, говорит, в вертеп упал... Какой, я чай, должно быть, по дорогам валялся. Нет, парнишки с ним не было...

С последними словами Катерина, волнение которой возрастало с каждой секундой, повернулась к дому и пошла быстрее прежнего. Маша, следовавшая за нею, несколько раз забегала вперед и с удивлением поглядывала на мать: дыхание Катерины было так тяжело и порывисто, что слышалось в десяти шагах. Она не могла дать себе отчета в том, что чувствовала; ей хотелось только более, чем когда-нибудь, увидеть своего Петю. Вопреки ободрительным мыслям, которыми старалась она подкреплять себя, смутное, но тягостное предчувствие чего-то недоброго теснило ее

сердце и волновало кровь. Шаг ее постепенно ускорялся, и, наконец, в некотором расстоянии от избы она бросилась бежать. Минута – и она была в избе; еще минуты довольно было ей, чтоб убедиться, что мужа там не было. Она выбежала на двор и без оглядки пустилась к риге.

Тимофей лежал у ворот в том же положении, как мы его оставили. Надо думать, в первую минуту своего падения в вертеп он не почувствовал, как сильно расшибся; этому способствовал отчасти, может быть, и хмель; и, наконец, в первую минуту ушиба часто не так страдаешь, как после. Боль в груди его, вероятно, только теперь начинала сказываться; он стонал, как умирающий. Подбежав к нему, Катерина оглянулась вокруг; этот взгляд убедил ее, что Петруши здесь не было. При этом она совершенно как будто растерялась, бешено бросилась на мужа и с силою, которая дается в минуты отчаянья, подняла его, как тряпку.

– Где Петя?.. – крикнула она, прислоняя его к воротам, – где Петя?.. – повторила она, вцепляясь ему в рубашку, которая заходила из стороны в сторону вместе с Лапшою; – где... Говори, говори!..

– Матушка... – простонал Тимофей, подгибая колени.

– Где сын? где Петя?.. – снова закричала она, бешено встряхивая его.

Маша бросилась было к матери, думая удержать ее, но та оттолкнула ее и снова приступила к мужу, требуя от него ответа.

– Не знаю... ничего не...

– Врешь, разбойник! тебя видели с ним!.. Говори... говори! задушу!.. – кричала Катерина в каком-то бешеном исступлении.

Рыдания заглушили вдруг голос Тимофея, и он произнес едва внятно:

– Они денег... денег посулили.

– Кто? – вымолвила Катерина, у которой пробежал холод в волосах.

– Нищие...

– Где ж Петя?.. – пробормотала она, опуская руки, которые как будто вдруг отнялись у нее.

– Они увели... силой отняли...

Страшный, раздирающий душу вопль вырвался из груди Катерины; она схватила себя за волосы и вдруг

бросилась бежать, как сумасшедшая, к улице, не переставая кричать на всю деревню:

— Батюшки! парнишку украли! Спасите, родные! помогите! Парнишку увели... силой отняли!.. спасите! увели!..

Крики эти, раздавшиеся еще звонче посреди ночного затишья, мгновенно всполошили баб и мужиков, остававшихся на завалинках; на улице послышались голоса и торопливый шум шагов.

Выбежав на улицу, Катерина вторично вырвалась из рук дочери, которая старалась удержать ее, и прямо кинулась в контору. Ее вопли и крики переполошили точно так же маленькое народонаселение, наполнявшее клетушки дворовых; в один миг все показались в дверях; минуту спустя густая толпа, которую увеличивали прибегавшие с улицы, обступила плачущую навзрыд Машу. Один из первых, который подбежал к ней, был Иван обойщик. Узнав, в чем дело, он тотчас же бросился в контору.

Он застал там двух писарей и еще старика, которые всячески старались втолковать Катерине, что Герасим Афанасьевич в городе и приедет не ранее завтрашнего дня; но она продолжала рыдать и биться; она говорила, что надо послать в погоню за нищими, послать сейчас же: иначе разбойники уведут мальчика на край света; наконец, с помощью Ивана, который более других хлопотал около нее, Катерину кое-как уговорили и вывели на свежий воздух. Она казалась теперь совершенно уже обессилевшею. В один этот час истратила она, по-видимому, всю энергию и силу, которые поддерживали ее целую жизнь. Если б не Иван и Маша, она вряд ли даже могла бы держаться на ногах; голова ее с разбросанными в беспорядке волосами безжизненно свешивалась набок; рыдания разрывали грудь, и потоки слез струились по щекам ее.

Так привели они ее к избе. Во все это время толпа, прибывавшая как из клетушек дворовых, так и с улицы, сопровождала их; отовсюду слышались слова удивленья и соболезнования. У порога избы, где все напоминало сына, горе окончательно как бы сломило Катерину, отняло у нее последние силы. Это было так неожиданно, что Иван и Маша не успели подхватить ее; она упала наземь и голосом, полным страшного отчаянья, стала призывать Петю. Иван, Маша и несколько баб снова принялись уговаривать

ее — все было напрасно: она колотилась головою оземь и кричала, чтоб ей отдали Петю. Иван шепнул тогда несколько слов Маше и пустился стремглав к риге. Немного погодя он вернулся назад, протискался сквозь толпу и припал лицом к лицу Катерины.

— Тетушка, — заговорил он, силясь приподнять ее, — полно! встань, очнись! Чем время-то терять попусту, пойдем-ка лучше искать его... Я знаю, где его оставили... Бог милостив, найдем! Встань, говорю... право, найдем!.. слезами ничего не возьмешь... Пойдем лучше, пока время!..

Она медленно приподняла голову и так же медленно начала в него всматриваться, как бы не хорошо еще понимая слова его. Иван повторил ей свою просьбу; Маша между тем приводила в порядок ее волосы и также старалась уговорить ее. В толпе все разом говорили и махали руками; общий смысл всего этого был тот, что, точно, времени терять нечего, что если пойти теперь, то можно еще легко напасть на след нищих.

Мало-помалу Катерина очнулась.

— Господи! — сказала она, оглядываясь вокруг и осеняя себя крестным знамением, — господи, что это такое?.. Господи! Творец милосердый! — подхватила она, становясь на колени, подымая глаза к ясному, усеянному звездами небу и с горячностью начиная снова креститься. — Господи! спаси его, детище мое ненаглядное! Сотвори, отец небесный, милость мне, грешной! Не дай, господи, пропасть ему у злых людей!.. Отыми, господи, силы мои, отыми хлеб мой, дай только взглянуть на него, моего дитятку!..

Говоря все это, она горько плакала, но уж плакала как-то тихо, как бы боясь оскорбить излишним горем и недоверчивостью всевышнего, которого молила о возвращении сына.

— Ну, пойдем же, тетушка Катерина! — сказал Иван, утирая глаза, что делали и многие другие, находившиеся поблизости, — время терять нечего — пойдем!

Катерина перекрестилась еще раз, покрылась овчинкой, которую принесла Маша, и, сказав: «Господи благослови!» — быстрыми шагами пошла по улице, преследуемая шумной толпою. Приближаясь к околице, она пошла так скоро, что за нею могли поспевать только Иван да Маша, единственные лица изо всей

многочисленной толпы, которых оживляло в этом случае истинное, сердечное участие. Народ, провожавший их, начал мало-помалу отставать. Каждый, прощаясь с ними, считал, однако ж, непременно своею обязанностью высказать им свое мнение и снабдить их советом. Они давно уже миновали луг и, следовательно, ничего не могли слышать, кроме звука собственных шагов; но советы, толки, пересуды и предположения все еще раздавались на улице; наконец все стали расходиться по домам; немного спустя на улице воцарилась такая же тишина, как и в полях, которые серебрил месяц, светивший теперь прямо над деревней.

Но стоило, впрочем, пройти к огороду Тимофея, чтоб убедиться, что в Марьинском не все еще успокоилось. Не нужно даже было тонкого слуха, чтоб услышать с этого места охи и глухие, затаенные вопли. Они выходили из риги; ворота на этот раз были настежь отворены; лунный свет, проходя сквозь многочисленные щели кровли, позволял различать тощую фигуру Лапши, лежащую в дальнем углу. Лицо его было уткнуто в солому, руки раскинуты врозь; иногда он подымал одну из них, сжимал кулак и начинал колотить себя в голову; иногда только глухие стоны высказывали его отчаяние. Время от времени он замолкал вовсе и как бы погружался в горячую думу.

В одну из этих минут, когда становилось опять так тихо, что раздавалось даже ржанье жеребенка с дальних полей, с наружной стороны риги в густых кустах травы послышался как будто шорох. Немного погодя выставилось что-то черное; тень головы неожиданно мелькнула на плетне и скрылась в риге. Несколько времени ничего не было ни видно, ни слышно; наконец мало-помалу подле Тимофея явственно обозначился человек в мохнатой шапке. Секунды три стоял он как бы в нерешительности, осматривался, прислушивался и вдруг пригнулся к Лапше и начал толкать его, нашептывая ему что-то скороговоркою. При первых звуках этого голоса Лапша дрогнул, приподнял голову и прижался спиною к плетню.

— Филипп... брат?..— пробормотал он, цепенея от страха.

— Я! Никого здесь нет? — прошептал Филипп, озираясь на стороны.

— Бога ты не боишься! говорил: не придешь никогда... денег взял...— начал Лапша жалобным, дрожа-

щим голосом, между тем как брат обшаривал углы риги и прислушивался в воротах,— погубил ты нас совсем... мало тебе этого!.. Чего еще хочешь?

— Тсс... молчи! — грубо возразил Филипп, возвращаясь к брату.

Он наклонился к лицу его, ухватил его за плечи и произнес отрывисто:

— Давай деньги!

— Нет у меня ничего.

— А вот поговори у меня! — прошептал сквозь зубы Филипп,— давай деньги, тринадцать рублев, что нищие дали...

При слове «нищие», которое напомнило Лапше все, что произошло в этот вечер, он горько заплакал.

— Молчи! пришибу! — сказал Филипп, быстро озираясь назад,— говорят, деньги давай!

— Да нет же у меня ничего! — начал Лапша, всхлипывая.— Они меня обманули... напоили... охмелел... они парнишку увели... только полтинник дали да три копейки...

— Давай! — произнес Филипп.

— И тех нету,— продолжал Лапша,— и те обронил, как в вертеп свалился... На, ищи пожалуй... Я дома еще не был.

Одной секунды достаточно было разбойнику, чтоб обшарить брата и удостовериться в справедливости слов его. Он разразился в страшных проклятиях и угрозах.

— Ладно же! — шепнул он,— я все узнаю; коли обманул, я ти припомню... Только, значит, и жил — помни это!..

— Провалиться мне на этом месте! отсохни у меня руки, коли не так...— начал было Лапша.

— Ладно,— перебил Филипп,— обо всем разведаю: коли не так, такого «красного петуха»[1] пущу, долго будешь помнить! — заключил он, бросаясь к вороға́м.

Тень его снова мелькнула мимо плетня, трава зашуршукала, и снова стало все так же тихо, как было прежде.

Катерина и молодые ее спутники не теряли между тем времени. К ним присоединился теперь, впрочем, еще четвертый товарищ — Волчок. Он догнал их на

---

[1] Пустить красного петуха, на языке разбойников, значит поджечь. *(Примеч. автора.)*

первой полуверсте – обстоятельство, которое несказанно обрадовало Ивана. От самого Марьинского Иван не умолкал ни на минуту, стараясь всячески успокоить тетку Катерину; и хотя широкая улыбка сияла теперь на губах его точно так же, как и всегда, но ясно уже видно было по его глазам, пожиманью плеч и переминанью, что он исчерпал до дна весь свой запас утешений и приходил в сильное затруднение. Волчок явился как будто затем, чтоб его выручить.

– Вот ведь, тетушка, а я только что о нем думал! – сказал Иван, указывая на собаку, которая прыгала и лизала руку Катерины, – в этаком деле собака лучше всякого товарища. Раз, мне сказывали, мужик на базар поехал, и захвати его метель; бился-бился, сердечный, никак из оврага не вылезет; в овраг попал; совсем уж заметать стало... Что ж ты думаешь? собака спасла! право, собака! Оставила этто она его в овраге-то; туда-сюда рыскать, на деревню и напала; лает, говорят, зовет, не то чтоб кусает, а только знаешь, тащит, примерно, к околице. Смекнули дело: сели на лошадей, поехали... Что ж ты думаешь? Ведь привела! право, привела!

Но Катерину мало, по-видимому, утешал рассказ Ивана, точно так же как все, что ни придумывал он для облегчения ее горя. Все чувства ее души, даже слух и зрение, принадлежали, казалось, одной мысли, которая давила и уничтожала все остальные. Выступая все тем же твердым, торопливым шагом, она не отрывала беспокойных глаз от туманной низменной дали, которая казалась еще глубже при серебристом мерцании лунного света.

Иван не раз пытался применить к делу Волчка; он пускался бежать вперед по дороге, указывал ему пальцем на землю, говорил: «Ищи, тю-тю-тю, ищи!» – но все это без малейшей пользы – потому ли, что следов не было, потому ли, что природа обидела Волчка, отняв у него чутье, потому ли, наконец, что Волчок был голоден, но только он предпочитал рыскать по полям и откапывать мышей, чем обнюхивать дорогу. Вернее всего, что следов не было. Если б Иван имел время долее поговорить с Лапшою, он узнал бы, что следов и быть не могло. Лапша и Петруша шли совсем не по этой дороге: они пробирались к лесу кратким путем, шли целиком, полями. Это обстоятельство было причиною, что наши спутники стали приближаться к цели

своего путешествия уже к исходу ночи. Заря занималась на востоке, когда они увидели лес.

Думала ли Катерина, проходя мимо этого леса столько раз в своей жизни, думала ли она, что вид его пробудит в ее душе столько скорби и терзаний? Нужно было все усердие Ивана, вся любовь Маши, чтобы удержать ее от порывов страшного отчаянья. Она побежала так скоро, что спутники ее, хотя и были вдвое ее моложе, едва поспевали за нею.

Достигнув опушки, она вдруг остановилась; ее точно пугало обширное пространство леса: она боялась крикнуть и не получить отзыва. Иван и Маша обменялись взглядами, которые говорили, чтоб не оставлять ее одной. Не отпуская ее из виду, все трое вошли в чащу, которая тотчас же огласилась криками и ауканьем. Но все безмолвствовало. Только лес уныло гудел, как бы негодуя на ранних посетителей, которые пришли тревожить его от сладкого усыпленья.

Они подвигались все дальше и дальше. Вскоре не стало дерева, которое не слыхало бы несколько раз повторенного имени Петруши. Катерина заглядывала во все кусты, забиралась в самые глухие, непроходимые чащи. Иван и Маша подсобляли ей усердно; даже Волчок помогал им. Раз даже он чуть было не возвратил им надежды, которая начала уже оставлять их. Он вдруг залаял, завилял хвостом и поскакал вперед, обнюхивая траву; у Катерины замерло сердце; она бросилась по следам Волчка, не переставая креститься. Проскакав шагов тридцать, собака остановилась, подняла голову, долго обнюхивая воздух, и возвратилась к Маше: она, очевидно, потеряла след; сколько потом ни бились подле этого места, сколько ни подстрекали ее искать, собака лизала только руки и махала хвостом.

— Матушка, полно! Христос с тобою! Ведь этим не поможешь, хуже только ослабнешь, лучше искать давай,— сказала Маша, наклонясь к матери, которая, рыдая, бросилась на траву.

— Подумай только, тетушка Катерина,— подхватил Иван с неизменной своей улыбкой, хотя ему, конечно, было не до смеху,— подумай, ведь этак сколько у нас время-то проходит! Чем раньше за дело возьмешься, тем вернее... Далеко уйти не могли... найдем еще, может статься... Бог милостив!..

Одна только эта мысль способна была снова под-

крепить ее силы. Она перекрестилась, и они пошли далее.

Лес давным-давно ожил; давно из конца в конец раздавались птичьи хоры; местами в самой глубине его встречались лужайки, которых ярко уже обливало солнце... Они все еще ходили взад и вперед, не переставая кричать и аукать. Все было напрасно! Тогда Маша посоветовала обойти окрестные деревни и особенно те, которые выходили на черневскую старую дорогу. Хотя дорога заброшена, но все еще по ней проходило довольно народу и можно было, расспрашивая встречных, добиться толку. Иван подтвердил эту мысль, и все трое вышли из лесу.

Было уже около полудня, когда они очутились на черневской дороге. Они не пропустили ни одного человека без того, чтоб не расспросить его о нищих — никто не встречал их. В Черневе результат их расспросов был почти тот же: проходил какой-то старик с сумою, стучался под окнами, но только он был без мальчика. Так переходили они из одной деревни в другую, останавливаясь для того лишь, чтоб разведать что-нибудь о мальчике, но не получали даже намека, который мог бы служить им путеводной ниткой. Едва передвигая ноги, измученные, усталые и более того сокрушенные горем, пришли они к ночи в большое село, находившееся верстах в десяти от Марьинского. Насилу могли убедить Катерину, что было бы теперь напрасно продолжать поиски: ночь была темная; густой наволок покрывал небо; едва можно было отличать дорогу от полей. Весь следующий день был проведен точно так же, как и первый; Петя все-таки не отыскивался; он точно в воду канул! Слезы, отчаянье так истомили бедную Катерину, что она не могла уж идти далее. Они вторично остановились ночевать в одной деревне, лежавшей в совершенно противоположной стороне той, в которой ночевали накануне. Переговорив с Машей, Иван решился нанять телегу, чтоб доехать до Марьинского. Чтоб удостоверить мужика, который взялся везти их, что ему заплатят, Иван снял с себя сапоги и кафтан и вручил их в виде задатка. Их смущало одно только: они боялись сопротивления Катерины, которая, верно, потребует продолжения поисков. Они ясно уж видели, что поиски напрасны; но думали, что Катерина рассудит иначе. Все обошлось, однако ж, гораздо спокойнее, чем они

ожидали. К утру Катерина впала в какое-то бесчувствие, по крайней мере ко всему, что совершалось вокруг нее. Она не заметила, казалось, как усадили ее в телегу. Во всю дорогу она не сказала слова и только тихо вздрагивала и крестилась. Раз только овладел ею страшный припадок отчаянья. Это случилось в полуверсте от Марьинского.

Подъезжая к маленькой березовой рощице, за поворотом которой открывалась деревня, ехавшие в тележке услышали голос безумной Дуни. Она лежала, видно, где-нибудь у опушки и, по обыкновению своему, причитала о пропавшем сыне, как о покойнике. Катерина, которая, по-видимому, совсем уже лишилась твердости духа, принялась ей вторить и начала биться, так что Иван и Маша едва могли удержать ее в тележке.

Въезд в Марьинское окончательно испортил дело. Было послеобеденное время, именно то самое время, когда на улице бывает довольно много народу. Как только увидели Ивана и Машу, их тотчас же обступили. Один вопрос был на всех языках:

— Нашли ли Петрушку?..

Напрасно Иван и Маша подавали им знаки, напрасно указывали на Катерину, метавшуюся в беспамятстве, все лезли и расспрашивали о мальчике. Такая же толпа, как два дня назад, обступила теперь избу Лапши, когда остановилась перед нею телега и начали высаживать Катерину. Двадцать рук протянулось, чтобы пособить Ивану и Маше внести бедную бабу в клетушку.

Наконец, помощью соединенных усилий, из которых больше половины были бесполезны и даже мешали делу, потому что так много народа натискалось в сени, что трудно было двигаться, Катерину внесли в клеть и уложили в постель. В самую эту минуту на улице кто-то крикнул:

— Господа едут!

Крик этот подхватили тотчас же тридцать голосов.

— Господа едут! едут! едут! — заговорили все разом, и толпа повалила со всех ног из сеней на улицу.

В клети остались только Иван, Маша и Катерина, которая ничего не слышала, ничего не чувствовала, ничего не понимала и, ломая руки, рыдала как безумная...

Часть вторая

I

ПРИЕЗД

Крики: «Господа едут!», раздавшиеся подле избы Лапши, пробежали с быстротою батального огня по всему Марьинскому.

«Господа едут! едут! едут!» – заговорили разом в каждой избе, на каждом дворе. В ту же секунду по обеим сторонам деревни, на огородах, отделявших избы от сараев, риг и амбаров, показались бабы, ребята, девчонки; они летели со всех ног, опережая друг дружку, перескакивая через гряды, через маленьких зазевавшихся детей, теряя впопыхах головные платки и оставляя на пути коты; все это стремительно неслось в переулки, выходившие на улицу. Иной старичок и старушка, смиренно работавшие где-нибудь на задворке, видя, что все бегут и кричат, оставляли работу и направлялись к избам; узнав, в чем дело, они оживлялись не хуже молодых и спешили пробраться к воротам.

Такая же суматоха, если не больше, происходила в тесном лабиринте, где помещалась дворня. Мужики и бабы – люди отдаленные от господ; в какой одежде ни явись они перед ними – все равно: с них не взыщется. Дворня – дело совсем другого рода: это сословие, уж некоторым образом посвященное в тайны приличия и галантерейности. Какой-нибудь Агап Акишев, назначенный управителем для исправления должности лакея и в свободное время занимающийся портняжным ремеслом, понимал очень хорошо, что невозможно ему выбежать встречать господ в прорванной на локтях рубашке с мотком ниток в руке и сапогах, из которых выглядывали пальцы. И так как марьинские дворовые, подобно вообще всем дворовым, были большею частью люди мастеровые, ремесленные и так как в настоящее утро каждый сидел за своим делом, предоставляю вам судить, как завозились они, когда раздался крик: «Господа едут!» Старухи страшно застучали сундучками, хранившими чистые головные платки; мужчины забегали как угорелые с жилетом в одной руке, с галстуком в другой, в каждой клетушке сильно сшибались в дверях и стукались головами.

Посреди всей этой суматохи нашелся, однако ж, молодой человек, который вспомнил об управителе. Воодушевленный блистательным случаем прислужиться начальнику, он полетел в контору с быстротою стрелы, пущенной из лука, и на пути он сшиб с ног какую-то старуху Макрину Дементьевну... Дело известное: предприимчивые люди, стремящиеся к верной цели, всегда идут напролом и ни перед чем не останавливаются: он перескочил только через старуху, и не успела она крикнуть, как он был уже в конторе.

Герасим Афанасьевич, заключенный в своей комнате, глядевшей окнами на красный двор, ничего не подозревал из того, что совершалось в Марьинском. Он только что разложил кулечки с гвоздями и свечами, привезенными из города. В числе этих покупок сверток с конопляным семенем, предназначавшимся для чижиков, которые громко распевали в комнате, особенно привлек внимание старика. Отвернув угол свертка, Герасим Афанасьевич готовился уже засыпать корм в первую клетку, когда вбежал услужливый молодой человек.

— Герасим Афанасьевич, господа едут! господа едут! — крикнул он, как бы выстреливая из ружья.

При этом известии старик засуетился, как шутиха, к которой приложили огонь.

— Сюртук! сюртук! — мог только проговорить он, метаясь по комнате и впопыхах не отличая окон от дверей. — Сюртук! сюртук! — подхватил он, продолжая бегать и не замечая, что держал вверх ногами сверток с семенем, которое било каскадом на его сапоги и панталоны.

Молодой человек отцепил между тем сюртук и ходил за начальником, стараясь стать к нему лицом, чтобы врезать черты свои в его памяти; но Герасим Афанасьевич упорно поворачивался к нему спиною, совал без толку руки вправо и влево и твердил только: «сюртук!.. сюртук!..» Наконец сюртук очутился на плечах его; в то же мгновение, не разобрав даже, кто говорил с ним, старик прыснул из конторы в переулок, оттуда на двор, оттуда к воротам. Тут только заметил он, что сверток, заключавший в себе семя, все еще находился в руках его; он проворно затоптал его ногами, оглянул двор, обдернул сюртук и выбежал за ворота.

Обе стороны улицы, как пестрым ковром, убраны

были народом. Можно было головою ручаться, что из тысячи глаз, здесь находившихся, не было ни одного, который бы не устремлялся на дорогу, спускавшуюся к околице. Два экипажа быстро подвигались в облаке пыли. Первый экипаж был обширный дормез, запряженный шестернею, с форейтором.

Подъехав к околице, форейтор, рослый детина из ямщиков уездного города, надвинул набок шапку, приосанился, как бы ввинтился в седло и замахал кнутом; но напрасно молодцевал он: никто даже не взглянул на него — все смотрели на экипаж, заключавший в себе господ. Верх дормеза был откинут. На почетном месте сидела молоденькая красивая дама в соломенной шляпе и темном шелковом капоте, на котором четко обрисовывалось шитье воротничка и манжеток; в руках ее, обтянутых свежими цветными перчатками, находилась легонькая омбрелька, открывавшая, впрочем, совершенно лицо барыни, которая, очевидно, хотела, чтоб ее видели. Подле нее помещался ее муж, господин лет тридцати пяти, с белокурым круглым добродушным лицом; костюм его, за исключением пастушеской серой шляпы, мало чем отличался от туалета людей порядочного круга, ведущих дачную петербургскую жизнь. Против него вертелась, как бы сидя на иголках, гувернантка-француженка с орлиным носом, похожим на флюгер, с черными синеватыми волосами, причесанными так круто, что розовая шляпка ее поминутно съезжала назад; затянутая в струнку, она сохраняла такой вид, как будто готовилась играть на фортепиано перед многочисленным собранием. Подле гувернантки и против дамы стояла, держась за дверцы экипажа, хорошенькая белокурая девочка, одетая с необыкновенным вкусом; но более всего, казалось, занимала крестьян ее огромная широкополая соломенная шляпа, украшенная яркими лентами, концы которых развевались по воздуху.

Миновав первые две-три избы, форейтор гикнул и пустил вскачь; но барин тотчас же приказал остановить и ехать шагом. Он находился, по-видимому, в отличнейшем расположении духа; в каждой черте его доброго круглого лица проглядывала наивная, простодушная радость, которая показывала в нем человека впечатлительного и, сверх того, не слишком озабоченного тягостною стороною жизни. Выставившись немножко вперед, он кланялся направо и налево; но гла-

за его преимущественно, кажется, останавливались на седых головах, и он не переставал покрикивать: «Здорово, старик! здорово, старик!» Жена его посылала также привстливые знаки народу и улыбалась; она поминутно говорила дочери: «Mais saluez donc, Mery, mais saluez donc!» [1] – хотя шляпа девочки и без того наклонялась во все стороны. Гувернантка, которая при въезде в околицу сбросила с себя мантилью, для того, вероятно, чтоб поразить русский народ гибкостью и тонкостью своего стана, ласково щурила глаза, кивала головою и произносила с необычайной быстротою: «Здрасти́! здрасти́, батушка́!» Во всем этом поезде один лишь ямщик-форейтор да еще камердинер, сидевший на козлах, и горничная, сидевшая на запятках, сохраняли свое равнодушие; последние проникнуты даже были каким-то надменным внутренним достоинством, которое решительно ничем не оправдывалось. Что ж касается до повара, другого лакея и другой горничной, сидевших во втором экипаже, они только шептались, посмеивались и вовсе даже не смотрели на народ, который валил по обеим сторонам дормеза.

– Вот и дом наконец! Voici le château! [2] – сказал помещик, указывая глазами на старинное здание, которое начинало показываться из-за флигеля.

– Oh! mais c'est charmant! [3] Я в совершенном восхищении!.. Я не знаю, может быть, это потому, что я первый раз в деревне, но все это мне чрезвычайно нравится, – возразила жена его по-французски. – Я понимаю теперь, что можно в самом деле находить большое удовольствие в сельской жизни, далеко от шумного, душного города... L'air qu'on y respire... mais saluez donc, Mery, saluez donc... [4]

– Здравствуй, старик! здорово, старик! – говорил муж, продолжая кланяться. – Очень рад, друг мой, что ты поверила, наконец, прелестям этой простой жизни... Пожалуйста, братцы, не подходите так близко, особенно детей не подпускайте: как раз под колесо попадут, – подхватил он, заботливо обратившись к поселянам, жавшимся подле экипажа. – А! вот посмотри,

---

[1] Да поклонитесь же, Мери, поклонитесь же! *(фр.)*

[2] Вот усадьба! *(фр.)*

[3] О, да это очаровательно! *(фр.)*

[4] Воздух, которым здесь дышишь... да поклонитесь же, Мери, поклонитесь же... *(фр.)*

Alexandrine[1], посмотри... — заговорил он опять по-французски и указал жене на старого управителя, который дожидался подле ворот, — вот наш старый, добрый наш Герасим...

— Tiens, quel drôle de nom: Karassin! Karassin![2] — произнесла француженка, раскрывая удивленные глаза.

Помещик, его жена и даже дочка засмеялись; но мысль, что смех может быть растолкован окружающими в обидную сторону, возвратила тотчас же на лица супругов спокойное выражение. Сделав полукруг, дормез с грохотом въехал в ворота.

— Здравствуй, Герасим. Все ли благополучно? — крикнул помещик.

— Все, сударь, слава богу! С приездом честь имею поздравить! — возразил Герасим Афанасьевич, пускаясь вдогонку за экипажем, но в ту же секунду откинулся назад и устремился к воротам, чтоб удержать народ, ломившийся на двор. Ворота были тотчас же заперты, но в тот же миг вся задняя часть решетки усеялась головами и руками; послышался даже местами легкий треск, болезненно отозвавшийся в сердце управителя; но ему было не до разбирательств: он спешил предупредить дворню, которая бежала к парадному крыльцу и теснилась вокруг экипажей.

Выйдя из дормеза, помещик, его жена, дочь и гувернантка шагу не могли ступить — так дружно осадила их дворня; особенно мешал им двигаться вперед какой-то мальчик в белой рубашонке, с белыми, как снег, волосами, торчавшими щеткой, и красным, как мак, лицом, усеянным веснушками; он совался им под ноги, неожиданно вырастал то с одного бока, то с другого, яростно порывался вперед каждый раз, как затирали его в толпе, и с каким-то свирепым азартом бросался в двадцатый раз целовать руки господам своим. Помещики решительно уже не знали, куда деваться от тесноты, жары и более всего от преследований краснолицего мальчика; им совестно было обидеть дворню, и они продолжали приветливо улыбаться, но делали это уже против воли, особенно помещица, на которую с особенным усердием нападал краснолицый мальчик; к счастью, скоро подоспел на выручку Герасим Афанасьевич.

---

[1] Александрина *(фр.)*.

[2] Какое забавное имя: Карасен! Карасен! *(фр.)*

— Здравствуй, мой милый... здравствуй, Герасим. Все ли у вас благополучно?.. Здравствуйте... хорошо.. хорошо... — повторял помещик, целуясь с дворовыми, напиравшими все сильнее и сильнее.

— J'étouffe! [1] — крикнула гувернантка.

— Здравствуйте, сударь... С приездом честь имею.. поздравить... — подхватил управитель, не переставая укоризненно кивать головою людям, которые лезли вперед. — Наконец-то, сударыня Александра Константиновна, дождались мы вас... Пожалуйте ручку, сударыня... — довершил он, протискиваясь вперед и подхватывая руку помещицы. Но в ту самую секунду, как он готовился приложить губы к перчатке, откуда ни возьмись снова вынырнул мальчик, схватил руку барыни и припал к ней.

— Что это за ребенок? — спросила Александра Константиновна, обращаясь к управителю, который украдкою толкнул мальчика ногою.

— А это, сударыня, внучек мой... внучек, сударыня, — умиленно повторила Макрина Дементьевна, та самая, которую сшиб с ног молодой человек, бежавший в контору, — радуется, сударыня, приезду вашему... целые три дня все об этом... Целуй ручки, глупый; скажи: пожалуйте, мол, сударыня, ручку.

— Ну, друзья мои! — воскликнул неожиданно помещик, появляясь подле жены и простирая руки, — я, к сожалению, не могу перецеловаться со всеми вами, но все равно, я за всех вас поцелую Герасима Афанасьевича: это все равно... Здравствуй, старик! — заключил он с некоторою торжественностью и обнял управителя, который горячо припал к плечу его. После этого помещик подал руку жене и поднялся на парадное крыльцо, сопровождаемый дочкой, которую нес камердинер, и гувернанткой, которая обдергивала платье и поправляла свою розовую шляпку. За ними, кроме двух горничных и лакея, вошел в дом один только Герасим Афанасьевич.

Первые минуты были исключительно посвящены осмотру комнат старинного дома. По мере того как Сергей Васильевич Белицын (так звали владетеля Марьинского) подвигался вперед, приятное расположение духа заметно овладевало им сильнее. Нельзя сказать, чтоб он слишком был занят своим происхо-

---

[1] Я задыхаюсь! *(фр.)*

ждением, тем не менее, однако ж, прогуливаясь по комнатам родового дома, он чувствовал себя как-то веселее, чем в своей петербургской *квартире*, очень, впрочем, хорошей квартире, помещавшейся в бельэтаже аристократического дома. Сергей Васильевич, все еще ведя жену под руку, преимущественно останавливался перед портретами предков.

— Вот это бабушка Анисья Тимофеевна,— говорил он с улыбкой, которая достаточно свидетельствовала о приятном настроении души его,— а это... это дед Нил Васильевич Белицын, знаменитый умом своим, проницательностью и вместе с тем эксцентрическими своими выходками... словом, это тот самый, который, помнишь, я говорил тебе, подписывал всегда свои письма: «слабый во всех частях старик»; но почему слабый — этого до сих пор никто понять не может. А! вот и прабабушка Лизавета Ниловна, дочь Нила Васильевича, жена Степана Степаныча, которая всякий раз, как уезжала куда-нибудь, запирала бедного своего мужа в спальню... А вот и воевода Белицын... Mery, viens voir ton grand-grand oncle le voyevode!..[1]

— Oh Dieu, quelle barbe![2] — воскликнула гувернантка, становясь с Мери перед портретом воеводы и содрогаясь, как должна была содрогаться Андромеда при виде чудовища.

Сергей Васильевич и Александра Константиновна добродушно засмеялись и продолжали переходить от одного знаменитого предка к другому; причем всякий раз в голубых глазах Белицына засвечивался какой-то ласковый пламень, нижняя губа слегка выставлялась вперед и стан выпрямлялся. Александра Константиновна была также очень весела и довольна; но радость ее не столько, казалось, возбуждали изображения предков, сколько вид старинной мебели, о которой мы упоминали выше.

— Mais c'est superbe![3] — говорила она, останавливаясь перед каким-нибудь брюхастым комодом en marquetterie[4] с бронзовыми вычурными ручками, во вку-

---

[1] Мери, посмотри на твоего двоюродного прадедушку воеводу!.. *(фр.)*
[2] Боже мой, какая борода! *(фр.)*
[3] Да это превосходно! *(фр.)*
[4] С инкрустациями *(фр.)*.

се Помпадур, – c'est magnifique!..[1] Как же ты, Serge[2], никогда ничего не говорил мне об этом?..

– Я сам ничего этого не подозревал... знал, что есть что-то такое, но все это носилось передо мною в каком-то тумане; я думал, так себе, старый дом, и больше ничего... Так, стало быть, тебе все это нравится?..

– Еще бы! Mais c'est du meilleur goût![3] Это оправдывается тем, что теперь снова возвращаются к этому вкусу... Помнишь, прошлого года мы заказали Туру такой же точно комод Помпадур для гостиной? Что если бы мы знали, что в Марьинском хранятся такие сокровища?.. Стоило только послать привезти... Надо будет, однако ж, непременно это сделать. Жаль видеть здесь такие вещи; c'est un sacrilège![4] они сто́ят, чтоб ими любоваться. Мы непременно сделаем выбор и увезем все это в Петербург: notre salon sera vraiment magnifique![5]

– Да, наши деды умели жить! – возразил Сергей Васильевич, – это были настоящие grand-seigneurs[6]. Не забудь, Alexandrine, что весь этот дом со всем, что ты здесь видишь, выражает только каприз дедушки Нила Васильевича. Когда он объезжал как-то именья свои, ему понравилось Марьинское; он велел построить дом, и после этого в какие-нибудь два-три года он приезжал сюда провести много-много один летний месяц... Впрочем, надо тебе сказать: у Нила Васильевича было тогда девять тысяч душ, что по тогдашнему образу жизни значило то же, если б иметь теперь двадцать тысяч душ!..

Александра Константиновна приказывала управителю снимать чехлы с каждого дивана, с каждого стула. Фарфор, хранившийся в старинном шкапу, был также подвержен внимательному осмотру. Она мысленно как будто переносила все это в петербургскую гостиную, придумывала каждой вещи соответственное место и заранее любовалась общим эффектом. Гостиная ее и без того была очень хороша и стоила много денег, больше даже, чем бы следовало. Но свет уж так

---

[1] Это великолепно!.. *(фр.)*
[2] Серж *(фр.)*.
[3] Да это в превосходнейшем вкусе! *(фр.)*
[4] Это святотатство! *(фр.)*
[5] Наша гостиная будет поистине великолепна! *(фр.)*
[6] Вельможи *(фр.)*.

устроен, что в домах, где находится парадная лестница с ковром, каминами, с boiseries[1] и швейцаром, парадные комнаты, и особенно гостиная, никогда не могут быть достаточно великолепны. Дело в том, что, как ни великолепна ваша гостиная, всегда найдется другая в Петербурге, которая еще великолепнее; никак не угонишься! В этой скачке с препятствиями к цели, которой никогда не достигнешь, заключается, может быть, тайна исчезновения многих семейств из Петербурга в деревню. Не поручусь, что появление в Марьинское... Но, впрочем, какое нам до этого дело? мы радуемся приезду Белицыных ничуть не меньше Герасима Афанасьевича.

Белицыны распорядились как нельзя лучше касательно помещения. Принимая в соображение летнее время и наступающие жары, они выбрали комнаты, выходившие в сад и защищенные круглый день деревьями от лучей солнца. Полукруглая спальня, разделенная пополам решетчатым альковом, боскетная и диванная поступили во владение Александры Константиновны; туда тотчас же перенесены были чемоданы, ящики и картонки; комнатка подле спальни, служившая в старые годы будуаром, назначена была Мери; гувернантке дали две комнаты наверху.

— Ну, mesdames[2], теперь прощайте! — весело сказал Сергей Васильевич, — что до меня касается, я помещаюсь в комнатах, которые занимал дедушка Нил Васильич; его кабинет будет моим кабинетом. Дело в том, что сколько дед ни был grand-seigneur[3], он очень исправно занимался делами: я хочу последовать его примеру... Кроме этого, тебе, Alexandrine, предстоит еще та выгода, что весь этот народ, который будет ходить по комнате, вся эта возня — потому что я решительно сам лично хочу заняться делами — все это не будет тебя беспокоить.

— Вот это мне нравится! — смеясь, перебила Белицына. — Неужели ты думаешь, что я приехала в деревню для того только, чтоб рвать незабудки и нюхать ландыши? Извините-с, я также намерена заниматься делами...

---

[1] С резьбой по дереву *(фр.)*.
[2] Сударыни *(фр.)*.
[3] Вельможей *(фр.)*.

— Bravo![1] — с комическою восторженностью воскликнул супруг, — ну и прекрасно! посмотрим...

— Увидим: rira mieux, qui rira le dernier!..[2]

Войдя в кабинет — довольно мрачную комнату, где камердинер успел уже разложить несессер и все необходимое для перемены туалета, Сергей Васильевич позаботился прежде всего, чтоб поставили на стол чернильницу, бумагу, счеты — словом, все нужное для письма и деловых занятий. Если верить Лафатеру, в наружности Сергея Васильевича решительно не было знака, который бы мог обличить натуру особенно восприимчивую и деятельную; но, надо полагать, он был одарен необыкновенно живым воображением. Приняв намерение лично заняться своими делами, он так сильно порывался к деятельности, что ему не сиделось на месте; десятки проектов, один другого новее, один другого сложнее, касательно преобразований в Марьинском по части хозяйства возникали в голове его. Так как в настоящую минуту не было никакой возможности приступить к делу, то он начал прогуливаться по большой зале. Герасим Афанасьевич следовал за ним в почтительном расстоянии, с руками, заложенными за спину. Замечательно было в этой прогулке, что большие пальцы на руках управителя вертелись один вокруг другого с неуловимою быстротою.

— Спасибо, спасибо, мой милый! — говорил Белицын, — я очень доволен порядком, который нашел в доме... Спасибо также, что ты сохранил мне старую эту мебель: она очень понравилась Александре Константиновне. Я, признаться, думал найти эти стены гораздо старее, чем они есть. Шутка! вот скоро восемьдесят лет, как они воздвигнуты! Скажи, пожалуйста, Герасим, а эти службы... неужто они одного времени с домом? быть не может! — промолвил он, останавливаясь у окна и указывая на амбары, крытые соломой.

— Все единственно, сударь, в одно время с домом...

— Отчего ж они смотрят такими развалинами... Это, братец, никак нельзя так оставить, это нехорошо...

---

[1] Браво! *(фр.)*

[2] Смеется тот, кто смеется последним!.. *(фр.)*

– Что ж хорошего, сударь? совсем нехорошо! Я вот об этих самых строениях имел честь вам письменно докладывать: ремонт требуется...

– Хорошо, ты завтра напомни мне об этом... Впрочем, я думаю совсем снести их отсюда; им здесь вовсе не место: они только двор стесняют, который и без того очень мал... Мне это тотчас же бросилось в глаза. Что там находится, за этими скверными амбарами?

– Там, сударь, помещаются дворовые...

– Их точно так же надо будет переселить в другое место... Я, главное, хочу, чтоб двор... двор был как можно шире, просторнее. Мне хочется разбить все это место в виде английского сада: везде клумбы, дорожки,– проговорил Сергей Васильевич, простирая кисть правой руки и как бы мысленно усыпая двор дорожками и клумбами,– ну, а там что, за помещением дворовых?

– Там, сударь, фруктовый сад, больше все яблони...

– Жаль, о-очень жаль!.. Впрочем, что ж! можно и его перевести... Все зависит от того, приносит ли он какую-нибудь пользу, доход?

– Как же, сударь, мы всякий год продаем его... цена не всегда верная: иной год ходит за восемьсот, другой больше; бывают годы, продаем за тысячу...

– Серебром?

– Нет-с, на ассигнации.

– Что ж так дешево?

– Также и в этой статье, сударь, ремонт требуется... С тех пор как помереть изволили покойный ваш папенька, ни одной яблони не было подсажено... я уж имел честь письменно докладывать вам об этом...

– Да... помню, помню... Ну, что ж делать? В таком случае сад надо будет оставить. Вообще все, что приносит пользу, доход – все останется на своем месте неприкосновенным. Восемьсот рублей, конечно, небольшие деньги, но в общем обороте, в общем доходе по хозяйству это весьма важная статья... Двор упрется, следовательно, в сад, который можно будет с этой стороны оградить какой-нибудь красивой решеткой; снесутся, следовательно, только амбары и жилья дворовых.

Герасим осведомился о том, куда Сергей Васильевич намерен снести амбары; но Сергей Васильевич

сам пока не знал ничего об этом. Амбары, по мнению молодого помещика, могли занять место гумна, потому что гумно было слишком близко к дому, или вообще могли перенестись куда-нибудь в другое место. Гумно можно было расположить там, где находились теперь огороды дворовых, или вообще куда-нибудь в другое место. Огороды можно было раскинуть подле крестьянских огородов; а если там не позволяло пространство, то все равно перенести их куда-нибудь в другое место.

— Я вообще намерен здесь сделать много перемен, много преобразований,— сказал Сергей Васильевич.— Жене очень понравилось Марьинское, мне также. Мы, вероятно, будем каждый год проводить здесь несколько месяцев, и потому мне хочется придать всему этому некоторый вид... Пожалуйста, приготовь мне все бумаги: списки, счеты, расчеты; приведи все это в порядок и завтра же утром принеси мне: мы с завтрашнего же утра займемся с тобою всем этим.

Сказав это, Белицын пошел одеваться к обеду.

Намерение Сергея Васильевича заняться делами было похвально в высшей степени. Он совершенно доверял Герасиму, этому старому слуге, который тридцать пять лет пользовался доверием покойного отца его. Но ему хотелось лично вникнуть в дела, частью потому, что этого требовало его положение как помещика, частью чтоб выяснить себе, как могло случиться, что при порядочном числе душ он вечно сидел без денег. Сергей Васильевич мог бы несравненно легче объяснить себе тайну этого действительно странного обстоятельства в Петербурге, чем в деревне; но человек так уж, видно, сотворен, что любопытство его жадно стремится к отдаленным вопросам и сохраняет полное равнодушие к тому, что совершается у него под носом. Впрочем, это все равно: вникая в дела Марьинского, он мог с успехом удовлетворить своему любопытству: счеты, списки, приходы и расходы должны были убедить Сергея Васильевича, что он проживал больше, чем получал доходов.

В пятом часу все члены семейства и гувернантка явились в большую залу, где был накрыт стол. Летнее платье из светло-розовой тафты необычайно шло к легкому стану Александры Константиновны; маленький чепчик на голове ее был просто загляденье! Мери казалась еще миловиднее без шляпки, в клетча-

той юбке с голенькими икрами; рост mademoiselle Louise[1] значительно выигрывал от ботинок с каблуками, и смуглый цвет ее кожи казался белее благодаря черному атласному платью. Сергей Васильевич только выбрился и переменил белье: жакетка на нем была та же, что и в дороге, но зато камердинер и другой привезенный лакей были во фраках, белых жилетах и перчатках.

Обед прошел как нельзя веселее. Приключения дороги, благополучное окончание путешествия, новые места, новые впечатления – все служило пищею для оживления беседы. Очень много также смеялись над именем Karassin, которое дала гувернантка управителю; тут же решено было звать его не иначе, как этим именем. Немалым поводом к веселости служили также Агап и Акишев и еще другой лакей, назначенные управителем к службе за столом. Два раза в поспешности своей они стукнулись лбами в дверях, стремительно бросались вперед при каждом звуке голоса господ и, становясь за стульями, так страшно выкатывали глаза, что можно было думать, оба питали злостное намерение истребить блюда, появлявшиеся на столе.

Обед приближался уже к концу, как вдруг из прихожей раздались дикие и пронзительные крики. Это было так неожиданно, что присутствующие дрогнули; гувернантка схватилась за спинку стула; Мери бросилась к матери; Александра Константиновна слегка побледнела; Сергей Васильевич обратился уж к людям, но новые неистовые крики оглушили его совершенно. В эту же минуту вошел Герасим Афанасьевич и возвестил, что мужики желают поздравить господ с приездом и пришли с поклоном.

Обед был кончен, и все тотчас же отправились в прихожую. Они нашли там почти всех стариков Марьинского; в руках каждого было какое-нибудь приношение: у одного чашка с яйцами, у другого – хлеб, третий держал под мышкою гуся; знакомый нам Карп Иванович стоял с поросенком, запрятанным в мешке. Выслушав поздравления, что было довольно трудно по причине хрюканья и криков кур и гусей, Сергей Васильевич поцеловал каждого старика, а потом поцеловал и управителя. Жена его в это время

[1] Мадемуазель Луизы *(фр.)*.

благодарила крестьян; француженка сочла своею обязанностью погладить и пожалеть животных, с нежностью, свойственною ее нации; одна Мери не решалась отойти от двери и с ужасом во всех чертах смотрела на приношения, на этих *страшных зверей*, как потом она выразилась. Отблагодарив крестьян вином и деньгами, Белицыны отправились на террасу пить кофе. Когда жар немножко упал, дамы взяли омбрельки, Сергей Васильевич пастушескую свою шляпу – и все пошли в сад.

Густолиственные липовые аллеи, массы сирени, которые раскидывались тем роскошнее, что были брошены на произвол судьбы, столетние величественные дубы, одиноко возвышающиеся посреди пространных газонов, – все это сильно подействовало на воображение Сергея Васильевича; этому способствовал отчасти характер запустения сада; в один миг в голове помещика возникли новые проекты преобразования. Александра Константиновна подавала также свои мысли. Одно из первых предположений состояло в том, чтоб сделать пруд вдвое, втрое длиннее и шире, сделать просеку через весь сад, так чтоб вид с террасы замыкался водою. Беседка, воздвигнутая на той стороне пруда, нисколько не могла повредить виду – таково было мнение жены.

– Напротив, она придаст виду еще больше эффекта, – с одушевлением сказал муж.

Тотчас же послано было за Karassin. Начались толки о землекопах, справки о родниках, питающих пруд, вычисления и соображения. Увлекаемый все более и более деятельностью воображения, Сергей Васильевич касался также мимоходом других вопросов и, наконец, так втянулся в дело, что оставил дам в саду, а сам пошел с управителем осматривать многосложные части своего хозяйства. Дом, двор, амбары, службы, гумно, фруктовый сад, огороды дворовых – все было мельком осмотрено. Сергей Васильевич говорил без умолку; большая часть речей его состояла из вопросов, и Герасим вторил ему усердно; беседа, питаемая разнообразными предметами, которые подвергались осмотру, должна была также отличаться разнообразием. Герасим говорил о починке кровель, Сергей Васильевич говорил о беседке на той стороне пруда; Герасим говорил о посадке новых яблонь, Сергей Васильевич говорил о просеке; Герасим приискн-

вал место для амбаров, Сергей Васильевич приискивал место посреди двора для огромной липы, которая дала бы двору английский характер; Герасим переходил к огородам, Сергей Васильевич переходил к пруду; мысли Герасима стремились к гумну, воображение Сергея Васильевича влекло его к садовой решетке. Все это ничем не кончилось, потому что дела собственно отложены были до следующего утра. Сергей Васильевич возвратился домой, когда уже село солнце. Дамы его пили чай на террасе.

— Уф, — сказал он, бросаясь в кресло между женою и Мери.

Сад между тем покрывался тенью. Кусты и деревья начали отделяться черными массами на газонах, которые серебрила роса, запах сирени сделался ощутительнее и наполнял террасу; кругом воцарилась торжественная тишина; время от времени прерывали ее раскаты соловьев, которые как бы перекликались из конца в конец старинного сада. Наконец, когда из-за горизонта показался полный, красный месяц и целиком отразился в пруде, Сергей Васильевич, его жена, Мери и mademoiselle Louise не могли удержаться от восторженного восклицания. Все решительно были в восхищении, что приехали в деревню.

II

ДЕЛОВОЕ УТРО

Десять часов утра; но полукруглая спальня, разделенная решетчатым окном, уже убрана; старинные тяжелые занавеси с крупными разводами подняты; окно в сад отворено. Против алькова, между двумя окнами, находится стол, покрытый ковром; посреди его возвышается овальное зеркало в серебряной рамке; направо и налево разложено множество туалетных принадлежностей, которые совершенно неверно называют *безделушками*, потому что они стоят очень дорого, несравненно дороже баранов, дров, съестных припасов — словом, всего того, что именуется дельным. Свет, наполняющий спальню, дробится в граненых цветных флаконах, скользит по резной слоновой кости и черепахе и выставляет блестящую полировку серебряных крышечек на хрустальных коробках, наполненных по-

рошками, помадой и духами, которые успели уже распространить тонкий аромат свой по всей комнате. Против зеркала в больших старинных золоченых креслах с овальною спинкой, обтянутой голубым штофом, сидит Александра Константиновна. Белый батистовый пеньюар, сквозь который просвечивают ее круглые розовые плечи, и внизу широкое английское шитье юбки обнимают ее своими мягкими воздушными складками; ножки ее, обтянутые чулками à jour[1], кажутся также розовыми; черные туфли, с свежим голубым chou[2], придают им такой аппетитный вид, что, кажется, не оторвался бы и глядел бы на них с солнечного восхода до заката. Роскошные белокурые и слегка вьющиеся волосы Александры Константиновны распущены: они, без сомнения, коснулись бы ковра на полу, если б не поддерживала их горничная, которая убирала голову барыни.

Направо от кресел стоит небольшой кругленький столик, закрытый тяжелым металлическим подносом; на нем виднеется нежно-голубая чашка, украшенная медальонами с пастушками; крышечка с такими же медальонами и прозрачность чашки, в которую бьет свет из окна, не позволяет сомневаться в ее аристократическом, кровном саксонском происхождении; тут же сверкают ложки, щипчики для сахару, фарфоровая корзина для хлеба и старинная овальная серебряная сахарница, устроенная в виде баульчика, с лапками вместо ножек, с фантастическим чеканеным зверьком на макушке. По другую сторону кресел находится еще столик; но, боже, какой контраст! на нем лежат несколько тетрадей из грубой бумаги; листы покрыты каракулями, чернильными пятнами и местами сильно захватаны пальцами. К довершению контраста, в глаза так и мечутся следующие надписи: «Коровы дойные...», «Пух с сорока трех индюков», «Восемнадцать шкур», «Зарезано девять баранов...», «Продано сала...» и т. д.

Надо полагать, горничная Александры Константиновны грамотная: она беспрестанно заглядывает через голову госпожи своей и устремляет глаза на тетради, но всякий раз щурит глаза с видимым отвращением: мысль о коровах, индюках и сале, по-видимому, не-

---

[1] Ажурными *(фр.)*.
[2] Пышным бантом *(фр.)*.

приятно действует на ее тонкий, изящный вкус. Этот изящный вкус горничной проглядывает в каждом ее движении и даже в манере держать гребень, которым расчесывает она волосы барыни. Белицыны, говоря о ней между собою, называют ее обыкновенно: lady Furie[1], но трудно предположить, чтоб вострый, как шило, нос горничной, ее выщипанные ноздри и узенькие губы могли иметь что-нибудь общее с таким названием. Несомненно лишь то, что горничная проникнута в высшей степени чувством собственного достоинства; вероятно, чтоб придать больше значения гордой голове своей, она причесывает ее à la Margot;[2] но Александра Константиновна ничего не замечает; нагнувшись к столику налево, нахмурив сперва брови, она не отрывает глаз от деловых списков.

— Позвольте, сударыня; мне этак никак невозможно,— говорит горничная с оттенком нетерпения, которое может выказать лучше всяких слов бесконечную доброту ее госпожи.

— Ах, как это скучно!.. Ну! — возражает Александра Константиновна, выпрямляясь в кресле.

Взгляд, брошенный ею в зеркало, показывает ей нахмуренное лицо горничной.

— Ты, Даша, кажется, очень недовольна, что приехала в деревню?..

— Наше дело такое, сударыня: куда прикажут, туда и едем.

Слова эти, проникнутые покорностью, сделали бы величайшую честь Даше, если б лицо ее не противоречило словам.

— Тебе, стало быть, деревня не нравится?

— Уж, конечно, сударыня, ничего нет хорошего,— подхватывает горничная, очевидно смягченная ласковым голосом барыни,— удивляюсь только, сударыня, как она вам может нравиться... То ли дело, как изволили жить на Каменном острову: с утра до вечера езда... оживление такое, в один час проедет и пройдет больше публики, чем здесь во сто лет... Да здесь и публики-то нет: глушь! мужики!.. взглянуть так даже гадко...

— Что ж? разве они не такие же люди? — закусывая губки, спрашивает барыня.

---

[1] Леди Фурия *(англ.)*.

[2] А-ля Марго *(фр.)*.

— Известно, такие же, только нет никакого обхождения, приличия нет... одни эти ихние лапти — так это ужасти!.. Нечесаные, небритые, неуклюжие... ручищи-то даже описать невозможно, какие страсти!.. Да вот теперь даже дворовые, вот хоть эти, что в комнату взять изволили, просто чучелы какие-то; никакой решительно образованности!.. Кроме этого, сударыня, самая жизнь какая-то скучная. Ходишь-ходишь — слова сказать не с кем! Никто не проедет, никто не пройдет, даже взглянуть не на что: поля, луга, леса... Если б, по крайней мере, жили мы хоть на большой дороге.

— Но так как мы не живем на ней, то тебе придется долго еще скучать...

— Неужели, сударыня, вы здесь долго останетесь?

— Разумеется, и даже очень-очень долго; я думаю, до осени... Ну, готово? — произнесла Александра Константиновна, поворачивая голову вправо и влево, чтоб рассмотреть свою прическу, — хорошо. Теперь прибери, пожалуйста, все это, — подхватила она, указывая на чайный прибор, — потом ты скажешь женщинам, которым я велела прийти и которые, вероятно, дожидаются, скажешь им, что они могут войти...

Александра Константиновна снова пригнулась к деловым тетрадям. Она внутренне начинала уже сознаваться, что все это страх скучно и, вдобавок, перепутано, дико, непонятно; но она твердо решилась победить скуку и надеялась, что со временем будет читать эти тетради если не с тою приятностью, то так же свободно, как любой роман графини Даш и Поля Феваля. Кашель, раздавшийся у двери, прервал ее. Она увидела средних лет бабу в котах, клетчатой поняве, коротайке и темном платке на голове. Если смотреть беспристрастно, лицо бабы было далеко не привлекательно: круглый нос, толстые губы, калмыцкие скулы; но карие узенькие глаза выкупали зато одутлость лица — так много написано было в них лукавства, пронырства и хитрости. Была еще одна особенность, которая возбуждала внимание: глаза и виски бабы были окружены множеством полукруглых морщин; когда морщины эти собирались, лицо бабы казалось плачущим, несчастным и робким; когда же, повинуясь какому-то внутреннему механизму, которым произвольно располагала баба, морщины расходились, лицо мгновенно принимало выражение юркости

и бойкости неописанной. В настоящую минуту все несчастия, какие ходят только по белу свету, выбрали, казалось, бедную бабу своею жертвой.

— Подойди сюда, милая! — сказала барыня, призывая на помощь самый мягкий и ласковый голос, чтоб ободрить несчастную жертву, — ты что такое... то есть какая твоя должность, моя милая?

— Скотница, сударыня, — со вздохом произнесла баба, робко подвигаясь вперед.

— Как твое имя?

— Василиса, сударыня.

Новый глубокий вздох.

— Подойди ближе, моя милая. Я позвала тебя потому... Мне, вот видишь ли, хотелось узнать, как все это идет у нас на скотном дворе — понимаешь? сколько расхода, прихода и прочего. Скажи мне прежде всего: сколько у нас коров, всего-навсе?..

— Дойных, сударыня, которые для вашей милости оставляются? — спросила скотница, начинавшая мало-помалу расправлять свои морщины.

— Да, да, дойных; сколько дойных?

— Восьмнадцать, сударыня.

— Это, кажется, мало?

— Очень мало, сударыня. Оно, то есть по положению, больше бы держать надобно... в прежнее время... сказывают, по сорока коров держали... Да только это не наше дело... знамо, сударыня, дело управительское, — подхватила Василиса с таинственностью. — Я им докладывала, сударыня. «Ничего, говорит, довольно и этих». Известно, почему-то не входят они в эту должность: уж и лета его такие, сударыня... больше все в комнате своей и находится... А я не то чтоб, доложу я вашей милости, душой всей хлопочу, сударыня, ночи не спишь, сумневаешься... Если, паче чаяния, вашей милости что и сказали, так это все, сударыня...

— Нет, нет, я совсем не об этом, милая, — перебила Александра Константиновна, — мне просто хотелось узнать, сколько вы получаете масла?

— Да разное, сударыня, год на год никак не пригонишь: иной раз господь травку даст — ну тогда, ништо, даются; другое время в пол-лето взять нечего, только тем и живы, сердечные, что вот листок подбирают... знамо, какое уж тут молоко!.. Сена нам, сударыня, брать не велено... только что вот на телок отпускается, — продолжала Василиса голосом угнетенной

невинности,— разумеется, молчишь, сударыня, наше дело подвластное.

— Да; но много ли, мало ли, вы все-таки сколько-нибудь да получите масла?

— Как же, сударыня...

— Куда ж оно девается?

— Продаем, сударыня... только что безделицу самую...

— Все равно... Ну, а деньги-то куда идут?

— Что с масла-то получаем?

— Да.

— На соль идут, сударыня, соль покупаем.

— Соль? Неужели идет так много соли?

— А то как же, сударыня! Оченно много соли требуется... Коли не посолить хорошенько масло, сударыня, совсем пропадет.

— Да ведь вы его продаете, это масло?

— Продаем...

— Я спрашиваю тебя, моя милая: куда же деньги идут, деньги, которые вы получаете за масло?

— Я докладывала вашей милости: соль покупаем.

— Но ведь соль идет на масло?..

— На масло, сударыня...

— Так как же это?.. Я тут решительно ничего не понимаю! — проговорила Александра Константиновна, проводя ладонью по лбу.

В эту минуту кто-то постучался в дверь.

— Кто тут?

— Это я, maman![1] — отозвался тоненький голосок Мери.

— C'est nous; peut on entrer, madame Bélissine?[2] — прозвучал в свою очередь голос гувернантки.

— Entrez...[3]

В спальню, подпрыгивая на тоненьких своих ножках, вбежала Мери; увидав бабу, она торопливо обогнула кресло и, не спуская глаз с Василисы, принялась целовать мать.

— Bonjour, madame Bélissine![4] — сказала гувернантка, грациозно приседая.

На Мери была надета ее широкополая соломенная шляпа; в руках m-lle Louise находилась омбрелька.

---

[1] Мама *(фр.)*.

[2] Это мы, можно войти, госпожа Белицына? *(фр.)*

[3] Войдите... *(фр.)*

[4] Здравствуйте, госпожа Белицына! *(фр.)*

— Куда это вы собрались? — спросила Александра Константиновна.

— Мы, maman, в лес идем...

— Nous allons au bois, chercher des griboui![1] — перебила гувернантка.

— Des griboui! — смеясь, подхватила Мери, — des griboui!.. dites: des griby...[2]

— En bien: des griby... Cette bonne femme nous dira où il faut aller... comment est ce qu'on la nomme?[3]

— Vasilissa[4].

— Скажит, Сисилиса́... — начала было француженка, к величайшему удовольствию Мери, но Белицына перебила ее и обратилась к скотнице.

— Скажи, пожалуйста, где здесь больше всего грибов? — спросила она.

— В Глиннице, сударыня; также вот и на Забродном.

— Нет, ты просто расскажи, как пройти туда.

— Она тут и есть, за околицей, как луг пройти изволите, сударыня, это и прозывается у нас Забродным. Только теперь, доложу вашей милости, грибов нетути...

— Как же так?

— Да ведь они только осенью бывают, и то, когда дожди пойдут...

Мери быстро перевела все это m-lle Louise.

— Comme c'est désagréable!.. хи, хи, хи!.. j'ai envie de pleurer... — с детским простодушием проговорила гувернантка, — eh bien, nous irons faire un tour au jardin![5] — промолвила она, мгновенно оживляясь.

Во время этого разговора лицо скотницы постепенно умилялось и принимало притворное, униженное выражение. Под конец она уж как будто не могла бороться долее с чувствами своими, сделала шаг вперед и проговорила, обратившись к Мери:

— Барышня, пожалуйте ручку, сударыня.

— Donnez donc votre main à cette femme![6] — сказа-

---

[1] Мы идем в лес искать грибуи! *(фр.)*

[2] Грибуи!.. грибуи!.. Надо говорить: грибы... *(фр.)*

[3] Ну, грибы... Эта добрая женщина скажет нам, куда идти... Как ее зовут? *(фр.)*

[4] Василиса.

[5] Как жаль!.. мне хочется плакать... ну что ж, тогда прогуляемся по саду! *(фр.)*

[6] Дайте же этой женщине руку! *(фр.)*

ла Белицына дочери, которая недоверчиво глядела на бабу.

— Красавица вы наша ненаглядная! — воскликнула скотница, приседая на корточки и страстно припадая к руке ребенка, — уж как мы вам, сударыня, рады!.. как рады-то! Думали: кабы господь привел нам хоть поглядеть-то на нашу барышню... хоть только глазком-то одним взглянуть!..

— Laissez-moi, — сказала Белицына гувернантке, — j'ai à faire![1]

— Un baiser à maman et partons![2] — произнесла m-lle Louise.

Как только ребенок и гувернантка вышли, глаза и виски Василисы мгновенно покрылись складками, она отошла к стене, свесила голову и опустила руки Александра Константиновна думала снова приступить к расспросам, но лицо бабы показалось ей до того несчастным, что она не решилась.

— Вы, может, думаете, сударыня... я насчет, то есть, пользуюсь чем-нибудь от добра вашего, — начала совершенно неожиданно Василиса, прикладывая руку к груди, — может, матушка, вам обо мне наговорили: все это, как есть, одна напраслина... Отсохни у меня руки, лопни мои глаза, коли я от господского добра хошь на синюю порошинку пользовалась!..

— Нет, нет! кто это тебе сказал? Я совсем этого не думаю, — торопливо проговорила Александра Константиновна.

— Матушка! — воскликнула Василиса и вдруг упала в ноги и залилась горькими слезами, — матушка! — подхватила она, мотая головою с видом изнеможения, — заступись за горьких сирот своих!.. Осталась я одна после мужа с четырьмя малыми детками... Вступись, милосердая мать, за горьких червей моих!.. Прошу не глупыми речами моими, прошу несносными своими сиротскими слезами, заступись за нас, горьких...

— Полно, полно... встань, пожалуйста, встань! как тебе не стыдно? — проговорила барыня, стараясь приподнять бабу, — я все тебе сделаю, только встань, пожалуйста... Скажи, что тебе нужно?

— О-ох! — простонала Василиса, приподымаясь

[1] Оставьте меня, я занята! *(фр.)*
[2] Поцелуй маму и пойдем! *(фр.)*

и стараясь оправиться, хотя лицо ее все еще не переставало обливаться несносными сиротскими слезами,— осталась я, матушка, после мужа с четырьмя малыми детками,— подхватила она, всхлипывая,— получала я на них тогда месячную... отняли, сударыня!

— Как же это так? — произнесла барыня, очевидно, взволнованная всей этой сценой.

— То есть мне-то, сударыня, оставили месячную; получаю три пуда... А только что вот, что ребятенкам принадлежало, то все отняли, матушка... Об том и прошу вас: заступись за горьких сирот своих...

— Непременно, непременно. Где же твои дети, с тобой живут, на скотном дворе? — с участием примолвила барыня.

— Один только со мной, матушка, один всего...

— А другие-то где ж?

При этом Василиса приложила ладонь к щеке и залилась еще горче прежнего.

— Где ж другие-то? — повторила Александра Константиновна.

— Померли, матушка, померли... О-ох, троих схоронила: осталась одна горькая... как нива без огорода осталась... сирота одинокая...

«Pauvre femme!» [1] — подумала Александра Константиновна, поспешно протягивая руку к какой-то коробочке.

— На, возьми, моя милая,— подхватила она, подавая целковый Василисе, которая одной рукой схватила целковый, другой рукой руку барыни,— это тебе так, покуда. Я поговорю барину, и мы постараемся как-нибудь поправить твое дело... Пожалуйста, только не плачь и успокойся... Теперь ты можешь идти... Постой! постой! Если ты увидишь старостиху, пошли ее ко мне.

Но мы оставим Александру Константиновну заниматься делами и перейдем в кабинет Сергея Васильевича.

Трудно, я полагаю, даже невозможно представить себе помещика, который провел бы короткий промежуток какого-нибудь часа с такой пользой, как Сергей Васильевич. Предоставляю вам судить о справедливости этого замечания: в один этот час Сергей Васильевич узнал о числе полей в Марьинском, узнал о числе

---

[1] Бедняжка! *(фр.)*

десятин в каждом поле и о свойствах земли каждого участка; в один этот час вполне усвоил он значение слов: «яровое», «озимое», «пар», «в клину», «кулига», «в два потому ж» и множество других многозначащих технических терминов; в один этот час узнал он, сколько было у него лугов и каких именно, сколько было болота и где именно. Нет, решительно нет возможности найти помещика, который в такое короткое время обогатился бы столькими сведениями по части своего хозяйства! Но Сергей Васильевич не довольствовался этим; напротив, по мере того как обогащался он сведениями, любознательность его делалась ненасытнее: он не переставал осаждать вопросами Герасима Афанасьевича, который стоял за его стулом с сложенными за спиною руками и быстро вертел большими своими пальцами. Помещик осведомлялся о способах усиления произрастительности почвы, о средствах умножения числа копен на десятинах и числа стогов на лугах; с жаром, свойственным одним лишь фанатическим агрономам, предлагал он разные баварские и саксонские методы обработки земли и вместе с тем расспрашивал о пользе, которую можно извлечь из запольных земель. Сергей Васильевич не допускал существования запольной земли, и в этом случае не только Герасим, но даже никто в мире не мог бы его переспорить. «Начать с того, что в основании самого дела лежит уже очевидная нелепость, — говорил он: — никакая земля не может быть бесплодна; доказательством этому служит то, что она покрывается травою, как только перестают пахать ее; земля, следовательно, не хочет отдыхать; и не виновата она нисколько, если человек, не ознакомившись с ее свойствами, сеет на ней овес тогда, когда следует сеять, может быть, горох или чечевицу». Сергей Васильевич сильно заботился об увеличении доходов; он обращал мысленный взор свой на каждый пустырь Марьинского; но так как у него, кроме Марьинского, были еще две другие деревни, находившиеся под ведением марьинской конторы, то он с каждой минутой открывал новые источники богатства. Так, например, узнал он, что в глубине Саратовской губернии находилось у него около семисот десятин луга, о котором не имел он прежде ни малейшего понятия.

— Как же это могло случиться, что посреди отдаленной губернии очутился вдруг у нас одинокий

луг? — воскликнул Сергей Васильевич. — Помню, у батюшки была в Саратовской губернии деревня; луг принадлежал ей, вероятно; но деревня продана, как же мог луг остаться?

Герасим Афанасьевич перестал вертеть большими пальцами и откашлянулся в ладонь.

— Надо полагать, — сказал он, — в то время, как у покойного папеньки была деревня, они изволили иметь надобность в луге и купили его у соседа; купивши его, они, надо полагать, изволили забыть приписать его к деревне; как продали деревню, луг так и остался ни при чем...

— Прекрасно! остался ни при чем, и остается ни при чем десять лет сряду! — иронически заметил Сергей Васильевич. — Надо думать, однако ж, не все так беззаботны в отношении к добру своему, как марьинские помещики. Там, без сомнения, давно кто-нибудь пользуется этим лугом...

— Он примыкает, сударь, к маленькой деревушке, никак двадцать душ, либо тридцать... помещица Иванова какая-то... надо полагать, они лугом пользуются...

— Очень хорошо! очень, о-о-очень хорошо! — перебил Сергей Васильевич, — если б всеми нашими именьями пользовались таким образом, было бы еще лучше!

— Да ведь это, сударь Сергей Васильевич, осмелюсь вам доложить, если судить по здешним местам, так, конечно, луг этот большой важности значит, — произнес управитель, думая успокоить барина, — я ведь, сударь, был в Саратовской губернии: там луга нипочем. Иной верст на сто тянется, как есть степь. В других местах даже так оставляют, совсем даже не косят...

— Что ж это доказывает? — с живостью проговорил Сергей Васильевич, поворачиваясь на своем стуле, — это доказывает только, что мы живем спустя рукава и ничем не умеем настоящим образом пользоваться, — да! Я никогда не был в Саратовской губернии, но очень хорошо знаю положение края: там, напротив, следует дорожить каждым стебельком травы — да; там круглый год проходят гурты скота, который идет во всю Россию. Я знаю, там отдают эти луга на арендное содержание гуртовщикам, наконец просто отдают их внаймы на один раз...

— Да ведь это, сударь, осмеливаюсь доложить, на дорогах только...— заметил Герасим,— и притом, по множеству лугов, плата должна быть очень незначительная...

— Во-первых, в хозяйственном деле все значительно. В общем обороте каждый пятак, каждая копейка что-нибудь да значат! — воскликнул Сергей Васильевич с горячим убеждением (что́, если б это убеждение о значении, не говорю уже пятаков, но сотен рублей, не покидало его тотчас же, как только въезжал он в Петербург!),— а во-вторых,— подхватил Сергей Васильевич с возрастающим жаром,— все зависит от распорядительности и уменья взяться за дело... Надо сейчас же сделать распоряжение касательно этого луга... Семьсот десятин! Семьсот десятин луга — безделица! Я докажу, какая это безделица! когда выстроится там мазанка, когда выроется колодезь, когда устроятся водопои для скота, когда за каждую голову быка, кроме кормежных денег, будут брать за водопой, когда гуртовщики найдут приют от дождя, от непогоды и, следовательно, зная это, придут на мой луг в сто раз охотнее, чем на всякий другой! — продолжал Сергей Васильевич, все более и более увлекаясь своим проектом.— Надеюсь, у нас сохраняются в конторе все акты касательно этого луга, то есть, я разумею, купчая, из которой видно, что я настоящий владелец?..— заключил Белицын, превращаясь весь в одно нетерпеливое ожидание.

— Все, сударь, в исправности,— сказал старый управитель.

Получив такое известие, Сергей Васильевич так оживился, как будто объявили ему, что луг скрывает в себе золотые прииски. Он сказал, что надо будет немедленно, если не сегодня, так завтра, приступить к осуществлению проекта. Такая поспешность, очевидно, ошеломила Герасима Афанасьевича.

— Осмелюсь доложить, Сергей Васильевич, так скоро никак невозможно...

— Отчего невозможно? У вас все невозможно!..

— Это значит, сударь, надобно ведь будет кого-нибудь туда выселить...

— Ну, что ж? Ну, выселить, так выселить! В чем же затрудненье?.. Неужто у нас в Марьинском нет человека, способного охранять луг и вести расчеты

с гуртовщиками? Дело, кажется, не большой сложности. В чем же затрудненье? Я спрашиваю, в чем затрудненье?

Осажденный с такою настойчивостью, Герасим Афанасьевич прищурил глаза и мысленно пробежал по всем крестьянским дворам Марьинского: ему хотелось как можно скорее удовлетворить барина ответом и вместе с тем хотелось так сделать, чтоб не лишить марьинскую барщину дельного, полезного человека. Другой на его месте брякнул бы первое встретившееся имя, или, всего вернее, назвал бы семью, с которой находился во вражде; но у Герасима врагов не было. Он не торопился потому, во-первых, что боялся повредить интересам барщины, следовательно, интересам барина, к которому привязан был в самом деле; во-вторых, нетерпение Сергея Васильевича могло только затруднить старика, но нимало его не пугало. Чего ему бояться? Он носил еще на руках Сергея Васильевича, а теперь считал его добрейшим помещиком во всем свете; притом старик ничего не домогался: он был как нельзя более доволен своим положением; единственная слабость его — чижики, скворцы и другие пташки — удовлетворялась в изобилии; чего же ему еще? На такой вопрос он сам не придумал бы ответа. Но сколько мысли Герасима ни метались по дворам Марьинского, везде встречали они, как нарочно, свежий, здоровый и полезный народ. Моргая глазами, повертывая пальцами, старик закинул уже руки за спину и снова завертел с непостижимою быстротою пальцами, что выражало всегда затруднительное положение, как вдруг вспомнил он о Лапше. Тут он даже подивился, как подобная мысль не пришла ему прежде в голову.

— Скоро ли, мой милый? Нашел ли наконец? — нетерпеливо спросил Сергей Васильевич, заметив оживление в птичьей физиономии управителя.

— Нашел, сударь, нашел! — отвечал, ухмыляясь, Герасим. — Такой именно человек, сударь, какой нужен для этой должности; и он через это ничего не потеряет, и барщина, надо тоже сказать, ничего не потеряет...

— Что ж это за человек?

— Зовут, сударь, Тимофеем. Я думаю, он и сам рад будет, как его выселят отсюда, потому что живет здесь ни при чем, все единственно, ни лошади, ни ко-

ровенки... совсем, как есть, сударь, человек разоренный...

— Как так? Этого быть не может! в Марьинском не может быть такого разоренья!..

— Этот один только такой и есть, Сергей Васильевич...

— Все равно; я не угнетаю своих крестьян: не могут они быть без коров и лошадей! — перебил Сергей Васильевич, и первый раз с приезда его в Марьинское добродушное лицо его выразило неудовольствие.

— Помилуйте, сударь, какое же это угнетенье! Ваши крестьяне должны век бога благодарить за ваши милости. Извольте сами обойти дворы, посмотреть, как живут: у многих до сих пор еще прошлогодний хлеб найдете. Ничем, слава богу, не отягощены; не только, Сергей Васильевич, в наших местах, поближности, но даже во всем уезде идет слава о ваших мужичках: никто лучше ихнего не живет...

— Все это прекрасно! — возразил несколько успокоенный помещик. — Но отчего же этот мог дойти до такого разоренья?

— Да разные, сударь, причины; частью, разумеется, через себя — сам виноват; и то надо также сказать: человек больной, слабый; даже духом какой-то этакой... совсем даже в нем духа этого нет; а впрочем, в остальном человек смирный, кроткий; нет в нем никакой этакой худобы: пьянства или другого чего... Ну вот также, сударь, семья очень велика... все одно к одному; а главная причина его разоренья, это, разумеется, брат... Уж такой-то плут, разбойник, я такого еще и не видывал...

— Где же он?

— Я вам докладывал о нем. Помните, лет пять или шесть, писал я вам, что случилась у нас покража... купца обокрали?

— Помню что-то такое. Ну?.. — произнес Сергей Васильевич, на которого вообще неприятно действовало всякое известие, не приносившее особенной чести Марьинскому.

— Ну, так вот этот самый и есть его брат, который обокрал купца, — подхватил Герасим Афанасьевич, закидывая руки за спину и склоняясь несколько набок. — Еще до этого случая, сударь, сколько раз отличался! Кроме того, что брата разорил, обокрал совершенно, пойман был неоднократно у соседей; у трех наших му-

жиков лошадей увел, так что потом даже не нашли никак... Но этого, сударь, мало: посадили его в острог, он оттуда бежал; пришел раз ночью сюда... как уж он это ухитрился — понять нельзя, потому что у нас всю ночь караульные ходят,— подобрался к избе брата, возьми да и уведи своего сына; один только и был у матери... То, сударь, было, что даже рассказать невозможно! Через это даже баба в уме повредилась; так даже теперь безумная и ходит...

— Это ужас что такое! Это просто какой-то разбойник!..— воскликнул помещик, который представить себе не мог, чтоб посреди мирных полей, окружавших Марьинское, могло происходить что-нибудь подобное.— Но где же теперь эта бедная женщина, жена этого мерзавца?

— Проживает у Тимофея; сжалилась над ней жена его, к себе взяла; так теперь у них и проживает.

— Ну, слава богу! есть один утешительный факт! Из этого все-таки видно, что по крайней мере родственники этого негодяя добрые люди.

— Я вам докладывал, Сергей Васильевич! люди смирные, кроткие: против этого грех сказать; не будь нездоровья да бедности, были бы не хуже других... Вы только извольте сказать им насчет того, что выселить их хотите, они, я думаю, даже этому обрадуются, потому, сударь, сами видят свое положение, особливо жена Тимофея; одно то, что недостатки, разоренье... против людей даже совестно; другое дело, вот также народом обижены.

— Это еще что такое? — перебил Сергей Васильевич.

— Да все, сударь, через этого плута, через брата; одни в злобе за то, что лошадей увел, других запутал во все эти дела свои, когда к допросу водили... Ну, разумеется, на этих все и напали. Я даже сколько раз их усовещивал! Особливо в первое время после того, как брат убежал, проходу даже им не давали; просто даже жалости было подобно...

— Это возмутительно!.. c'est une horreur![1] — воскликнул Сергей Васильевич в порыве истинного негодования.— Я никак не ожидал этого от моих марьинских крестьян... совсем не ожидал! Это просто

---

[1] Это ужасно! *(фр.)*

какая-то корсиканская vendetta[1], и я никак не думал... Фу, боже мой, да ведь могут же они понять наконец, что если тот брат наделал им вреда, так этот по крайней мере ничего им не сделал, ни в чем не виноват?

— Простой народ, сударь, везде один: он этого не разбирает...

— Так я же докажу им, что я разбираю! — произнес Сергей Васильевич с таким одушевлением, что даже полные его щеки вспыхнули.

Он торопливо взглянул на часы и снова обратился к управителю:

— Теперь, к сожалению, очень уж поздно, — сказал он более спокойным голосом, — но тотчас же после обеда приведи мне этого Тимофея, приведи также жену его; скажи им, чтоб они взяли с собою всех детей своих, всех непременно: я всех их хочу видеть... Очень тебе благодарен, старик, что ты сообщил мне об этом; спасибо тебе!.. Я лично хочу переговорить с ними и надеюсь, что они поймут, что я желаю им добра, надеюсь, они поймут это... Ах, бедные, бедные!.. Меня одно, впрочем, затрудняет, — присовокупил он, вставая со стула и принимаясь расхаживать по кабинету, между тем как управитель отступил несколько шагов, чтоб дать ему больше простора, закинул руки за спину и опять завертел пальцами, — одно меня затрудняет; если, как ты говоришь, этот Тимофей такой больной и слабый, может ли он взять на себя должность, для которой я его предназначаю? Не лучше ли будет придумать для него и его семейства что-нибудь другое, а на его место послать другого кого-нибудь?..

— На этот счет, сударь, не извольте беспокоиться, — возразил Герасим, выставляя вперед правую ногу и с видом уверенности наклоняя голову, — он хотя человек, конечно, болезненный, слабый, но там ведь не потребуется от него никакой тяжкой работы; там, сударь, будет для него гораздо свободнее здешнего: ни пахоты, ничего этого, что здесь требуется, ничего не будет; потребуется только присматривать за порядком и вести расчеты с гуртовщиками — дело небольшой важности; и, наконец, осмелюсь доложить вам, Сергей Васильич, у него жена, можно сказать, женщина настоящая, постоянная; она даже теперь одна, можно сказать, всю семью поддерживает; женщина

[1] Месть *(ит.)*.

трудолюбивая, рассудительная; ей только поручить извольте; на нее можно, то есть, совершенно можно положиться: женщина очень хорошая...

— Ну, и прекрасно! очень рад, очень рад! — сказал Белицын, принимаясь снова расхаживать. — Так, стало быть, после обеда ты тотчас приведешь их, Герасим. Не забудь только, пожалуйста, сказать, чтоб они взяли с собою всех детей своих, всех решительно: я всех их хочу видеть.

Камердинер давно уже ждал барина в соседней комнате; он даже три раза переменил воду для бритья, которая успела остыть. Посылая к нечистому старого управителя, так долго державшего барина, камердинер в сотый раз уже прикладывал пышные свои бакенбарды к двери кабинета, когда появился вдруг Сергей Васильевич. Но улыбка на губах камердина, как называл его Агап Акишев, была непродолжительна: с той секунды, как Сергей Васильевич опустился в кресло и подставил ему свой подбородок, до той секунды, как, совсем одетый, вышел снова в кабинет, он не переставал торопить камердинера, два раза назвал его неловким и суетил беспощадно. С таким же суетливым видом Сергей Васильевич прошел все нижние комнаты родового дома и везде спрашивал: где барыня? Узнав, что барыня на террасе, он тотчас же направил туда шаги свои. Появление его было так неожиданно и вместе с тем лицо его дышало таким непривычным оживлением, что Александра Константиновна быстро опустила работу и спросила:

— Qu'as tu, mon ami?..[1]

— J'ai tout un roman à vous raconter[2], — целый роман! — произнес Сергей Васильевич.

Он пожал руку жене, поздоровался с гувернанткой, которая тотчас же запрыгала на своем стуле от нетерпения, опустился на соседнее кресло и повторил:

— Да, целый роман!..

Сергей Васильевич всегда имел в своем кругу репутацию интересного, приятного рассказчика. Можете представить себе после этого, как сильно должна была подействовать на слушательниц история о несчастиях и гонениях бедного крестьянского семейства! Александре Константиновне никогда еще не приводилось слы-

---

[1] Что с тобой, друг мой?.. *(фр.)*

[2] Целый роман, если вам рассказать *(фр.)*.

шать что-нибудь в этом роде; ей до сих пор казалось, что в одних только повестях и романах встречается совокупление таких злосчастных обстоятельств. Картина действительности так поражала ее, что она несколько раз складывала руки, как бы умоляя о пощаде, и неоднократно подымала прекрасные глаза свои к небу, как бы умоляя его о защите. У Александры Константиновны также был в запасе маленький роман, который намеревалась она передать мужу; но роман, в котором роль героини разыгрывала Василиса, умолявшая о прибавке муки, показался Белицыной до того ничтожным и бледным сравнительно с горестями крестьянского семейства, о котором говорил муж, что она не решилась даже упоминать о нем. Ее внимание и симпатия принадлежали теперь исключительно Тимофею, — le pauvre Timothée[1], как восклицала девица Луиза: бордоскую уроженку более всего поразил, повидимому, эпизод с сумасшедшей Дуней.

— Oh! cette pauvre Dounia! Cette malheureuse Dounia![2] — не переставала твердить она, отрываясь затем только, чтоб взглянуть на Мери, которая в десяти шагах занималась изделием пирожков и булок из сырого песку.

Но тягостное впечатление, испытанное слушательницами, мигом, однако ж, рассеялось и превратилось даже в состояние, близкое к восхищению, когда Сергей Васильевич сообщил им свой план касательно Тимофея.

— Я сказал Karassin, чтоб он всех их, всех, не выключая даже и маленьких детей, привел к нам тотчас же после обеда, — заключил Сергей Васильевич.

— Bravo, m-r Bélissine! c'est ainsi qu'il faut faire les bonnes actions![3] — восторженно произнесла гувернантка.

— Я очень рада буду их видеть, очень, очень! — сказала в свою очередь Александра Константиновна с чувством искренней, сердечной радости, — случай этот окончательно примиряет меня с сельской жизнью. Если, с одной стороны, деревня несколько разрушает поэзию, которою привыкли мы окружать ее, зато, может быть, нигде не представляется столько случая делать истинное, положительное добро, сколь-

---

[1] Бедняга Тимофей *(фр.)*.

[2] О, эта бедная Дуня! Эта несчастная Дуня! *(фр.)*

[3] Браво, господин Белицын! Вот так надо делать добрые дела! *(фр.)*.

ко в деревне. Если б вообще все мы жили больше в своих именьях, я уверена, тогда было бы несравненно меньше несчастных... Я очень рада, Serge, очень рада, что мы приехали в Марьинское!..

III

ПЛАН ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ

Александра Константиновна, Сергей Васильевич, гувернантка и Мери сидели после обеда в гостиной, когда камердинер возвестил, что привели крестьянское семейство. Все тотчас же встали и пошли в переднюю.

Первое впечатление, сделанное на господ Лапшою и его семейством, было как нельзя выгоднее для последнего. Как ни были господа симпатично настроены, как ни воображали они действующих лиц романа, рассказанного Сергеем Васильевичем, но действительность превзошла ожидания. В настоящую минуту Лапша, его жена и дети могли в самом деле возбудить участие даже в таком человеке, который не знал бы их истории. Лапша, надо полагать, не шутя расшибся, упав тогда в вертеп; страдания от боли ясно отпечатывались в его опущенных, но изогнутых бровях, виднелись в его потухшем, напряженном взоре, в его позе и лице, покрытом известковою, зеленоватою бледностью; к этому примешивалось также сильное волнение: он страшно оробел, когда сказали ему, что господа требуют; рубашка на груди его колебалась, как будто раздували ее мехом, хрипевшим и шипевшим от усиленного надавливания; руки и ноги тряслись как в лихорадке. Но даже подле Лапши Катерина останавливала на себе особенное внимание: она заметно похудела в эти последние два дня; выразительные, энергические черты ее сделались как бы еще резче, но они служили теперь выражением такой глубокой скорби, так много написано было в них тоски и душевной затаенной пытки, что, взглянув на нее, Александра Константиновна почувствовала слезы на глазах своих; слезы ее вызваны также были жалким видом младенца на руках женщины; она не могла глядеть без сердечного замиранья на грубое, дырявое тряпье, прикрывавшее его нежные худенькие члены. Белицына никогда даже не воображала возможности

существования такой бедности. С глазами, полными истинного, сердечного сострадания, смотрела она на лохмотья Катерины и ее лицо, казавшееся еще несчастнее в соседстве с круглым, молоденьким и свежим лицом Маши. Что же касается до трех мальчуганов Катерины, их не было возможности рассмотреть: их головы и туловища исчезали совершенно: Белицыны, гувернантка, Мери и Герасим, стоявший подле печки с сложенными за спину руками, могли только видеть несколько ручонок, которые крепко держались за складки понявы и так их натягивали, что превращали в совершенно прямые линии.

Сергей Васильевич, тронутый почти столько же, сколько жена и гувернантка, приступил к объяснению с той лихорадочной торопливостью, которая овладевает всеми добрыми людьми, приступающими к исполнению давно задуманного благодеяния.

— Пожалуйста, прошу вас, успокойтесь, успокойтесь! — проговорил он тотчас же, как только поздоровался, и для того, вероятно, чтоб ободрить их, потрепал по плечу сначала Лапшу, потом Катерину и, наконец, Машу,— я призвал вас совсем не для того, чтоб вы меня боялись и были печальны,— подхватил он,— напротив, вам надо теперь повеселеть... Я узнал, сколько вы терпели, узнал обо всех ваших несчастиях, и теперь все это кончится: я и жена, мы постараемся исправить ваши обстоятельства...

— Да, непременно, непременно! — сказала Белицына, приближаясь к Катерине,— я очень обрадовалась, когда услышала, что ты такая добрая женщина: твой поступок с женою брата твоего мужа достаточно это показывает... Поверь, моя милая, я и муж, мы этого не забудем... мы сделаем для тебя все, все, что только возможно.

Но из всего того, что могла сделать барыня, Катерине нужно было одно только. В голове ее была одна мысль; она не покидала ее ни днем, ни ночью; с этой мыслью шла она к барскому дому, с этой мыслью стояла она перед господами. Робость и. еще более, неуверенность в участии господ — чувство, свойственное всем беднякам, поставленным лицом к лицу с людьми сильными,— принуждали Катерину к молчанию. Услыша ласковый голос барыни, она в первый раз подняла черные печальные глаза свои; лицо Александры Константиновны окончательно, казалось, обо-

дрило бедную бабу; быстро передала она младенца дочери и упала в ноги барыне.

Движение это, неожиданное для Александры Константиновны, было еще неожиданнее для трех мальчуганов, державшихся за юбку матери: увлеченные ее падением, но откинутые в стороны разбежавшимися складками понявы, один из них покатился под ноги гувернантке, другой под ноги Сергею Васильевичу. Один пучеглазый Костюшка успел вовремя выпустить из рук поняву, но положение его от этого нимало не выиграло; напротив, увидя себя перед господами, он побагровел, как клюква, секунды две стоял в каком-то оцепенении и скрылся за сестрою тогда уже, когда младшие его братья находились в защите за отцовской спиною.

— Матушка! заступись! заступись! вели сыскать!..— говорила между тем Катерина, рыдавшая теперь навзрыд,— заступись!.. мальчика увели у меня... увели, отняли родное детище... нищие украли!.. Вели сыскать... три дня увели всего... три дня!.. Одна и была у меня утеха, одна радость, и ту отняли!.. Матушка! пока жизнь во мне будет, стану и день и ночь молить за тебя бога... не оставь меня своею милостью, вели сыскать его...

— О каком мальчике она говорит? Это еще что такое? — спросил Сергей Васильевич, суетливо обращаясь к Герасиму, тогда как Александра Константиновна всячески успокаивала бабу и старалась приподнять ее,— ты ничего не сказал мне об этом? — промолвил он вспыльчиво.

— Я сам, сударь, в первый раз слышу; я ничего... решительно ничего не знаю,— проговорил управитель, разводя руками и, по-видимому, удивляясь не менее барина.

Герасим, точно, ничего еще не слыхал о пропаже мальчика. Ошеломленный этим известием, он вспомнил, что дней пять назад дал второпях вид сыну Лапши, но в первую секунду никак не мог сообразить, почему мог пропасть мальчик и почему баба упоминала о нищих. С той минуты, как приехали Белицыны, что случилось четверть часа спустя после возвращения управителя из города, марьинское население так было занято приездом господ, что происшествие с Катериной совершенно изгладилось из памяти каждого; никому даже в голову не пришло сообщить о нем упра-

вителю, и, наконец, во все это время Герасим суетился до такой степени, что всякий, кто обращался к нему за собственным делом, должен был караулить его часа по три, и то без малейшего успеха.

— В первый раз слышу, Сергей Васильевич,— подтвердил старик,— пять дней назад пришел вот он ко мне вид просить для сына; я ему дал... а что вот она говорит насчет, то есть, пропажи... об нищих — впервые слышу...— довершил он, поглядывая с недоумением на Катерину, которая продолжала рыдать у ног барыни.

— Что ж это значит? — произнес Сергей Васильевич, обращаясь к Лапше.

С той минуты, как Катерина бросилась барыне в ноги и заговорила о мальчике, Лапша закрыл глаза, как человек, обрывающийся в пропасть. Прохваченный до костей холодным потом, он чувствовал только, что все заходило кругом в голове его; вопрос барина произвел на него действие сильного толчка и кинул его в жар.

— Что ж это значит, братец, я тебя спрашиваю? — повторил нетерпеливо Сергей Васильевич.

Лапша моргнул только бровями, и, как бы истратив на это движение остаток сил, он так вдруг раскис и закашлялся, что если б не ребятишки, державшие его сзади за рубашку, он, может быть, не удержался бы на ногах.

— Ничего не понимаю! — сказал Сергей Васильевич, пожимая плечами.— Полно, моя милая, не плачь, пожалуйста, успокойся! — подхватил он ласково, обратившись к Катерине и принимаясь вместе с женою упрашивать ее, чтоб она встала,— мы обещаем тебе сделать все, все, что возможно; только расскажи обстоятельно, о чем ты просишь... Слезами тут не поможешь; мы только время теряем. Как это было?

Катерина поспешно провела ладонью по глазам; но так как сердце ее слишком уже переполнилось слезами, чтоб можно было удержать их, она дала им полную свободу.

— Вот, сударь, как дело было,— сказала она прерывающимся голосом.— Перед тем, как вашу милость ждали, пришли к нам нищие, увидали они у меня мальчика и стали просить его... хотели с собой взять... они и все так-то с малолетними ходят!.. Знамо, сударыня, кабы были они люди путные или мастеровые,

я бы, ништо, послушала их; как ни жаль свое детище, отдала бы им: по крайности научился бы от них доброму делу, человеком бы стал... С нищими отпустить — все одно погубить, значит, малого: окроме худобы, ничему не научат... Как сказали мне они об этом, я возьми да и прогони их из дому...

— И прекрасно сделала, моя милая, прекрасно! Продолжай, пожалуйста! — сказали в один голос Белицыны.

— Как прогнала их, они потом где-то с мужем и встретились; меня в ту пору дома-то не было... ничего я этого не знала, — продолжала Катерина, горько всхлипывая, — стали этто они его уговаривать... денег сколько-то посулили... — На этом месте рыдания заглушили голос Катерины; минуту спустя она продолжала: — В ту пору, сударыня, нас долгами оченно стращали... вашей милости жаловаться хотели... побоялся он этого, сударыня... ну... ну... и польстился на такие ихние речи... взял да и отдал им мальчика...

— Если б я знал, сударь, что он мальчика нищим хочет предоставить, я бы, конечно, не дал ему вида, — вмешался Герасим, досадливо поглядывая на Лапшу, который казался в эту минуту изнемогающим от боли и страха, — он мне тогда ничего не сказал об этом...

— Как же ты мог на это решиться! — воскликнул Сергей Васильевич с горячностью. — Какие бы ни были твои обстоятельства, как мог ты отпустить сына с нищими, с бродягами?..

Лапша поднял голову, раскрыл дрожащие губы и вдруг заплакал, но так горько, что Александра Константиновна и за ней гувернантка отвернулись к двери и начали сморкаться, чтоб скрыть собственные свои слезы.

— Долги, сударь, — мог только проговорить Лапша, — долги... очснно стращали... совсем замучили...

— Laissez-le, mon ami... tu vois qu'il est déjà assez malheureux... c'est le malheur qui l'a conduit!..[1] — сказала Белицына, желая смягчить мужа, что было совершенно лишнее, потому что он был уже давно смягчен несчастным видом Лапши и его слезами.

— Он и сам не рад этому, сударыня, сам день и ночь убивается! — проговорила Катерина, опять да-

---

[1] Оставьте его, друг мой... ты видишь, он и без того несчастен... он поступил так с горя!.. *(фр.)*

вая полную волю рыданиям. – Матушка! сжалься над нами, вели сыскать мальчика! Все сердце о нем высохло! Помилуй! – подхватила она, снова бросаясь господам в ноги.

В этом движении Катерины не было ничего униженного и подобострастного; она не выпрашивала у барыни муки или другой какой-нибудь милости в том же роде; если падала она в ноги, так это потому, что в отчаянии своем не находила более убедительного способа вымолить у нее погоню за сыном. Оправившись несколько после этого вторичного порыва отчаянья, она передала господам о том, как нищие зазвали мужа и мальчика в лес, как воспользовались они его слабостью и одиночеством, как обманули его и силою увели ребенка; рассказ о ее двухдневных бесполезных поисках так сильно подействовал на Александру Константиновну, что она два раза прикладывала платок к глазам своим.

– Будь уверена, моя милая: все, что только можно сделать, будет сделано, – заговорил Сергей Васильевич с необычайным оживлением. – Герасим, надо будет сейчас же распорядиться, сейчас же послать верховых по всем дорогам: надеюсь, у нас найдутся для этого и люди и лошади?..

– Да, сейчас послать, послать как можно скорее, – подтвердила Александра Константиновна, ободряя Катерину движением прекрасной руки своей.

– Все это можно-с...– произнес Герасим с видом покорности, хотя вертевшиеся пальцы за спиною ясно показывали, как затруднялся он в исполнении этого намерения, – осмелюсь только доложить вам: мы теперь ничего не отыщем... прошло уж пять дней; нищие, верно, поспешили уйти куда-нибудь подальше...

– Близко ли, далеко ли, надо, однако ж, поймать их, поймать непременно! – произнес, разгорячаясь, Сергей Васильевич.

– Лучше всего, сударь, послать чем свет известить исправника; также вот становым приставам надо дать знать: это всего вернее.

– Хорошо; так завтра же чем свет чтоб это было сделано!.. Ну, полноте же плакать, полноте! – подхватил Сергей Васильевич, принимаясь вместе с женою успокаивать Катерину, – слышите: завтра все будет сделано; я сам напишу исправнику, сам попрошу его

об этом; он, верно, для меня постарается... Утрите же ваши слезы...

— Батюшка! Сергей Васильевич! отец ты наш! — воскликнула Катерина, приводя в действие приказание барина,— как благодарить тебя за твои милости?.. Мои словеса глупые, не взыщи на них... не знаю, как сказать тебе... Пускай бог воздаст тебе за все ваши милости, что нас, бедных, не оставляете!..

— Пока, моя милая, не за что еще благодарить... Входя в ваши дела, я исполняю свои обязанности,— перебил Сергей Васильевич с легким колебанием в голосе, которое показывало, что он говорил от всего сердца,— я принимаю в вас участие потому, что это мой долг, долг христианина и помещика. Для того и помещик, чтоб вникать в ваши нужды, пещись о вашем благосостоянии, поддерживать вас добрым советом... Поэтому-то собственно я и призвал вас к себе, я узнал о вашем тяжком положении, и мне хотелось помочь вам... Я вижу, вы действительно добрые, хорошие люди и заслуживаете этого...

При этом Александра Константиновна, слушавшая мужа с восхищенным вниманием, оживилась необыкновенно; слова мужа внушили ей, казалось, мысль, которая приводила ее в восторг; она подошла к француженке, шепнула ей что-то на ухо, потом пошептала Мери, и когда эти последние побежали в залу, подпрыгивая и хлопая в ладоши, она с видом внутреннего самодовольствия снова возвратилась на прежнее место.

— Вот в чем дело,— продолжал Сергей Васильевич,— я узнал, к сожалению, узнал слишком поздно, но, слава богу, поправить еще можно, узнал, какое вам было худое житье, как вы бедствовали, как преследовали вас некоторые из ваших соседей...

— Совсем, сударь, заели... как есть заели!..— неожиданно произнес Лапша, медленно приподымая правую бровь, тогда как левая оставалась на прежнем своем месте и совсем почти закрывала глаз, но все равно это показывало, что он начинал уже ободряться.

Сергей Васильевич взглянул на него, улыбнулся и продолжал:

— Знаю, знаю... Но мне известно также, Тимофей,— подхватил он наставительно,— что ты вошел в долги. Я начну с того, разумеется, что заплачу их;

но прежде скажу тебе, скажу, все равно как бы сказал это отец своим детям, что надо вперед быть осторожнее: долги никогда не доводят до добра... Сколько у тебя всего-навсе долгов?..

— Всего-то... сударь... да рублев двадцать! — проговорил Лапша с сокрушенным видом, хотя правая его бровь ни на волос не опустилась; заметно даже было, что левая начала приходить в движение.

— Двадцать! — воскликнули в один голос Сергей Васильевич и жена его,— как,— подхватил Сергей Васильевич,— и за двадцать рублей тебе не давали покоя? за двадцать рублей вас преследовали?.. Признаюсь, Герасим, я никак не думал, чтоб марьинские мужики мои были так жадны...

— Всякие есть, сударь; есть и хорошие, есть и худые,— промолвил Герасим, который впал с некоторых пор в задумчивость, не отличавшуюся, впрочем, спокойным свойством, потому что всякий, кто заглянул бы за его спину, увидел бы, что большие пальцы его вращались с непостижимою быстротою.

— Итак, я заплачу ваши долги и вообще поправлю вас совершенно; но только это с одним условием, с одним условием — слышите ли? — проговорил Белицын, поочередно взглядывая на Катерину и ее мужа,— у меня в Саратовской губернии есть луг... Отсюда всего верст четыреста, много пятьсот; я хочу вас туда переселить... Ну что вы на это скажете — а?

— Уж оченно бы это хорошо!.. Чем здесь так-то... Век стали бы за тебя бога молить! — произнес Лапша, приподымая левую бровь, так что она стала теперь в уровень с правой.

Катерина ничего не сказала; по лицу ее, наклоненному к земле, видно было, что предложение Сергея Васильевича не нашло в ней большого сочувствия: ей хотелось прежде всего, чтоб отыскали Петю; покинуть Марьинское в настоящую минуту значило отдалиться еще больше от мальчика. Будь у ней теперь Петя, она обрадовалась бы столько же, может быть, сколько и Лапша. Заметив грустное выражение ее лица, Александра Константиновна обратила на него внимание мужа.

— Я вам повторяю: этот луг всего каких-нибудь четыреста, пятьсот верст от Марьинского,— подхватил убедительным тоном Сергей Васильевич,— и, наконец, чего вам здесь? Вы видите, вас здесь не любят. Поло-

жим, вы не отвечаете за поступки вашего брата, вы нисколько не виноваты, но все-таки к вам питают неприязнь, а ведь это тяжело; главное, я тут никак уж не могу пособить вам. То ли дело, если переселитесь... я не говорю: навсегда, но на время... там посмотрим... Вы заведетесь там своим домком, хозяйством, будете жить мирно, тихо; никто не знает там ни вас, ни вашего брата; следовательно, никто и попрекать не станет... К тому же вам обоим будет там несравненно легче; ваше дело будет состоять в том только, чтоб чужие люди не травили луг, чтоб всегда в исправности содержался колодезь, чтоб гуртовщики исправно платили деньги... Это несравненно легче, чем пахать, особенно для тебя, Тимофей: ты такой больной, слабый...

Лапша закашлялся и крякнул с таким видом, как будто силился приподнять с пола огромную тяжесть.

— Одним словом, вам лучше будет там во всех отношениях; край там привольный: всего много — не то, что здесь! — продолжал Сергей Васильевич, невольно увлекаясь при мысли о саратовском луге, который решительно сделался его коньком,— вот как я вам скажу: там даже арбузы сеются, как у нас картофель; просто в поле растут...

— Уж это на што ж лучше, Сергей Васильевич?.. У нас ничего этого нетути,— заметил Лапша, стараясь принять толковый, деловой вид,— оченно бы, сударь, хорошо это было...

— Я говорю вам, что там вам будет гораздо лучше,— перебил Сергей Васильевич с чувством сильного убеждения,— избу вашу мы продадим, и вырученные деньги будут вам отданы; кроме этого, я вам еще дам, потому что там надо будет выстроить избу или мазанку, вырыть колодезь и вообще обзавестись. Уж если я взялся за что, так, конечно, буду наблюдать, чтоб вам было хорошо... Но ты, моя милая, кажется, как будто не совсем довольна? Скажи мне прямо, скажи, в чем заключается твое неудовольствие? — прибавил он, обращаясь к Катерине.

— Помилуйте, сударь Сергей Васильич, могу ли я быть недовольна! — с чувством сказала Катерина,— должна я понимать, какие вы милости для нас делаете! Отцы родные такой заботы не имеют о своих детях, как вы о нас сокрушаетесь... Оченно я довольна вашими милостями и бога должна благодарить... Одна у меня только забота,— прибавила она, опуская

глаза и вздыхая,— все о нем, об мальчике о своем думаю... Без него как словно горько мне уйти отсюда...

— Еще бы! Но ты, пожалуйста, об этом не беспокойся: завтра же чем свет будут посланы письма к исправнику и становым: мальчик твой найдется, непременно найдется, только молись хорошенько богу! — заговорили вместе барин и барыня.— Так ты, стало быть, также с охотой переселишься отсюда? — присовокупил Сергей Васильевич.

— Коли такая ваша воля, я, сударь, на все согласна... вы нам худа не желаете...— спокойно возразила Катерина.

— Mais arrivez donc! arrivez donc! on vous attends!..[1] — весело воскликнула Александра Константиновна, обращаясь к двери залы, в которой показались гувернантка и Мери, сопровождаемые горничной Дашей, или lady Furie, как называли ее Белицыны.

При первом взгляде на вошедших мысль, оживлявшая Белицыну, тотчас же объяснилась. Руки гувернантки заняты были лентами и ботинками; Мери, милое личико которой сияло таким же восхищением, как лицо матери, несла хорошенький портмоне и большую белую бонбоньерку с вычурными золотыми разводами; горничная, выступавшая позади и преисполненная более чем когда-нибудь чувством собственного достоинства, держала в руках маленький кружевной чепец, платок, стеганую кофту и еще коечто из белья; хотя все эти предметы в сотый раз находились в руках Даши, но, судя по ее взглядам, они возбуждали в ней в эту минуту чувство непобедимого презрения, такого презрения, что она поспешила даже перенести гордый, негодующий взгляд свой на крестьян, стоявших перед господами. Мысль Александры Константиновны необыкновенно понравилась Сергею Васильевичу.

— Ты меня предупредила; я только что думал об этом,— шепнул он, наклоняясь к жене, которая разбирала ленты.

До сих пор Катерина, Лапша и Маша не понимали, казалось, хорошенько намерения господ; по крайней мере на лицах их не произошло никакого изменения; яркие цвета лент и ослепительный блеск бонбоньерки произвел, по-видимому, только действие на трех

[1] Да идите же сюда! Идите сюда! Мы вас ждем!.. *(фр.)*

мальчуганов, начавших было выглядывать из-за понявы сестры и матери: все трое поспешно скрылись, как скрываются зайцы при виде сверкания огнестрельного оружия.

– Ну, это не по моей части... жена хочет кое-что подарить вам, я в это не вмешиваюсь, – с добродушною веселостью произнес Сергей Васильевич.

Он дал место жене, которая подходила с чепцом и кофтой к Катерине, взявшей у дочери своего младенца.

– Вот это тебе, моя милая... для твоего ребенка... приподыми его, я сама на него надену, – произнесла Александра Константиновна, накидывая чепец на голову младенца, который разразился вдруг неистовым воплем, – по крайней мере головка его будет теперь закрыта от солнца, – продолжала Александра Константиновна, – а вот тебе еще кофточка, чтоб закутывать его...

– Напрасно, матушка, изволите себя беспокоить... Много довольны мы и без того вашими милостями, не знаем, как и благодарить вас... Только нам этого ничего не надобно... – простодушно сказала Катерина, между тем как Лапша не переставал кланяться наотмах, что приводило всякий раз в сильное замешательство трех мальчуганов, избравших теперь местом засады пространство между выходной дверью и спиною отца.

Но Александра Константиновна не хотела слушать Катерину; она заставила ее взять платок, белье и дала ей сверх того несколько денег, взятых из портмоне, – обстоятельство, которое, неизвестно почему, особенно сильно подействовало на аристократические чувства Даши; губы ее до того сузились, что совсем почти исчезли; нос до того заострился, что если б приставить к нему лист бумаги, он непременно проткнул бы его; гордый взгляд ее, сделавшийся ядовито-насмешливым, быстро обратился к Герасиму; но взгляд пропал даром, потому что старик беседовал в эту минуту с барином. Александра Константиновна перешла между тем к Маше.

– А это тебе, моя красавица, – сказала она, подавая ей ленты, – у тебя же такая славная черная коса!

Горничная Даша машинально провела ладонью по собственному затылку, и это было очень кстати, потому что коса ее от чрезмерного потрясения гордой го-

ловы ее грозила съехать на спину, что было бы очень нехорошо, потому что затылок ее оказался бы тогда голым, как ладонь; коса у lady Furie была фальшивая.

— Madame Bélissine, comment est ce qu'il faut dire?..[1] — заговорила в свою очередь гувернантка.— Ботин! — промолвила она, подавая старые свои ботинки Маше,— ботин! пожалиста... ботин... нужна ботин!..

— Mais elles ne portent point cela...[2] — заметила, улыбаясь, Александра Константиновна.

— Oh? — воскликнула с таким комически-плачевным видом гувернантка, что Белицына, Мери и Сергей Васильевич засмеялись.

Тот только, кто вынужден был сдерживать злобно-желчный смех, поймет, сколько власти над собою должна была иметь Даша, чтобы сохранить свое спокойствие.

— Катерина, покажи нам своих мальчиков. Что это они все прячутся? — сказала барыня.

— Ничего с ними не сделаешь! — вымолвил Лапша, совсем теперь ободрившийся.— Я вас! пусти руки, говорят!.. эки шустрые! — добавил он и выставил вперед пучеглазого Костюшку, который сильно упирался ногами.

Мери, повинуясь движению матери, раскрыла бонбоньерку и поднесла ее мальчику.

— Ай! ай! ай! — закричал во все горло Костюшка, кидаясь головою вперед в поняву матери, которая выставляла вперед двух других.

Мери снова поднесла бонбоньерку.

— Ай! ай! ай! — закричали еще звонче братья Костюшки и, вырвавшись из рук матери, стремительно побросались за отцовскую спину.

— Этакие глупенькие! — смеясь, сказала Александра Константиновна и, взяв несколько конфет, отдала их Маше,— все равно, отдай их потом; скажи им, что это дает им барышня.

Лапша переглянулся с женою и дочерью, обнаруживая намерение броситься в ноги господам; но господа остановили его вовремя. Дело о переселении было уже решено, и потому Сергей Васильевич не нашел нужным говорить о нем Лапше и жене его; он сказал только, чтоб они с возможной поспешностью пригото-

---

[1] Госпожа Белицына, как это называется?.. *(фр.)*

[2] Но они этого совсем не носят... *(фр.)*

вились к сборам, и повторил Катерине, что с завтрашнего же утра начнутся действия касательно возвращения ее сына.

Когда крестьянское семейство, обласканное, обнадеженное обещаниями и снабженное подарками, покинуло прихожую, Александра Константиновна, гувернантка и Мери обнаружили желание взглянуть, как пойдет оно по двору. По этому случаю в зале открыто было окно. Группа, образовавшаяся таким образом в окне, была достойна замечания по своей полноте и разнообразию; ее составляли на первом плане: Александра Константиновна, гувернантка и Сергей Васильевич, державший Мери на руках; на втором плане: Герасим с птичьей задумчивой физиономией и заложенными за спину руками; на третьем плане Даша с гордо приподнятою головою, причесанною à la Margot, с ядовитой улыбкой на тонких губах и длинным носом, который как будто видимо и притом сам собою заострялся.

IV

ПРЕПЯТСТВИЕ

Лица (в настоящем случае было бы неучтиво сказать люди), лица, привыкшие вести в столицах светскую, рассеянную жизнь, вообще говоря редко бывают постоянны в своих вкусах и стремлениях. Предмет, вызывающий искренний вздох, возбуждающий живейшее участие или располагающий к порыву веселости, встречает иногда, по прошествии самого короткого срока, полнейшее равнодушие. Это происходит оттого, кажется, что светская столичная жизнь представляет слишком много впечатлений. Упрекать светского человека в непостоянстве вкусов и переменчивости — то же самое, что упрекать бабочку, которая потому только и перепархивает с цветка на цветок, что цветов рассыпано перед ней миллионы. Посадите бабочку в клетку и дайте ей один цветок: она, без сомнения, просидит на нем очень долго, пока не высосет из него всего соку. Светский человек едет в театр, нетерпеливо устремляет глаза на сцену и через полчаса зевает или рассматривает хорошеньких соседок. Повезите провинциала в зверинец Зама: он будет говорить

об этом пять недель сряду. Все это в порядке вещей.

Но хотя Белицыны жили постоянно в столице и вели светскую, рассеянную жизнь, однако все сказанное нами нимало к ним не относится — ни на волос не относится; нет, не таковы были Белицыны!

После того как ушло крестьянское семейство, Сергей Васильевич и Александра Константиновна так же горячо говорили о нем, как если б оно находилось перед ними; но этого мало: участие их не ограничивалось словами. Тотчас же после чая Сергей Васильевич отправился писать письмо исправнику; Александра Константиновна приказала принести себе холста, ниток, иголок и с помощью гувернантки принялась кроить кофты, чепчики и рубашонки детям Катерины. Даже маленькая Мери с таким усердием села обметывать рубец, что невольно хотелось поцеловать ее в хорошенькую белокурую головку.

План переселения Лапши в саратовский луг и устройства там колодца и мазанки немало также занимал Сергея Васильевича. Написав письмо исправнику, он сделал маленькую смету «о вероятных доходах», которые принесет луг: смета оказалась в высшей степени удовлетворительною. Все подтверждало мысль Сергея Васильевича, что переселение должно быть совершено со всевозможною поспешностью. Так он и думал сделать, но, к сожалению, не так сделалось.

Проект о переселении сменился совершенно неожиданно и даже совершенно независимо от Сергея Васильевича проектом об устройстве сельской больницы. Это произошло вот по какому случаю: на другое утро, когда письмо к исправнику было отослано, Сергей Васильевич отправил к Лапше Агапа Акишева; ему хотелось узнать, делаются ли там какие-нибудь приготовления к отъезду. Через пять минут посланный вернулся с отрицательным ответом.

— Сам я не видел, сударь, — подхватил Акишев, — а только сказывают: очень, то есть, разнемогся.

— Кто разнемогся?

— Тимофей, сударь; всю ночь, то есть, жаловался, а теперь так даже встать никак, то есть, не может...

Доброе лицо Сергея Васильевича изобразило в одно и то же время сожаление и досаду: он взял свою пастушескую шляпу и, сопровождаемый Гераси-

мом, направился к избе Тимофея. Катерина повела их в клеть, где лежал ее муж.

— В ночь, сударь, схватило; думали, уж совсем помрет,— сказала она,— сначала на грудь жаловался: «дух, говорит, не переведу», потом и весь разнемогся, отнялись руки и ноги; даже владать ими не может...

— Ну, а теперь как? — заботливо спросил помещик.

— Теперь как словно полегчило маленечко; заснул.

— Тсс... ну, так оставь его, пускай спит! — шепнул Сергей Васильевич, останавливаясь у дверей клетушки.— Странно, что это так вдруг случилось... Впрочем, я вчера еще заметил: он был не совсем здоров.

— Он уж давно, сударь, на грудь жалуется,— возразила Катерина.— Пять дней тому, как мальчика-то моего... вот что я вам, батюшка, сказывала... он в овраг упал, расшибся добре... должно быть, не через это ли теперь мучится...

Сергей Васильевич приказал дать знать, когда Лапша проснется, и вышел на улицу.

— Надо будет тотчас послать в уездный город за доктором,— сказал он, оборачиваясь к управителю.

— Слушаю-с.... Осмелюсь только доложить, Сергей Васильевич, напрасно, сударь, изволите себя беспокоить: доктор ничего здесь не сделает... напрасно деньги отдать изволите...

— Прекрасно! пре-е-красно! — воскликнул с горячностью Белицын.— Надо, следовательно, предоставить этого человека на произвол судьбы: пускай он страдает, пусть умрет даже — не так ли, а?.. Это удивительно, что за народ! Удивительно, удивительно! — подхватил он, досадливо надвигая на глаза пастушескую шляпу.

Герасим Афанасьевич замялся.

— Я, то есть, в том рассуждении, Сергей Васильич, что они доктора не послушают,— сказал он,— уж это, сударь, народ такой; никаким манером не сообразишь с ним... Эти случаи уж бывали: доктор скажет, то и то надо исполнить — они ничего этого не сделают; уж это, сударь, верно! Они пойдут к какой-нибудь ворожее, своей же бабе, ей поверят, а доктора ни за что, сударь, не послушают.

— Но ведь должны же они понимать, что доктор человек ученый, что он всю свою жизнь занимается

лечением, тогда как баба какая-нибудь ничего не смыслит и только плутует...

— Они этого, Сергей Васильич, не берут в рассужденье. Иной втрое передаст против того, что взял бы доктор... да дело не в счете; положим, хошь бы через эфто какую пользу себе получил, а то ведь другой раз на всю жизнь несчастным остается... и все-таки, сударь, пойдет скорее к ворожее, чем к доктору. Вот, я вам доложу, прошлую осень какой был случай: вижу я, захромал кузнец; поглядел — так, рана маленькая от обжоги; приложил я ему сала; через три дня совсем заживать стала; прошла неделя — не видно кузнеца; спрашиваю, говорят: ноги лишился. Я к нему; точно: ногу, как бревно, разнесло, смотреть так даже ужасно... Что ж? ведь признался: у ворожеи был; «думал, — говорит, — скорее заживет!». Она возьми да и намажь ему рану-то скипидаром — просто всю ногу разъело! Насилу, сударь, вылечили... То ли еще делают! купорос к ранам прикладывают, мышьяком присыпают...

— Это ужасно! — сказал Сергей Васильевич, раскланиваясь очень сухо с проходившими мимо него бабами и мужиками и как бы желая дать почувствовать, что не совсем-то ими доволен. — Так, однако ж, никак нельзя оставить, — примолвил он, — этак вся деревня превратится в калек.

— Выздоравливают, сударь! — спокойно возразил Герасим. — Русский человек крепок! Благодаря бога, у нас в Марьинском все теперь здоровы, кроме вот Тимофея, и между тем все, сударь, спокон веку у ворожеек лечатся...

— Это не резон! Если до сих пор не произошло несчастия, то можно ожидать его. Надо будет непременно принять меры, — примолвил Сергей Васильевич тоном, который показывал, что он сильно углубился в самого себя.

Вернувшись домой, он прошел прямо в кабинет, взял лист бумаги и надписал сверху: «Проект марьинской больницы» и принялся выставлять цифру подле цифры. Предположено было сначала устроить десять постелей. Но заключительный счет, в который вошли расходы постройки, наем фельдшера, покупка медикаментов и содержание больных, был так велик, что число постелей убавлено было тотчас же наполовину. Цифра все-таки превышала ожидания Сергея Василье-

вича; но это его не остановило: набросав карандашом легкий план постройки, он понес его к жене. С первых слов мужа Александра Константиновна протянула ему обе руки свои.

— У тебя всегда такие славные идеи, Серж! — сказала она радостно, глядя ему в глаза. — Я сидела здесь и думала именно: что, если б все мы жили больше в своих деревнях, ближе бы знакомились с сельским бытом... сколько добра можно сделать! сколько пользы! И как все это легко: стоит только чуть-чуть себя принудить. Принужденье даже совсем нетрудное: сельская жизнь имеет также свою приятную сторону, свою поэзию... Вот хоть бы теперь эти безделицы! — присовокупила она, приподымая пеструю ситцевую шапочку, предназначавшуюся для младшего ребенка Катерины. — Ты представить себе не можешь, сколько мне это доставляет удовольствия!.. Одна мысль, что бедные эти люди будут счастливы, радует мое сердце. Ах да, кстати: что поделывают наши protégés[1]?..

— У наших protégés не совсем ладно...

— Ах, боже мой! что ж такое?

— Тимофей очень болен...

— Qu'arrive-t'il à Timothée?[2] — с оживлением спросила гувернантка.

Сергей Васильевич рассказал о прогулке своей и передал все слышанное от Катерины. Участие, высказанное при этом гувернанткой, сделало бы величайшую честь ее доброму сердцу, если б не было чересчур уже сильно. Она слушала Сергея Васильевича с таким же почти выражением, как должен был слушать Тезей рассказ о несчастиях сына своего Ипполита. Она предложила сделать тотчас же для больного de la tisane[3], а в ожидании этого снадобья послать ему чашку бульона; но Сергей Васильевич сказал, что все это лишнее, что он сделал уже самое необходимое распоряжение, а именно, послал за уездным лекарем.

Слово «лекарь» по тесной связи своей с больницей направило мысли Александры Константиновны к новому проекту мужа. План и смета были тотчас же представлены на ее рассмотрение. Все это привело ее в восхищение, хотя она и заметила, что Сергей Ва-

---

[1] Протеже *(фр.)*.
[2] Что случилось с Тимофеем? *(фр.)*
[3] Лекарственное питье *(фр.)*.

сильевич поступил в этом случае несколько эгоистически.

— Ты, Serge, думал только о своих мужиках и совершенно забыл моих добрых баб,— сказала она.— Ты как будто удалил меня от доброго дела; но я также хочу принять в нем участие; я хочу, чтоб и моим бабам было место в больнице; необходимо также, чтоб были две-три постели для больных детей.

— Все это прекрасно; но тогда нужно устроить двенадцать постелей.

— Ну да, конечно; если уж делать, так делать.

Сергей Васильевич показал счет; сумма была очень значительна; но все-таки не следовало из этого, чтоб строить больницу для одного мужеского пола: это было бы крайне несправедливо. Решено было посоветоваться с уездным лекарем.

Лекарь приехал вечером. Белицыны не ожидали его так рано; вообще говоря, приезд лекаря был для них во многих отношениях приятным сюрпризом; лекарь оказался очень милым и образованным человеком; он успокоил их совершенно насчет Лапши. Болезнь мужика была следствием падения и ушиба; онемение в членах происходило оттого, что ему не пустили кровь в свое время; теперь все уже сделано, и лекарь надеялся, что в скором времени последует выздоровление. Что ж касается до проекта о постройке больницы, уездный эскулап одобрил его как нельзя больше.

— Это было бы истинное благодеяние,— сказал он,— но о размерах вашего плана ничего не могу сказать: размеры находятся в полной зависимости от средств помещика. Впрочем, богатым людям все возможно, — заключил он, сопровождая слова свои наклонением головы и взглядом, который окончательно расположил к нему Белицыных.

С этого вечера больница сделалась любимым предметом беседы Сергея Васильевича; здание вырастало с каждым часом в воображении предприимчивого помещика, но с каждым часом все более и более заслоняло, по-видимому, саратовский луг: Сергей Васильевич заметно охладел к последнему; семейство Лапши было передано на руки Александры Константиновны. «Что могут значить отдельные личности, когда имеется в виду общественная польза?» Такова, если не ошибаюсь, была настоящая мысль Сергея Васильевича.

Но Александра Константиновна не имела ни малейшего понятия о политической экономии: она продолжала заниматься своими protégés с истинно материнскою заботливостью. Агапу Акишеву вменено было в обязанность узнавать каждый день о том, как идет выздоровление Лапши; каждый раз, когда вставали из-за стола, Александра Константиновна посылала больному супу; гувернантка присоединяла к этому ломоть белого хлеба; когда Лапша стал поправляться, суп заменился котлеткой, хлеб – стаканом красного вина, необходимого, как говорила бордоская уроженка, для подкрепления сил больного. Все это опять-таки поручалось Агапу Акишеву, что, мимоходом сказать, начинало делаться для него невыносимым.

Дворовые не давали ему проходу с Лапшою; особенно сильно смеялись те, которые, считая себя во всех отношениях достойными служить господам, были, однако ж, удалены в пользу Агапа. «Что, взял! – говорили ему, – хвастал, хвастал – что, какой авантаж получил? Вот те и барский лакей, к какой должности приставили: служишь по винной части землемером!» Отправляясь к Лапше с супом, Агап испытывал невыносимые пытки: едва ступал он на улицу, как уж из лабиринта, где жили дворовые, раздавались хохот, фырканье, ядовитые восклицания: «Иди скорей! – кричали ему, – суп простынет: Лапша любит горячий; он тебе хохол-то намнет!» – «Эй, слышь, Агап! кланяйся госпоже Катерине, целуй у ней ручки; о здоровье спроси!» Или тоненький голосок запевал вдруг из-за угла:

У дородного, добра молодца
Много было на службе послужено:
С кнутом за свиньями похожено.

Каждое из этих слов вонзалось, как шило, в оскорбленное сердце Агапа. Известно, против жара и камень треснет. Агап был далеко не каменный; он так возненавидел все, что хоть сколько-нибудь прикасалось к Лапше, что, встретив раз на дороге пучеглазого Костюшку, надавал ему тузов без всякой видимой причины. Ненависть, разжигаемая насмешками товарищей, усиливалась в нем с каждым часом; он не смел, однако ж, выказывать ее слишком явно, опасаясь жалоб Катерины. Придет в избу, швырнет хлеб, пихнет суп – и только; но, поощренный смирением

и молчанием врагов своих, он обнаружил вскоре настоящие свои чувства. Неделю спустя после того, как захворал Лапша, посещения с супом не столько уже тяготили Агапа, сколько Катерину; она ни на волос не отступала, однако ж, от своего обычая: молчанием отвечала на выходки раздраженного Акишева. Точно так же поступала она в отношении к другим жителям Марьинского, которые и прежде ей недоброжелательствовали, а теперь решительно ее преследовали. Появление Катерины на улице пробуждало бранные слова и ропот. «Вот оно что: из последних стали первыми! — говорили мужики и бабы, — вот что подольщаться-то значит! Ишь как подъехали? Прежде христарадничали, у собак хлеб отнимали, теперь с барского стола едят... Кругом оплели господто!..» — «А вы думаете как? рази спроста? знамо, что оплели!» — подхватывал всегда кузнец Пантелей, главный зачинщик всех этих толков: «Они только для виду мальчика свово нищим отдали; тем временем, как два-то дни пропадала — к ворожеям ходила: те, знамо, и научили приманкам всяким. Кабы не это, господа первым делом сослали бы их отселева, потому что им известны все ихние мошенничества, что одну руку, примерно, с братом-разбойником держат... А наместо того, их же благодетельствуют... Знамо, неспроста, все через колдовство; дай им срок, они не то еще сделают!..» Толки эти приняли чудовищные размеры, когда барыня, ее дочь и гувернантка, возвращаясь с прогулки, два раза сряду лично навестили Катерину. В то время, как господа находились в избе, на задворках Марьинского происходила такая же почти беготня, как когда помещики въезжали в околицу. Разговаривая с Катериной, Александра Константиновна не могла не заметить грусти и смущения на лице бабы; но сколько она ни расспрашивала, Катерина молчала.

— Тебе, может быть, не хочется расставаться с Марьинским — я это понимаю, моя милая, — сказала, наконец, барыня, — грустить в таком случае не о чем; ты только прямо скажи мне: я поговорю с Сергеем Васильевичем, и он — я в этом уверена — не захочет переселять вас против воли.

— Нет, сударыня, — возразила Катерина с пугливым каким-то оживленьем, — нет, уж если такая ваша милость, вы уж лучше переселите нас. Мы, су-

дарыня, этим не обижаемся; мы всей душой рады этому. Мы еще прежде, матушка, хотели вас трудить этим... завсегда этого желали; по крайности, мы там вашей милости пользу принесем, трудиться станем, да и самим лучше будет. Здесь, коли так нас оставите, станут нам только завидовать... попрекать станут вашими милостями...

— Как это можно! Неужели здесь такие злые?

— Не по злобе, матушка, а так, по глупости по своей, по зависти! — со вздохом проговорила Катерина. — Всякий, знамо, себе добра желает; обошли его, другому досталось — ну, он и досадует... Нет уж, сударыня, сделайте такую божескую милость, ослобоните нас! — убедительно подхватила она, — век, матушка, станем за вас бога молить...

Обманутая в своих ожиданиях, но радуясь в душе своей ошибке, потому что боялась огорчить мужа, который ни за что бы не решился переселить крестьян против воли, Александра Константиновна старалась успокоить Катерину насчет Пети. К сожалению, она не могла сообщить много утешительного. О мальчике не было до сих пор ни слуху, ни духу. Впрочем, надежды терять никак не следовало: исправник в ответе своем ясно высказал, что сделает все возможное, чтоб только угодить Сергею Васильевичу. Но потому ли, что несчастие делает недоверчивым, или по другим причинам, которых Катерина не хотела открыть барыне, она оставалась неутешною, и выразительное лицо ее продолжало сохранять все признаки глубокой, внутренней скорби.

V

ДЕЛО ОПЯТЬ ПОШЛО НА ЛАД

Александру Константиновну не шутя начинало огорчать, что Петя так долго не отыскивался. Ей так приятно было бы сообщить Катерине приятную весть! Не проходило часа, чтоб маленькая Мери не спрашивала: «Нашли ли мальчика?» Дело в том, что ей собственно предоставлено было удовольствие передать бедной матери радостное известие.

Нетерпение Александры Константиновны объяснялось еще другой причиной: она не сомневалась, что

возвращение Пети развлечет, рассеет Сергея Васильевича, который вот уж пятый день ходил с задумчивым видом и был, очевидно, не в духе. Александра Константиновна не ошиблась: Сергей Васильевич, точно, нуждался в рассеянии. Он находился в положении человека, который долго питает в душе какую-нибудь мысль и вдруг видит необходимость с ней расстаться. После первой беседы с Герасимом касательно устройства больницы он убедился, что план его осуществиться никак не может. Старик словно ждал этого случая, чтоб раскрыть перед барином настоящее положение марьинского хозяйства. Едва Сергей Васильевич заговорил о больнице, Герасим выставил ему на вид кровлю овина, которая грозила упасть на голову работникам. Сергей Васильевич сказал, что одно не мешает другому: можно выстроить больницу и починить кровлю. Герасим ловко перешел тогда к скотному двору, требующему поспешной поправки; Сергей Васильевич заметил, что для него здоровье крестьян всего дороже. Герасим совершенно согласился, но тут же начал распространяться о хлебных амбарах и закромах, которые, благодаря ветхости, пропускали со всех сторон сырость, так что мука, пролежав там месяц, превращалась в камень. Переходя таким образом от одной развалины к другой (а таких нашлось в Марьинском великое множество), старик имел очевидное намерение нанести решительный удар не только больнице, но даже всем остальным проектам: увеличению пруда, постройке беседки, перемещению служб, превращению красного двора в английский сквер и проч.

Не знаю, в какой степени старый управитель достиг своей цели, но только с этого дня Сергей Васильевич впал в задумчивость и перестал говорить о своих проектах. Проекты эти были главными возбудителями деятельности, выказанной им до этого времени; лишившись их, он сделался вдруг страшно равнодушным в отношении ко всему Марьинскому. Существование помещика-хозяина, представлявшееся Сергею Васильевичу в таком поэтическом свете, явилось перед ним во всей прозаической наготе своей. «Действительно, прежде чем строить новые здания, надо поправить старые,— думал он:— в деревне неуклюжий какой-нибудь хлебный амбар действительно полезнее беседки, потому что хлеб... словом, Герасим прав... Все это, однако ж, страх скучно... надо признать-

ся!..» — заключал он, бросая разочарованные взгляды на двор и окружающие его постройки, крытые соломой. Дни начинали казаться ему невыносимо длинными; им овладела скука и апатия, которую напрасно старалась разогнать Александра Константиновна. Катанье в лодке, прогулки в длинных дрогах, чай в лесу и другие сельские увеселения, придуманные ею для развлечения мужа, развлекали только гувернантку и Мери. Сергей Васильевич раза два был на скотном дворе, где ставили стропилы и выстилали кровлю; но все это показалось ему так незанимательным, что он туда уж не возвращался.

Скука между тем усиливалась, и бог знает, чем бы все это кончилось, если б не одно обстоятельство, которое снова воскресило заснувшую деятельность помещика. Лапша выздоровел. Сначала известие это принято было Сергеем Васильевичем очень равнодушно, но, казалось, ему стоило даже некоторого усилия, чтоб уступить жене, которая явилась в кабинет с веселым лицом и звала его взглянуть на Лапшу.

Выздоровление Тимофея не произвело большой перемены в его наружности: он, казалось, укрепился скорее духом чем телом; по крайней мере брови его так высоко теперь подымались, что между ними и корнями волос оставалась только тоненькая морщинистая полоса мяса.

— Очень рад, очень рад, мои милые, — рассеянно проговорил Сергей Васильевич, кивая головою Катерине и ее мужу, — очень рад... Вот я слышал, вы лечиться не хотите, ходите к каким-то ворожеям, которые вас только обирают, — примолвил он холодным тоном упрека, — вот что значит, однако ж, леченье, что значит доктор: видишь, ты теперь на ногах! Если б была у нас больница в Марьинском и тебя положили б туда, как только ты занемог (брови Лапши задвигались беспокойно), ты тогда поправился бы еще скорее...

Катерина и ее муж, успевший снова ободриться, начали благодарить Сергея Васильевича за попечение.

— Меня не за что, решительно не за что; благодарите барыню: она о вас заботилась, — произнес помещик, поглядывая в окно.

Поклонившись Александре Константиновне, Катерина остановила на ней нерешительные глаза и, наконец, сказала:

— Когда ж, сударыня... когда прикажете собираться?

— Ах, да! — перебил Сергей Васильевич, — ну что?.. как?.. подумали ли вы, о чем я тогда говорил вам?

Катерина упала ему в ноги; Лапша как будто этого и ждал: он последовал примеру жены с особенною торопливостью. Из слов их делалось ясным, что они крепко обдумали предложение барина и рады отправиться хоть сию минуту.

— Хорошо, очень рад. Я переговорю об этом с Герасимом. Во всяком случае, приготовляйтесь к отъезду... приготовляйтесь...

Сказав это, Сергей Васильевич отпустил крестьян и направился в кабинет. Оставалось еще два часа до обеда; он отыскал записку о саратовском луге и от нечего делать стал поверять сделанные прежде вычисления. Как уж сказано, «вероятные доходы», которые мог приносить луг, превышали ожидания помещика; в занятии этом он не нашел, следовательно, ничего скучного; напротив, все подтверждало, что мысль о переселении была практическая мысль и сделала бы честь любому хозяину. «Надо, однако ж, заняться и кончить это дело», — подумал Сергей Васильевич, когда его позвали обедать. Во время обеда он был разговорчив и вообще казался веселее, чем в последние пять дней. Беседа сделалась еще оживленнее, когда все расположились на террасе. Александра Константиновна точно угадала причину, которая подействовала на мужа: она с особенным жаром и увлечением говорила о саратовском луге.

— Да, — сказал Сергей Васильевич, откидываясь на спинку стула, — я очень рад, что мне пришла эта мысль; я решительно не вижу причины жертвовать этим лугом в пользу госпожи Ивановой... Karassin (Александра Константиновна, Мери и гувернантка засмеялись) очень добрый, почтенный и честный человек, mais c'est une poule mouilée[1] — мокрая курица! и притом им, как, впрочем, вообще всеми ими, управляет рутина. Он ничего не говорил мне об этом, но, я уверен, он не одобряет моей мысли; а отчего, спроси: оттого, что боится истратить каких-нибудь двести рублей, необходимых для переселения, а между тем луг, надо тебе сказать, приносит восемьсот рублей!

---

[1] Но это мокрая курица *(фр.)*.

Но они все таковы: держатся за гривенник и пропускают целковые. Рутина! рутина!.. А между тем кричат: хозяйство! хозяйство!.. Хозяйство заключается в общих соображениях доходов, а не в мелочах каких-нибудь. Нет, не шутя, я очень рад этой мысли.

— Я, Serge, вдвойне ей рада,— весело подхватила Александра Константиновна,— деньги сами по себе; но мысль эта дала еще тебе способ сделать истинно доброе дело: эти бедные люди будут там так счастливы!..

— Oh, mon Dieu, oui![1] — воскликнула гувернантка, складывая с умилением руки и подымая восторженные глаза к небу.

Коснуться при mademoiselle Louise предмета, который сильно занимал ее воображение,— значило почти то же, что приложить огонь к фейерверку. Она заговорила вдруг с такою уверенностью о счастии, ожидавшем семейство Лапши, как будто ее неожиданно намагнетизировали и она говорила в восторженном экстазе сомнамбулизма. Свежий воздух лугов, запах цветов должны были, по словам ее, тотчас же расширить грудь Лапши, укрепить его легкие и разлить румянец на бледных щеках всех членов его семейства. Зрение Лапши (он, как уж сказано, слабо видел, и во время его болезни гувернантка неоднократно посылала ему смесь из чая, рома и розовой воды для примочки), зрение Лапши, постоянно устремленное к бескрайнему горизонту степи, должно было получить силу. Она завидовала пучеглазому Костюшке, который, подобно степному орленку, будет расти и развиваться посреди дикой свободы. Самый дух Катерины, ее детей и мужа должен был воскреснуть и возвыситься в виду широкого, величавого простора лугов. Она привела в пример Патфайндера и напомнила Белицыным поэтические американские степи Купера. Самая обыкновенная мысль, попав в воображение бордоской уроженки, мгновенно вспыхивала, расширялась, как пороховой газ, производила действие взрыва и, смотря по содержанию своему, повергала ее в восторг, в отчаяние или в неистовую детскую радость; она ни о чем вообще не могла говорить, ничего не могла делать без увлечения и сильных порывов. Она прикладывала страсть даже тогда, когда делала вместе

---

[1] О, боже мой, конечно! *(фр.)*

с Мери песочные пирожки и выводила на них самые замысловатые узоры. Случалось ей бежать с диким криком через все комнаты, держа в руках муху, которой хотела дать свободу (в доме было множество пауков); освободив la malheureuse[1], она долго следила за ее полетом и радостно била в ладоши. Утенок, унесенный коршуном, повергал ее в такой ужас, что можно было думать, что с Мери произошло несчастье.

Белицыны знали очень хорошо восторженные свойства гувернантки; но тем не менее она увлекла их яркостью своих описаний: картина поэтических лугов Купера произвела на них особенно сильное впечатление.

— Луга! луга!.. В луга, когда так! поедемте же в луга! — воскликнули в один голос Сергей Васильевич, его жена и дочь. — Вели закладывать длинные дроги: мы едем в луга! — подхватил Сергей Васильевич, когда на звон его явился лакей.

В один миг дамы поднялись и пошли одеваться. Сергей Васильевич последовал их примеру с живостью, которой давно уж не выказывал.

Полчаса спустя все сидели в длинных дрогах и ехали по направлению к мельнице, за которой начинались превосходные заливные луга Марьинского. Принимая в соображение восторженное настроение духа и нетерпение, с каким ждали все появления луга, надо было думать, Белицыны пробудут там по крайней мере до солнечного заката. Оно бы, вероятно, так и было, если б не Сергей Васильевич. Едва Александра Константиновна, гувернантка и Мери успели составить себе по букету, как уж лицо его выразило озабоченность; он обнаружил желание вернуться скорей домой; ему жаль было расстроить прогулку, но вместе с тем видно было, что его побуждала к этому очень важная причина.

— Все это прекрасно, c'est charmant[2], я совершенно разделяю ваш восторг, — сказал он, бросая быстрые, но, очевидно, рассеянные взгляды по окрестности, — но все это напоминает другой луг, о котором мы совершенно забыли. Ты знаешь мое правило: никогда не откладывать дело в долгий ящик, и, наконец, дело прежде всего. Я совершенно выпустил из виду одно обстоятельство и теперь только вспомнил: прибли-

---

[1] Несчастную *(фр.)*.
[2] Это прелестно *(фр.)*.

жаются Петровки; надо как можно скорее отправить это семейство, в противном случае госпожа Иванова наделает там дела...

— Что такое Петровки? — спросила Александра Константиновна, поглядывая на суетливо-озабоченное лицо мужа, который махал кучеру, чтоб он подъезжал.

— Петровки — это время покоса, — торопливо возразил Сергей Васильевич. — Если мы замешкаем с нашими переселенцами, луг будет скошен, — добавил он, кидая нетерпеливые взгляды по направлению к Марьинскому.

— Как ты все это знаешь? — проговорила жена.

— Il le faut bien, ma chère![1] Это азбука нашего брата, хозяина, — проговорил Сергей Васильевич, краснея от внутреннего удовольствия.

Деятельность его, охлажденная доводами Герасима, пробудилась тем сильнее, чем долее находилась в усыплении. Въезжая во двор, Сергей Васильевич крикнул, чтоб ему тотчас же, не медля ни минуты, позвали управителя. Дело о саратовском луге изложено было так быстро, и так много видно было со стороны Сергея Васильевича желания, чтоб переселение совершилось скоро, что старику Герасиму оставалось только вертеть пальцами за спиною. Но дух прямоты и противоречия, отличавший старика, и тут-таки взял свое: он выразил сомнение, чтоб можно было на другой день найти покупщика на избу Лапши, которую Сергей Васильевич хотел продать с тем, чтоб на эти деньги отправить переселенцев.

— Вечные затруднения! — воскликнул помещик. — По-твоему, надо, стало быть, ждать покупщика, а между тем Иванова скосит луг. О-о, очень хорошо! славное распоряжение!.. Оценить избу, выдать им деньги из конторы, а там, когда продадут ее (тут Сергей Васильевич обратился к входившему лакею и велел как можно скорее позвать Тимофея и его жену), а там, — подхватил он, обратившись к Герасиму, — продадут избу, деньги опять вернутся в контору — не все ли это равно?

Через десять минут объявлено было Лапше и Катерине, чтоб они как можно скорее приготовлялись в путь. Узнав о времени, которое потребуется им для сборов, Сергей Васильевич спросил у Герасима, сколь-

[1] Это необходимо, дорогая моя! *(фр.)*

ко дней приблизительно нужно, чтоб доехать до саратовского луга. Оставшись, по-видимому, очень доволен ответами, он отпустил крестьян и управителя и принялся писать объяснительное письмо госпоже Ивановой.

VI

РАССТАВАНЬЕ

На другой день, как только Сергей Васильевич проснулся, первым делом его было послать к Лапше Агапа Акишева: ему хотелось узнать, как идут сборы.

— Приготовляются, сударь, — сказал Акишев, на глупом лице которого нельзя было не прочесть радости.

Но радость была преждевременная: в этот день Сергей Васильевич посылал его по крайней мере раз двадцать к Тимофею.

Сборы продолжались всего два дня, благодаря тому, вероятно, что собирать почти было нечего. Наступил день, предшествовавший отъезду. Семейство Лапши собралось в прихожую, чтоб проститься с господами.

Следуя совету Герасима и также собственным соображениям, Сергей Васильевич поручил все бумаги касательно луга, письмо помещице Ивановой и все деньги Катерине. При этом Лапша, протянувший уже руку с самым деловым видом, меланхолически опустил брови; но он снова поднял их, когда барин обратился к нему и сказал, что собственно *ему* поручает надзор за лугом и полагается на него в этом деле, как на самого себя. Это, очевидно, польстило Лапше, и во все время, когда барин объяснял ему его обязанности, он глядел совершенным молодцом. Барыня, ее дочь и француженка наделяли между тем Катерину и ее детей подарками. Наконец господа поцеловали каждого из присутствующих (все это не обошлось, разумеется, без крика со стороны Костюшки и других ребятишек), простились с крестьянами и, несколько растроганные, вышли на террасу.

В тот же день, после солнечного заката, Александра Константиновна, сопровождаемая гувернанткой и Мери, гуляла по саду. На повороте аллеи они встре-

тили Катерину; встреча была так неожиданна, что все три вскрикнули; Катерина упала в ноги барыне, и смущение ее на этот раз было так велико, что долго не могли добиться от нее толку. Наконец она сказала, что пришла сказать о пропавшем сыне; она целовала руки и ноги барыни и всячески заклинала ее не оставить Петю в Марьинском в случае, если он отыщется; она умоляла отправить его к ним, в степь. Александра Константиновна дала слово исполнить просьбу; она хотела вести бабу к мужу, полагая, что слово Сергея Васильевича окончательно ее успокоит; но Катерине достаточно было слова барыни. Прежде чем Александра Константиновна успела повторить ей свое обещание, она уже скрылась.

Было совершенно темно, и на улице мало уже встречалось народа, когда Катерина подошла к избе своей. Она готовилась уже отворить ворота, но в самую эту минуту услышала голос мужа и вслед за тем голос соседки. Это ее озадачило: соседка давно находилась с ними в разладице. Катерина обогнула избу и вошла в переулок. Близость места и окрестная тишина позволили ей слышать каждое слово.

— Да, тетка Матрена, даже из собственных рук целовал меня... вот в эвто само место,— повествовал Лапша.— Я,— говорит,— располагаюсь,— говорит,— на тебя, Тимофей, братец ты мой, все одно что на себя,— говорит,— распоряжайся, как знаешь... Как управителя, значит, туда посылает — все едино.

— Счастье вам, счастье! — поддакнула шепелявым голосом соседка.

— Ну так же вот хлопот оченно много, оченно хлопотливо! — продолжал Лапша озабоченным тоном,— имение большущее: одних арбузов четыреста десятин сеют...

— Ахти, касатики!.. Ну, счастье вам!.. Значит, чем-нибудь угодили перед господами?..

— Главная причина, тетка, почему, что сам до всего доходит. Я,— говорит,— не верю про кого худо говорят; для людей худ, для меня хорош,— говорит... Вижу, примерно, какой ты есть такой человек, потому и даю тебе распоряженье... за то,— говорит,— что терпел от людей напраслину, значит, за твою добродетель...

— Нет, не за то! — крикнула Катерина, неожиданно появляясь в огороде,— за то нас высылают, что ху-

же мы всех,— вот за что! За худобу нашу, а не за добродетели! Хорошие люди, кто трудится, работает, те все здесь остаются: они господам надобны. Худые, лежебоки вон отсылаются: луг стеречь, а не вотчинами править.

— Так-то вернее, Лапша! — смеясь, воскликнула соседка и удалилась.

Лапша кряхтел, корчился и щурился.

— Господи! отыми ты лучше мою жизнь, чем мне так-то мучиться! — сказала Катерина, досада которой перешла вдруг в тоску.— Двадцать лет терплю, двадцать лет нет мне спокою... Ни разума, стало быть, нет в тебе, ни совести! — подхватила она, обращаясь к мужу.— Ну, что ты здесь рассказываешь — а? Мало, значит, было мне через тебя горести? Хошь бы о ребятах-то о своих подумал, хошь бы для них помолчал! Нет, нет в тебе ни совести, ни разума!

— Ну, что шумишь-то? что шумишь? — пробормотал Лапша.

Но видя, что жена не унимается, махнул рукою и медленно поплелся к риге; он потряхивал головою с таким видом, как будто говорил себе: «Не стоит связываться: самая, что ни на есть, пустяшная баба!»

Сердце бедной женщины так было переполнено горестями всякого рода, что в нем не оставалось места для другого чувства. Досада против мужа исчезла, как только он скрылся из виду. Она вошла через задние ворота во двор; но тут слух ее был встревожен затаенным всхлипыванием. Подойдя к крыльцу, она увидела дочь. Маша сидела на последней ступеньке и, закрыв лицо руками, в три ручья разливалась.

— О чем это ты, дитятко? — вымолвила Катерина ласковым, но твердым голосом.

Маша заплакала еще горче.

— Полно, дитятко,— сказала мать, притрогиваясь к руке дочери.— Ну, о чем?.. Вот у меня годов-то втрое больше твоих: стало, втрое больше привыкла я к здешним местам, а видишь, я ничего... я не плачу...— заметила она, плотно сжимая свои губы, между тем как судорожно дрожавшие ноздри ясно показывали, каких усилий ей стоило, чтобы не примешать к слезам дочери своих собственных.— Полно, дитятко; надо еще нам переговорить с тобою о Дуне... слышь...

— Слышу, матушка,— вымолвила Маша, приподымаясь и не давая себе труда утереть глаза.

Она чувствовала, что будет напрасно: слезы не из глаз текли, из сердца – пальцами не удержишь.

– Слышь, как нам теперь с Дуней-то управиться? Хлопотливо будет, – продолжала Катерина, – надо как-нибудь придумать уговорить ее, потому что здесь оставить, значит, только грех принять на душу на свою. Господа хоша и сулили оберегать – слово их крепко, да ведь они не век жить будут в Марьинском; без них да без нас заедят сердечную, потому что злоба против нас большая, против всего нашего рода. Вишь она простая какая, словно дитя малое; ребятишки, и те грязью закидают. Боюсь, не пойдет она с нами, коли так, спроста сказать. Разве вот что сказать: «За Степкой, мол, господа посылают», – ты так-то поговори с ней, а я потом скажу, как надоть будет ехать...

Во всю эту ночь Катерина и Маша не смыкали глаз; хотя весь домашний скарб, все целые горшки (их было мало) уложены были на подводу, которая стояла под навесом вместе с лошадью, купленною накануне барином, однако хозяйки бродили по всей избе, ощупывали все углы и старались припомнить: уложена ли такая-то тряпка, такой-то горшок. Несколько раз без всякой видимой цели обе выходили на улицу или в огород: постоят-постоят в огороде, подперев ладонью мокрую щеку, вздохнут и перейдут опять на улицу и там молча поплачут. Как только забелело на востоке, Катерина сказала Маше, чтоб она будила ребят, а сама пошла в ригу.

– Вставай! – промолвила она, толкая мужа, который храпел во всю ивановскую.

– А что? пора?.. – лениво пробормотал Лапша.

– Вставай! – повторила Катерина, – надо сходить... на поля поглядеть...

– Ну, пойдем... – сказал Лапша, приподымаясь и протирая глаза кулаками, так что локти его сделались выше головы.

Когда они вернулись во двор, ребятишки были уже на ногах; Маша умывала последнего, Костюшку, который кричал благим матом и болтал в воздухе ногами. Дуня сидела на крыльце и укачивала младенца Катерины; Волчок сидел насупротив и беспокойно двигал своим кренделем.

– Ну, пойдемте все в поле, – проговорила Катерина, взяв ребенка из рук Дуни, – пойдемте поглядеть... может, в последний...

Она не договорила и быстрыми шагами вышла на улицу. Все, не выключая Дуни и Волчка, последовали за нею. На улице ни души не было; ни одна собака не залаяла. Впрочем, и рано было; даже на востоке, который светлел и постепенно делался алым, кой-где еще вздрагивали звезды.

Поле Лапши неприкосновенно переходило в его роде от отца к сыну: так вообще бывает у крестьян наследственных имений, принадлежащих помещикам, которые уважают порядок, установленный их отцами. Поле это, покрывавшееся когда-то из года в год золотым морем колосьев или тяжелыми гроздьями овса, перейдя в руки Лапши, постепенно скуднело и сделалось самым плохим полем Марьинского. Вот уже седьмой год, как оно не удобрялось. С тех пор как в доме не стало лошади, им исключительно занималась Катерина: весною займет зерна, наймет лошадь у соседа и потом во весь год одна над ним сокрушается; дело Лапши состояло в том, чтоб вспахать ниву; но большею частью допахивала Катерина: после первых двух дней у Лапши так всегда разбаливалась поясница, что он оставлял работу и пластом ложился. Поле занимало вершину одного из холмов, которые окружали деревню. Выйдя за околицу, Катерина прибавила шагу; ей хотелось вернуться домой до восхода. К сожалению, это сделалось невозможным: на половине пути их слишком долго задержала Дуня; она совершенно неожиданно отбежала в сторону, бросилась наземь и начала свои плачевные причитания; оставить ее не было возможности: она могла уйти бог знает куда и замедлить таким образом отъезд. Наконец кой-как ее уговорили. Но когда семья приблизилась к полю, яркое зарево обнимало уже восток и жаворонки весело распевали в воздухе. Ступив на межу, разделявшую поле на две половины, Катерина быстро отошла в сторону сажен на двадцать. Лапша остался с детьми на меже; он, по-видимому, решительно не знал, зачем привела его жена: он глазел по сторонам, делал время от времени неодобрительные замечания касательно худой обработки того или другого поля (свое собственное считал он всегда бесплодным, не вознаграждающим тяжкие труды его) или с особенным вниманием следил за жаворонками. Маша слушала отца рассеянно, словно нехотя; она не отрывала глаз от матери, высокая фигура которой рисовалась в отдалении на

огненном зареве восхода. Наконец она подмигнула отцу на Дуню и пошла к матери. Катерина не заметила приближения дочери; она стояла к ней спиною и обернулась тогда лишь, как Маша тронула ее за руку.

— Что ты, матушка? — спросила Маша, останавливая удивленные глаза на лице ее, исполосованном слезами.

— Ничего... дитятко... так... сгрустнулось что-то... — сказала Катерина.

Она передала младенца Маше, опустилась на колени, разложила платок и принялась накладывать в него комки земли.

— Это ты зачем, матушка?..

— А то как же, дитятко, как же?.. С собой возьмем, в дальную, чужую сторону... всякому из вас по кусочку зашью в ладанку, чтоб помнили... Память по родной стороне останется...

— Эй, Катерина! ступай!.. эй! время! — крикнул в эту минуту Лапша.

Катерина обратила глаза в ту сторону; но первый солнечный луч, брызнувший вдруг из-за горизонта, заставил ее отвернуться. Она торопливо свернула платок с землею и поднялась на ноги.

— Вот, — сказала она, снова обратив заплаканное лицо к солнцу, которое величественно восходило в ясном небе, — вот, дитятко, уж не видать нам с этого места ясного солнышка!..

— Катерина! что ж ты стала? ступай! — крикнул снова Лапша, махая издали руками.

Катерина сделала нетерпеливое движение; но лицо ее снова приняло выражение тоски, и она снова заплакала, когда в последний раз взглянула на поле.

— Прощай, мать-сыра земля, кормилица наша! — сказала она, не переставая креститься, — прощай!.. Воскормила ты, возрастила меня самое и детей всех моих... Не привел господь святым хлебом твоим питаться до скончания века нашего... Прости, кормилица!..

Маша также теперь плакала; но слезы ее выходили, видно, из другого источника, чем у матери: тогда как Катерина смотрела на поле, глаза дочери устремлялись на Марьинское, которое расстилалось темным пятном на дне долины.

Заплаканные лица жены и дочери возбудили удивление Лапши; несколько раз пытался он заговорить,

но так как речь его заключалась большею частью в похвалах жаворонкам, Маша и Катерина не отвечали. Видя, что толку не доберешься, Лапша присоединился к ребятишкам, Дуне и Волчку, которые шли впереди; но так как и с этой стороны не отдали словам его должного внимания, он забросил руки за спину, высоко приподнял брови и пошел особняком. О чем он думал – решить трудно; мысли его, надо полагать, стремились больше к саратовским арбузам, о которых говорил он с утра до вечера и которыми часто даже бредил во время болезни.

Полчаса спустя после всего описанного перед избою Лапши стояла порядочная толпа: ее составляли больше бабы; тут были также и дворовые; между ними особенно звонко тараторила скотница Василиса, одна из главных поджигательниц ненависти против Катерины (Александре Константиновне она не понравилась с первого же дня, и она забыла о ней точно так же, как забыла о ее просьбе). В толпе виднелось также несколько мужиков; в числе последних знаком нам только кузнец Пантелей. Между толпою и воротами перебегали поминутно девчонки и мальчишки; один из самых суетливых был мальчик с белой головой и красным лицом, который с такою свирепостью припадал к рукам господ во время их приезда; мальчик этот отличался вообще необыкновенным любопытством: где бы ни собралась толпа, он уже был тут как тут. Огромные щели ворот были решительно замурованы головами ребят; к ним вскоре присоединилась востроглазая бабенка, марьинская запевалка и хороводница, та самая, что встретила Лапшу, когда он возвращался домой после падения в вертеп.

– Лошадь уж запрягли, сейчас выедут! – сказала она, поглядев в щель.

Действительно, лошадь уже была запряжена, и все члены переселяемого семейства стояли подле подводы. Они только что вышли из избы, куда заходили с тем, чтоб в последний раз проститься с жилищем. Прощанье, надо думать, было очень тяжело: глядя на дочь и на жену, даже Лапша словно раскис немного. Им оставалось теперь только отворить ворота и ехать; но стечение народа перед избою смущало Ка-

терину. Она сожалела, что ходила в поле и не уехала до света; отъезд их совершился бы тогда никем не замеченный. Куда как тяжко было ей в настоящую минуту! К счастью, совершенно неожиданно явилось облегченье.

За воротами послышался голос Герасима Афанасьевича. Толпа мигом рассеялась. Герасим вошел на двор.

— Ну, готово? Хорошо. Я с вами пришел проститься,— сказал он, оглядывая добродушно присутствующих, которые поклонились.

Катерина подошла к старику и шепотом передала ему об уловке, придуманной ею для заманки Дуни (Дуня стояла в десяти шагах, угрюмо опершись на палку). Герасим громко повторил слова Катерины, после чего передал всем барский поклон и приступил к подробному изложению их обязанностей как в отношении к самим себе, так и в отношении к исполнению службы.

— Ну, с богом теперь, с богом! — заключил он, отходя в сторону.

Ворота заскрипели, заскрипела подвода, и раздались глухие, сдержанные рыдания.

Герасим Афанасьевич шел между Катериной и ее дочерью и не переставал их уговаривать; особенно часто обращался он к последней, которая не могла так владеть собою, как мать, и громко плакала. Хотя управителя не больно боялись, но, зная его близость к господам, никто из ненавистников переселяемого семейства не посмел выразить своего прощального привета. Пантелей, скотница Василиса и другие враги Катерины уходили в глубину ворот по мере того, как подвода проезжала мимо. Герасим Афанасьевич проводил ее вплоть до конца улицы. Сергей Васильевич поручил ему лично присутствовать при отправлении и потом сообщить ему о том во всей подробности.

Простившись с управителем, Катерина, Маша и Лапша пошли догонять подводу, которою правил Костюшка, сидевший на облучке с братьями. Волчок скакал впереди по дороге. Дорога шла через луг. Вскоре гумна стали закрывать улицу Марьинского. Катерина остановилась и в последний раз взглянула на деревню; сердце ее как будто оборвалось в эту минуту. Долго стояла она на одном месте, сама не сознавая, что творилось в душе ее: чувствовала только,

что там больно, горько. Хотя разум и говорил ей, что ждет ее лучшая судьба, чем в Марьинском, но ведь родина то же, что мать родная: иногда и бьет она, больно бьет, а все-таки крепко ее любишь!

Лапша и дети были уже на горе, у опушки рощи, когда Катерина нагнала их. Приближаясь к ним, она услышала чей-то посторонний голос, но рыдания Маши мешали ей разобрать, чей именно; Волчок не лаял, следовательно, нельзя было думать о чужом человеке. Высвободившись из кустов, которые заслоняли поворот дороги, Катерина увидела столяра Ивана, единственного человека, который с самого своего детства был с ними неизменно ласков и дружен.

Он кинулся ей навстречу.

— Вот, тетушка Катерина, пришел сюда нарочно... ждал, хотел с вами проститься,— сказал он, глядя на нее заплаканными глазами, хотя улыбка его раздвигалась шире обыкновенного,— вы были мне как родные, лучше родных всяких: как же вы так это теперь?.. что же это будет такое? — подхватил он, поглядывая на Машу, которая прислонилась к телеге обеими руками и, положив на них голову, разливалась-плакала.— Да нет же!.. нет... я, слышь, тетушка... мы, может, еще свидимся... приведет господь... Вот я и дяде Тимофею то же говорю; господам я не нужен... стану на оброк опять проситься... В Москве уж наскучило, приду в вашу сторону... Ну, право же слово, приду, тетушка Катерина! — заключил он с улыбкой, которая не покидала его даже в те минуты, когда лицо изображало все признаки горести.

Иван начал обниматься и целоваться поочередно со всеми. Маша во все это время не покидала своего положения и горько рыдала. Иван подошел, наконец, и к ней.

— Ну... ну... прощай, Маша! — сказал он.

Улыбка его в эту минуту переходила пределы возможного, а слезы так вот и капали одна за другой.

— Прощай, Маша...

Маша подняла голову, хотела что-то сказать и вдруг припала к матери. Иван замотал волосами и бросился в кусты. Он бежал без оглядки под гору вплоть до самого луга. Тут он остановился, снова тряхнул волосами и стал прислушиваться. Отдаленный, чуть внятный скрип телеги раздался раз-другой, и потом все смолкло.

— Эх! — произнес Иван, махнул обеими руками и, улыбаясь от правого уха до левого, что не мешало ему утирать кулаком глаза, пошел частым шагом к Марьинскому.

VII

НИЩИЕ

Между тем как исправник делал «все возможное, чтоб угодить Сергею Васильевичу» (так было сказано в красноречивом письме его), знакомые нам нищие шли себе да шли, никакого лиха не чая. Достойно замечания, что в тот самый день, как исправник дал знать становым о пропаже мальчика, слепой Фуфаев, Верстан и даже Мизгирь благополучно достигали границ соседнего уезда. Они даже вовсе не торопились и только избегали больших почтовых трактов; но, кроме безопасности, проселки представляли еще ту выгоду, что народ, населяющий их, гораздо проще, снисходительнее и гостеприимнее народа, живущего на больших, бойных дорогах: нищие не пропускали ни одной деревни, слепли у каждой околицы, стучали под каждым окном, ночевали в сараях и ригах, прозревали снова, когда являлась в этом надобность, — словом, совершали свой путь со всевозможным комфортом.

Петруша и другой вожак, худенький мальчик жалкого, болезненного вида, не отставали ни на шаг от своих хозяев. Первый начинал уже, по-видимому, привыкать к новому образу жизни; по крайней мере он не бросался теперь в ноги Верстану, не просился к отцу, к матери, не выражал наружных знаков отчаяния, не впадал в упорное молчание, как это было в первые дни пребывания его у нищих; являлись минуты, когда Петя делался разговорчивым; иной раз даже улыбка как будто оживляла лицо его, значительно, однако ж, похудевшее. К такой перемене не столько способствовало время, умаляющее рано или поздно всякие скорби и горести, не столько страх, внушаемый Верстаном, его побои и угрозы, сколько присутствие маленького вожака, который разделял его участь. Кроме того, горе его находило облегчение в том, что было разделено (утешение, основанное на эгоизме, свойственное всем людям и особенно детям): Петя на-

шел в мальчике доброго товарища. Они сошлись с первого же дня знакомства.

Если помнит читатель, Верстан назначил Лапше свидание ночью в глухой части леса; план был основательно обдуман: он показывал в старом нищем человека, опытного в такого рода проделках. В случае, если б Лапша вздумал кричать и сопротивляться, никто в такую пору не мог его услышать и подать ему помощь. Верстан имел также в виду мальчика. Предполагая, что горе ребенка при расставании с отцом не помешает ему делать наблюдения над дорогой, по которой поведут его, темнота ночи и лесная чаща должны были сбить его с толку. В первом предположении Верстан, однако ж, ошибся; увидя себя в руках его, Петя поднял такой крик, что Верстан вынужден был прибегнуть к строгим мерам.

— Молчать! — сказал он, схватывая его за ворот рубашки и притягивая к себе, — молчи, говорю, не то пришибу на месте. Чего орешь? никто не услышит... Видишь, никого нет...

Но слова эти усилили только отчаянье ребенка; они показали ему всю безвыходность его положения; горе его было так велико, что вытесняло, казалось, ужас, внушаемый нищим; он рвался в ту сторону, куда скрылся отец, и не переставал звать на помощь.

— Ах ты, каторжный! Погоди же, я ти уйму, когда так... — произнес Верстан, обхватывая шею мальчика и приподымая над ним свой посох.

Петя сделал отчаянное движение и вывернулся из рук его, но ноги его подогнулись сами собою; он упал на траву и закрыл лицо руками.

— Слышь, волчья снедь ты этакая, добром говорю: уймись лучше! — проговорил Верстан, стуча дубиной по стволу дерева, — вставай! — заключил он грозно, потряхивая своей огромной кудрявой головою.

— Дедушка! добрый дедушка! — воскликнул мальчик, крепко ударяя себя кулаком в грудь и бросаясь потом обнимать ноги будущего своего властителя, — дедушка, пусти меня, буду за тебя бога молить... век молить буду... отпусти к матери! Она всего тебе даст... отпусти только к матери!..

— Что ей с тобой делать? Вишь, она тебя сама отдала, — сказал нищий.

— Нет, нет, она не отдавала! — вскрикнул Петя,

снова ударяя себя кулаком в грудь и горько всхлипывая,— она ничего этого не знает, дедушка. Взмилуйся, отпусти Христа ради...

— Ладно; потом поговорим; теперь недосуг; вставай!.. Да ну же, ну, вставай, говорят, вставай! — промолвил Верстан, приподымая мальчика на ноги и схватывая его за руку.

Видя, что нет уже никакой надежды умолить нищего, Петя стал защищаться; он неожиданно припал зубами к руке, которая его держала; но в ту же секунду нищий схватил его за волосы и, высвободив руку, нанес ему несколько ударов.

— Это так только тебе, для первого разу,— сказал Верстан, схватывая его опять за руку,— со мной расправа короткая: пикни только — не так отделаю! Я ти покажу, какой я такой дедушка! Ну-ткась, укуси-ка теперь, попробуй... Ах ты, волчья снедь ты этакая! Да ну, пошевеливай ногами-то, пошевеливай, полно валандаться!

Петя понял, что сопротивление напрасно; он перестал упираться ногами и пошел за нищим, заслоняя левою рукою лицо, в которое били ветки кустарников. Грудь его разрывалась на части от усилий подавить рыдания; он ничего не знал о том, куда его ведет нищий и для какой цели,— неизвестность наполняла страхом встревоженную душу мальчика. Каждый раз, как Верстан останавливался, чтоб сообразиться с дорогой, сердце Пети билось так сильно, что захватывало ему дыхание; ему тотчас же представлялось, что нищий хочет убить его и высматривает удобное место. Но Верстан продолжал путь; ужас ребенка рассеивался и снова уступал место отчаянью; он старался понять, что могло заставить отца и мать отдать его нищим? что он сделал такое? чем провинился? — и ничего не мог придумать. Настоящая цель и будущее его назначение не приходили ему в голову; а если и представлялась мысль жить с нищими, то она казалась ему хуже самой смерти. Вздрагивая всем телом и не переставая горько, но тихо плакать, Петя почти бежал за нищим, который ускорил шаги, как только выбрался из леса.

От леса до Чернева, куда направились они, было версты четыре, не больше; но Верстану хотелось, видно, сократить путь: он вскоре бросил проселок и пошел целиком, полями. Он не боялся сбиться с пути,

хотя шел этими полями всего во второй раз; сорок лет бродячей жизни изощрили его зрение и сделали его наблюдательным; более или менее возвышающаяся линия местности над горизонтом, куст, чернеющий в стороне, межа — все это было замечено им, когда он шел в лес, и служило теперь верным маяком. Так достиг он большой черневской дороги; влево, всего в ста саженях, начинались избы Чернева, окутанные какой-то мрачной, угрюмой темнотою. Было так тихо, что можно было думать, деревня необитаема. С этой стороны Верстану не предстояло опасности; он не пошел, однако ж, улицей, а пересек дорогу и продолжал путь, придерживаясь прямого направления. Немного погодя он и спутник его очутились на краю обрыва. Звезды, покрывшие небо, мигали кое-где на дне обрыва и давали знать, что там вода.

— Дедушка, куда ты ведешь меня?.. Дедушка! касатик! я все сделаю... все сделаю! только ты не топи меня! — замирающим голосом произнес мальчик, припадая к нищему, который все еще держал его коренастою своею рукою.

— Кабы топить тебя была надобность, так бы далеко не вел,— возразил Верстан успокоительно.

Сказав это, он начал спускаться, ощупывая землю концом палки; другая рука его продолжала держать мальчика. По прошествии нескольких минут он уже стучал в низенькую дверь знакомой нам мазанки. Надо полагать, Грачиха была предупреждена касательно такого позднего посещения. Она застучала деревянным засовом и отворила дверь, как только услышала голос нищего. Ей, по-видимому, известна также была цель ночной его прогулки: увидя мальчика, она не выказала ни малейшего удивления.

— Слышь, тетка... что, тот, ну, знаешь? здесь он?

— Нетути, спровадила! — отвечала Грачиха.

— Ну и ладно, не пущай его... ну его совсем! — сказал Верстан, толкая мальчика в избу.

Грачиха выглянула за дверь, с минуту постояла на пороге, как бы прислушиваясь к чему-то извне, потом вернулась в сени и плотно задвинула деревянный засов. Из избы слышался уже козлячий голос и дребезжащий хохот слепого Фуфаева. Он поспешил выйти навстречу товарищу. Кроме него, в первой половине избы находились также дядя Мизгирь и Миша; последний сидел в темном углу и с любопытством смо-

трел на приведенного мальчика, который стоял ни жив ни мертв.

— Ну, паренек-то не то чтоб очень... малый-то невеличек,— сказал Фуфаев, быстро ощупывая ладонью заплаканное лицо Пети.

— Ничего, годится! — грубо вымолвил Верстан.

— Знамо, годится, подрастет!..— проговорил Мизгирь, осклабляя свои беззубые десны.

— Вестимо, подрастет,— подхватил, смеясь, Фуфаев,— особливо, коли Верстан станет его вытягивать... я чай, уж небось вытянул?

— Такой-то пропастный, кричать было зачал...

— Это с радости, что тебя увидал! Слышь, малый: «На то,— скажи, мол,— дедушка, и голос дан человеку, чтоб кричать на радостях!» А то как же? Ничего, точно: невеличек паренек; и то надо сказать: цена ему невеличка; будь он с мизинец, и то своей цены стоит. Ну, паренек, ступай! — примолвил, посмеиваясь, Фуфаев,— нечего тебя много ощупывать: даровому коню в зубы не смотрят.

— Только у меня, смотри ты, смирен будь! — перебил Верстан, пропустив мимо ушей замечания товарища и обращаясь к Пете, который, казалось, замер на своем месте,— я шутить не люблю...

— Врет, врет, паренек, не верь ты ему,— воскликнул Фуфаев,— дедушка у нас добрый; добрее его в целом свете нетути... Что хошь делай, за все угощать тебя станет; угощенье-то знатное какое: нонче угостит из двух поленцев яичницей, завтра даст отведать дубовых пирожков с жимолостным маслом...

— А бежать вздумаешь,— продолжал Верстан, не обращая внимания на Фуфаева,— бежать вздумаешь... вот, вишь, тетка эта: у ней есть, примерно, ступка такая, сядет на нее, ударит пестом — хошь на край света беги, догонит... Этого ты и не думай!.. Ну, пошел, ляг вон поди на скамью! да смирно у меня! — заключил он, бросая в угол палку и направляясь за перегородку к Грачихе, которая возилась подле печки.

Примеру его немедленно последовали дядя Мизгирь и Фуфаев. Оставшись один, Петя боязливо оглянулся вокруг, но глаза его до того полны были слез и притом так темно было в избе (лучина, вынесенная за перегородку, сообщала слабый полусвет в первую половину мазанки), что он сначала не заметил маленького товарища, все еще сидевшего в углу своем. Петя

робко подошел к лавке, прижался к стенке и крепко зажал ладонью рот, чтоб не слышно было его рыданий. Он ни о чем не думал; в минуты, какие переживал он, мысли являются в неопределенном, непоследовательном виде, быть может потому именно, что их тогда слишком много.

Уже несколько времени находился он в этом положении, когда почувствовал прикосновение чьей-то руки на плече своем. Он быстро привстал, не сомневаясь, что то был его хозяин, и устремил кверху испуганные глаза. Перед ним никого, однако ж, не было; грубый голос Верстана раздавался за перегородкой; на задней стене, ярко освещенной лучиною, мелькала тень исполинской головы его. Петя оглянулся направо — и там никого не было.

— Это я,- шепнул слева под самым его ухом чей-то слабый голосок.

Петя обернулся и почти нос к носу встретился с бледным лицом Миши.

— Ты меня не бойся,— сказал последний, видя, что Петя откинулся в сторону,— я тебе худа не сделаю.

Такие слова и еще более тщедушный вид собеседника несколько успокоили Петю; но когда он всмотрелся в лицо и узнал в нем того самого мальчика, который накануне приходил к ним в избу; когда вместе с этим открытием воображению Пети, и без того уже устремленному к родному дому, представился вчерашний вечер со всею его счастливою обстановкой; когда он вспомнил, что было с ним вчера и что теперь,— сердце его снова наполнилось тоскою и отчаяньем; он хотел превозмочь себя, но напрасно: и закрыл обеими руками лицо и так горько заплакал, что слезы в один миг показались между его пальцами. Миша между тем подсаживался к нему то с одного боку, то с другого; задумчивые глаза мальчика не покидали товарища. Наконец он подсел ближе и тихо взял его за обе руки, стараясь отвести их от лица.

— Полно, ты лучше не плачь, право, не плачь,— шепнул он, снова наклоняясь к уху товарища,— слышь? как тебя звать-то — ась?

Петя проговорил свое имя.

— Слышь, Петя, не плачь: услышит твой-то, хуже ведь будет! добрѐ сердит, не любит он этого; хуже его нет у нас... уж такой-то злющий!.. Мой смирнее, да и то другой раз за вихор таскает, коли заплачешь...

Право, перестань, услышит... Али тебе жаль кого?

— Мать жаль, жаль ее. Она ничего не знает, что меня увели,— проговорил Петя, тяжело вздыхая и прерываясь на каждом слове.

— Стало, силой тебя отнял? — спросил Миша, кивая головою на тень Верстана.

— Силой...

— А меня так отдали,— проговорил Миша с детским простодушием,— мачеха отдала; отца уговорила — он послушал да и отдал... То-то житье-то было худое! хуже, кажись, здешнего! — подхватил он, потряхивая головою,— мой, по крайности, вот слепой-то, видел?.. этот хоть не дерется, смирен; а мачеха-то, бывало, нет такого дня, чтоб не прибила. Раз так кулаком вот сюда, в грудь, ударила... до сих пор больно...

И, как бы в подтверждение сказанного, мальчик закашлялся каким-то глухим, хриплым кашлем, похожим на шелест сухих осенних листьев.

Петя начал уже делаться внимательнее, как вдруг в сенях раздался шум; точно кто-то прыгнул с вышины на пол. Звук этот дошел даже за перегородку, потому что Грачиха тотчас же показалась в дверях. Она промелькнула мимо ребятишек, прижавшихся друг к дружке, и быстро прошла в сени.

— Кого надо? — окликнула сердито колдунья.

Но в эту самую секунду что-то прошмыгнуло у ее ног, и не успела она очнуться, как деревянный засов щелкнул, и в сенях показался Филипп; из-за дверей, которые захлопнулись, вышел Степка. Старуха разразилась проклятием; но прежде, чем броситься к разбойнику и удержать его, она окинула глазами стропила; клочок синего звездного неба, светившийся в крыше, объяснил ей появление Степки и потом отца его. Она вцепилась в тулуп разбойника и загородила ему дорогу.

— Эй, пусти лучше, до греха! — проговорил Филипп задыхающимся голосом, между тем как Степка, из опасения, верно, чтоб гнев старухи не зацепил и его, поспешно спрятался за отцовской спиною,— пусти, говорю; неровен час! — бешено подхватил Филипп.

Но так как колдунья продолжала держать его, то он схватил ее за руки и так сильно отпихнул, что она стукнулась спиною об стену. Бешенство душило Гра-

чиху; но не посмела она, однако ж, повторить нападения и ограничилась ругательствами и проклятиями. Действительно, в настоящую минуту не совсем было бы безопасно подступать к Филиппу; Грачиха убедилась в этом окончательно, когда свет из-за дверей перегородки осветил лицо разбойника. Черные волосы его, торчавшие в беспорядке, тряслись заодно с головою; свинцовая бледность лица еще резче выдавала шершавые, судорожно согнувшиеся брови; каждая черта его как будто заострялась; тонкий погиб носа побелел; губы сузились; ноздри раздувались так сильно, что перегородка, разделявшая их, выглядывала наружу.

Вид Филиппа пробудил в Верстане мысль об осторожности; он сохранил, по-видимому, свое положение, но поспешно выдвинул из-под стола ноги, как бы готовясь подняться при первой надобности; он отодвинул немного стол и, как бы для пробы, раза два пожал исполинскими своими кулаками. Появление Филиппа весело подействовало на одного лишь Фуфаева; это потому, может быть, что он не мог его видеть.

— А! здорово, тезка! как вас бог милует? Подобру ли, поздорову? Соскучились мы по вас совсем!..— крикнул он, как только услышал его голос.

— Слушай, ты! — сказал Филипп, обращаясь к Верстану и делая усилия, чтоб подавить на время бешенство, которое коробило его черты,— рази так делают?.. ась? Помнишь, ты на самом этом месте сказывал: отдашь за мальчика тринадцать рублев... а вместо того что сделал?

— Чего надо? — грубо возразил Верстан.

— А то надо, что деньги подай! вот что надо!

— А рази мальчик-то твой? — промолвил Верстан, ставя оба кулака свои на стол.

Филипп отступил два шага и отдавил ноги Степке; Степка крикнул; отец дал ему треуха и снова обратился к нищему, но уж без прежней запальчивости.

— Нет, мальчик не мой; он мне племянник, отец его — брат родной: стало, все единственно,— сказал он,— потому больше и послал вас туда, деньги были нужны... Коли так, на обман хотел взять,— должон был сказать об этом...

— Эх тезка, тезка! Кто ж, слышь, так делает: пошел на базар, всему миру сказал! — перебил, посмеиваясь, слепой,— так николи не водится! Эх, тезка,

жаль мне тебя: маху, брат, дал; бражку пить пошел — воду нашел!..

— Чего пристал? отваливай! — сказал Верстан, поворачиваясь к Филиппу и нахмуривая седые брови.

— Деньги подай, подай деньги, что посулил! — крикнул Филипп, к которому снова возвратилось бешенство.

— Отстань, говорю; отдал я ему — чего еще?

— Врешь, леший, не отдавал! — заголосил Филипп, делая шаг вперед и плотно становясь на левую ногу.

— Усь, усь, усь! — произнес Фуфаев, надрываясь от смеха,— усь, усь... ну-кась, ребятушки! Слово за словом, тукманка в голову да плевок в бороду, тычок за тычком, оплеуха за тузом — валяй, ребята! качай во здравие!

— Ты, смотри, не пуще стращай! — пробасил Верстан, неожиданно подымаясь из-за стола,— у меня у самого кулаки-то крепки. На, смотри, коли хошь! — добавил он, выставляя на вид сложенные свои пальцы.

— Хорошенько его, дядя! хорошенько его, разбойника! — неожиданно крикнула Грачиха, становясь подле нищего, который с решительным видом засучивал рукава,— бей его, окаянного!

— Ты что, ведьма? — проговорил Филипп, дико озираясь, как волк, настигнутый стаей собак,— так-то ты за добро платишь? Ладно!..

— Ничего, не робей, тезка! — смеялся между тем Фуфаев,— вот тут-то и стой, где кисель густой...

— Вон ступай! Одно слово: вон! чтоб духа твоего здесь не было! — трещала Грачиха, ободряемая исполинским ростом своего защитника,— гоните его, братцы! взашеи его, проклятого!

Неуверенность в своей силе, страх, злоба и бешенство боролись в душе разбойника; он не столько, может быть, боялся кулаков Верстана, сколько старой колдуньи: ей стоило только добежать до Чернева, чтоб погубить его; он знал ее и знал, что она давно замышляла предать его.

— Хорошо же, когда так! — произнес он, яростно грозя кулаками и отступая к двери,— с тобой мы еще встренемся, так посмотрим, чья возьмет, который которого одолеет...

— Эй, не хвались лапти сшить, не надравши лык! — заметил Фуфаев.

— А тебе, касатушка,— подхватил Филипп, бросая

свирепый взгляд на старуху,— тебе я это припомню! все за один раз вспомяну, все твои дела со мною...

— Не мне тебя бояться, разбойник! — завопила старуха, подталкивая Верстана,— ты бойся! До Марьинского всего восемь верст; пошлю вот только к кузнецу Пантелею — он тебя больно любит... Ступай лучше вон, окаянный, отселева!

— Ну, смотри же, заруби ты этот день себе на носу! — воскликнул Филипп с каким-то растерянным видом,— я попадусь — не радуйся, ведьма: самоё потащут, самоё выдам; сам пропаду, да уж и тебе не миновать плети!.. Сюда! — заключил он, выходя в первую половину избы.

Последнее слово обращалось к Степке.

Степка прильнул к отцовскому полушубку; но, проходя мимо Пети и Миши, которые оставили скамью и стояли недалеко от двери, чтоб удобнее рассматривать все происходившее, Степка дал каждому из них тумака. Грачиха, следившая, как коршун, за каждым движением рыженького мальчика, воспользовалась этой минутой; она налетела на него с кочергою, и, нет сомнения, плохо пришлось бы голове Степки, если б отец не обернулся. Грачиха отступила. Филипп ринулся было на нее, но ее заслонил Верстан. Филипп схватил Степку за руку и, послав несколько страшных проклятий колдунье и гостям ее, исчез в сенях. Уж давно не слышны были шаги Филиппа, но Грачиха все еще стояла у наружной двери мазанки и прислушивалась: ей хотелось узнать, в какую сторону направлялся бродяга. Знание это все равно ни к чему бы не послужило колдунье: Филипп очень хорошо знал, с кем имел дело; отойдя шагов триста, он вдруг переменил направление и пошел совсем в противоположную сторону.

Если верить, что у человека горит левое ухо, когда его заглазно ругают, левое ухо Филиппа должно было сильно досаждать ему в эту ночь: его ругали все без исключения в избе Грачихи; даже Петя и Миша делали о нем не совсем лестные заключения. Наконец россказням пора было смолкнуть. Грачиха отправилась на печь, нищие расположились кто куда мог; маленькие вожаки легли рядом на лавку; немного погодя в мазанке все стихло. Не мог хорошенько заснуть один только Петя: он беспрестанно пробуждался, вздрагивал и каждый раз тогда ближе прижимался

к маленькому товарищу: он уж чувствовал, что Миша служил ему единственною подпорою в его горьком одиночестве.

Весь следующий день нищие безвыходно пробыли у Грачихи; она не изъявила ни малейшего сопротивления: надо полагать, они заранее с нею условились. Петя и Миша, предоставленные во весь этот день на собственный произвол во второй половине избы, сошлись окончательно; хотя Петя часто принимался плакать, но товарищ так хорошо умел приласкать его, что горе казалось ему не так уж великим, как накануне. С наступлением ночи нищие простились с колдуньей и отправились в дорогу. Мы уж сказали, что они не считали нужным торопиться и совершали свой путь со всевозможным комфортом. Тем не менее с того дня, как покинули они мазанку, до настоящей минуты пройдено было большое пространство. Никто теперь не мог бы сказать даже приблизительно, с какой именно стороны горизонта находится Марьинское и сколько до него верст; верно было то лишь, что верст очень много: заснешь прежде, чем сосчитаешь.

Мы застаем теперь нищих у входа или у выхода небольшой деревушки; они расположились отдохнуть за ригой, которая выходит углом на дорогу; никто помешать им не может: кругом тишина мертвая; полдень; солнце так и жжет. Верстан, дядя Мизгирь и слепой Фуфаев выбрали это место ради тени, которую бросал выступ кровли; подмостив под голову мешки свои, они сладко раскинулись и так же сладко заснули. Надо полагать, они лежали уж некоторое время. Чтоб разоспаться до такой степени одеревенения, требовалась, верно, не одна минута; тень кровли падала уж теперь косяком по другую сторону риги; солнце плашмя падало на их раздувшиеся загорелые лица; но это, по-видимому, не беспокоило их; не беспокоили также и мухи, которые роями кружились над их головами и садились им на нос, на щеки – словом, всюду, где сквозь прорехи и бородастые заплаты проглядывало тело; казалось, напротив, не столько мухи тревожили Верстана, сколько Верстан тревожил мух: он время от времени подымал такой густой храп, что все мухи разом подымались и, как испуганные, метались по воздуху. Всякий раз, как раздавался этот храп, из-за угла показывалось личико Пети; он и маленький товарищ его расположились лицом к дороге; оба си-

дели рядышком, прислонившись спиною к плетневой стене риги.

— Нет, ничего, Миша; это он так... спит! — говорил Петя, — ты бы, право, Миша, лег лучше... усни маленько... Вот ложись на меня... вот на ноги...

— Нет, ведь уж пробовал, не спится что-то, — возразил тот, — добрѐ уж оченно я устал, добрѐ пуще грудь болит у меня; мне так-то лучше; лягу — кашель больно одолевает.

— Ведь вон, вон! ты и то кашляешь, даром что сидишь! — подхватил Петя, поглядывая на товарища, который обхватил худенькими ручонками грудь и едва переводил дух от кашля.

Несмотря на напряжения, которые он делал, чтоб откашляться, лицо его оставалось бледным; на нем не было следа загара. Благодаря страшной худобе лица черные задумчивые глаза мальчика казались теперь вдвое больше; темная кайма окружала его ресницы.

— Далеко очень шли, устал очень; оттого больше... — сказал он, переводя дух и поглядывая на ладонь, которая прижимала губы: на ней были следы крови.

— Попросим их, чтоб маленечко повременили: ишь как жарко — смерть! — сказал Петя.

— Нешто они послушают! Они знают свое: им бы только поспеть к ярманке... они рази нас жалеют?

— Знамо, мы им не родные, а все бы в толк надо взять... Мне ничего — я здоров, хоша и добрѐ тяжко так-то по жаре идти; а вот о тебе нет им нуждышки... Ты, Миша, как пойдем, дай мне свой мешок, я понесу его...

— Не осилишь; и с своим-то насилу управляешься.. Вот как, Петя, — подхватил вожак Фуфаева, — как шли мы это сюда, так, кажись, еще бы одну версту — тут бы и смерть моя; так грудь заломило, так заломило... уж оченно добрѐ замучился...

— Ты, Миша, потерпи еще маленько, — перебил Петя, взглянув за угол и понижая голос, — вот маленечко еще подрастем... вот теперь лето... а там зима, а там опять лето, тогда мы уж большие вырастем, — подхватил он с оживлением, — помнишь, о чем мы с тобой говорили... то и сделаем; они нас тогда не догонят. Станем везде спрашивать: я ведь деревню-то свою помню — Марьинское прозывается... Придем до-

мой... у меня мать – то-то добрая!.. Ну и станем жить вместе... Потерпи только до другого лета.

Миша тоскливо опустил голову и провел несколько раз ладонью по лбу, покрытому крупными каплями пота.

– Может, ты уж тогда один – без меня пойдешь, – сказал он, задумчиво глядя на пыльную, обожженную солнцем дорогу.

– А ты-то что ж? Нет, я один без тебя ни за что не пойду; идтить, так уж вместе! – возразил Петя.

– Ну, а как я умру? – вымолвил Миша.

Петя посмотрел на него с удивлением.

– Мне и так все думается, – продолжал Миша протяжным, слабым голосом, – иду так-то с вами и думаю: «Ну, как они меня бросят... ну, как умру я один на дороге?..» Другой раз насилу ноги волочу, а как вспомню об этом, так даже душа вся затрясется... А может, и лучше помереть-то, право: ведь уж хуже теперешнего не будет; стало, все одно... Я чай, ты, Петя, обо мне тогда пожалеешь?..

Петя схватил его за руку, но в самую эту минуту ему послышался шорох за углом, и он поспешил заглянуть туда.

– Миша, – сказал он, дергая товарища за руку, – глянь-кась, глянь... Ведь Верстана-то нету, и дядя Мизгирь также встал; оба ушли.

Миша приподнялся и посмотрел за угол. На том месте, где лежали Верстан и Мизгирь, виднелась только стоптанная трава и мешки, служившие подушкой старым нищим. Шорох, слышанный Петей, произведен был, вероятно, головою Фуфаева, которая скатилась с мешка; раскрытый рот и выражение сладостного самозабвения на багровом лице его, усеянном мухами, показывали, что он не думал даже пробуждаться.

– Куда ж те-то ушли? чудно что-то! – прошептал Миша.

Петя подмигнул ему и погрозил пальцем, давая знать, чтоб он молчал. И оба, припав к плетневой стене, стали пробираться на другую сторону риги, но не с того бока, где лежал Фуфаев, а с противоположного. Так достигли они угла, который отвечал углу, за которым они сидели; притаив дыхание и крепко прижимаясь друг к дружке, оба мальчика выглянули за угол. Тень, падавшая с кровли, рассекала пополам смор-

щенную, сгорбленную фигуру дяди Мизгиря, так что одна половина фигуры оставалась в тени, другую ярко охватывало солнце; он сидел, расставив ноги; перед ним лежала тряпка; на ней сверкали пригоршни две медных и серебряных монет, которые старик разложил маленькими столбиками: гривенники с гривенниками, пятаки с пятаками и т. д.; две старые, замасленные пятирублевые ассигнации покоились на левом колене нищего; они, казалось, особенно его занимали; выставив вперед дрожащие, скорченные пальцы левой руки, он не переставал загибать их указательным пальцем правой руки, поминутно сбивался, начинал снова, пожимал губами и заботливо потряхивал головою, не обращая внимания на солнце, которое било ему в самое темя.

Миша и Петя никогда не видали столько денег; то, что находилось в платке и на колене старика, казалось им неисчислимым сокровищем. Они считали до сих пор дядю Мизгиря самым бедным из трех нищих; он казался таким жалким и несчастным, безропотно сносил всегда насмешки Фуфаева, терпел с покорностью грубое обращение Верстана, он вечно молчал, и если говорил когда, так для того разве, чтоб жаловаться на бедность. Как ни были удивлены мальчики, любопытство их не столько было, однако ж, возбуждено стариком и его сокровищем, сколько присутствием Верстана за спиною дяди Мизгиря.

Верстан оставался, по-видимому, в том самом положении, в котором подполз к товарищу. Упершись ладонями в траву, выставив над плечом старика огромную свою голову, покрытую серыми взбудораженными кудрями, он с такою жадностью выкатывал глаза на деньги, что над зрачками его виднелись даже окраины белков. Лицо его было так страшно в эту минуту, что Петя почувствовал холод в спине. Невольный ужас, в котором не могли они дать себе ясного отчета, овладел обоими мальчиками; они поспешно припали к плетню, так же поспешно возвратились на прежнее свое место и несказанно обрадовались своей поспешности: не успели они сесть, как за углом раздался голос Верстана; минуту спустя он вышел к ним и велел им надевать мешки и брать палки. Когда оба мальчика явились на место, выбранное нищими для отдыха, дядя Мизгирь еще не показывался.

— Ну, вставай, отряхивайся, полно нежиться-то, время идти! — говорил Верстан, толкая Фуфаева.

Фуфаев раскрыл глаза, обвел направо и налево белыми зрачками своими, снова закрыл глаза и, сладко улыбнувшись, перевалился на другой бок.

— Ишь его, собака, как разоспался! не расголкаешь никак! Да ну же, ну! — забасил Верстан, перекатывая Фуфаева с боку на бок, как кубышку.

— У-у-у-а! — промычал Фуфаев, закинул руки за спину, потянулся, раскрыл глаза, чихнул, сказал: «Бывайте здоровы!» — и уселся на траву.

В это самое время из-за угла выступил дядя Мизгирь, сохранявший теперь более, чем когда-нибудь, жалкий, несчастный, униженный вид.

— Где был? По деревне, что ли, бродил? — спросил Верстан, сопровождая слова эти взглядом, который заставил Петю и Мишу переглянуться.

— Да так, ходил; думал, не подадут ли хлебушка... ничего не дали! — промямлил старикашка, тоскливо качая лысою головою.

— Врет, врет; а ты и поверил? — воскликнул, смеясь, Фуфаев,— чай, за углом сидел, деньги считал... Я, примерно, сон такой видел...

— Полно ты, окаянный! Ну, что пристал? какие деньги?..— злобно пробормотал дядя Мизгирь, скорчиваясь и пожимаясь, словно жарили его на сковороде.

— Ладно, дядя, знаем! — подхватил Фуфаев.— Чур, смотри только, коли помрешь,— а помирать тебе скоро надыть, не миновать,— смотри, мне клад-от оставь!

При этом слепой ударил в ладоши, вскочил на ноги, направился по голосу к старику и, ударив его по плечу, разразился отчаянно веселым смехом.

— Ну, полно балясничать-то, полно! — промолвил Верстан, надевая суму,— надо к завтрему вечеру поспеть на ярманку. Ну, братцы, пойдем!

Немного спустя нищие вышли на дорогу и начали удаляться от деревушки. Дорога шла гладкими, как ладонь, полями; вправо только, на дальнем горизонте, местность оживлялась синеватою лесистою каймою, которая тянулась и пропадала в неоглядном просторе. Хотя солнце несколько уже склонилось, но все еще пекло невыносимо; ни одна тучка, ни одно дуновение не освежали воздуха; пыль, подымаемая нога-

ми нищих, вытягивалась длинными полосами и почти недвижно висела над дорогой. Зной и духота не действовали только на Фуфаева. Хохот, последовавший за его пробуждением, служил как будто выражением его расположения духа на весь остальной день; неугомонная, задорливая веселость его не прерывалась ни на минуту. Главным возбудителем неумолкаемой болтовни его был, по обыкновению, дядя Мизгирь. Наглумившись над ним досыта и истощив с этой стороны весь запас своего остроумия, он перешел к двум вожакам, прося их убедительно идти как можно шибче, уверяя, что это лучший способ для освобождения от стужи, которая, по словам его, была невыносима. Но так как Миша стал жаловаться на жар и усталость, то Фуфаев поспешил обратиться к Верстану.

Верстан шел позади всех; он до сих пор хранил упорное молчание и только изредка косился на старика Мизгиря. Хотя Верстан никогда не отличался разговорчивостью, однако ж Фуфаев нашел, что молчание товарища не предвещало ничего доброго: оно служило несомненным знаком нравственного расстройства. Всему была виною зазнобушка, которую оставила в сердце Верстана Грачиха. Фуфаев советовал не томить себя, советовал засылать скорей сватов: он не сомневался в успехе. Сватом поедет дядя Мизгирь на тройке пегих, которую дадут в первой деревне; сам Фуфаев вызывался быть дружкой. Но так как предложение это заслужило ему только тычок от будущего жениха, то он отложил свадьбу на неопределенное время и принялся рассказывать сказку:

— Шли три мужика, три Прокопа мужика, три Прокопьевича; говорили они про мужика, про Прокопа мужика, про Прокопьевича...

— Отойди! — досадливо крикнул Верстан и толкнул его так сильно, что чуть было с ног не сшиб.

Фуфаев остановился как будто в недоумении, почесал затылок, минут пять шел молча, как бы раздумывая о чем-то веселом; потом тряхнул мешком и, не обращая уже теперь никакого внимания, затянул козлиным своим голосом:

У славного, доброго молодца
Много цветного платья поношено,
Под оконью лаптей старых попрошено...
И сахарного куса поедено,
У собак корок отымано;

На добрых конях поезжено,
На чужие дровни приседаючи,
Ко чужим дворам приставаючи...
Голиками глаза выбиты...
Дубиной плеча поранены...

— Что ж ты, Мишутка, не подтягиваешь? — закричал вдруг Фуфаев, выкидывая коленце.

Но бедному Мише было не до песен. Бледный, покрытый потом, он едва передвигал усталыми ногами по пыльной, обожженной солнцем дороге; спасибо еще Пете, который шел подле: он время до времени придерживал суму на спине товарища и таким образом хоть сколько-нибудь облегчал ему невыносимо тяжкий путь, путь, который, очевидно, должен был скоро привести Мишу к преждевременной, одинокой могиле.

Часть третья

I

НЕ ВЫДЕРЖАЛИ

Александра Константиновна только что откушала утренний чай и расположилась в мягкое кресло подле окна. Почти в ту же минуту в спальню вбежала Мери, сопровождаемая гувернанткой. Мери бросилась на шею матери; француженка откинула назад левую ногу, сделала книксен и пожелала Белицыной доброго утра.

— Пожалуйста, не смейтесь, chère m-elle Louise:[1] не только нельзя ждать хорошего, но вряд ли даже можно надеяться на сносное утро, — воскликнула по-французски Белицына. — Voyez!..[2] — примолвила она детски плачевным тоном и указала на окно.

Погода была, точно, скверная; тяжелою серою пеленою окутывалось небо; шел мелкий, но частый дождь, один из тех дождей, который насквозь пропитывает землю, которому так радуется простолюдин, но который приводит всегда в отчаяние дачников

---

[1] Милая мадемуазель Луиза *(фр.)*.
[2] Посмотрите!.. *(фр.)*

и помещиц, приезжающих в деревню с исключительною целью наслаждаться природой; таким дождям обыкновенно конца нет. Ветер уныло гудел в старых деревьях сада; гибкие ветви акаций, растущих за окном, били по рамам. и мокрые листья прилипали к мокрым стеклам.

— Oh! c'est une horreur![1] — произнесла француженка с таким видом, как будто за окном нежданно появилось привидение.

— Именно: une horreur![2] — подхватила Александра Константиновна.— Бедная моя Меринька, тебе даже побегать нельзя; вот уже четвертые сутки, как льет этот гадкий дождик.

— Les beaux jours vindront, madame Bélissine, elle ratrappera le temps perdu!..[3]

— Да, нам с вами хорошо говорить, но каково ей, бедному ребенку! Я нарочно привезла ее сюда, чтоб она пользовалась моционом и свежим воздухом. В ее возрасте это главные условия... Кстати, скажите мне, что вы сегодня делаете?

— Мы читаем Sandford et Merton, maman[4],— весело сказала девочка.

— C'est de Berquin, madame, l'ami des enfants![5] — подсказала гувернантка.

— Успеете еще, посидите немножко со мною. Эта погода... все это мне ужасно скучно! — произнесла Александра Константиновна, опускаясь на спинку кресел и гладя по голове Мери.— Если б я знала, что из десяти дней, проводимых здесь, придется пять дней сидеть безвыходно в комнате, я взяла бы по крайней мере с собою побольше книг... je n'ai que ça![6] — примолвила она, указывая на два жиденькие романа, из которых один был Гондрекура, другой Ксавье де Монтепена.— Но кто знал, что придется жить как в тюрьме? Теперь, разумеется, этого не случится; будущее же лето я привезу с собою целую маленькую библиотеку.

---

[1] О, какой ужас! *(фр.)*

[2] Ужас *(фр.)*.

[3] Будут еще хорошие дни, госпожа Белицына, она наверстает потерянное время!.. *(фр.)*

[4] «Сандфорд и Мертон».

[5] Это из Беркена, сударыня, друга детей! *(фр.)*

[6] У меня ничего больше нет! *(фр.)*

— Comment, madame Bélissine, vous pensez encore revenir ici l'été prochain?[1]

— Hélas, il le faut bien![2] — возразила Белицына, взглядывая в окно и слегка пожимая плечами.

Черные глаза бордоской уроженки изобразили удивление. Она постичь не могла такого принуждения. К чему: il le faut?.. зачем: il le faut?.. Décidément, les seigneurs d'ici ne savent, ne veulent pas jouir de leur position![3] Она ставила себя на место Белицыной. Стала бы она, как же! ездить в деревню, когда там скука невыносимая! Получай она доходы Белицыных, будь у нее верный приказчик, каков Karassin, она порхала бы, как свободная птичка, из Петербурга в Париж, из Парижа на Рейн и т. д. Нет, она решительно не постигала Александру Константиновну — быть богатой, car vous l'êtes enfin![4] страшно скучать в деревне, и ехать опять в эту деревню — зачем? к чему?..

— Que voulez-vous![5] — сказала Белицына, улыбнувшись горячей вспышке собеседницы, — впрочем, вам легко так думать, — прибавила она, возвращая милому, доброму лицу своему серьезное и даже несколько озабоченное выражение. — Вы говорите, мы не умеем пользоваться нашим положением; говорите, что если б были на моем месте, то ни за что не стали бы жить в деревне, когда вам там скучно; но знаете ли, это самое положение, la position du seigneur[6], налагает своего рода обязанности... да, великие обязанности, можно даже сказать, священные обязанности! Земли, доходы — все это само по себе; управитель такой, как Karassin, которому я и муж вполне доверяем, также само по себе... Но у нас есть также крестьяне, которые для нас трудятся, работают; мы должны, следовательно, лично наблюдать за их благосостоянием; l'oeil du seigneur... vous savez!..[7] Хотя я знаю, им и без нас нет никаких отягощений, но при нас все-таки им как будто веселее; они нас так любят! наше присутствие их ободряет... et puis, comme de raison, cela flatte leur amour-

---

[1] Как, госпожа Белицына, вы собираетесь приехать сюда и на будущее лето? *(фр.)*

[2] Увы, это необходимо! *(фр.)*

[3] Необходимо?.. необходимо?.. Право, здешние помещики не умеют, не хотят наслаждаться своим положением! *(фр.)*

[4] Ведь вы же богаты! *(фр.)*

[5] Что ж делать! *(фр.)*

[6] Положение помещика *(фр.)*.

[7] Хозяйский глаз... знаете!.. *(фр.)*

propre[1] — за что же лишать их этого удовольствия? Ils le meritent bien!..[2] Нет, нет, мы не можем располагать собою, как бы хотели... il faut se soumettre à certaines conditions[3] — это необходимо! Поверьте, chère m-elle Louise[4], и в нашем положении tout n'est pas couleur de rose[5], поверьте!..

На этом месте Александра Константиновна была прервана стуком в дверь.

— Это ты, Serge?

— Я. Можно войти?

— Войди, войди! — весело сказала жена, — но что с тобою? — подхватила она, пристально всматриваясь в полное лицо Сергея Васильевича, которое хотя и не теряло своего обычного добродушия, но казалось, однако ж, сильно недовольным и нахмуренным.

Сергей Васильевич молча поцеловал жену в лоб, поцеловал Мери, поклонился гувернантке и, закинув руки за спину, принялся ходить по комнате.

— Что с тобою, мой друг? — повторила Белицына.

— Ах! это ужасно! это невыносимо! это... это просто — я уже сам не знаю, что делать, у меня решительно руки отнимаются! — произнес Сергей Васильевич, как бы разговаривая сам с собою и еще значительнее ускоряя шаги.

— Но что же такое? — спросила жена, тревожно следя за движениями мужа.

— Не беспокойся, мой друг, ничего не произошло особенного... я так, меня возмущает... Представь себе, — подхватил Сергей Васильевич, — представь: опять этот мужик! опять он!.. это уж, наконец, действительно хоть кого возмутит!.. Опять он, опять этот мужик! — заключил Сергей Васильевич, бросаясь на диван и досадливо подпирая голову ладонью.

— Но что же такое случилось? — снова спросила Александра Константиновна.

— Oh, je suis horriblement ennuyé, ennuyé et découragé[6] в одно и то же время! — воскликнул помещик, мо-

---

[1] И потом, что вполне естественно, это льстит их самолюбию *(фр.)*.

[2] Они его вполне заслуживают!.. *(фр.)*

[3] Иногда приходится считаться со своим положением *(фр.)*

[4] Милая мадемуазель Луиза *(фр.)*.

[5] Не все в розовом свете *(фр.)*.

[6] О, я страшно раздосадован, раздосадован и обескуражен *(фр.)*.

тая головой.— Это в самом деле ужасно: опять он! опять тот же мужик!..

— О ком ты говоришь? Я, право, не понимаю, какой мужик?

— Да все тот же! тот! Неужели ты не помнишь? Это, кажется, не так, однако ж, давно случилось... Одним словом, помнишь, недели полторы назад, когда мы ходили гулять в любимую мою рощу...

— Ну да, да!

— Помнишь, мы поймали мужика, нашего марьинского мужика, который рубил огромную березу...

— Ах да, да! он еще так испугался...

— При тебе, кажется, дело было,— с жаром подхватил Сергей Васильевич,— помнишь, как бросался мне в ноги, как просил, как умолял, чтоб я простил его, как клялся и распинался, что никогда, во веки веков с ним этого не случится... Я простил его. Помнишь, как даже я мягко, ласково, можно сказать, с ним обошелся... я даже не бранил его; напротив, я всячески старался внушить ему... Я даже сжалился над ним, когда он сказал мне, что решился рубить это дерево потому, что не было у него денег на лучины, я дал ему целковый... Кажется, довольно — а? Что ж, ты думаешь, он сделал — а? Ну как, как ты думаешь?

— Право, не знаю...

— Je vous le donne en cent, je vous le donne en mille! [1]

— Что же он такое сделал?

— А вот что сделал: сегодня, не далее как час назад, он снова попался — и в чем? где? как ты думаешь? Он снова рубил дерево! — подхватил с возрастающею горячностью помещик,— рубил березу, и что всего ужаснее, рубил подле самого того дерева, у которого мы поймали его!

Александра Константиновна сложила руки и подняла прекрасные глаза свои к небу. Француженка всплеснула руками.

— Quelle ingrrratitude! [2] — сказала она.

Даже маленькая Мери, слушавшая отца с любопытством, свойственным ее возрасту, и та даже получила, казалось, самое невыгодное мнение о душевных свойствах марьинского крестьянина.

---

[1] Держу пари, что вы не угадаете! *(фр.)*
[2] Какая неблагодарррность! *(фр.)*

— Comme il est vilain, cet homme![1] — сказала она, надувая губки.

— Не правда ли! — воскликнул Сергей Васильевич,— это в самом деле ужасно! это значит: нет в человеке ни стыда, ни совести! Поступок этот возмутил меня донельзя...

— Полно, Serge; ты все это принимаешь слишком к сердцу... cela t'échauffe[2],— ласково сказала жена,— по-моему, сердиться решительно не стоит. Я бы на твоем месте распорядилась вот как: приказала бы старосте и еще другим старшим взять этого мужика, отвести его в рощу и на том самом месте, где он срубил дерево, заставить его своими руками — да, своими руками, посадить три березы — вот и все. Что с ними церемониться! он этого не стоит!.. Да и береза не стоит, чтобы ты сердился.

— Вот все вы, женщины, таковы! все вы поверхностно так судите! — произнес Сергей Васильевич.— Неужто, ты думаешь, в этом деле меня сердит то, что срублена какая-нибудь береза? Дело вовсе не в березе; дело в моральной стороне вопроса. Насажай теперь этот мужик хоть сто, тысячу берез — факт, факт его бесстыдства и недобросовестности все-таки будет существовать! И, главное, знаешь ли что? больно, что такие факты не исключение! — подхватил он тоном рассудительным, хотя огорченным,— да, не исключение! На каждом шагу почти встречаешь повод к разочарованию! Я совсем почти разочаровался! Не странно ли, в самом деле, что чем больше выказываешь снисхождения, чем ласковее, внимательнее обходишься, тем хуже: все это обращается тебе же во зло... Горько сознаться, а это так! Особенно больно встречать эту неблагодарность... потом это ханжество. Посмотри, например: мужик работает на барщине, работает он вяло, неохотно, точно по принуждению какому-то... ты показался, он сейчас принимает другой вид, хлопочет, суетится — словом, желает показать, что рад для тебя работать — и все так! везде это притворство, это явное равнодушие к пользе барина, который между тем только и думает, чтоб сказать им что-нибудь ласковое. Я не требую от них невозможного, не требую, например, деликатности: деликатность

---

[1] Как он отвратителен, этот человек! *(фр.)*
[2] Ты горячишься *(фр.)*.

есть уже следствие утонченного образования, и смешно даже было бы ее требовать! Но не вправе ли я ждать благодарности? Это чувство так натурально: оно уже, так сказать, в самой природе человека; но даже этого чувства, именно благодарности, я нигде не встречаю! А кажется, после того, что я для них делаю... Но, впрочем, что говорить! Дело в том, что это ужасно! Я совершенно разочаровался! Я, право, начинаю даже падать духом,– заключил Сергей Васильевич, приподымаясь с дивана и снова принимаясь расхаживать по комнате.

Александра Константиновна не возражала; к великому сожалению, она не находила ни одного факта, который по силе своей мог бы смягчить мрачное воззрение Сергея Васильевича и примирить его несколько с сельской жизнью; ей хотелось, однако ж, его рассеять; но как и чем рассеять? Она сама хандрила, сама скучала; благодаря несносной дождливой погоде сельская жизнь, о которой она так горячо мечтала в Петербурге, начинала ей самой казаться невыносимою; она только скрывала это от мужа и всячески даже старалась ободрять его. Воспользовавшись минутой, когда Сергей Васильевич, продолжавший ходить по комнате, стал к ней спиною, она мигнула Мери и указала ей на отца; девочка тотчас же соскочила со стула, подбежала к отцу и начала к нему ласкаться. Сергей Васильевич остановился, но только на минуту; он рассеянно провел рукою по голове ребенка, потрепал его за подбородок, раза два вздохнул, подошел к окну и задумчиво стал глядеть на двор.

– Serge, ты, кажется, посылал вчера на почту? – торопливо спросила Александра Константиновна. Цель этого вопроса заключалась в том, чтобы как можно скорее оторвать мужа от мрачной картины двора, обмываемого дождем.

– Да, я посылал на почту,– сказал Сергей Васильевич, продолжая смотреть в окно,– человеку давно бы даже следовало вернуться из города, но, вероятно, его задержала погода, может быть, даже благодаря милому нашему климату самая почта запоздала: эти проселки, это ужасно!..

– Oh, j'en sais quelque chose![1] – неожиданно воскликнула гувернантка. Она заметила, что во Франции

---

[1] О, уж я-то могу судить об этом! *(фр.)*

проселки вовсе не существуют; по словам ее, там, где не было шоссе или железной дороги, все дороги обсажены тополями, величественными кленами или виноградниками; едешь как словно в раю!

— Э!..— произнес Сергей Васильевич.

Восклицание было очевидно вызвано печальным видом двора и мыслью об окрестных проселках, которые еще резче выставили прелесть французских дорог, по которым он когда-то ездил. Он махнул рукою, нетерпеливо повернулся спиною к окну и встретился с горничной Дашей, иначе lady Furie, которая держала в руках несколько конвертов.

— Ба! письма! — вымолвил внезапно оживившийся Сергей Васильевич.

— Письма! письма! des lettres![1] — воскликнули в один голос остальные и радостно окружили Белицына.

— Y-a-t'il quelque chose pour moi?[2] — спросила гувернантка.

— Non...[3] Но вот тебе два письма, а вот мне также два.

— Allons, Mery, ne derangeons pas papa et maman...[4]

Француженка подала руку Мери, и обе отправились читать Sandford et Merton. Сергей Васильевич и Александра Константиновна расположились на разных диванах, поспешно сломили печати и приступили к чтению.

— Представь себе, Serge, Нина Лушковская живет на той самой даче, которую мы занимали прошлое лето! — сказала Белицына, взглядывая на мужа.

— Неужто?.. Помнится мне, Лушковские собирались жить на Каменном острову. Впрочем, они отлично сделали, что переменили намерение. Я был всегда того мнения, что для лета трудно найти что-нибудь лучше Петергофа...

— Еще бы! Я решительно завидую Нине: что за прелесть! Одно это море чего стоит! Надо согласиться, однако ж, что если можно где-нибудь жить приятно — все равно, какое бы ни было время года,— так это в Петергофе!.. Помнишь нашу петергофскую дачу? утром жили мы как в деревне: купались, гуляли;

---

[1] Письма! *(фр.)*

[2] Для меня что-нибудь есть? *(фр.)*

[3] Нет... *(фр.)*

[4] Пойдемте, Мери, не будем мешать папе и маме... *(фр.)*

вечером ездили в Верхний сад на музыку... всегда кого-нибудь встретишь. Я никогда не забуду прошлого лета! – довершила Александра Константиновна, задумчиво поглядывая на окно, за которым шумел дождь и свистел ветер.

– Да, лето было прекрасное, – заметил Сергей Васильевич, – можно даже сказать, замечательное было лето! Помнится, всего раз только шел дождь, – заключил он, углубляясь в чтение письма.

– Кто это тебе пишет? – спросила после минуты молчания Александра Константиновна.

– Сергей Сергеич.

– Какой?

– Завадский.

– Ах, да! ну что он делает? где он?

– Что ему делается! Живет себе припеваючи, веселится. Переехал в Павловск...

– Что, как Павловск нынешнее лето?

– Оживленнее, чем когда-нибудь! пишет Завадский. Княгиня Карнович давала, говорит, удивительный бал, toute la société y a été...[1] в восторге от Китти Курбской! Пишет, что завтра едет на бал к Шестовым. Никогда, говорит, так весело не проводил лета... Впрочем, что же ему и делать, если не веселиться? Вообще говоря, это один из самых положительно счастливых людей: молод, богат, а главное то, что он не помещик. Это, по-моему, одно из самых первых условий, чтоб быть счастливым, – право, так! – подхватил Сергей Васильевич каким-то апатическим тоном, который даже без всего предыдущего ясно мог показать, что ему сильно прискучило Марьинское, – да, все эти заботы помещика, зависимость его от каких-нибудь дождей и неурожаев, все эти хозяйственные, скучные дрязги, наконец самый моральный вопрос: ответственность касательно благосостояния крестьян... заботы, попечения... заботы, никогда почти не вознаграждаемые, потому что везде почти встречаешь одну неблагодарность, грубость... да, все это не существует для Завадского!.. Вот еще новость: Петухов сделан камер-юнкером! – заключил Сергей Васильевич глухим голосом и снова углубился в чтение письма.

Александра Константиновна не сделала ни малейшего замечания касательно последней новости; она

---

[1] Там было все высшее общество... *(фр.)*

была очень ею недовольна; письмо Завадского уже само по себе должно было усилить хандру Сергея Васильевича: он так привык к Петербургу, так любил его! (Александра Константиновна судила по собственным своим чувствам.) Очень нужно еще было писать об успехах Петухова! Впрочем, добродушное белокурое лицо Сергея Васильевича, склоненное над письмом, достаточно выражало состояние его мыслей; оно ясно говорило о положении человека, вынужденного закабалить себя в глуши и терять драгоценное время. Опечаленная своими наблюдениями, Александра Константиновна решилась ни слова не говорить мужу о втором письме. Оно также было от молоденькой светской дамы, приятельницы Белицыных; светская дама называла Белицыных пустынниками, отшельниками, описывала в самых соблазнительных красках дачную петербургскую жизнь, говорила, что общий голос их кружка тот, что для полного удовольствия недостает только Белицыных; очень мило смеялась над морковью, горохом и капустой, которые, по словам ее, должны были сеять с утра до вечера Белицыны; убедительно упрашивала их бросить всю эту дрянь и ехать в Петербург, чтоб полюбоваться блеском месяца в Финском заливе. Жизнь светской дамы не проходила, однако ж, в одних удовольствиях (так значилось в конце ее письма); она занималась также делом: раз в неделю покидает она берега Невы, отправляется в душную столицу и лично наблюдает за переделкою парадных комнат в своем доме; особенно много хлопот стоит ей ее гостиная во вкусе Людовика XV; архитектор отличился — это правда; но благодаря именно строгому выполнению стиля гостиной следует украсить ее саксонскими куклами, которые так редки теперь. Светская дама совершенно измучилась, разъезжая по магазинам. «Представьте себе, chère Aléxandrine[1] (этим заключалось письмо ее), хлопочу с утра до вечера, когда бываю в городе, и результатом этих хлопот бывает иногда всего одна какая-нибудь куколка, а их надо не менее сорока! jiugez de mon desappointement...»[2]

Последние строчки окончательно убедили Александру Константиновну не сообщать мужу о письме при-

---

[1] Милая Александрина *(фр.)*.

[2] Вообразите мое разочарование... *(фр.)*

ятельницы; это значило бы положить палец на больную рану Сергея Васильевича, который вот уже третий год обещает жене отделать гостиную именно во вкусе Людовика XV и каждый раз откладывает это намерение. К счастию, Сергей Васильевич не полюбопытствовал даже спросить об этом втором письме; у него также было свое второе письмо, и, как казалось, ему также не хотелось, чтоб жена знала о его содержании; желание это так было сильно, что он не дал ей опомниться и торопливо вышел из комнаты. Все это было совершенно в порядке вещей: ему писал приятель, общий знакомый его и жены; приятель извещал Сергея Васильевича, что только что получил паспорт и едет вместе с женою, детьми и гувернанткой за границу. Принимая в соображение собственные чувства и стремления, Сергей Васильевич не сомневался, что жена сильно скучает в Марьинском; скука ее некоторым образом лежала на его совести; им, по-настоящему, точно так же следовало бы ехать нынешнее лето за границу; дело совсем даже было решено, но — увы! карточные увлечения помешали поездке, точно так же, как помешали они исполнить это намерение прошлое лето и даже лето третьего года; последняя зима заставила даже Сергея Васильевича посетить Марьинское и прожить там лето... Проникнутый всеми этими соображениями, он решился солгать о содержании письма, в случае если спросит о нем Александра Константиновна. Весьма натурально, письма эти и мысли, ими возбужденные, способствовали только к тому, чтоб усилить хандру марьинского помещика.

— Monsieur a quelque chose... [1] — заметила в тот же вечер француженка.

— Il est très préoccupé [2], — возразила Александра Константиновна, но подумала в то же время: «Боже мой! что бы такое сделать, чтоб его рассеять? Бедный мой Serge скучает, умирает от скуки!» С той же минуты она являлась перед ним не иначе, как с веселым, улыбающимся лицом, и всячески старалась развлекать его. Победа Александры Константиновны над собою не ускользнула от Сергея Васильевича; скука поневоле делала его наблюдательным; он оценил поступок

[1] Мосье что-то не в духе... *(фр.)*
[2] У него очень много забот *(фр.)*.

жены но эта самая оценка, вместо того чтоб его порадовать, отозвалась в душе его мучительным раскаяньем и внутренно еще сильнее расположила к хандре: ему не переставали приходить в голову кой-какие промахи и карточные увлечения, которые заставили его закабалить жену в скучную деревню, вместо того чтоб везти ее за границу. Марьинское становилось день ото дня невыносимее Сергею Васильевичу; вместе с этим помещичья жизнь являлась перед ним в самом невыгодном свете; он почти не выходил из кабинета своего прадеда, хотя погода давно разгулялась и стояли ясные, прекрасные дни; катанье в лодке, уженье, прогулки в роще, чай в лесу – словом, все увеселения, какие только придумывала Александра Константиновна, нимало не пленяли Сергея Васильевича; он всегда отказывался, говоря, что обременен занятиями. Чтоб оправдать слова свои, он действительно раз двадцать в день посылал за стариком Герасимом. Но, боже, какая была разница между теперешними беседами Сергея Васильевича с управителем и прежними! В прежних беседах везде выставлялся кипучий хозяин, который так вот и порывался к деятельности и не знал ей предела; теперешние беседы имели характер апатический и вместе с тем раздражительный. Ничто не делалось так, как хотелось Сергею Васильевичу; дух недоверия и противоречия проглядывал в каждом его слове. Объявлял ли Герасим о том, что сегодня скошено десять десятин луга, Сергей Васильевич находил, что это очень мало, что мужики, вместо того чтоб косить, играли, верно, в свайку или в бабки.

– Помилуйте, сударь, возможно ли это дело? – говорил Герасим, быстро вращая за спиною большими пальцами руки, что, как известно, делал он, когда находился в недоумении.

– Очень возможно! – возражал Сергей Васильевич, – мужики всегда так, когда на барской работе: это, разумеется, не своя работа – барская, – довершил он иронически, и все в том же роде, так что Герасим Афанасьевич, возвращаясь к своим дроздам и чижикам, разводил только руками и заботливо потряхивал седою гладко обстриженною головою.

«Нет, папенька не таков был! – рассуждал всегда сам с собою старик, – не таков был папенька!.. Также вельможа был, а между тем насчет, то есть, и в хозяйстве толк знал!.. был, примерно, настоящим хозяи-

ном... Впрочем, этот еще молод! По молодости, выходит; к тому же и не привык... а главное, выходит, больше по молодости!» — заключал старик, носивший когда-то Сергея Васильевича на руках и потому считавший его очень молодым даже в тридцать семь лет.

Порешив таким образом с делами, Сергей Васильевич являлся в гостиную или на террасу, куда обыкновенно собирались вечером.

— Ты, кажется, устал, Serge,— говорила Александра Константиновна, с нежным участием глядя на мужа, который тяжело опускался в кресло, утирая лоб платком, и уныло вращал глазами.— Tu devrais te reposer, mon ami![1] — продолжала она,— право, следовало бы отдохнуть! Все эти хлопоты, заботы — все это тебя утомило... ты даже похудел.

— Нельзя же, душа моя,— возражал Сергей Васильевич, подпирая голову ладонью и вздыхая,— никак нельзя. Без хлопот ничего на свете не бывает, и, наконец, мое положение этого требует... c'est pour ainsi dire, mon devoir!..[2]

— Милый! — нежно подхватывала Александра Константиновна, протягивая мужу руку и пожимая ее,— но все-таки я нахожу, ты слишком себя беспокоишь, слишком принимаешь все это к сердцу. После того, что ты сделал для именья, ты, кажется, вправе отдохнуть; тебе необходимы развлеченья, c'est plus sérieux, que tu ne le pense[3],— такая жизнь действует даже на расположение твоего духа. Знаешь, Serge, мне даже приходит в голову иногда, что ты себя пересиливаешь... tu n'est pas apprécié[4] — ты сам это чувствуешь; тебе, кажется, самая эта деревня как будто надоела...

— Мне? вот новости! напротив,— с принужденным удивлением перебивал Сергей Васильевич,— я и не думаю скучать; мне даже скучать здесь некогда... И, наконец, мало ли что я тебе говорю: le devoir avant tout![5] Если есть обстоятельство, которым я недоволен, которое меня беспокоит, так это то, что я тебя завез в эту глушь. Вот ты так скучаешь — это несомненно, и я не понимаю только...

[1] Тебе следовало бы отдохнуть, друг мой! *(фр.)*
[2] Это, так сказать, мой долг!.. *(фр.)*
[3] Это серьезнее, чем ты думаешь *(фр.)*.
[4] Тебя не оценили *(фр.)*.
[5] Долг прежде всего! *(фр.)*

— Чего ты не понимаешь? — перебивала жена с заметным волнением и краснея.

— Не понимаю, зачем ты не говоришь мне об этом.

— Нет, ты решительно хандришь! — восклицала Александра Константиновна, делая над собою усилие и смеясь. — Да знаешь ли ты, что я в совершенном восхищении от деревни? Нельзя же, согласись сам, нельзя быть всегда веселой; но в душе я совершенно счастлива и наслаждаюсь. Если есть у меня забота, так это одно только: мне именно кажется, что *ты* здесь скучаешь, — заключила она, между тем как гувернантка суетливо отходила к окну или спускалась в сад и, делая вид, что рассматривает гвоздику, посмеивалась в платок.

Такого рода объяснения повторялись почти каждый день между супругами. Сергей Васильевич всячески старался убедить жену, что *она* скучает; Александра Константиновна убеждала мужа, что сельская жизнь *ему* в тягость; и неизвестно, когда бы открылась истина, может быть, даже Белицыны продолжали бы страшно скучать тайно друг от друга до глубокой осени, если б одно обстоятельство не развязало этой маленькой комедии, которую разыгрывали муж и жена. Как-то утром (это было в последних числах июля) пришла баба с больным ребенком. Доложили Александре Константиновне. Белицына, с свойственною ей добротою, на которую нимало не действовала неблагодарность крестьян, поспешила выйти в переднюю; она заботливо осведомилась о болезни ребенка: ребенок вот уже пятый день как не ест, не пьет, жалуется на боль в глазах, чешется и кричит благим матом. Александра Константиновна приказала раскрыть его: ребенок был красен, как рак, только что вынутый из кастрюли. В эту самую минуту Сергей Васильевич, гулявший с сигарою по зале, вошел в переднюю. Он в это утро, казалось, особенно хандрил. Взглянув на ребенка, Сергей Васильевич испустил восклицание, схватил жену за руку и быстро отодвинул ее назад.

— Помилуй, что ты делаешь! — проговорил он торопливо, — бога ради!.. у этого ребенка, кажется, скарлатин! Вспомни о Мери: болезнь эта страшно прилипчива... Ах, боже мой! бога ради, моя милая, уходи скорее! — примолвил он, выглядывая из дверей залы,

где, вся в страхе, стояла жена его. — Не бойся, моя милая, это ничего, ребенок твой выздоровеет... я только боюсь, чтоб болезнь его не пристала к барышне. Бога ради уходи только и успокойся; я сию же минуту пошлю за доктором. Quelle imprudence![1] — заключил он, возвращаясь к жене, которая решительно не знала, что с собою делать.

Он успокоил ее, сказал, чтоб Мери тотчас же увели наверх и не пускали на воздух, позвонил и велел, чтоб немедленно верховой скакал за доктором.

— Надо убедиться, точно ли это скарлатин, — говорил Сергей Васильевич озабоченным тоном и суетливо расхаживая по всем комнатам. — Quelle imprudence! Quelle imprudence!.. — повторял он через каждые пять минут.

Предоставляю вам судить о беспокойстве, которое овладело Белицыными, когда доктор, осмотрев больного ребенка, объявил, что у него, точно, скарлатин.

— Болезнь действительно очень прилипчива и не совсем безопасна, — сказал доктор. — Нет теперь сомнения, что дети вашей деревни переболеют; впрочем, теперь лето, и болезнь легче перенести.

— Ах, доктор, что вы!.. что вы!.. это ужасно меня беспокоит, — перебил Сергей Васильевич.

Он позвонил и сказал, чтоб тотчас же попросили к ним Луизу Карловну.

— Je viens seule, Mery a un peu mal â la tête[2], — сказала гувернантка, весело подпрыгивая перед доктором.

Александра Константиновна упала на стул. Сергей Васильевич всплеснул руками. Минуту спустя Белицыны, доктор и гувернантка были уже наверху и стояли перед постелью Мери.

— О, это ничего, успокойтесь, сударыня, — сказал доктор, — решительно ничего... нет даже признаков никаких, так, маленький прилив крови к голове, — примолвил он, обращаясь к Белицыной, которая сидела как растерянная.

Внезапно пухлое добродушное лицо Сергея Васильевича просияло, просияло, как словно потолок раскрылся, и черты его озарились лучом солнца.

— Доктор, — сказал он, — доктор, может ли она вы-

---

[1] Какая неосторожность! *(фр.)*

[2] Я пришла одна, у Мери немного болит голова *(фр.)*.

держать дальнюю дорогу? (Тут он указал на Мери.) Ручаетесь ли вы, что она выдержит путешествие...

— Без сомнения! — сказал доктор.

— Aléxandrine, мы едем, едем мгновенно! — воскликнул Сергей Васильевич и, не дожидаясь возражения, побежал вниз отдавать приказания.

Вмиг все засуетилось в доме; из дома суета перешла в лабиринт, где жили дворовые, оттуда суета перелетела в деревню. Только и слышно было кругом: «Господа уезжают... едут господа... бары в Питер едут!»

К вечеру маленькая Мери весело уже прыгала подле гувернантки, которая водила ее по саду прощаться с любимыми местами; это обстоятельство тотчас же возвратило спокойствие Александре Константиновне, и она деятельно принялась наблюдать за укладкою. Сергей Васильевич между тем заперся в кабинете и беседовал с Герасимом. Сначала старик, ошеломленный поспешностью отъезда, заикнулся было о том, что не лучше ли Сергею Васильевичу подождать посева; он намекнул о необходимости привести к окончанию кой-какие хозяйственные постройки; но Сергей Васильевич ужасно рассердился. Он сказал, что здоровье дочери для него дороже всего на свете, и проч. Впрочем, сердце помещика так же быстро угомонилось, как и закипело. Он обнял старика, благодарил его за хлопоты, трепал по плечу, называл воркуном и дядей и тут же сообщил ему несколько проектов касательно устройства Марьинского, проектов, которые он намерен привести в исполнение будущее же лето; теперь и деньги ему нужны, да и времени у него нет этим заняться.

Убедившись окончательно в здоровье дочери, не сомневаясь теперь, что она без всякой опасности может пуститься в путь, Сергей Васильевич повеселел уже в такой степени, что каждый, казалось, кто подходил к нему, делался тотчас же весел. Благодаря этой веселости самый образ мыслей помещика, самое воззрение на предметы стали яснее, радушнее и мягче. Он поручил Герасиму благодарить крестьян; сказал, что очень доволен своими марьинскими мужичками; каждый из мужиков, который подходил к нему в этот вечер, оставался в полном удовольствии: одному Сергей Васильевич приказывал дать ржи на посев, другого снабжал овсом — словом, выказал себя истинно благодетельным помещиком.

На другое утро, когда к парадному крыльцу поданы были дормез и сопровождавший его тарантас для повара и других людей, на красном дворе повторилась опять прощальная сцена между дворовыми и господами. Как тогда, так и теперь одно из главных действующих лиц этой сцены был опять-таки вертлявый дворовый мальчик с белыми, как лен, волосами и веснушками по красному, как огонь, лицу; как ни оттирали его в толпе, окружавшей помещиков, сколько ни получал он толчков и треухов, он все-таки протискивался вперед, и не могла Александра Константиновна протянуть руки без того, чтоб этот мальчик не припал к ней с каким-то остервенелым азартом. Наконец Белицыны уселись в экипаж. Сергей Васильевич послал приветный знак Герасиму, сказал: «прощай, старик!» – и лошади тронули.

Снова перед каждой избой Марьинского показался народ (кроме, разумеется, избы Лапши; она до сих пор была не продана и стояла пустая); снова мелькнула на солнце омбрелька Александры Константиновны и соломенная шляпка Мери, которой француженка не переставала говорить: «Mais saluez donc! Mery, mais saluez donc!..» [1], и снова Сергей Васильевич и жена его не переставали посылать поклоны, один на правую сторону улицы, другая – на левую. Когда экипажи выехали за околицу и стали подыматься в гору, Сергей Васильевич и Александра Константиновна обернулись назад и бросили прощальный взгляд на дом и на марьинский народ, толпившийся у околицы. Веселость, сиявшая в чертах их накануне и в продолжение всего нынешнего утра, как будто на минуту пропала; они казались растроганными.

– Ces braves gens! [2] – произнесла Александра Константиновна, торопливо вынимая батистовый платок из бокового кармана.

– Да, – подхватил, прищуриваясь, Сергей Васильевич, – грех сказать, в нашем положении... la position du seigneur... [3] есть много утешительного.

После этого оба выразительно пожали друг другу руку, и уже веселая беседа о Петербурге, об островах, дачах и ожидавших их там удовольствиях не прерывалась во всю дорогу.

---

[1] Да поклонитесь же, Мери, поклонитесь же!.. *(фр.)*
[2] Какие славные люди! *(фр.)*
[3] ...положение помещика... *(фр.)*

II

ПАРОМ. ТЯЖЕЛЫЙ ПУТЬ

Полдень. Солнце жжет невыносимо. На небе, раскаленном и сверкающем так, что смотреть больно, ни облачка. Отблеск отвесных солнечных лучей на глинистой пашне невольно заставляет щуриться и отворачиваться; но всюду, куда ни устремляются утомленные глаза, всюду стелется сыпучая раскаленная почва. Воздух недвижен. Хотя пора теперь самая рабочая и весь народ, от мала до велика, в поле, однако ж, окрестность погружена в мертвое, тяжелое молчание; сколько ни прислушивайся — живого звука почти не услышишь. Все живущее как словно плашмя припало куда-то, забилось, завалилось и боится поднять голову, чтоб не спалить волос и не обжечь носа. Слышно только время от времени, как в ближайших межах и по окраине дороги лопаются назревшие стручья и постреливают своими сухими, как дробь, зернами. В настоящее время житье одним лишь оводам да мухам; зной так силен, что даже лошадиные хвосты движутся вяло; овод безнаказанно может припадать к шкуре своей зеленой стеклянистой головкой и вонзать свое жало в ребро, спину и ноздри животного; бедная кляча стоит недвижно: растопырив ноги, свесив костлявую голову к пыльной, поблекшей траве, она ко всему бесчувственна и ни о чем не думает; равнодушие ее не нарушается даже присутствием двух-трех грачей, которые, как словно почуяв скорую добычу, бог весть откуда вдруг явились, плавно расхаживают и так лоснятся на солнце, что кажутся вспотевшими до последнего перышка. Но если так злы мухи и оводы, то, наоборот, самые свирепые собаки (кроме бешеных, разумеется) смирны теперь, как телки; забившись куда-нибудь под навес, да там еще под телегу, они безотрадно вращают вокруг глазами и переносят из стороны в сторону длинный язык, с которого каплет слюна. Но не только тяжко дышать под навесами и в клетушках, не только сохнет язык и липнет рубаха в самой глухой чаще леса, жар донимает даже подле воды, у берегов рек и даже на самой реке. Примером этого может служить паромщик Влас: он снял с себя кафтан, снял сапоги, снял рубашку и сел, думая, авось легче будет, сел, свесив ноги за борт; пробовал

он также соснуть, авось часа через два жар сбудет,— нет, не спится, добрѐ уж очень парит! От нечего делать вынул он из бокового кармана шаровар трубочку длиною в палец и величиною в наперсток, насыпал туда свежей махорки, похожей на пыль, и запалил; но первый глоток дыма обжег его как огонь; он плюнул, выколотил пепел в воду и обратился к товарищу, который лежал в полушубке на дне парома, не то спал, не то нет и представлялся каким-то совершенно разваренным человеком.

— Севка, сыми, говорят, полушубок-то... леший! — сказал Влас.

Севка сдвинул только брови и оттопырил нижнюю губу, чтоб отогнать муху, которая села ему на нос.

— Черт! сыми полушубок-то... вишь, так легче! — повторил Влас, шлепая себя ладонями по обнаженным ребрам.

— А чево его сымать-то? — вымолвил, наконец, Севка,— все одново потеть-то.

Не только воздух, но самая вода, казалось, сильно нагрета. Неподалеку от того места, где стоит паром, из-за кустов выбежала какая-то баба, боязливо оглянулась направо и налево и вошла в реку; пригнувшись раза два грудью к воде, она снова глянула направо и налево, вернулась в кусты и, одевшись, пошла к ближайшему полю ржи, которую насквозь, до самого корня, пронизывало солнечными лучами. Там жужжали одни кузнечики, скакавшие с травки на травку и падавшие обыкновенно каждый раз на спинку. Что ж касается до людей, они все лежали пластом, подкатившись к самому краю сжатого хлеба, не трогали ни одним членом и приводили на память листья хрустального деревца, покрытые сверху донизу сверкающими каплями.

К ручьям отдаленных лощин пригнали стада; но и там донимают их солнце и ядовитые желтые мухи; в затишье под кустами лозняка, там, где впадают ручьи в речку и где роями носятся синие и изумрудные «коромысла» с кисейными крыльями, тесно жмется рыба; по соседству залезли в воду по самое брюхо лошади и стоят как окаменелые; злачная, сочная трава заливных лугов, которую скосили часа два назад, хрустит уже под ногами, подымается ворохом, пучится и торчмя становится; воздух, напитанный земляными и растительными испарениями, которые усиленно тя-

нет солнце, так тяжел, что пыль, задетая подошвой. сыплется как песок; она лежит увесистой периной и подняться не может; а если и подымут ее тележные колеса, она стоит неподвижным золотым облаком, в котором захватывает дыханье, помрачаются мысли и ослабевают члены, и без того уже обессиленные тяжкой духотою и зноем. Словом, такая жара – деваться некуда; залез бы, кажется, на дно колодца, обложил бы себя льдом и сидел бы там до солнечного заката!

Ясно, что в этот знойный полдень одна горькая неволя или крайняя нужда могли заставить человека идти или ехать. Не знаю, та или другая причина понуждала знакомых нам нищих, но только именно в эту пору можно было их встретить на дороге к большой реке и парому, о котором мы вскользь упомянули. Они, впрочем, медленно подвигались; все молчали; изредка разве тот или другой перекидывался словом. Даже сам весельчак, слепой Фуфаев, приуныл, казалось; но не усталость и, еще менее, жар действовали на неутомимую веселость Фуфаева. Жар внутренний, который почти всегда поддерживал в себе слепой с помощью крепких напитков (добывание их было, можно сказать, единственною целью его существования), жар этот был всегда так силен, что Фуфаев оставался уже нечувствителен к наружному. Меланхолия Фуфаева (если только можно назвать этим словом настроение духа, возбуждавшее в слепом неодолимое желание расплюснуть кулаком нос Верстана), меланхолия его истекала из других причин. Ему не шутя становилось жаль вожака своего Мишку, который изнемогал положительно. Бедный мальчик едва-едва передвигал ногами, а между тем слепой с утра еще освободил его от сумы и полушубка; Фуфаев нес все это на плечах своих; несколько раз принужден он был брать в охапку самого ребенка и нести его заодно с мешками. Фуфаев с самого утра нещадно ругал Верстана, неоднократно убеждал его обождать хоть один день и принять в рассуждение ослабевшего хворого мальчика – все было напрасно.

– Оставайся, пожалуй,– говорил Верстан,– а мы пойдем: нам недосуг...

Фуфаев никак не мог оставаться один; что стал бы он делать без Верстана, да еще с больным вожаком? Не будь он слеп, ну тогда другое дело. В теперешнем

положении его это было невозможно, тем более невозможно, что и дядя Мизгирь был на стороне Верстана.

— Ну, Мишка,— говорил Фуфаев каждый раз, как с мальчиком делалось что-то вроде дурноты и он вынужден был брать его на руки или взваливать на спину, причем пухлое лицо слепого делалось багровым, и пот лил ручьями,— ну, Мишутка, хошь тяжесть в тебе не пуще велика, корка одна, в чем только душа держит! и все одно, связал ты меня... шибко связал! будешь ли помнить мою родительскую заботу — а? будешь ли, пострел, поминать меня, как помру?

— Смотри, не тебе ли придется поминать его: это дело вернее будет! — примолвил Верстан, черты которого, набитые пылью, казались еще жестче и суровее.— Ну, ты, полно тебе оборачиваться-то, аль сам упасть собираешься? я ведь не понесу, как раз на дороге брошу! — заключал после каждой речи нищий, понукая Петю, который плелся впереди и время от времени останавливался, чтоб обратить к бедному, изнемогающему товарищу покрытое потом лицо (впрочем, трудно было разобрать, пот или слезы так обильно текли по щекам Пети).

Во всей этой компании всех покорнее и спокойнее был дядя Мизгирь. Жар на него как будто не действовал; впрочем, и действовать было не на что: одни сухие кости, прикрытые сухою кожей! Ходьба во всякое время года, во всякую пору — была ему в привычку. И думать ему обо всем этом было даже некогда; мысли его неотлучно прикованы были к онуче левой ноги, скрывавшей драгоценные ассигнации и деньги, которые так пленяли Верстана и о которых Верстан думал даже в настоящую минуту; но дядя Мизгирь не подозревал этого; он чувствовал только — и приятно было ему это чувство,— что серебряные рубли его сильно понагрело солнцем, даже сквозь онучи, и заключал из этого, что солнце, должно быть, припекло добре́ дюжо́.

— Дедушка! — воскликнул неожиданно Петя, глядевший несколько минут вбок по направлению к Фуфаеву,— дедушка, Миша опять валится!..

— О, собаки вас ешь! — проворчал Верстан, досадливо стуча дубиной в землю.

— Эй, слышь, стой! погоди! — крикнул в то же время Фуфаев, подхватывая Мишу, который без чувств упал ему на руки,— эка напасть!.. эй, слышь,

Мишка... слышь, вставай!.. ведь я те взаправду брошу...

— Дедушка, касатик! дедушка, не бросай! мы вместе его понесем... он скоро очнется... опять пойдет! — закричал Петя, забывая в эту минуту весь страх, внушаемый Верстаном, и бросаясь к Фуфаеву.

— Назад! — сурово произнес Верстан.

Петя остановился как вкопанный; глаза его, полные слез, с мольбою устремились к Верстану, но он ничего не посмел сказать ему; он не посмел даже громко заплакать и стоял, плотно сжав губы, которые судорожно изгибались. Так как угроза оставить мальчика на дороге, угроза, вырвавшаяся у слепого в первую минуту досады, нисколько не подействовала на то, чтоб привести в чувство Мишу, Фуфаев ощупал палкой окраину дороги и посадил на нее мальчика. Голова мальчика опрокинулась назад; он опустился на траву; мертвенная бледность покрывала лицо его, на котором не было признака жизни; одни тонкие ноздри слегка вздрагивали; зубы ребенка были плотно стиснуты; кой-где на губах виднелись следы запекшейся крови.

— Ну что, долго ли нам так стоять-то? — произнес Верстан, выглядывая из-под шершавых, мрачно нависших бровей.

— Эх!.. эх-ма!.. слышь... как быть-то? — вымолвил Фуфаев, который, быть может, первый раз в жизни не чувствовал потребности выкинуть какую-нибудь скоморошную штуку.

— Говорил, не бери! говорил: не по нас малый-то! не осилит — ничего, мол, не стоющий! — сказал Верстан.

— Да кто ж его знал! Эх, слышь, как быть-то? слышь, — подхватил Фуфаев, — не бросить же его взаправду на дороге... ведь христианская душа-то!.. Сколько, сказывал ты, до ярманки, куда идти-то надо?

— Тридцать верст без малого от перевоза...

— Мы, слышь, дядя, вот как сделаем, — быстро заговорил Фуфаев, — реку переедем, в первой деревне отдадим его. Может, и так возьмут, а коли не возьмут, пожалуй, десять копеек отдам — последние! отдам его, примерно, на сохранение. А мы, слышь, тем временем по окружности походим. Тридцать верст не конец света, поспеем! и ярманка ведь не завтра... тем временем

ему авось полегчит... мы, как идти нам на ярманку, опять его возьмем — ладно, что ли?

— Нет, не ладно; ладно по-твоему, а по-моему нет, — возразил старый нищий, — ты жди, пожалуй, а нам недосуг...

— Нам недосуг, — повторил с крайне озабоченным видом дядя Мизгирь, которому точно так же хотелось скорее попасть на ярмарку, чтоб успеть занять выгодное место на церковной паперти, куда обыкновенно стремятся нищие и где жатва всего обильнее.

— Эх, леший вас ломай!.. А ты, старый хрыч, пропадешь как собака!.. как собаку задавят за твои же деньги!.. — крикнул Фуфаев, двигая своими белыми зрачками, между тем как Петя, стоявший на прежнем своем месте, не отрывал глаз от маленького товарища и рыдал теперь во весь голос.

— Чего ты?.. вишь жалостлив больно! чего нюни-то распустил? ступай! — сказал Верстан, толкая его вперед.

Видя, что делать было нечего, Верстана не усовестишь, не уломаешь, Фуфаев поднял Мишу на руки, крякнул и поплелся за товарищами, не переставая посылать проклятия дороге, жаре, мальчику, нищим и даже — совершенно неизвестно за что — своей собственной особе. Таким образом почти незаметно стали они приближаться к реке; близость ее сказывалась тем, что грунт делался постепенно рыхлее, сыпучее и местами превращался в песок. Кое-где попадались исполинские столетние ветлы с корнями, глядевшими из земли; эти корни и мелкие белые раковины, все чаще хрустевшие под ногами, говорили, что река захватывала эти места в половодье; вместе с этим все выше и выше подымался отдаленный нагорный берег, казавшийся совершенно синим и только снизу, у подошвы, принимающий беловатый отблеск реки, которую скрывала линия ближайшего горизонта. Фуфаев, все еще державший мальчика, ускорил вдруг шаг и выровнялся с Верстаном.

— Постой! — сказал слепой, — слышь, никак телеги едут! — подхватил он, оборачивая назад голову, — повремени маленько, я попрошу, чтоб посадили Мишку...

— Чего его сажать-то... вот уж река, почитай, видна, и так дойдешь! — вымолвил Верстан.

— Песок, брат... измаялся... инда не под силу...— сказал, покрякивая, Фуфаев.

Верстан засмеялся. Не дожидаясь другого ответа, слепой торопливо, но бережно опустил на землю Мишу, веки которого начали вздрагивать и слегка открываться. Шум колес по дороге, заслышанный чутким ухом Фуфаева, начинал приближаться.

— Да это не телеги,— сказал он,— бубенчики гремят, должно быть, бары...

При слове «бары» Верстан, а за ним дядя Мизгирь устремили глаза на дорогу. Сначала видно было только густое, тяжелое облако пыли; минуты через две, однако ж, явственно обозначились в нем лошади, форейтор и два экипажа, следовавшие один за другим.

— Шестерик! — воскликнули на разные голоса и в одно и то же время оба старика,— ну, ребятишки, становись, дружно смотри... А ты чего зеваешь? — примолвил Верстан, толкая Петю, который жадно следил за каждым движением Миши, начинавшего приходить в чувство.

Каждый раз, как с Мишей делалась дурнота, Пете не шутя представлялось, что он умирает; но зато, как только мальчик открывал глаза, Петей овладевала такая радость, как будто он получал уверенность, что Миша окончательно уже выздоровел и теперь с ним ничего больше не случится; увидя его сидящего с открытыми глазами, Петя весело кивнул ему головою и поспешил ухватить конец палки, которую подавал Верстан, смотревший на приближавшиеся экипажи прищуренными глазами, готовыми сию же секунду закрыться. Дядя Мизгирь стоял подле; седая голова его свесилась набок, спина согнулась под бременем пустого мешка, ноги перекосились; каждый, взглянувший на него, не усомнился бы, что он, ко всей своей дряхлости, еще слеп от рождения. Путешественники были уже в десяти шагах; но о приближении можно было заключить по топу и фырканью лошадей, хлестанью кнута и крику людей; все остальное — и люди, и лошади, и экипаж исчезали в непроницаемом облаке пыли, над которым, однако ж, как олимпийское божество совершенно нового рода, подпрыгивал дюжий форейтор.

— Начинай! — шепнул Верстан.

Отцы наши ми-и-лостивцы!..
К стопам ва-а-шим па-а-дасм!
С убожеством, с немочью...

хватили нищие все хором, в котором особенно отличались козлячий голос Фуфаева и тоненький, как свирель, голосок Пети.

Почти в ту же секунду открылась шестерка заморенных, едва переводящих дух лошадей, припряженных в дормез, и, как тотчас же оказалось, в дормез Белицыных. Но напрасно надрывались нищие, захватывая при каждой ноте глоток едкой пыли; окна дормеза были подняты; даже зеленые тафтяные шторы за окнами были опущены. Сергей Васильевич, Александра Константиновна, гувернантка и Мери не могли видеть нищих; они слышали только какое-то дикое пение и вовсе не любопытствовали узнать, что это было такое: они задыхались от жара. Но более всех, очевидно, страдала Даша, камеристка Александры Константиновны; она сидела в наружном месте, позади дормеза, и не переставала чихать и фыркать, причем слои пыли, лежавшие на ее шляпке и прическе à la Margot, подымались клубами над ее аристократической головой. Вид неряшливой одежды производил на нее неприятное действие даже в хорошем расположении духа; можете себе представить, какое впечатление производили на нее нищие, когда она более чем когда-нибудь оправдывала название lady Furie; она отвернулась даже с отвращением. Нищие ничего также не получили из тарантаса, где находились повар и два лакея; всех трех страшно растрясло, и они были сильно не в духе.

— Ничего не подали? — спросил Верстан, раскрывая глаза.

— Ничего! — сказал Мизгирь, злобно следя за проехавшим тарантасом.

— Бары? — спросил Фуфаев.

— Бары.

— Ишь их, в какую пору поехали! Вот уж подлинно... — заметил, потряхивая головою, Фуфаев.

— Вот что, братцы, — заговорил вдруг дядя Мизгирь, — пойдемте-ка скорее к перевозу: может, они там подадут, может, вылезать станут на пароме-то...

— И то, пойдемте, — подхватил Верстан, — неравно без нас реку-то переедут, парома тогда не дождешься...

Сказав это, он сунул конец палки в руку Пети и пошел ускоренным шагом, за ним поплелись и остальные, не выключая Миши, который немножко поправился силами. Когда они подошли к берегу, где устроена была пристань, оба экипажа находились уж на пароме; дверца дормеза была открыта; на нижней подножке стоял Сергей Васильевич и весело покуривал сигарку; знакомый нам перевозчик, Влас, хлопотал около причала; он был, разумеется, в рубашке и даже, совершенно неизвестно по какому поводу, надел наверх ее подобие жилета с одной синей стеклянной пуговицей; товарищ его, Севка, наоборот, стоял теперь без полушубка, в одной рубашке и шароварах; он держался за канат и готовился тянуть с людьми Белицыных.

— Эй, брат, погоди... Дай нам стать-то! — сказал Верстан, подходя к самому плотику.

— Отваливай, отваливай! без вас тесно... вишь, господа едут, — сказал Влас.

— Пусти их, пусти! они нам не мешают! — ласково вымолвил Сергей Васильевич.

Так как нищие снова ослепли, Петя привел каждого поочередно на паром; поставив их рядом на помосте, он отошел к Мише, который сильно закашлялся.

— Трогай! — сказал Сергей Васильевич.

Паром оторвался от берега.

— Oh! les pauvres malheureus! [1] — воскликнули в один голос Александра Константиновна и гувернантка, выглядывая из кареты и устремляя глаза на нищих.

— Vois, maman, et ces petits garçons! [2] — сказала Мери, стоявшая между матерью и француженкой с бонбоньеркою в руках.

Сергей Васильевич пустил на воздух клуб дыма и посмотрел на нищих.

— Знаешь ли, Serge, нищие эти невольно напоминают мне историю с этим мальчиком, которого увели у нас, — помнишь? Мужика звали, кажется, Тимофеем, — сказала Белицына, наклоняясь к мужу.

— Oh, ce pauvre Timothée! où est-il? [3] — вздохнув и возведя глаза к небу, спросила француженка.

---

[1] Ах, несчастные бедняки! *(фр.)*

[2] Посмотри, мама, а эти мальчики! *(фр.)*

[3] Ах, бедняга Тимофей! Где-то он теперь? *(фр.)*

— Timothée! mademoiselle, est plus heureux, que nous à présent [1], — весело ответил Сергей Васильевич, пуская новый клуб дыма. — Вот мы теперь печемся на солнце, не знаем, куда от жары деваться, а он — il hume l'air pur et frais des prairies!.. [2]

— Поговори с ними, Serge, — сказала Белицына, прикасаясь к руке мужа и указывая на нищих.

— Откуда вы? — спросил Сергей Васильевич.

— Пристанища у нас нетути, касатик, — отвечал Верстан жалобным голосом, который так же шел к нему, как розы к медведю, — ничего у нас нет... отец милостивый!.. так ходим, побираемся...

— Откуда у вас эти мальчики? — спросил Сергей Васильевич.

— Свои, кормилец, — отвечал тем же тоном Верстан, — один, большенький-то, внучек мне, внучек, родимый!. другой племянник... товарища... старичка слепенького...

— Какой маленький этот черненький мальчик! — сказала Белицына, указывая на Петю, — tout à fait la tête du petit mendiant de Murillo... [3]

— Который тебе год? — вымолвил Сергей Васильевич, подставив ладонь под подбородок Пети.

— Десятый, кормилец... десятый... — простонал дядя Мизгирь, лезший из кожи, чтоб возбудить сострадание.

— Et l'autre!.. Ah mon Dieu, comme il a l'air souffrant, le pauvre!.. [4] — вымолвила гувернантка, кивая головою на Мишу, который, по всей справедливости, должен был бы прежде других обратить на себя внимание сострадательной особы; но он был такой маленький, тщедушный и некрасивый, что его легко можно было вовсе не заметить; он сидел на помосте парома, прислонив голову к доске; он собственно никуда не глядел, ни о чем не думал, хотя глаза его были полны блеска и мысли; болезненное, изнуренное лицо ребенка было серьезно, как словно он давно обдумал что-то и принял какую-то решимость; закрой

---

[1] В эту минуту Тимофей счастливее нас, мадемуазель *(фр.)*.

[2] Он наслаждается чистым и прохладным воздухом лугов! *(фр.)*

[3] У него головка совершенно как у маленького нищего на картине Мурильо... *(фр.)*

[4] А другой!.. Ах боже мой, у бедняжки совсем больной вид!.. *(фр.)*

он глаза и перестань кашлять, его легко можно было принять за мертвого — так бледны были черты его и так сухи пальцы рук и босые ноги.

— А этот мальчик у вас, кажется, нездоров... что с ним? — сказал Сергей Васильевич.

— А господь ведает, родимый... на грудь все жалуется... болит, стало быть.

— В таком случае не следовало вам брать его, дома надо было оставить!.. — сказал Белицын, — ох, да, впрочем, я забыл, что у вас нет дома... Ну, все равно, надо было отдать его в больницу, лечить надо. Вот то-то, все вы так, не хотите лечиться, а потом плачете, — довершил он.

— Слышь, барин, ваше благородие, кабы слова помогали, мы бы давно его вылечили! хотенья-то нашего мало; за лекарство-то деньги требуют, — совершенно неожиданно и скороговоркою произнес Фуфаев; вообще в этот день он был особенно не в духе.

— Ты ошибаешься, мой милый, — назидательно подхватил Сергей Васильевич, — не всегда требуют денег... Мало ли есть на свете добрых людей, которые всегда рады помочь бедному, неимущему.

— Знамо, есть, барин, ваше благородие, как не быть! — не совсем учтиво перебил Фуфаев, — да где их искать-то?.. Мы ведь слепые, проглядим, а сами не сказываются.

— Il m'a l'air fort grossier, cet homme[1], — сказала француженка.

— Oui, il a une mauvaise figure[2], особенно сравнительно с лицами двух других стариков, — заметила Белицына, между тем как муж ее пощупывал деньги в жилетном кармане.

— Нате вам, возьмите, — вымолвил он, подходя к троим нищим и давая каждому по полтиннику.

— Продли веки ваши...

— Продли веки ваши! и ваших деток! — быстро перебил дядя Мизгирь, как только ощупал полтинник, — создай вам господь...

— Спасибо, спасибо! не за что, мои милые... очень рад, очень, — проговорил Сергей Васильевич, стараясь, но тщетно, раскурить потухшую сигару.

Александра Константиновна заметила, что надо

---

[1] По-моему, у него очень грубый вид *(фр.)*.

[2] Да, лицо у него нехорошее *(фр.)*.

будет дать что-нибудь мальчикам; что деньги возьмут нищие, а мальчикам от этого ровно ничего не прибудет. Мери торопливо предложила свои конфеты.

— Oh, cette chère enfant![1] — умиленно проговорила бордоская уроженка.

— Что ж, это очень хорошая мысль. Serge, дай им конфет... это пастилки à la Montpensier, cela leur rafraîchira la bouche...[2] теперь же так жарко,— справедливо заметила Белицына.

Сергей Васильевич дал несколько конфет мальчикам, с наставлением не грызть их, а держать во рту, пока не растает. Почти в то же время паром коснулся нагорного берега. Сергей Васильевич подал руку жене, потом гувернантке и поочередно высадил их из экипажа; камердинер взял на руки Мери, все трое стали пробираться по доске, перекинутой вместо моста между бортом парома и берегом.

— Maman, я пешком побегу на эту гору,— сказала Мери, как только поставили ее на землю.

— Помилуй, что ты! что ты! в такую жару... il y a de quoi se rendre malade... rien que d'y penser![3]

— Не думаешь ли ты, что я тебя пущу пешком! — смеясь, заметил Сергей Васильевич, обратясь к жене,— нет, извольте-ка садиться. Ты взгляни только, что это такое... это ужас! Dieu, quelle route! quelle route![4] Садитесь, садитесь, все готово!

Сергей Васильевич усадил дочку, жену, гувернантку, сам сел, дверцы захлопнулись, зеленые шторки снова опустились, и дормез, подхваченный отдохнувшей немного шестерней, покатил в гору в сопровождении тарантаса.

Немного погодя он вовсе исчез за поворотом, оставив только после себя клуб пыли. Ступив на берег, нищие ни минуты не останавливались для отдыха: довольно отдохнули на пароме. Они продолжали путь; к тому же не стоило останавливаться; по словам Власа, к которому обратились они, до ближайшей деревушки была верста; как подымешься в гору — тут тебе деревня и будет! Деревня была, точно, недалеко, хотя и не так близко, как говорил Влас. Поднявшись на гору, нищие (которые опять, разумеется, прозрели, кро-

---

[1] Ах, милая девочка! *(фр.)*

[2] Вроде монпансье, они освежат им рот... *(фр.)*

[3] При одной мысли об этом можно заболеть! *(фр.)*

[4] Боже, какая дорога, какая дорога! *(фр.)*

ме Фуфаева) увидали вдалеке, на дне долины, соломенные крышки избушек. Они ускорили шаг. Пришли они, однако ж, к цели своей не так скоро, как думали: их снова задержал Миша. Тяжелое ли подыманье в гору замучило мальчика, или уж так, крепко очень, засела его болезнь, но только едва поднялись они на гору, он зашатался и упал на дорогу.

— Стой! стой! — неистово закричал Фуфаев. — Эх! ах!.. эка напасть!.. да что ж это, право?.. эх, нелегкая тебя побери, право!.. вставай, не то брошу!

— Дедушка... — слабым, едва внятным голосом проговорил Миша, приподымая голову и возводя потускневшие умоляющие глаза на слепого, — де-ду-ш-ка!..

— Дедушка! — закричал, что было мочи, Петя, бросаясь к Фуфаеву и обхватывая его руками, — дедушка!..

Он не мог договорить и вдруг громко, отчаянно зарыдал.

— Да что вы, проклятые, сговорились, что ли? — сурово заголосил Верстан, подходя к Фуфаеву, — что ты его слушаешь-то... возьми-ка, да хорошенько его.

— Оставь, не замай! — вымолвил слепой, отталкивая нищего.

В настоящую минуту Фуфаев никак бы не посмел поступить таким образом с Верстаном, если б помнил, что делал; он был страшно вспыльчив по природе, и бешенство отуманивало его мысли. Отпихнув Верстана, он ударил себя с такою силою обоими кулаками, что даже шапка его слетела; это обстоятельство доставило ему случай схватить себя за волосы. Этим и окончилась вспышка.

— Стой, дядя! — вымолвил он, делая шаг к нищему, — уговор лучше денег...

— Ну тебя совсем!..

— Да ты дай прежде сказать-то... слышь, полтинник, что мне дали бары...

Верстан сделался внимательнее. Дядя Мизгирь, равнодушный зритель всего происходившего, насторожил слух.

— Полтинник, слышь, что бары дали, — продолжал Фуфаев, — вам обоим отдам, пополам разделите, по четвертаку, стало, на брата; пусть, значит, вам и ярманка вся, потому, больше не соберешь, и легче: ходить не надо... Мы лучше по округе походим денек-

другой, а тем временем я вот парнишку, примерно, в избу какую определю; он тем временем воздохнет... дюже добрѐ хвороба-то его заела... ему, может, завтра полегчит... Опять же, значит, ярманка от нас не ушла, хошь и попозже, а все придем... ну, так, что ли?

— Ну, давай...

— Нет, погоди, экой прыткой какой!.. ты прежде по-моему сделай, как я, примерно, сказывал.

— Ну, а как ты да не отдашь потом?

— Ну нет, брат, мое слово крепко, испытанное! Двадцать лет со мной знаешься, обчел ли я тебя на копейку — ась? То-то же и есть! Ну, так ладно стало?

— Уж что ж, Верстан, сделаем ему в уваженье,— промямлил Мизгирь голосом, который обсахаривался при мысли о добытом без труда четвертаке.

— Ну, ладно! — произнес Верстан, причем Петя, слушавший все это с мучительным замиранием сердца, повернулся вдруг спиной к нищим и принялся скоро-скоро креститься мокрыми своими пальцами.

Минуту спустя нищие продолжали путь, подсобляя поочередно Фуфаеву нести больного, почти умирающего мальчика. Не знаю, какие слова произносил Петя, когда, став спиною к нищим, так сильно прижимал он пальцы к груди своей, так пристально смотрел в безоблачное небо и так скоро-скоро крестился. Но какие бы ни были эти слова и как ни проста была мысль, их внушавшая, мы не сомневаемся, что скорее многих других мыслей дойдут они до престола всевышнего... Мы твердо верим, что тем или другим способом, но скоро, скоро должна облегчиться горькая участь ребенка, за которого так горячо, так усердно просил господа другой ребенок, маленький товарищ Миши...

III

ПРЕДЧУВСТВИЕ

Деревня, куда направлялись нищие и которая, по словам паромщика Власа, отстояла от перевоза всего с версту, находилась, во-первых, в четырех верстах, а во-вторых, была весьма незначительна. Ее составляли десяток изб, криво и косо лепившихся по обеим сторонам пустынной улицы. Низменное положение

улицы на дне лощины должно было подвергать ее весною совершенному потопу: она превращалась в одну огромную стоячую лужу, в которой почти до исхода мая весело барахтались утки и ребятишки. Теперь не было следа воды или грязи, но зато из конца в конец лежал сплошной слой рыжеватой пыли.

Благодаря ли пыли, заглушавшей шаги, или тому, наконец, что народонаселение, от людей до животных, находилось в поле, нищие не были встречены лаем собак. В деревне, которую, как оказалось потом по расспросам, прозывали «Пустой Кожух, Прокислово тож», царствовало мертвое молчание; перелетали разве воробьи, чиликавшие за плетнями или делавшие вид, что купаются в пыли; иногда появлялся общипанный, бесхвостый петух весьма гордого, самонадеянного вида; но и тот оставался недолго: сделав два-три величественные шага, он со всех ног бросался вдруг под ворота, как будто приходила ему неожиданно блестящая мысль и он спешил сообщить ее курицам, глухо кудахтавшим в соседнем огороде.

— Ну, здесь плохая пожива! Собак, и тех нет: все, стало быть, в поле,— промолвил Верстан, оглядываясь кругом, что делал и дядя Мизгирь, остававшийся, повидимому, очень недовольным Пустым Кожухом, Прокисловым тож.

— Уж все кто-нибудь да есть; старика какого либо старуху, все докличемся,— сказал Фуфаев, отирая ладонью багровое лицо свое.— Ну вот, Мишутка, вот и пришли! отлегло маненько — ась? — подхватил он, обращая белые зрачки свои к мальчику, который полчаса как очнулся.

Миша стоял, уперев конец палки в землю; обхватив другой конец обеими руками, опустив голову, подогнув худенькие ноги, он дошел, казалось, до крайней степени изнеможения. Услышав голос хозяина, он медленно поднял голову с висевшими книзу волосами, устремил на него тусклый взор и хотел сказать что-то, но вместо слов опять послышался хриплый кашель, похожий на шуршуканье сухих листьев.

— Ну, ничего, вот теперь и воздохнешь... оно, слышь, и пройдет. Теперь недалеко, пойдем! — вымолвил Фуфаев, направляясь по голосу к Верстану.

Петя подвел Верстана к крайней избе и, по приказанию его, постучал палкой в оконную раму. Никакого не было ответа; стук повторился в другой и третий

раз — и также без пользы: никто даже не шелохнулся. Верстан, конечно, не остановился бы на этом — он бы не прочь был заглянуть во двор, охотно проник бы в клеть, оттуда вошел бы в избу и, нет сомнения, не пропустил бы случая полюбопытствовать, не находится ли пригодной какой вещи в сундучке под лавкой; но наобум, без толку, никак не хотелось соваться: легко могло быть, что в котором-нибудь из противоположных окон торчали чьи-нибудь глаза. Он велел Пете идти к соседней избе; но и здесь точно так же не добились они толку.

— Что за дьявол! куда они все попрятались? — проговорил нищий, толкая Петю, чтоб он шел дальше.

— Погоди, идут... слышу! — сказал Фуфаев, который был до того чуток, что слышал, как са́м он выражался, как пух о пух стукается.

Фуфаев не ошибался: за воротами, на крылечке двора, действительно послышались медленные шаги; немного погодя зазвучало железное колечко в калитке; калитка пронзительно взвизгнула и пропустила седого, как лунь, сгорбленного старика; сначала можно было думать, он согнулся в три погибели, чтоб пройти в калитку, устроенную как бы для ребятишек, но старик так и остался: он был сведен какою-то болезнью и всегда сохранял вид человека, с трудом проходящего в низенькую калитку.

— Чего надо? — проговорил он пискливым, заржавленным голосом,— ступайте, ступайте, бог подаст! — подхватил он с сердцем, как только различил, что это были нищие,— у самих хлеба-то нетути, сами побираемся.

— Мы, слышь, не затем, дядя... Вот, примерно, статья какая,— вмешался Фуфаев,— у нас мальчик один занемог... больше от дороги, добрѐ уже пуще умаялся... хотели попросить, не возьмешь ли, примерно, денька на два: он бы тем временем воздохнул...

— Какой такой мальчик? — спросил старик, как бы не понимая еще, о чем шла речь.

— Вот, дядя, вот... Мишка! да где ж ты? — подхватил слепой, торопливо обводя вокруг руками.

— Он, дедушка, сел... наземь сел, подле тебя,— сказал Петя.

— Да вот он, вот паренек-то... Так, слышь, возьми ты его денька на два; мы тем временем по окружно-

сти походим; назад пойдем – опять возьмем. Добрѐ уж очень измаялся сердечный! Слышь, возьми, дядя, пожалуйста.

– Ну вас совсем! Говорят, самим есть нечего.

– Хлеба-то, пожалуй, и я дам; у тебя просить не станет; возьми только.

– Бог с ним и с вами-то совсем! Куда мне его?

– Места, что ли, жаль? Не пролежит небось!

– Может, хвороба какая пристала... еще помрет, пожалуй! Не надыть мне его, не возьму! – пискнул старик, повернулся и исчез в калитке.

– Ну, пес с ним! Не берет, так и не надо, – пробасил Верстан, приказывая Пете идти далее.

– Эка напасть какая! – с досадою произнес Фуфаев, обшаривая вокруг, чтоб найти Мишку и помочь ему встать. Правая ладонь слепого случайно прильнула к лицу мальчика и тотчас же была вымочена слезами; но ладонь была так груба, что ничего не почувствовала. Фуфаев приподнял Мишу и пошел за Верстаном, который стучал в окно соседней избы.

В трех-четырех избах они опять не добились толку: никто не вышел. Наконец Петя, начинавший терять надежду, остановился вдруг перед какими-то воротами и торопливо стал звать нищих. Ворота были настежь отворены; в заднем конце двора, потопленном в огненном блеске солнца, клонившегося к западу, в синеватой тени навеса сидела старушка; перед ней торчал гребень с насаженной в него мычкой; она суетливо дергала нитку и так проворно управляла веретеном, что гуденье его, благодаря окрестной тишине, делалось слышным даже на улице. Шаги и голоса перед воротами заставили ее приподнять голову.

– Бог подаст, касатики, бог подаст! – сказала она, не оставляя работы, но несколько раз торопливо кивая головою.

– Мы не затем совсем. Тетка, эй! подь-ка сюда! – произнес Верстан.

– Чего вам?

– Подь-ка сюда, тетушка, дело есть такое, поговорить надо, – подхватил Фуфаев.

– Ох, уж недосуг, касатики! недосуг, отцы родные, право, недосуг! – проговорила старушка, заботливо потряхивая головою, но тем не менее поспешно бросила работу и суетливо заковыляла к воротам.

— Не отставай только; эта пустит, — шепнул Верстан, поворачиваясь к слепому.

Фуфаев поспешил передать старухе свою просьбу; на этот раз он умолчал о том, что мальчик болен; по словам его, малый только устал, устал потому, что не успел еще хорошенько оправиться после болезни; он просил подержать его всего два дня; хлеб у них свой, и посулил, если она согласится, дать ей десять копеек.

— О-ох, касатик! Может, ты это так только... может, вы недобрые какие... — недоверчиво проговорила старушка.

— Эвна! что ж мы, нехристи, что ли?..

— Полно, тетушка! — подхватил Фуфаев, — взмилуйся, Христа ради! пусти! Чего сумлеваешься? Нам твоего ничего не надыть... вишь, сами даем. Пожалей хошь мальчоночка-то! Тебе бог воздаст... Мы, слышь, пожалуй, сами у тебя останемся, переночуем. Ничего нам не надо, пусти только... Смерть устали, касатушка... вишь жара какая... Право, пусти...

Недоверие старушки превратилось теперь в нерешительность; покачивая головой, вышла она за ворота и принялась посматривать направо и налево, как бы желая с кем-нибудь посоветоваться. Но советовать было некому: пыльная улица Прокислова, освещенная теперь яркими косыми лучами, оживлялась только бесхвостым, общипанным петухом, который, сообщив, видно, курицам мысль свою, снова явился из-под ворот и расхаживал величественным, самонадеянным шагом.

— Мы бы, тетушка, утруждать тебя не стали, — начал Фуфаев, смягчая по возможности козлячий свой голос, — да как быть-то? Стучали, почитай, по всей деревне — никого дома нет...

— И то никого нет, рожоной; я да еще два старичка старехьких — только и есть! — словоохотливо заговорила старуха, — все на покосе, касатик, на покосе все. У нас луга-то дальные, на три дня уехали все... завсегды так!

При этом известии Фуфаев еще настойчивее приступил к старухе; к нему присоединились два другие товарища, которые хотя и не были в его обстоятельствах, но также устали и рады были отдохнуть. Старуха все еще колебалась; она ничем, впрочем, не оправдывала своих опасений.

— О-ох, рожоные! Может, у вас что на разуме... —

не переставала повторять она,— дело мое бабье... Одна, касатики, все думается: худо какое сотворите...

Чтоб убедить старуху, Фуфаев сказал, что все трое оставят, пожалуй, мешки свои в ее избе, в виде заклада; пускай запрет она мешки на запор до завтрашнего утра: им требуется только какой-нибудь сараишко для ночлега. Но последнее это предложение окончательно, казалось, напугало старушку. Видя, что разговорами тут не поможешь, Верстан решился взять напролом; он тряхнул сумою, сунул конец палки в руку Пети и вошел на двор.

— Что ж это ты, касатик? куда ж ты? — проговорила старуха,потряхивая головою с видом упрека, но нимало не препятствуя нищему подвигаться к задним воротам навеса, глядевшим на огород и гумно.

Верстан ускорил только шаг к сараям.

— Ну, все повалили! — воскликнула старуха, провожая глазами двух других нищих и Мишу, которые тотчас же последовали за Верстаном.

— Ничего, тетка, не сумлевайся; перемелется, все мука будет! — сказал повеселевший Фуфаев, проходя мимо.— Нам, слышь, твоего ничего не надо; переночуем — и только, а десять копеек, что посулил, отдам, ей-богу, отдам!..

Нищие один за другим вошли в старенький, ветхий сарай с провалившейся кровлей. Верстан снял тотчас же суму, сел наземь и стал разуваться; дядя Мизгирь и Фуфаев сделали то же самое.

— О-ох, касатики! да что ж это такое будет-то? — произнесла старуха, остановившаяся в воротах и перенося недоумевающие глаза от одного к другому.

— А вот погоди, тетка,— сказал Верстан,— вот теперь разуемся; там мешки под голову положим; там заснем... Завтра утром все встанем, тебе спасибо скажем, да и опять в путь-дорогу...

— Только и будет?

— А ты думала что? — присовокупил Фуфаев.

— Да вы издалече ли, родимые? — неожиданно и совершенно кстати спросила старуха.

— А верст не считали, родная,— ответил Верстан,— сдается, не близко; вишь, лапти-то как поизмялись...

— Эй, слышь, тетка! деревню *Ду́рову* знаешь? — спросил вдруг Фуфаев.

— Нет, рожоной, не слыхала, касатик.

— Ну, мы оттедова. Идем теперь в *Простоволосово* — так, значит, село прозывается.

— И этого не слыхала, рожоный; не слыхала, кормилец, — добродушно возразила старуха.

Фуфаев, к которому снова начала возвращаться веселость, без сомнения пошел бы далее в объяснениях своих со старухой, если б со стороны улицы не послышались блеянье овец и топот возвращающегося стада. Старуха мгновенно бросила гостей и суетливо побежала к избе. Первым ее делом, однако ж, как только подоила она корову и заперла овец, было снова вернуться к сараю; нищие только что поужинали и готовились спать.

— Чего ты, тетка? — спросил Верстан.

— Ничего, кормилец; я так. Все словно думается, касатик.

— Эка у тебя голова-то думчивая какая! — смеясь, произнес Фуфаев, опуская собственную свою голову на мешок и потягиваясь.

Старуха постояла-постояла, поглядела-поглядела и пошла в избу. Она сама не могла дать себе отчета в своих переминаньях касательно пребывания гостей, а между тем ее так вот и подмывало идти к сараю. Полежит немножко в клетушке, уж засыпать начнет — придут в голову нищие; смотришь, опять плетется к ним по огороду. Раз направилась она туда даже среди ночи. Черная, непроницаемая тьма потопляла окрестность; земляные испарения, поднятые во время дня, так сгустились, что скрывали звезды; зги не было видно; подойдя к сараю, старуха могла только услышать густое храпенье, повторявшееся на три разные тона; это, по-видимому, несколько успокоило ее, и она снова вернулась в клетушку.

Как только смолкли шаги ее, Петя приподнял голову и вытянул шею в ту сторону, где лежал его маленький товарищ (нищие разделяли двух мальчиков). Петя сильно устал, но он до сих пор всеми силами старался превозмочь дремоту и выжидал удобного случая, чтоб присоединиться к Мише; храпенье стариков наполняло сарай, но ему казалось почему-то, что Миша не спал. Минуту спустя Петя был подле него и прислушивался к его дыханию.

— Миша... спишь? — шепнул он.

— Нет... нет... — произнес едва внятно мальчик. Голос его прерывался сдавленными рыданиями.

Петя пригнулся к нему еще ближе; несколько капель упали ему тотчас же на лицо.

— Полно, Миша, полно; о чем ты плачешь?.. Вишь, вишь ведь они какие... ничего ведь не сделаешь. Вот теперь пришли; здесь побудем... тебе, может статься, полегчит,— проговорил Петя, напрягая все силы ума, чтобы утешить товарища. Но утешения слабо действовали; казалось, напротив, с приходом Пети и по мере того, как он говорил, горе Миши усилилось; он не мог даже теперь владеть собою и иногда так громко всхлипывал, что Петя того только и ждал, что кто-нибудь из них проснется.

— Ах, Миша, Миша!.. Да ты перестань только... перестань... о чем ты?.. болит у тебя что-нибудь, а?..— шепнул Петя, снова пригибаясь к товарищу.

Прошла минута молчания, которую с одной стороны прерывало храпенье трех нищих, с другой — горькие, тщетно подавляемые рыдания ребенка.

— Меня... меня они оставить хотят... одного здесь! — проговорил, наконец, Миша.— Я слышал, они говорили... оставить хотят...

— Экой ты какой! А пускай оставляют — тебе же легче, вишь ведь ты насилу дошел: ты отдохнешь тем временем...

— Нет... нет, они уж за мною не придут... совсем здесь оставят... Я слышал, знаю... я умру, Петя... умру один...

— Да рази ты добрѐ уж оченно болен? — простодушно спросил Петя.

— Идти не могу...— возразил тот едва внятно,— ноги трясутся... а пуще тут добрѐ ломит...

Темнота была так непроницаема, что Петя проворно ощупал товарища, чтоб понять, куда тот указывал: худощавые пальцы мальчика прижимались к впалой груди его. Петя снова почувствовал, как несколько слез капнуло ему на руки; он откинулся назад, присел на корточки и несколько секунд молчал, как бы соображая что-то. Внезапно он подсел к Мише с такою живостью, что, надо было думать, он нашел верное средство к его облегчению.

— Вот что, Миша...— начал он скороговоркою, по возможности понижая голос,— слышь, пускай здесь оставляют — не плачь. Мы вот что сделаем,— подхватил он, очевидно увлекаясь своею мыслью и для большего пояснения принимаясь размахивать руками, что

было совершенно напрасно, во-первых, потому, что Миша ничего не мог видеть, а во-вторых, он почти даже не слушал и продолжал плакать; но темнота не дала Пете заметить этого и он продолжал с прежним воодушевлением. – Слышь, ты здесь останешься, смотри только, не уходи никуда! Вот мы и пойдем отселева; куда ни пойдем, слышь, а я всю дорогу стану примечать, ни одного перекрестка не прогляну, ни одной деревни... всякая деревня, как она прозывается, все это я буду помнить... Ну, как отойдем мы так-то подалее, ночь переночуем, другую, третью; увижу, а они назад не ворочаются за тобою: знамо тогда, оставить хотят; я ночью извернусь, да и убегу от них; да все по дороге-то, все по дороге, от деревни к деревне... к тебе и приду. Смотри только, ты не трогайся отселева, а уж я приду...

– Нет, уж вряд мне быть здесь, – проговорил Миша каким-то расслабленным голосом, которого Петя не слыхал прежде.

– А что?

Миша замолк. Казалось, ему трудно было удовлетворить товарища ответом; наконец он сказал:

– Я умру, Петя... умру... – подхватил он и снова заплакал, но так тихо на этот раз, что Петя даже не услышал.

– Тебе что ни говори, ты все свое!

– Право, умру, – продолжал Миша, – я рази не вижу? Вот и Верстан сказал хозяину... и тот старик, который не пустил нас нонче, сказал... А как, Петя, умирать-то не хочется... Петя!.. Ох, тяжко!..

– Знамо, кому хочется? Да ты не умрешь, не умрешь! – с уверенностью подхватил Петя, – не умрешь ты!.. С чего тебе умереть-то? Ты добрѐ устал, оттого больше... Вот полежишь день-другой, опять встанешь... Я как приду сюда, то-то мы с тобой тогда закатимся – прямо домой пойдем... Я знаю, как и деревню-то мою зовут: Марьинское прозывается...

Но Миша опять не слушал товарища; он как будто наверное знал, что мечты эти были для него неисполнимы. Дав Пете наговориться досыта, он сказал, как бы раздумывая сам с собою:

– Была у меня, Петя, сестра... Махонькой я был, а помню... тогда еще у нас мачехи не было... мать жила тогда... Вот так же ей, сестре-то, перед смертью все чудилось...

— Что ж ей чудилось-то?..

— Чудилось: по полям да по лугам все ходит... такие сады все чудились ей... и пташки, говорит, поют...

— Ну, так что ж? — нетерпеливо перебил Петя.

— Вот и мне стало все чудиться,— проговорил Миша тоном раздумья,— как только закрою глаза, особливо коли один сижу, закрою глаза, вижу: заря занимается... солнце встает... а самого меня точно подхватит кто... точно крылья у меня... и я лечу к солнцу... да скоро так, скоро... инда дух захватывает...

— Эка чудно как! Что ж это я ничего не вижу? Вот и закрою глаза, вот... нет, ничего не видать, темнота одна,— вымолвил Петя, между тем как Миша вдруг закашлялся: кашлю этому конца не было.

Когда ему отлегло немного, он опять хотел заговорить, но вместо слов из груди его выходило глухое какое-то клокотанье; он неожиданно ухватился обеими руками за руки Пети, бессильно опустился наземь и снова горько заплакал. Петя прильнул к нему и с удвоенным старанием стал утешать его; он говорил, что через три-четыре дня они опять увидятся, что нищих уже тогда не будет; говорил о том, как будут они идти вдвоем в Марьинское; говорил, как придут, как мать им обрадуется, как сестра, Маша, обрадуется, как все обрадуются (Петя не забыл даже упомянуть о маленьком брате, пучеглазом Костюшке); мало-помалу, однако ж, речь Пети стала замедляться и путаться; он словно приискивал слова и не находил их; промежутки эти повторялись все чаще и чаще; лицо Пети все ближе и ближе склонялось к лицу Миши; наконец он вдруг замолк. Петя не поднял уж головы и не чувствовал даже на щеках своих слез, которые не переставали между тем обильно капать из глаз маленького товарища...

IV

ИЗВЕСТИЕ. СПЕШНАЯ ДОРОГА

Заря только что занималась, когда Петя внезапно был пробужден голосом, который, показалось ему, прозвучал в самых ушах его. Он быстро поднял голову, но в первую минуту, которая потребовалась, чтоб

очнуться и совершенно прийти в себя, он ничего не мог сообразить; перед ним смутно и как бы передвигаясь мелькнули дальний темный угол сарая и ворота, пропускавшие дневной свет; потом увидел он трех нищих, лежавших рядом, а между тем голос, пробудивший его, продолжал как будто раздаваться подле, хотя слабее прежнего. Первым движением Пети, как только пришел он в полное сознание, было обернуться и взглянуть на Мишу; но вид товарища поразил его таким ужасом, что он так же быстро откинулся назад, как за минуту перед тем быстро поднял голову. Миша сидел на земле, опершись спиною в плетень; лицо его, с рассыпавшимися по сторонам длинными черными волосами, было бледно, как известь, и усиленно как-то вытягивалось вперед; худощавые пальцы рук, на которых можно было пересчитать все суставчики, судорожно ловили воздух; глаза неподвижно смотрели на одну точку; все существо его, до последней жилки, находилось в напряженном состоянии и тянулось куда-то; бесцветные губы бормотали слова без смысла и порядка.

— Солнце, солнце! — повторял он, вытягиваясь все более и более вперед: — облака ходят... ближе... держите меня... Петя!.. Ох, так тяжко!.. держи... заря... заря!..

Но страх Пети продолжался всего секунду; он подумал: Мишу давит тяжелый сон, поспешил взять его за руку и несколько раз назвал его по имени. Мальчик закрыл глаза и дрогнул, словно неожиданно оборвался в пропасть; но вместе с этим силы, напрягавшие его жилы, разом исчезли; костлявые руки упали, туловище опустилось, голова свесилась набок. Петя обхватил его и бережно положил наземь. Лицо мальчика в одну эту ночь так изменилось, так осунулось и даже постарело, что казалось, со вчерашнего вечера до сегодняшнего утра он пережил тяжкую, изнурительную болезнь, продолжавшуюся целый год; он лежал как мертвый, и только губы его продолжали двигаться; но уж так тих был звук его голоса, что Петя с трудом мог расслышать слова: «солнце... Петя... заря...»

— Миша, очнись! — заговорил Петя, снова прикасаясь к руке его.— Какое солнце?.. тебе так чудится; солнца нет; погляди-ка, открой глаза-то... заря только занимается...

На этом месте Петя остановился и робко припал

к товарищу: он увидел, как пошевелился Верстан.

— Где солнце? рази уж встает? — забасил вдруг старый нищий, озираясь на стороны мутными глазами. — И то, уж заря! Эк проспали! Вставай, ребята! Дядя Мизгирь, вставай!.. Ну, ты, слепой черт, полно тебе прохлаждаться-то, пора: вишь, на дворе забелело! Вставай! — подхватил он, толкая Фуфаева.

Дядя Мизгирь не заставил себе повторять два раза: он точно накануне условился с Верстаном встать до зари и не мешкать. Оба принялись обуваться с заметною поспешностью. Дело не касалось, по-видимому, одного Фуфаева: он хотя и сидел, но глаза его были закрыты, вздернутый нос храпел немилосердно и туловище раскачивалось из стороны в сторону, как бы изловчаясь повалиться наземь. Верстан принужден был снова толкнуть его в бок. Толчок этот, способный продавить лубочный кузов, подействовал только, казалось, на носовое храпенье Фуфаева, которое из басистого перешло в тоненькое и жалобное.

— Да ну, леший! долго ли с тобой возиться-то? — подхватил Верстан, встряхивая его за плечи, — вишь светло! Хочешь небось старухи дождаться... Коли придет, сам поди возись с нею: она ни за что мальчишку-то не оставит. А нам куды с ним! насилу ноги волочит... сам знаешь...

Последние слова эти подействовали на Фуфаева сильнее толчка и потряхиванья: он раскрыл глаза, потянулся и так громко зевнул, что две ласточки, существования которых никто и не подозревал, выскочили вдруг откуда-то и, сделав несколько зигзагов под стропилами сарая, порхнули в ворота.

— Петрушка, где ты? живо на ноги... одевайся! Вот я ти протру глаза-то! — сказал Верстан, поворачиваясь спиною к слепому, который так вдруг заторопился, что подал надежду быть готовым прежде других.

Петя возвратился на прежнее свое место, где осталась его сума и лаптишки; минуту спустя он был на ногах.

— Пошел, стань у ворот, — сказал ему Верстан, — коли увидишь, идет кто, скажи. Смотри в оба глаза, не прозевай!

Почти в то же время Миша раскрыл глаза. Тоска, испуг, отчаяние изобразились в каждой черте лица его, когда увидел он, что нищие совсем готовы в путь; он

хотел встать, но мог только, и то с трудом, приподняться на локоть.

— Дедушка!.. — крикнул он.

Никто не обернулся. Он понял, что его не слышали, собрал все свои силы и прокричал отчаянно:

— Дедушка, не уходите!.. возьмите Христа ради! я с вами пойду!..

— Молчать! чего ты визжишь? — сурово сказал Верстан, подымаясь на ноги и поворачиваясь к нему, — чего орешь? Вот ходить не твое дело — сейчас раскис, и ноги подкосились, а голосить куда шустер...

— Дедушка Верстан! голубчик, Христа ради, — примолвил Миша голосом, в котором слышны были слезы, отчаянная мольба, нежность (он не обращался к Фуфаеву и дяде Мизгирю: он знал, что всех суровее и безжалостнее был старый нищий, что стоит только ему согласиться — и все согласятся), — дедушка Верстан, я буду идти, я скоро пойду... я совсем отдохнул.

— Как же! есть время с тобою возиться! Было уж! Идти хочет, идти! а сам встать не может — рази не вижу?

— Дедушка, я встану... не уходи только, погоди, сейчас встану, дедушка!

Но отчаянье, с каким боролся бедный мальчик против страшной боли в груди и собственного бессилия, ни к чему не повело: ноги не держали его, и он снова опустился наземь. Закрыв лицо руками, он так горько вдруг заплакал, что даже Верстан, казалось, сделался снисходительнее.

— Ну, о чем плачешь-то? Э, глупый! право, глупый! — сказал он, очевидно смягчаясь, — через два дня опять придем... опять возьмем с собою...

— Погоди; что вы там? Не плачь, Мишутка, сейчас! — проговорил неожиданно Фуфаев, который только что прикрепил лапоть и накинул мешок, — погоди, иду! — подхватил он, пробираясь по плетню.

Он ощупал Верстана, отслонил его рукою и нагнулся к Мише.

Лицо мальчика как будто озарилось надеждой и просветлело, хотя слезы ручьями текли по исхудалым щекам его.

— Вот что, Миша, — вымолвил слепой, — побудь, слышь, здесь день-другой. Ты воздохнешь тем временем... ничего... как быть-то! Вот я тебе, вишь, сколько

хлеба-то оставлю; вишь, не жалею! – присовокупил он, высыпая из мешка почти все свои корки.

Верстан между тем кинул мешок за спину, потом подозвал дядю Мизгиря и Петю.

– Ну, слышь, случится, пить захочешь, – продолжал Фуфаев, – попроси хозяйку... вот что нас пустила сюда: она тебе даст.

Верстан дернул его за руку, давая знать, что время идти. Движение это не ускользнуло от Миши.

– Нет, нет! вы меня бросить хотите. Я здесь умру, один. Дедушка... миленький... родной... Христа ради, погоди, я тебе что скажу! – кричал Миша, делая тщетные усилия, чтоб обхватить ноги Фуфаева, который покрякивал и, без сомнения, дался бы в руки мальчику, если б видел, чего ему хотелось.

– Да нет же; экой какой!.. Ну, веришь ты в бога? ну, ей-богу, приду! Будь я анафема, коли не приду! разрази меня на месте...

Верстан не дал ему договорить, схватил его за руку и повел к воротам. В сарае послышался не то крик, не то рыдания, звук которого болезненно защемил сердце Пети, и слезы брызнули из глаз его; он бросился было в ту сторону, но Верстан как будто ждал этого и остановил его за ворот.

– Куда? Я ти дам рыскать!.. я ти порыскаю! – сказал он, толкая его вперед и быстро поворачивая за угол вместе с товарищами, – вот твоя дорога: вперед, а не назад.

Он заключил эти слова новым толчком и, оглянувшись на стороны, удвоил шаг, чтоб скорее скрыться из виду. За сараем тотчас же начинался луг, который составлял дно долины, где расположена была деревушка. Пройдя шагов двести, Петя улучил минуту и посмотрел назад; но сарай, где провели они ночь, успел исчезнуть за откосом; от Прокислова оставались верхушки ветел да макушки двух-трех соломенных кровель. Петя перестал уже плакать; к толчкам Верстана, как они ни были жестки, он успел привыкнуть; что же касается до Миши, ему, конечно, было жаль его, больно жаль было, но он утешался тем, что через два-три дня, если нищие не вернутся к мальчику, он убежит, убежит непременно и соединится с маленьким товарищем; мысль эта осушала его слезы: он бодро подвигался вперед, как будто ни в чем не бывало.

Немного погодя нищие миновали луг; дорога по-

шла берегом маленькой речки, заключенной в глубоких, почти отвесных берегах; местами, там, где земля осыпалась, берега пробуравлены были бесчисленным множеством дырок; шаги путников, глухо отдаваясь в рыхлой почве, будили стрижей, которые, как пули, вылетали из дырок и как угорелые сновали над рекою, подернутой беловатым клубящимся паром. Других птиц не было еще видно; в лесах и на пашнях, спускавшихся к реке по скатам долины, все пока безмолвствовало. Хотя седой пар, наполнявший долину и принимавший издали вид глубоких озер, заметно рассевался, не подымаясь кверху, так что можно было ясно различать предметы, но день по-настоящему только что занимался; горизонт со стороны востока чуть-чуть окрашивался зарею.

— Нам, слышь, братцы, далеко ходить незачем,— сказал Фуфаев, который до сих пор не вымолвил слова, не выкинул ни одной шутки (вообще в промежуток последних дней он казался более озабоченным, чем веселым),— далеко ходить не к чему,— подхватил он,— лучше здесь по округе побродить... поближности.

— Вестимо, коли сходно будет, далеко не пойдем... Ну, а коли не подадут ничего? Здесь деревни-то бедные! — промолвил дядя Мизгирь.

— Ох уж ты, жидовина! — досадливо перебил Фуфаев.— Только у тебя и на разуме-то гроши одни... Смерть не люблю! Уж помяни ты меня: будет тебе за твои деньги! Задавят где-нибудь в лесу, как собаку ледащую!..

Верстан нахмурил брови, кашлянул и перебил нетерпеливо:

— У нас не было этого в уговоре, чтоб куда идти. Уж и так через тебя одну ярманку проглядели! Коли идти лень, ты бы с мальчишкой со своим остался... Куда нам поволится, туда и пойдем, тебя не спросим,— коротко и сухо заключил Верстан, делая намек Фуфаеву на его слепоту и давая ему косвенно чувствовать, что он более или менее находится теперь в его зависимости.

— Я нешто о себе? По мне пожалуй! — возразил слепой, заметно сдерживая порыв неудовольствия.— Я ходьбы не боюсь; пройду побольше вашего! Только, чур, братцы,— примолвил он, окончательно смягчая голос,— чур, уговор лучше денег: два дня походим, пожалуй что и все трои сутки, там назад: надо, при-

мерно, мальчишку взять; при нем я хошь одним глазом да вижу – без него рта не найду, куды корку сунуть...

На это ни Верстан, ни дядя Мизгирь слова не сказали; Фуфаев также замолк; каждому как будто запала крепкая дума в голову, и каждый отдался ей одной. С этой минуты одни лишь шаги нарушали тишину спавшей окрестности. Таким образом незаметно сделали они несколько поворотов по долине, которая имела характер извилистый, как вообще все долины, на дне которых протекает река. Пройдя версты две от деревни, а может, и более, нищие услышали шум падающей воды. Спустя несколько времени из-за купы старых головастых ветел высунулась высокая остроконечная кровля, а там выступила и вся мельница, темная профиль которой с одной стороны целиком перекидывалась в реку, с другой четко обрисовывалась на красноватом, разгоравшемся небе.

Но и здесь так же было тихо, как в поле; шумела только вода, бившая фонтанами сквозь дыры плохо сколоченных тварней. Ступив уже на плотину, куда поворачивала дорога, нищие увидели молодого рыжеватого парня – надо полагать, батрака мельника; он хотя и стоял на ногах, но, казалось, не совсем еще пробудился: закинув обе руки за голову, закрыв глаза, он так зевал, что еще немножко, и он непременно вывихнул бы себе челюсть. Тем не менее нищие добились от него толку касательно расположения соседних деревень. Верстах в семи от мельницы находилось село Бабурино, большое село; народ достаточный, все больше горшечники; других деревень по дороге нет; дорога одна, битая: по ней бабуринские мужики ездят молоть на мельницу. Сведений этих пока было довольно, и нищие пошли по указанному пути.

Спешить было некуда, как справедливо заметил Фуфаев. К тому же, хотя солнце только что показалось, в воздухе начинала чувствоваться духота и тяжесть; солнце выплывало как из огня; багровый круг, словно из раскаленного железа, окаймлял его, и над горизонтом длиннее и длиннее вытягивались рыжие, тяжелые полосы облаков. Все предвещало такой же знойный день, как и накануне; самые птицы пели както неохотно, но все-таки над обгорелыми полями, стлавшимися по обеим сторонам дороги, неумолкаемо звенели жаворонки. Пение жаворонков перенесло по-

чему-то Петю к оставленному товарищу; он не переставал думать о нем; но теперь ему вдруг как-то жальче стало Мишу. «Слышит ли Миша этих жаворонков?.. Нет, этих уж он не слышит! далеко очень! Что он теперь делает: плачет ли, сердечный, или так сидит, думает?..» От Миши мысль его незаметно перешла к тому времени, когда он бегал, бывало, с братишками по полям и так же прислушивался к жаворонкам – то-то время-то было! Мигом обрисовалась перед ним широкая улица Марьинского, избушка, внутренность этой избы; ему, неизвестно почему, пришли вдруг на ум черные брови отца, которые то обе вместе подымались и опускались, то подымется сначала одна бровь, а там и другая; он вспомнил потом сестру Машу, вспомнил полоумную тетку Дуню, вспомнил мать – и слезы сами собою закапали на его рубашонку; но, встретив суровый взгляд Верстана, он поспешил их высушить и показал даже вид, что это был пот, а вовсе не слезы.

Пока нищие дошли до Бабурина, наступил уже жар; они вошли в деревню. Постучав, как водится, под каждым окном, что заняло довольно времени, но принесло мало пользы, потому что бабуринские мужики хотя и занимались горшечным производством, но нисколько не были от этого богаче других, нищие решились отдохнуть. Отдохнули; пообедали. Они уже раздумывали, куда бы теперь направить путь, когда случай вывел их из затруднения: хозяин, у которого они остановились, сообщил им, что в двенадцати верстах находится село «Новая Отрада»... впрочем, так господа называют, заметил мужик; в сущности село искони называлось «Старое Пронюхлово»; в этом Пронюхлове завтра празднуется приходский праздник. Такое известие подняло тотчас же на ноги Верстана и его товарищей. Фуфаев предложил, впрочем, пережидать зной и отправиться ночью; но Верстан и дядя Мизгирь настояли на своем. Не знаю, лучше ли бы они сделали, если б послушали слепого, во всяком случае можно было не торопиться.

Час спустя после выхода нищих из Бабурина тучи, скоплявшиеся на горизонте, стали выше подыматься, сгущались и, постепенно темнея, разливались все шире и шире по небосклону. Духота между тем делалась нестерпимою. Время от времени пробегал порыв ветра; он вырывался, казалось, из жерла раскаленной печки;

наконец ветер поднялся с такою силой, что трудно стало вперед двигаться. Глядя, как пробирались нищие в упор ветру, можно было думать, что они с усилием подымаются в гору или лезут на приступ невидимой какой-нибудь крепости; сила воздуха сказывалась также в полете птиц: они с трудом боролись против течения ветра и, несмотря на пугливое маханье крыльями, почти не двигались в помутившемся небе, но зато как стрелы летели они, лишь только поворачивались хвостом к ветру. В какие-нибудь десять минут окрестность изменилась совершенно; леса приняли сумрачный цвет и зашумели вдалеке, как разъяренное море; макушки дерев рвались, словно в страхе каком-то, и силились как будто убежать от вихрей, которые вырастали вдруг в разных местах и, сверля землю, вертя воронкой придорожную пыль и листья, стремительно носились по полям. Уже с утра раздавались по временам глухие, отдаленные раскаты; они гремели теперь без умолку и приближались; вместе с ними надвигалась и туча, сделавшаяся теперь зловещею, чернильного цвета; точно летела она навстречу. Темнота на земле, а туча на небе с каждой секундой захватывала все больше и больше пространства; слышно было, казалось, как посреди грохота бушевавшего ветра шумела она, комкая нижние слои облаков и сдавливая воздух. Не успели нищие отойти к опушке леса и стать под дерево, она обняла из края в край все небо. На секунду вся природа, как бы пораженная страхом, упала ниц и смолкла... Сверкнула молния, раздался страшный удар грома, за ним последовал другой, сильнее первого... Опять все как бы смолкло; крупные, тяжелые капли дождя зашлепали по дороге, ветер закрутил деревьями, ударил ливень, и гроза заревела как бешеная... Промокнув до костей в первую же минуту, нищие согласились продолжать путь: больше уж ведь не вымокнешь; к тому же не ночи здесь дожидаться. Увязая на каждом шагу, скользя, оступаясь и падая (сколько раз в это время Фуфаев вспомянул вожака своего Мишку — одному богу известно!), добрались они кое-как к ночи в деревушку, лежавшую на перепутье из Бабурина в Новую Отраду. Не слыша ног под собою, измученные, усталые, как пришли они, так и повалились кто куда попал.

Но неудача такого странствования с лихвою вознаградилась на другой день в Новой Отраде, куда нищие

прибыли за час до обедни. Сбор был отменный: пришлось копеек по сорока на брата; но этим не кончилось: господа Новой Отрады, в ознаменование приходского праздника, давали обед своим крестьянам; нищая братия, как водится по обычаю, была приглашена разделить трапезу. Верстан, дядя Мизгирь и Фуфаев так усердно припали к даровой баранине, лапше и каше, что, встав из-за стола, почувствовали себя не в силах идти далее. Так протянули они до вечера; вечером не стоило пускаться в дорогу: они остались ночевать в Новой Отраде.

В продолжение всего этого дня и даже ночью Петя не переставал думать о Мише; ему стало казаться, не хотят ли нищие в самом деле бросить больного мальчика: о нем не было и помину. Он решился бежать в следующую же ночь, если завтрашний день старики не отправятся в Прокислово. Но Петя ошибся в своем предположении: на другое утро ни Верстан, ни дядя Мизгирь не выразили ни малейшего сопротивления, слова даже не сказали, когда Фуфаев намекнул им о четвертаке и об уговоре вернуться к мальчику. Они опять пошли тем же путем. День был чудесный: воздух, освеженный вечернею грозою, приятно щекотал ноздри, дороги провяли — все способствовало к легкой, быстрой ходьбе. Часам к двум пополудни достигли они Бабурина, соснули немножко, перекусили и пошли дальше.

Нет никакого сомнения, что к часам пяти были бы они в Прокислове, если б не встретилось обстоятельство, которое разом изменило их намерение. Верстах в трех от знакомой нам мельницы встретили они бабу.

— Здравствуйте, родимые! — сказала баба, по-видимому не обратив даже на них большого внимания.

— Здорово, тетка, коли нечего делать! — отозвался Верстан.

Нищие прошли мимо, и баба прошла мимо. Пройдя, однако ж, шагов двадцать, она неожиданно остановилась, повернулась к нищим, которые продолжали подвигаться вперед, с минуту простояла в раздумье и вдруг замахала руками.

— Эй, родимые! эй! — крикнула она, — эй, дедушка! старичок, а старичок!..

Невнимание «старичка» привело ее, казалось, в сильное волнение; она крикнула еще громче.

— Чего тебе? — спросил издали Верстан.

Он остановился; остановились и другие. При этом баба, суетливо поправив головной платок и продолжая размахивать руками, поспешила нагнать их.

— Слышь, родимые, не ваш ли там мальчик? — вымолвила она, указывая вперед, в ту сторону, где находилось Прокислово.— Не вы ли оставили его там, в деревне-то?..

— А что? — уклончиво спросил Верстан, предупреждая Фуфаева толчком, а дядю Мизгиря и Петю взглядом.

— Поди ты, касатики, что наделали-то! — воскликнула баба,— я только оттедова; поди ты, каких делов наделали!.. ахти! ахти!..

— Ты толком говори, тетка; тебя не разберешь никак. Каких делов наделали? кто? — спросил Верстан, выразительно покашливая и предупреждая товарищей, которые от первого до последнего насторожили слух.

— Кто наделал? Знамо, недобрые люди, касатик... нищие, сказывают... Он, мальчик-то, добрѐ захворал у них, они его и бросили... и было-то их трое, родимый, вот сколько вас, все едино. Бабу-то добрѐ жаль, касатик, старуху-то: поди ты, как убивается.. так и кричит, голосом кричит, касатик...

— Какая там еще баба? — нетерпеливо спросил Верстан.

— А как же! а старуха-то, у которой они мальчика-то оставили! — с живостью подхватила баба,— теперь, я чай, пропадет, сердечная!.. То-то ведь грех какой!.. Весь суд собрался, становой Миколай Миколаич приехал; сказывали, допрос, вишь, какой-то учиняют...

— А что, разве мальчик-то помер? — спросил Верстан, суетливо озираясь на стороны.

— Помер, касатик, то-то и есть что помер! в тот же день, как они его оставили у старухи-то, в тот день и помер...

Известие это произвело на каждого из присутствующих различное действие: Фуфаев, раскрыв белые зрачки, притупленно устремил их в землю и тяжко покрякивал, как будто его били сзади палкой; сморщенное лицо дяди Мизгиря скорчилось и выразило явное беспокойство; Верстан с суровой заботливостью почесал затылок. Что ж касается до Пети, который до того времени впивался глазами в лицо бабы и с тяжким замиранием сердца прислушивался к каждому ее сло-

ву, он забыл при этом известии весь страх, внушаемый Верстаном, выпустил палку, закрыл лицо, бросился на межу и зарыдал во весь голос. Верстан выхватил палку из рук остолбенелого Фуфаева и быстро повернулся к Пете; но благоразумие удержало его.

— Ахти, родимый, что это с ним? — жалостливо вымолвила баба, указывая на Петю.

— Должно быть, мать вспомнил,— возразил Верстан,— недавно взят... все о ней сокрушается... Ну, тетка, прощай; нам пора,— добавил он, толкая Фуфаева.

— Так, стало, мальчик-то не ваш... не вы его оставили? — спросила баба.

— Вот! рази мы оттедова! Вишь идем отколе... издалече идем, родимая, издалече!..— торопливо промолвил Верстан, подходя к Пете и приказывая ему встать тотчас же на ноги.

Но так как Петя не расслышал приказания и продолжал рыдать по-прежнему, то Верстан ухватил его за ворот, поставил на дорогу и повел ускоренным шагом вперед по направлению к мельнице. Дядя Мизгирь и Фуфаев, все еще словно ошеломленный известием, торопливо заковыляли по стопам его. Баба постояла минуты две на месте, раза два покачала головою, раза два поправила платок на голове и пошла своею дорогой. Верстан, должно быть, следил за нею глазами: едва успела она скрыться из виду, он тотчас же остановился. Он так был озабочен, что забыл даже об обещании выколотить из Пети последние слезы, лишь только уйдет баба: он не смотрел на него, хотя Петя продолжал так же горько плакать.

— Ну, ребята, дело плохо! — проговорил Верстан, не отрывая глаз от горизонта и останавливая товарищей,— теперь думать нечего; долго думать — тому же быть... Того и смотри, рыскают теперь понятые... на них наткнешься; надо убираться. Смотри, ребята, не отставать! Что скажу, то и делайте.

На том месте, где они стояли, дорога окаймлялась с обеих сторон высокою рожью, которая колосилась; справа, в полуверсте какой-нибудь, за полем, синела роща. Верстан указал в ту сторону; он велел только выбирать межи, а не ломиться прямо в рожь.

— Как есть, значит, след оставим... все единственно: написать, значит, куда, примерно, пошли,— сказал он, пропуская поочередно товарищей в поле и наблю-

дая, чтоб рожь как можно была меньше смята в этом месте.

Полчаса спустя они миновали рощу и снова пошли полями, которые тянулись во все стороны на неоглядное пространство. Так шли они несколько верст без отдыха и очутились совершенно неожиданно на крутом пустынном берегу маленькой речки.

– Смотри, не та ли это, где мельница, что намедни проходили?.. Не назад ли идем?.. – отрывисто промолвил Фуфаев, не сказавший слова до настоящей минуты.

– Уж ты только иди; не прозеваю небось! – грубо возразил Верстан, толкая Петю вперед и подставляя палку слепому.

Край берега служил им теперь дорогой; Верстан уверял, что вода непременно куда-нибудь да приведет. Само собой разумеется, каждый раз, как показывалась деревня в отдалении, или мельница, или виднелся человек, нищие сворачивали в сторону; они тщательно избегали встреч и вообще обходили всякое жилое место. Пройдя еще несколько верст, Верстан заметил, что скаты долины, заключавшей в себе реку, стали расходиться и вместе с тем подымались все выше и выше. Он предложил идти вéрхом: ему удобнее было обозревать местность. Немного погодя в отдалении, между щеками долины, сверкнуло большое водное пространство, а за ним открылись плоские берега, уходившие в неизмеримую глубину, потопленную последними лучами солнца. Уже сумерки ложились на землю, когда нищие достигли вершины нагорного берега, круто спускавшегося к широкой реке. Верстан сказал, что это была Ока. Весь этот скат покрыт был на значительное пространство мелким дубняком и орешником; забравшись в эту чащу, нищие могли считать себя вне всякой опасности: не только понятые, но сам становой Миколай Миколаич не мог бы теперь отыскать их. Но Верстан все-таки не удовольствовался: ему крепко хотелось переехать реку и попасть скорее на луговой берег, принадлежавший уже другому уезду.

Слева, немного подальше впадения маленькой речки в Оку, раздавались голоса, привлекавшие внимание Верстана и его товарищей, как взошли они на хребет берега: то кричали паромщики, тянувшие канат. Чего бы, кажется, лучше? Перевоз был под рукою; но

осторожность, внушенная многолетним опытом, говорила Верстану, что на паром никак не следовало соваться: пристань место приточное, людное, бойкое; какого-какого народа там не бывает! Легко могло статься, что становой Миколай Миколаич сделал там свои распоряжения касательно остановки всякого, кто хоть сколько-нибудь похож на нищего. Нет, о пароме и думать нечего. Не лучше ли направиться в противоположную сторону, к рыбацким лодкам, которые мелькали, как черные крапины, на светлой поверхности реки, отражавшей последнюю бледную вспышку заката? Не близко, конечно; к тому ж и дорога не совсем ладная: везде обрывы да овраги, того и гляди повихнешь голову, ноги поломаешь; но ведь и то сказать: беда за плечами не малая! Нет, уж лучше в дорогу! Все согласились с мнением Верстана; коновод был опытный, сказать нечего!

Небо уж вызвездило, а на земле было темно, хоть глаз выколи, когда нищие приблизились к челнокам, опрокинутым на песчаной отмели. Густое храпенье направило их к рыбаку, спавшему в одном из челноков: они добудились его. Дело сладилось за два гроша; рыбак усадил их всех в одну лодку и повез через реку. Дорогой не обошлось, разумеется, без расспросов; но рыбак ничего не знал о происшествии в Прокислове.

— А далеко ли Прокислово? сколько примерно верст от вас считается? — спросил Верстан.

— Верст пятнадцать... а не то и все двадцать — не знаю, — заключил рыбак.

Ступив на луговой берег, нищие словно приободрились, кроме, впрочем, Пети и Фуфаева. Первый уже не плакал; но лицо его по-прежнему оставалось печальным и глаза не отрывались от той стороны, где темною зубчатою стеною подымался нагорный берег. Фуфаев не прерывал молчания; время от времени он снимал шапку, свирепо почесывал затылок и снова надвигал ее с каким-то нахмуренным, вовсе не свойственным ему видом.

— Что это, брат, там за деревня? — спросил Верстан, указывая к лугу на огоньки, мелькавшие в отдалении.

— Село Болотово, — лаконически возразил рыбак, отпихиваясь от берега.

Отъехав сажен десять, рыбак положил весла в челнок и посмотрел машинально на луг; но нищие успели

исчезнуть в темноте, потоплявшей весь берег; слышны были только шаги их, постепенно слабевшие и, наконец, вовсе смолкшие.

V

НОВЫЙ КРАЙ. НОВЫЕ ЛИЦА

А между тем Сергей Васильевич Белицын и его семейство, пробыв дней пять в Москве, чтоб повидаться с родственниками (нет, кажется, такого человека в России, у которого не было бы в Москве родственников, особенно пожилых и женского пола), Сергей Васильевич и его семейство подъезжали к Петербургу. Но мы оставим их на последней станции железной дороги. Что ж делать! Поверьте, мы почти против воли лишаем себя удовольствия ввести читателя в изящный круг светского столичного общества. Как ни прискорбно, но на этот раз нам снова предстоит принести Петербург – эту *Северную Пальмиру,* как до сих пор называет его одна газета, – должны принести его в жертву скучным деревушкам, засыпанным пылью или потопленным в грязи; необходимо нам променять общество столицы на общество неумытых мужиков и необтесанных мещан, изящные туалеты – на неуклюжие зипуны и полушубки, покрытые заплатами, Невский проспект – на пустынные, глухие проселочные дороги. Предлагаемый роман так уж несчастливо сложился, что «порядочные люди» стали в нем на втором и даже на третьем плане. Основываясь на этом последнем обстоятельстве, было бы даже несправедливо говорить теперь о приезде Сергея Васильевича и его семейства; дело подошло к приезду другого семейства, а именно – семейства Лапши. Оно и без того ехало слишком долго; но мы нимало не виноваты в этом: нам слишком хорошо известно, что на проезд каких-нибудь четырехсот верст вовсе не требуется столько времени, хотя бы даже проезд этот совершался в телеге и в одну лошадь, с малыми ребятишками, с горшками и всякою домашнею рухлядью. В таком промедлении вся вина сполна падает на Лапшу – ни на кого более, как на Лапшу.

Первые два перевала от Марьинского он шел очень хорошо, был весел и даже бодрился, несомненным до-

казательством чего служили его брови, которые во все время рисовались черными крутыми дугами на узеньком лбу его; на третьем перевале левая бровь как будто зашевелилась и стала опускаться; на четвертом обе вдруг разом ослабли и опустились; вместе с этим сам он как будто раскис и упал духом; слабость духа непосредственно, казалось, действовала у него на ноги — он объявил, что дальше никак не может продолжать путь пешком. Сколько ни усовещивала его Катерина, выставляя на вид тяжесть подводы, плохой корм лошади и необходимость сажать на подводу малых ребят, Лапша ничего не слушал: он лег на воз, и, как ни беспокойно было ему лежать, потому что, несмотря на все его старания устроиться удобнее, одно корыто все-таки совало ему угол в спину, а чугунок долбил его в бок, он не вставал уж с воза и спал непробудно от станции до станции.

В первый день, как расстались они с Марьинским, Лапша не переставал говорить о луге. Беседуя с мужиками, у которых останавливался, он толковал с ними о цели своего путешествия, говорил, что барин посылает его в луга как главного надсмотрщика, как управителя, описывал им богатство края и при этом с особенным увлечением говорил об арбузах, которые сеялись там все равно что горох. Теперь ни о чем этом не было и помину; он, правда, охотно беседовал с мужиками и бабами, у которых останавливался, но смысл речей его был совсем другого рода; слово *арбуз* словно изгладилось из его памяти; он не переставал жаловаться и плакаться на горькую свою долю; другого разговора не было, как то, что отправляют-де его в незнамую, дальнюю сторонушку. За что отправляют его? чем провинился он? Никаких, кажись, не было за ним ни художеств, ни провинностей; жил он тихохонько в родимой деревне своей, Марьинском, никого не трогал, никого не обижал, и было ему там хорошее, привольное, житье... Нажаловавшись таким образом досыта, что, по-видимому, располагало его всякий раз к успокоению, он забирался к мужику на печку или заваливался на сеновал и, прокрякав, проохав там несколько времени, засыпал как мертвый. На другой день или вообще когда приходил час отправления, Катерина никак не могла его добудиться. Потягота, спанье, разговоры да разные проминанья — все это, конечно, сильно замедляло путь.

Нужно было иметь терпение Катерины, чтоб не колотить такого мужа, не сбросить его с воза и не оставить его на дороге. В другое время она, может быть, не дала бы ему такой потачки – не стал бы он у ней занимать на возу место, предназначенное детям; но Катерина была заметно чем-то сильно озабочена. Горе действует на иных людей раздражительно; другие делаются кроткими, мягкими и снисходительными, когда тоска западает на сердце. Она не переставала думать о Пете; сто раз на дню поминала она Маше о нем: «Где он теперь, сердечный? куда делся, дитятко ненаглядное? жив ли еще?» Не так жалко было ей потерять другого мальчика, хоть бы Костюшку: Петя был ее любимый; но так, вероятно, казалось ей, потому что Костюшка находился на глазах ее, а Петя... Пети не было!

Другие думы немало также занимали ее: ей жаль было Марьинского, жаль было родины, где прожила она век свой, возрастила и вскормила детей своих; но, с другой стороны, не могла она не радоваться, что навсегда избавилась от злодея Филиппа, от нареканий и преследований мира, который вымещал на них злобу, пробужденную действиями мужнина брата; она мысленно благодарила господ, которые вникли в ее положение и удалили ее от людской несправедливой ненависти. Она часто также думала о дочери Маше, и вместе с этою мыслью ей снова жаль было оставленной родины: вот девка уж почитай что на возрасте, замуж давно бы пора, и женишок уж навязывался, славный такой, почитай свой совсем, знакомый человек издавна; мастерство также у него хорошее: столярное дело всегда грош даст; кроме того, от дома, от семьи человека не отрывает. Ваня-столяр обещал, впрочем, как прощался, наведаться в степь; но ведь человек молодой, и речи его, стало быть, молодые: долго ль забыть их? В этом последнем соображении Маша, казалось, разделяла мысли матери; во все продолжение дороги она мало говорила, ни разу не улыбнулась, и часто мать заставала ее со слезами на глазах.

Одни только ребятишки да еще Волчок не унывали и были веселы. Последний во всю дорогу шествовал впереди лошади; он таким крутым кренделем закручивал хвост, сохранял такой важный вид, что можно было думать, что кто-нибудь объяснил ему значение

и ответственность авангардного поста; он изменял роли в тех только случаях, когда путешественники подходили к деревне; не хотелось ли ему заводить новых знакомств по дороге, или вообще руководил им опыт, говоривший, что стоит показаться в любой деревне чужой собаке, чтоб туземные принялись трепать ее изо всей мочи — неизвестно; но Волчок припускал тотчас же во все лопатки и летел по задам. Миновав деревню, семейство Лапши находило его всегда сидящего на дороге с круто завороченным хвостом и висящим языком.

Что ж касается до безумной Дуни, несчастной жены Филиппа, она оставалась почти тою же, какою была в Марьинском. Так как никто теперь не приставал к ней, никто не дразнил ее, то она казалась спокойнее и вообще выказывала больше кротости и покорности: она шла, когда шли другие, ложилась спать, когда приходило к тому время. Раза два только возвращался к ней припадок: она падала наземь, начинала биться и отчаянно призывала Степку; но Катерина скоро уговаривала ее — и Дуня продолжала следовать за подводой, снова убаюкивая свою палку или сбивая головки желтых купавок, которые росли в изобилии по межам.

Таким образом, переезжая из деревни в деревню, из одного уездного городка в другой, Катерина и ее семейство приблизились, наконец, к цели своего путешествия. На последнем перевале им сказали, что до хутора помещицы Ивановой, или Иванихи (она была больше известна под этим именем), оставалось всего двенадцать верст. Известие это подействовало особенно на Тимофея; силы его разом воскресли; он не хотел даже отдыхать, поминутно заглядывал, подбирает ли лошадь корм, и не давал покоя жене, торопя ее в дорогу. По словам его, не следовало бы даже здесь останавливаться: лошадь, конечно, устала, но двенадцать лишних верст не уморят ее; следовало прямо ехать на хутор и там уже отдохнуть хорошенько за всю дорогу.

Было прекрасное июньское утро и солнце только что взошло, когда семейство покинуло деревню. На протяжении последних этих двенадцати верст Лапша ни разу не ложился на подводу: он шел впереди вместе с Волчком, высоко приподымал брови и так бодро поглядывал на стороны, как будто хотел сказать: «вот

теперь лежать, небось, не стану, потому что цель достигнута, дело в руках; а есть чем заняться, есть над чем хлопотать; лежать теперь не время, хлопотать надо — да...»

Катерина, к которой, по-видимому, обращались эти речи, не смотрела даже на мужа; но бодрившийся Лапша не обижался ее невниманием: напротив, он снисходительно ухмылялся в жиденькую свою бороду и потряхивал головою с видом человека, который привык, чтоб ему противоречили и чтоб его не понимали. Он не переставал выхвалять степные места с таким жаром, как будто неожиданно перескочил сюда прямо из Марьинского (оно отчасти так и было, потому что он спал всю дорогу), хвалил рожь, которая стлалась по обеим сторонам и только что начинала колоситься, хвалил почву, хвалил траву; из слов его делалось очевидным, что если б такую землю да в Марьинское — ну, тогда другое было бы дело! было бы тогда из чего хлопотать и над чем трудиться. Он не только стал бы тогда обрабатывать свои две нивы (что такое две нивы? — пустяшное, нестоющее дело!), но стал бы непременно каждый год принанимать и примахивать целых десять, потому дело выходит такое, есть из чего хлопотать по крайности. Катерина на все это опять-таки ни слова не возражала, но лицо ее, время от времени обращавшееся к мужу, ясно говорило: «Деловой человек, мой батюшка, делец, нечего сказать!..»

Как ни забавны были восторженные речи Тимофея, в них заключалась, однако ж, частичка правды. Рожь была действительно несравненно выше, чем в Марьинском; цветы чаще и пестрее просвечивали между желтеющими стволами хлеба; травы на межах казались и гуще, и разнообразнее; земля чернела, как уголь, и была словно насквозь пропитана желтоватым каким-то соком; колеса телеги оставляли по дороге, омоченной утренней росою, глянцевитые, лоснящиеся следы. Производительная сила степного края еще заметнее выказывалась в лесах: часто в одной группе встречались липа, вяз и молодой клен, который выставлял свои лапчатые, сквозные листья из-под темной зелени старого дуба — старшины соседних дерев; иногда попадались целые липовые рощи; вообще весь край принимал характер плоский, но широкий, просторный и размашистый; небосклон уходил дальше,

горизонт делался синее, и ярче окрашивались луга при солнечном закате.

Но все эти особенности, составлявшие характеристику и красоту края, встречали самое полное равнодушие со стороны всех наших путешественников без исключения. Простолюдин смотрит на природу своим особенным взглядом. Береза для него самое лучшее дерево: и на верею хороша, и на лучину годится, и топливо самое жаркое; старая раскидистая липа имеет цены настолько, насколько можно надрать с нее лубков и выпилить колод для пчел; смотрит ли простолюдин на реку, красиво изгибающуюся по долине, он думает о рыбе; встречает ли дуб, покрывающий тенью целое стадо, ему кажется: вот срубить бы пора; так стоит — гниет без пользы, простоит еще год, другой — всю сердцевину выест, ни одной доски тогда не выпилишь; устремляется ли случайно взор его к широкому простору, убегающему в синюю туманную даль, он восклицает: «эк что земли-то! земли-то что!..» и так далее; он всюду ищет пользы, но вовсе не из жадности — нет. Не потому ли происходит все это, что в самом деле много, много нужд у простолюдина? Посади-ка любого из нас натощак в темную и притом холодную избу: по прошествии суток нас даже страшно бы раздражали поэтические восторги по поводу красоты изгибающейся речки или живописности какой-нибудь березы: речка гроша не стоила бы, если б нельзя в ней тотчас же наловить налимов на уху; дрова и лучина сделались бы прямым, единственным назначением самого живописного дерева. Поэтическое воззрение на предметы истекает, поверьте, не столько от более или менее богатых свойств души, сколько от материального довольства вообще и сытого желудка в особенности...

Солнце высоко стояло в безоблачном небе, когда переселенцы подъехали к маленькой деревянной часовне, поставленной на перекрестке нескольких дорог; одна из них прямо вела на хутор; оставалась теперь одна верста. Но хутор до сих пор не показывался: он терялся в складке почвы; к тому же рожь так высока была подле дороги, что невозможно было даже обозревать местность. Первое живое существо, встретившееся путешественникам, была серая собачонка с желтыми, как янтарь, глазами и вострыми стоячими ушами; она неожиданно выскочила из ржи; увидав

Волчка, она остановилась, гордо подняла голову, на которой ясно, однако ж, изобразилось приятное удивление, и вдруг скоро-скоро замахала мохнатым хвостом, торчавшим высоко над спиною; при этом Волчок, начавший было пятиться, круче еще прежнего закрутил свой крендель и побежал к незнакомцу дробным, но бережным шажком. Ребятишки, а за ними Лапша, начали кричать, свистать и звать Волчка; никто не сомневался, что сейчас же произойдет потасовка, — ничуть не бывало; собаки с минуту постояли друг против дружки, как бы испытывая одна у другой самые сокровенные мысли, потом обе вдруг подпрыгнули, потом замахали хвостом и, став наконец рядом, дружелюбно побежали вперед по дороге.

Встреча эта послужила, казалось, хорошим предзнаменованием: немного дальше из ржи вышел мужичок среднего роста, средних лет, но уже поседелый; загоревшее лицо его далеко не отличалось красотою, но ласковое, добродушное выражение с лихвою выкупало правильность черт; самая улыбка, с которой поглядел он вслед дружелюбно бежавшим собакам, сразу показала в нем незлобивого, мягкого человека. Улыбка быстро исчезла однако ж, когда увидел он приближавшихся людей и подводу; он точно с первого взгляда понял, что то были какие-нибудь переселенцы. Сильная привязанность нашего народа к родимой почве всегда пробуждает в нем сострадание и сочувствие к переселенцу. Незнакомый мужичок первый приподнял шапку и поздоровался. Лапша, как уже сказано, выступал теперь бодрым шагом и высоко держал брови; последнее это обстоятельство и предшествующие слова его достаточно свидетельствовали, что переселение в луг снова получало в его мнении высокое значение. С первых же слов, сказанных им незнакомцу, проглянуло желание выставить себя чем-то вроде надсмотрщика и управителя; но Катерина тотчас же перебила его и заговорила совсем в другом духе: она вскользь, только мимоходом, упомянула о луге. Приветливо обратившись к мужичку, она принялась расспрашивать, не найдется ли уголка в хуторе, где бы можно было приютиться ее семейству.

— Нам, родной мой, хоть бы сараишко какой-нибудь, — сказала она, — теперь лето, везде можно поместиться; хошь бы клетушку, и то ненадолго, недельки на три либо на четыре всего. Мы, батюшка, не то

чтоб... не алаберные какие: у нас деньги есть; мы, как водится промеж добрых людей, за все рассчитаемся, заплатим. А насчет что ребят оченно много, семья великая, это для хозяина последняя будет забота. Вот у меня дочь большая: она за ребятишками присмотрит, коли мне недосуг, а эта у меня,— примолвила она, указывая на Дуню, которая водила концом палки по дороге,— эта хоша разумом повреждена, а смирная... ее не услышишь. Нам бы только на короткое время, недельки на три; больше бы не обеспокоили...

Голос ли Катерины звучал прямотою или вообще лицо ее способно было быстро располагать в ее пользу, но незнакомый мужичок слушал ее с выражением полного доверия.

— Что ж! пожалуй, у меня остановитесь, коли по нраву,— промолвил он, поглядывая на Лапшу, который (так показалось мужику) был словно чем-то недоволен.

Мужичок не знал еще, что когда Лапша бодрился и приподымал брови, жене никак не следовало перебивать его; он не шутя тогда обижался, по несколько часов слова не говорил и дулся. Замечено уже было выше, что в бодром настроении Лапша считал Катерину вздорной, пустяшной бабой; если он молчал, то единственно потому, что проникался тогда сознанием превосходства своего над нею.

— Может, ты это так только, по своей по доброй душе говоришь, родной... может, в тяготу тебе нас пустить? — продолжала Катерина.

— Никакой тяготы не будет,— с спокойным добродушием возразил мужик,— была бы ваша охота, а мне что? Я да жена — нас только двое и есть... да еще трое ребятишек махоньких, вот все равно что ваши... пороненочки, должно быть. Был большой сын, да помер. Что ж мы стоим? пойдемте; дорогой поговорим. Как те звать-то? — добавил он ласково, обратившись к Лапше.

Тимофей неохотно как-то объявил свое имя.

— А тебя как?

— Меня зовут Андреем.

— Ну, пойдемте.

— Пойдемте.

По мере того как они шли да беседовали (разговаривали, впрочем, только Андрей и Катерина; Лапша продолжал дуться), хутор, окруженный со всех сторон

полями ржи, начал выступать наружу. Он так был незначителен, что летом, когда колосилась рожь и высокою стеною становилась кругом, легко было пройти мимо в трехстах шагах и вовсе не заметить его. Было всего-навсе две избы да три низенькие плетневые мазанки – хорошие, впрочем, мазанки, приземистые, плотные; избы стояли рядом, а мазанки лепились насупротив; пространство между ними носило гордое название *порядка*, или улицы. В конце улицы сверкал, как зеркало, пруд, который так был мал, что одна старая дуплистая ветла наполовину покрывала его своею тенью; к пруду одним боком примыкал сад, казавшийся густою, сплошною массою листьев, молодых яблок, синих слив и груш; некоторые деревья повалили кое-где плетень, и ветви, отягченные плодами, рвались вперед, будто искали простора. Из-за сада робко выглядывали две низенькие, как бы приплюснутые, соломенные крыши; над ними выставлялась третья, с приглаженной соломой и белой трубой. Галки и воробьи, лютейшие враги помещицы, у которой сад и ягоды составляли главный источник дохода, стаями перелетали с кровли на кровлю; иногда с той стороны раздавались вдруг восклицания вроде следующих: «Кишь-ки-и-шь, ки-и-шь! Кишь, пострелы!», и тогда птицы разом вскидывались все на воздух, начинали водить торопливые круги над усадьбой или стремительно, как град, сыпались на старую ветлу, осенявшую пруд. За прудом шел небольшой мокрый лужок, сходившийся косяком между полями ржи, которая, разливаясь мягкими волнами, убегала в необозримую даль, подернутую легким паром, струившимся на солнце. Во все стороны хутора, куда ни кинешь взглядом, всюду бежали ровные поля и желтела рожь, перехваченная лугами, которые сливались с небосклоном.

На хуторе считалось тринадцать душ по последней ревизии, и хутор назывался: *Панфиловка*. Название свое получил он совершенно случайно: не купи его в свое время покойный муж помещицы, которого звали Панфилом, хутор мог бы теперь называться Петровкой, Астафьевкой, Вафусьевкой и т. д., смотря по имени владельца. Покойник служил в ближайшем уездном городке сначала протоколистом, потом канцелярским служителем и, дослужившись через тридцать лет до земского заседателя, пожелал отдохнуть и купил хуторок (в то время можно еще было выслу-

жившимся протоколистам покупать крестьян). С тех пор много утекло воды, многое переменилось. Земские заседатели, надо думать, были тогда гораздо беднее теперешних; по всему видно, они были также скромнее нынешних заседателей. Покойный Панфил Иванов до последней своей минуты не переставал восхищаться хутором; по целым дням сидел он на дворе и гонял голубей или ложился под густыми яблонями сада. Он говорил, что ему теперь ничего не надо, что бог благословил его, что живет он словно в раю каком. Представьте же себе, я знаю теперь заседателя, который купил две деревни и постоянно недоволен: бранит крестьян, бранит местность — все бранит. Он, слышал я, недоволен даже прекрасной липовой рощицей, которая раскинулась перед его домом; он хочет уничтожить ее и разбить на этом месте парк в английском вкусе... Но все это, естественным образом, выходит, впрочем, из потребностей века. Теперь все рвется к просвещению, и даже самые заседатели, как видите, разбивают английские парки в своих поместьях...

VI

ПРОДОЛЖЕНИЕ

Мужичок Андрей, представлявший некоторым образом одну тринадцатую долю состояния бывшей заседательши, помещался с женою и детьми в мазанке; но это решительно ничего не доказывало: во-первых, хорошая мазанка ничуть не хуже нашей обыкновенной избы, и, наконец, мазанка Андрея считалась чуть ли не лучшею в околотке. Между нею и ее хозяином было даже что-то общее: она так же неказиста была на вид, но стоило взглянуть на нее, чтоб понять сразу, что в ней жил честный, трудолюбивый хозяин. Все лепилось неуклюже, если хотите, но было так хорошо, так плотно и чисто смазано; окна не отличались правильностью и приятными размерами, но все стекла были целы; стропила кровли и гнилушки в углах нигде не просвечивали. Двор Андрея мог служить образцом крестьянского двора; сани и зимние снасти укладывались рядком на верхних балках под крышкою навеса; в старых голубоватых плетнях мелькали кой-где свежие зеленые прутья жимолости, впле-

тенные для поддержки; солома, назначенная для печения хлебов, громоздилась в углу, связанная в снопы; словом, куда ни глянешь, всюду хорошо.

Уже самая наружность мазанки пришлась Лапше не по̀ сердцу. Войдя во двор, он окончательно нахмурился. «Нет, это не свой брат...» — сказал сам себе Лапша, и с этой минуты левая бровь его стала как будто опять клониться книзу. Бодрость и разговорчивость, так внезапно овладевшие Тимофеем на последней станции, получили бы, без сомнения, сильное подкрепление, если б вошел он во двор к разоренному крестьянину; но здесь ему было неловко.

«Нет, это не то... Это не свой брат!..» — мысленно повторял он, уныло поглядывая на стороны.

На стук въехавшей подводы выбежали один за другим ребятишки Андрея; за ними явилась жена его, женщина немолодая, почти одних лет с мужем. С первых слов, которыми поменялись они, видно было, что жили они хорошо и согласно. Участие, которое тотчас же приняла хозяйка в Дуне, быстро сблизило ее с Катериной; они разговорились; ребятишки Катерины жались подле матери; ребятишки Андрея стояли насупротив и глядели на гостей во все глаза. Наконец их оставили глазеть друг на дружку. Катерина и Прасковья (так звали хозяйку) присоединились к Тимофею, Андрею и Маше; первые два, то есть больше, впрочем, Андрей, распрягали лошадь; вторые развязывали воз, чтобы вынуть чистые рубашонки, в которых сильно нуждались братья. Ребятишки, предоставленные собственному произволу, минуты две стояли молча; у каждого указательный палец находился во рту; потом начали они слегка подталкивать друг друга локтем и, наконец, все шестеро побежали на улицу. Когда, по прошествии часа, хозяева и гости сошлись к обеду, мальчуганы окончательно уже сдружились; оказалось даже, что Костюшка дал тумака Ваське, а Гараська подставил ногу Авдюшке.

За обедом хозяин и хозяйка приступили с расспросами: им хотелось узнать подробнее, в чем именно заключалась главная цель переселения. Катерина передала им, как могла, объяснения и наставления, полученные ею в Марьинском. Как только заговорила она, Лапша замолк, но улыбка легкого пренебреженья бродила на губах его; он во все время потряхивал головой, как бы мысленно опровергая каждое ее слово.

— Воля твоя, тетка, а я все-таки в толк не возьму,— сказал Андрей, когда кончила Катерина,— не стоит, воля ваша, не стоит из-за этого строиться... не стоит переселять да тратиться — воля ваша! Ведь лугу-то всего триста десятин каких-нибудь, и тех, может, не наберется; кто их мерил!..

— Мы этого, родной, ничего не знаем.

— А коли не знаешь, так не говори,— неожиданно перебил Лапша тоном человека, вступающего в разговор так только, из снисхожденья,— и не говори лучше. Стало быть, знают, чего луг-то стоит, коли послали...

— Что ж он стоит-то, по-твоему? — спросил, посмеиваясь, Андрей.

— А то стоит,— произнес Лапша, глубокомысленно насупливая брови,— у нас десятину-то луга за четыре рубля внаем отдают... Ну и сосчитай, чего триста-то десятин стоют.

— Да то ведь, говоришь ты, у вас. У нас поди-ка отдай по четыре-то рубля — тебе глаза высмеют. Знамо дело, кабы да этот луг перенести в ваши места,— ну, тогда было бы из чего хлопотать; а до вас верст-то с полтысячи: поди-тка перевези туда сено-то!.. Дай нам половину, хоть одну третью долю дай той цены, что говоришь, у нас тогда денег куры бы не клевали! А почему у нас ни у кого денег нет? почему? потому что господь посылает нам всего вволюшку, да сбыть-то некому! Вот хошь бы у меня теперь: весь дом обыщи, копейки не найдешь, а глянь на гумно: позапрошлый хлеб, и того много.

Лапша заикнулся было о гуртовщиках и воловьих стадах, которые прогоняли по лугам, но замечание его возбудило только смех Андрея. «Да, как же! гуртовщики такие дураки, что станут гонять на авось скотину! У каждого гуртовщика, гоняющего скот большими партиями, луга сняты заранее по всей дороге, сняты на многие годы и по контракту». Андрей привел в пример богатого мещанина, гуртовщика Карякина, который жил от них в четырех верстах: у него было своих, коренных, полторы тысячи десятин; он тут даже и поселился; кроме этого, Карякин принанимал еще лугов у соседних помещиков, в том числе и у Ивановой. Андрей помнил хорошо, что Иванова отдавала луг Белицыных рублей за сто ассигнациями Карякину.

— А все же, слышь, сто рублей! — перебил радостно Лапша.

— Ну так что ж?

— А то же, что сто рублей! — повторил Лапша, как бы поддерживая Андрея.

— Ну, хорошо,— сказал тот,— возьми-ка сосчитай теперь, что́ будет стоить вам построиться на этом луге — это раз; потом, чего стоило перевезти вас,— выходит, когда ж вы поверстаете прибыль-то на убытки, а? Ну, то-то же и есть!.. Ну, да это дело господское; такая, значит, ихняя была воля. А вот теперь другое пойдет дело,— примолвил Андрей, обращаясь к жене,— то-то, я чай, расходится наша Анисья Петровна, как проведает обо всем этом... Шутка! почитай десять лет лугом-то ихним владеет!

— Я и то сижу так-то да думаю,— сказала Прасковья,— думаю: шибко больно разобидится; пожалуй, что на нас осерчает: зачем, скажет, их к себе пустили!

— Вот!.. Надо же где-нибудь им остановиться; не у нас, так у другого. Не в поле же им жить, не цыгане,— она сама, чай, знает. И то сказать, сердце ее недолгое: покричит, покричит, да и уймется: у ней все так.

— А что, родные, какая она у вас? — спросила Катерина, которой хотелось вообще разузнать о нраве помещицы, прежде чем к ней представиться.

— Ничего, живем, по милости господней,— отвечал Андрей,— ни в чем пока не нуждаемся, всякого жита есть у нас, да и у всякого, кто не любит лежать скламши руки. Ничего; помещица хорошая; одно разве: уж оченна хлопотлива, во всякую, самую нестоющую мелочь, до всего сама доходит; у ней нет этого: позвала крестьянина или бабу, сказала: «То, мол, и то делай»,— сама идет! Пахать рано выйдешь, с солнцем выедешь — а поля наши не ближние, смотришь — она там тебя дожидает! И женщина уж не молодая, да тучная, ражая такая, а ничего нет этого в ней, никакой, то есть, устали не знает! Особливо дивимся мы в жнитво: так с поля тогда, почитай, и не сходит; придет на заре, вечером уходит; да как, братец ты мой, добро бы сидела да поглядывала, как жнут,— сама жнет! Возьмет это серп: «Эх, скажет, какие вы, бабы, слабые да ленивые! вот, говорит, как надо!», станет впереди всех и почнет жать и почнет... никто за ней не

угонится! В полдень даже, и то воздохнуть не даст; тут же у бабы у какой-нибудь возьмет хлебца, хлебнет кваску и опять пошла... Диковинное дело, как осиливает! Так бабы-то за ней и валятся с устали, а она ничегохонько! Оботрет только пот, и опять, и опять... Вот хозяйка моя теперь даже, и то спину-то почесывает. Подлинно сказать: жутко приходится в жнитво бабам: опосля жнитва-то недели две не разогнешь спины-то...

Хотя Лапша не принадлежал Анисье Петровне, однако ж рассказ о непосильной работе невольно перенес его мысли к Марьинскому: он снова вспомнил о нем с сожалением. Там, правда, мужики были очень бедны – ни у кого еще зимою не нашлось бы летошнего хлеба, но зато благодаря старости и снисходительности Герасима Афанасьевича каждый мог лежать на печи, сколько вздумается.

– Ну, а что? как она в разговоре-то? сердита? кричит? – спросил Лапша, стараясь улыбнуться, но, в сущности, не без смущения помышляя о предстоящем свидании с помещицей.

– Да ништо-таки: покричать любит, любит покричать... Знамо, дело женское: другим чем нельзя взять, они голосом! – философически заметил Андрей. – Уж на что: воробьев либо галок начнет гонять у себя по двору, у нас даже и то слышно! А уж как осерчает, не уймешь никак, так с дуба и рвет: добре голосиста, так инда вся даже покраснеет... Вот услышишь: она, чай, сильно на вас напустится... Знамо, ведь почитай луг-то своим считали, десять лет владали...

Лапша, у которого обе брови начали приближаться к носу, вдруг тяжко закашлялся.

– Что ты, батюшка? – спросила хозяйка.

– О-ох! – простонал Лапша, раскашлявшись окончательно, – грудь добре́ пуще схватило... о-ох! устал оченно с дороги-то... о-ох! шутка, сот пять верст прошли...

Катерина, из опасения, вероятно, чтоб хозяева не смекнули, в чем дело, поспешила сказать, что муж давно жалуется грудью; причиною того было падение его в овраг. Падение это мигом перенесло ее к той несчастной ночи, когда она лишилась Пети. Грусть, изобразившаяся на лице ее, не ускользнула от Прасковьи; слово за словом, Катерина поведала ей свое горе. В рассказе этом Лапша находился почти в сторо-

не, а если являлся действующим лицом, то, по словам Катерины, играл роль жертвы страшного обмана. Не знаю, что чувствовал в это время Лапша, но он силился как бы подтвердить слова жены и показывал присутствующим, насколько способен вообще быть жертвой если не обмана, то усталости. Когда пришло время идти к помещице с письмом Сергея Васильевича, Лапша до того закашлялся, что едва мог перевести дух; он пробовал было подняться на ноги и пойти за женою, но никак не осилил.

— Нет, уж сходи-ка ты одна,— промолвил он, садясь на лавку и тоскливо покачивая головою,— все одно и ты письмо-то отдашь... О-ох, так инда даже к самому сердцу подкатило!..

Прасковья взялась проводить Катерину до господских хором. Почти в воротах встретили они маленькую суетливую бабенку; она сказала, что барыня прислала ее разведать поскорее, какие такие приезжие остановились у Андрея. Бабенка эта вся, казалось, состояла из суеты, болтливости и любопытства; имя ее было Пелагея; но барыня, а за нею и весь хутор, звали ее Пьяшка. «Пьяшка, поди-ка сюда! Эй, Пьяшка! Пьяшка!» Пьяшка засыпала Катерину вопросами: откуда? зачем? как да почему? Хозяйка Андрея оставила с ней Катерину и пошла домой. На протяжении шестидесяти шагов, отделявших дом Анисьи Петровны от крестьянских жилищ, Пьяшка так уже сблизилась с Катериной, что стала рассказывать ей всю подноготную из житья-бытья барыни.

Они вошли на маленький, но чистенький дворик, покрытый мелкою травою с протоптанными в разные стороны дорожками; плотный плетень окружал его; над плетнем с одного бока весело выглядывал сад, с другого гумно, с третьего амбарчики, с четвертого флигелек и крылечко дома, который почти всеми своими окнами смотрел в сад. Подле амбара стояли хорошенькие беговые дрожки, в которые впряжена была статная серая лошадь, обратившая внимание Катерины. Пьяшка поспешила сообщить, что лошадь и дрожки принадлежали сыну богатого гуртовщика Карякина; отец почитай что круглый год живет в Саратове по своим делам; сына здесь определил. Вот он, сын-ат, и ездит к Анисье Петровне; знамо, недаром ездит; сватается, говорят, за племянницей; она тут же, у тетки живет. Из себя, на-тко, красива; оченно только

нравом пронзительна; а он, Федор-то Иваныч, Карякин-то, жених-то, красавец; только вряд женится; так только время провождает; к тому же не таковский, чтоб жениться ему: оченно охотник к бабам подольщаться — и-и, такой-то, беда! сущий припертень!.. Тут Пьяшка подвела Катерину к крылечку и замолкла; но взамен ее голоса из сада послышались гнусливые, пронзительные взвизгиванья: «Кишь, кишь, пострелы! кишь!..»

— Это барыня воробьев гоняет,— пояснила Пьяшка.

— Поди, доложи обо мне,— сказала Катерина.

— Зачем? Этого у нас не водится. Иди, ступай прямо, валяй! ничего небось! — лихо проговорила Пьяшка и одним прыжком скакнула на верхнюю ступеньку.

Обе вступили в маленький не то чуланчик, не то прихожую; у окна на конике сидел, сгорбившись, босой старикашка, занимавшийся плетением сетки для вишневых деревьев. Пьяшка сообщила, что его зовут Дроном: Дрон — имя такое. Катерина узнала, сверх того, что Дрон и Пьяшка составляют всю дворню Анисьи Петровны. Был еще один мальчишка лет семи, бегавший вечно в прорванной рубахе, но Пьяшка почему-то умолчала о нем. Одна половина дверей была открыта и позволяла обозревать следующую комнату.

Стены ее,— за исключением портрета покойника, у которого рот изображен был в виде сердца и как бы собирающимся свистнуть,— стены вплотную увешаны были мешочками с семенами и надписями; на одном означено было: *рошъ*, на другом: *чечевиця*, на третьем: *семя от дыни* и т. д. Семена и травы разложены были по всем окнам и сушились на столике у печки. Но не это привлекало внимание Катерины: в задней стене была еще дверь, которая открывалась в сад, жарко освещенный солнцем; прямо против этой двери, спиною к Катерине, стояла, нагнувшись, Анисья Петровна; она перебирала какие-то семена, разостланные на рядне по дорожке сада; занятие так поглощало ее, что Пьяшка три раза принуждена была крикнуть: «Анисья Петровна!», прежде чем та разогнула спину и обернулась.

— А? что? чего ты, дура? что лезешь, мать моя... а? баба! да! — произнесла вдруг Анисья Петровна.

Она так гнусила, что в первую минуту Катерине

показалось, что это происходит от натуги или от слишком долгого наклонения головы к земле.

Увидев из сада чужую бабу, Анисья Петровна молодецки подбоченилась и стала взбираться на ступеньки садовых дверей, которые пискнули, как будто в один голос запросили пощады. Владелице Панфиловки было уже лет под шестьдесят; но так много еще было у нее силы, жира, мяса и крови, что ей следовало непременно или умереть сегодня же вечером, или прожить еще полсотни лет. Волосы ее почти поседели; они прикрывались белым коленкоровым, давно не стиранным чепцом с какими-то узенькими оборочками; издали, ни дать ни взять, седая голова старого, гладко остриженного солдата. Красное и как бы дутое лицо ее с вздернутым носиком украшалось маленькими зелеными глазами, которые захлебывались в жире и делали неимоверные усилия, чтоб выкарабкаться оттуда. Но более всего обратили на себя внимание Катерины руки помещицы. Руки действительно были замечательны: о них многие даже говорили за десять верст в окружности; особенно хорошо были они знакомы покойнику и хохлу его (в то время носили еще хохлы; но портрет снят был, вероятно, незадолго до его смерти, потому что хохла не было, а шла во всю голову одна лысина); покойник считал даже лишним защищаться; в этих случаях он прижимался только к стене и на всякое новое потряхивание супруги приговаривал: «Зачем за сердитого шла? зачем шла за сердитого?..» Впрочем, Анисью Петровну боялся не только покойник, но боялись даже все мелкопоместные ее соседи; она была бедовая *баба-гроза*, как называли ее некоторые: мало-мало что, сейчас прошение да в суд, где, вероятно по старой памяти к заседателю, все, начиная от протоколистов до судьи, были ей кумовья и строчили ей просьбы за самую сходную цену; словом, по наружности своей Анисья Петровна напоминала всем известную греческую Бобелину, а по внутреннему устройству была настоящая русская мелкопоместная вдова.

— Здравствуй, мать моя,— прогнусила она, пытливо поглядывая на Катерину и все еще стоя подбоченясь.— Ты что торчишь здесь, дура полоротая? аль дела нет? пошла хлебы месить! — подхватила она, обращаясь к Пьяшке, которая впивалась в Катерину, как будто хотела вскочить ей в глаза и в рот в одно

и то же время.— Откуда бог принес, мать моя,— а? откуда?

С такими словами Анисья Петровна отнеслась к незнакомке. Катерина поклонилась, сказала, откуда приехала, и подала письмо.

— Это что такое?.. от кого, мать моя — а? от кого?..

— Наш помещик, Сергей Васильевич, велел отдать...

— Да я его не знаю, мать моя... никого такого не знаю... Зачем мне его письмо?.. Ты мне просто скажи, зачем приехала?

— Тут, стало быть, сударыня, о луге писано...

— О каком луге? а? какой луг? — с горячностью проговорила помещица,— какой луг, мать моя?.. что за луг за такой?.. чего надобно?.. Ты толком говори, какой луг?

— Там, сударыня, все сказано...

— Да что мне, сказано! что? *Ты* говори! — загнусила Анисья Петровна, раскидывая в стороны полы ситцевого капота, еще весною требовавшего мытья.

Катерина нимало не сробела и рассказала в коротких словах, в чем дело.

— Ах, батюшки! ах они, разбойники! — воскликнула Анисья Петровна, всплескивая руками и багровея вся, как зоб у индейского петуха,— ах, отцы вы мои! какой же это луг? уж не Кудлашкинский ли? Ах они, разбойники, грабители окаянные! ах, отцы мои! — подхватила она, снова всплескивая могучими своими ладонями и таращa глаза во все стороны.— Батюшка Федор Иваныч,— заговорила она вдруг, поворачиваясь к третьей двери, выходившей в соседнюю комнату,— Федор Иваныч, полно тебе на гитаре-то царапать! тринь-тринь-тринь, а толку никакого; подь сюда, дело есть... Ах, батюшки!..

С самого появления помещицы из соседней комнаты слышалось бряцанье гитары, сопровождавшееся шёпотом. Раза два горловой тенор пропел даже первые слова цыганской песни:

Скинь-ка шапку, скинь-ка шапку
Да пониже поклонись!

При первом восклицании Анисьи Петровны все смолкло. Из дверей выскочил, потряхивая волосами, молодой человек лет двадцати восьми, в синем краси-

вом казакине, застегнутом на крючки, и нанковых, непомерно широких шароварах. Черные кудрявые волосы его ниспадали правильным каскадом по обеим сторонам тщательно прохваченного пробора и закладывались за уши; лоск волос и правильных коричневых усиков обличал, что их часто смазывали, может даже быть, помадой из губернского города. Молодой Карякин из уважения к красоте своей старался всеми силами ее поддерживать. Красота его была, впрочем, из тех, которые служат образцом художникам, пишущим вывески для цирюльников и портных третьего разбора; но лучше было бы, если б Федор Иванович, из уважения к красоте своей, вел жизнь более правильную. Бойкость серых глаз, окруженных коричневою тенью, быстрота и юркость в выражении несколько осунувшегося лица сразу показывали одного из тех записных уездных кутил, которые всюду являются на ярмарках, проводят сутки с цыганами, выпивают по несколько дюжин цимлянского, а потом, возвратившись в усадьбу, развлекают скуку, гоняясь с двумя борзыми за зайцами или бегая за бабами. Выскочив из двери, он быстро взглянул на бабу, потом на помещицу, поставил в угол гитару и сказал с развязностью:

— Что случилось, Анисья Петровна? что такое?

— Ох, батюшка! ведь зарезали меня, разбойники, зарезали! — воскликнула Анисья Петровна, выразительно тыкая себя в грудь указательным пальцем,— ограбить хотят, мошенники!.. На-ка, прочитай, что они пишут,— подхватила она, подавая письмо,— я ведь без очков не вижу. (Анисья Петровна даже в очках плохо разбирала грамоту.)

Карякин снова быстрым взглядом окинул Катерину, сломил печать и два раза шлепнул по письму, чтоб его расправить. В ту же минуту из соседней комнаты вышла молоденькая девушка с белокурыми, круто гофрированными волосами и полными румяными щеками. Вообще вся она, от пухлого, но доброго лица и до оконечности пальцев, представлялась, даже под ситцевым платьем, каким-то туго налитым огурчиком; словом, это было то, что называется *сдобная лепешка.* Этот избыток здоровья был, можно сказать, одною из главных причин, по которым тетка спешила выдать ее замуж. «Вишь ведь она здоровенная какая! — говорила всегда тетка,— кровищи-то одной хватит на пять де-

вок! Как взыграется кровь-то — кто за нее поручится! Бог с ней совсем! лучше уж замуж поскорей!» Анисья Петровна очень радовалась посещениям Карякина: человек богатый; ей самой, как на племяннице женится, помогать станет. Не дворянин, конечно; да ведь и племянница не бог весть княжна какая: мать однодворчиха, такая же, как была Анисья Петровна до замужества...

Войдя в комнату, Наташа (так звали девушку) остановилась у печки и уже с этой минуты не отрывала томных голубоватых глаз от Карякина; даже Катерина смекнула, что девку не шутя, верно, приворожил парень. Федор Иванович читал между тем письмо. Сергей Васильевич в изысканных, деликатных и даже нежных выражениях высказывал неотъемлемые права свои на владение лугом. Но едва только объяснилось, что переселяемое крестьянское семейство тотчас же должно поселиться и завладеть лугом, Анисья Петровна вырвала письмо, плюнула в него, скомкала и швырнула на пол.

— А! так вот вас зачем сюда прислали! — вскрикнула она, напускаясь неожиданно на Катерину,— вон, негодяи! вон! Ах ты... вон пошла, говорю!..

Катерина не трогалась с места.

— Ах ты, дерзкая тварь ты этакая! — взвизгнула Анисья Петровна, вспениваясь и плескаясь как квашня, взболтанная веслом,— ах ты...

Карякин поспешил взять ее за одну руку, Наташа за другую...

— Полноте, успокойтесь... не извольте ничего себе тревожиться... Баба глупая, обращенья никакого не имеет...— сказал он, комически подмигивая Наташе.

— Успокойтесь, тетенька; вам это вредно,— произнесла Наташа.

— Ох, знаю, что вредно, мать моя... знаю... Я и то затмилась совсем... Ох, батюшки!..— простонала старуха, как бы срезанная очевидностью факта.

Она опустилась на стул, но секунду спустя снова встала и снова заплескалась и запенилась.

— Нет, да что ж это я, дура глупая? чего испугалась?.. Я в суд пойду, я им покажу, разбойникам! Я десять лет уж лугом-то владею!.. Десять лет прошло: стало быть, он мой... что ж это я?.. Ах ты, мать моя!..

— Позвольте, Анисья Петровна, это вы напрасно

изволите...— проговорил Карякин, рисуясь.— В письме сказано: с сорок восьмого года; стало быть, вы не владеете десять лет лугом; закон на их стороне... К тому же возьмите в рассуждение: люди сильные! задарят больше вашего... лучше бросьте, право... А насчет, то есть, выгод, какие они думают получить через эсто дело, я могу сделать вам в уваженье...

— Ох... ох, отцы мои... ох!..— простонала сряду Анисья Петровна, снова опускаясь на стул,— ох!.. Чем же ты меня обрадуешь, отец родной? — присовокупила она, оправляясь,— вступись за вдову, батюшка!.. Ограбили, разбойники!..

— А вот извольте видеть,— начал Карякин, охорашиваясь,— мы теперь этот луг держим; мы откажемся от него... вот и будут им, значит, выгоды...

— Да мне-то что от этого?

— А то же, что будете в своем удовольствии: и вам ничего, да уж и им зато ничего... Чего же ты стоишь, матушка? Ступай себе... Отдала письмо, и ступай! — довершил Карякин, поворачиваясь к Катерине, умное лицо которой сохранило выражение грустной задумчивости.

Она подняла голову, смело посмотрела на барыню и сказала:

— Мы, сударыня, в этом не виноваты: наше дело подначальное.

— Вон! вон гоните ее!..— произнесла Анисья Петровна, нетерпеливо потрясая головою.

— Осмелюсь вас обеспокоить, сударыня,— продолжала, нимало не робея, Катерина,— позвольте вашему мужичку, Андреем звать, позвольте, если милость ваша будет, подсобить нам строиться... Мы мазанок никогда не делали...

— Как? — вскричала Анисья Петровна, порываясь из рук Карякина и племянницы, которые ее удерживали,— как? чтоб я позволила вам строиться? Вы же меня разорять пришли, мошенники, да я же позволь крестьянину своему... ах ты!..

— Позвольте, Анисья Петровна,— перебил Карякин, снова перемигиваясь с Наташей,— почему же бы и не позволить? Дело все равно сделается, так не лучше ли ваш мужичок подсобит им?.. Все какой-нибудь авантаж получит он через эсто — вам же лучше. Ступай, голубушка; барыня пришлет ответ, ступай! — заключил Карякин, махая рукою бабе.

Катерина прошла мимо старого Дрона, который продолжал плести свои сети и, по-видимому, оставался несокрушимо равнодушным слушателем всего происходившего. Минуту спустя она была на улице. Благодаря, видно, стараниям Пьяшки, которая успела и месить хлебы и подслушать весь разговор, все народонаселение хутора знало уже о причине прибытия чужого семейства. Бабы и мужики дожидались у ворот, чтоб взглянуть на Катерину. Все зашептали, как только она показалась. Шагах в десяти от мазанки Катерина встретила Андрея: он также словно дожидался ее; лицо его было озабочено.

— Послушай, тетка,— сказал он, вводя Катерину к себе во двор,— вишь ты ведь какая! Ты сказывала, прислали вас луг стеречь, а наместо того...

— Что такое? — спросила встревоженная баба.

— Тоже... воля твоя... Мы видим, ты человек хороший,— подхватил Андрей,— полюбилась ты нам... и рады бы в чем пособить тебе, да после того оченно опасаемся... своей барыни...

— Да об чем ты говоришь, родной? Я все в толк не возьму...

— Да ведь вы всем, вишь, хутором владеть хотите... все и луга, и земли, и нас барин ваш отымает у нашей помещицы...

— Кто тебе сказал?

— Муж твой обо всем этом поведал, как ты ушла...

Краска стыда и негодования покрыла загоревшие щеки Катерины.

— Где он? — спросила она.

— В избе сейчас был...

Катерина, нахмурив брови, вошла в мазанку. Прасковья сказала ей, что муж только что вышел. Катерина обошла двор и, услышав шорох под навесом, глянула туда. Лапша только что лег; близость знакомых шагов заставила его поспешно закрыть глаза и притвориться спящим. Первое движение Катерины не обещало Лапше ничего хорошего; но она в ту же секунду остановилась, с досадой отвернула голову, плюнула и пошла назад в мазанку.

Через минуту Андрей и жена его узнали дело в настоящем его свете. Вранье мужа она уже не оправдывала; два-три слова хозяев показали Катерине, что они сразу поняли и раскусили Лапшу; но они поняли

также и Катерину. Как Прасковья, так и Андрей не переставали выказывать ей знаки истинной приязни и добродушного расположения. И он и она сожалели только, что барыня, верно, не позволит им подсоблять Катерине строиться, может даже быть, запретит им держать у себя переселенцев. К вечеру явилась, однако ж, Пьяшка и разрешила все сомнения: Анисья Петровна позволила Андрею устроить мазанку для приезжающих: «Велела только подороже с них взять!» — примолвила Пьяшка.

— Лишь бы только сама она не входила в это дело, а то что там о цене толковать! Сойдемся как-нибудь, — сказал Андрей.

Решено было на другой же день отправиться в Кудлашкинский луг и высмотреть там удобное место для колодца и мазанки.

VII

ВСТРЕЧА

Дневной свет давно разогнал ночные тени. Солнце поднялось в огненном небосклоне, исполосованном золотистыми, багровыми полосами; но чем выше оно подымалось, тем чаще и чаще оно заслонялось большими облаками, которые медленно, лениво передвигались, сходились и расходились. Запад синел, как безбрежное море; там, далеко-далеко, мелькали кое-где косые дождевые полосы; быстро перебегающие тени облаков приводили как будто в движение самую местность: тут совершенно неожиданно загоралась вдруг роща; она словно бежала навстречу и вдруг останавливалась и снова погружалась в сизый сумрак; там ярким золотом охватывался клин поля, между тем как примыкавшая к нему ветряная мельница чернела мрачным привидением. Местность можно было сравнить с огромным лицом, которое то радостно улыбалось, то собиралось в морщины и нахмуривалось.

В это самое утро, часов около шести, Верстан, дядя Мизгирь, Фуфаев и Петя остановились у околицы довольно значительной деревни; у околицы сходились и расходились несколько дорог. Верстан и Мизгирь тянули прямо против деревни; Фуфаев, держа за одну руку Верстана, за другую Мизгиря, тянул в деревню.

— Полно, глупый, чего взаправду пристал! Эк его разбирает! — говорил Верстан. — Я нарочно сказал: никакого кабака нет; ну, право же, нет.

— Ан врешь, оба вы врете, не обманетс; поздно оченно, дружки, спохватились! — затрещал слепой своим козлячьим голосом и еще плотнее обхватил руками товарищей. — Врете: есть кабак! видать — не вижу, да нос сказывает! — довершил он, поворачивая лицо к деревне и обнюхивая воздух.

Действительно ли чуял Фуфаев запах вина, но только его не могли разуверить касательно отсутствия кабака, или *Ивана-елкина*, как он выражался. Шагах в сорока от околицы возвышалась грязная изба с прицепленною к двери сухой, покрасневшей сосновой веткой.

— Да что ты, волк тебя ешь, деньгами, что ли, разбогател? клад, что ли, нашел? — с грубым смехом произнес Верстан, — али уж такой расстрой вдруг сделался, что обождать нельзя? Всего пять верст до села-то осталось; там выпьешь!

— Да чего ждать-то! ждать нечего! — почти умоляющим голосом проговорил слепой, — там что еще будет! дело впереди, в дороге; здесь, при спопутности, само в руки просится!.. Да о чем, братцы, ваша забота? Чего уперлись? Твои, что ль, аль ваши деньги пропиваю? Ваших не прошу, не надыть! Сам угощаю, сам всех пою, всех пою; такая, знать, моя охота!

— Было бы на что угощать-то! — насмешливо перебил Верстан. — Утощать-то уж не на что: весь, как есть, давно пропился; платьишко, какое было, и то даже все зарезал...

В самом деле, с того самого села Болотова, в виду которого оставили мы нищих после переезда через Оку, Фуфаев почти не отрезвился совершенно. Им точно одурь какая-то овладела. На памяти Верстана, бродившего вот уже скоро лет пять с Фуфаевым, всего раз пять прорывало таким образом слепого. Сначала Фуфаев молчал три дня сряду и, как только приходил на отдых, ложился и засыпал сном непробудным. Случайно нищие зашли как-то в кабак; слепой выпил и уже с этой минуты загулял без удержу безо всякого. Он пропил все деньги, пропил новую рубашку, купленную на базаре, пропил новые лапти и старые, пропил шапку, липовую чашку для подаяний, которая составляет необходимую принадлежность всех нищих, так

что у редкого не найдете вы ее в суме; наконец Фуфаев пропил полушубок, служивший столько лет и имевший такой вид, что превращал своего владельца в какого-то пегого человека. Теперь у Фуфаева оставались пустой мешок да еще бабий зипун, подаренный ему накануне сострадательной помещицей. Верстан несколько раз покушался удерживать порывы товарища, когда находил в этом расчет, — все было напрасно. Фуфаев, как истинный философ, говорил, что ему из одежды ничего теперь не надо, благо время теплое; о зиме загадывать нечего: зима за горами — может, еще и не доживешь: полушубок и все остальное так же напрасно пропадут, лучше же теперь при *живности* употребить их себе в удовольствие. Или же, когда товарищи слишком уж сильно приставали, он говорил коротко и сухо: «Ну, да ладно! слова только теряете: черного кобеля не вымоешь добела; таким, стало, уродился!»

От села Болотова до настоящей минуты он не переставал петь песни, плясал, выкидывал разные скоморошные штуки, рассказывал притчи и сказки и вообще с той минуты, как впервые попал ему хмель в голову, находился в неукротимом припадке веселости; изменял же ему и даже приходил в яростное раздражение тогда только, когда упоминали ему о вожаке Мишке: он объявил наотрез, что не хочет, чтоб говорили ему об этом. Не будь у Фуфаева зипуна, подаренного помещицей, Верстан, весьма вероятно, не послушал бы слепого; но зипун склонил Верстана на сторону товарища.

— Что с ним будешь делать! — сказал он, поворачиваясь к дяде Мизгирю, — так уж и быть, надо уважить; ну, пойдем!

— Вот люблю! вот молодцы! Слышь, дядя, как к ручью либо к речке придем, вымой руки да мне скажи, я их поцелую! право, поцелую! — воскликнул Фуфаев, выпустил из своих рук руки нищих, вскинулся на воздух и, хлопнув ладонью над кудрявою своею головою, сказал Пете, чтоб он вел его «к *аптеке*, где вылечиваются все болезни и даже выгоняются все двенадцать сестер-лихоманок».

Улица деревни давно уже оживлялась народом; бабы шли за водою к пруду или возвращались оттуда; старики, сидя на завалинках или стоя в воротах, протирали заспанные глаза; заботливые хозяева возились

с лошадьми. Фуфаев чуть не наткнулся на одного мужика, гнавшего лошадей с водопоя.

— Эк тебя разбирает! Чуть свет, уж нос насандалил! Да, видно, и этого мало: опять туда же,— сказал мужик.

— А что? аль завидно тебе? — крикнул Фуфаев и, подогнув колени, так скоро засеменил ногами, что Петя, который вел его, чуть не выпустил палки из рук.

Почти в то же время из дверей кабака вышла дюжая, плечистая баба, весьма похожая на штоф, налитый красным вином; к довершению сходства голова ее повязана была желтоватым платком: издали совершенная пробка. В каждой руке между пальцами держала она четыре пустые штофа, по три штофа находилось у ней под мышками. За нею выступил рыженький вскосмаченный мальчик с ковшом воды в одной руке, каждый палец другой руки воткнут был в горлышко пустого штофа; изо рта мальчика торчала корка хлеба, которую пережевывал он путем-дорогой. Целовальничиха принялась полоскать штофы, не обращая внимания на приближавшихся нищих. Она, как тотчас же, впрочем, оказалось, была баба сговорчивая. С ее стороны не было ни малейшего препятствия к приобретению зипуна, если только он годен; она молча взяла его, помяла в руках и расставила против света, причем из прорехи посредине спины зипуна луч солнца ударил прямехонько в лицо целовальничихи.

— Чего долго держишь нас? не *хапаный товар* (не краденый), барыня вечор подарила: добро, стало быть, хорошее,— вымолвил Фуфаев.

— Это не наше дело разбирать... много оченно будет... много вас здесь, шатунов, ходит,— проворчала баба, продолжая свой осмотр.

— Довольно уж, довольно нагляделась,— пробасил Верстан,— говорят тебе, не *слепой* зипун-ат! (не тайно продаваемый).

— Какой слепой, весь в дырьях! — проговорила баба.

— Ничего, тетка, сойдет! — воскликнул с живостью Фуфаев,— вещь, примерно, такая ходовая, всем нужная. Ну, говори, что даешь?..

— Десять копеек.

— Э! да ты крещеная ли?

— Больше не дам. Отваливай, значит; некогда...

— Братцы! да ведь тут на косушку не будет... что

ж это она! – заговорил Фуфаев с сокрушенным видом, – слышь, Верстан, вот что: идет али нейдет?..

– Ну, говори...

– Слышь, тетка, – начал Фуфаев, обращаясь к бабе, которая принялась за полосканье штофов, между тем как рыжий мальчик, сверля пальцем нос, продолжал жевать корку, – есть в пяти верстах от вас село Андреевское?

– Есть...

– Есть там ноне приходский праздник?

– Есть...

– Много там народу собирается?

– Отстань! Ступай, ступай! – проворчала баба, потеряв терпение.

– Вот что, Верстан, – подхватил Фуфаев, – все деньги, которые получу нонче в Андреевском, все твои, дай только полтину...

– Несходно, – промолвил Верстан, – тучи собираются... чай, народу будет немного; дождь пойдет, полтины не соберешь...

– Ну, два дня: нонче что подадут на мою долю, да завтра?

– Неделю, пожалуй, можно...

– Как? полтину за неделю!

– Меньше не хочу...

– За неделю-то... пожалуй, и я ему дам, – промямлил дядя Мизгирь, подходя ближе.

Петя далеко не был весел; он не мог, однако ж, удержаться от смеха, взглянув на рожу, которую скорчил в эту минуту дядя Мизгирь.

– Эх вы, жиды окаянные! – воскликнул Фуфаев. – Ну, да что с вами делать! Какие вы ни на есть, враг-то, видно, сильнее вас! Иду в кабалу – пропадай моя голова! Давай! – присовокупил он решительно.

Целовальничиха взяла деньги, внимательно пересмотрела каждую копейку, подняла зипун, сказала: «Три косушки...» – и, пихнув рыжего мальчика, зевавшего на нищих, вошла в кабак. Минуту спустя она вынесла штоф и толстый зеленоватый стаканчик. Фуфаев отлил немного в стакан, попробовал: «Знатно!» Он налил Верстану, потом Мизгирю, а остальное все залпом выпил, отплюнув последний глоток. На минуту он ошалел как будто; лицо его, окруженное мелкими спутанными кудрями, как шерсть у киргизского барана, сделалось багровым и склонилось на грудь; белые,

широко раскрывшиеся зрачки неподвижно смотрели в землю; в чертах его промелькнуло как будто недовольное, тоскливое чувство, но это продолжалось несколько секунд. Он пощупал Петю, взял у него конец палки, сказал: «Веди меня, наследник!» (он звал его с некоторых пор своим наследником) и велел скорее идти к околице.

— Ну, не удержишь теперь! Куда те несет, бешеный?.. погоди нас! — смеясь, вымолвил Верстан.

Но Фуфаев не убавил шагу, даже не обернулся: он точно ничего не слышал. Миновав околицу, он отряхнулся, отчаянно закинул назад голову и запел вдруг так громко, как будто хотел, чтоб в голове его звенело еще громче:

Как на дружке-то кафтан
Гармишелевый;
Как на дружке-то штаны
Черны-бархатны;
Как на дружке-то чулки
Белы-шелковые;
Есть смазные сапоги,
Красна оторочь;
Есть и шляпа со пером
И перчатки с серебром...

— Эх, эх! — воскликнул неожиданно Фуфаев, дав себе сильного тумака в затылок и по две оплеухи на каждую щеку.

После этого он закинул голову еще выше и запел еще звонче и отчаяннее.

По мере того как нищие подвигались к Андреевскому, местность, которая теперь почти не освещалась солнцем, стала заметно подыматься в гору. Они отошли уже версты три от околицы, как в воздухе неожиданно прозвучал колокол.

— Слышь, уж к обедне звонят! — произнес Верстан, подталкивая товарищей и ускоряя шаг, — а все через тебя. Говорил, не надо останавливаться...

Звуки колокола, то удалявшиеся, то приближавшиеся, смотря по тому, как подувал ветерок, стали раздаваться чаще и слышнее. Мало-помалу над извилистой линией ближайшего откоса выглянули синеватые леса, там выступили пашни, потом луга с извилистой речкой, отражавшей гладкое серое небо; там одна за другою высунулись избы, показался крест, кровля колокольни, и наконец, как только нищие по-

дошли к откосу, открылось целиком село Андреевское, расположенное на берегу речки. Колокол звучал теперь громко и без отдыха; но, несмотря на то, даже с этой высоты можно было слышать глухой говор народа, обступавшего черным пятном церковь и запружавшего обе улицы села. Нищие поспешили спуститься с кручи и перейти мост. У схода с моста, уткнувшись лицом в траву, лежал раскинувшийся во все стороны человек, как бы нарочно положенный сюда с тем, чтоб сделать известным всякому прохожему, что сегодня в Андреевском храмовой праздник.

— Мотри не раздави... своего брата раздавишь! — сказал Верстан, толкая Фуфаева.

— Здорово, кум! — крикнул наобум слепой.

Пьяный поднял голову, начал было смеяться глупым смехом, но голова его упала снова, и смех заглох в траве.

Нищие вступили в улицу, один конец которой спускался к речке, другой, постепенно расширяясь, обнимал кладбище, к которому примыкала церковь; улица вплотную была заставлена подводами с притянутыми кверху оглоблями; везде жались бабы, лошади, мужики, ребятишки; все это тискалось, сновало взад и вперед без всякой видимой цели и наполняло бестолковым говором все Андреевское. Пробравшись с трудом мимо первых подвод, нищие натолкнулись на белокурого человека с желтым лицом и туго перевязанною щекою; выражение лица его ясно показывало страдания от сильной зубной боли; на нем был поношенный сюртучишка, картуз с козырьком и черный галстук; правая рука его с изъеденными до крови пальцами повертывала хлыстик.

— Куда лезете, дьяволы? — крикнул он, пихая Фуфаева, — эк вас нонче набралось сколько!..

— Тесно, что ли, тебе? — возразил Фуфаев, сторонясь.

— Ах ты, бестия! — воскликнул с негодованием подвязанный господин, который был не кто другой, как писарь станового, — ах ты, негодяй!.. — довершил он, вытягивая хлыстом по спине Фуфаева.

Фуфаев только нагнулся и сказал: «раз!» Он бы, без сомнения, сказал и два, и три, и четыре, если б не вступился Верстан.

— Слепой, ваше благородие!.. — промолвил он униженно, — слепой, ничего не видит...

— Я ему дам слепой!.. Много вас здесь шляется... Надо бы с вас по пятаку за место — вот что! — добавила подвязанная щека и как бы из милости пропустила нищих.

После этого он запустил руку в карман, в котором было ровно столько же десятикопеечных монет, сколько стояло возов в Андреевском. Зубную боль не столько проклинал сам писарь, сколько мужики, собравшиеся к торгу; писарь привязывался к ним с каким-то остервенением: у того весы были неверны; другого гнал с места ни за что ни про что; третьего грозил связать, если только осмелится продать хоть один огурец; но десятикопеечная монета, попав в карман его, делала решительно чудеса: весы получали верность, место очищалось, огурцы делались до того годными к употреблению, что писарь тут же съедал дюжину и запрятывал другую в неизмеримые карманы панталон, о вместимости которых знал очень хорошо сам становой.

Нищие продолжали протискиваться в шумный лабиринт телег, наполненных картофелем, репой, «падалью» и орехами; падаль, то есть зеленые, недозревшие яблоки (писарь, зная запрещение, лежавшее на этой торговле, с особенным остервенением напал на торгашей; внушив им опасность, которой они подвергаются, он взял с них вдвое больше, чем с других, после чего падаль пошла в ход и стала даже продаваться лучше всего другого); падаль эта и орехи попадались чаще всего; такая шла щелкотня кругом, что, казалось, через каждые три воза стояла пылавшая печь и орехи бросались туда целыми пригоршнями.

Так как на церковной паперти не оказалось свободного местечка, то Верстан и товарищи его поспешили занять место подле дороги. Тут сидело уже до двадцати нищих, они расположились в кружок, вытянув ноги к центру и держа на коленях липовые чашки для принятия подаяний. Все дожидались окончания обедни. Наконец зазвонили во все колокола, и народ повалил из церкви; нищие приподняли чашки и, как бы сговорившись, разом грохнули, так что на минуту весь шум и гам Андреевского покрыт был словами:

Жил себе сла-а-вен богат человек...
Пил, ел сладко, кормил хорошо.
Ле-е-жит Лазарь, лежит весь изра-а-нен,
С убожеством, с немочью...

В чашки стали попадать яблоки, картофель, обглодки хлеба, иногда медные деньги; в последнем случае большая часть нищих раскрывала глаза, которые жадно устремлялись на чашку с деньгами, но глаза так же быстро опять закрывались. А между тем в толпе, валившей из церкви мимо нищих, показались господа: красная, средних лет барыня в розовом тарлатановом платье, мальчик, две другие дамы и маленький красненький, очень живой кавалер, прочищавший дорогу: это были мелкопоместные дворяне, приехавшие к обедне. Красная дама не столько, казалось, негодовала на давку, сколько на общество мужиков и дворовых, посреди которых поневоле должна была пробираться. Желая, вероятно, показать разницу между собою и ими, она заговорила вдруг на каком-то неизвестном наречии, понятном только двум другим дамам, кивавшим одобрительно головою; вместе с этим она не переставала звать сына; но имя мальчика, которое старалась она произнести по-французски, никак не выходило: Nicolas! Nicolas! – кричала дама, а выходило всегда русское: «Нико́ля, Нико́ля!»

– Посторонись! долой, болван! чего лезешь, дура! – кричал между тем красненький кавалер, прочищая дорогу.

Но как ни петушился он, сколько ни подскакивал кверху, усилия его не произвели никакого действия сравнительно с тем, что произошло, когда явился становой. Он выступал, однако ж, ровным, спокойным шагом, и кроме чувства внутреннего достоинства ничего не было на благородном лице его; он старался не замечать, что вокруг делалось; заметно даже отворачивался, когда попадался на глаза писарь. Успех станового в толпе, которая быстро раздавалась, уколол, по-видимому, красненького кавалера.

– Я сейчас встретил вашего писаря, – сказал он, подходя к нему и рисуясь перед дамами, – послушайте, остановите его; он просто со всех тащит взятки! Это... это ни на что не похоже!..

Становой обернулся к дамам и в знак уважения выставил вперед правую ногу; широкое благородное лицо его переполнилось ангельскою добротою и кротостью.

– Помилуйте, сударыня! – вымолвил он, обращаясь и к красненькому кавалеру и к даме, – нельзя ему и не взять; жалованья на писарей не пола-

гается... человек бедный... шестеро детей — посудите сами...

— Анна Васильевна! барышня! Нил Герасимыч и Зосим Степаныч! — перебила неожиданно расфранченная попадья, выскакивая откуда-то и разом обращаясь ко всем, — прошу дерзнуть, мы вас ожидаем... чайку выкушать, пирожка закусить...

— Мы и так шли к вам, *тем более, что, кажется, дождик собирается...* — тоном высокого покровительства, но не без колкости проговорила красная дама, в душе ненавидевшая попадью за то, что она была богаче и ездила в бричке, тогда как у помещицы был старенький, годный только в лом, тарантас.

Помещики исчезли в толпе, шум которой все еще заглушался песнею Лазаря: она гудела, как исполинский шмель, летавший над деревней. Время выхода из церкви — самое выгодное для нищих, и потому они не щадили горла; одни, мрачно уткнув подбородок в грудь, выводили густые ноты; другие кричали, как будто снимали с них кожу; третьи так надсажались, что мальчишки, стоявшие позади кружка, могли перечесть у них во рту все зубы, не выключая даже коренных; но все-таки посреди этого оглушающего оранья сильнее других давал себя чувствовать козлячий, дребезжащий голос Фуфаева. Наконец песня Лазаря смолкла. Капли дождя, падавшие время от времени, превратились в мелкий, тоненький дождик, который как бы потушил последние вибрации нищенской песни.

— Куда бы теперь укрыться? — сказал Верстан, забирая у Фуфаева всю пòдань, на что тот не выказал ни малейшего сопротивления, — в каждой избе теперь гулянка, никто не пустит.

— Есть такое место, можно; пойдем, укажу, — вымолвил нищий с лицом, изрытым оспою, и соколиными глазами, плутовски глядевшими из-под высокой меховой шапки. Он сидел подле Верстана и, по-видимому, давно к нему подбирался.

— Ну, веди, — произнес Верстан.

Фуфаев, Мизгирь и Петя последовали за Верстаном. Рябой нищий, прозвище которого было Балдай (впрочем, он откликивался также на прозвище Цапля), повел их мимо кладбища, мимо церкви, на другую половину Андреевского. Вторая улица, точно так же как первая, шла по откосу к реке и соединялась с тем бе-

регом плотиной мельницы, шумевшей за ветлами. Здесь подвод было меньше, но зато столпилось столько же народу, если еще не больше, чем в первой половине. Толпа особенно сильно напирала к промежутку между двумя избами, где слышался бой барабана, взвизгивание скрипки и рев медведя. Проходя мимо, Петя очень желал посмотреть на медведя; но сколько ни поднимался он на цыпочки, мог только видеть лицо «козылятника», который, припав щекою к скрипке, быстро подергивал смычком и еще быстрее передергивал бровями.

— Чего зеваешь? пошел! я те позеваю! — вымолвил Верстан, толкая его концом палки в плечо.

Как ни привык Петя к толчкам, но на этот раз толчок был силен, и ему стало больно; он приподнял голову и вдруг раскрыл широкие глаза, раскрыл рот и обомлел совершенно; выражение боли на лице его мигом сменилось выражением радости: на возу, шагах в десяти, сидел дедушка Василий, тот самый старый торгаш, который весною приезжал в Марьинское, подарил Пете образок и так много ласкал его. Весь тот вечер, вся семья Пети, все Марьинское и вместе с тем луч какой-то неясной надежды на возвращение этого прошлого разом осветили душу мальчика; сердце его так вдруг заколотило, что на секунду стеснило дыхание; забыв Верстана, он рванулся вперед и крикнул что было мочи: «Дедушка!»

— Чего?.. кто там еще?.. ах ты!.. — вымолвил Верстан и, мигом смекнув дело, пустился по следам вожака и крепко схватил его за ворот.

Но старый торгаш узнал уже мальчика; он суетливо соскочил с воза и, поправляя шапку, которая попрежнему лезла на глаза, когда старик спихивал ее на затылок, подошел к нищим.

— А! ласковый! ласковый!.. как ты сюда попал? каким таким манером?

Петя вырвался из рук нищего и, зарыдав вдруг, сам не зная отчего, бросился к торгашу и крепко обхватил его шею.

— Дедушка!.. — мог только вымолвить рыдавший мальчик, — дедушка!..

— Здравствуй! ласковый! что ты?.. что? каким таким манером?.. Ах ты, сердечный...

— Оставь малого-то, отваливай, отваливай! — су-

рово сказал Верстан, протягивая коренастую руку, чтоб снова ухватить Петю, который начал отчаянно кричать и отбиваться.

— Нет, погоди, брат! постой! драться тебе не показано!.. я драться-то ведь не дам! Не пуще мне страшен! — вымолвил старик, защищая одною рукою Петю, другою отталкивая руку нищего.

— Дедушка... не давай... силой увели! — хотел было шепнуть Петя на ухо старику, но голос изменил ему; он произнес эти слова так громко, что не только нищие услышали, но даже народ, начинавший сбираться вокруг.

— Силой увели? как так? — воскликнул дядя Василий, впервые пристально оглядывая нищих, — да как же это так?..

— А не твое дело, вот как! — перебил Верстан, ноздри которого раздувались.

— Знамо, не его дело, — промямлил дядя Мизгирь.

— Отдай малого, говорю! — крикнул Верстан, бешено потряхивая седыми кудрями.

— Да что ты, стращать меня, что ли, выдумал? — крикнул в свою очередь разгорячившийся старик и еще крепче ухватил мальчика, — не пуще силен, не боюсь! Мы еще посмотрим, кто кого осилит, коли на то пошло — да!.. Здесь становой недалеко, мы еще к нему сходим — да!.. Погоди орать-то — да!.. Мы спросим, каким таким манером мальчик-то у вас — да!.. Братцы! — подхватил старик, обращаясь к окружавшим, которые, как бараны, лезли друг на дружку, — братцы, заступитесь! ведь мальчика-то силой увели!.. Он мне знакомый... я весь род-то его знаю, всю семью, и мать, и отца, и деревню знаю... насильно увели, братцы!

В толпе послышался глухой говор и восклицания:

— К становому их!

— Тащи знай! что с ними разговаривать-то!

— Веди их!

— Они, знамо, все такие разбойники, только слепыми прикидываются.

— Тащи, старик... ничего не бось... мы ти дорогу укажем, веди знай!

Как только заговорили в толпе, Верстан бросил мешок наземь и, ругаясь на все бока, стал торопливо в нем рыться. Воззвание старого торгаша не успело произвести окончательного действия, как уже Верстан

вытащил отпускную марьинского управителя, данную Лапше на имя сына.

— Кто здесь грамотный? — произнес нищий, обводя глазами собрание, начинавшее волноваться. — Чего он пристал? кто его уводил насильно? вот отпускная; читай, кто умеет...

— Что, взял? — крикнул рябой нищий, разражаясь смехом.

Десять рук протянулось вперед; одна рука была длиннее других и схватила грамоту. Выступил какой-то толстенький человек в нанковом иссеченном дождем казакине и довольно бегло прочел отпускную.

— Из чего ж ты, старина, хлопочешь? Все как следует, в аккурате, — сказал казакин, поглядывая на торгаша, который пожимал губами и потряхивал шапкой с видом недоумения.

Присутствующие так же быстро перешли на сторону нищего, как за минуту перед тем стояли за старика. «Ну, что ж ты, ступай к становому-то!» — «Эй, плешак, поправь шапку-то, на спину съехала свиней пасти!» — «Чего ж он, вправду, горло-то драл?» — «Охота, стало, напала!» — «Слышь, уж не ты ли уродил его, дядя, на себя глядя... вишь как вступился!» — «Сам не расчухал, да туда же становой!» — сыпалось со всех сторон, и особенно с той, где стоял рябой нищий, начинавший было отступать, но теперь голосивший громче других. Сам дядя Мизгирь раза два ругнул торгаша. Один Фуфаев слова не вымолвил; он поглаживал курчавую свою голову, вымоченную дождем, и даже как будто посмеивался.

— Ну, довольно; теперь отваливай! Не отстанешь, по-свойски разделаюсь, — сказал Верстан, делая шаг вперед.

Петя, дрожа от страха, отчаянно вцепился в тулупчик торгаша. Он стал кричать и отбиваться ногами.

— Да что вы, в самом деле, как собаки напали! — говорил между тем дядя Василий, обращаясь то к одному, то к другому, — вы хошь в разум-то возьмите... особливо ты, брат, точно, право, некрещеный какой! Стало быть, не хочется ему с вами идти! стало быть, хорошо ему с вами! Пойми; он еще невеличек, махонький... что тут! Погодите маленько, дайте хошь слово сказать... Я весь род знаю, и мать и отца... Что вы, как собаки, право. Полно, ласковый, — подхватил старик, стараясь уговорить Петю, — не плачь, потерпи

маленько. Я вот и то в вашу сторону сбирался... я обо всем этом деле порасспрошу, каким таким манером... Ах ты, сердечный... право, жаль тебя до смерти!.. Ах ты, поди, дело-то какое!

— Ладно, тогда назад и возьмешь! — сказал Верстан, хватая за руку Петю.

— Эк его, сердечный! — воскликнула какая-то баба,— как паренек-то убивается... погляди-тка... ишь, как убивается, горький...

— Эй, старик! старик! — неожиданно крикнул рябой нищий, забежавший за спину Василья,— погляди-ка, весь товар твой дождем вымочило.

Старик обернулся; Петя снова припал было к нему, но пальцы Верстана как клещи впились в руку мальчика; он приподнял его и быстро потащил вперед. Старик тотчас же нагнал его.

— Бога ты не боишься,— вымолвил он, загораживая дорогу.— Ну что ты так тиранствуешь-то — а? Грех какой на душу принимаешь... Бога хоть побойся! ведь грех! Вишь, как он убивается, бедненький...

— Отваливай... а не то...— проворчал Верстан, замахиваясь свободною рукою.

Видя, что силой и убеждениями не возьмешь, хуже еще, может статься, навлечешь грозу на мальчика, дядя Василий остановился.

— Я, пожалуй, слышь, пожалуй, дам что-нибудь... Эй, слышь, скажи, где ночуете?.. Вишь дождь; чай, здесь остановитесь?..

Верстан не обернулся даже и стал тащить Петю.

— Эй, слышь, дядя! — крикнул рябой нищий, поворачиваясь к торгашу,— далече идем, село Завалье знаешь? — И он засмеялся во всю глотку.

— Эй, старик! эй, бусы, бусы! бусы почем? — крикнула какая-то баба с воза.

Дядя Василий глянул назад, потом глянул вперед на нищих, которые быстро удалялись, ударил ладонями об полы своего полушубка и пошел к возу, поправляя шапку, которая окончательно выходила из повиновения.

— Ну уж погоди, пострел, окаянный ты этакой! теперь я с тобой разделаюсь! — сказал Верстан, когда последние избы Андреевского остались назади,— я тебе покажу дедушку!

Фуфаев, державший руку на плече Верстана, не пропускал ни одного его слова и движения. Он ощу-

пал голову Пети, перенес руки на плечо мальчика, слегка подтолкнул его вперед и, делая вид, как будто кашляет, скороговоркою шепнул ему: «Не бойся, ничего... наследник... выручу... не бойся». Но заступничество Фуфаева мало утешило мальчика. Отчаянные рыдания продолжали надрывать грудь его, на которую потоками текли слезы и сыпался мелкий встречный дождик; бедный мальчик казался обезумевшим от горя. Сознание пришло к нему не прежде, как когда ноги нищих застучали на мельничной плотине; первою его мыслью было броситься в воду, но Верстан, вероятно опытный в проделках, какие отчаяние внушает иногда маленьким вожакам, предупредил намерение Пети: он снова крепко взял его за ворот.

— Эй, слышь, куда ж ты нас ведешь? — спросил он, обратившись к рябому Балдаю, который шел шагах в десяти.

— А вот погоди, пройдем мельницу, сарай такой будет... Отселева не видать, за косогором! Там прежде кирпичи обжигали... Место знатное! Мы завсегда там ночуем... Ступайте только, — добавил он, сворачивая к мельнице.

Пройдя мельницу и длинные мельничные навесы, Балдай вдруг остановился, схватился за бока и залился смехом. Нищие поспешили нагнать его. Задняя часть навесов составляла глухой угол с клетью и амбаром мельника; в этом глухом углу, глядевшем на открытое пустое поле, нищие увидели старенького лысого старичка, который быстро семенил ногами, откидывался в сторону, бил над головою в ладоши и откалывал самого отчаянного трепака. Он был совершенно один; единственным зрителем всего происходившего, кроме нищих, была шапка старика; он не отрывал от нее глаз, кружился над нею, прищелкивал пальцами и приговаривал задыхавшимся от усталости голосом: «Ах, ах! что ты? что ты — ах!» Узнав причину всеобщего хохота, Фуфаев прыгнул вперед, крикнув: «ходи знай, люблю!», и засеменил в свою очередь ногами, налетая поминутно на старика, который ничего как будто не замечал и продолжал откалывать самые удивительные коленца перед своей шапкой.

— Экой он у вас весельчак, этот слепой! — сказал Балдай, надрываясь со смеху пуще прежнего.

— Весел, да некстати, — сурово промолвил Верстан, которого, по-видимому, мало развлекало все это. —

Ну, ступай, полно тебе беситься-то... дьявол! Вишь, дождь идет! – добавил он, толкая Фуфаева.

Пройдя шагов триста, нищие вошли в овраг и увидели полуразрушенную кровлю заброшенного кирпичного сарая.

– Ну, вот и пришли! – радостно кричал Балдай.

– Ладно... вижу... Ну, брат, теперь я с тобою разделаюсь, – присовокупил Верстан, поглядывая на Петю из-под нахмуренных, шершавых бровей своих.

Фуфаев украдкою дернул Петю за рукав. Нищие вошли в сарай, где тотчас же закрыла их густая, непроницаемая тень.

VIII

ЗНАКОМСТВО

Дождик, который зарядил, как видно, на целые сутки (небо представляло теперь один серый сплошной купол), перенес мало-помалу веселье с улиц Андреевского в избы; гам, носившийся над селом, заметно стихал, и улицы пустели; народ, явившийся поглазеть на праздник и не имевший в Андреевском сродственников, кумовьев и сватов (такого народу было очень мало), поплелся домой. По всем дорогам, уходившим от Андреевского, мелькали сквозь сеть дождя красные платки баб и девчонок, и видно было даже издали, как скользили они и увязали в грязи. Кое-где раздавался скрип удалявшегося воза. С той стороны, где был мост, вот уж скоро полчаса, как какой-то голос отчаянно звал на помощь: то был торговец падалью; воз его лежал вверх колесами подле воды; весь товар уплыл; на поверхности реки оставались всего два несчастные гнилые яблока, от которых как будто отказались остальные уплывшие товарищи. Многие в Андреевском слышали голос горгаша, но никто не тронулся. «Время праздничное, – рассуждал каждый, – все шибко подгуляли; может, он так кричит; может, шальной какой-нибудь, спьяна лег, да и кричит!»

Несмотря на усиливающийся дождик, народ не покидал одного только места – именно, промежутка между двумя избами, там, где плясал медведь; оттуда все еще слышались бой барабана, бряцанье цепи и су-

дорожное визжанье скрипки. Наконец промокший насквозь барабан отказался совершенно от употребления: палочки били как по войлоку, струны скрипки растянулись, вместе с этим растянулось и самое лицо козылятника; оно оживало, надо полагать, не иначе как когда припадало левой щекой к скрипке; едва скрипка исчезла в мешке, желтое лицо козылятника приняло выражение ноющей тоски и глубокой меланхолии; дождь, ливший с его меховой шапки и капавший с длинного носа, окончательно придал козылятнику вид человека, удрученного невыносимою внутреннею скорбию.

— Шабаш! кончай! полно! — произнес товарищ его, дюжий, плечистый и очень веселого вида нижегородец.

Он тряхнул в последний раз цепью, сказав: «Ну, Матрена Ивановна, поворачивайся!», кинул за спину барабан и оглянул присутствующих, которые все поспешили отброситься назад; многие, стоявшие в задних рядах, обратились даже в бегство, как будто тотчас же спустят на них медведя или ухватят за ворот и насильно потребуют денег за медвежью пляску. Из всей толпы одна баба подала вожаку два яйца. Нижегородец начал расспрашивать ее, не найдется ли избы, куда бы пустили их переждать дождь, а может, и переночевать, коли дождь не уймется до утра.

— Вряд, касатик, — возразила баба, — вишь, праздник, везде гости, не пустят. Вы бы на мельницу сходили, попытали; там места много... сараи-то большущие, не то что крестьянские...

Сказано — сделано; но прежде нижегородец предложил зайти в кабак и взять вина. На сбор нынешнего дня, вообще говоря, грех было жаловаться: было что приберечь, было из чего повеселить душу. На дороге к кабаку, который находился при выходе из Андреевского со стороны мельницы, вожак и меланхолический его товарищ услышали за собою хляск копыт и яростные, бешеные крики:

— Посторонись! прочь с дороги, канальи! прочь! дави их! дави!..

Медвежатники увидели маленького, но очень красненького господина, сидевшего на козлах тарантаса рядом с седым сгорбленным кучером; тарантас, по словам нижегородца, который отошел в сторону с медведем, едва ли мог переехать десять верст: лошади были,

очевидно, крестьянские и давно не кормленные. Из тарантаса выглядывали розовые шляпки двух дам и голубая шляпка Анны Васильевны, той самой дамы в розовом тарлатановом платье, у которой из французского имени Nicolas выходило всегда русское: *Никóля*.

— Дави их, негодяев! — продолжал кричать между тем красненький господин, хотя давить уже было некого, потому что медвежатники давно стояли в стороне, но красненький господин так разгорячился, что ничего, казалось, не видел и не соображал: он топал ногами и размахивал руками, как будто тарантас скатывался в бездонную пропасть и предстояла неминуемая гибель сидевшим в нем дамам.

— Ах, Нил Герасимыч! нам, право, совестно... вас дождь вымочит, притом вы так беспокоитесь... — проговорила Анна Васильевна.

— Помилуйте, сударыня, это моя обязанность... на то мы мужчины! — возразил красненький господин, выламывая спину и с живостью обращаясь к даме.

— Ах, как глупа эта попадья — не правда ли?.. Боже, как глупа... Хи-хи-хи... Слышали, mesdames, как говорила она: «удостойте подойти к пирогу!..», хи-хи-хи...

— Хи-хи-хи... — засмеялись в один голос розовые шляпки.

Нил Герасимович находился в нерешимости, смеяться ли ему или привстать на козлы и снова крикнуть на медвежатников; но последние находились уже в десяти шагах за тарантасом. Нил Герасимович засмеялся.

— Вишь про пироги какие-то разговаривали! — вымолвил нижегородец, кивая головою на отъезжающих, — и я бы ништо, поел бы теперь пирожка-то...

Впрочем, не надо думать, чтоб Анна Васильевна и две розовые шляпки пренебрегли пирогом попадьи, над которой так язвительно посмеивались: от пирога остался только кусочек нижней корки, да и то потому, что слишком уж крепко прилип к блюду; если б пошарить в карманах Nicolas, который крепко спал на коленях матери, можно бы даже найти там десятка три мятных пряничков, которыми сверх пирога и чая угощала гостей своих радушная попадья. Но мы редко заглядываем в карманы помещиков и еще реже в ридикюли помещиц, и потому оставим этот предмет.

Нижегородец остался в кабаке ровно настолько, насколько потребовалось, чтоб продраться сквозь пьяную, кричащую толпу; он хотел сначала купить штоф, но вид окружающего веселья разохотил его; он запрокинул назад шапку, крикнул: «э! была не была!», купил еще штоф и, присоединившись к меланхолическому козылятнику, продолжал путь. Еще на плотине услышали они песни, крик и пронзительный визг бабы, раздававшиеся в избе мельницы; у ворот сидел смуглый детина с белыми, как кипень, зубами; он сохранял невозмутимое равнодушие ко всему, что происходило внутри мельницы, и, слегка посвистывая, наигрывал на гармонии. Как только узнал он, зачем пришли медвежатники, он наотрез объявил, что на это надеяться нечего.

— Хозяин теперь загулял,— сказал он,— как загуляет так-то, лучше не подходи... Он вот жену бьет теперича, с самого утра все бьет ее...

— Да как же, братец ты мой, куда ж нам деваться-то? — возразил нижегородец, придерживая локтем штоф (другой штоф выглядывал из-за пазухи),— вишь время какое... дождь! Совсем размокропогодилось...

Козылятник безотрадным взглядом обвел окрестность, дальние планы которой исчезали за дождем, как за серым густым крепом.

— Я вот здешний батрак, а обедать и то нейду. Добре́ уж оченно расходился нонче хозяин-то, добре́ лют! — спокойно сказал батрак, продолжая наигрывать на гармонии.— Да что вам здесь останавливаться? — подхватил он.— Ступайте вот по этой дороге, придете, такой сарай будет, кирпичи сперва обжигали... отсель не видать, за косогором,— там и остановитесь... завсегда стоят там медвежатники, коли у нас бывают. Это у тебя медведь, дядя, или медведица? — заключил батрак.

— Медведица... не подходи, не любит! — проговорил вожак.— Да, может, это далеко, где ты говоришь?

— Какой далеко! Вот тут сейчас за косогором.

Цепь зазвенела, медведица поднялась на ноги и пошла за своими хозяевами. Минут десять спустя они увидели в лощинке крышу сарая.

— Э! да там уж, никак, есть кто-то! — сказал нижегородец.— Слышь: голоса!

— А бог с ними! мы их не трогаем... Места много, они обижаться нами не станут,— с невыразимою

грустью произнес козылятник, тяжело вздохнул и снова повесил голову.

Постройка, к которой они приблизились, была попросту длинный-предлинный полусгнивший навес, прислоненный верхним краем к обрыву, нижним краем упиравшийся в столбы, кое-где обнесенные ветхим плетнем; как ни ветхи были кровля и плетни, они давали, однако ж, больше темноты, чем света; нижегородцу и его товарищу нужно было с минуту хорошенько поосмотреться, чтобы разглядеть лица находившихся там людей.

На самом видном месте сидел Верстан; он был уж разут и только принялся за еду: несколько корок лежало на его толстых коленях; подле него с одной стороны находился дядя Мизгирь, с другой — рябой Балдай; первый, по причинам, очень хорошо известным Верстану, никогда не разувался: дядя Мизгирь лежал врастяжку и дремал; Балдай сидел, поджав под себя длинные ноги; он не отрывал от Фуфаева соколиных, быстрых глаз; стоило Фуфаеву повернуть голову, крякнуть, сделать самое простое движение или сказать самое незначащее слово, чтоб возбудить в длинном рябом Балдае припадок истерического смеха. Кроме Фуфаева, расположившегося немного поодаль, прямо против Пети, никто не обращал внимания на мальчика. Петя сидел, прислонившись спиною к глиняному обрыву; лицо его, закрытое обеими ладонями, лежало на коленях, по которым рассыпались его волосы; он тихо плакал; подавляемые рыдания переливались в груди его и горле; видно было по движениям головы и худенького туловища, каких неимоверных усилий стоило мальчику превозмочь свое горе. Нижегородец остался как будто очень доволен и компанией и помещением. Он дернул цепью, поднял медведицу на задние ноги и провозгласил торжественно:

— А ну-ка, Матрена Ивановна, поклонись всей честной компании, да в ноги, хорошенько!.. Спроси: не потесним ли вас, дескать?.. а потесним, на том, скажи, и делу конец!.. деваться больше некуда! — заключил вожак и без дальнейшей церемонии отправился в дальний угол привязывать Матрену Ивановну; меланхолический скрипач пошел туда же с своей козой и скрипкой.

Балдай осклабил зубы и с какою-то хищною жадностью впился в Фуфаева, как бы выжидая от него ка-

кой-нибудь выходки. Балдай не ошибся: хотелось ли слепому рассмешить Петю, которого до сих пор тщетно утешал он словами, или попросту пришла ему охота скоморошничать, он стал на четвереньки, тяжело поднялся на ноги, дико заревел и начал представлять медведя, что было ему нетрудно: сам он, всей своей фигурой, похож был на шершавого медвежонка. Балдай закатился нескончаемым смехом. Нижегородец, возвращающийся из дальнего угла со своими штофами, остановился перед Фуфаевым и также засмеялся.

— Ништо, знатный медведь! Маленечко вот только поломать бы надо! — сказал он. — А что, хошь, я тебя возьму? Годик округ колеса у меня походишь, там ноздри тебе прожжем, цепь пропустим да кажинный день разов по пяти палкой по спине — всю науку произойдешь! Жалованье платить стану... А нуткась, ну: «А как малые ребятишки горох воровали?», ну...

Фуфаев грохнулся наземь и заревел во сколько хватило силы. Нижегородец с удивлением глянул на рябого Балдая, который чуть не лопался со смеху. Он сел недалеко от Фуфаева. К нему присоединился меланхолический товарищ с котомкой, где видны были яйца и ломти хлеба.

— Глянь-кась, Зинзивей: в лес не ходили, а зверя нашли! — сказал нижегородец, толкая локтем козылятника. — Да зверь-то какой, совсем, почитай, обученный... К тому и ручной совсем; хлопот меньше: зубов пилить не надыть...

— Да и глаз-то выжигать не стать! вишь: готово, дело сделано! — воскликнул Фуфаев, подымаясь на ноги, комически потряхивая головою и вращая белыми своими зрачками.

— Зинзивей, смотри: слепой! право, слепой!.. Вот поди ж ты, слеп человек, а как потешается!

Зинзивей испустил вздох, как бы соболезнуя о несчастном, после чего разбил яйцо на угловатой голове своей и смиренно принялся лущить скорлупу.

— Ай да слепой! Ну, брат, впервинку такого вижу! — сказал вожак. — Да ты, видно, шутник! Поди ты, какие штуки выделывает!..

— А уж такой-то любопытный! такой-то... Я сам впервые вижу такого! — воскликнул, смеясь, Балдай.

Он заговаривал теперь с вожаком точно так же, как заговаривал в Андреевском во время обедни

с Верстаном. Одно из свойств егозливой, подленькой природы длинного Балдая было подольщаться ко всякому; в поспешности его сближаться проглядывало как будто желание разведать чужие дела, обстоятельства, нравы и мысли; быстрые соколиные глаза рябого нищего подтверждали, что им в этих случаях управляло не одно пустое любопытство.

— О чем это у вас мальчик-то плачет? — спросил вдруг нижегородец, оборачиваясь к Пете.

— А в два смычка на спине поиграли, об том, видно! — смеясь, сказал Балдай.

— Да за что ж так?

— Стало быть, надо было,— буркнул Верстан, пережевывая свои корки.

— Вишь ты: признал этта он нонче на празднике какого-то, вишь, своего знакомца из своей деревни! — словоохотливо заговорил Балдай.

— Ну так что ж, что признал?..

— А вот старик сказывал (Балдай указал на Верстана), такой, вишь, точно случай вышел с одним нищим: пришел он летось также вот на праздник, с мальчиком приходил. Возьми мальчик-то да и признай мать, либо тетку, что ли. Стал так же плакаться, говорит: «Житье, говорит, добрé нехорошо!» Она возьми да к становому... так и так, говорит... Что бы ты думал? ведь мальчика-то у нищего отняли! А он, слышь, той же матери деньги отдал за парнишку, хлопотал над ним, возрастил его — взяли да и отняли; так ни при чем и остался!..

— Через то, значит, глупый человек был, через то больше и отняли! — вмешался Верстан.— Был вот, сказывал я им, был у меня другой знакомый, также из нашей братии: так у того, бывало, ребяты-то небось никого не признавали, без опаски везде ходил... Какой ни подвернется ему парнишка... (тут Верстан обратился к Пете и умышленно возвысил голос) какой ни подвернется, он каждому возьмет да глаза-то и выколет... С ними, видно, и все так-то надо делать: дело тогда вернее...

С тех пор как нищие находились в кирпичном сарае, Верстан раза уж три намекнул на собрата, который держался обычая ослеплять вожаков своих; каждый раз при этом Верстан пристально поглядывал на Петю и возвышал голос. Несмотря на заступничество Фуфаева, получившего даже несколько ударов,

предназначавшихся Пете, Верстан больно, очень больно побил мальчика, но Петя согласился бы претерпеть втрое, вчетверо больше побоев, лишь бы Верстан не грозил лишить его зрения. При первом намеке все замерло в бедном мальчике; он не сомневался, что все теперь кончено, что пришел, видно, смертный час; последний намек старого нищего окончательно убедил его в намерении Верстана. Как ни крепился он, но на этот раз не мог одолеть отчаянья – бросился лицом наземь и громко зарыдал.

– Эх ты, плакуша! – с глупым смехом крикнул Балдай.

– А ну-кась, дай-ка я тебе буркалы-то вырву! небось смеяться станешь – а? – дерзко возразил Фуфаев. – Полно, *наследник*, не плачь! – подхватил Фуфаев, не сомневавшийся, что история с нищим была рассказана только для острастки мальчику (он не мог прямо разуверить Петю, боясь ссоры с Верстаном), – не плачь! плакать не годится: девки будут смеяться!.. Парню след быть пригожему, веселливому, приветливому, покорливому, гулливому – вот как! «Я, – скажи, – буду и без глаз жив; было бы брюхо!» На меня смотри: рази я сокрушаюсь? Эх-ма! – подбавил Фуфаев, выкидывая коленце, причем все засмеялись, кроме Верстана и меланхолического козылятника, – ты норови всегда по-нашему: будь без хвоста, да не кажись кургуз – вот это, значит, человек есть! А то убивается, как горькая кукушечка... а о чем? Полно, *наследник*, девки смеяться станут; полно, говорю...

Нижегородец, которому, заметно, столько же не нравился Балдай, сколько полюбился Фуфаев, подсел к нему и расположился закусывать, предложив слепому два яйца и дав ему еще одно для мальчика.

– Вот мы, братцы, здесь сидим, а дождичек-то все покапывает, – сказал он, ломая хлеб и поглядывая на стороны, – вишь кругом обложило, как есть! Не скоро, знать, перестанет. Ночевать нечего, хорошо; какова только завтра будет дорога! Вишь как наволакивает; время не пуще много, а совсем уж сумерки.

– О-хо-хо! – вздохнул Зинзивей.

Он съел уже последнее яйцо и с выражением тоскливого ожиданья глядел на штофы товарища.

– А что ты думаешь, братец, взаправду, может, сумерки! – сказал Фуфаев, который силою запихнул

два яйца Пете за пазуху и возвратился на прежнее место,— на мои глаза все ночь; сужу, примерно, по времени; время такое подходит, к жнитву, примерно; скоро первый Спас — дни убывать начали. Э! э, э...— задребезжал вдруг тоненьким козлячим голоском Фуфаев,— да у тебя, земляк, никак, винцо?.. Фу, фу, эх, знатно, духовито как попахивает! Нет, земляк, так в честной компании не водится... Режь да ешь, ломай, да и мне давай! — слыхал ты это?

— Изволь, земляк,— посмеиваясь, сказал нижегородец,— мы с нашим удовольствием; дай только напредки товарищу отпить: надо знать прежде, который которому принадлежит.

— Ладно, ладно... То-то, брат землячок, я бы уж давно поднес, да винца-то купить не на что; у меня в кармане-то Иван-тощий... право слово, Иван-тощий!..

— Рассорил, стало быть?..

— Все деньги, которые были, все решил — фю! — свистнул Фуфаев и махнул рукою.

Балдай снова закатился. Нижегородец подал штоф Зинзивею, который начал так пить, как будто поднесли ему самого горького лекарства; тем не менее штоф оказался наполовину пустым, когда возвратился к товарищу; после этого Зинзивей подмостил себе под голову гулупчик, испустил три глубокие вздоха и завалился спать.

— Ну уж, брат, и меня угости,— произнес заигрывающим голосом Балдай, когда штоф перешел из рук вожака к Фуфаеву.

— А за что тебя угощать? что зубы-то скалишь?..

— Нет, так, для компании,— ухмыляясь, с какою-то неловкостью сказал Балдай.

— Для компании мы будем пить вот с кем! — вымолвил вожак, похлопывая по плечу Фуфаева.

— Ну, бог с тобой... на, пей! — отдуваясь, произнес слепой, подавая Балдаю штоф, до того осушенный внутри, что, казалось, вино в нем было огнем выжжено.

Все засмеялись, не выключая даже дяди Мизгиря. Вожак отказал Балдаю потому собственно, что ему хотелось *срезать* эту *шитую рожу*, как назвал он его потом. Чтоб доказать, что он вина не жалеет, он подал новый, полный штоф Балдаю, но промолвил:

— Смотри, брат, знай только честь!

Он передал штоф, но уж без замечания, Верстану, дяде Мизгирю и, наконец, сам стал потягивать. Дождь между тем продолжал идти своим чередом; сгущавшиеся тучи заметно ускорили сумерки; углы сарая давно наполнились мраком; теперь исчез даже Петя; вожак мог только видеть ноги Верстана и Мизгиря, которые сидели против; туловища их и головы опутывались сумраком; он едва уже начинал различать черты Балдая и лицо самого Фуфаева, присевшего против него на корточках. Но для Фуфаева была всегдашняя ночь или вечный день, как говорил он: солнце светило тогда лишь, когда хмель попадал в голову,— он веселел с каждым новым глотком. Получив штоф уже в третий или четвертый раз, он нежно прижал его к груди и стал укачивать, как ребенка, приговаривая: «У кота-кота колыбель хороша! баю-баюшки-баю, красоулюшку люблю!», потом он сказал, чтобы глядели, как он перекинется оборотнем, превратится из матери в ребенка, и принялся сосать вино.

— Вот вы, ребятушки, потешаетесь,— сказал он, отымая штоф от рта и переводя дух,— ладно; а знаете ли, отколь это винцо-то взялось, что попиваем теперича — ась? Небось не знаете...

— Нет, не знаем; расскажи...

— Ой ли? Ладно; дай сперва-наперва горло промочить.— Он хлебнул.— Это присказка, а сказка впереди... Прозывается она, примерно, такой уж обычай, прозывается: *горькуха*...

— Слыхали уж! — произнес Верстан.

— Слыхали! — повторил дядя Мизгирь.

— Ну да мало ли что! я не слыхал! — возразил вожак.— Рассказывай, брат, рассказывай...— примолвил он, подпираясь локтем и заранее расправляя бороду, чтоб ничто не мешало смеяться.

— И я послушаю... о-о! — зевнул Балдай, который начал с некоторых пор потягиваться и терять свою прыткость.

Верстан пробормотал что-то под нос и улегся; Мизгирь последовал его примеру; Балдай прислонился спиною к плетню; нижегородец припал плечом к столбу. Фуфаев хлебнул и начал.

IX

СКАЗКА. ОСВОБОЖДЕНИЕ

— Жил, братцы вы мои (заговорил Фуфаев), жил-поживал на белом свете сермяжник один, мужик по-нашему; звали его *Тюря* — такое прозвище было; имел он капитал не то чтоб малый, капитал был дюжий: ребятишек дюжину да бабу-жену лихую! Мелочи вот только никогда у него не важивалось: значит, то есть, не было хлебушка, капустки, репки и всякой там другой потребы, что этот вот кошель набивают (присовокупил Фуфаев, хлопая себя по животу), ничего этого не было. Да ну их, куда бы ни шло! нипочем было ему ходить с пустым брюхом: привык сызмаленьку! Главная причина, женой пуще обижался; он слово — она десять; он два слова — она его за волосы, за виски да оземь!.. Так колотила, братцы,— ходит, бывало, Тюря весь синий, совсем синий человек ходит... в один синяк всего избивала, проклятая!.. Ну, хорошо... Вот приходит раз так-то время весеннее, подул ветер утренний, запели пташки-малиновки... Взял Тюря последнюю корку хлеба, которая была, взял, сунул за пазуху и пошел в поле; время такое к самой пахоте приспело. Ладно. Пашет он час, пашет другой, поесть захотелось. «Нет,— говорит, так, примерно, сам с собой разговор ведет,— нет, обожду, говорит; поем, как пуще проголодаюсь!» Взял, положил корку на межу и пошел опять к сохе ко своей; пошел к сохе, а сам и не видит, что на меже-то на той творится, где корку-то оставил; отколь ни возьмись прыснул черт, облапил корку, взял, да под куст и схоронился... Любо ему, анафеме, поглядеть, как человек голодать станет!.. Ладно. Вот приходит Тюря к меже, хвать-похвать, искать-поискать — нет корки! индо страх взял, за кожей подирает, в глазах митусит, шапчонка какая была на ём, и та набекрень... Ну, стал пооперяться. «Чтой-то за диво,— сам с собою опять разговор повел,— никого, кажись, не было, а корку стибрили!.. А ну, говорит, на здоровье ему!» Сотворил молитву, перекрестился и поехал домой. А черт тем временем в ад шаркнул рассказывать про все дела свои; рассказал, где рыскал, примерно, что видел; не забыл упомянуть сатане об мужиковой корке, а сам, анафема, так вот и заливается, грохочет — оченно, зна-

чит, забавляется. Как крикнет набольший сатана, даже стеклы в аду задрожали: «Чего ты, кричит, дьявольское отродье, потешаешься? молчать, говорит; рассказывай толком: что, говорит, мужик сказал, как ты хлеб-то у него отнял?» Так и так, говорит, сказал: «А ну ему, говорит, на здоровье!» – «Ах вы, пострелы! – закричал опять набольший черт (осерчал добре),– вот все вы так, кричит, натворите дел без толку безо всякого, а я за вас потом отвечать должон. Лети, кричит, лети на землю скорей к мужику тому и сослужи ему чем ни на есть!» Отправился малый черт на землю, согнулся в три погибели, прикинулся смирячком таким, пришел к Тюре и просится в батраки. «Где мне нанимать! – говорит Тюря,– вишь, сам голодаю!» – «Ничего,– молвил бес,– будем голодать вместе; платы, говорит, не полагается – не надо; служил я за плату, говорит, а сам, вишь, в заплатах; по-моему, все одно: есть копейка, нет ее – все единственно»,– говорит. Стал жить черт у Тюри; пашет он ниву, дивуется мужик: навозу на лопату взять нечего, а он унавозил все поле; хлеб растет, словно лес какой; колос пошел, почитай, с самого корня! Ну, стал это маненько словно оправляться Тюря; хлеба стало вдосталь, и жена словно присмирела... знамо, с сытого-то брюха! Вот черт и говорит раз Тюре: «Слышь, говорит, хлеба у нас с залишком; чем его так держать, давай, говорит, засеем болото». Тюря в надежде был, что такой батрак нанялся, не стал перечить. Выехали на болото; пашет черт болото, а оно так и сохнет под сохою; взборонил, засеял, а жара не унимается – хлеб растет словно на степной пашне. Сначатия-то больно смеялись соседи: «и то, мол, и се»; а как видят, жара не унимается, хлеб на болоте вырос лесом, стали себя попрекать, зачем, дескать, не придумали прежде... на ту же статью норовили... Убрал Тюря хлеб, разбогател пуще прежнего. Жена не токма бить, стала к нему ластиться; а он ей ноне коты, завтра платок врозь концы, послезавтра калач: пуще задобривает, чтоб смирней была. Приходит опять весна, мужики кинулись на болото, а черт тащит Тюрю на горы. «Не замай, оставь!» – говорит. Тюря опять перечить не стал. Погодили недельку-другую, подули ветры сиверные, полили дожди ливмя: на полях лужи, на болотах потоп; батрак, сиречь черт, зачал пахать пески да горы; вспахал и засеял. Дожди не перестают, ветры не

унимаются; на полях всходы плохи, в болотах пропало зерно — у Тюри хлеб родился на диковинку, девать некуда! Вот и думает черт, сам про себя так-то мерекает: «За корку, что стибрил тогда у Тюри, отслужил я ему на порядках; надо, говорит, ему всучить бы волчка теперича! Служба службой, бес бесом»,— говорит. Вот раз сидят оба на завалинке; черт и говорит: «Придумал я, слышь, затею: хлеба у тебя в достатке; сварим-ка, говорит, пивца!» — «Ладно,— говорит Тюря (простой такой был),— служил ты верно, перечить не хочу; делай, как поволится!» Принялся черт за новую работу; затирал брагу, подхмеливал, гнал, перегонял, умудрялся всякими бесовскими манерами; к утру приносит Тюре: «На, говорит, попробуй!» — а у самого рожа-то так на сторону и лезет, насмехается над мужиком; хлебнул Тюря: «У-ва! горько!..»

Тут Фуфаев поднес штоф к собственным губам, щелкнул языком, наклонил голову и стал прислушиваться к звонкому храпенью Верстана и дяди Мизгиря; ему показалось, как будто храпел и Балдай.

— Ребята! да вы никак все заснули? — вымолвил он.

— Они все спят, а я ничего... Рассказывай знай, рассказывай! — проговорил нижегородец, распяливая глаза, которые начали часто уж что-то прищуриваться; впрочем, в сарае было так темно, что все равно можно было сидеть с закрытыми глазами.

— Никак, и мальчик-то заснул, наследник-то мой?.. Эй, Балдай, спишь? — крикнул Фуфаев, поворачиваясь в ту сторону.

— А?.. Нет... я... ничего... добре́ уж оченно любопытно... добре... — сонливо провертел языком рябой Балдай.

— Рассказывай знай, рассказывай! — повторил нижегородец.

— Ну вот, братец ты мой (начал снова Фуфаев, приседая на корточки), как попробовал Тюря этой горькухи-то, что черт сварил, больно она ему не понравилась, даже плевать начал. «Ничего,— говорит черт,— и пиво горько, и соль солена; пей, ешь кисло да солоно, говорит, на том свете не сгниешь! Чего ты опасаешься? Это так только сперва не по скусу; тот же ведь хлеб, только пожиже, говорит; качай, говорит, почин дороже денег!» Стал его так-то присударивать; знамо, черт на свое тянет, подольщается. Взял Тюря

посудинку, опять хлебнул: «Ништо, говорит, горька-то горька, а ништо!» – «А хвати-ка еще!» – пристал опять черт. Хватили вместе. «Словно как и не горька», – говорит Тюря. «То-то не горька! Оно так тебе спервака показалось; знатное дело, братец ты мой, – говорит черт, – а ну-кась еще!» Опять тяпнули по чарке. «Нет, не горька, – говорит Тюря, – право слово, не горька!» – «И по-моему не горька, – молвил черт: – так индо горло смазывает, по животику расходится да по косточкам!» Тут уж Тюря сам тяпнул, не дожидаючи. «Слышь, хозяин, – заговорил опять черт, – что тебе задается? ничего не задается – ась?» – «Сдается, – говорит Тюря, – еще бы хватить маненько!» – «И то дело; качай во здравие!» Качай да качай, только и разговору было. «Стой, – кричит опять черт, – слышь, хозяин, что тебе задается? ничего не задается?» – «Сдается, – говорит Тюря, – словно изба кругом пошла... стой, держи! закружит, завертит, проклятая... да еще уйдет, пожалуй... пру... пру... без избы останемся на зиму!..» – «Не замай, не уйдет, – говорит черт, – она отроду никуда не хаживала; побоится идти по незнакомой дороге!» Лезло им обоим таким манером то то, то другое; повалились оба и заснули. Проснулись; стал Тюря на голову жалиться: не подымешь никак; черт опять горькухи принес. «Нет, не по могуте, – говорит Тюря, а сам даже стонет, – не могу», – говорит. «Да ты, братец, разом только; завсегда так водится: клин клином выгонять надыть. Я уж выпил – отлегло!» Послушал мужик, выпил бычком – и то словно отлегло... «А ну-ка, – говорит, – принеси-ка еще!» Еще выпили – и пошла у них лей-перелей гулянка! Варят горькуху, пьют, словно в бочку наливают! Жена вступилась было – Тюря ее в ухо; ребятенки пристали – он кого оземь, кого об угол, а сам кричит, горло дерет: «Вари, – кричит, – вари, батрак, горькуху на весь мир крещеный, на всю деревню; всех, – кричит, – угощать хочу!» Позвали соседей. Пришли все. Сначатия никто не пьет, там один попробовал, там другой, под конец все втравились, запили знатно – и пошел разгул, такой разгул, что не видано отроду. Андрей песен не певал – запел во всю глотку, схватившись за оба уха; Влас подтыкал полы за пояс, засучил рукава: «Выходи, – кричит, – выходи – только и жил!» Никита голосит, плачется внуку: «Нет-де у меня ни отца, ни матери!» Селифан бьет кулаком

в печку: «Дорогу,— говорит,— давай!» Михешка ходит, у всех прощенья просит... То-го была потеха! Плакали, плясали, пели, бились, а под конец все с ног сгорели, повалились и заснули; кто где стоял, тут и повалился! Черт был при этом при всем. Вот и ждет он другого утра. Стала у всех голова болеть; стали все жаловаться: «Опоил их Тюря бесовским зельем!» — а черт и говорит: «Ничего,— говорит,— ребята, не печалуйся! клин клином выгоняй!» Всем поднес горькухи, и опять все загуляли... Видит это черт, возьми да каждому на ухо и расскажи, поведай всем, как ее делают, горькуху-то, и пошла она после того, окаянная, гулять по свегу по белому...

Фуфаев остановился.

— Эй, земляк! — крикнул он.

Ответа не было. В дальнем углу слышалось только побрякиванье цепи, а кругом раздавалось храпенье, переливавшееся на пять разных ладов.

— Эхва! а я-то тут стараюсь! языком бью, плетни выплетаю! — вымолвил слепой, потряхивая головою. Он допил остающееся вино и ощупью подобрался к Пете, подле которого прежде еще выбрал себе место.

— Ну, и этот захрапел! — проворчал Фуфаев, нагибаясь к мальчику, который в самом деле начал храпеть,— ну да этот пущай его спит; ноне день такой выпал сердяге, либо спать, либо плакать! — заключил слепой, укладываясь на голую землю. Он крякнул и повернулся на другой бок, крякнул опять и снова перевалился, как кадушка, на другую сторону; после этого он крякнул еще раз, но уж не перевертывался, а захрапел еще звончее товарищей.

Но Петя не спал — не до сна ему было: он только прикидывался спящим. С той минуты, как забыли о нем нищие, до настоящей, в голове его созрела мысль, которую могли только породить один безграничный страх, одно отчаянье. Он решился бежать, бежать в эту же ночь. Но куда бежать? к кому? что с ним будет, когда убежит? Ни о чем этом он не думал. У него была одна мысль: уйти от Верстана, который, верно, не далее, как завтра, улучив минуту, приведет в исполнение свое страшное намерение. Минут десять после того, как захрапел Фуфаев, Петя продолжал, однако ж, лежать пластом и не трогался с места — так велик был его страх; сердце так в нем и за-

мирало. Ночь была сырая, но пот прохватывал его насквозь, выступал на лбу и на лице, закрытом ладонями, прижатыми к земле. Наконец, задерживая дыхание, тихо-тихо поднял он голову. Нищие и медвежатники, исчезавшие в непроницаемом мраке, храпели; кроме этих звуков было так тихо, что Петя мог пересчитать число людей по храпенью и дыханью. Он снова стал прислушиваться. Время от времени в дальнем углу брякнет цепь – и только; извне мешался мерный, однообразный шум дождя и хлесканье капель, которые, скатываясь с кровли, падали в лужи.

Петя бережно поднялся на руки и попробовал перевернуться на другой бок. Все храпело по-прежнему; это ободрило его; он очень хорошо помнил, где кто расположился: ему легко было пройти к выходу сарая и не задеть никого. Но тут овладел им страх пуще прежнего; колени его стучали друг о дружку; он должен был прижать грудь руками и открыть рот, чтоб перевести дыхание, которое спиралось в пересыхавшем горле. «Сейчас хватится Верстан, сейчас хватится и крикнет!» – думал он. Петя вспомнил вдруг, что прежде, в Марьинском, живучи дома, когда случалось ему вскидываться со сна, мать подбегала к нему и начинала крестить его... Он торопливо несколько раз сряду перекрестился и пустился бежать со всех ног. Он бежал почти бессознательно; в первые минуты им управлял один инстинкт, одно чувство самосохранения, внушавшие ему удаляться от Андреевского. Сам не замечая этого, выбрался он из лощины и очутился посреди пустынных полей, где шумел только дождь. Но страх, овладевавший им, по-видимому, все сильнее и сильнее, по мере того как он удалялся, привязывал крылья к ногам его; он ни на минуту не останавливался. Не чувствуя тяжести платья, насквозь пропитанного дождем, не чувствуя усталости, он бежал вперед и вперед, сам не зная, как перескакивал межи, дождевые промоины, как перелезал овраги, перемежавшие иногда путь. Усталость скоро, однако ж, взяла свое; он остановился и поспешил припасть к земле, хотя в трех шагах можно было пройти мимо и не заметить его. Сердце его билось так сильно, что, казалось, слышалось ему, как стучало оно; но кроме этого звука и шума дождя он ничего не слышал. Он подумал, что рано еще останавливаться: слишком близки нищие; превозмог усталость и снова пошел вперед.

Так шел он всю ночь, изредка останавливаясь, чтоб перевести дух.

Утро застало его на возвышенном месте, посреди неоглядных полей, местами покрытых колосившеюся рожью, местами голых или усеянных кустарником. Дождь перестал на минуту; кругом открылось неоглядное пространство; кой-где выглядывали деревушки, белела церковь или темно-синим пятном раскидывался лес. Петя не имел никакого определенного плана, кроме того разве, чтоб в случае, если увидит бегущих за ним нищих, броситься тотчас же в реку. Мысли бедного мальчика были так встревожены, что он не задавал себе даже вопроса, что делать ему, если в таком случае не найдется речки под рукою. Речка должна быть – вот и все тут! Он побоялся, однако ж, войти в одну из деревень, попадавшихся кой-где на дороге; по соображениям его, Верстан был еще близко: легко можно было натолкнуться на него в жилом месте. Мысль, что в настоящую минуту Верстан уже пробудился, может, даже ищет его, заставила его забыть усталость; он продолжал подвигаться вперед, снял даже лапти для облегчения ходьбы и сам подивился, как не придумал этого прежде: они смерть его измучили. Пройдя шагов двадцать, Петя вернулся назад и поспешил закопать лапти в землю, чтоб не оставить следа за собою.

К полудню опять зарядил дождь; земля так замесилась после суточного ненастья, что трудно стало двигаться. После каждого шага приходилось вытаскивать ногу из вязкой, глинистой почвы. Петя устал страшно; ноги его подламывались сами собою, грудь болела, и в плечах ныло невыносимо; сверх всего этого, голод начинал томить его. Он вспомнил о двух яйцах, засунутых ему за пазуху Фуфаевым, и вместо них вытащил какие-то две безобразные лепешки, перемешанные со скорлупою. Как ни скудно было такое подкрепление, однако ж Петя мысленно поблагодарил Фуфаева и назвал его самым добрым из всех нищих, каких только встречал во время своей бродячей жизни. Неподалеку от того места, где находился теперь Петя, начиналось поле ржи; он решился забраться туда поглубже и отдохнуть. Но едва успел он растянуться на сырой земле, как почувствовал сильный позыв ко сну. Он старался превозмочь себя, но не мог; пока призывал он на помощь все соображения, что безопаснее

было бы дождаться ночи, сон овладел им совершенно.

Когда он проснулся, дождь снова перестал, но сумерки заметно начали покрывать дальнюю местность. Из-за поля выглядывал угол леса. Петя решился пройти лес и вступить в первую деревню, которая попадется: может, найдется там какая-нибудь старушка, которая сжалится над ним, даст ему хлебца и позволит отдохнуть. Оживленный такой надеждой, Петя почти бодро вошел в лес. Он шел уж довольно долго, а лес все не кончался; все выше и выше подымались деревья, гуще и гуще разрастались кусты, глушившие мшистые стволы дерев; чаща листьев усиливала мрак и без того уж поздних сумерек; вскоре в лесу совершенно стемнело. Петя думал уже вернуться назад, но позади так же было все темно и глухо; кроме этого, он прошел много по лесу; легко теперь было заблудиться. Страх снова напал на него. В Марьинском сколько раз приводилось ему ездить в ночную и проводить ночь в лесу; но он ездил тогда не один: их так много тогда ребятишек собиралось; теперь он был один-одинешенек, в лесу, да еще в лесу незнакомом! Ему пришли в голову волки, но он стал тотчас же ободрять себя: он взлезет на дерево. Ну, а как медведь?.. Петя перекрестился и вдруг заплакал. Снова послышалось ему, как стучало его сердце, но теперь к этому звуку примешивался не шум дождя — нет, дождя не было, примешивался... (Петя явственно это слышал) примешивался треск веток и шорох в кустах (ветра также не было)... Петя начал снова креститься и, дрожа от страха, замирая душою и сердцем, припал к стволу старого дерева. Все как будто на минуту смолкло... И вдруг он еще явственнее услышал теперь: раздалось неподалеку медленное какое-то шипенье, похожее на тяжелое дыханье приближавшегося человека или зверя... Прошла еще минута, и вдруг что-то страшно загудело в вершинах дерев; раздался страшный треск ломавшихся сотнями ветвей, и что-то тяжелое рухнуло вдруг на землю. Петя не успел прийти в себя, как несколько человек, шагах в пяти от него, проскочили мимо.

— Держи, ребята! вот они, мошенники! Здесь, сюда... тут срубили дерево, тут повалилось. Хватай их! — кричали голоса, которые с дикими перегулами загрохотали по лесу.

Петя не слыхал, что произошло дальше: как толь-

ко люди пронеслись мимо, он бросился бежать в другую сторону и бежал до тех пор, пока земля не оборвалась под ногами и он не покатился в овраг. Земля была так рыхла и смочена дождем, что он нимало не ушибся, хотя овраг был очень глубок и сам он долго катился. Оправившись от испуга, он встал на ноги и оглянулся вокруг. Голоса совсем пропали; вверху небо было так же почти черно, как верхушки дерев, обступавших окраины пропасти. На дне оврага в вязкой глине, кой-где усеянной камнями, журчал ручей. Петя опустил руку в ручей: в какую сторону бежала вода? Вода все куда-нибудь да приведет, говорили ему; а он устал и проголодался, и ему очень хотелось прийти куда-нибудь поскорее. Петя присел, перевел дух, перекрестился и снова отправился в путь...

Часть четвертая

I

БРОДЯГА

Петя боялся провести ночь в овраге: страшно было ему находиться в этой мрачной глубине, окруженной глухим лесом. Спотыкаясь о камни, завязая в тине и поминутно перескакивая ручей, изгибавшийся по дну оврага, он спешил выбраться на простор. Там все равно была такая же ночь, но чувствовалось ему, что там, на просторе, все-таки легче и как-то отраднее сердцу. Петя шел, шел, а овраг не кончался; он тянулся так же долго, как лес, куда накануне забрался мальчик.

Начинало светать, когда Петя заметил, что края пропасти стали понижаться; вместе с этим редел лес, ее обступавший, и деревья делались мельче. Ноги мальчика подламывались от усталости; они были до крови иссечены камнями. Он ускорил, однако ж, шаг, думая теперь о том только, как бы скорее добраться до какой-нибудь деревушки: голод томил его. После трех-четырех поворотов неожиданно открылась перед ним луговина, освещенная косым лучом восходящего солнца. Мальчик очутился посреди лесистой широкой долины; слева делала она крутой поворот и заслонялась скатом, справа убегала мелкими извилинами в неоглядную даль, наполненную утренним туманом и сизыми тенями, которые бросали облака. В небе ме-

стами проглядывали светлые лазоревые пятна; солнечные лучи весело озаряли тот или другой бок долины... Но это продолжалось мгновенье: набегала туча и начинал сеяться мелкий дождь, между тем как в другом конце долины, где за минуту стояла сизая тень, все разом обнималось солнцем и оживлялось радугой; словом, была погода, о которой говорят в простонародье *мать ссорится с дочкой*: то солнышко проглянет, то дождик зассется.

Трава так была высока, а Петя так был мал ростом, что он заметил речку не прежде, как когда приблизился к ее берегу. Он бросил в воду сухую ветку и пошел по течению. Речка эта привела ему на память другую речку, чрез которую проходил он с нищими в то утро, когда оставили они больного Мишу. Сколько прошло после того времени! Где теперь Миша? Он уже давно-давно лежит в земле... «Коли умирают хорошие, смирные дети, они превращаются в ангелов и живут с богом, где им и хорошо жить и весело», — часто говорила Пете Катерина.

«Мише лучше, стало быть, моего теперь; по крайности он не голодает, а мне есть хочется до самой до смерти!» — подумал Петя, утирая слезы, которые поминутно заслоняли перед ним дальнюю местность, куда жадно устремлялись глаза его в надежде увидеть деревушку.

Петя знал, очень хорошо знал, что не было при нем куска хлеба; при всем том каждые десять шагов он останавливался и торопливо обшаривал себя кругом... нет, не отыскивалось ни малейшей крошечки!

Петуший крик, раздавшийся за дальним откосом, быстро осушил его слезы. Собрав остаток сил, рванулся он в ту сторону и, без сомнения, припустил бы даже в бежки, если б не мешала высокая трава, путавшаяся между ногами и обдававшая его с пояса до пяток дождевыми каплями. Обогнув откос, Петя увидел деревню. Долина в этом месте широко расходилась; в одном из ее углублений располагалась деревня; она смотрела на долину задами. Прежде всего Петя прошел мимо огорода; за огородом шла дорога, которая вела на улицу мимо крестьянских риг и сараев.

Миновав огород, Петя не посмел идти далее: посреди самой дороги сидели две огромные собаки с красными высунутыми языками. Икры бедного мальчика слишком хорошо знали, как больно кусают-

ся деревенские псы, которых обыкновенно никогда не кормят, а так пускают, на авось: живет – хорошо, издохла с голоду – и того лучше: шкуру можно продать кошатнику; к тому же Петя был беззащитен... Он решился подождать, пока не уйдут собаки; но собаки не уходили; они точно приставлены были сторожить у входа в деревню. Наконец одна из них подняла голову, насторожила уши и тявкнула; другая тотчас же стрелою полетела к огороду; первая, распустив хвост, пустилась за нею. Еще минута – и Петя получил бы новое и совершенно лишнее доказательство, как злы и голодны деревенские собаки; но этой минуты довольно было ему, чтоб скакнуть через дорогу, схватиться руками за плетневую стену ближайшего сарая и проворно вскарабкаться на крышу. Но тут последовало с ним другое несчастие: едва стал он на крышу, солома быстро ушла под его ногами, ухватиться было не за что; он провалился во внутренность сарая и чуть не упал на голову какому-то мужику, обметавшему ток.

Лицо мужика, с большими глазами навыкате, как у рака, постоянно сохраняло выражение тупого удивления: можно судить, что изобразилось на нем, когда чуть не на голову свалился ему мальчик! В первую минуту ему представилось, что это был черт. Петя действительно хоть кому мог показаться теперь чертенком: лицо его исчезало под слоем глины и грязи; волосы торчали во все стороны; одежда, руки и ноги были одного цвета с лицом; рот, раскрывшийся от испуга, поднятые руки и вся фигура его, в высшей степени озадаченная и как бы потерянная, сильно напугала мужика, который, бросив метлу свою, жался в угол и крестился. Яростный лай собак и царапанье лапами по плетню навели его, однако ж, на истину. Он метнулся со всех ног и схватил метлу.

– Ах ты, окаянный!.. я ти дам баловать! Эк их, озорники, повадились! – воскликнул он, подходя к Пете.

– Я невзначай, дядюшка, ей-богу, невзначай! – торопливо заговорил Петя, – шел мимо, собаки бросились... добре́ уж очень испужался... Я, дядя... я починю крышу-то... ей-богу, починю!..

– Э! да это не наш! – произнес мужик, останавливаясь и до того выкатывая глаза, что Пете пришла теперь очередь испугаться.

— Нет, дядюшка, я не здешний... я издалече... второй день иду... — проговорил мальчик.

— Да ты отколе?

Такой вопрос поставил Петю в сильное затруднение: откуда он — он сам не знал этого.

— Я с нищими ходил, — спохватился он, — у нищих вожаком был... да ушел от них... Они, дядюшка, хотели мне глаза выжечь...

— О! э!.. да ты бродяга?

— Нет, дядюшка, право, нет! — воскликнул мальчик, неоднократно слышавший, что бродяг ловят и сажают в острог, — они меня, дядюшка, силой у отца отняли... у меня и мать есть и братья...

— Так что ж ты к ним не шел?

— Рад бы пойти... да куда я пойду? Я дороги не знаю...

— А к нам, небось, нашел дорогу-то — а? Ну нет, брат, ты что-то бабушку-репку путаешь! — произнес мужик, как бы удивляясь на этот раз своей находчивости.

— Нет, дядюшка, ей-богу, всю правду сказал... вели как хочешь побожиться... дай только вздохнуть маленько... кусочек хлебца дай... я тебе все расскажу... все, дядюшка... взмилуйся только... всю ночь шел, не ел ничего... добре́... добре́...

Рыдания прервали голос его; он поднял умоляющие глаза на хозяина риги и увидел еще другого мужика, входившего в ворота. Насколько мужик с выскакивающими глазами был преисполнен тупого удивления и бестолковой суетливости, настолько вошедший казался сонливым, вялым и апатичным. Владетель риги мигом рассказал ему обо всем случившемся.

— Знамо, бродяга! — произнес мужик, не взглянув даже на мальчика.

— Э! молодец! да уж ты не воровать ли ко мне залез?.. — произнес удивленный владелец риги.

— Дядюшка, как перед господом богом... сейчас помереть!.. Я тебе сказывал: собак испужался! — отчаянно воскликнул Петя.

— Да что с ним разговаривать-то? — сонливо проговорил вновь вошедший, — веди его к старосте. Пожалуй, еще прибьет, коли узнает, скажет: зачем не словили! их ловить велено...

— Ну, пойдем...

– Дедушка, Христа ради... помилуй меня! Я уйду... право, уйду... пусти меня; я ничего худого не сделал... я невзначай зашел... помилуй, дядюшка!.. – кричал Петя, бросаясь в ноги то одному мужику, то другому.

– Ладно, ладно; пойдем-ка; там все расскажешь... Вставай... Да чего ты? о чем плачешь-то? рази что худое сделал? Тебе ничего не будет, только спросят. Сват Стегней, хватай его, мотри крепче держи: извернется, уйдет!..

– Небось, вишь, он махочкой какой... один и то справишься, – промолвил Стегней, почесывая затылок.

Мольбы Пети ни к чему не послужили. Если б мужик с удивленным лицом и бестолковою суетливостью действовал из страха к старосте или из уважения к долгу, он, весьма вероятно, дал бы мальчику подзатыльника и отпустил бы его; но он был любопытен: ему вдруг захотелось узнать, что станет говорить мальчик, когда староста постращает его, и как потом староста будет производить допрос? Невзирая на просьбы ребенка, он крепко взял его за руку и повел из риги по узенькой тропинке, протоптанной в высоком конопляннике.

Они вошли в проулок, а оттуда на небольшую тесную улицу. По той стороне улицы, прямо против переулка, красовалась решетка с выглядывавшими над нею акациями и маленьким барским домом; закрытые ставни и беспорядок садика показывали, что хозяева не жили здесь или находились в отсутствии. У ворот на скамейке сидел белокурый человек; он был босиком и с прорванными локтями; но бритая недели две назад борода и нанковые шаровары сразу обличали в нем дворового; он, должно быть, только что поел редьки и луку; на лице его беспрестанно являлось выражение горького вкуса, и он каждый раз прикладывал ладонь ко рту. Мужик, державший Петю, прямо пошел к нему и спросил, где староста. Он в коротких словах рассказал дворовому историю мальчика и снова поспешил осведомиться о старосте. В ответ на это дворовый громко засмеялся.

– Чего ты, Яков Васильич?.. – спросил мужик.

– Поди-ка, поди-ка к старосте-то... он ти даст!..

– А что?

– А то же, шею накостыляет – вот что!

И Яков Васильевич, воображение которого мигом

нарисовало сцену, как староста костыляет мужичью шею, снова засмеялся.

— Да за что ж? — спросил мужик, распяливая глаза.

— Зачем привел мальчика-то — а? — вымолвил Яков Васильевич, переменяя тон, — чем бы прогнать его скорей с нашей земли, а ты обрадовался, взял да привел. Ах ты, шушера, умная голова!

— Да как же? ведь велено...

— Что велено-то — а? что велено? Велено бродяг ловить — так, — проговорил Яков Васильевич, прикладывая ладонь к губам, причем выражение горького вкуса снова скривило лицо его, — ну, хорошо; поймал бродягу на своей земле, значит, вести надо к становому на фатеру; значит, расспросы пойдут, допросы; значит, расходоваться надо — вот что ты наделал теперича. Ну, ступай к старосте, ступай... он ти спасибо скажет, ступай!..

Мужик быстро выпустил Петю, который ничего не понимал из того, что говорилось. Несмотря на голод, он думал, как бы поскорее убежать из деревни.

— Ступай, ступай... скорей... вот я ти! у! у-у!.. — вскричал вдруг мужик, напускаясь на мальчика; но Яков Васильевич остановил его.

Он снова приложил руку к губам, но вместо обычного выражения горечи лицо его оживилось вдруг необыкновенною веселостью.

— Погоди, — сказал он, — постой! Знаешь, Федул, пошлем его к Лыскову...

Не дожидаясь возражения, Яков Васильевич подозвал Петю и, едва сдерживая смех, сказал ему:

— Слышь, мальчик, вишь вон крайнюю избу? Ступай туда; собак нет; небось не укусят; повернешь за угол, увидишь направо барский дом... крыльцо такое будет. Барин тебе всего даст, знатно накормит. Смотри не сказывай: мы-де послали, скажи: сам, мол, пришел; скажешь; мы послали — мы тогда оба, как ты пойдешь из деревни, то оба так-то тебя высечем, и-и... больно высечем!.. Ну, пошел скорей... ступай!..

Тут уж Яков Васильевич не мог долее владеть собою и, не дав Пете отойти десяти шагов, залился веселым смехом.

— Смотри, Яков Васильич, — сказал мужик, опра-

вляясь от смущения,— проведает Лысков, добрé осерчает.

— Вот! что за важность! пускай серчает! — возразил Яков Васильевич, и когда воображение нарисовало ему, как серчает Лысков, он снова засмеялся.— Поделом ему,— подхватил он,— помнишь, летось напал он на своей земле на пьяного мужика; покажись ему, мужик-то помер; он возьми да на нашу землю скорей и снес его. «Нате,— мол,— вам, отделывайтесь, как знаете!» Ладно! А мы теперь ему бродягу всучили — пускай возится с ним да везет к становому!.. Эк, брат Федул, что ты сдуру-то наделал!.. А ведь надо бы, по-настоящему, с тебя на табак... право, надо б.

Во время этого разговора Петя успел повернуть за угол. Ему во всяком случае нельзя было миновать этой второй улицы, чтоб выбраться из деревни. Улица такая же была маленькая, как первая; разница заключалась в том, что посреди ее, ни к селу ни к городу, возвышалось какое-то неуклюжее здание — не то сарай, не то кухня, не то простая изба; перед зданием находился барский домик, о котором говорили ему; позади здания саженях в двух красовался другой очень чистенький барский домик. Деревушка принадлежала трем владельцам: помещику Бабакину, помещику Лыскову и девице Тютюевой. Бабакин никогда не жил в деревне; Лысков и девица Тютюева проживали здесь безвыездно и считались в околотке непримиримейшими врагами. Девица Тютюева отличалась сентиментальностью, свойственною ее полу в известном периоде жизни: она любила сидеть вечерком у окна и смотреть, как возвращаются барашки с поля; этого было довольно, чтоб Лысков, которому, как нарочно, принадлежала земля перед окнами Тютюевой, поспешил заслонить ей улицу вышепомянутым зданием... Но всего не перескажешь. Внимание Пети приковано было домиком, глядевшим на улицу. На крыльце сидел средних лет господин с черномазой физиономией, хотя без особенного выражения. Он был в халате, пил чай и курил трубку. За спиною его стоял лакей с прищуренными глазами и оплывшим, жестоко скучающим лицом.

— Что это за мальчишка? Эй, мальчик! мальчик! — крикнул господин в халате (который был не кто другой, как помещик Лысков),— эй, мальчик...

Митька! (тут обратился он к лакею, стоявшему за спиною) Митька, что это за мальчик? – а? Поди сюда, мальчик!.. Митька! (он снова обратился к лакею) Митька! зови его...

– Эй ты! ступай сюда... – неохотно заголосил Митька, высовываясь вперед.

Петя взглянул на длинные ноги лакея и понял, что бегство невозможно. Он робко подошел к крыльцу. За исключением случая, когда он встретил на пароме Белицыных, ему никогда не приводилось разговаривать с господами: он сильно оторопел.

– Ты чей? – спросил Лысков, прихлебывая чай, – что на меня так глаза-то выпучил – а?.. Митька, что он на меня глаза таращит – а? Ты, может, на хлеб смотришь – а? – обратился он снова к мальчику, – тебе белого хлебца захотелось?.. Ну, на́, на̀! – заключил Лысков, бросая ломоть.

При этом Петя забыл страх; он с жадностью схватил ломоть и принялся есть. Лысков, которого, по-видимому, забавляло обжорство мальчишки, бросил ему второй ломоть.

– Митька! – сказал он, – трубку!

– Да полно вам, сударь, курить-то; вы и то все бесперечь!.. Только встали, а уж пятую никак выкуриваете...

– А что, табак весь? – с беспокойством спросил Лысков.

– Табаку много; я так говорю: много оченно курите – не годится! – проговорил Митька.

– Не разговаривай, не терплю! ступай! – крикнул Лысков.

Митька неохотно принял чубук с наконечником из красного сургуча и, бормоча что-то под нос, удалился. Помещик между тем, видя, что Петя съел второй ломоть, подал ему третий, за который мальчик так же охотно принялся, как за первый. Полминуты спустя явился Митька, сильно потягивая из чубука и беспечно пуская струи дыма во все стороны.

– Вот, сударь, вы тут потешаетесь, – вымолвил он, подавая Лыскову почти выкуренную трубку, – хлебом еще кормите его... вы бы лучше спросили, откуда; может, бродяга какой-нибудь...

– Как бродяга?..

– А какие обыкновенно бывают, что без пачпорта шляются...

— Ты откуда?.. откуда ты?.. Митька, спроси его, откуда он,— заговорил Лысков, обнаруживая вдруг суетливость.

— Что ж ты молчишь? Слышь, барин спрашивает, откуда? — крикнул Митька.

— Я не знаю...— пролепетал испуганный мальчик.

— Куда ты идешь — а? куда? — крикнул в свою очередь Лысков.

— Не знаю,— сказал Петя, думая уже броситься в ноги и просить пощады.

— Вот то-то же и есть, сударь! — произнес Митька с заметным самодовольствием,— а еще хлебом кормить изволили!.. Вот теперича извольте хлопотать, извольте вести его к становому: их ведь представлять велено...

— Ступай! пошел скорее, пошел! пошел!..— заголосил сильно оторопевший помещик,— скорей пошел!.. Митька, гони его!.. Или нет, стой! — подхватил он, неожиданно оправляясь и даже проявляя на быстром лице своем признаки непомерного удовольствия и веселости,— мальчик, поди сюда, скорей ступай ко мне... сюда!

— Полноте, сударь, гоните его взашеи!

— Нет, нет... Мальчик, сюда!.. Митька, знаешь что? выкинуть надо штуку Тютюевой... ха, ха, ха!.. Она вчера еще напустила индеек в мой сад; третьего дня поймали ее лошадей на моей ржи... поделом ей, пускай напляшется...

— Что ж? это можно! — проговорил Митька, которому также, видно, улыбнулась мысль выкинуть штуку Тютюевой.

В радости своей Лысков не дождался, пока подойдет мальчик. Торопливо запахивая халат, он сбежал с крыльца и, оглядываясь на стороны, проговорил скороговоркою:

— Ступай, мальчик, скорей вон туда, вишь (Лысков указал на дом Тютюевой), обойди кругом вот эту избу — сейчас сад будет, решетка; придешь к калитке... живет тут помещица, добрая такая, она тебе всего даст... всего... Да вот что (тут лицо Лыскова приняло умышленно грозный вид),— если скажешь, я прислал — беда будет!.. Скажешь или нет — а?

— Нет,— проговорил Петя, едва сдерживая слезы.

— Смотри же: беда будет! засеку тебя! Ну, ступай... ступай! — заключил Лысков, поворачивая маль-

чика на дорогу и быстро направясь к крыльцу, где ожидал его Митька с новой трубкой.

Пете смерть хотелось убежать скорей из деревни; он бы, может, и сделал это, но, обернувшись, увидел, что помещик и лакей наблюдали за ним: оба махали руками, давая знать, чтоб он шел по указанному пути.

Как уже сказано, домик Тютюевой почти примыкал передним своим фасом к зданию, воздвигнутому Лысковым. С тех пор как Лысков загородил любимые окна помещицы, она перенесла свое местопребывание на другой фас дома, глядевший окнами в сад. Петя миновал здание Лыскова, миновал дом и очутился против решетки, за которой располагался садик, разбитый весь на маленькие клумбы; сад замыкался маленьким, но очень чистеньким домиком; ставни и род галерейки со столбиками и тремя ступеньками для схода в сад были выкрашены краской. Все это, и домик, и галерея, и клумбы, и ставни, и столбики, отличалось такими малыми размерами, что казалось, сооружено было для детской потехи. Дело в том, что сорокалетняя девица, Ольга Ивановна Тютюева, любила, чтоб у ней все было маленькое; она жила совершенно одинокою; сверх того, сама она была такая маленькая, что по субботам мылась в корыте и свободно в нем умещалась. Немного погодя она вышла на галерею с крошечной зеленой лейкой в руке. Петя принял было ее сначала за девочку и только когда взглянул на лицо ее, похожее на печеное яблоко, понял, что это была пожилая уже барыня. На этом печеном яблоке умещался, впрочем, такой избыток добродушия, которого стало бы на десять лиц шириною в арбуз. Петя поклонился. Барыня не заметила его и принялась поливать цветы. Петя снова поклонился. Наконец она подняла голову.

— Что ты, мой миленький — а? — ласково сказала она, поглядывая маленькими своими глазками на мальчика, — опять, видно, за яблочком — а?.. Нет, яблочки теперь зелены; есть не годится: брюшко заболит.

Говоря таким образом, Ольга Ивановна поставила лейку и подошла к ребенку, который с первого взгляда понравился ей, потому, может быть, что сам был мал и миниатюрен.

— А, да это не наш! — произнесла она, оглядывая

Петю с ног до головы.— Экой ты, мальчик, чумазый какой, немытый... Ты разве не здешний?

Доброе лицо барыни, а пуще всего ее ласковое обращение и голос обнадежили Петю; но надежда эта, вместо того чтоб сделать его добрым, веселым и смелым, произвела совершенно другое действие. Он вдруг горько заплакал.

— Ах, боже мой!.. ах, что с тобою? что это? о чем ты? — заговорила Ольга Ивановна, поспешно отворяя калитку сада.— Поди сюда, мальчик. Не бойся, батюшка, не бойся... что ты? Тебя, верно, прибил кто-нибудь?.. Откуда ты? — добавила она, вводя мальчика в сад.

— Я не здешний...— проговорил Петя, рыдая.

— Откуда же ты? — спросила Ольга Ивановна, стараясь обласкать его.

— Я был у нищих,— начал Петя, горько всхлипывая,— силой у отца отняли... больно били меня... хотели глаза выколоть... Я убежал... убежал, да не знаю, куда идти к матери... дороги не знаю!..

— Ах, боже мой!.. ах, бедняжечка! Как же это так?.. Не плачь, батюшка... перестань; может быть, мы отыщем и мать и отца. Ах, бедненький!.. Авдотьюшка! Авдотьюшка! — закричала вдруг помещица, обращаясь к галерее.

В дверях под навесом галереи показалась женщина, повязанная по-бабьему и сильно хромавшая на левую ногу; это не помешало ей, однако ж, скоро спуститься с лесенки и подойти к барыне. Ольга Ивановна передала ей от слова до слова все, что говорил мальчик.

— Пожалуйста, Авдотьюшка,— примолвила она, между тем как баба пожимала губами и качала головою,— пожалуйста, веди его скорей к себе на кухню и прежде всего обмой хорошенько... Можешь даже взять корыто, в котором я обыкновенно моюсь по субботам. Потом надо будет накормить его, одеть... видишь, на нем одни лохмотья... Впрочем, за этим я уж присмотрю; ты поди сначала, обмой его... Ступай, голубчик, с нею, не бойся, поди,— довершила Ольга Ивановна, поспешно направляясь в дом, тогда как Авдотья повела мальчика в кухню.

Ольге Ивановне нетрудно было найти в одном из сундуков своих сверток холста (она была вообще запаслива); еще легче было ей скроить для мальчика ру-

башонку и штанишки; она имела к этому делу большой навык, потому что держалась обыкновения обшивать с головы до ног своих деревенских крестников, которых было великое множество, что доставляло Лыскову новый неисчерпаемый источник для насмешек; но девица Тютюева не обращала на это внимания. Отдав скроенные куски девке Палашке и приказав приняться за шитье как можно скорее, Ольга Ивановна подошла к кухонной двери; она не посмела отворить дверь, боясь увидеть мальчика, стоящего совершенно голым в корыте. Спросив, скоро ли кончится *маскарад*, и получив утвердительный ответ, она велела хорошенько накормить мальчика и привести его к себе. После этого Ольга Ивановна заметно успокоилась, возвратилась в садик и снова принялась за поливку цветов. Так провела она четверть часа. Ольга Ивановна думала уже пойти в дом и спросить о мальчике; с этим намерением поставила она наземь крошечную свою лейку, как вдруг перед калиткой явилась долговязая плешивая фигура с крупными губами и сумрачным носом, выпачканным табаком.

— А! Никитушка!.. чего тебе? — спросила Ольга Ивановна, несколько удивленная появлением своего управителя в такую пору.

На приветствие госпожи Никитушка фыркнул носом и с видом крайне недовольным и озабоченным вошел в садик.

— Помилуйте, Ольга Ивановна, что это вы, сударыня, делать изволите? Это, выходит, сударыня, то есть, никак невозможно... никаким, то есть, манером нельзя...

— Что ты, Никитушка? — произнесла помещица, знавшая очень хорошо, что нахмуренные брови и воркотня Никитича были так же безвредны для крестьян ее, как табак для его носа.

— А что же, сударыня, — подхватил управитель, выставляя вперед для лучшего пояснения исполинский большой палец левой руки, на ноготь которого сыпал он всегда табак, прежде чем поднести его к носу, — что же! Был я сейчас на кухне... кого изволили вы к себе принять?..

— Мальчик... — начала было Тютюева, но Никитич перебил ее.

— Мальчик ли, девочка ли — все единственно, су-

дарыня; главная статья: изволили пустить к себе бродягу.

— Как, Никитушка?..

И Ольга Ивановна принялась рассказывать историю мальчика; но управитель выставил опять палец и снова перебил ее:

— Бродяга, сударыня, больше ничего! Сейчас спрашивал его: путается во всех ответах и ничего не сказывает. А вы изволили к себе пустить! Что с ним теперь делать? Одно: к становому везти надо. Шутка дело: двенадцать верст, сударыня, лошади все в поле; время самое рабочее... потом на поруки придется брать; своих ребят девать некуда... Хлопот-то каких наделали... Эх, сударыня!..

Во время этого монолога доброе лицо помещицы, и без того уже похожее несколько на печеное яблоко, как будто перепеклось окончательно. Никитич не на шутку перепугал ее; она решительно не знала, что делать. В эту самую минуту на галерее показались Авдотья и Петя. Баба не только вымыла его, но даже и причесала. Миловидное личико мальчика сначала как будто удивило помещицу, потом заметно, казалось, ее успокоило.

— Поди сюда, мой миленький,— сказала она с обычным своим добродушием,— как же ты ничего не сказал мне, откуда ты? Говоришь: есть у тебя отец, мать, а вместо того ты... это нехорошо. Я тебя так обласкала... велела обмыть, хотела тебе подарить рубашку... Это очень нехорошо!..

Петя поднял глаза на помещицу, потом на управителя и снова потупил их в землю.

— Вот тоже и мне, сударыня, ничего путного не сказывает,— сумрачно вымолвил Никитич.— Начнешь дело спрашивать, посмотрит, так-то потом упрется в землю и молчит... Напрасно, сударыня, изволили только пустить его. Ничего он не стоит, этих ваших милостей. Прогоните его, сударыня; право, прогоните поскорее.

— Нет... всю правду... скажу... *вам* я все скажу! — вскричал вдруг Петя, снова залившись слезами.— Я оченно боялся... они сказывать не велели... высечь... высечь хотят!..

— Кто они? — спросили в один голос барыня, Никитич и Авдотья.

— Тут вот барин такой... он послал меня сюда...

сказывать не велел,— подхватил Петя, указывая рукою по направлению к дому Лыскова.

— Так и есть, сударыня! их дело: они его подослали! — воскликнул Никитич, оживляясь при этом известии до последнего суставчика.— Постой, брат, где же они тебя нашли? — подхватил он, выставляя свой палец, который разделял, казалось, волнение самого Никитича и двигался сам собою, как огромная пружина,— откуда ты к ним-то зашел, а? Надо, сударыня,— тут он обратился к помещице,— надо повести дело мимо Лыскова. Плюньте на них, сударыня! Надо, примерно, обойти их... лучше будет.

— Да, лучше, если б не связываться!..— проговорила взволнованная Ольга Ивановна.— Скажи мне, мой милый, не бойся, тебя никто здесь не тронет — скажи, откуда ты к ним пришел?

— А вот оттуда...— сказал мальчик, указывая на конец деревни.

— Земля Бабакина! — произнес Никитич с некоторою торжественностью.

— Бабакинская! — подтвердила Авдотья.

— Что ж? там тебя и нашел этот барин-то, а? — спросил Никитич.

— Нет,— возразил несколько успокоенный Петя,— я собак запужался, в ригу попал к мужику, вот там... с краю... у огорода первая... Он взял да привел меня в деревню; к старосте вести хотел... да другой не пустил... они меня к барину-то послали... а барин сюда.

— Позвольте, сударыня, не извольте ничего... то есть, примерно, никаких, то есть, сумлений. Я сейчас все дело разведаю,— суетливо говорил управитель и поспешно заковылял вон из сада.

Полчаса спустя — время, которое употреблено было Ольгой Ивановной, чтоб окончательно обнадежить и успокоить мальчика,— Авдотья доложила, что Никитич ждет в саду с бабакинским старостой. Ольга Ивановна велела Пете следовать за собою и поспешила выйти. Никитич обо всем разведал. Прежде всего он бросился в ригу, указанную мальчиком, и так напугал мужика, что тот тотчас же во всем признался; потом Никитич пустился к старосте. Староста, узнавший обо всем случившемся через бабу, которая в свою очередь проведала о бродяге от Якова Васильевича, принял сначала Никитича очень грубо и от всего отпи-

рался. Никитич начал с того, что выставил на вид сознание мужика, а потом сказал, что хуже будет, хуже затаскают и старосту и всех бабакинских мужиков, когда барыня подаст прошение в суд: бабакинским мужикам тогда не отделаться; барина нет; их просто заедят тогда; Ольга Ивановна уж начала писать прошение; все улики налицо: и мальчик и мужик, к которому зашел он в ригу. Бабакинский староста подался на эти последние резоны; он позвал удивленного Федула, позвал Якова Васильевича и стал их допрашивать; сначала оба напрямик во всем отклепались: «И знать не знаем, и ведать не ведаем!» — потом тут же, в один голос, сознались во всем. Делать было нечего. Бабакинский староста пошел к Ольге Ивановне, чтобы взять бродягу и вести его к становому. При этом известии Петя отчаянно бросился в ноги доброй барыне.

— Нет, нет,— сказала Ольга Ивановна, обратившись к бабакинскому старосте,— я его не отпущу с тобою. Скажи человеку, которого пошлешь к становому с мальчиком, чтоб он лучше за ним сюда заехал. Я вам обоим дам за это на калачи. Поди, староста, распорядись так, как я тебе сказала...

Староста сказал: «Слушаюсь, сейчас велю запрягать»,— и удалился. Но Петя продолжал обнимать ноги доброй барыни и рыдал еще громче прежнего. Он умолял ее совсем оставить его у себя, говорил, что барин непременно его высечет, когда узнает, что он рассказал обо всем; говорил, что становой посадит его в острог. Ольга Ивановна придумала все, что могла, чтоб только вразумить как-нибудь бедного мальчика; он оставался неутешен. Наконец она обратилась к Никитичу, который стоял в десяти шагах и не переставал обнюхивать свой большой палец, хотя на нем давно не было ни зернышка табаку. Она спросила, нельзя ли что-нибудь сделать, чтоб спасти мальчика от судьбы, которая ожидает всех пойманных на дороге без паспорта и не помнящих родства или прежнего места жительства.

— Да что сделать, сударыня? — возразил, снова нахмуриваясь, Никитич,— одно разве: взять его на поруки... Куды нам его, сударыня? У нас и своих много...

— Ну, это не твое дело, Никитич! — нетерпеливо проговорила помещица, выказывая первый раз такую твердость перед управителем.— Не плачь, мой милый,— обратилась она к Пете, который сделался вни-

мательнее, хотя продолжал плакать,— я возьму тебя на поруки; в острог тебя не посадят, не бойся. Пойдем со мною,— заключила она, уводя его в дом.

Она так сумела обнадежить его и обласкать, что по прошествии часа, когда приехала телега, назначенная к становому, Петя не обнаружил большого смущения. Лошадью правил знакомый нам дворовый Яков Васильевич; ему поручено было везти мальчика. Веселое лицо Якова, а главное, слова барыни, которая поручала сказать становому, что берет мальчика на поруки, если тот захочет сажать его в острог, окончательно ободрили Петю. Он сел в телегу, и тогда только, как в последний раз простился с доброй барыней, две-три слезы капнули на его рубашонку.

— Ничего, милый, не плачь, лихо покатим! — произнес Яков, заламывая назад картуз без козырька.— Ну ты, Котенок! фю-и-и! — добавил он, стегнув лошадь, которая побежала крупной рысью.

Попасть на дорогу к становому можно было не иначе, как проехав мимо дома помещика Лыскова. Но Лыскова не было уже на крылечке: тут стоял один Митька. Как только проехала телега (Яков Васильевич на этом месте с особенным усердием погнал лошадь), Митька вошел в прихожую, где Лысков ожидал его с заметным нетерпением.

— Провезли! — сказал Митька,— только повез зачем-то бабакинский Яшка; должно быть, наняла Тютюева-то: свои все в поле.

— Поделом ей! — воскликнул Лысков, быстрое лицо которого прыгало от радости,— поделом: вчера индюков в сад ко мне напустила; третьего дня ее лошадей на моем поле поймали — наша взяла!.. Митька, трубку! — заключил Лысков, запахнул халат, свистнул и закатился смехом, дребезжащим от радостного чувства, наполнявшего грудь его.

II

НОВЫЙ ХОЗЯИН

Дворовый Яков Васильев не сдержал своего обещания лихо прокатить Петю: он перестал стегать лошадь, как только миновал дом помещика Лыскова; а проехав околицу, Яков забыл даже, по-видимому,

о существовании маленького спутника, прицепил вожжи к перекладине телеги, вынул из кармана целковый и весь погрузился в созерцание этой монеты, данной ему старостой с наставлением: «сунь им там беляк-то: дело вернее будет; авось ослобонят как-нибудь». Наставление ли старосты или вид целкового (последнее вернее) заметно пробуждали в дворовом человеке приятные мысли и вместе с тем какое-то нетерпеливое чувство; он беспрестанно ухмылялся и жадно устремлял глаза вперед по дороге. Наконец показалась кровля, а там выступила одинокая изба с елкой над дверью. Подъехав к избе, Яков попросил близ стоявшего мужика поглядеть за лошадью и мальчиком и торопливо вошел в дверь, осененную древесною веткой. Минуту погодя он снова явился, держа в ладони мелочь, которая не имела уже свойств внушать ему приятных мыслей: Яков поглядел на нее с видом озабоченным и указательным пальцем левой руки сильно чесал переносицу.

— Ты, слышь, малый, коли назад приедем, не сказывай, что я в кабак ходил,— произнес Яков, обратившись к Пете,— заходил деньги разменять: целковый тяжел очենно, того и гляди карман прорвет... потому больше. Смотри же, не сказывай...

— Хорошо,— возразил Петя, которому в голову не пришло бы посещение кабака, если б Яков не надоумил его. Петя, обласканный, обнадеженный доброй барыней, думал о том только, как бы поскорее к ней вернуться; он так уж много слышал о становых, что перспектива лично увидеть станового нимало его не занимала.

Вино, выпитое Яковом с тою единственною целью, чтоб разменять целковый, не вызывало на лице его выражения горького вкуса, как это было, когда завтракал он луком и редькой,— нет, вино располагало его к задумчивым улыбкам и заметно склоняло ко сну. Вскоре мальчик, порученный дворовому человеку, мог бы убежать, не встретив малейшего сопротивления со стороны надсмотрщика: Яков заснул как убитый на дне телеги; но Петя не убежал: он будил Якова всякий раз, как попадалась деревня.

— Оставь... ну!.. не то,— бормотал Яков,— будут две белые церкви — там! — заключил он, тыкаясь лицом в сено.

Наконец над горизонтом мелькнули две белые

церкви. Яков долго не верил этому. Он поднял голову, раскрыл глаза и взял вожжи тогда уже, когда телега подъехала к огромному селу, раскинутому между красивыми рощами и неоглядными пастбищами. Становой помещался по самой середине села; он занимал род флигеля, весьма похожего на домы станционных смотрителей в отдаленных губерниях; сбоку прилеплено было крылечко, устланное соломой. Подле крыльца стояла телега с сидевшей в ней молодой бабой, которая убивалась (плакала), иногда принималась даже кричать голосом. Ее всячески усовещивал и уговаривал высокий молодой мужик с подбитым глазом.

— Полно, дура,— говорил он,— что ты ревешь?.. Ничего, говорю, не будет — уж я знаю... Эк ее... не уймешь никак! Слышь, говорят, ничего не будет! разве впервые... Уж я знаю!..

Дворовый Яков Васильев, привязавший уже лошадь, но остановившийся, чтоб послушать, как плачет баба, толкнул Петю и сказал:

— Должно быть, сечь хотят... Она и убивается! мужа жалеет... То-то, брат, ты здесь насмотришься! очённо любопытно. Ну, пойдем!..

На нижней ступеньке крылечка сидел, пригорюнясь, седенький старичок лет восьмидесяти; под ногами его лежал короб, в котором суздальцы носят обыкновенно товар свой; на коробе пестрел сверток лубочных картин, которые на секунду обратили внимание Пети. Яков и мальчик вошли в небольшую бревенчатую комнату о двух запыленных окнах. Тут находилось человек пять мужиков, пришедших для прописки, а может быть, присланных господами и для других надобностей; все они теснились перед маленькой дверью, тщательно запертою изнутри. Почти в одно время с Яковом вошел и мужик с подбитым глазом. Немного погодя из двери выставился письмоводитель станового, человек уже почтенных лет, с лысой головой, похожей на дыню, обращенную завитком к публике; завиток этот был его нос, имевший даже какой-то зеленоватый оттенок.

— Антон Антоныч... сделайте милость, нельзя ли!..— заговорили в один голос мужики, стоявшие у двери.

— Ах, отстаньте, пожалуйста! говорят, некогда; обождать можно...— вымолвил Антон Антонович нетерпеливо, но без всякой злобы.

На дынном лице его изобразилось даже удовольствие, когда он взглянул на мужика с подбитым глазом; он подошел к нему, как к старому, доброму знакомому. Петя, глядевший во все глаза на мужика и думавший, что его тотчас начнут сечь, увидел, что Антон Антонович, подходя к нему, сделал из ладони правой руки своей какое-то подобие чашечки, а подойдя еще ближе, принялся тыкать этой чашечкой мужика в ногу; от внимания мальчика не ускользнула большая монета, тотчас же упавшая в чашечку, которая быстро закрылась, как лист *не-тронь-меня*, когда в него попадает муха.

— Уж сделайте милость, Антон Антоныч,— проговорил в то же время мужик с подбитым глазом, подавая письмоводителю красивенькую записочку, запечатанную голубой облаткой с готическим вензелем,— ослобоните, пожалуйста; мы будем в надежде...

— Хорошо, хорошо; все это можно,— произнес Антон Антонович, мигая и чмокая губами,— подожди только... можно!..

Мужик с подбитым глазом низко поклонился. Антон Антонович подошел к Якову.

— Откуда? — спросил письмоводитель, мгновенно теряя всю свою приятность.

— Помещика Бабакина... бродягу на земле на нашей поймали, приставить велено,— сказал Яков.

Петя так смутился, что не заметил, как из ладони письмоводителя снова сделалась чашечка, как затыкала она Якову в ногу и как закрылась потом, когда попал в нее двугривенный.

— Хорошо, брат,— сказала лысая дыня,— подожди; теперь некогда. Твое дело не к спеху! — заключил письмоводитель, направляясь к двери.

— Антон Антоныч...— заговорили опять в один голос пять мужиков.

— Отстаньте, говорю, после... Фу ты! пристали! Слышь, зовет!..

Из соседней комнаты раздался светлый голос, произносивший букву *р* таким образом, что, казалось, выбивали дробь на барабане.

— Антон Антоныч, куда вы запррррропастились?.. Ступайте скорей; дел множество... не перрределаешь.

— Иду-с! — проговорил письмоводитель, вырываясь из толпы мужиков, как из омута, и быстро исче-

зая в дверях комнаты, где становой чинил суд и расправу.

Станового звали Соломон Степанович: он точно самой судьбою предназначен был к своей должности.

— Читай, Антон Антоныч, что там еще?.. Фу, какая прррорпасть! — пробарабанил Соломон Степанович.

Письмоводитель глухо кашлянул и приступил к чтению. Странное дело! Антон Антонович говорил с мужиками ясно, так что легко было понять каждое его слово; но как только принялся он читать (правда, по множеству бумаг, он торопился), изо рта его послышались звуки, весьма похожие на то, когда бутылку, налитую водою, опрокидывают горлышком книзу; тем не менее при большой привычке можно было разобрать следующее:

«Его благородию, почтенному человеку Соломону Степановичу Цыпкину от города Суздаля мещанина Григория Носкова всеслезное прошение.

Ваше благородие, истинный благодетель человечества!

Торгую я разным собранием промыслов, «Судом страшным», «Долбилой и Гвоздилой», «Мудростию Соломоновою», разукрашенных и золотом украшенных, и разными такими, и в лист и менее листа, для славы и забавы православного народа, нужного для часа смертного. Пришел я в село Малицы и взят был в полицию бурмистром, который есть самый пропащий человек, за продажу оных. А за что он взял и по какому праву? Почему всеслезно прошу вас, истинный благодетель человечества, оное достояние мне отдать и чтоб я по малой цене продавал его, и христианам была от того польза. Все сие писал города Суздаля мещанин Григорий Носков руку приложил...»

— Ну, черррт с ним! отпусти его! — послышался голос станового,— да скажи ему, чтоб деррржал ухо востро, то есть не насчет прррродажи картин, а насчет писания просьб... Навострррится, всем стррррочить станет; пожалуй, и к губернатору напишет — я этого не люблю! Ну, что там еще?..

— Письмо помещицы Хрюшкиной, Авдотьи Па-

вловны,— с большею ясностью проговорил на этот раз Антон Антонович.

— Фу ты пррропасть, как пахнет! точно духами пишет, а не чернилами! И облатка голубая... Модница, нечего сказать... Читай, Антон Антоныч...

Стоявшим в прихожей снова показалось, как будто бутылку с водою опрокинули горлышком книзу.

«Милостивый государь Соломон Степаныч (забормотал письмоводитель), посылаю к вам крестьянина моего Акинфия с покорнейшею просьбою наказать его хорошенько. Не описываю вам причин моего неудовольствия, потому что описание это еще больше взволновало бы меня и расстроило мое слабое здоровье. Надеюсь, милостивый государь, вы, как всегда, уважите просьбу дамы, которая имеет честь быть вашей слугою.

Авдотья Хрюшкина».

— Фу, черррт возьми, да что ж это она в самом деле? — прозвучал голос Соломона Степаныча,— что ж она думает, нам только и дела-то сечь ее мужиков! На неделе раз пять посылает...

— А пускай ее посылает, Соломон Степаныч, пускай посылает; это ничего,— с какою-то мягкостью произнес письмоводитель и вдруг, понизив голос, начал шептать что-то.

Петя испуганными глазами поглядел на мужика с подбитым глазом; но, к великому удивлению мальчика, лицо мужика оставалось так же весело и беззаботно, как и прежде; изредка разве тень неудовольствия пробегала по нем, но это было в тех случаях, когда вой бабы у крыльца раздавался звонче обыкновенного. А между тем шепот продолжался во второй комнате, где заседал становой.

— Ну, хорошо,— произнес, наконец, тоном примирительным Соломон Степанович,— пускай убирается к черррту, пусть его идет, когда так... Хорошо!.. Может домой ехать, скажи ему! да чтоб язык держал на привязи.

— Скажу-с... Ему не впервой-с,— вымолвил Антон Антонович и с этими словами снова явился в прихожую.

— Антон Антоныч, сделайте милость, батюш-

ка...— заговорили опять, насовываясь друг на дружку, мужики, стоявшие у двери.

— Да что вы в самом деле? Сказал: погоди... Прочь! — чуть не крикнул дыневидный письмоводитель, принимаясь толкать мужиков, из чего можно было заключить, что чашечка его тщетно тыкалась в их ноги.

Мужики повесили голову, а Антон Антонович поднял свою несколько раскрасневшую тыкву и прямо пошел к подбитому глазу.

— Ступай с богом, Акинфий,— произнес он, понижая голос, который опять получил ясность и мягкость,— поезжай, брат, домой. Смотри только... понимаешь? (тут он выразительно приложил указательный палец к губам и быстро потом перенес его к спине).

— Помилуйте, Антон Антоныч, нешто мы этого не знаем! нам не впервой! — возразил подбитый глаз, как бы гордившийся своими визитами в становую квартиру.

— Ну, то-то же! Ступай с богом... ступай! — кротко сказал письмоводитель.

Акинфий поблагодарил, поклонился и вышел.

Не прошло минуты, дверь на крыльцо снова отворилась и пропустила высокого, статного и очень еще красивого человека, несмотря на то, что ему было уже под пятьдесят. В правильных чертах его и во всей осанке проглядывало какое-то достоинство; уже по одному спокойствию, с каким вошел он, можно было догадаться, что он явился по собственному делу, и притом такому делу, которое не имело большой важности. Столкнувшись почти нос к носу с письмоводителем, он не кланялся униженно, а сказал попросту: «Здравствуйте, батюшка!» — и принялся разглаживать окладистую белокурую бороду.

— Зачем пожаловал? — спросил Антон Антонович, любезно выставляя вперед свою дыню.

— А так, надобность своя есть; Соломона Степаныча надо видеть,— возразил бесцеремонно мужик, развил обеими руками бороду на две равные половины и отвел светлые глаза в сторону. Взгляд его упал случайно на Петю, и, казалось, мужичка удивило присутствие такого мальчугана в квартире станового.

— Эй, Антон Антоныч! что ты опять застрррял? Кто там еще? — крикнул становой.

— Никанор Иваныч, подрядчик! — отозвался

письмоводитель, просовывая в приемную свою дыню.

– А, Никанор Иваныч! добро пожаловать, братец... Ступай сюда, – весело крикнул Соломон Степанович.

Подрядчик, нимало не торопясь, потер подошвами сапогов об пол и вошел во вторую комнату, где тотчас же раздались громкие восклицания и быстрая барабанная дробь станового. Антон Антонович хотел было войти за подрядчиком, но Яков Васильев остановил его.

– Сделайте милость, Антон Антоныч! нельзя ли как... нам долго ждать не велено... пожалуйста!.. – произнес он, отвешивая маховой поклон.

– Экой, братец, ты какой! вишь, народ! Сказал: обожди; чего ж тебе еще?.. Со всеми вдруг не справишься.

Приведя такой резон, Антон Антонович прошел мимо пятерых мужиков, которые было забормотали; Антон Антонович быстро повернул к ним дынный завиток свой, мужики откинулись назад, стукаясь головами, и письмоводитель скрылся в приемной. Подрядчик Никанор заставил, казалось, станового забыть об остальных посетителях, дожидавшихся в прихожей. По прошествии десяти минут язык Соломона Степановича устал, однако ж, выбивать мелкую дробь, и он снова спросил:

– Что там еще, Антон Антоныч?

– Помещика Бабакина человек-с; на ихней земле беглого поймали-с... привели-с...

– Фу, как надоели!.. Ну, веди его!..

Увидя входящего Антона Антоновича, мужики, стоявшие подле дверей, не тронулись уже с места: они, как видно, потеряли теперь всякую надежду.

– Ступай, брат, – сказал письмоводитель, обратившись к Якову Васильеву.

Яков Васильев взял Петю за руку и ввел его во вторую комнату.

– А! – произнес Соломон Степанович.

В этом восклицании не было ничего особенного; тем не менее Петя задрожал всеми своими худенькими членами; все помутилось и завертелось в глазах его, которые тотчас же наполнились слезами; он не смел поднять их, не смел пошевелить ресницами, боясь выдавить накопившиеся слезы и закапать пол, что было

бы действительно лишнее, потому что в этом месте, против стола станового, на пол и без того уже падало много слез. Но страх мальчика происходил, надо думать, от врожденной трусости; он ни на чем не основывался: как в голосе, так и в наружности Соломона Степановича не было ничего страшного. Соломон Степанович представлял из себя человека лет тридцати пяти с полным, румяным лицом, которое могло даже нравиться женщинам; его белые, сверкающие зубы, черные глаза и черные густые волосы, прохваченные мастерским пробором, возбуждали зависть уездного судьи, стряпчего и других значительных лиц уезда, у которых, как нарочно, были плешивые головы и весьма скверные зубы. Соломон Степанович с заметным удовольствием запахивался новеньким халатом из *термаламы* (классическая материя провинциальных халатов), подаренным ему месяц назад тещею.

Пете не только не следовало дрожать и плакать, но следовало бы радоваться и благодарить судьбу, что его привели к становому в настоящее время, а не прежде или после. Весь этот месяц Соломон Степанович находился в веселом, снисходительном, самом мягком и певучем расположении духа, так что весь подведомственный стан его не мог достаточно им нахвалиться. Такая внезапная перемена объясняется сама собою. Видано ли было когда-нибудь, чтоб человек, проживающий первый медовый месяц супружества, не был весел и вообще не выказывал значительного расположения к снисхождению и мягкости? Соломон Степанович только что женился и был донельзя счастлив. Одно то, что жена принесла ему в приданое восемь душ крестьян и дала ему таким образом возможность самому сделаться помещиком, что было всегда любимейшею его мечтою; сверх того, жена его была молоденькая, хорошенькая и имела, как оказывалось (с каждым днем он убеждался в этом), весьма кроткий, любящий и нежный нрав. Не далее как вчера, сидя на коленях мужа, она назвала его *Пипочкой*; ласки жены и нежные имена так понравились Соломону Степановичу, что молодая дала себе слово звать мужа не иначе, как уменьшительным именем; в тот же вечер из Соломона сделала она «Салиньку»... становой был в восхищении. Но Петя не подозревал всего этого и потому продолжал замирать от страха и дрожал

всем телом. Самому Якову Васильевичу было как будто неловко; он беспрестанно мигал Антону Антоновичу с видом взаимного соучастия, и хотя тот не смотрел на него, но все равно миганье с письмоводителем ободряло Якова Васильева.

— Ладно, Никанор Иваныч, мы еще поговорим,— сказал становой, обратясь к подрядчику.— Садись, бррратец.

— Покорно вас благодарю; я постою,— возразил подрядчик.

— Садись, садись...

— Помилуйте, зачем же это?.. мое дело такое... я могу постоять. Не извольте беспокоиться, я постою.

— Ну, как знаешь, бррратец, как знаешь,— весело произнес становой и обратился к Якову.— Когда поймали? — спросил он, кивая головою на Петю.

— Нынче утром-с... в ригу зашел к крестьянину.

— А! гм! ррраненько, брат, начал! Что ты, как бык, в землю-то смотришь? подыми голову!

Так как Петя не повиновался, то Яков Васильев торопливо взял его одною рукою за подбородок, другою за макушку головы и показал становому бледное, потерянное лицо мальчика, исполосованное потоками слез.

— Гм! раненько, брат, начал, раненько! — повторил становой.

— Мал еще, сударь, по глупости, может статься,— сказал подрядчик, с заметным состраданием поглядывая на мальчика,— может быть, нарочно угнал кто-нибудь... Где еще ему бродяжничать по своей охоте?

— Откуда ты? — спросил становой, пристально взглядывая на бродягу.

— Не... не знаю...— пролепетал мальчик, которого Яков Васильев, повинуясь знакам письмоводителя, все еще держал за голову.

— Ты у меня смотри, не ври, говори всю правду, а то я тебя заставлю говорить по-своему... Говори, где был перед тем, что пришел в ригу? — подхватил Соломон Степанович.

— Я у нищих... был...— произнес, рыдая, мальчик,— они хотели мне глаза выколоть... я убежал...

— Когда ж ты ушел от них — а?.. да смотри, не врать у меня! — промолвил Соломон Степанович с тем видом, какой был у него до женитьбы и до названия «Салинька».

— Нет, всю... всю правду скажу...

— Ну!

— Я... я две ночи бежал... да еще день бежал,— проговорил Петя, который побоялся броситься в ноги становому и просить у него пощады.

— Хорошо; ну, а до нищих где ты находился? Где они тебя взяли?..

— Я жил у матери... с отцом...

— Должно быть, Соломон Степаныч,— вмешался опять подрядчик,— должно быть, родные нищим его отдали на срок... это бывает...

— Нет, нет,— перебил Петя, горько всхлипывая,— нет! они меня силой у отца отняли... в лесу...

— Ну, это, брат, что-то хитро! Смотри, не врешь ли ты? смотри! Тут что-то не так, Никанор, а? как ты думаешь — а?

— Все может случиться, Соломон Степаныч,— спокойно-рассудительным тоном проговорил подрядчик,— может, отец в ту пору пьян был, место было глухое... Эти нищие, доложу вам, сударь, часто такие бестии бывают, что хуже иного разбойника... Обманывать вас он побоится. Надо думать, так ему случилось, как он рассказывает.

— Я всю правду сказал,— начал Петя, прерываясь на каждом слове,— ничего не утаил... всю правду сказал...

Миловидное, кроткое лицо мальчика, его отчаянье, звук его голоса — все подтверждало искренность его показаний. Сам Соломон Степанович, казалось, смягчился и превратился снова в «Салиньку».

— Ну, а какой ты губернии?.. какого уезда? ты этого не помнишь? — спросил он.

— Марьинское... Марьинское прозывается,— вымолвил Петя, решаясь поднять глаза.

— Гм! Марьинское...— пробормотал становой, потирая лоб и как бы отыскивая в памяти своей такую губернию или уезд.— Да может быть, так село прозывается, где жил отец твой?

— Да, Марьинское... деревня, где мать и отец; они оттуда увели меня,— сказал Петя и снова заплакал.

— Что ж мне с ним делать, я, право, не знаю? Где ее отыскивать, эту деревню? Антон Антоныч, пометь деревню «Марьинское» на всякий случай для отправки с ним в земский суд: может, как-нибудь там и отыщется, как пропечатают объявление о поимке; а до то-

го времени одно остается сделать: записать его в список «не помнящих родства».

— Жаль, Соломон Степаныч; мальчик-то, кажется, смирный... Так пропадет, ни за что,— произнес подрядчик.

— Да что ж с ним делать-то, братец? делать-то больше нечего...

— Можно на поруки отдать кому-нибудь; коли доброму человеку попадется — не пропадет!

— Да кто ж его возьмет? кому он нужен? Вишь, слабый, маленький, кому он нужен?

— Пожалуй, я возьму,— сказал подрядчик, поглаживая бороду.

— Возьми, братец, возьми; я очень рад; ты всех нас избавишь от лишних хлопот... Только знаешь, Никанор, надо будет, как по закону следует, оставить расписку в том, что так и так, обязуешься выучить его мастерству какому-нибудь, а не держать так, зря, как собаку...

— Помилуйте, сударь, мы ведь также в церковь ходим и в бога веруем! — с достоинством промолвил подрядчик.— Как, примерно, сами по плотничной части занимаемся, так все равно и его тому же обучать станем. Пожалуй, я хоть сейчас распишусь, в чем сказать изволили...

Соломон Степанович, подумав, что подрядчик делает это, имея в виду какие-нибудь выгоды, мог бы привязаться к случаю и не упустить собственных выгод; но, как уж сказано, он в этот месяц был особенный человек; к тому же одною из отличительных добродетелей станового было чувство благодарности: он помнил, что перед свадьбой Никанор поднес ему пару славных гусей, а после свадьбы для поздравления подарил двух отличных уток, из которых селезень был заводский хохлатый шипун. Соломон Степанович не сделал, следовательно, ни малейших прижимок подрядчику касательно мальчика; он велел дать бумагу и сам даже продиктовал Никанору обязательство, требуемое законом.

Во все это время Петя не отрывал глаз от подрядчика. Лицо Никанора не пугало его, но он все продолжал еще плакать. Припоминал ли он добрую барыню, которая так обласкала его, хотелось ли ему к ней возвратиться, или неизвестность того, что ожидало его у нового хозяина, стесняла его сердце, только слезы

сами собою текли по щекам его и свободно теперь капали на пол становой квартиры, что, как известно, было уж совершенно лишним.

— Ступай, братец, скажи, что хорошо; мальчика взяли на поруки,— проговорил становой, обратясь к Якову Васильеву.

Яков Васильев взглянул на дынное лицо Антона Антоновича; Антон Антонович выразительно мигнул. Дворовый человек поклонился Соломону Степановичу, сделал шаг вперед и положил на край стола полтинник.

— Что это? — с улыбкой удивленья спросил становой.

— Отдать велено...

— Нет, братец, нет, возьми назад, мне не надо этого,— с благородством во всех чертах проговорил Соломон Степанович.— А вот если они хотят отблагодарить меня за то, что избавил их, скажи... скажи, чтоб лучше прислали возочек муки; а это,— подхватил он, отдавая назад полтинник,— это возьми назад...

Яков Васильев поклонился еще раз и вышел, думая: «Экой, брат, ловкий какой! Ведь мука-то теперь девять с полтиной... Ловок, нечего сказать... ловок!»

Дело, по которому Никанор явился к становому, задержало его не надолго; спустя немного он вышел с мальчиком на улицу. Телеги с плачущей бабой уже не было; старичок, продающий лубочные картинки, также исчез. Яков Васильев уехал. Последний побоялся, видно, чтоб полтинник не проткнул ему кармана в шароварах, снова поспешил разменять его. Петя вспомнил добрую барыню, которой он даже не послал поклона, и опять заплакал. Никанор Иванович обласкал его и помог ему усесться хорошенько на телегу. После этого он сам сел подле мальчика и слегка постегал сытую серую свою кобылку, которая скоро вывезла их вон из села.

— Ты, паренек, не плачь; зачем плакать? плакать не годится,— сказал он, ласково поглядывая на Петю,— мы ничего худого тебе не сделаем; ты, я вижу, мальчик хороший, добрый; станешь слушаться, тебе хорошо будет. Обижать тебя никто не станет; а пуще, надо стараться не лениться, к работе привыкать; кто сызмаленьку привыкает, тому потом все легче да легче пойдет. Ты охотник ли работать-то — ась? — шутливо присовокупил он.

— Да... буду... я, дядюшка, буду работать...— со вздохом проговорил Петя, переставший плакать.

— Ну, вот и хорошо! — подхватил тем же добродушным тоном Никанор Иванович.— Работать хорошо будешь — мы из тебя человека сделаем, не то что, примерно, шалопая какого — нет, настоящего! А там возрастешь, сам большой будешь... Тогда, статься может, как-нибудь, с божьею милостью, и родных найдешь... То-то им весело-то будет, как увидят тебя большого такого, с пилой за плечами, с топором за поясом. Сам избу тогда им поставишь — вот как!..

Мало-помалу Петя перестал вздыхать, а к концу дороги доверчиво уже смотрел в светлые глаза Никанора Ивановича и внимательно слушал его добрые, ласковые речи.

III

РАДОСТЬ И ГОРЕ

Между тем как Петя переходил таким образом из рук в руки и вел самую кочевую, неопределенную жизнь, семья его обзаводилась домком и обстраивалась на новом своем месте. Нечего сказать, мужичок Андрей из Панфиловки мастер был строить мазанки. Он, правда, не гнался за красотою, не любил ни резных, узорчатых подзоров, ни петухов на макушке кровли, ни ставней, расписанных цветочными горшками: все это называл он пустяшным делом, нестоящею мелкотою; но зато постройки его отличались плотностью необыкновенной: солнцем не пропекало, ветром не продувало, зимой не промерзало. Образцом такой постройки могла служить мазанка Тимофея: плотно и прочно; одно слово сказать, что плотно. Одним немножко обижалась Катерина: подле мазанки не только не находилось деревца, но даже хворостинки; кругом разбегалась неоглядная луговая степь, сливавшаяся с небосклоном. С той только стороны, где находился хуторок Анисьи Петровны (до него считалось версты четыре), жнивье убранных уж полей обозначалось бледно-желтою полосою, которая несколько разнообразила зеленое море травы. Снятая рожь позволяла теперь верно указать на то место, где располагался хутор; он отмечался темной, неопределенной

точкой: то была макушка старой ветлы, осенявшей прудок Панфиловки. Несколько левее в двух-трех местах мелькали другие маленькие хутора; наконец ближе к мазанке, там, где кончилось уж жнивье и начинались луга, выглядывала темным пятном усадьба богатого гуртовщика Карякина. До последней, если идти все прямо, было не более двух верст. Весь остальной кругозор обозначался волнистыми, постепенно убегающими линиями луговой степи. Такому обилию травы особенно должна была радоваться рыжая корова, только что купленная Катериной; корова стоила дорого; но без нее обойтись нельзя при множестве ребятишек; тем ведь только и живы, как в накрошенный хлеб либо в кашу молочка подольешь. Шагах в двадцати от мазанки находился водопой и колодезь. Андрей и два других мужика, два мастака в деле отыскиваний по приметам неглубоких подземных источников, бились над ним пять дней; они, вероятно, бились бы долее, если б не подстрекал их и не ободрял Лапша. Сам он, к сожалению, не мог подсоблять лопатою: в эти пять дней одышка, поперхота и лом в груди не давали ему покоя.

В одном только случае переселенцы отступили от плана, начертанного Сергеем Васильевичем Белицыным: они не построили огромных навесов, долженствовавших защищать от ненастья гурты волов, которые будут прогоняться через луг: во-первых, лес так был дорог, что недостало бы денег у Катерины; во-вторых, из слов местных жителей оказалось, что гурты ходят такими большими партиями, что не закроешь их никакими навесами; как скот, так и гуртовщики, его сопровождающие, привыкли ночевать в лугах под открытым небом и не боятся никакой погоды перед ярко пылающим костром; ни один из них полушки не даст, чтоб постоять под навесом: они предпочтут отнести деньги в кабаки, которые рассыпаны в изобилии по всем степным дорогам. В полуторе версте от карякинской усадьбы, по дороге к Панфиловке, находился также кабак. «Как же, пойдут к вам гуртовщики! Жди хоть год, ни один не заглянет!» – утвердительно говорил Андрей из Панфиловки. Обо всем этом отписала Катерина в Марьинское управителю Герасиму Афанасьевичу. Недалеко было ей ходить за грамотным: у Карякина проживал какой-то хромой и горбатый человечек, по имени Егор, который за дву-

гривенный приходил к кому угодно с листиком серой бумаги, с пузырьком, заменявшим чернильницу; он ловко строчил письма и просьбы; за последние он брал, впрочем, дороже: «не велено», говорил он в свое оправдание. Андрей предупредил Катерину, что этот Егорка великий негодяй, но Катерине с ним не детей было крестить: написал письмо, деньги взял, и ступай подобру-поздорову. В письме своем Катерина спрашивала о Пете и снова просила Герасима Афанасьевича отослать мальчика в степь по пересылке, в случае если он нашелся.

Десятидневное пребывание в степи, а еще более беседы с Андреем и его женою окончательно убедили Катерину, что трудно будет ей жить на новом месте. Хлеб, конечно, втрое дешевле здесь, чем в Марьинском, но все же надо покупать его, тогда как в Марьинском он добывался с поля. Корова поглотила почти все деньги, которыми могла располагать Катерина для себя собственно; о приобретении лошади для обработки двух-трех десятин луга нечего было и думать. К тому ж, как только дело коснулось пахоты, Лапша объявил наотрез, что пахать не в силах. Неизвестно, что расслабляло Лапшу: переезд ли с места на место, доставивший ему, впрочем, случай спать месяц сряду, перемена ли воздуха, тоска ли по родине, или, наконец, расшибленная грудь, которая в первое время после падения в овраг долго не сказывалась и не так сильно мучила Лапшу, как теперь, по прошествии нескольких месяцев,— дело в том, что Лапша заметно хирел. В двадцать лет замужества Катерина так хорошо изучила мужа, что не могла уж поддаваться его охам, вздохам и жалобам; но она сама теперь заметила в нем перемену; в кашле Лапши не было теперь ничего притворного: кашель начинался иногда ночью (в прежнее время Лапша кашлял только днем; ночью спал как убитый, особенно когда хорошо ужинал); теперь кашлял он всю ночь напролет, вплоть до зари. В первый день, как ставили мазанку, Лапша хлопотал и усердствовал больше всех, но по прошествии часа так выбился из сил, так умаялся, что отказался от обеда: последнее убедило Катерину, что силы действительно оставили мужа.

Хотя муж не был для Катерины надежным помощником, но хворость его все-таки прибавляла ей лишнюю заботу: у нее и без того уж было их так много!

Кроме хлеба, приходилось еще прикупать конопель, пряжу, пшено, соль; мало ли нужд в большой семье, при малых ребятах! Чтоб удовлетворить частью всем этим требованиям, Катерина решилась согласиться на просьбу Андрея: отпустить к ним Машу в виде работницы. Люди были хорошие, честные, изведанные: обижать не станут. Катерина надеялась одна справиться с домашними хлопотами; она нашла, что у нее останется еще много свободного времени, и просила Андрея и жену его посылать к ней окрестных мужиков и баб, нуждавшихся в шитье; она мастерица кроить и шить рубахи, поддевки, выделывать всякие узоры на кичках и полотенцах; о заплатах и говорить нечего: Катерина так крепко ставила заплаты, что они переживали долее, чем соседнее, по-видимому даже здоровое место. Три мальчугана Катерины (мы не упоминаем о четвертом, который только и делал, что спал или сосал грудь), три мальчугана были так еще малы, что ни в чем не могли пособить матери; они рыскали с утра до вечера по лугам, всюду сопровождаемые верным Волчком. Сумасшедшая Дуня также пропадала в лугах по целым дням; иной раз она не являлась даже к обеду, что, с одной стороны, пробуждало беспокойство Катерины, с другой – невольное чувство радости: оставалось больше хлеба на завтра.

Несмотря, однако ж, на все эти работы, хлопоты и стеснения, Катерина чувствовала, что ей здесь несравненно покойнее жить, чем в Марьинском. Ей недоставало только Пети: тогда она была бы совершенно даже счастлива и охотно провела бы здесь остаток дней своих. Житье было, точно, спокойное, тихое: в неделю раза два-три заглядывали Андрей, его жена и дочь Маша. Кроме этих лиц да еще хромого и горбатого Егорки, который явился всего два раза, чтоб писать письмо, ни одно живое существо не показывалось в лугах, окружавших мазанку. Безмолвие степи точно так же ничем не нарушалось; только вечером, при солнечном закате, когда весь этот простор охватывался огненным заревом и, постепенно бледнея, убегал лиловыми линиями в неоглядную даль, тогда только все вокруг оживлялось криками дергачей, перепелов и шумом стрепетов, которые перелетали с места на место; но все это опять умолкало с наступлением ночи. Степь закутывалась в темно-синий плащ и сама как будто засыпала. Последние вспышки заката угаса-

ли; во все стороны величественно раскидывалось небо с мириадами сверкающих звезд. Наступало мертвое, непробудное молчание самой глухой пустыни. Изредка далеко-далеко раздастся рев отставшего быка. До сих пор одни только эти звуки, весьма редкие, впрочем, напоминали жителям мазанки о существовании гуртов: Катерина по крайней мере не видала ни одного быка на своем лугу. Это происходило потому, вероятно, что Федор Иванович Карякин, согласно обещанию *обрадовать* чем-нибудь Анисью Петровну в ее горе, отказался от луга Белицыных, как только поселились на нем мужики их; но такое обстоятельство не мешало, однако ж, нашим переселенцам проводить благополучно дни и ночи.

Раз (это случилось недели три после окончательного переселения в степь) семья Лапши находилась у входа мазанки. Было часов шесть утра. Солнце давно уже поднялось в ясном, безоблачном небе и начинало даже припекать. Семейство переселенцев расположилось у входа мазанки, потому что с этой стороны падала длинная прохладная тень. Катерина сидела на траве; она спешила приставить дюжины полторы заплат к коротайке, которую два дня назад поручил ей один из мужичков Панфиловки. Лохмотья, предназначенные для заплат, и лохмотья самой коротайки лежали на ее коленях; с правой руки ее, на старом тулупчике, валялся последний ее ребенок; слева, между мотком ниток и ножницами, виднелся ломоть хлеба, к которому время от времени прибегала она. Подле — три мальчугана кричали и прыгали с ломтем хлеба в руках; Волчок переходил от одного к другому, усаживался на свой крендель, устремлял на каждого страстно-нетерпеливые глаза и невообразимо быстро двигал хвостом, когда который-нибудь из мальчуганов подносил хлеб к губам. Лапша поместился позади всех, на пороге мазанки; он не принимал участия ни в завтраке, ни в болтливой беседе между матерью и ребятенками. Уперев угловатые локти в костлявые колени, положив голову между ладонями, он глядел с видом тоски и изнеможения в степь, которая расстилалась перед его глазами; узенький сухой лоб его как будто не в силах уже был поддерживать таких огромных черных бровей: брови лежали пластом, как две мертвые пиявки. О чем думал Лапша — этого он, верно, и сам не мог растолковать; но все равно, каков

бы ни был ход его мыслей, они поминутно прерывались тяжким кашлем, который душил его. Катерина заметила, что кашель мужа не прерывался теперь даже с зарею. Для пополнения семейства недоставало Пети, Маши и безумной Дуни. О Пете мы знаем только, что он отправился с подрядчиком Никанором, который взял его на поруки; Маша жила в работницах у Андрея. Что ж касается Дуни, она ушла до солнечного восхода в степь с горбушкой черного хлеба и палкой, которую не переставала убаюкивать, как младенца.

Как только ломти хлеба исчезли из рук мальчуганов, Волчок сделался тотчас же спокойнее, но, наоборот, мальчики обнаружили больше подвижности и живости. Они сказали, что побегут в степь за Дуней, и стали звать Волчка; но Волчок слушать не хотел; усевшись на свой крендель, как на резиновый кружок, который подкладывают под себя некоторые господа, он не переставал облизываться и задумчиво смотрел по направлению к хутору.

— Волчок! Волчок! — крикнули снова мальчики.

Волчок не трогался с места: внимание его, очевидно, занято было каким-то предметом. Секунду спустя он насторожил уши, вскочил на ноги, отбежал вперед шагов на десять, вытянул шею и залаял.

— Мама, никак, кто-то идет!..— крикнул Костюшка, пускаясь за Волчком.

Братишки также побежали за ним.

— Кому идти? — сказала Катерина, подымая глаза и обращая их к хутору,— Маше не время: они нынче последний овес подбирают. Погляди-ка, Тимофей, взаправду кто-то пробирается.

Но Тимофей не поднял даже головы, не обернулся.

Человек, которого издали увидел Волчок, заметно приближался; он шел, по-видимому, очень скоро. Немного погодя мальчики, бежавшие за Волчком, могли даже рассмотреть черты его. Вдруг все трое припустили во весь дух и закричали в один голос: «Ваня! Ваня!..» Катерина бросила наземь лохмотья, встала и, поправляя головной платок, пошла навстречу. Не успела она сделать десяти шагов, как уж человек сошелся с мальчиками и начал целоваться. Тогда Катерину встретили прежде всего широкие губы, которые улыбались от правого уха до левого. Минуту спустя губы эти чмокали уж Катерину в обе щеки.

— Ах, Ваня, Ваня! Вот не чаяла, не гадала! Как же это ты так, батюшка? Ну, здравствуй, родной, здравствуй! Когда ты пришел?

— Да нонче, тетушка Катерина, нонче,— возразил Иван, раздвигая еще шире свою улыбку,— нонче! Пришел на хутор, спрашиваю о вас; говорят: четыре версты... Эвна, думаю, только-то! не пуще устанешь! что ждать-то? думаю. Уж оченно добре́ вас повидать хотелось... Струмент отдал мужику на хуторе, а сам к вам. Оченно уж обрадовался, тетушка Катерина!.. Ведь вы мне как родные... знамо, обрадуешься!

Во время этого разговора, прерывавшегося радостными криками мальчиков и лаем Волчка, подскакивавшего к самому локтю гостя, Катерина и Иван успели подойти к мазанке. Лапша не тронулся с места; он только приподнял голову и говорил расслабленным голосом: «здравствуй, Ваня, здравствуй». Но Ивану и этого было достаточно; он бросился обнимать и целовать Лапшу с таким усердием, что, казалось, губы его видимо припухали.

— Что с тобой, дядюшка Тимофей? — вымолвил Иван, заметив наконец, с какою холодностью Тимофей отвечал ему на все его приветствия,— может статься, я в чем помешал тебе?

В ответ Лапша замотал головою и закашлялся.

— Что-то опять на грудь стал все жаловаться,— подхватила Катерина,— нездоровится все... Вот уж две недели так-то мается...

— О-ох! — простонал Лапша,— что уж тут!.. Пришло, стало, время... умирать надыть, Ваня...

— Вишь, отмены никакой в нем нетути,— перебила жена, стараясь улыбнуться,— все жалуется да пустое городит. Умирать! Рано собрался!.. С чего умирать-то?.. С нами еще поживешь...

— Нет... — проговорил Лапша, опуская бессильно голову,— нет... чую, смерть близко, помереть надо...

— Знамо, всем умирать надо; смерти-то никто не минует, да только говорить-то о ней, вперед-то загадывать не годится; все это во власти божией. Подь, порадуйся лучше дорогому гостю, что пришел... Ах, Ваня, Ваня! — заключила Катерина, похлопывая его по плечу.

Ваня, поощренный этою новой лаской тетушки Катерины, снова бросился обнимать ее и целовать до опухоли. Как только Катерина пришла в себя, первый

вопрос ее был, разумеется о Пете. О мальчике до сих пор не было ни слуху, ни духу; но Иван просил Катерину не сомневаться: Герасим Афанасьевич лично сообщил ему, что объявление о пропаже мальчика давным-давно послано куда следует, — мальчик непременно отыщется. Но так как все это мало утешало Катерину, Иван поспешил развлечь ее другими новостями из Марьинского. Все обстоит пока благополучно: господа уехали; кузнец Пантелей приказал долго жить, сгорел — не от огня сгорел, сказывали, вина много перепил; по воскресным дням, как и прежде, перед амбарным навесом собирается хоровод, в котором больше всех отличаются востроглазая бабенка да Матрена; скотница Василиса живет ни на что не похоже, обворовывает господ без милости; но управитель не смеет сменить ее: сама барыня приставила ее к должности и велела даже прибавить ей по два пуда месячины.

Рассказывая обо всех этих новостях, Иван точно черпал их из дверей мазанки, куда то и дело забегали маленькие глаза его. Катерина, подумав, что глаза Вани устремляются с такою жадностью на каравай, лежавший на столе и который можно было видеть в раскрытую дверь, поспешила войти в мазанку; немного погодя она вынесла гостю добрый сукрой хлеба и молока; все это принято было Иваном с великой благодарностью: аппетит столяра вполне соответствовал размеру его рта; завтрак исчезал с неимоверною быстротою.

— Ну, Ваня, расскажи мне, родной, как же ты жить-то станешь? — промолвила Катерина, весело поглядывая на гостя и вместе с тем покачивая головою с озабоченным видом. — Вот мы здесь, почитай, уж месяц живем, а нет того, чтоб слышали, надобность есть по рукомеслу по твоему... Надо все это обсудить; ты не алаберный человек, сам рассудить можешь: надо жить чем-нибудь; надо также об оброке подумать...

В настоящую минуту Иван думал только, казалось, о двери мазанки. Так как он был столяр, то в этом ничего и не могло быть удивительного.

— Как же, как же, тетушка Катерина, я уж об этом обо всем непременно рассудил. Так, знамо, нельзя... Оброк и все такое... — возразил Иван. — Вот маленько осмотрюсь, узнаю, какие такие здесь помещики, и всех

обойду, тетушка Катерина... всем рамы там или столы, комоды — все это я могу... А здесь работы не будет, в город пойду: город, сказывали мне на хуторе, верст сорок...

— То-то же, родной, надо за дело приниматься,— сказала Катерина,— побудь с нами денек-другой, да с богом! Ты, я знаю, сам проклажаться не любишь... Что на мазанку-то на нашу смотришь — ась? аль понравилась? Вишь как устроились... хорошо, что ли?

— Да, хорошо, тетушка Катерина... хорошо; крепкие должны быть стены-то, да и крыша того... да!.. Слышь, тетушка,— примолвил Иван с меньшей рассеянностью,— слышь, что ж это я не вижу... где ж у вас... Дуня-то?..

— А в луг ушла, родной... ушла до солнца... Все по-прежнему, такая же смирная; а нет этого, чтоб в разум входила... нет... такая же...

— Ну, а где ж Маша-то? — спросил Иван, сдерживая улыбку, которая, несмотря на старания, рассекала пополам добродушное лицо его.

Катерина объяснила, где была Маша. По поводу дочери она распространилась об Андрее и жене его. Она с первых же слов умела, видно, возбудить к ним сочувствие Ивана: он выразил желание познакомиться с ними и увидаться как можно скорее. Стоило взглянуть на лицо его, чтоб убедиться, как сильно было в самом деле это желание и как хотелось ему отправиться на хутор: маленькие глаза Ивана так же нетерпеливо посматривали теперь в ту сторону, как прежде устремлялись на дверь мазанки. Поговорив о том о сем, он вдруг встал и сказал, что пора отправляться.

— Куда ж ты, Ваня? — спросила Катерина,— я думала, ты здесь отдохнешь да пообедаешь...

— Нет, тетушка, вот что: я маленечко к вам поторопился, взял да струмент-то свой первому мужику отдал на хуторе; теперь сумленье берет: ну, как пропадет! Без струмента я совсем, как есть, пропащий человек.

Катерина побранила его за опрометчивость, но не удерживала более. Иван объявил, что нынче же вечером или завтра утром снова заглянет, и простился с переселенцами. Три мальчугана взялись провожать его до хутора. Сделав шагов двадцать, Иван быстро, однако ж, вернулся назад.

— Слышь, тетушка Катерина! дядя Тимофей,

слышь! — сказал он, становясь между мужем и женою, — я забыл вам сказать, ведь я дорогой-то, как сюда шел, Филиппа встрел... право, встрел...

При этом известии порог, на котором сидел Тимофей, точно подломился; Катерина опустила руки и побледнела.

— Как? где? когда? — спросили в одно время Катерина и Лапша, который поднялся вдруг на ноги, хотя ноги слабее теперь поддерживали его, чем полчаса назад.

— Да как вам сказать? — торопливо начал Иван, не замечая сотой доли того влияния, которое производили слова его; он больше поглядывал на хутор, чем на собеседников, — как сказать?.. верст пятьдесят отселева встрел. Он меня не видал, а я его признал... сейчас признал; с ним и мальчик его был, Степка-то... на большой дороге встрелись... Иду я по одной стороне, они по другой идут... О чем это ты, дядя Тимофей? Ты не сумлевайся: они, может, не сюда... — примолвил Иван, видя, что Лапша повалился на траву, застонал и заохал.

Тут Иван принялся точно так же утешать и обнадеживать Катерину; но слова его еще менее действовали на нее, чем на мужа: весть о Филиппе сразила ее совершенно; точно туча набежала вдруг и бросила мрачную тень свою на лицо бабы, за минуту еще перед тем такой веселой. Судорожно скрестив руки на груди, склонив к земле бледное лицо с вздрагивающими ноздрями, она слова не слышала из того, что говорил теперь Иван, и только шептала:

— Знать, надоумили, опять наслали погубителя нашего!.. Господи, творец милостивый! — подхватила Катерина, всплескивая руками, — ослобони ты нас, господи, от напасти такой, от человека лихого! Знать, много мы провинились пред тобою: за грехи за наши посылаешь...

Лапша твердил между тем, что «умирать время», — вот все, что можно было разобрать посреди его стонов, и охов, и вздохов. Иван и сам уж каялся, что поведал им обо всем этом. Одно то, что тетушка Катерина заставила его повторить со всеми подробностями о встрече с Филиппом, что сильно задерживало его, тогда как все сильней и сильней влекло его убедиться в целости инструмента; с другой стороны, ему жаль было видеть, как убивались Лапша и Катерина.

Удовлетворив желание последней и снова присовокупив к этому несколько утешительных догадок, Иван не замедлил направиться к хутору. Мальчуганы снова ввязались провожать его. Напрасно Иван убеждал их остаться, уверяя, что дело у него самое спешное и он пойдет очень скоро: они не хотели отстать. Пробежав вприпрыжку четверть версты, они сами увидели наконец, что не осилят, и вернулись домой.

Если б сказали Ване, что в настоящую минуту к его инструменту подходит вор, он и тогда, кажется, не мог бы идти с большею поспешностью. Чрез полчаса он входил к мужику, у которого остановился; но вместо того, чтоб осведомиться о целости инструмента, он осведомился, где находилась мазанка Андрея. Ворота мазанки были заперты; на стук его никто не откликнулся; он постучался в окно, но и оттуда не последовало ответа.

— Кого тебе, батюшка? — спросила баба, вышедшая из соседних ворот.

Узнав, чего надо, она сказала, что Андрей и вся семья его ушла в поле убирать последний овес. Так как незнакомцу была самая крайняя надобность видеть Андрея, то баба рассказала, как пройти в поле.

От зари до настоящей минуты Ваня прошел без малого верст тридцать: он так бодро пустился снова в путь, что можно было думать, его держали взаперти три месяца сряду; улыбка на лице его и веселые взгляды, устремленные во все стороны, красноречиво подтверждали такое предположение. Ваня находился уже в пятистах шагах от хутора, когда услышал за собою дребезжанье экипажа и спешный топот лошадиных копыт; вместе с этим слух его поражен был щелканьем бича и песнею, которую тянули тоненькою, визгливою фистулою. Обернувшись, он увидел статную серую лошадь, запряженную в беговые дрожки; лошадью правил красивый молодой человек в картузе, щегольском казакине и широких казацких шароварах.

«Должно быть, здешний помещик», — подумал Ваня, снял шапку и отошел немного в сторону, хотя до лошади оставалось еще далеко.

Ваня не понял сначала, как барин, у которого закрыт рот, мог петь так громко; секунду спустя дело объяснилось: за спиною барина сидел человек, которого Ваня принял сначала за мальчика. Он был горбат

и спереди и сзади; белокурые, рыжеватые волосы его закладывались за уши, как у барина, что придавало угловатому лицу горбуна и большому носу его окончательное сходство с тонко заостренным клином; на заднем горбу красовалась гитара, державшаяся помощью шнурка, перекинутого через плечо, и качавшаяся из стороны в сторону при каждом скачке дрожек. Крепко ухватившись обеими руками за нижние перекладины экипажа, горбун выкрикивал песню, слова которой ясно уж теперь разбирал Иван:

...Вниз спустяся к ручеечку,
Близ зеленого лужка,
Вижу: барин едет с поля,
Две собачки впереди.
Лишь он встретился со мною,
Бросил взором на меня.
Здравствуй, милая красотка!
Из которого села?
Вашей милости крестьянка,
Отвечала ему я!..

Хотя Иван посторонился и лошадь ни в каком случае не могла зацепить его, но господин, сидевший на дрожках, счел необходимым прокричать во все горло:

— Посторонись! прочь с дороги! раздавлю!..

— Федор Иваныч, Федор Иваныч! — пискнул горбун, высовывая из-за плеча его свою заостренную мордочку,— по ногам его арапником... по ногам хорошенько!

Но Федор Иванович ограничился тем, что щелкнул арапником по воздуху, засмеялся и сказал:

— Ну, Егорка, пой... Пой, увеселяй меня — ну!

Егорка снова ухватился за ребра дрожек и снова затянул фистулою:

...Отвечала ему я!..
Хоть родилась ты крестьянкой,
Можешь быть и госпожой,
И во всем новом наряде
Будешь вдвое хороша!..

Дребезжанье быстро удалявшихся дрожек заглушило слова песни. Впрочем, Ваня к ней и не прислушивался: его так сильно занимала дорога, ведущая в поле Андрея, что он забыл, казалось, и Егорку и самого Федора Ивановича.

Вскоре показалась часовня, о которой говорила ба-

ба. Он свернул влево на поле и пошел межою. Немного погодя увидел он вдалеке мужика и бабу, которые накладывали на телегу снопы овса. Иван догадался, что то были, вероятно, Андрей и жена его; трое ребятишек, скакавших подле телеги, убеждали его даже в том, что он не ошибался; но он не пошел почему-то к ним, а продолжал держаться межи. Шагов через двадцать попались ему две бабы, которые вязали снопы и, верно, наняты были Андреем; но он опять-таки не обратил на них внимания. Так как внимание его исключительно принадлежало небольшой части поля, где овес не был еще сжат и длинными, неправильными клиньями возвышался над жнивьем, то он не замедлил увидеть там голову лошади, хватавшей справа и слева овсяные гроздья. Сделав еще шагов десять, Ваня увидел Федора Ивановича, а подле него... Но так ли он видел? Не просмотрел ли как-нибудь? Нет: подле Федора Ивановича стояла Маша, дочь Катерины. Она не могла заметить Вани, потому что стояла к нему спиною. Около нее вертелся, прихрамывая, горбун. Не было никакой возможности разобрать, что говорил Федор Иванович и что отвечала Маша: оба говорили вполголоса; к тому же Егорка не переставал бряцать на гитаре и, подвертываясь на хромой ноге то к Федору Ивановичу, то к девушке, тянул во всю фистулу свою:

Что ты, Маша, приуныла,
Воздохнула тяжело?
Я в любезного влюбилась,
На злодеев не гляжу...
Взвейся, взвейся, сиз голубчик,
Прилети сюда, ко мне...

Ваня не успел еще хорошенько протереть глаза, как вдруг Федор Иванович подскочил к девушке, обнял ее и поцеловал. При этом на лице Вани появилась такая улыбка, как будто он собрался разразиться неистовым хохотом. Он не засмеялся однако ж...

— Помещик... помещик!..— вот все, что мог проговорить Ваня.

Он свесил руки, поболтал ими с таким видом, как будто сам не знал, что делал, потом опустил голову, потом повернулся и пошел к хутору еще скорее, чем шел оттуда. Голоса двух баб, на которых не обратил он прежде внимания, остановили его на минуту.

— Кажинный день так-то, касатка,— говорила одна из них,— она в поле, и он в поле... Стало быть, полюбилась! Сказывают, вишь, сколько-то денег дал...

— Куда ему деньги-то девать? — миллионщик! Знаю, касатка, всю озолотит, и то останется,— возразила другая баба.

Иван не дослушал дальше и продолжал отхватывать к хутору еще скорее прежнего. Войдя к мужику, у которого остался инструмент, Ваня спросил только: «где сеновал?» — и, получив ответ, тотчас же туда отправился. Часов пять или шесть спустя после этого (время уже приближалось к вечеру), мужик, принявший к себе столяра, видя, что тот не возвращается, пошел проведать его на сеновал. Ваня крепко спал на сене. Лицо его несколько как будто припухло, веки были красны, но улыбка по-прежнему рассекала лицо его почти на две равные части.

— Экой, право, чудной какой!.. право, чудной! — произнес мужик, ухмыляясь,— и спит, кажется, крепко спит, а все смеется!..

IV

ВСТРЕЧА В ЛУГАХ

Но не в последний раз привелось Ивану так крепко спать на сеновале. Дни проходили за днями — Иван все еще проживал на хуторе. Каждое утро отправлялся он в луга проведать тетушку Катерину и каждый раз находил новое оправдание в том, что так долго заживался в Панфиловке: сегодня он точит инструмент, завтра ему приходит благая мысль переждать до исхода сентября: дело вернее будет — после уборки всегда больше работы и у крестьян и у помещиков; послезавтра он решительно идет в город и явился прощаться с тетушкой Катериной. Но проходил назначенный день, Ваня снова наведывался к жителям мазанки, и снова готово было новое оправдание. Он чувствовал, что тетушка Катерина догадывается, в чем дело, но слова не говорит ей об этом: и хотелось бы сказать, да как-то язык не ворочается: все ограничивалось, как всегда, одними улыбками.

Житье Вани в Панфиловке было, однако ж, следствием тайной решимости. Решимость явилась после

свидания с Машей, которое произошло вечером того дня, как он впервые увидел ее на поле вместе с Карякиным и Егором. Он теперь не сомневался в Маше: уверен был в ее расположении; но уйти из Панфиловки все-таки не было возможности. Начать с того, что после каждого разговора с Машей возникала самая крайняя необходимость переговорить еще раз. Кроме этого, преследования молодого Карякина смущали, надоедали и беспокоили Машу. Все это: и надобность беседовать с девушкой под вечер, и ее беспокойство, и волокитство Карякина ясно доказывали Ване, как важно присутствие его в Панфиловке.

Карякин сильно возмущал столяра. Иван все бы не так, кажется, смотрел на него, если б тот был дворянин или помещик. «Вестимо, стал бы тогда больше оберегать себя – стал бы опасаться, крестьян своих совеститься, – думал Иван, – а этот что? так, шушера! только в казакине ходит да на сотенной лошади ездит!.. Кого ему совеститься? да и совести-то откуда быть?.. Того и гляди выкинет недобрую какую штуку... От него все станется... Главная причина: денег оченно много; начнет ими сыпать... всех переманит на свою сторону. Эх!..» – заключал всегда Иван, нахмуривая лоб и как бы негодуя на улыбку, которая совершенно некстати являлась вдруг на губах его. «Знамо, совести нет! – подхватывал он каждую минуту, – вот ведь ездит в дом к помещице: племянницу, сказывают, сватает – чего еще надо? Нет, мало, стало быть: к девке деревенской подольщается, всякими манерами к себе заманивает. Какая после этого совесть... Эх!..»

Ивана столько же, впрочем, если не больше, возмущал горбатый Егор, приспешник и помощник Карякина в делах волокитства. Узнав от Маши в первый же вечер о проделках Егора, он тогда еще выказал неодолимое желание пощупать ему оба горба. Егор не выходил у него из головы; даже ночью, когда лежал Иван на сеновале, стоило вспомянуть горбуна – кулаки его страшно сжимались и такая улыбка раздвигала губы, как будто лежал он не на сене, а на Егоре и наколачивал ему третий горб. Егор в самом деле не давал прохода девушке: он заглядывал раза по два, по три в день на хутор, ловил ее в поле и на дороге, задобривал ее всячески, говорил льстивые речи, приносил подарки – словом, ухищрялся всеми способами,

чтоб склонить в пользу Карякина. Преследования эти были так явны, что Андрей и жена его неоднократно усовещивали Егора.

Узнав о последнем, Иван тотчас же явился к Андрею. Андрей, Прасковья и столяр так много слышали друг о друге от Маши и Катерины, что знакомство было делом минуты: они сошлись очень скоро. К концу беседы Иван предложил свои услуги и отправился с ними в поле. Он так усердно жал, косил и вязал снопы, что к солнечному закату уборка овса приведена была к окончанию. Иван трудился столько же для себя, впрочем, сколько для Андрея: он думал отрезать Карякину способ видеться с Машей. Теперь Карякин мог встретиться с нею не иначе, как на улице хутора, а это далеко не так удобно, как в поле.

Но Егору некого было опасаться в Панфиловке: он ни на ком не сватался. Егор приплелся на другой же день после уборки на хутор и, улучив минуту, когда Маша вышла за водою, начал к ней подвертываться. Откуда ни возьмись, выскочил Иван и стал между ними. Так как первые слова столяра встречены были насмешкой, то он прибегнул к угрозам и, без сомнения, привел бы в действие обещание свое пощупать горб Егора, если б не удержали его Маша и Прасковья, которая, к счастию, подоспела. Как ни хорохорился Егор, однако ж после этого он словно в воду канул: о нем не было ни слуху, ни духу. По прошествии четырех дней Маша созналась Ивану, что вчера встретила Егора за околицей: он поджидал ее там. Сначала он задобривал ее и так и этак, потом начал грозить. В чем заключались эти угрозы – Егор не сказывал, но только страшно грозил – грозил подвести и девушке, и ее заступнику такую механику, что оба жизни не будут рады. Иван решился сопровождать девушку всюду, куда бы ни пошла она за пределы Панфиловки. Случай скоро представился. Прасковья попросила Машу снести в соседний хутор вязку льна, который брала взаймы. Узнав об этом накануне, столяр выбрался ни свет ни заря из сеновала, миновал поле, обступавшее хутор, залег в траву и стал дожидаться; но прошел час, другой, третий – Маша не показывалась. Наконец Иван, терявшийся уже в догадках, увидел девушку: она была не одна; ей сопутствовал кто-то; Ивану нетрудно было узнать Егорку.

«Опять!..» – пробормотал парень сквозь стиснутые

зубы и сделал уже нетерпеливое движение, чтоб вскочить на ноги; но тотчас же, однако, пришла ему мысль запасть снова в траву и дать время горбуну отойти подальше от хутора. «Увидит меня — сейчас припустит назад; нагонишь только в хуторе... а там ничего не сделаешь. И без того худо говорить стали о девке-то», — подумал Иван, с досадой отслоняя траву, которая мешала ему смотреть на дорогу. Видно было, что девушка с жаром убеждала в чем-то горбатого своего спутника; она заметно ускоряла шаг, чтоб пройти как можно поспешнее пространство, отделявшее ее от хутора до хутора. Последнее обстоятельство смягчило несколько досаду Ивана; в улыбке его проявилось даже что-то насмешливое при виде, как горбун, выбиваясь из сил, чтоб поспеть за девушкой, закидывая хромой ногой, подвертывался к ней то с одного бока, то с другого. Так было до тех пор, пока Егор не вынул из кармана красного платка и не подал его девушке. При этом негодование овладело Иваном пуще прежнего. Как испуганный чибис, выскочил он из травы и пустился вдогонку за Егором, который в ту же секунду обратился в бегство, крича во всю фистулу свою: «караул!» и размахивая красным платком, который забыл впопыхах спрятать в карман. Маша кричала между тем Ивану, прося его оставить это дело; она хотела даже удержать его, но Иван быстро вывернулся и, сказав: «Ступай своей дорогой, ничего не бойся!», полетел снова вдогонку. Фистула Егора и крики «караул!» ни к чему не послужили: их нельзя было слышать из хутора. Как ни работала хромая нога его, как ни размахивали руки — все это мало также принесло пользы: в ста шагах от Маши, которая быстро удалялась, Иван поймал Егора за ворот и с одного маха бросил наземь. Упав на спину, Егор подставил тотчас же вперед здоровую ногу; но нога послужила Ивану рычагом, чтоб снова повернуть Егора спиною кверху. Началась жестокая свалка. Как ни был мал горбун, однако ж с ним не так легко было справиться: за слабостью рук он лихо защищался зубами; наконец столяр все-таки скрутил врага и отбарабанил ему порядочную тревогу по горбу и по шее.

— Теперь ступай, жалуйся! — сказал Иван, поспешно приподымаясь, между тем как Егор продолжал лежать на спине в скорченном положении с приподнятою ногою, — ты своему хозяину обо всем расска-

жешь, а я Анисье Петровне, барыне, обо всем расскажу... обо всех ваших делах ей поведаю...

Видя, что дело пошло на разговор, горбун опустил ногу и встал; бледное лицо его покрыто было по́том и пылью. Он начал оправляться и чиститься с таким видом, как будто с ним не произошло ничего особенного; взглянув на него, можно было думать, что он попросту споткнулся и упал, а Иван подбежал к нему и помог ему подняться на ноги. Выражение побледневшего лица сильно, однако ж, противоречило тому, что хотел показать Егор; он, кажется, так бы вот и прыгнул и вцепился в столяра, если б хватило смелости. Злобу Ивана, наоборот, как рукой сняло.

— Вишь, брат,— произнес он увещевательно,— говорил, отстань! говорил, не приставай к ней!.. Вот теперича...

— Ну, да ладно, ладно...— сквозь зубы проговорил Егор, у которого руки, ноги и голова дрожали,— ладно... Погоди... мы еще с тобою разделаемся...

— Что ж ты, опять стращать зачал?..— крикнул Иван, мгновенно разгорячась.

— Нет... ничего...— вымолвил Егор, понижая голос и бросая на противника ненавистные взгляды,— ничего... я говорю только: погоди!..

С этими словами Егор приосанился, заложил за уши растрепавшиеся волосы, надел картуз, принадлежавший когда-то Карякину, и, припадая на хромую ногу, не без достоинства направился в обратный путь. Иван, у которого не совсем еще улеглось сердце, засмеялся ему вслед, как бы желая дать знать, во что ставил его угрозы.

— Эй! — крикнул он,— эй! забыл платок-ат взять!.. Поди подыми! — подхватил столяр, подбрасывая носком сапога платок, предназначавшийся Маше и забытый Егором на траве.

Егор дал Ивану отойти, медленно, как бы прогуливаясь, вернулся назад, поднял платок, тряхнул им по воздуху и положил в карман. После этого он продолжал путь к дороге, которая соединяла Панфилово с усадьбой Карякина. Егор решился почесать горб и шею не прежде, как когда Иван не мог этого видеть. Побои для него были последним делом: в веселые минуты, особенно под пьяную руку, он сознавался, что ему случалось иногда по целым часам *проживать на кулаках*; но кулаки кулакам рознь. Кулаки, попавшие

на горб Егора, принадлежали большею частью лицам значительным, богатым купцам или помещикам, к которым переходил он из руки в руки в качестве потешника, шута и скомороха. В огромном числе кулаков, сыпавшихся на Егора, находились, конечно, такие, которые составляли неотъемлемую собственность мещан, лакеев и даже мужиков. Но потому ли, что он забыл о них, или потому, наконец, что эти лакеи, мещане и мужики, несмотря на низость звания, все-таки имели больше значения в глазах Егора, чем какой-нибудь двадцатилетний мальчишка, никогда еще не чувствовал он себя столь оскорбленным, как в настоящую минуту.

Мало-помалу, однако ж, угловатые, отвратительные черты его стали оживляться улыбками: он как будто что-то придумал, и плутовское, радостное выражение лица ясно показывало, что он оставался доволен своей выдумкой. Как ни был Егор ничтожен и презренен, от него можно было ожидать весьма многого: никто не подозревал, и тем менее помещики, щелкавшие его по носу, сколько пронырства, лукавства и злобы таилось в маленьком горбуне. Первые проявления этой злобы дорого, впрочем, ему стоили. Еще в младенческом возрасте он так больно укусил грудь матери, что та не удержала его и выронила наземь, – он сделался горбатым; десяти лет он стал в упор какой-то лошади и начал бить ее палкой по морде; лошадь опрокинула его и провезла колесо через его ногу. Благодаря, вероятно, фистуле своей он выбран был барином в певчие. С первых же дней товарищи возненавидели его; он не столько выкрикивал нот на новом своем поприще, сколько испускал жалоб под лозами и пинками певчих. Барин умер; певчие получили свободу. Егор стал переходить из одного хора в другой, но нигде не проживал более месяца: его выгоняли или за пьянство, или за какую-нибудь мерзость. Наконец Егор бросил церковное пение и занялся гражданским: последнее больше отвечало его наклонностям. Вооружившись гитарой, он стал тогда, как мы уже заметили, переходить от купца к купцу, от помещика к помещику. У нас до сих пор еще много помещиков, которые жить не могут без шутов и приживальщиков. Егорка с лихвою вознаграждал их за хлеб, за водку и за кров: он пел песни, плясал, брался передавать платки и серьги молодым бабам; смотря

по уговору, сделанному заранее с помещиком, он выпивал три графина квасу или пролезал под амфиладу из диванов и стульев, когда проигрывал в дурачки; когда же помещик оставался в дураках, что происходило очень часто, Егор получал деньги или водку. Как ни забавлялись помещики, однако ж они никогда не держали его более недели. Егорка выкидывал какую-нибудь мерзость – и его выгоняли вон. Так попал он, наконец, к Карякину. Молодой мещанин бил его, может быть, и чаще и больнее многих других, но Егор оставался им чрезвычайно доволен; он сразу смекнул, что Федор Иванович простоват, мотоват, любит песни, любит завихриться, любит бабенок – словом, такой малый, какого давно искал Егор. Благодаря склонности Федора Ивановича к гульбе, благодаря непомерной скуке, которую терпел он, благодаря его простоте и крайнему снисхождению в нравственном отношении Егор думал век свековать в усадьбе гуртовщика. Одно не нравилось Егору: именно, намерение Карякина жениться на племяннице Анисьи Петровны. Нимало не сомневаясь, что тогда прости-прощай привольное житье, он не пропускал ни одной мало-мальски смазливой бабенки, чтоб не обратить на нее внимание Карякина и не отвлечь его этим способом, хотя временно, от племянницы помещицы.

После всего сказанного ясным сделается, что Егорке не столько были чувствительны колотушки Ивана, сколько появление в степи столяра и вмешательство его в дело, которое (так по крайней мере казалось горбуну) начинало идти весьма успешно. Никто еще из простых не нравился так Карякину, как Маша. Неужто всем хлопотам Егорки пропадать теперь даром? Нет; он придумал славную штуку! Как ни вертись, а уж Маша будет в усадьбе гуртовщика! Сама Катерина пошлет ее туда – вот как!.. Чем больше думал горбун о придуманной им штуке, тем меньше сомневался в успехе.

V

ХМЕЛЬ. СТАРЫЙ ЗНАКОМЫЙ

Соображая свой план, Егор вышел к месту, где дорога из Панфиловки разветвлялась на два пути: один путь вел на усадьбу гуртовщика, другой к кабаку;

усадьба и кабак, находившиеся не в дальнем расстоянии друг от друга, располагались на большой дороге, по которой гоняли гурт, или *товар*, как принято называть быков между гуртовщиками. Горбун пошел прямо к кабаку; он не имел прежде такого намерения, но всему виною был платок, о котором он случайно вспомнил. Платок новенький и шелковый; сколько стоит он Карякину – неизвестно; целовальник верно, однако ж, знает цену; как человек знакомый, он, конечно, уж не обсчитает.

Горбун заковылял с такою поспешностью, что кабак видимо почти вырастал перед его глазами. То было длинное бревенчатое здание, одиноко торчавшее посреди степи. В одной половине помещались целовальник и его семейство; другая предназначалась для гостей; между тем и другим отделениями находились узенькие темные сени, загроможденные пустыми бочками. Посетителей было мало: всего-навсе сидело четыре человека, если считать одного мальчика и не считать целовальника, представлявшего из себя жирного мужчину с широкой черной бородою, рассыпавшейся веером по красной рубахе. Два погонщика, пригнавшие на заре быков в усадьбу Карякина, сидели рядом за особым столом; далее, через два стола, помещался черноволосый кудрявый человек лет сорока; он был оборван до крайней степени, хуже даже слепого Фуфаева в последнее время, подле него, болтая босыми ногами, сидел мальчик лет одиннадцати, с рыжими, почти красными волосами и вздернутым кверху носом.

Мы уже сказали в начале этого рассказа, что есть лица, в которых поражает не столько самое выражение, сколько какая-нибудь черта или особенность: такие лица узнаются из тысячи.

Так и теперь: стоило взглянуть на черноволосого оборванного человека, стоило обратить внимание на его тонкий нос с горбинкой посередине и подвижными приподнятыми ноздрями, открывавшими с обеих сторон часть носовой перегородки, чтоб сразу узнать в нем Филиппа, брата Лапши. Он сильно, однако ж, изменился в эти четыре-пять месяцев: щеки осунулись; болезненный цвет кожи превратился в свинцовый; глаза впали; в них заметно было больше энергии и отваги, чем прежде. Перемена в Степке была еще значительнее: он так вытянулся в этот короткий промежу-

ток времени, что казался вдвое выше; если б не верхняя губа его, рассеченная пополам, и не рыжие волосы, торчащие косяками и напоминавшие артишок, нужно было долго всматриваться, чтоб признать в нем мальчугана, досаждавшего черневской знахарке Грачихе.

Но Егор не обратил даже внимания на Филиппа и мальчика: ему, главное, хотелось показать себя перед погонщиками, которых видел он утром на дворе Карякина.

— Здорово, Софрон! — пискнул Егор, бросая картуз на соседнюю лавку и обеими ладонями разглаживая волосы. — Вишь, тебя не забываю, помню! Ну-ткась шкалик пенного, самого лучшего, чтоб первый сорт был...

— Деньгами, что ли, разбогател? — посмеиваясь, спросил целовальник.

Он стоял, опершись локтем на огромную бочку с пивом, которая лежала подле двери; над бочкой висела на гвоздях дюжина жестяных заржавелых кружек; подле лежали еще две бочки с вином; в углу торчали жестяные трубки для вытягивания вина.

— Деньгами разбогател? — вопросительно пискнул горбун. — Мы всегда в аккурате...

— У Карякина выманил, а?..

— Выманил? У нас этого нет, чтоб выманивать: бери сколько требуется...

— Не много ли? — насмешливо проговорил Софрон.

— Да ведь и денег-то у Федора Иваныча много! — поспешил перебить Егор, молодцуя перед присутствующими. — Мне все эти дела его... все счеты... обо всем этом сказывает потому, как он есть мне приятель, все единственно, ни в чем, значит, не таится! — заключил он, гордо поглядывая на погонщиков.

Но те как будто и не замечали его: они молча попивали вино, которое, по-видимому, поглощало все их внимание; слова горбуна нашли, однако ж, усердного слушателя в Филиппе: плутовские глаза его с любопытством остановились на горбуне.

— Теперича который последний гурт в Москву гоняли, пятнадцать тысяч получил Федор Иваныч! — продолжал Егор. — Пятнадцать тысяч — вместе считали...

— Не все же его; чай, отцу пошлет.

— Отцу? Там когда еще пошлет! пока у нас! Вот намедни в город ездил — то-то гуляли! фа-а! Погляди: вот платок мне купил. Носи, говорит, брат Егор, носи от меня на память!.. Такой душа малый! Каждый день дарит: девать некуда! Вот теперича хошь бы этот платок, куда мне его, даром шелковый...

— Отдай мне, коли лишний; нам дело подходящее! — сказал Софрон.

— Возьми, пожалуй! — произнес Егор, становясь спиною к посетителям и выразительно мигая целовальнику. — У нас этого добра-то, тряпок-то, сундук полный... На, бери...

Софрон взял платок и, усмехаясь, вышел в сени. Егор высоко поднял голову и стал прохаживаться мимо посетителей, насвистывая удалую песню. Немного погодя Софрон явился и поставил на пустой стол штоф вина и стакан. Егор поднес вино к губам, хлебнул и поморщился, еще хлебнул и еще поморщился.

— Полно ломаться-то, пей! Оченно уж разборчив! — сказал Софрон, снова прислоняясь локтем к пивной бочке.

— Будешь разборчив: я вот сейчас такую рябиновку пил, первый сорт: помещица Иванова потчевала...

— Ты разве оттуда?

— Да; посылала за мной лошадь, — без запинки проговорил Егор, допивая стакан, — посоветоваться насчет, то есть, как просьбу писать.

— Это насчет чего?

— О луге тягаться хочет... что луг отняли, которым десять лет владела.

— Ну, брат, пиши ни пиши, твоя просьба не поможет, — вымолвил Софрон. — Сказывают, господа, что крестьян-то на луг на этот поселили, добре богаты... Где ей с ними тягаться! Только деньги рассорит. У них, у тех господ-то, сколько-то тысяч душ, сказывают.

— Ничего! Мы свое дело справим с Федором Иванычем. Федор Иваныч держит ее руку... У тех господ души, может, еще души-то голые: у Федора Иваныча деньги...

— Ну нет, брат, у твово Карякина руки коротки с ними мериться! Ему и в дело входить не из чего... Станет он, как же, станет сорить деньгами для Ивановой!

– То-то и есть, что станет. У меня спроси: все знаю...

– Что спрашивать! я и сам не нонче пришел... А хошь и вступится, все ничего не возьмет, – подхватил Софрон, – у тех господ денег-то еще больше; уж это по тому одному видно, как они наградили крестьянина, которого сюда выселили; сказывают: четыре сотни дали...

Известие это сверх всякого ожидания не произвело ни малейшего действия на Филиппа; он только что успел побывать у Лапши, выведал все дела его и знал, что слова Софрона ни на чем не основывались. Егор подтвердил такое мнение: услышав о четырехстах рублях переселенцев, он допил второй стакан и залился звонким смехом... Он объявил Софрону, что знает дела переселенцев так же верно, как карякинские дела. У переселенцев не только четырехсот рублей, гроша нет.

– Вот как! – подхватил он, подсмеиваясь, – раза два письма им писал, просили очень, так даже гривенника не нашли... бились, бились, всего восемь копеек сколотили. Мне, знамо, наплевать... я так с них, для смеха требовал. Не токма денег, хлебом и тем скучают – вот как господа наградили! Деньги, точно, были бы у них, да только не через господ, а через моего Федора Иваныча, через меня – все единственно...

– Как так?

– А так! Меня послушают, в небольшом расстоянии капитал наживут... Есть, примерно, такая механика... подвести можно!.. – мигая, произнес Егор и налил третий стакан.

Филипп сделался внимательнее.

– Вишь ты, братец мы мой, – начал Егор, у которого язык развязывался с каждым глотком, – есть у этого мужика... у той бабы, Катериной звать, есть у них дочка, живет у Андрея в Панфиловке. Вот мы с Федором Иванычем около ней теперь хлопочем: оченно, значит, ему полюбилась... Известно, богач! всю может озолотить, коли захочет; и мать и отца, всех озолотит... Да вот поди ж ты! то-то, значит, дура-то деревенская, счастья своего не видит...

– Что? не поддается?..

– Чего? – крикнул Егор, прихлебывая. – Нет, это, брат, шутишь! не таковских видали, да и те не отвертывались... От нас не отвертишься! – подхватил

он, мигая и подбочениваясь.— Не то, братец, не то. Девка не прочь, да есть тут один такой человечек... он причиной... дело все портит...

— Что ж это за человек? — спросил Софрон, который потешался над горбуном.

— Так, сволочь самая, а туда же! куда мы, туда и он! Пришел, вишь ты, из ихних мест, откуда девка-то, парень такой, столяр, сказывает... Проведай обо всех этих наших делах с Федором Иванычем, возьми да и вступись: а та, дура, руку его держит... Да нет, это он врет, не удастся ему! Дай срок, девка не отвертится, это само собою... А он... подвернись только, мы ему покажем, все кости пересчитаем! — подхватил горбун, разгорячаясь более и более,— мы ему покажем, как с кулаками лазить!.. Уж погоди! подсмолю такую механику, будешь, собака, помнить!..

Смех Софрона перебил его.

— Видно, брат, ты не из-за девки одной на него серчаешь?...— сказал целовальник,— уж он не поколотил ли тебя — а?..

— Меня поколотил? меня? Нет, брат, руки коротки; семь верст не доехал меня колотить-то!..

— Уж будто тебя никто и не бивал? А Карякин-то? Сам намедни признался...

— Сам признался... сам признался! — перебил горбун, передразнивая позу и голос Софрона, причем Степка закатился во все горло; за ним засмеялись погонщики и Софрон.

Егор оглянул всех их шальными глазами, допил третий стакан и сел к порожнему столу между погонщиками и Филиппом, лицо которого во все продолжение последнего разговора то оживлялось, то делалось мрачным. Хмель сильно шумел в голове Егора; он помнил, однако ж, все, что сказано было целовальником. Желая, вероятно, оправдаться в мнении присутствующих, он объявил прежде всего, что Карякин бить его не может, потому что они приятели; они часто борются, так, в шутку, силу пробуют: вот о чем говорил намедни Егор и что дало повод Софрону думать, будто Карякин бьет его. Затем горбун, язык которого начинал путаться, снова перешел к девушке. По его мнению, Маша ничего не стоила; на месте Федора Ивановича он плюнул бы на нее после первой неудачной попытки. Надо знать себе цену: Федор Иванович красавец, молод: нравом малый-душа, богат как черт,

всю семью ее озолотить может; а она еще ломается! Она того не знает, дура полоротая, не знает она, каков есть такой человек Федор Иванович! Уж если кто понравился ему – надо быть первой в свете долбяжкой, чтоб его не слушать. Недавно еще одной мещанке, так из себя, даже не очень красивой, понравилась только,– отсыпал целую тысячу; прошлого года цыганка полюбилась – в три-четыре месяца передал ей тысяч десять да тысяч на пять шалей, платков, серег, колец...

Софрон, не перестававший смеяться, выразил сомнение в цифрах, приводимых горбуном; он знал, что все, рассказанное Егором, была отчасти правда, за исключением, впрочем, расходов, которые тот преувеличивал в сорок раз. Задетый за живое, Егор принялся по пальцам высчитывать доходы Федора Ивановича. По словам его, Федор Иванович никогда не считает денег: как только получит сумму, сейчас бросит мешок или бумажник на стол, позовет Егора и говорит: «Считай, брат; потом скажешь, сколько». Щедрость Федора Ивановича известна целому свету. Чтоб окончательно убедить в этом Софрона и присутствующих, Егор начал рассказывать о гулянках и попойках, которые они задавали в уездном городе: там происходило разливанное море; нужна была Карякину дружба Егора, чтоб не разориться в пух и прах. Вот теперь Карякин получил за последний гурт пятнадцать тысяч; их давно бы уж не было, все бы рассорил, кабы не Егор: он удерживает Федора Ивановича, потому что пятнадцать тысяч деньги не малые.

Софрон, находивший удовольствие раззадоривать охмелевшего горбуна, выразил снова сомнение. Егор вызвался сосчитать перед ним деньги: коли копейкой выйдет меньше пятнадцати тысяч, он позволял Софрону переломить ему здоровую ногу. Вследствие этого Егор приглашал Софрона в усадьбу, когда не будет Карякина, и обещался занять целовальника настолько, насколько требуется времени, чтоб сосчитать сотенными бумажками пятнадцать тысяч. Войти же во вторую комнату, где лежала шкатулка, взять ключ, который находился в ящике письменного стола, отворить шкатулку – все это дело одной минуты...

– Ты этак, смотри, брат, не очень рассказывай! – перебил целовальник, смеясь во все горло.– Теперь все, сколько нас здесь ни есть, все знаем, где деньги

у Карякина: кому потребуется, пошел да и взял... дело подходящее! – присовокупил он, как бы нечаянно взглядывая на Филиппа, который поспешно отвел глаза к окну.

В ответ на такое замечание Егор посмотрел на присутствующих, как бы вызывая их в свидетели, что Софрон был дурак неотесанный... Обокрасть Карякина! А разве Егора ни во что ставили? Он не отлучается от усадьбы. Разве ни во что ставили двух батраков, неотлучно находящихся при доме? А сам Федор Иванович? а два пистолета, висящие на стене? а две собаки, заплаченные сто рублей каждая?.. Сунься только – костей не соберешь! При этом Егор ни с того ни с сего запел вдруг песню, потом заговорил о Маше, потом перешел к столяру, разразился страшными проклятиями и угрозами, застучал кулаками по столу и вдруг снова запел было, но, не дотянув первой ноты, прислонился спиною к стене, стал жаловаться на головную боль, опустился на лавку и заснул, бормоча что-то под нос. Когда он проснулся, погонщики уже ушли; Филиппа и Степки не было; в кабаке оставался один Софрон, который лежал на лавке и хлопал сонными глазами. Он, как видно, потерял уж расположение смеяться. На просьбу Егора вынести стаканчик для похмелья Софрон промычал что-то и закрыл глаза. Егор заикнулся о платке, выставляя на вид, что платок шелковый и, следовательно, дороже стоит одного штофа вина; на это Софрон сказал «ладно» и погрозил свести счеты на спине Егора, в случае если он не отстанет. Егор, сделавшийся несравненно снисходительнее без посетителей, удалился.

Солнце стояло на самом полудне, когда он вышел из кабака. Платок, который, по мнению его, попросту украден был Софроном, мигом перенес его к встрече со столяром; при этом досада, чувствуемая против целовальника, выскочила из головы Егора, чтоб уступить место соображениям о механике, которую придумал он утром после того, как Иван поколотил его. Торопливое ковылянье левой ногой и улыбка ясно показывали, что горбун не сомневался в успехе своей выдумки. Пройдя шагов сто, он встретился с двумя погонщиками, которых видел в кабаке и которые гнали теперь волов, предназначенных для отправки в Москву. Егор подбоченился и гордо осведомился, дома ли Федор Иванович.

— Лошадь велел запрягать... ехать собирается,— возразил один из погонщиков, между тем как другой звонко посвистывал, подгоняя быков.

Егор пустился чуть не в бежки. Десять минут спустя он приближался уже к усадьбе, которая находилась от кабака всего в полуверсте. Она занимала десятину луга; все это место обнесено было небольшой канавой и валом; при входе в усадьбу находился небольшой бревенчатый дом, глядевший передним фасадом на дорогу; немного далее, по одной линии, помещались: экипажный сарай, конюшня и длинная мазанка, в которой жили работники Карякина и останавливались погонщики, пригонявшие скот; на противоположном конце усадьбы возвышалось долговязое бревенчатое здание, служившее складочным местом для кож, сала, воловьих рогов и других предметов в этом же роде, которыми торговал отец Карякина. Собаки, о которых упоминал Егор, помещались в конуре, одна — при входе в дом, другая — подле долговязого амбара. Они, надо думать, действительно были очень злы: не задерживай их цепь, они бросились бы даже на Егора, хотя он считался домашним человеком. Егор прошел мимо лошади, которую запрягал батрак в беговые дрожки, и вошел в дом задним крыльцом. Федор Иванович совсем уже готов был, чтоб ехать к Анисье Петровне; он только что напомадил волосы и вытирал жирные пальцы рук о старый халат, валявшийся на стуле.

— Что ты, каналья, так долго шлялся — а? — спросил Карякин, не поворачиваясь к горбуну и принимаясь расчесывать свои кудри перед маленьким зеркальцем, стоявшим на столе.

Такое приветствие со стороны приятеля и «человека-души», как называл его горбун, сильно ему не понравилось.

— Ну, бог с вами! когда так, пускай все пропадает! — произнес он, махая рукою.— Для вас хлопочу, как собака бегаю, язык высунув... Бог с вами!..

— Ну тебя! — крикнул Карякин, топнув ногой, потому что пробор не удавался.— Где платок? Отдал? Что она сказала? — примолвил он, ласково поглядывая в зеркало.

— То-то платок... теперь: платок!.. да вы послушайте...

— Ну? (Карякин обернулся.)

– Платок – фю! вот где платок! – вымолвил Егор, делая движение, как будто разрывает что-то на тысячи кусков.

Он рассказал Карякину о встрече своей с Иваном, рассказал, кто был Иван, когда пришел в Панфиловку, и какой имел интерес вступиться за Машу.

– Как же он смел платок разорвать?..

– Так, взял да и разорвал! «Плевать, говорит, мне на вас!»

Федор Иванович разразился ругательствами; он поклялся измочалить арапник на плечах Ивана при первой с ним встрече.

– Ну, Федор Иваныч, теперь вот какая штука! – вымолвил Егор, двигая бровями и подмигивая,– что вы скажете, коли да эта Маша будет здесь завтра же вечером, а может, и утром – а?

– Ах ты, каналья! – крикнул Карякин, думая, что Егор над ним потешается.

– Нет, вы позвольте, Федор Иваныч... позвольте: настоящее говорю... завтра будет! Такую уж механику подсмолил, Федор Иваныч! – примолвил он с комическим унижением.– Федор Иваныч, прикажите дать опохмелиться...

– Ничего не дам! – сказал Карякин, который был щедр в тех только случаях, когда хмель шумел в голове его; к тому же он думал, что горбун хвастает, врет по своему обыкновению. Высказав ему свое мнение, Федор Иваныч объявил, что водки давать не за что.

Егор клялся между тем, что сдержит свое обещание; он позволял бить себя три месяца сряду, просил выгнать из усадьбы, если завтра Маша не придет к Карякину. Он просил только предоставить ему это дело и не расспрашивать о средствах.

– Ну, хорошо! – сказал Карякин,– будет по-твоему, каждый день по графину водки и десять целковых награжденья.

– Ладно! по рукам! – крикнул Егор, протягивая руку, которую Карякин оттолкнул.

Он повторил свое обещание; но так как Егор снова пристал с водкой, Карякин шлепнул его по лбу ладонью, надел картуз, вышел, посвистывая, на крыльцо, сел на дрожки и, хлопая арапником, полетел к Анисье Петровне на хутор.

– Погоди ж ты, поганый купчишка! дай срок... мы с тобою за все сквитаемся! – проговорил горбун, при-

щуриваясь на облако пыли, которое оставляли за собою карякинские дрожки.

Он заложил волосы за уши, плотно надел картуз и направился в луга, в ту сторону, где находилась мазанка переселенцев.

VI

ВЫХОДКА ИВАНА И ВЫДУМКА ЕГОРА

Как только у Ивана отошло сердце (что произошло прежде еще, чем прибитый им горбун успел скрыться из вида), он понял, как поступил глупо и необдуманно, дав волю кулакам своим. Не лучше ли было бы оставаться в стороне и вполне довериться Маше? Он, конечно, проучил горбуна: горбун не станет теперь бегать за девушкой; но так как Маша не потакала Егору, не слушала его речей, не принимала подарков, он мало-помалу сам бы отстал; за ним отстал бы, наконец, и Карякин. Оба увидели бы, что здесь взятки гладки. Заступничеством своим Иван даст только огласку; о ней теперь пройдет худая слава по всему околотку — уж это верно; Егор сильно об этом постарается. Пожалуй, еще слухи дойдут до Катерины... Этот Егорка — плут первой руки, все говорят: от него все станется... Он и без того накануне грозил чем-то девушке: что значили эти угрозы?

Иван лег в траву и положил голову в ладони. Но чем больше соображал он обо всем случившемся, чем больше обдумывал последствия, тем яснее видел, какую сделал оплошность. «То-то вот, давно следовало бы послушать Катерину, давно следовало бы определиться к работе, к месту: ничего бы этого не было. Одно из двух: или доверять Маше, или нет; если доверяешь, так чего же еще тут вступаться?.. Эх, худо дело! хуже всего то, не знаешь теперь, как исправить!» — повторял Иван, которым с каждой минутой сильней и сильней овладевало смущение и беспокойство.

Он думал, думал и, наконец, придумал открыться во всем племяннице Анисьи Петровны. Племянница расскажет тетке о проделках Карякина; тетка, верно, рассердится на Машу и выгонит ее вон из хутора; Маша вернется к матери... Иван отправится в луга, пови-

нится во всем перед Катериной, уйдет в тот же день в город и начнет работать как лошадь. Иван не сомневался, что помощь, которую может получить через него семейство Лапши, будет гораздо значительнее той, которую доставляла Маша, живя батрачкой; семейство не останется, следовательно, внакладе — за это он ручался; кроме того, сама Катерина скажет ему спасибо, когда узнает причину, которая вынудила его прибегнуть к племяннице Анисьи Петровны. Этим способом Карякину и Егору окончательно отрезаны будут все пути к заманиванию девушки. Поди-ка, попробуй, сунься в мазанку Катерины! Решившись на такой подвиг, Иван, не медля ни минуты, отправился в Панфиловку. Дорогой он принялся обсуживать, как бы удобнее привести в действие свое намерение: для того необходимо было проникнуть на барский двор или в сад, выждать там барышню и наедине переговорить с нею... Все это тотчас же оказалось невозможным: Пьяшка портила все дело.

«Уж от нее не уйдешь!.. ничем не отделаешься», — подумал Иван.

Надо заметить, что в последнее время Пьяшка преследовала столяра с большею еще настойчивостью, чем Егор преследовал Машу. Егор ловил Машу, Пьяшка ловила Ивана. Стоило Ивану показаться подле дома помещицы, Пьяшка вырастала пред ним как из травы. Преследования Пьяшки, по всему видно, не были, однако ж, внушаемы чувством ненависти: черные, маслистые глазки ее ласково устремлялись на молодого столяра; при встречах с ним в руках ее всегда появлялись обломок лепешки, кусок пирога, огурец или яйцо; вступая в разговор с молодым парнем, она как бы нечаянно совала ему в руку эти припасы. Предчувствие не обмануло Ивана: едва поравнялся он с маленьким флигельком помещицы, Пьяшка показалась на пороге. Она держала обеими руками суповую чашку; к подолу ее цеплялся семилетний оборванный мальчик, о котором она никогда не упоминала; мальчик поражал, однако ж, сходством с Пьяшкой. Увидев Ивана, она тотчас же остановилась и принялась покручивать головой, украшенной на затылке пучком волос величиною с грецкий орех. Отступить было поздно; Иван подошел к ней и поздоровался.

— Здравствуй, Ваня, здравствуй... — заговорила Пьяшка, толкая ногой мальчика, который так дергал

ее за подол, что суп в миске начал плескаться,— куда это ты шел, Ваня? — примолвила она, поглядывая на парня радостными, светящимися глазками.

— Так... мимо шел.

— Что ж это ты, Ваня, никогда не зайдешь покалякать? Обещал, а не зайдешь... Приходи нонче вечером, как скотину пригонят. У нас никого нет, один Дрон... да тот ничего... почитай глухой совсем.

— Недосуг... право, недосуг... Есть... есть одно такое дело...— переминаясь, произнес Иван.

— А что такое? Что такое? Какое такое дело? — проговорила Пьяшка с таким оживлением, что суп снова расплескался.

— Пьяшка! Пьяшка!..— раздался в эту минуту из дома гнусливый голос Анисьи Петровны.

— Сейчас сели обедать...— сказала Пьяшка.— Ты, Ваня, погоди... голубчик, погоди!.. постой здесь; я мигом приду...

Пьяшка быстро перенесла миску в левую руку, правой рукой дала три проворные плеска мальчику и, освободившись от него таким образом, поспешила в дом. Через минуту Пьяшка снова вернулась.

— О чем же это хотел ты сказать, Ваня?.. Скорей говори, голубчик... Вишь, требуют то и дело...

Ваня почувствовал в то же время в руке прикосновение чего-то холодного; он посмотрел и увидел огурец, который как будто сам собою попал ему в ладонь.

— Куды мне его? Мне этого не надо,— проговорил он.

— Ничего, Ваня, возьми, возьми; нам это наплевать! Ну, так что ж? говори скорей, голубчик...

— Да ты сделаешь ли, о чем я попрошу?

— Скажи только,— произнесла Пьяшка, быстро оглядываясь во все стороны без всякой видимой причины,— скажи: для тебя я все, Ваня, сделаю... Что скажешь, то и сделаю,— примолвила она с таким взглядом, который не оставлял сомнения в ее готовности исполнить просьбу молодого парня.

— Ты не скажешь, о чем я попрошу тебя? Побожись.

— Отсохни руки и ноги... провалиться мне стамши... лопни мои глаза...

— Пьяшка! Пьяшка!..— заголосила опять из дому Анисья Петровна.

— Ишь ее, неугомонная какая! Ты, Ваня, погоди... касатик, погоди! — произнесла Пьяшка почти с умоляющим видом,— я сейчас...— И она стрелою понеслась в дом.

Ваня повертел огурцом и подал его оборванному мальчику, который тотчас же взял, откусил половину и, прикрикивая, побежал на улицу.

— Фу, батюшки, совсем затормошили! фу! — проговорила Пьяшка, подскакивая к столяру.— Ты, Ваня, не сумлевайся, сказала: сделаю — стало, сделаю... ну...

— Вот что... Пелагеюшка...— проговорил Иван, запинаясь,— как бы так... сделать?.. надо бы мне с барышней повидаться...

Пьяшка, очевидно, не ожидала такой просьбы: маленькие глазки ее расширились; лицо изобразило удивление.

— Барышню?.. Зачем тебе барышню?

— Так... дело есть одно... до нее касающееся... дело такое.

— Что ж? что?

— Я тебе все расскажу потом... теперь, вишь, не время!.. все расскажу... ты только вызови ее...

— А барыня-то?

— Знамо, одну барышню надобно. Вызови ее в сад... там, подле пруда, есть место такое... никто не увидит!..

— Зачем тебе?.. зачем?..

— Случай такой вышел... все расскажу, только не теперь; вызови ее, Пелагеюшка, сделай милость!..

— Ну, хорошо,— проговорила Пьяшка, подпрыгивая от нетерпения.— Стой там, у пруда, я приведу, как пообедают... Провал бы тебя взял, право! совсем замучили...

Последние слова относились, кажется, к Анисье Петровне, голос которой снова раздался в доме. На этот раз Иван не дожидался уже возвращения Пьяшки: он поспешил пройти стороною мимо двора, миновал гумно и, придерживаясь к плетню, обогнул дальнюю часть сада; подойдя к пруду, оглянулся он на стороны, улучил минуту и перемахнул через плетень. Сад был так густ, что, глядя на него из дома, не было возможности видеть, что происходило в десяти шагах. Место, выбранное Иваном, приходилось уже к концу сада: оно было совершенно безопасно. Иван притаился в кусты малины и стал дожидаться.

Час спустя после того, как Пьяшка рассталась с Иваном, на крылечке барского домика показалась Наташа. Полное, свежее лицо ее дышало оживлением; грудь волновалась; светлые глаза с любопытством устремлялись к саду. При всем том, идя по двору, она заметно задерживала шаг; глядя на нее из дома, могло казаться, что она так себе ходит по двору и сама еще не знает, идти ей в сад или на гумно. Но Пьяшка, сопровождавшая Наташу, сильно ее выдавала: Пьяшку с ног до головы подергивало от нетерпенья; она то и дело подталкивала барышню под локоть и так выразительно кивала ей на калитку сада, что сам полуслепой Дрон (единственное мужское лицо в дворне Ивановой) мог бы заподозрить и барышню и Пьяшку в каком-нибудь заговоре.

— Пьяшка, я, право, боюсь... — проговорила Наташа.

— Вот! чего бояться? Идите знайте, идите...

— Да ты мне скажи только, кто там? Кто дожидается?

— Ничего не скажу... идите только — сами увидите!.. Поскорей теперь завертывайте в калитку... скорей! теперь никто не смотрит.

— Пьяшка! Пьяшка! — неожиданно прокричала Анисья Петровна, высовываясь из окна.

В эту минуту Пьяшке легче бы, кажется, было получить удар палкой; скрыться или показать вид, что не слышит, не предстояло возможности: Анисья Петровна стояла в окне; Пьяшка сделала отчаянный жест и поплелась к крыльцу.

Наташа отворила калитку и пошла в сад. Она подвигалась еще медленнее, хотя тетка не могла теперь ее видеть. Наташа далеко не была нежной, нервозной девушкой, способной обмирать от впечатлений, подобных тому, которого ожидала; но впечатление было для нее ново, и ею невольно овладевали робость и смущение. Она шла, опустив глаза в землю; в походке ее проглядывала умышленная вялость и сонливость: ей, очевидно, показать хотелось, что она ничего не подозревает, а идет к пруду, потому что ей так вздумалось. Шорох в кустах заставил ее приподнять голову. Увидав Ивана, она раскрыла удивленные глаза и отступила: видно было, она ожидала встретить совсем не столяра; в первую минуту она даже несколько испугалась, но улыбка на лице парня ободрила ее.

— Что ты? — спросила она.

— Так и так... к вашей милости, — проговорил Иван, покашливая в руку.

Он казался еще более смущенным и испуганным, чем сама барышня.

— Так и так, сударыня... сделайте вашу милость... заступитесь! — повторил Иван, низко кланяясь и ободряя себя новым кашлем.

— Чего тебе? Если можно, я рада сделать.

— Можете, сударыня! все это в вашей власти! Затем, собственно, вас и утруждаем...

— Ну, чего тебе? — произнесла Наташа, выказывая нетерпение обманутого чувства.

— Вам известно, сударыня, сюда, в луг, крестьян недавно переселили.

— Да, знаю...

— Так вот у той бабы... Катериной звать... дочка находится... живет она в батрачках у вашего мужичка Андрея...

— Знаю... хорошенькая такая...

— То есть... гм!... не то чтоб... гм! как вам, впрочем, будет угодно... Так и так, сударыня, сделайте вашу милость, заступитесь...

— Да в чем же заступиться? Я, право, не понимаю...

— Очень, то есть, обижены... сродственники, то есть, девушки этой... оченно обижаются. Я из ихних же мест, так они мне все это, примерно, сказывали: очень, говорят, обижены Карякиным...

— Федором Иванычем? — с живостью спросила Наташа.

— Федором Иванычем, сударыня... Сделайте такую божескую милость, запретите... вам стоит сказать ему — он все это сейчас, то есть, для вас оставит.

— Да что ж сказать-то?

— Да что, сударыня, проходу не дает девке! Обольщает ее всякими манерами... подсылает к ней этого Егора горбатого... то есть, такие дела...

— Лжешь! быть не может! Федор Иваныч не сделает этого! — воскликнула девушка.

Она тщетно старалась скрыть свое волнение; щеки ее пылали; в мягких, добрых глазах блеснула искра негодования; но глаза ее так же скоро потухли и помутились, когда Иван начал клясться, что все сказанное им была совершенная правда.

— Помилуйте, сударыня! Осмелился ли бы я говорить вам, коли бы не так было? — подхватил он, следуя за барышней, быстрыми шагами направлявшейся к забору, чрез который перелез Иван, — сделайте такую божескую милость, поговорите ему: он вас послушает...

— Хорошо, хорошо, ступай! — глухим голосом проговорила Наташа, останавливаясь у плетня и не поворачивая головы.

В это самое время со двора послышалось дребезжанье экипажа и топот лошади. Почти в ту же минуту из дому раздался голос Анисьи Петровны:

— Наташа, где ты? Наташа! Федор Иваныч приехал.

При этом известии Иван бросился в кусты и побежал вон из сада. Наташа припала головою к плетню и зарыдала. Так прошло минут десять. По прошествии этого срока неподалеку от места, где стояла девушка, показался Федор Иванович.

— Наталья Васильевна, где вы? Наталья Васильевна! — покрикивал он, озираясь на стороны.

Наташа поспешила отереть слезы; она сделала шаг, чтоб скрыться в кустах, но Карякин заметил ее; она успела только отвернуться.

— Здравствуйте, Наталья Васильевна... — вымолвил он, ускоряя шаг и охорашиваясь. — Но что это с вами? — примолвил он, удивленный таким приветствием.

Вместо ответа Наташа повернулась спиною и пошла вперед.

— Позвольте узнать, какая такая причина? — говорил он, следуя за нею, — мы прежде не так встречались... Сделайте ваше одолженье, скажите, Наталья Васильевна!

Наташа продолжала идти. Карякин оглянулся назад: подле никого не было; он взял ее за руку — она с сердцем отдернула руку и остановилась.

— Оставьте меня! как вы смеете? — проговорила она, не поворачивая головы.

— Что ж это все значит-с?..

— Значит то: отстаньте! я вас знать не хочу!

— Помилуйте, за что ж? — промолвил он, все еще как бы пошучивая.

— Я с вами говорить даже не хочу — понимаете? — произнесла она, на секунду поворачиваясь к нему

и показывая раскрасневшееся заплаканное лицо,— отстаньте, убирайтесь — вот и все!..

— Как я вас должен понимать?

— Понимайте как знаете — мне все равно! — возразила она и снова пошла вперед ускоренным шагом.

— Как вам будет угодно-с! — произнес Федор Иванович обиженным тоном.

Он перестал за нею следовать, пощипал свои усики и направился к дому.

— Когда так, так и не надо! Мы ведь оченно гоняться-то не станем... Но что за причина? Умирала обо мне, а теперь... что за причина? — повторял Карякин вплоть до той минуты, как вошел в дом.

Он встретился с теткой в дверях прихожей. Анисью Петровну начинала тревожить мысль, что Карякин и племянница находятся наедине в саду. Хотя Наташа не подавала повода делать о ней дурных предположений, хотя тетка уверена была в ее нравственности, но Анисья Петровна, как уже сказано, смотрела на девушек своим особенным взглядом: ее до смерти пугала полнота и дородство Наташи... Она уж послала Пьяшку отыскивать молодых людей и сама готовилась за нею следовать, когда показался Карякин.

— Ну, а Наташа-то где? разве ты не нашел ее?— спросила она.

— Как же-с! нашел! Они в саду-с прогуливаются... Я пришел проститься с вами, Анисья Петровна,— ответил он с особенным ударением.

— Как проститься? Что это ты, батюшка? только приехал, да уж и прощаться!

— Я всегда с моим великим удовольствием, Анисья Петровна,— вы сами знаете... но, воля ваша, оставаться теперь не могу-с... никаким, то есть, манером.

— Это почему?

— Не знаю, что такое случилось с вашей племянницей... она прогнала меня чуть не взашеи... Обошлась самым дерзким манером-с.

— Ах она, дура этакая! — воскликнула старуха, мгновенно вспениваясь.— Ах она... Нет, погоди, Федор Иваныч...

— Нет, воля ваша, мне после этого оставаться уж не приходится-с...

— Да что ж это она, с ума, что ли, спятила? — заплескалась Анисья Петровна и, поправив чепчик, де-

лавший ее похожею на седого обстриженного солдата, подбежала к окну и стала звать племянницу.

Карякин воспользовался этим случаем и быстро исчез. Чем больше кричала Анисья Петровна, тем больше, казалось, могучее горло ее прочищалось и голос получал силы; но так как это не помогло, потому что Наташа все-таки не являлась, тетка спустилась с крылечка и направилась в сад, пыхтя и пенясь. На повороте к малиннику увидела она племянницу: Наташа стояла у плетня и горько плакала. Но в первую минуту горячности Анисья Петровна обыкновенно ничего не разбирала, ничего не видела: ей надобно было всегда хорошенько выплескаться, прежде чем прийти в себя.

— Ах ты, дурища ты этакая! С ума, что ли, ты сошла? — закричала она, накидываясь на девушку.— Кого это ты, мать моя, гонять-то вздумала, из чужого-то дома, а? Да я сама тебя выгоню! Ах ты, осина ты этакая глупая... тварь неблагодарная! Я бьюсь, как окаянная какая-нибудь, за доброго человека, все для нее же, а она гонять его вздумала! Мало, что ли, стоит он мне? Одного чаю да сахару что пошло! Сена да овса лошади его сколько отпустила!.. Ты, что ли, отдала мне? Все для нее хлопочу! Отцы вы мои! Думала, вот человек приискался, жених хороший...

— Я за него не пойду, тетенька, хоть убейте, не пойду! — рыдая, перебила Наташа.

Слова племянницы окончательно ошеломили старуху; она несколько раз раскрывала рот, как бы задыхаясь, и не могла произнести слова.

— Как! замуж не пойдешь?.. Ах вы, отцы мои! Да она и то никак рехнулась! Сама с ним амурилась, меня даже в страх вводила, а теперь «не пойду!». Нет, мать моя, пойдешь! пойдешь! Не век мне с тобой возиться... Какого тебе еще надо, а? Да сама-то ты что? Только в платье-то ходишь, а мать-то была однодворчиха... Ах ты, неразумная ты этакая!.. Ах ты...

Анисья Петровна уставила кулаки в бока и остановилась.

— О чем же ты ревешь, глупая? Ревешь о чем? — спросила она, как бы внезапно смягчаясь.

Наташа слова не могла выговорить: рыдания заглушали ее голос.

— Да, может, он что-нибудь сделал? — пристала Анисья Петровна.— Ты говори мне, все сказывай!

— Он, тетенька... он самый дурной человек... я ни за что не пойду, лучше в монастырь запрусь,— проговорила, всхлипывая, Наташа.

— Да что ж он сделал-то такое, а? Что он сделал? Я и ему потачки не дам! Ездил, ездил в дом, закружил девке голову, а теперь бы так взял да уехал? Нет, это он врет! Уж не думает ли он на попятный? — произнесла старуха, как бы рассуждая сама с собою.— Ах вы, отцы мои! Да попробуй он только! Ах он, мошенник! — подхватила она, закипая снова, но уж теперь перенося негодование свое на Карякина.— Ах он, поганец! Нет, мы еще поглядим, как он ездить-то не станет!.. Он сам намекал, жениться, вишь, хочет!.. Отцу даже, говорит, написал об этом! Что ж он думает, суда на него нету? Ах он, разбойник! Ах он, поганец!.. Да я сейчас сама к нему поеду, сейчас... Ах ты, мать моя!..

Наташа бросилась умолять тетку, чтоб она ничего не делала, просила дать ей несколько успокоиться и обещала ей обо всем рассказать. Тетка мало-помалу простыла, взяла племянницу и повела в дом.

В то время как сад Анисьи Петровны, этот скромный угол, где в продолжение тридцати лет тишина нарушалась только пением соловьев, криками иволги и писком ссорившихся воробьев, делался свидетелем таинственных переговоров, слез и волнений, в риге Андрея, другом, не менее мирном углу Панфиловки, раздавались крики, проклятия, лились горькие слезы и произносились речи, которые вчуже тяжко было слушать. Все это, как гроза, пронеслось над владениями Андрея. Когда после бегства из сада Иван подошел к риге с целью выждать Машу и предупредить ее о беседе своей с барышней, там следа уже не оставалось от всего случившегося. Ворота риги были настежь растворены; Иван увидел Андрея и Прасковью, которые раскладывали на ток снопы овса и собирались молотить; Иван удивился, что Маши не было с ними. Он вошел и поздоровался.

— Откуда ты, Иванушка? — спросили в один голос муж и жена.

— Так... на луг ходил,— возразил Иван, переминаясь.

— В какую сторону?

Иван неопределенно указал рукою, но в тот край, однако ж, где находилась мазанка.

— Не встречал Катерины?

— Нет; а что?..

— Маленько только не застал ее,— сказал Андрей.— Оно, может, и лучше, что не застал ее,— примолвил он.— Катерина сюда приходила...

— Зачем?

— То здесь было... не знаешь уж, как и сказать! — произнес Андрей, переглядываясь с женою.

— Да что ж такое, дядя Андрей? Скажи... Ты знаешь, я им не чужой... как сродственник им — все одинаково; скажи, пожалуйста,— проговорил столяр, которым овладело вдруг сильное беспокойство.

— Знаю, знаю; да дело-то такое... не знаем, право, как в толк взять,— начал Андрей.— Прибежала к нам Катерина, схватила дочь, давай ее бить, колотить... «До смерти убью!» — кричит.

— Погоди, Андрей,— перебила Прасковья, подходя к Ивану, который улыбался, но тем не менее чувствовал, что ноги его подламываются, а сердце вздрагивало от невыносимого волнения.— Стою я, батюшка, дома, у печки, ничего такого не чаю... вдруг входит ко мне Катерина... смотрю: растерянная такая... лица нет... «Где дочь?» — говорит... А сама так инда дрожит вся... «Что ты, мол,— говорю,— Христос с тобою!» — а она все одно: «Где дочь? — говорит,— дочь где?» — «В риге,— говорю,— снопы убирает». Она туда как кинется... Что, думаю, такое?.. Пошла за нею; слышу, крик такой, гляжу, так дочь-то и таскает по риге... Я давай скорей мужа звать... Прибежали, унимаем — ничего не слушает! Таскает ее, бьет... «Совсем убью!» — говорит... Никак даже не отымешь дочь-то... даже страх взял.

— Что такое, думаем: баба смирная, добрая такая, к детям горячая... что с ней?..— перебил Андрей.— Пуще всего речам ее подивились: гонит ее, слышь, дочь-то, гонит к Карякину! Сама бьет, проклинает, а к Карякину гонит!.. Мы и так и сяк к ней приступаем — нет, ничего не сделаешь! Она все свое: «Ступай к Карякину! — кричит,— не то убью до смерти!»

— Что ж такое?.. Что ж такое?..— проговорил столяр, кидая вокруг растерянные взгляды.

— Что ты будешь делать? Не уймешь никак! — продолжала Прасковья.— Добрè уж оченно девку-то жаль... так, сердечная, по земи-то и катается!.. А мать, как бешеная, так и рвет ее... так и рвет: кричит свое:

«Пошла к Карякину! Ходила к нему,— кричит,— была его полюбовницей, опозорила мать и семью свою — ступай к нему теперича!» Видим, ополоумела баба совсем; насказал кто-нибудь!.. Слава богу, девка живет у нас шесть недель: было время узнать ее... Ничего такого за ней худого не примечали; скромница девка, одно слово сказать, что скромница... Да и ходить-то ей когда к Карякину? Весь день на глазах у нас; пошлешь куда, сами дивимся, как скоро она все это сделает... Мы опять приступили к Катерине; давай ее усовещивать да уговаривать... насилу в толк взяла.

— То-то вот и есть,— произнес Андрей, пожимая губами и покачивая головой,— не надо было пускать к себе этого мошенника Егора. Я и прежде говорил о нем Катерине; он ко мне николи не ходит... От него уж не жди хорошего!.. Не знаю только, с чего он все это наделал?.. Потому больше, должно быть, Маша завсегда прочь его гоняла, не слушала его... он взял да и сделал...

— Что ж он сделал такое? — спросил Иван таким голосом, как будто в горле его кол засел.

— А то сделал, пришел нонче в обед к Катерине, да и говорит ей... Сама нам под конец обо всем этом рассказала. «Маша,— говорит... так, к примеру, зачал стращать Катерину,— Маша, слышь ты, была у Карякина, а теперь заспесивилась, идти больше не хочет... Так вот, Карякин-то добрѐ осерчал на девку; послал, слышь ты,— это все Егор рассказывает,— послал, слышь, его, Егора, к Катерине с такими словами: «так и так, говорит, дочь твоя приходила ко мне; чего ж она, говорит, теперь спесивится? Теперь уж дела, говорит, не поправишь; так пускай уж лучше ко мне ходит... Ты, говорит, заставь ее; по крайности дело тогда промеж нами останется, никто об этом не узнает... А коли не заставишь, говорит, хуже будет: я, говорит, расславлю, по всей округе расславлю, кто у тебя дочь-то была...» Та, как услыхала, сюда бежать, да, не разобрамши-то дела, и давай дочь таскать.

— Где ж Маша?..— спросил Иван.

— Увела с собою.

— Совсем?

— Нет,— возразила Прасковья,— на три дня увела... Девка уж добрѐ убивается очень, потому и взяла к себе.

— Что ж это такое, родные вы мои? что ж это?..

Где ж правда-то? — воскликнул Иван, отчаянно махая руками. — Где ж это он!.. я убью его!..

— Кого убьешь?

— Егора.

Надо думать, лицо Ивана, несмотря на улыбку, которая раскривила его пополам от правого уха до левого, показалось Андрею и жене его не совсем благонадежным. Оба подскочили к столяру и схватили его за руки.

— Что ты, глупый? Перекрестись лучше... — сказал Андрей. — Оставить надо все это дело.

— Да тебе-то что? Брат ты, что ли, али сродственник?.. — проговорила Прасковья.

— А хошь бы и брат был — все одно; коли разум в голове есть, надо оставить!.. Найдется и без тебя, кто проучит за все лихие дела... Что ты? что ты? очнись! Не твое дело совсем... лучше молчи да виду не подавай никакого...

Андрей и жена его долго уговаривали Ивана. Действием ли разумных речей их или благодаря собственным размышлениям и мягкости нрава, Иван мало-помалу угомонился; он под конец дал даже клятву слова не сказать Егору, если случай приведет с ним встретиться. При всем том Андрей и жена его не пускали Ивана от себя во весь вечер и пригласили даже остаться у них на ночь.

VII

ФИЛИПП И СТЕПКА

В эту ночь, часам к одиннадцати, должен был показаться полный месяц; но тучи так сгустились к этому времени, что не было возможности заметить, как взошел он и как потом закатился. Ночь была очень черна: нельзя было различать даже тех предметов, которые возвышались в степи над линиею горизонта; небо и степь были одинаково черны. Изредка в той или другой стороне вспыхивали отдаленные молнии, или, вернее, зарницы, потому что за ними не следовало громовых ударов. Воздух был недвижим и душен. Малейший звук слышался на далеком расстоянии. Но так как на десять верст кругом находились всего три-четыре хуторка и одно небольшое село, то все ограни-

чивалось лаем собак и стуком в деревянные караульные доски. Раз далеко за Панфиловкой прозвучал колокол; в той стороне располагалось село, куда жители окрестных хуторов ходили к обедне; но звуки колокола скоро замерли, и степь снова погрузилась в непробудное молчание. Не было возможности определить с точностью часа; но, принимая в соображение давность заката, можно было думать, что было близко уже к полуночи.

Около этого времени Филипп и Степка подходили к дороге, которая пролегала от знакомого нам кабака к усадьбе Карякина. Они шли, впрочем, не от кабака, а с противоположной стороны. Им оставалось версты полторы от усадьбы; дорога представляла самый кратчайший и вместе с тем самый верный путь; но они или не торопились, или по расчетам Филиппа следовало им избегать дороги: они шли степью; изредка Филипп посылал Степку к дороге, чтоб увериться, точно ли идут они по одному направлению с нею. Чем ближе придвигались они к усадьбе, тем более голос того и другого понижался. Если Степке случалось засмеяться или пугнуть ночную птицу, которая близко пролетала, Филипп осыпал его бранью или давал тумака; последнее, впрочем, случалось редко: отец убедился, что тумаки подстрекали только мальчика действовать наперекор его приказаниям. Такое расположение мальчика к противоречию вынудило под конец отца совсем прекратить тумаки; план, задуманный им, требовал, казалось, большой осторожности; он часто останавливался и прислушивался к малейшему звуку. Раз они дали огромный крюк в целую версту, чтоб избежать встречи с гуртом, который лежал на отдыхе подле дороги. Пройдя еще несколько времени, Филипп остановился и стал прислушиваться долее обыкновенного, хотя на этот раз ни один звук не нарушал молчания степи. Он тихо подозвал Степку.

— Э! — отозвался мальчик.

— Тише... дьявол! — прошептал отец, оглядываясь вокруг, — теперь близко... Ты рази не видал, какие там собаки-то?.. Может, на ночь-то спущены: как раз сцапают!.. Заверни штаны повыше колен, а я пока лапти сыму, — заключил Филипп, садясь на траву.

— Аль жаль лаптей-то? — спросил мальчик, стоявший уже с засученными выше колен штанишками.

— Здесь бросить надо — вот что, — возразил отец, — без них легче... ноги не так шумят.

Степка ощупал грудь, которая сильно выпучивалась от чего-то, засунутого ему за пазуху и что громко хрустело; после этого он бросился на траву, перевернулся на спину и поднял кверху обе ноги.

— Тише... сатана! — прошептал сквозь стиснутые зубы Филипп, — говорят, собаки услышат...

Степка вскочил на ноги и подошел к отцу.

— Батя... ну, а как я не пойду с тобою? — произнес он таким голосом, как будто хотел поддразнить его.

— Э! глупый... право, глупый! — возразил отец задобривающим голосом, хотя в сердце его кипело негодование и он рад бы был, кажется, тут же на месте уходить своего спутника.

— Ну, а что дашь, коли пойду, коли все по-твоему сделаю? — спросил Степка.

— Ведь сказал, сапоги куплю, рубаху новую — красную, шапку... опричь того, денег дам — покупай, что полюбится!

— Да денег-то, может, еще не найдем... может, горбун-то прихвастал.

— Рази я на его слова полагаюсь? Ты, стало, не слыхал, что целовальник-то сказывал?.. «О себе, — говорит, — много нахвастал, а у купца у этого, — говорит, — точно, денег множество. Недавно гурт продал — все деньги дома... и лежат, — говорит, — точно, где горбун указывал...» — стало быть, так...

— Да ведь вот он сказывал также, и у дяди Лапши денег-то много... нам бы лучше туда сходить: там не так опасливо... Я ведь про них не теперича знаю все... — подхватил Степка, снова как бы поддразнивая отца.

Бесцеремонность и бесстрашие, которое заметно было в обращении Степки с Филиппом, объяснялось тем, что мальчик посвящен уже был во все тайны отца. Это произошло совершенно случайно. Вскоре после переселения семейства Лапши из Марьинского самая отчаянная крайность застигла Филиппа: нужно было или лезть в опасность и подвергнуться быть пойманным, или подавить в себе злобу против Грачихи и к ней отправиться. Он избрал последнее. Филипп явился очень кстати; ворожба черневской колдуньи как-то приостановилась на это время: Грачиха пустила Филиппа; ей известно было, что никто ловче его не

уведет лошади, которую потом придут к ней же отыскивать. Начались переговоры. Степка, как и всегда в подобных случаях, отправлен был в сени. Но Степка подрос; подросло также и его любопытство. Он отворил дверь с таким искусством, что ни Филипп, ни Грачиха этого не заметили: прокравшись к перегородке, мальчик услышал весь разговор: он узнал прежде всего, что у него был дядя Лапша и тетка Катерина, которых отец обкрадывал, стращая их поджогами; узнал, что сродственники эти отправлены господами в степь; услышал, как отец, узнав, что Лапше даны были деньги на переселение, тотчас же высказал желание последовать за ними. В продолжение этой беседы Филипп и Грачиха часто не сходились, ссорились. Благодаря упрекам и угрозам, которыми черневская колдунья осыпала тогда Филиппа, Степка узнал о многих проделках отца. Но любопытство дорого стоило Степке: он зазевался, попался отцу и чуть не поплатился ребрами, а может, и жизнью; но он вышел невредим из-под отцовских кулаков и пинков Грачихи...

Степка как будто предвидел, как будто предчувствовал, какую выгоду принесет ему это подслушиванье. С того же самого дня отец сделался к нему гораздо снисходительнее. Филипп начинал даже побаиваться сынишку: одна мысль, что этот ребенок, который бродит с ним всюду, все знает, все видит, и который одним словом, одним криком, одним неосторожным поступком или действием каприза может выдать его с руками и ногами, склоняла Филиппа к снисхождению; он иногда даже льстил ему и подлаживался всячески: другого способа не было управляться с пострелом. Филипп начинал грозить – и Степка начинал грозить. Только лаской да потачкой,– как ни тяжело было Филиппу, как ни кипело его сердце,– но этим только можно было купить себе безопасность. Мы видели из приведенного выше образчика, как ловко пользовался Степка новым своим положением.

Сняв лапти, Филипп засучил точно так же, как Степка, штаны выше колен.

– Ну, Степка, пойдем! – ласково вымолвил он, припадая губами к уху мальчика.– Время!.. смотри... тихо подбирайся!..

Он пощупал карман, туго чем-то набитый, дал мальчику руку, и оба вышли на дорогу. Шагах в двадцати чернел уж дом Карякина. Притаив дыхание, едва

касаясь земли, Филипп и мальчик прошлись несколько раз взад и вперед мимо дома. Но все – и дом, и двор, и принадлежавшие им здания хранили мертвое молчание; можно было подумать, что на пространстве десяти верст кругом не находилось живого существа.

– Ложись... теперь ползком; сейчас канава будет, – едва внятно шепнул Филипп.

Степка растянулся подле отца, и оба поползли через дорогу; немного погодя руки их нащупали край канавы. Канава была неглубока, но Степка мог в ней укрыться с головою. Как ни бережно спускались они, но треск сухих стеблей на скатах и дне канавы тотчас же разбудил собаку. Шагах в пятнадцати за валом раздалось неистовое бряцанье цепи и яростный лай.

– Ничего, привязана! – шепнул Филипп.

Он быстро вытащил из кармана ломоть хлеба, содрал мякиш и, помесив его между ладонями, сунул Степке; потом с тою же быстротою вынул кусок трута и спичку.

– Держи шапку; присядь к земле... Надо скорей, пока не проснулись.

В сгущенном воздухе пронесся запах горящего трута. Филипп взял из рук Степки приготовленный им мякиш, положил трут, сделал из мякиша подобие маленькой гранаты с отверстием, чтоб не погасал в ней зажженный трут, и подал этот снаряд Степке.

– Смотри, ловчее, не промахнись!

С этими словами Филипп подсадил малого, так что голова его и руки пришлись выше вала.

Собака рвалась, как бешеная; другая собака, у отдаленного долговязого амбара, вторила ей дружно. В стороне, где-то под навесом, послышался сонливый голос:

– Чего развозились!.. цыц... вот я вас!..

Филипп дернул Степку за ногу. Мальчик укрепился коленями к земле, размахнулся и бросил за вал снаряд.

– Взяла, – шепнул он, быстро скатываясь вниз.

Собака перестала вдруг лаять; слышалось только бряцанье цепи; потом она раза два взвизгнула и замолкла. Подруга ее, не слыша больше лая, тотчас же угомонилась.

– Ладно... одно дело справили, – шепнул Филипп, выходя из канавы и вытаскивая Степку.

Он ощупал грудь мальчика и, убедившись, что па-

зуха его была плотно набита, дал ему руку; оба пустились вперед, придерживаясь края канавы. Достигнув места, где канава делала поворот вправо, они поспешно свернули за угол. Тут они остановились. Опять явился мякиш; опять Степка присел к земле с шапкой, и опять пронесся запах горящего, тлеющего трута. Оба проворно прыгнули в канаву и стали подбираться к амбару, черная профиль которого едва приметно отделялась на темном небе. Шагах в двадцати от него услышали они, как собака рванулась из конуры и залаяла.

— С этой легче будет справиться; она ближе к валу... — произнес Филипп. — Ну! — И он снова подсадил мальчика.

— Что? — спросил он, слыша, что собака не унимается.

— Добре́ вертится... промахнешься! — возразил Степка.

— Валяй... ничего, ну?..

— Сцапала! — радостно отозвался Степка.

Лай действительно прекратился; его сменили чваканье, потом фырканье, потом раздалось протяжное жалобное стенанье, сопровождаемое звуком цепи, которую как будто судорожно встряхивали на земле; наконец все смолкло — и цепь и собака.

Минуты три Филипп и его спутник не трогались ни одним членом и прислушивались; но кругом царствовала теперь такая же непробудная тишина, как в то время, когда они подходили к усадьбе. Филипп снова подсадил мальчика на вал, потом сам туда вскарабкался, и оба бережно стали подползать к задней части амбара.

— Помнишь ли, Степка, как я тебе сказывал?.. — шепнул Филипп.

— Ну!..

— Как только все к амбару к этому кинутся, я в дом, а ты стой вот у этого угла, что сюда ближе... тут и притаись... Да, мотри, не зевай: мало-мальски что — духом ко мне, сейчас дай знать!.. Ты ничего не бойся: им не до нас будет... Пуще всего не робей!..

Но предостережение это было, казалось, лишнее; ободряя мальчика, Филипп как будто себя ободрял. Степка вовсе не нуждался в подкреплении смелости: он и в ус не дул; его, по-видимому, сильно даже занимали эти проделки; об одном лишь очень сожалел

мальчик: темнота ночи не позволяла ему наблюдать, как снаряд отца действовал на собак, как они корчились и издыхали.

— Теперь не время об этом разговаривать, молчи только,— произнес Филипп, заглядывая под амбар, который возвышался на коротеньких столбах,— полезай туда...— примолвил он, наклоняя мальчика.

В мгновенье ока Степка очутился под амбаром.

— Смотри, солому-то крепче в угол запихивай...

— Небось не вывалится!..

— Тсс... пострел... На́ спички, бери...

Спичка чикнула; на секунду подполье амбара осветилось, и минуту спустя дым повалил оттуда клубами. Но Филипп и Степка были уже на другой стороне вала и стремглав полетели в обратный путь. Шагах в тридцати от входа в дом оба они бросились в канаву и, присев в траву, стали дожидаться...

Часть пятая

I

НЕУДАВШЕЕСЯ ПРЕСТУПЛЕНИЕ

Если только читатель помнит Пьяшку, представительницу панфиловской дворни, он, верно, не забыл, что Пьяшка в последнем объяснении с Иваном приглашала его прийти вечером покалякать. Таинственный разговор его с барышней, неожиданный, скорый отъезд Карякина, слезы Наташи — все это, как каждый догадается, сильнейшим образом возбуждало любопытство Пьяшки; тем нетерпеливее ждала она Ивана, что тот обещал рассказать ей обо всем. Иван слова, однако ж, не промолвил о том, что придет вечером, но Пьяшка все равно ожидала его; в нетерпении своем она считала невозможным, несбыточным, чтоб Иван не вникнул в ее положение и не поспешил ее успокоить. Но вот давно уж пригнали стадо, давно село солнце, давно Анисья Петровна поужинала и легла спать — Иван все не являлся. Пьяшка каждую минуту выбегала на улицу, устремляла глаза во все стороны, прислушивалась — все было тщетно. Шорох приближавшихся шагов не радовал ее слуха. Панфиловка, окутанная непроницаемою темнотою ночи, хра-

нила глубокое молчание; но Пьяшка не теряла надежды. Уж полночь наступила, Пьяшка все еще стояла у флигелечка, поглядывала на улицу и прислушивалась...

Нет сомнения, она прождала бы до зари, если б не произошло следующее обстоятельство: подняв глаза к небу (вероятно, с тем, чтоб призвать его в свидетели жестокости Ивана), Пьяшка увидела красноватое зарево; не успела она присмотреться, когда верстах в двух за Панфиловкой сверкнуло пламя. Пьяшка остолбенела; но это продолжалось секунду: каждый ее суставчик, каждая жилка получили вдруг прыткость необыкновенную; она выскочила на улицу, потом метнулась к барскому дому, снова вернулась на улицу, прокричала несколько раз сряду: «пожар! батюшки, пожар! касатики, пожар!» — и снова стрелою понеслась к барскому дому.

Крик Пьяшки прежде всего услышал Иван; многосложные происшествия дня наполняли его тревогой и не давали заснуть. С первым возгласом о пожаре Иван выскочил из сенника Андрея и выбежал за ворота. Пламя было едва заметно; но зарево, которое быстро разгоралось и трепетно вздрагивало, служило несомненным знаком, что огонь получал с каждою секундою больше силы; с той стороны слышался уже глухой, беспокойно волнующий сердце шум, которым сопровождается пожар даже в тихую погоду; с противоположного конца степи понеслись вдруг зачащенные удары колокола: то били набат в приходском селе. Иван кинулся будить Андрея. В одну минуту вся Панфиловка была на ногах; крики «пожар!» раздавались теперь из конца в конец улицы и увеличивали суматоху; ворота скрипели, калитки хлопали, испуганные дети плакали; какая-то баба ударилась даже выть голосом; все бежали к барскому флигелечку, откуда виднее было и пламя и зарево.

— Ах, батюшки! ах, отцы мои! ах! да ведь это Федор Иваныч горит! — неожиданно прозвучал голос Анисьи Петровны.

Голос Пьяшки, которая сопровождала барыню, не переставал отчаянно кричать и звать на помощь, как будто горели ее собственный подол и рубашка.

— И то, матушка, Федор Иваныч горит! Он, он! его усадьба! — отозвалось несколько голосов из толпы, стоявшей у флигелечка.

В эту самую минуту на улице явилась Анисья Петровна.

Она в чем спала, в том и прибежала – надела только башмаки; но ночь была черна, и никто не мог видеть ее костюма.

– Ах вы, мошенники! ах вы, разбойники! – воскликнула она, накидываясь с поднятыми кулаками на мужиков и баб, глазевших на пожар, – что ж вы здесь стоите-то – а? Ах вы, окаянные! Я вас! Скорей садись все на лошадей! все туда... Я вас! Ах вы!..

– Тетенька, – проговорила взволнованным голосом Наташа, явившаяся почти в то же время, – велите взять ведра, багры, топоры...

– Ведра берите... топоры, разбойники!.. багры, мошенники! – подхватила, плескаясь и пенясь, помещица, преследовавшая мужиков и баб, которые спешили исполнить ее приказание.

Достигнув средины улицы, она наткнулась на мужика, который зазевался. Анисья Петровна замахнулась; оторопевший мужик вывернулся, отскочил, и Пьяшка, вертевшаяся подле, получила полновесную оплеуху. Но не время было разбирать правого и виноватого; помещица, сопровождаемая Наташей (Пьяшка отстала теперь и замолкла), пошла далее. У какой-то избы она услышала торопливый говор и топот выводимых из ворот лошадей.

– Кто это? – спросила Анисья Петровна, останавливаясь, чтоб перевести дух.

– Я, сударыня, Андрей. Со мной еще Иван, столяр. Ну, Ваня, живо садись на лошадь, – подхватил Андрей, – ведра взял? топор взял?.. все взял?..

– Взял, дядя Андрей. Держи лошадь-то, авось поспеем! – суетливо проговорил Иван, гремя ведрами.

– Ах вы, отцы мои! ах, батюшки! – воскликнула Анисья Петровна, поглядывая на зарево и всплескивая могучими своими ладонями, – да что ж это вы? скоро ли, пострелы? – внезапно подхватила она, устремляясь к другим избам, – я вас поразомну!.. Вот ведь Андрей поспел: стало, и вам можно!.. Ах ты, мать моя!.. Наташа, посмотри-ка, как разгорается-то! Уж не подожгли ли – помилуй бог?.. Андрей, Андрей! расспроси, отчего загорелось... спроси, отчего все это, – заголосила она, снова направляясь к мазанке.

Но Андрей не мог слышать поручения барыни: он

скакал во весь дух с Иваном по направлению к усадьбе Карякина.

Не спуская глаз с огня, который вспыхивал иногда так ярко, что освещал им дорогу, они прямо подскакали к долговязому амбару. Пламя сосредоточивалось пока во внутренности здания и пожирало товар, в нем заключавшийся; оно начинало, однако ж, сильно бить из окон и, бегая, как пороховой стопи́н, по конопатке, пробиралось к кровле. Карякин, два работника и Егор кричали и суетились без толку; последний особенно из себя выходил: фистула его не переставала выкрикивать ругательства, которые относились к работникам, таскавшим ведра с водою. Егор предоставил себе распорядительную часть; он выхватывал ведра из рук работников, подавал воду Карякину или сам плескал ею куда ни попало; изрыгая брань и проклятия на лень и медленность помощников, он, очевидно, выставлял свою собственную деятельность. Ясно можно было заключить из слов и действий Егора, что если б ведра с водою являлись безостановочно, он затушил бы пожар в десять минут. Поскакав к амбару, Андрей велел Ивану вести лошадей на двор, а сам перелез через канаву и побежал к Карякину.

— Сейчас еще будет народ; Анисья Петровна послала! Эх, Федор Иваныч, совсем не то вы делаете! воду только зря теряете! — подхватил Андрей, вырывая ведра с водою у Егора и ставя их наземь,— тут водой ничего не сделаешь: добрѐ уж сильно разгорелось! надо растащить амбар-то. Эй, ребята!.. Егор! — закричал он, обращаясь к горбуну и работникам,— живей лестницу... да веревок... лестницу!..

Работники побежали; Егор пустился за ними; но, сделав шагов двадцать, он остановился, крикнул, чтоб несли скорее веревки и лестницу, и вернулся назад. Встретившись с Иваном, который, привязав лошадей, направлялся бегом к амбару, горбун откинулся в сторону.

— С чего ж это загорелось-то? — спрашивал между тем Андрей, осматривая здание и выискивая удобное место для постановки лестницы,— здесь, кажись, никто не живет; с чего ж так?

— Подожгли,— возразил нетвердым голосом Карякин,— подожгли — это верно; вот и собака отравлена.

— Что вы, батюшка? может ли быть?

— Там еще другая собака, никак, и та отравле-

на! — подхватил Иван, останавливаясь подле Андрея, — сейчас мимо шел, лежит, не ворохнется...

В эту минуту явились веревки и лестница. Андрей приставил ее к углу пылавшего здания, сунул за пояс веревки и быстро полез к кровле.

— Ваня! — крикнул он, — возьми топор, полезай скорей за мною... прежде всего стропилы подрубить надо: легче будет бревна растаскивать... А вы (тут он обратился к остальным), — как только кину веревку, тащите бревно, в какую сторону укажу...

Едва Иван очутился подле Андрея, Егор подвернулся к Карякину и начал ему что-то нашептывать; глаза горбуна не переставали кивать на Ивана, который между тем работал за четверых и то заслонялся дымом, то освещался пламенем. Внимание Карякина скоро, однако ж, отвлекли новые мужики, прискакавшие из Панфиловки; по степи кое-где слышался торопливый топот коней и приближавшиеся голоса; набат все еще звучал в отдалении.

— Ребята! нет ли лома? — прокричал Андрей.

Но дело обошлось без лома; стропила, подгоревшие в одних углах, в другом месте подрубленные Андреем и Иваном, рухнули с ужасным треском во внутренность здания, увлекая с собою дрань и доски. Черный дым и хлопья пепла повалили отовсюду; усадьба погрузилась в темноту, которая казалась чернее самой ночи; но пламя, подживленное новым материалом и не встречая теперь препятствия, вскоре поднялось высоким столбом над амбаром и снова ярко озарило усадьбу.

— Нет, моченьки нет, больно жарко! — крикнул Андрей, тщетно старавшийся обвязать веревкой конец верхнего бревна, — очень уж донимает... ничего не сделаешь!.. Иван даже все волосы сжег... Надо будет ломать с середины... народу теперь много... Шабаш, Ваня!..

С этими словами Андрей, а за ним Иван, спустились наземь. Андрей разместил полдюжины панфиловских молодцов по углам здания и велел им рубить, не жалея рук; остальных послал за водою; сам он и вместе с ним Иван присоединились к первым и лихо застучали топорами.

— Вот что, Федор Иваныч, — заговорил Андрей, когда несколько пылавших бревен сорвано было наземь, — никак, ветер подымается... дует от нас к до-

му... видите, куда дым-то повалил?.. Возьмите-ка с собой двух молодцов да проведите их на крышу дома. Захватите только веревки, братцы! как станете на крышу, бросьте нам веревки-то, мы вам подадим ведра с водою... Смотри, не зевать: упадет галка либо огонь швырнет, сейчас заливай!.. А вы, братцы, чем глазеть, полезай на другие крыши; даром далеко, а все вернее, коли народ будет стоять с водою.

Такое распоряжение было как нельзя основательнее; ветер действительно подувал от амбара к жилому строению; огненный столб, начинавший уменьшаться, снова закручивался в воздухе и острыми длинными жалами рвался к дому; несколько горячих головешек упали даже на середину двора. Федор Иванович, бегавший из конца в конец и, очевидно, не знавший, за что взяться, выбрал трех человек и направился к дому. Егор сопровождал его; горбун то и дело забегал вперед и тушил ногами попадавшие головешки даже тогда, когда на них не было огня. Андрей, Иван и оставшиеся мужики продолжали растаскивать бревна и поливать их водою.

Минут пять спустя после того, как исчез Карякин, он снова явился. Он бежал теперь как потерянный; язык его не ворочался, но взамен руки и ноги его дрожали; вся фигура его, ярко освещенная пламенем, выказывала сильнейшее замешательство. Мужики, которых он взял с собою, также вернулись; они бросали испуганные взгляды во все стороны. Егор, скрывавшийся за спиною Карякина, не переставал дергать его за рукав и торопливо что-то нашептывал, не обращая внимания на толчки, которыми отвечал ему гуртовщик.

— Ребята! — крикнул, наконец, Федор Иваныч, сильно размахивая руками, — ребята, меня обокрали!.. подожгли и обокрали! Бросьте все это, черт с ним, пускай горит!.. Шкатулку с деньгами вытащили! — присовокупил он, бешено отталкивая локтем Егора, который снова начал ему нашептывать, между тем как глаза его отыскивали кого-то в толпе работающих.

При этом известии все присутствующие оставили дело и мигом окружили Карякина.

— Обокрали? когда?.. Ах ты, господи! — заговорили все в один голос.

— Федор Иваныч, может, тебе так... со страха-то... в суете почудилось. Кому обокрасть?.. Вишь мы все

здесь налицо... никто в доме не был,— вымолвил Андрей.

— Нет, в дом залезли, унесли шкатульку! — кричал Карякин, выказывая жалкое отчаянье.— Пока мы сюда бросились, они в дом вошли... нарочно зажгли, чтоб отвести нас... и собак отравили... Ребята! — подхватил он задыхающимся от волнения голосом,— что теперь делать? как быть?.. Много очень унесли. Пособите, ребята! всем заплачу; пособите только!

— Нам денег твоих не надобно... дело такое, можно и так сделать! — с живостью перебил Андрей,— коли так, время терять нечего, Федор Иваныч, садись скорей на лошадь, и мы все, которые побойчее, все сядем... Надо в погоню гнаться. Далеко не ушли: в степи схорониться некуда... Слава тебе господи, что рано хватились! Вы, ребята, человек пяток, останьтесь здесь с Иваном, амбар разбирайте, а вы, молодцы, с нами...

Сказав это, Андрей, а за ним шестеро мужиков бросились к лошадям; Федор Иванович выводил уже своего серого жеребца. Минуты через две вся эта кавалерия выехала из околицы, замыкавшей усадьбу, и полетела врассыпную по степи.

В этом преследовании Федор Иванович действовал сначала самым безрассудным образом. Замешательство, в которое ввергла его пропажа денег, отняло у него остаток разума; он скакал зря, сам не зная куда; им овладел теперь как будто какой-то дикий азарт, какое-то бешенство, которое, за неимением другой жертвы, вымещал он на лошади: он бил ее кулаком и колотил каблуками без милосердия. Надо заметить, молодой Карякин вовсе не был так щедр, как рассказывал Егорка. Если ему случалось иногда бросать деньги, он делал это из хвастовства, из тщеславия. Оба эти качества благодаря молодости лет брали пока еще верх над скаредностью; но в домашней и частной жизни молодой купчик начинал сильно напоминать отца, скупого старика, дрожавшего над копейкой. Прокутив сотню-другую, Федор Иванович возвращался в усадьбу, и там никто уже не выманил бы у него гривенника на водку; как бы испугавшись, что так много истратил денег, он ел и пил не лучше своих батраков. То, что говорил он об отце, и то, что он чувствовал к нему, отличалось почти таким же противоречием, как его кутеж. Говоря об отце, он страш-

но хорохорился и выказывал в отношении к нему непомерную смелость; на самом же деле он страшно его боялся; трехмесячная экономия после суточного кутежа позволяла Федору Ивановичу сводить концы с концами в отцовских счетах; он редко ему попадался, но кой-какие проделки все-таки дошли до старика, который не раз грозил сыну лишить его наследия и пустить по миру, если он не остепенится. Не было сомнения, что старик припишет пропажу денег беспутству и неусмотрению сына. Уже довольно того, что сгорел амбар и сберегаемые в нем кожи; конечно, все это случилось не виною сына, тем не менее Федор Иванович, думая обо всем случившемся и беспрестанно обращая мысли свои к отцу, терял голову. Благодаря, может быть, этому самому страху, внушаемому отцом, мысли Карякина пришли, однако ж, скоро в порядок. Он обсудил, что скакать без толку совершенно бесполезно; прежде всего дело требовало внимания и осмотрительности. Он перестал бить лошадь, поехал шагом, и через каждые пять минут останавливался и прислушивался.

В разных концах степи слышался топот лошадиных копыт; звуки эти то удалялись, то приближались, к ним примешивались иногда человеческие голоса. Карякин каждый раз быстро обращал глаза в ту сторону, откуда раздавался голос, но дальность расстояния скрадывала слова; хотя небосклон, особенно со стороны востока, заметно уже делался светлее горизонта, но все не было еще возможности различать предметы далее двадцати сажен. Карякин продолжал пробираться шагом и прислушиваться. Немного погодя он снова услышал в отдалении голос; голос показался ему на этот раз особенно громким; крик повторялся теперь без умолку. Федор Иванович повернул лошадь и поехал рысцою по тому направлению.

Вскоре сделалось ясным, что кто-то звал на помощь.

— Сюда... сюда... эй... эй! — кричал голос.

При этом прежний азарт мгновенно овладел Федором Ивановичем; он припал к шее лошади, гикнул и, не переставая действовать кулаками и каблуками, полетел туда стрелою.

Огненный столб в том краю, где находилась усадьба, видимо между тем уменьшался; зарево также бледнело в светлеющем небе. Мужичок Андрей из

Панфиловки ловко распоряжался в начале пожара; но без него Иван также не тормозил рук; он теперь более всех способствовал к скорому прекращению опасности; им, точно так же как Карякиным, овладел азарт; но этот азарт был совсем другого рода: он не зажигал в нем бешеной, бестолковой злобы; азарт Вани исключительно обращался к пылающим бревнам; он помог ему забыть Карякина; Ваня видел одну только опасность, одну необходимость в помощи и лез в огонь, так что перед присутствующими поминутно мелькали обгорелая голова столяра и его улыбка. Деятельность Ивана мешала ему также заметить Егора, который хотя и не показывался подле амбара, но перебегал от одного угла дома к другому, покрикивал на работников или, притаившись за собачьей конурой, выглядывал оттуда на столяра. Наконец опасность совсем миновала, последнее бревно стащено было наземь и полито водою. Придя немного в себя, Иван ни в каком случае не мог уж заметить Егора, несмотря даже на то, что занимавшаяся заря начинала рассевать сумрак. Егор пропал и нигде теперь не показывался. Иван и остальные мужики сидели на обгорелом бревне и беседовали обо всем случившемся, когда раздались глухие, но постепенно продолжавшиеся говор и крики.

— Уж не поймали ли разбойника? Пойдем, братцы! — сказал один из мужиков, вскакивая на ноги.

Все последовали его примеру и торопливо пошли к дому. Поравнявшись с ним, они увидели, как горбун шмыгнул в околицу и, ковыляя, побежал по дороге. Дневной свет быстро распространился над степью; тучи, скоплявшиеся накануне, рассеялись; небо было ясно. Выйдя за околицу, Иван и товарищи его увидели нескольких человек, которые, сбившись плотною кучкой, приближались по дороге; позади вели лошадей. Впереди всех выступал Андрей и еще мужик; они держали за руки какого-то человека, который упирался ногами и отчаянно отбивался. Карякин поминутно подскакивал к нему, хватал его за ворот рубахи и начинал бить, причем тот огрызался, как зверь, и произносил страшные проклятия; подле мужик вел рыженького мальчика; шагах в двух шел другой мужик, мазавший слюною окровавленную руку. Крик и гам слышались непомерные.

Первым делом Егора, как только встретился он с толпою, было броситься на разбойника; но так как в эту минуту в рубаху разбойника снова вцепился Карякин, то Егор подбежал к мальчику и, ловко подобравшись к нему бочком, схватил его за волосы.

— Полно вам, Федор Иваныч! деньги свои получили, чего вам еще? В суде лучше вашего рассудят! — говорил Андрей, давая знак мужику, который держал мальчика, чтоб он отогнал горбуна.

— В суде, там как знают, а я по-своему с ним расправлюсь! — вскричал Карякин, в котором один вид разбойника пробуждал неукротимую ярость. Он снова бросился было на него с поднятыми кулаками, но Андрей остановил его:

— Когда так, сами ведите его, — сказал он с досадою, — мне уж не под силу с ним бороться; я и так измучился.

По мере приближения к усадьбе разбойник начал выказывать столько сопротивления, что двум человекам действительно трудно было тащить его.

— Ваня, подь скорей сюда!.. скорей! — крикнул Андрей столяру, который вместе с другими мужиками стоял шагах в десяти от околицы.

Иван побежал навстречу к Андрею и вдруг остановился; улыбка пропала на губах его, которые раскрылись от удивленья; лицо его вытянулось и побледнело. Толпа между тем приблизилась.

— Ваня, что ж ты? — а? — спросил Андрей, подходя совсем близко.

Иван как будто онемел; он пялил глаза на разбойника, который силился отвернуть голову.

— Филипп!.. как это ты? — крикнул Иван, отступая с ужасом. Все остановились и обратили глаза на парня.

Не успел Иван произнести этих слов, как Егор крепко обхватил его сзади руками.

— Ребята, вяжи его! — раздалась в то же время проницательная фистула горбуна. — Федор Иваныч! я вам сказывал, не хотели меня слушать! что? — а? А! попался, мошенник!.. попался, разбойник! Они заодно действуют... заодно... Федор Иваныч!.. сюда!

— Хватай его, ребята! — крикнул в свою очередь Карякин, бросаясь на столяра с поднятыми кулаками, но в самую эту минуту Ивану удалось высвободить

руку; Карякин отступил; Иван воспользовался случаем и начал бить наотмах горбуна, который продолжал держать его в обхват и колотил в спину головою.

Все это произошло так быстро, что Андрей едва успел передать Филиппа в другие руки.

— Стой, братцы! — произнес он мужикам, которые, переминаясь, подходили к столяру,— я все это дело знаю... Погоди, Федор Иванович, ты спроси прежде! Ты что, собака? прочь! — заключил Андрей, разнимая руки Егорки и посылая его кубарем за пять шагов.

— Ты что здесь распоряжаешься?.. Как ты смеешь!.. Ах ты! — вымолвил Карякин, подходя к Андрею с угрожающим жестом,— вяжи его, ребята! — присовокупил он, указывая на Ивана.

— Никто не тронь! — крикнул Андрей, становясь перед Ваней и защищая его обеими руками.— Сам ты, Федор Иваныч, много берешь на себя; тебе не показано вязать встречного и поперечного — да! Что ты этого подлеца-горбуна, собаку эту, слушаешь!.. Ты спроси прежде, разведай... Нет, этак не приходится, как ты делаешь,— да!.. Ты, стало быть, забыл, что этот парень, которого вязать хочешь не спросимши, обгорел весь, добро твое спасаючи.

— Мало ли что! видали мы это!.. Он, может, делал для виду... отвести хотел от себя... знаем мы!..

— Не слушайте их, Федор Иваныч,— пискнул Егор, высовываясь вперед и снова скрываясь, как только повернулся к нему Андрей,— они заодно, все заодно! друг дружке руку держат!..

— Ну, слушай же, Федор Иваныч,— подхватил Андрей,— я хлопотал для тебя, я и разбойника-то поймал и деньги тебе твои выручил... Коли ты помнишь добро, выслушай, что скажу: все это дело мне хорошо знакомо; Иван мне обо всем сказывал: он и вот этот (Андрей указал на Филиппа), они из одной деревни; он у них беглый, никак пятый, никак шестой год бегает.

Андрей с помощью столяра, который немного оправился, рассказал в коротких словах историю Филиппа. Разбойник между тем от всего отпирался, клялся и божился, что в первый раз видит Ивана и в первый раз слышит о Марьинском, о мужике Тимофее и о бабе Катерине. Егор не переставал кричать,

что все умышленно путают дело, с целью отвести подозрение друг от дружки, но его никто не слушал; присутствующие были на стороне Андрея и столяра. Сам Федор Иваныч взял в толк наконец, что столяр не мог быть соучастником Филиппа.

— А все-таки я его не пущу и свяжу,— сказал он,— надо его в суд представить...

— Это уж само собою,— возразил Андрей,— он и сам знает, что суда теперь не минует... такая, знать, доля его. А вязать его не к чему, он и так пойдет,— примолвил Андрей, обращаясь к Ване и начиная его всячески успокаивать.

Первым распоряжением Карякина, как только все пришли в усадьбу, было тотчас же послать верхового к становому приставу, который, к счастью, находился верстах в восьми. Требовалось прежде всего на самом месте преступления снять все показания как от разбойника, так от свидетелей и лиц, знавших его прежде. Филиппа и Степку, связанных по рукам и по ногам, посадили врозь, одного в дом, другого в конюшню, под присмотром мужиков, которым Карякин обещал щедро заплатить за хлопоты. Во все это время Андрей не покидал Ивана; он ободрял его и обнадеживал, говоря, что за Катерину и семью ее также нечего опасаться; по словам Андрея, скорее следовало радоваться, чем приходить в отчаянье, плакать и падать духом: по крайней мере семья навсегда освободится теперь от разбойника, который отымал у нее покой столько лет. Что ж касается Маши и ребятишек Лапши, которых, без сомненья, в суд не потребуют, Андрей брал их на свое попеченье на все время отсутствия родителей.

Переговорив таким образом с Иваном, Андрей, частью действуя по собственному желанию, частью повинуясь просьбам столяра, направился к Катерине, чтоб заблаговременно предупредить ее о том, что ее ожидало.

В полдень приехал становой пристав, и начался допрос. Истребованы были тотчас же Лапша, Дуня и Катерина. Но мы не станем описывать допроса станового. Зная всех лиц, исчисленных нами выше, зная отношение их друг к другу, читатель легко поймет, что́ должно было происходить в этот день в доме гуртовщика Карякина. К вечеру все показания были отобраны, нанесены на бумагу и скреплены свидетелями.

В ту же ночь все лица, сопричастные делу, усажены были на подводы, нанятые гуртовщиком, и отправлены в уездный город; туда поехали также становой и Карякин.

II

ДРУЖЕЛЮБНЫЕ ОБЪЯСНЕНИЯ

Три недели прошло после пожара. Часа в два пополудни, в ясный сентябрьский день, в околице Панфиловки показался серый жеребец Карякина, показались беговые дрожки и сам Федор Иванович в своем новом казакине. Он накануне только вернулся из уездного города, куда ездил раза четыре во все время, как продолжалось следствие. В первую же поездку написал он отцу письмо, в котором подробно объяснил обо всем случившемся. Ожидание ответа повергало Федора Ивановича в сильную тревогу. Вообще события этих трех недель: пожар, покража денег, может быть, даже вид судей и самый ход строгого судопроизводства порастрясли, как говорится, мозги молодому Карякину. Им овладело что-то вроде тоски, какое-то недовольство самим собою, чего прежде с ним не бывало. Он не знал, за что взяться и что делать. Проведя таким образом целый день, Карякин решился ехать в Панфиловку. К такой решимости содействовала, быть может, привычка; нельзя, впрочем, поручиться, чтоб не было также и другой причины. Волокитство за встречными бабенками и девчонками ровно еще ничего не доказывало в таком человеке, как Карякин; безнравственность могла быть плодом невоспитания, дурного примера и, наконец, привычки; это не мешало гуртовщику иметь далеко не злобное сердце. Хотя Егор утверждал, что Федору Ивановичу никто не нравился больше Маши, но Егору, как известно, нельзя было верить; что до меня касается, я готов прозакладывать что угодно, что до сих пор Карякин никем так не прельщался, как полной, румяной Наташей. Лучшим доказательством, какого был он о ней мнения, могло служить письмо его к отцу. Он говорил между прочим, что готов хоть сию минуту исполнить давнишнее желание старика, готов жениться и остепениться. Он не называл Наташи по имени, но ясно намекал на нее, говоря, что находится по соседству та-

кая девица — и скромница, и нравом добрая, и хозяйка большая, и очень даже из себя красива. Трехнедельная разлука после ежедневного почти свидания, тоска, тяготившая Карякина в это время, придали Наташе еще больше цены в глазах и сердце молодого купчика.

Справедливость всего сказанного нами подтверждается радостным чувством, которое овладело молодым человеком, когда он придумал средство примириться с Наташей и снова расположить к себе тетку. Въезжая на дворик Анисьи Петровны, он возблагодарил судьбу, которая посылала ему таких славных соседей. Вдовствующая заседательша сидела одна в комнате, обвешанной мешочками с семенами и украшенной портретом покойного. Она сначала сухо и как-то принужденно ответила на поклон и приветствие гостя.

— Вы меня извините, Анисья Петровна; я, может, помешал вам? — произнес Карякин, не зная еще, с которой бы стороны подойти ловче, но на всякий случай спеша задобрить старуху почтительным, любезным обхожденьем. — Вы так изволили беспокоиться... людей своих послали ко мне на помощь... сами заезжали два раза... я почел своим долгом благодарить вас...

— Ты, никак, батюшка, три раза приезжал из города-то... можно было давно приехать ко мне... Спесив стал, отец родной, спесь-то одолела...

— Помилуйте, Анисья Петровна! это вы совершенно изволите напрасно... Не ехал я к вам потому... никаким, то есть, манером нельзя было... делов собралось множество... а главное-с: вся эта оказия причинила такое расстройство, что я думал, вы меня извините за мое, то есть, невежество...

— Садись, мой батюшка... что ж ты стоишь, как скворечница какая... садись...

— С моим великим удовольствием, — проговорил гость, располагаясь подле старухи, — теперича, — подхватил он, — теперича, благодаря богу, все это дело благополучно окончено; но ужасти, что было такое, Анисья Петровна! Поверите ли, до сих пор не могу даже очувствоваться...

— Да скажи же, отец мой, как же это так? Стало быть, эти поганцы... ну вот, что на луг-то переселили, стало быть, они ни в чем этом не замешаны?.. Мне Андрей сказывал, их опять на луг отослали... Как же так?.. Ведь разбойник-то приводится им брат родной...

— Точно так-с; только найдено было, они ко всем делам его не причастны. В тот же день, как привезли их, посланы были справки в их деревню; через неделю ответ получили: действительно, говорят, такой-то шестой год в бегах; все приметы его показаны, и мальчика также упоминают... обо всех делах его рассказывают, все точь-в-точь как показала Катерина, брата его жена... Ну, а родня его, говорят, ни в чем таком не была замечена... самые, говорят, смирные, хорошие люди... Все это может быть, Анисья Петровна; только уж я вам доложу: зато брат этот, что поджег-то меня, уж это, я вам скажу, такой плут, какого в мире подобного нет! Я как только увидал его, сейчас, с первой точки увидел, какая это продувная бестия!.. Позвольте спросить, как находится в своем здоровье Наталья Васильевна? — неожиданно присовокупил Карякин, глаза которого все чаще и чаще устремлялись на дверь соседней комнаты.

— Что ей делается! К осени-то еще, никак, поприпухла...

— Это очень приятно слышать-с...

— Наташа! Наташа!..— загнусила Анисья Петровна,— что ты там, мать моя, сидишь как макура какая-нибудь!.. Поди сюда!..

Карякин встал, поправил волосы и, расшаркиваясь, пошел к девушке, которая показалась в дверях.

— Как вы в своем здоровье?.. давно не имел удовольствия вас видеть...

— Да-с... очень давно,— возразила Наташа, не подымая глаз.— Что вам, тетенька, угодно?..

— Что ты, мать моя, затворницей-то сидишь? И здесь место есть... Поди посиди с нами.

Через минуту Наташа снова вошла в комнату с платком, который начала обрубать, и расположилась подле тетки.

— Да что это ты сидишь как заспанная какая? Встряхнись, мать моя, встряхнись! — проговорила старуха, поглядывая своими маленькими, заплывшими глазками на племянницу и украдкою переводя их на Карякина, который старался казаться развязным.

Полные щеки девушки покрылись румянцем; но, вместо того чтоб встряхнуться, как говорила тетка, она еще ниже опустила глаза к работе.

— Да-с, я вам доложу, это ужаснейший плут, брат этого переселенца,— вымолвил Карякин, думая рас-

сказами занять девушку и обратить на себя ее внимание.— Представьте себе, Анисья Петровна, уж на что ведь, кажется, на месте поймали, даже деньги все за пазухой нашли, все улики налицо — так нет, поверите ли, от всего отпирается! «Знать, говорит, не знаю, ведать, говорит, не ведаю; шел, говорит, мимо, на меня напали, сунули, говорит, деньги за пазуху... все, говорит, занапраслину!» Ну, тут, знаете, его маленечко того... прикрутили... Он ничего этого не испугался — никакого, то есть, действия!.. Отпирается от своей деревни, также и от родных: «Впервой, говорит, вижу, не знаю, говорит, что за люди за такие!» А сам, так сам в глаза им и смотрит!.. Они ему всю подноготную рассказывают о его жизни, а он свое рассказывает: «Такой-то губернии, говорит (совсем другую губернию показывает), двенадцати лет, говорит, отдан был в ученье в Москву, потом пошел с богомолками в Киев. В Киеве, говорит, поступил в ученье к бочару, прожил там двадцать лет; потом, говорит, случай такой вышел, отправился в Одесту на привольное жительство...» Вы послушали бы только, как все это он расписывал! даже судья, и тот подивился!.. «Ну, говорит, жил я в Одесте, пока не сгрустнулось по родине; отправился тогда, говорит, в Воронежскую губернию... тут, говорит, дорогой с мальчиком повстречался... взял его, примерно, с собою...» Вот, знаете, судья-то его и спрашивает: «Что ж это, говорит, за город такой Одеста?» — «Город, говорит, как все города».— «Что ж там, спрашивает, река, что ли, есть какая?» — «Обыкновенно, говорит, города нет без воды».— «Река, что ли?» — пристал опять судья. «Где нам, говорит, этим заниматься! Пробавлялся, говорит, рукомеслом своим, добывал деньги, жил хорошо, а о звании и пашпорте меня никто не спрашивал...» А сам, я вам говорю, так всем в глаза и смотрит. Хорошее, должно быть, ремесло, каким он занимался! Это, значит, как говорится: занимался практическим упражнением! — примолвил Карякин с целью рассмешить слушательниц.

Наташа действительно улыбнулась. Ободренный этим, а также вниманием Анисьи Петровны и ее восклицаниями, Карякин продолжал с большею еще против прежнего развязностью:

— Да-с, скажу вам: это человечек, уж можно сказать, что человечек! Случай только не тот был, а то

бы он, пожалуй, на целый год завел материю; пожалуй, совсем бы отбился... да жаль, случай не тот был-с! С одной стороны, знаете, мальчик-то выдавал его, потом сродственники, а там письмо пришло с их-них мест... Ну, видит, знаете, кругом обступили, ступить некуда, начал поддаваться... На прошлой неделе в конце во всем признался: «так и так, говорит, мое дело!» И не то чтоб, этак, совестился,—нет, просто рассказывает, как по-писаному... Рассказал, как бежал, как украл у матери мальчика, как лошадей воровал по округе своей деревни, как купца ограбил; рассказал даже такие дела, о которых никто не знал прежде. У них, видите ли, подле деревни по соседству жила какая-то старуха, ворожбой занималась, так она, говорит, пуще всего его подольщала... Все поведал, как жил у нее, как они вместе воровали и все такое... Потом всех этих своих родных признал, жену признал, мальчика...

— Какую же это, отец, жену-то? Это вот сумасшедшую-то, что к нам шлялась?—спросила старуха.

— Точно так-с, та самая! Я совсем забыл рассказать вам о ней. Вот поглядели бы вы, Анисья Петровна, что там такое было-с, как в первый-то раз привели ее! — подхватил рассказчик, обращаясь теперь к девушке, которая время от времени подымала глаза и вообще выказывала меньше невнимания,— как только, знаете, привели ее, как только увидела это она мужа и мальчика, так замертво и покатилась — страсти даже было глядеть! насилу отлили ее водою, два раза кровь кидали... Сейчас, знаете, отнесли это ее в больницу... да нет! третьего дня, как уезжал из города, сказывали мне, горячка такая у нее сделалась, что никаким манером пережить невозможно... А уж как только, как, кабы вы только видели, как ухаживала за ней Катерина, так даже, поверите ли, всех в чувствие привела... Тот, разбойник, муж-то, стоит себе, как словно не его дело, совсем не до него касающееся... а эта Катерина так вот и заливается... Мы даже все подивились, как простая этакая баба, мужичка, а какое чувствие показала — право-с! Надо думать, Анисья Петровна, они действительно, то есть вся эта семья, окромe разбойника брата, все действительно люди хорошие...

— А мне, батюшка, бог с ними! бог с ними! бог с ними! — снисходительно проговорила старуха,—

только бы как-нибудь от них-то ослобониться... насчет луга-то. Луг-то Кудлашкинский заняли, собаки — вот что! Кабы не это, отец, мне бы бог с ними!.. Посуди: ведь девять лет лугом-то владала! сто рублей в год получала... Совсем ведь разорили, разбойники!..

— Вы на этот счет не извольте ничего себе беспокоиться; я могу сделать вам в уважение... уладить как-нибудь...

— Ох, батюшка, по гроб жизни стану благодарить тебя!.. посуди, отец: ведь сто рублей!.. сто рублей, батюшка! Как же ты сделаешь-то?

— Извольте видеть: этот луг для нас самые, выходит, пустяки, безделица, малое дело-с. Мы его у тех у помещиков купим-с, Анисья Петровна; я в той надежде, батюшка согласится — это, можно сказать, без всякого сомненья... А там, Анисья Петровна, по соседству как-нибудь с вами сделаемся...

Этим обещанием Карякин окончательно примирил с собою старуху; она позвала Пьяшку и велела принести свеженьких моченых яблок. Карякину оставалось теперь смягчить сердце девушки, оправдаться перед нею и снова возвратить ее к прежним отношениям. Отозвавшись с большою похвалою о моченых яблоках, Федор Иванович кашлянул, украдкою взглянул на Наташу, но, не встретив с этой стороны поощрения, обратился опять к старухе.

— Вот я вам рассказал теперича обо всем, что случилось, Анисья Петровна, то есть каков гусь этот разбойник и что было в этом городе; но знаете ли, ничего бы этого не было: ни пожара, ни покражи денег, ни суда, кабы не замешался тут еще один человек — право, так; его в суд-то не водили... я сам рассудил его... Не случись он, ничего бы этого у меня не было — право, так-с!..

— Ах, батюшки! — воскликнула Анисья Петровна, потряхивая головою, обтянутою знаменитым чепцом.

Наташа подняла глаза, и на лице ее точно так же выразилось удивленье.

— Да-с, извольте-ка догадаться, кто бы это был такой? — сказал Карякин, взглянув на тетку и улыбаясь племяннице, которая тотчас же потупила голову.

— Ох, отец, уж не из моих ли? Не пугай, батюшка, скажи.

— Нет-с, не извольте сомневаться: не из ваших! — промолвил рассказчик, радуясь успешному обороту

речи, которая возбуждала любопытство девушки и заставила ее снова приподнять голову.

— Да кто же, батюшка? Ах он, разбойник, окаянный!.. Кто же это?

— А больше никто-с, как Егорка...

— Вы знаете, тетенька,— проговорила, краснея, Наташа,— горбатый такой... хромой...

— Ах, батюшки!

— Точно так, Наталья Васильевна, он самый-с! — подхватил Федор Иванович, оживляясь,— да-с, он всему этому делу заглавие, всему, можно сказать, причиной... Я давно хотел его прогнать, потому как он есть негодяй, мне держать его не приходится.. да знаете, все как-то жалел его — право-с. А тем временем этот случай вышел... Пошел он, знаете, в кабак — человек был пьющий; на него со временем такая, знаете, линия находила,— напился, да и давай хвастать моими деньгами, которые получил я из Москвы, тысячи три... Все спьяну-то и расскажи в кабаке: где лежат и все такое, а разбойник-то, что поджег, тут сидел; ему, знаете, и пришло на мысль... Сам говорил: «кабы не горбун этот, говорит, мне бы в голову не вкинулось; он надоумил». Разумеется, ему никаким манером нельзя было знать, где деньги и как в дом пройти... Этакой мошенник!

— Да как же, отец, ты его в суд-то не представил, разбойника? Ах он! — воскликнула Анисья Петровна, начиная плескаться и пениться.

— Дело так обошлось, без суда-с,— посмеиваясь, перебил Карякин,— я сам с ним расправился: поучил его хорошенько, а потом выгнал взашеи-с... Впрочем, я давно к нему подбирался... Вы представить себе не можете, Анисья Петровна, что это был за плут...

Тут Карякин остановился и кашлянул; с минуту он как будто переминался и соображал с мыслями.

— Да-с, жаль, я поздно узнал обо всех его штуках, какие он со мною делал: он бы не так еще дешево отбоярился! — произнес Федор Иванович, стараясь принять нахмуренный вид.— Знаете ли, Анисья Петровна, этот мерзавец чуть было даже меня с вами не поссорил — ей-богу... Вот Наталья Васильевна так даже на меня рассердились... в последний раз не хотели даже говорить... Всему этому неудовольствию он был причиной...

— Что ж это такое, отец мой? Наташа! о чем это

он говорит? Я, батюшка, ничего не знаю,— проговорила старуха, которая до сих пор не могла разведать от племянницы о причине ее слез и о скором отъезде Карякина.

— Я ничего не знаю, тетенька, о чем они говорят...— прошептала Наташа, вспыхивая, как пион.

— Помилуйте, Наталья Васильевна, припомните, как вы на меня рассердились...

— Да ты полно, батюшка, ломаться-то, скажи, за что ж это она с тобой говорить-то не хотела...

— Извольте, Анисья Петровна, готов вам сделать всю откровенность,— произнес Федор Иванович, возвращая лицу своему веселый, беззаботный вид.— Надо вам сказать, этот Егорка хоша и горбат, а большой был волокита, очень, то есть, любил к девушкам подольщаться; только, знаете, все эти свои шашни — потому что, разумеется, ему часто за них доставалось — все это он на меня сваливал... Случится, попался — так чтоб отвертеться, знаете, сейчас и скажет: «Мое дело сторона,— говорит,— меня,— говорит,— Федор Иваныч послал!» То есть, я вам скажу, такую обо мне молву пустил...

— Нам-то что до этого, батюшка? Ни мне, ни Наташе серчать за это не за что... Мы тебе не укор; вольный казак, батюшка, человек, ничем не обвязанный... Безобразничай, пожалуй... только уж извини, ко мне не ходи после этого...

— Ну, вот то-то же и есть! — поспешил перебить Федор Иванович, слегка краснея.— Сами говорите: в дом не ходи! Я к тому и говорю вам, Анисья Петровна: кому же приятна слава, которую он про меня пущал?.. Как узнал я об этом, поверите ли, даже все сердце во мне закипело... Случай вышел через девушку, что у вашего Андрея живет в работницах... Вы ее знаете: она дочь той самой Катерины...

— Ох, отцы мои! куда ни ткнись, все они да они, точно бельмо на глазу, а ты еще хвалишь!.. Должно быть, вся семья у них один в однова́, вся семья-то разбойническая... Вот, право, наслал господь!..

— Бог даст, скоро избавитесь, Анисья Петровна; мы как этот луг-то купим, их уж тогда не будет-с! — промолвил Федор Иванович.— Позвольте я вам доскажу, какой случай вышел: этот бестия горбун давай ухаживать за этой девкой, а к тому времени пришел молодой парень из ихней деревни, откуда переселен-

цев-то выслали. Уж я не знаю, сродни ли он им или жених, может, даже так, из зависти одной, возьми он вступись за девку, стал, верно, стращать горбуна, а тот и скажи ему, как он прежде это делал: «Я, говорит, рази для себя, для Федора Иваныча, говорит, он посылает!» Тот, знаете, малый-то, ничего не спросимши, не разведамши, бросился к Наталье Васильевне и насказал им про меня бог весть что такое... Наталья Васильевна всему этому поверили... и рассердились... — промолвил он, делая головою укорительные знаки девушке, которая не могла скрыть своей радости и смотрела на него такими глазами, в которых самый неопытный человек мог прочитать прощенье. — Да-с, Наталья Васильевна всему этому поверили, взяли да и рассердились, — присовокупил Карякин, к которому тотчас же возвратилась вся его уверенность, — потому, разумеется, нельзя и не рассердиться, Анисья Петровна; вы сами говорите: «коли безобразничать хочешь, так в дом не ходи», никакой нет приятности в компании такого человека... это уж само собою-с...

Но Анисья Петровна была не так доверчива, как племянница: голубиная невинность Карякина казалась ей очень сомнительною. Многие даже проделки его по части волокитства были ей известны через Пьяшку, которая не могла держать в себе тайн точно так же, как горшок с пробитым дном не может держать воды. Все, что узнавала Пьяшка, узнавалось тотчас же всей Панфиловкой, начиная от Анисьи Петровны и кончая последней бабенкой; единственный предмет, до которого не касалась Пьяшка, был семилетний оборванный мальчик, бегавший по двору; но это потому, может быть, что в происхождении его ничего уже не было таинственного: все знали о нем очень хорошо. Если до сих пор Анисья Петровна в разговорах с племянницей умалчивала о волокитстве Карякина; если она грозила Пьяшке раздавить ее как муху, в случае когда она проболтается Наташе; если она выставляла всегда Карякина с самой выгодной стороны, то делала это, имея в виду расположить к нему племянницу и склонить ее выйти за него замуж. Как уже известно, здоровье девушки, ее полнокровие служили главным поводом такому желанию тетки: «Боюсь, мать моя, кровища-то в ней взыграется, — повторяла она все чаще и чаще, — не совладаешь тогда, мать моя! Пожалуй, еще из дому убежит... осрамит совсем!.. Лучше

уж с рук долой... замуж бы... все было бы тогда покойнее...» Сохраняя все ту же беспокойную мысль и радуясь душевно прибытию гуртовщика, она, конечно, не думала обличать его перед Наташей; но ей хотелось, однако ж, дать ему почувствовать, что ее не так легко провести, как глупую восемнадцатилетнюю девку.

— Уж ты, отец, полно смирячком-то прикидываться! — шутливо проговорила она,— не такие глаза у тебя. Может, взаправду за той девкой ухаживал, а? Может, так говоришь только, сам, чай, засылал Егорку-то, а?..— прибавила она, посмеиваясь, но устремляя серые, пытливые глазки на молодого человека.

— Помилуйте, Анисья Петровна, что это вы!..— перебил Карякин, пожимая плечами и покручивая головой, между тем как Наташа снова вспыхнула и вся превратилась в беспокойное ожидание.— Вы меня обижаете, Анисья Петровна... потому я на этот счет всегда содержал себя в аккуратности... Возьмите теперь в другую сторону: когда мне заниматься этими пустяками?.. К тому же, сделаю вам всю откровенность... У меня мысли не к тому совсем... Есть, примерно, такой... совсем другой предмет, о котором я думать должен-с...— присовокупил Карякин, бросая томный, многозначительный взгляд девушке, которая тотчас же начала улыбаться.

Но Анисья Петровна не удовольствовалась таким оправданием; пожиманье и переминанье молодого человека вызывали лукавую улыбку на толстых губах ее; заплывшие, но пытливые глазки не переставали щуриться на купчика; наконец они с живостью обратились к двери.

— Пьяшка, Пьяшка! — загнусила вдруг Анисья Петровна.

Пьяшка, стоявшая за дверьми (любимое местопребывание Пьяшки, когда в комнате шел о чем-нибудь разговор), Пьяшка не замедлила явиться.

— Пошла, глупая, позови-ка Андрея ко мне да скажи, чтоб сейчас шел, а то я сама, скажи, пойду за ним.

— Это вы зачем-с? — промолвил Карякин не без внутреннего беспокойства.

— Велю сейчас же прогнать ему эту девку, о которой ты говоришь-то,— возразила старуха, подозрительность которой быстро, казалось, перешла к племяннице.

Но лицо Карякина ясно говорило, что ему было совершенно все равно, останется ли Маша в хуторе или вовсе ее не будет. Он даже оправдал намерение помещицы: он знал из верных источников, что Андрей вовсе даже не нуждался в работнице и держал у себя Машу единственно для того чтоб помогать ее семейству. Так как переселенцы избавлены теперь от сумасшедшей Дуни, так как стало у них одним ртом меньше, то возвращение Маши к родным не будет для них большим стеснением. Лицо Федора Ивановича оставалось точно так же веселым и беспечным во все время, когда помещица передавала Андрею свою волю; Карякин раза два вмешался даже в разговор, выставляя Андрею на вид всю тягость держать без надобности работницу, с чем, однако ж, Андрей по-видимому, не соглашался.

По уходе мужика серые, пытливые глазки Анисьи Петровны переменили направление; они исключительно обращались теперь к саду и высматривали воробьев и галок, которые пугливо вскидывались каждый раз, как Анисья Петровна вскрикивала: «Кишь, пострелы!.. кишь, кишь, окаянные!.. Ах ты, мать моя! кишь, бестии!..» Карякин пользовался этими случаями, чтоб томно поглядывать на девушку, прижимал руку к груди, шептал клятвы – словом, выказывал знаки страстной любви и привязанности, чему Наташа, не перестававшая краснеть, но мягко смотревшая теперь своими добрыми глазами, охотно верила, и что, несомненно, пробуждало в ней сильную радость.

III

ОДНИМ ЛУЧШЕ, ДРУГИМ ХУЖЕ

После окончания уборки Андрей и Прасковья в самом деле могли очень хорошо обойтись без работницы; правда, они платили ей недорого: платили хлебом, которого было достаточно, но все же хлеб этот чего-нибудь да стоит; при всем том как Андрею, так и жене его крепко не хотелось расстаться с Машей; но делать нечего: Анисья Петровна приказала – надо было повиноваться.

Для Маши разлука эта была еще тягостнее; каждый член семейства прощался с ней с одною и жа-

лел о ней одной; ей приходилось жалеть каждого из них; ей приходилось прощаться с несколькими человеками, к которым она привыкла и привязалась. Проводы происходили в тот же вечер, как Андрей выслушал волю помещицы. Прощаясь в мазанке с детьми и хозяевами, Маша вполне владела собою, но, подойдя к воротам, куда вся семья вышла провожать ее, она не в силах была победить тоску и заплакала. Андрей, которого доброе и честное лицо сохраняло во все время задумчивое выражение, поспешно отошел к ближайшему навесу двора.

— Маша, подь-ка сюда... одна поди: надо переговорить, есть дело такое,— произнес он, делая знаки головою.

Маша передала узелок свой одному из ребятишек, отерла слезы и пошла к навесу.

— Вот что, Маша,— сказал Андрей, отводя девушку почти к задним воротам и понижая голос,— слышь, ту муку, которую я вперед дал твоей матери, ты, слышь, ничего об этом не сомневайся: мы теперь не нуждаемся, хлеба вдостачу... Вишь, какое сотворил господь рожденье! — промолвил он, кивая на две огромные скирды ржи, которые заслоняли ригу.— Так и матери скажи, ни в чем этом чтоб она не сомневалась... Да вот что, коли случай такой выйдет... надобность у вас встренется... ну, там мучицы ли, крупицы ли потребуется, скажи ей, мне бы только словцо замолвила — мы этим, скажи, обижаться не станем.

— Благодарствуй, дядюшка Андрей... господь...

— Ну, что там! Самое это выйдет для нас пустяшное дело,— перебил мужик, направляясь с бывшей своей работницей к жене и детям.

Началось опять прощанье. Хотя слова Андрея понастоящему должны были бы обнадеживать девушку и совершенно успокоить ее касательно стеснений ее семейства, но слезы ее продолжали литься и оставляли следы на щеках бывших ее хозяев, с которыми она целовалась. Они готовились уже выйти на улицу, как вдруг Прасковья торопливо вернулась во двор; она, точно, забыла в мазанке какой-то предмет, в котором встретилась теперь самая крайняя надобность. Секунду спустя из низеньких дверей надворных сеней показалось лицо ее.

— Маша, Маша! — крикнула она с озабоченным видом.

Маша, завладевшая узелком своим, снова передала его мальчику и пошла к хозяйке.

— Ты, Маша, смотри, заходи к нам, почаще заходи, и матери скажи, чтоб заходила,— вымолвила Прасковья, увлекая девушку в дальний угол, как будто все сказанное ею и то, что впереди предстояло, требовало величайшей тайны,— она как последний раз к нам приходила, Катерина-то, оченно сокрушалась насчет пряжи,— подхватила хозяйка Андрея,— так скажи ей, касатушка, льном, скажи, теперь раздобылись... Пущай придет, возьмет. Ну, вот также, коли потребуется донец и веретена — у нас все это есть; скажи либо сама зайди; либо ее пришли, касатушка... дело наше такое соседское, в чем я ей послужу, в чем она мне.

— Спасибо, тетушка Прасковья, век, кажись, должны мы тебя помнить,— вымолвила Маша, стирая ладонью слезы.

— Так-то, родная! Ну, господь с тобою! Смотри же, скажи обо всем матери-то... Да сама-то, смотри, заходи к нам.

Прасковья и ребятишки проводили Машу за околицу; тут они простились еще раз, наказали девушке заглядывать к ним почаще и оставили ее одну на дороге к степной мазанке.

Вечер был чудесный, один из тех ясных, блестящих вечеров, которые являются в исходе осени перед порою дождей и ненастья. Куда ни обращаешь взор, всюду как будто встречаешь быстро удаляющийся образ лета, которое время от времени оборачивается назад и бросает прощальную, меланхолически-задумчивую улыбку. Воздух, освеженный холодными утренниками и зорями, освобожденный от земных испарений первыми легкими морозцами, получает остроту и звонкость и живительно возбуждает нервы; небо уходит как будто выше в глубину и не омрачается ни одной тучкой; побледневшее солнце светит как-то боком, но косвенные, похолодевшие лучи его сообщают всем предметам необыкновенный блеск и яркость, особенно по вечерам, когда лучи делаются еще наклоннее; деревья с пожелтевшими листьями стоят от маковки до корня все золотые, как в сказках; бледно-желтое жнивье принимает янтарный отлив; поля и степь охватываются пурпуром и темною, густою лазурью. Кровли отдаленных избушек, черные, сухие ветви дубов, опустелые скворечницы и колодезные

шесты – четкими линиями обозначаются теперь в чистом небе, как бы проникнутом зеленоватою сквозниною. Яркость красок заменяет теперь звуки, заменяет оживление и деятельность природы. Большая часть птиц уже улетела; по дорогам между полями не раздается скрипа телег, тяжело навьюченных снопами; к нему не присоединяются ни ржание жеребенка, ни голоса и песни возвращающихся жниц и косарей. Земля как будто кончила свое дело, отдала посильные дары свои человеку и отдыхает. Тишина на земле и в небе ничем не нарушается; изредка в ясной глубине небесного свода покажется линия чуть видных, двигающихся к югу точек, журавлиный крик разнесется далеко в звонком воздухе, в ответ ему из ближайшей деревушки раздадутся радостные детские восклицания, и снова оживленная на миг окрестность погружается в сонливое, задумчивое молчание. Но Маша оставалась совершенно равнодушною к чудному вечеру, который обнимал степь; она ни разу не взглянула на ясное небо, ни разу не обернулась, чтоб полюбоваться солнечным закатом: она охотно променяла бы теперь всю прелесть природы на меру картофеля, на куль муки, в которых так крепко нуждалось ее семейство.

Не спешите заключать, о мои читательницы, перелистывающие теперь страницы этой повести вашими нежными пальчиками, не спешите заключать, что молоденькой мужичке во всяком случае свойственнее думать о муке и картофеле, чем устремлять мысли к предметам более возвышенным, к таким предметам, которые вас только одних занимать могут! Я не сомневаюсь в поэтических свойствах вашей души и вашего воображения; но не сомневаюсь также и в том, что поэзия эта не столько составляет принадлежность исключительно одаренной природы, сколько попросту находится в зависимости от обстоятельств или счастливой обстановки жизни. Если вы восхищаетесь солнечным закатом, если устремляете к небу прекрасные глаза и так мило произносите: «Oh, que c'est beau!»[1] – поверьте, это доказывает только, что вам нечего думать о недостатке муки и картофеля: ваши близкие или ваши дети здоровы и сыты, сердце ваше спокойно или радостно бьется, вам очень приятно гулять по полю после чая или очень удобно сидеть на

[1] О, как это прекрасно! *(фр.)*

балконе в ожидании чая с отличным белым хлебом и привлекательными тартинками — право, так! Не спешите, следовательно, делать заключения о грубых душевных свойствах такого-то человека или сословия; справьтесь прежде об обстоятельствах человека или сословия: тогда уж и заключайте...

Маша не могла принести домой даже слова утешения; она судила о матери по себе: готовность Андрея и жены его подсоблять ее семейству, конечно, могла обнадежить Катерину, но вместе с тем готовность эта не открывала ли бедной женщине, как в самом деле велики были ее нужды, как сильно застигли ее тяжкие обстоятельства! Нельзя поручиться, чтоб мысли молоденькой девушки исключительно принадлежали ее семейству: они уносились, и даже очень часто, в сторону, совершенно противоположную той, где находилась мазанка. Она напрягала воображение, стараясь представить себе уездный город; дело было довольно трудное, потому что она не бывала в городе. Город сам по себе нисколько не занимал ее, но она мысленно бродила по улицам, заглядывала по дворам и в домы, останавливалась перед окнами. Сколько ни работало, однако ж, воображение Маши, мысленный взор ее все-таки не отыскивал знакомого лица, нигде не встречал широкой улыбки столяра Ивана. Он точно в воду канул; Маша знала, что ему возвратили свободу после первого допроса. Он согласился даже вернуться из уездного города вместе с Лапшою и Катериной, но последние перед отправлением своим не нашли Ивана: он вдруг пропал. Нужно было иметь каменное сердце, чтоб не тревожиться. Сердце же Маши отличалось мягкостью, и притом Иван был такой добрый парень, такой давнишний знакомый (они игрывали еще ребятишками на улице Марьинского), что неизвестность о нем, весьма естественно, увеличивала грусть девушки.

Она шла очень скоро; почти незаметно миновала она пространство, отделявшее хутор от мазанки. Подле дома, который от макушки до основания освещался заходящим солнцем, никого не было; где-то в отдалении слышались возгласы трех мальчуганов и лай Волчка; без этих криков и лая можно было думать, что версты на четыре кругом не было живого существа — так тихо было в степи и в мазанке. Маша оставила у порога узелок и вошла в дом. Первый предмет, по-

павшийся ей на глаза, был отец; он лежал в углу на лавке; луч солнца врывался в окна мазанки и, падая на печь, разливал такой свет в угол, где лежал Лапша, что легко было рассмотреть лицо его. Оно сильно изменилось с тех пор, как мы его не видели: даже Маша, бывшая дома дней пять назад, нашла в отце перемену. Все черты его усиленно тянулись теперь книзу; выступающие углы щек, лба и подбородка заострились; на руках оставалась только кожа; густые брови бессильно свешивались над глазными впадинами, которые казались совершенно черными, и еще резче выступала между ними беловатая, тонко заостренная переносица. Лапша не охал теперь, не стонал и не жаловался; быть может, он сознавал даже всю бесполезность возбуждать к себе сострадание; сострадание невольным образом вырывалось у каждого, кто видел Лапшу; успехи его болезни, его бессилие и изнеможение были слишком очевидны. Известие обо всем случившемся в усадьбе Карякина, поимка Филиппа не так еще действовали на Лапшу, как то, что его самого потребовали к допросу; все это вместе так потрясло его, так напугало, что Катерина не чаяла уже привести его живого домой. С тех пор Лапша перестал охать и не вставал с лавки. Он не повернул даже головы при входе дочери.

Увидя Машу, Катерина, сидевшая неподалеку от мужа и кормившая последнего своего ребенка, раскрыла удивленные глаза. Она с первого взгляда поняла, что с дочерью случилось что-нибудь особенное, иначе ей незачем было являться домой в рабочий день и в такую пору. Не дав Маше выговорить слова, она кивнула головою на отца и выразительно указала глазами на дверь. Узелок, оставленный на пороге, убедил Катерину, что догадки не обманули ее. Лицо Катерины во все время, как слушала она объяснение дочери, сохраняло выражение грустного раздумья и вместе с тем какого-то спокойствия и покорности. Она не произносила слова негодования или жалобы против судьбы, которая в этот последний год посылала ей один за другим такие жестокие удары; еще менее думала она упрекать дочь. Если б удаление из Панфиловки произошло даже по вине Маши, и тогда, кажется, Катерина выслушала бы ее снисходительно. После несправедливых подозрений и побоев — словом, после сцены с дочерью в риге Андрея, Катерина обращалась

с ней ласковее, чем когда-нибудь: ей как будто хотелось загладить жестокое обращение с дочерью; это старание не ускользало от внимания девушки, но было совершенно излишне: дочь давным-давно забыла материнские побои, несправедливые проклятия и подозрения. Вообще говоря, последние происшествия с Филиппом, болезнь мужа, мысль о Пете и сцепление тяжких обстоятельств заметно надломили энергию, которою до сих пор отличалась Катерина. Она казалась постаревшею десятью годами.

— Вот до чего дожили! — вымолвила она, когда дочь передала ей слова Андрея и Прасковьи.— Кабы не люди добрые, не знать бы нам, что и делать...

Она не договорила. Подперев ладонью голову, она с минуту глядела на степь, потом провела пальцами по глазам и сказала, переменив вдруг голос:

— Не слыхала ли чего-нибудь о нашей Дунс?.. Может, кто из города приходил, сказывал...

— Нет, матушка, никто не был,— возразила Маша, прикладывая ладонь ко лбу и поворачиваясь к хутору.

С некоторых пор в той стороне немолчно раздавалась песня.

— Ну, и о Ване также ничего не сказывали? никаких нет слухов? — спросила мать.

— Нет, матушка,— проговорила Маша, не обращая теперь внимания на песню, которая между тем становилась звонче и заметно приближалась.

— Уж бог знает, как и думать! — продолжала Катерина,— хоть бы слух о себе подал... Все думается: не случился ли грех какой, право; потому за ним нет этого, чтоб он худыми делами занимался: ни пьяница он, ни аладырный какой человек... Кабы работа напалась либо нанялся где, все бы пришел к нам, в город-то, все бы сказался... А то нет: ждали, ждали — нейдет, да и полно... Право, даже сумленье берет...

Голос, напевавший песню, заливался все ближе и ближе. На этот раз и мать и дочь обратились к хутору; обе решили, что кто-то направился в их сторону; но сколько ни щурились они, сколько ни старались рассмотреть впереди себя, лучи солнца, которое прямехонько спускалось перед глазами, мешали им удовлетворить любопытству. Несколько минут спустя песня вдруг замолкла, но вместо нее Катерина и Маша явственно услышали, как тот же голос назвал их по имени. При этом обе сделали несколько шагов впе-

ред. Грустное лицо Катерины как будто даже оживилось; щеки Маши вспыхнули: они узнали голос. Вскоре все сомненья Маши и Катерины касательно столяра исчезли как дым: он стоял перед ними.

В первую минуту Ваня не мог слова выговорить; он едва переводил дух от усталости. Ноги его, покрытые пылью выше колен, свидетельствовали о дальнем пути и притом очень спешной ходьбе. Несмотря на свежесть воздуха, пот струился по лицу его; волосы в беспорядке рассыпáлись из-под ветхого картуза. Но беспорядок в одежде и суетливость в чертах и движеньях ни в каком случае не выражали теперь внутренней тревоги; совсем напротив, круглое лицо Ивана сияло выраженьем самого полного счастья и довольства; глаза его радостно блистали, улыбка расходилась в обе стороны, дальше даже обыкновенного.

— Здравствуй, тетушка Катерина! здравствуй, Маша!.. Ох!.. ух!.. как запыхался!.. все бежал!..— воскликнул он, бросаясь то к одной, то к другой.— Сейчас на хуторе был,— подхватил он, делая пояснительные жесты и сам посмеиваясь над усилиями, какие должен был делать, чтоб продолжать разговор,— пришел к Андрею: он все рассказал о Маше... барыня велела... ничего! Все хорошо, тетушка Катерина, очень хорошо!.. Сейчас из города... Сорок оконных рам... три сделал; шесть целковых!.. по два за раму!.. Слава богу... Ух! дайте дух перевести...

Из всего этого Катерина и Маша поняли только, что он сейчас пришел из города и был в Панфиловке, где Андрей сообщил ему об удалении Маши. Рамы, шесть целковых и более всего радость Ивана, причину которой никак не могли они истолковать себе, сбивали их с толку.

— Хотелось вас проведать... порадовать хотел. Слышь: сорок рам!.. За три уж деньги получил, шесть целковых! Ничего, тетушка Катерина, что она дома жить станет, это все ничего, ты об этом не думай: авось, бог даст, теперь все поправимся...

— Да что ж такое? я все в толк не возьму, чему радуешься-то? — спросила Катерина.

— Погоди... сейчас... Ух! смерть упыхался... все в бежки да в бежки, от самого, почитай, от хутора.

Катерина подвела его к колодцу, заставила сесть и сама села. Маша остановилась перед ними, закрыв

ладонью глаза от солнца, которое освещало повеселевшее лицо ее.

— Что ж ты до сих пор в городе-то делал? Хотел с нами идти оттуда, до самого вечера ждали; куда ж ты делся-то?.. Ничего я не разберу, что говоришь-то,— сказала Катерина.

— А вот вишь ты,— начал Иван, выказывая веселость, которая заметно переходила к Маше (даже на губах Катерины время от времени появлялась улыбка),— вышло дело такое, никаким манером нельзя было упредить вас... Как вышел из суда-то, как спрашивать-то меня кончили... знамо, очень уж обрадовался, вон скорей... а тут у самых дверей городничий стоит. «Ты,— говорит,— братец, столяр?» — он еще прежде в суде меня видел, такой ласковый... Как сказал я ему: «Столяр,— говорю,— сударь»,— велел за собою идти. Пришли к нему в дом; стал опять водить меня по всем комнатам... У него, значит, рамы худо запирались, так которую починить велел...

— Уж неужели тебе оторваться-то нельзя было?.. На минуту отпросился бы, все бы тогда знали о тебе, сумневаться не стали бы...

— То-то и есть, никаким манером нельзя, тетушка Катерина,— с живостью перебил Иван.— Ты погоди только, все расскажу. Ну вот, тем временем, как я у городничего-то, наезжает к нему помещик... Ты слушай только... Вот как увидел он меня,— а я тут же в комнате стоял, задвижку в раму врезывал,— а он, слышь, затем и приехал: оченно столяр требовался... То-то поглядела бы ты, что было-то! Помещик себе желает, городничий себе — чудные, право, такие!.. Спорили, спорили, помещик городничего-то одолел, меня выпросил... Я и давай тогда проситься. «Так и так,— говорю,— ваше высокоблагородие: у меня здесь сродственники, надо сказаться, дожидать станут, посулил вместе в деревню идти...» Ничего этого не слушает, я ему свое, он свое. «Ладно,— говорит,— уйдешь, где тебя искать!..» Сейчас же велел сесть к себе на козлы и повез в деревню — торопыга такой! а, впрочем, во всем остальном ласковый; сулит: «Работы,— говорит,— пропасть; я,— говорит,— тебя не обижу, будешь доволен!» Ну, и точно: сейчас это, как приехали в деревню, велел накормить меня, потом велел одну раму сделать; как сделал, он все рамы со всего дома — а дом у него новенький, только что вы-

строен – все рамы мне отдал: сорок рам! По два целковых за штуку подрядился! Окроме того, другая еще работа будет, насчет, то есть, мебели... Нанялся я у него до самой до зимы, тетушка Катерина!..

– Ну, слава богу, Иванушка! слава богу!

– Слава богу! И я тоже говорю: слава богу, тетушка Катерина! – перебил Иван, которому очень трудно было усидеть на месте: радость так и подмывала его. – Сначатия-то, как стал я у него проситься к вам сходить, осерчал маненько, а потом обошлось; деньги за три рамы, которые сделал, шесть целковых, отдал; велел приходить через три дня. Я потому больше, вас добрé хотелось проведать... Вот, тетушка Катерина, все эти дела, которые у вас теперича, все это ничего... Надо надеяться, справимся как-нибудь... Слышь: сорок рам! восемьдесят целковых! да там другой еще работы наберется...

– Дай тебе бог... хорошо все это... – промолвила Катерина. – Ну, а идучи городом-то, не заходил ли к Дуне? Что она, сердечная?..

– Как же, тетушка, заходил! Меня к ней не допустили; сказывали только: оченно плоха... а жива еще, жива!.. А насчет, то есть, Филиппа также сказывали: в Москву отправили, и мальчика отправили, там судить будут... Ну, а у вас как? все ли благополучно? Что дядя Тимофей? все нездоровится? Андрей сказывал: очень, вишь, разнемогся...

– Даже не встает с лавки... признать трудно, – сказала Маша.

– Очень, очень плох, Ваня, – примолвила Катерина, – сдается мне, вряд встать; совсем уж к тому дело идет... право...

– Полно, тетушка Катерина, бог милостив! Будешь все так-то думать, хуже встоскуешься! Ты об этом не думай, право; а пуще всего не думай об этих обо всех делах своих; теперь, авось, справимся.

– Ты, Иванушка, поужинай с нами, – перебила Катерина, приподымаясь с места и поглядывая на корову, возвращавшуюся домой сама собой, – угощать тебя не станем: нечем, касатик!.. Хлебец один да молочка похлебаешь с моими ребятишками...

– Вот! рази я гость у вас? Я ведь все это знаю, тетушка Катерина; ты, право, напрасно говоришь все такое, ей-богу! – произнес Иван, поглядывая на мать

и на дочь и выказывая на лице своем в одно и то же время и робость и какую-то неловкость.

Он хотел еще что-то прибавить, но Катерина опять его не дослушала; она обратилась к дочери и велела ей сходить за ребятишками, голоса которых продолжали раздаваться в отдалении. Маша, совсем уже развеселевшая, тотчас же отправилась. Катерина между тем подогнала корову к колодцу и ушла в мазанку.

Первым делом Ивана, когда он остался один, было отряхнуть пыль, покрывавшую его ноги; потом, сняв картуз и пригладив волоса, он охорашивался с таким видом, как будто перед ним находилось огромное зеркало, в котором он мог осматривать себя с головы до ног. Приведя таким образом в порядок свою одежду и наружность, он вытащил из-за пазухи платок, развязал зубами крепко затянутый узелок и вынул счетом шесть целковых. Но деньги эти мгновенно исчезли с его ладони, как только Катерина показалась на пороге мазанки с горшком в руках. Неловкость, начинавшая примешиваться к радости молодого парня, еще заметнее овладела им, когда он подошел к Катерине: он, очевидно, затруднялся теперь не только в том, как повести речь, но даже как бы удобнее подойти к бабе: зайдет за ее спину—солнце бьет по глазам; повернется спиною к солнцу—прямехонько подвертывается на глаза Катерина, а ему не хотелось, чтоб она заметила его неловкость; наконец он прислонился к двери, так что Катерина, присевшая доить корову, могла видеть одну половину его улыбки, другая же половина улыбалась степи и заходившему солнцу.

— Вот... я хотел попросить тебя, тетушка Катерина,— начал Иван, крепко сжимая деньги ладонью,— слышь, которые я деньги получил, шесть целковых, побереги их, пожалуйста, мне они не надобны, право слово... теперича время такое... потому что у меня все есть... примерно... У того барина ни в чем, значит, не нуждаюсь; возьми это, пожалуйста... схорони...

— Что ж, пожалуй. Вот это хорошо, что бережешь деньги-то; завсегда отдавай мне; у меня, не бойсь, не пропадут.

— Знаю, тетушка, знаю, а пропадут, ну так что ж? все это, значит, ничего... У меня скорей унесут... Ну, там, коли тебе что потребуется... ты, тетушка Катерина, возьми да купи... это, значит, все единственно.

— Ну нет, Иванушка, это не годится: деньги твои,

под сохранение дал, я беречь должна... Нет, ты это напрасно...

— Нет, *ты* напрасно, тетушка Катерина... напрасно говоришь так... Что за важность, коли ты истратишь,— все это на дело пойдет... право, на дело самое настоящее... К тому, рази я вам чужой? Может, еще... гм!.. коли господь создаст... гм!.. то есть...

Тут Иван остановился и с минуту вертел целковыми.

— Мне это ничего... право слово, ничего, тетушка Катерина,— начал он, производя такие улыбки, каких, верно, еще никто не видывал,— я ведь настоящее говорю: ведь иные-то родные хуже чужих; значит, кому какие нападутся... Вот хошь бы вы теперича: неужли ж я скот какой? Я век должен ваши добродетели помнить, потому с самого измалетства...

Говоря все это, Иван не переставал вертеть и перевертывать свои целковые; речь его до того стала путаться и голос так изменился, что Катерина подняла голову.

— Это ты, тетушка, сколько дала за корову-то? Хороша оченно! Уж такая-то животина, лучше быть нельзя! — вымолвил неожиданно Ваня, разглядывая животное.

Катерина невольно усмехнулась.

— Разве ты впервой ее видишь? — сказала она, принимаясь снова за свое дело.— Что это тебе вздумалось? она у нас вот уж никак пятый месяц.

— Нет, я так, тетушка Катерина, потому больше спросил, что в городе, как шел к вам, таку вот точно корову видел... точь-в-точь... оченно уж дешево отдавали. Только мне незачем! Я так говорю, к случаю; потому, когда человек семейный, ну, ему тогда все это требуется. Без коровы, знамо, никак нельзя; а мне зачем она? Другое дело, кабы... гм!.. то есть... гм!.. Может, господь благословит... тогда я все это... Я так, к примеру...

Иван снова сбился с толку; чтоб поправиться, он поспешил провести ладонью по лицу, на котором снова выступили капли пота; но это не помогло; он начал кашлять, прищуривал глаза, раскрывал их, опять кашлял, и опять-таки ничего из этого не вышло. Едва только язык его произносил первое слово из разговора, который так хорошо обдумал он дорогой, едва приходила ему мысль об этом разговоре, его ки-

дало тотчас же в пот, он путался и сбивался с толку. Наконец он решился отложить до завтра объяснение с тетушкой Катериной. Вместе с этой решимостью почувствовал он вдруг необыкновенное облегчение: точно гиря свалилась с плеч; он заговорил с прежней развязностью и непринуждением; но беседа не могла долго продолжаться: голоса Маши и трех мальчуганов, возвращавшихся домой, раздавались уже шагах во ста от мазанки. Иван пошел к ним навстречу — и по прошествии десяти минут все стояли подле колодца, не выключая Волчка, который, желая, вероятно, выразить Ивану свою радость, подпрыгивал ему чуть не к самому носу.

— Полно вам, полно! экие шалаганы, прости господи! — вымолвила Катерина, слегка похлопывая ребятишек, которые облепили плечи и спину Ивана, — прочь пошли! Маша, хошь бы ты заступилась... Шутка, ведь сорок верст нонче прошел... Прочь пошли, баловники!

— Ничего, тетушка Катерина, это мне ничего, право слово; значит, мне обрадовались, — твердил Иван, сильно, однако ж, покрякивая под бременем трех озорников, из которых уж один, пучеглазый Костюшка, весил без малого полтора пуда.

— Эх ты, добрая душа! добрая душа! — сказала Катерина, между тем как Маша, забыв все свои горести, смеялась звонким, веселым смехом. — Ну, однако, время, ребятушки, время; пойдемте-ка ужинать, я чай, и отец нас дожидает; мы совсем забыли его... Пойдемте ужинать, — заключила она, подымая горшок с молоком и направляясь к двери мазанки.

Все последовали за нею. Солнце только что скрылось за горизонтом; снопы золотых лучей все шире и шире разбегались по чистому, слегка зарумяненному небу; все обещало назавтра ясный, хороший день.

IV

ПЕТЯ ОТЫСКАЛСЯ

Мы попросим теперь читателя переселиться в огромное, великолепное село Сосновку. Переселение не может быть сопряжено с большими трудностями: село пользуется известностью не только в своем уезде,

но даже в большей части того края. Стоит прийти в любой город губернии и спросить: как пройти в Сосновку? – вам тотчас же со всеми подробностями расскажут дорогу. Такая известность основывается на многих причинах: в Сосновке ежегодно происходит четыре ярмарки: по воскресным дням и праздникам здесь бывают значительные базары; сюда стекаются за пятьдесят, за семьдесят верст для покупки рабочих лошадей, для найма батраков, которые приходят из окрестных деревень. Но собственно торговлей занимаются весьма немногие; бо́льшая часть народонаселения (около двух тысяч душ) спокон веку занимается плотничным ремеслом; они собираются артелями, под предводительством своего же сосновского подрядчика, и обходят почти всю Россию: бывают на Дону, в Астрахани, по берегам Волги, заходят иногда даже в отдаленную часть Сибири. Промышленность края рождается всегда из местных условий. Сосновские земли плохи; их даже мало относительно народонаселения; богатство села и вообще той части губернии составляют леса; иногда верст тридцать, сорок приходится ехать лесом, ничего не встречая, кроме исполинских елей, ничего не обоняя, кроме запаха смолы и дыма, который медленно тянется между стволами, когда в стороне где-нибудь гонят деготь.

Издали Сосновка представляется богато заселенным островом, кинутым посреди темно-синего моря леса, которое, подобно настоящему морю, сливается с горизонтом и точно так же шумит, даже в тихую погоду. Большая почтовая дорога, пролегающая через село, и Ока, омывающая один бок его, значительно оживляют промышленность. В половодье вся поверхность реки покрывается плотами, которые гонят отсюда в Москву; круглый год на берегах строятся расшивы, катаются бревна, пилится лес, громоздятся горы досок и правильными рядами лепятся по берегу длинные-длинные весла, служащие рулем, правилом на барках. В Сосновке три каменные церкви и дюжина каменных домов, крытых железом. В церквах вы найдете несколько больших риз и паникадил из чистого серебра; в одной церкви иконостас стоил девять тысяч – все это усердные приношения зажиточных сосновских крестьян. Выезжая на улицу (их всего пять: главная, по которой идет почтовая дорога и которая ведет к мосту через Оку, занимает середину села), вы

чувствуете какую-то необыкновенную легкость и радость на сердце при виде здорового, довольного, счастливого человека. Прежде еще чем узнаете вы источники богатства Сосновки, прежде чем скажут вам, что село это находится под ведением уделов, вы невольно подумаете: «Нет, это не чета моей «Обсо́совке» или «Заложо́нке» – нет, не то, совсем не то!» Здесь на сто крыш не встретите одной, которая провалилась бы не от тяжести навьюченной на нее соломы, – нет, напротив, оттого, что стропила, за недостатком соломы, подгнили и обрушились. У вас, в «Обсо́совке» или «Заложо́нке», очень многие *побираются*; здесь нет этого и в помине. Если попадается перекосившаяся избенка, она, верно, принадлежит пьянице или тунеядцу. В большой семье не без кривого или косого. Особенно поражают сосновские улицы в воскресный день, когда весь сосновский люд пойдет в церковь или возвращается из церкви – просто гуляет! Синих кафтанов не перечтешь; при солнечном освещении вас непременно ослепит яркая пестрота шелковых платков, ситцевых юбок, синих, красных и желтых передников и коротаек, из которых очень много плисовых и даже штофных. В воскресный день пирог с кашей или капустой в Сосновке вещь самая обыкновенная; здесь никто не удивляется щам с бараниной; остановившись у любого сосновского мужика, попробовав его щей и посмотрев на его житье-бытье, вы никак не утерпите, чтоб снова не сказать себе: «Нет, это не чета моей «Обсо́совке» или «Заложо́нке»!»

Но мы удалились от главной цели рассказа. Хотя описание Сосновки непременно входило в состав целей предлагаемого романа – целей, очень плохо достигнутых и, вероятно, таких же бесполезных, как и все остальные, – но все-таки лучше обратиться скорее к главной цели: она заключается в том теперь, чтоб по возможности поспешнее избавить читателя от этой, без сомнения, давно уже наскучившей ему повести.

Сосновка является теперь перед нами в самом выгодном виде: день воскресный; час шестой вечера; улицы полны народом. Октябрьское солнце начинает уже клониться к горизонту; лучи его играют на куполах трех церквей, ярко окрашивают макушки высоких сосновых изб и, врываясь кое-где между домами и проулками, проходят огненными полосами через

всю улицу, задевая на пути где лицо, где синюю спину, где красную шелковую шубейку, где целиком врезываются в толпу и превращают в огонь все лица и наряды. В Сосновке теперь и людно, и шумно, и весело. У каждых почти ворот сидят старики и старухи с ребятишками; в разных концах слышатся хороводные песни. Молодые бабы стоят кучками то здесь, то там и звонко, немолчно тараторят. Под березами, лишенными уже листьев и возвышающимися подле церковной ограды, несколько баб, девок и парней плотно обступили воз с красным товаром; десятки вопросов и требований осаждают торгаша; надо удивляться, как один человек может в одно и то же время удовлетворять любопытных, поспевать вынимать требуемые запонки, ножницы, иголки, бусы, гребенки и считать деньги.

Такая точно мысль занимала, кажется, знакомого нам подрядчика Никанора Ивановича, того самого, который взял Петю на поруки. Он сидел на лавочке у ворот своей избы, стоявшей прямо против церковной ограды, так что ему легко было слышать всякое слово из того, что говорилось в толпе, окружавшей торгаша. Рядом с Никанором сидела жена его, женщина лет сорока пяти. Насколько муж был сановит и статен, несмотря на свои пятьдесят лет, настолько жена была мала и незаметна; но разница в росте не мешала им жить очень ладно. Одним обижался Никанор: детей бог не давал; но и это обстоятельство не нарушало согласия супругов. Оба дружелюбно теперь калякали и, наблюдая толпу и торгаша, посмеивались над суетливостью последнего. Иногда беседу нарушал сосед или другой проходивший мимо сосновский житель; начинались расспросы о том о сем, причем Никанор не пропускал случая делать любимое свое движение: рассекал ладонью правой руки широкую свою бороду на две равные части, брал каждую часть порознь в руку и как будто выжимал из нее воду. Соседи кланялись, расходились, и Никанор с женою снова принимались поглядывать на толпу и продолжали посмеиваться над суетою торгаша.

Но потому ли, что торгаш, возившийся два часа, выбился из сил, или потому наконец, что товар значительно уменьшился и не было уже возможности удовлетворять требованиям, он объявил, что торг кончен. Толпа стала редеть вокруг воза. Две молоденькие ба-

бенки настойчиво было приступили, одна с ножницами, другая с тесемкой, но торгаш наотрез сказал, что нет у него ни того, ни другого, и без дальних церемоний принялся увязывать кожей подводу. Толпа окончательно расходилась; да и время приближалось к ужину; солнце начинало садиться. Увязав воз, торгаш сел на облучок, поправил меховую свою шапку с тяжеловесной макушкой, которая как будто двигалась сама собою (лезла на глаза, когда шапку отодвигали на затылок, и сползала на затылок, когда шапка наезжала на глаза), торгаш начал осматриваться во все стороны широкой улицы. Везде был народ, но никто теперь не обращал на него внимания: кто пел, кто бродил взад и вперед, кто сидел перед домом и разговаривал. Глаза торгаша встретили, наконец, сановитую, важную фигуру Никанора и маленькое лицо жены его. Оба они также на него смотрели. Торгаш дернул вожжами и прямо к ним поехал.

— А что, почтенный,— вымолвил он, останавливаясь шагах в трех от подрядчика и едва удерживая лошадь, которая лезла в растворенные ворота,— что, почтенный... где бы мне постоять — а? Я чай, у вас постоялые-то дворы есть?

— Как не быть! постоялых дворов у нас много,— возразил Никанор.

— Далеко?.. Тпру... пру... эк ее! ворота увидала, так и прет. Пру...— произнес торгаш, удерживая лошадь.— Где ж у вас дворы-то?

— Больше всё в нижней слободе, у реки,— сказал Никанор.

— Ну, а как, почтенный, у вас, примерно, постоять можно? — спросил торгаш, лицо которого вдруг заслонилось макушкой шапки, которую сдвинул он на затылок.

Подрядчик и жена его вопросительно поглядели друг на друга; глаза их снова устремились к торгашу, красное лицо которого освободилось теперь от шапки; это был уже человек лет шестидесяти, седой как лунь, и вдобавок еще лысый; добродушная, ласковая наружность его внушала, видно, доверие, потому что Никанор тотчас же сказал ему:

— Остановись, пожалуй, у нас; это можно; у нас не постоялый двор, но все равно: есть где лошади постоять, есть где самому приютиться.

— Ну, вот и ладно! — сказал старик.— Вишь, ло-

шадь-то сама к вам просится, не удержишь никак: ко двору, стало быть...

— Ну, въезжай, когда так! въезжай! — промолвил Никанор, вставая с лавки.

Старик слез с воза, взял лошадь под уздцы и повел ее в ворота.

— Небось умаялся — а? — вымолвил Никанор, следуя подле торгаша с одной стороны, тогда как жена шла с другой. — Мы с женою все время на тебя глядели; признаться, маленечко даже посмеялись, как ты с ними возился.

— Чего, братец ты мой! Ведь лезут, словно бешеные, словно овцы какие, право! Ничего ведь не сделаешь. Пуще всего эти бабы: одурь даже возьмет; никакого в них постоянства нет, право, точно шальные!..

— Слышь, Авдотья, как старина-то вашего брата обделывает — а?..

Жена подрядчика засмеялась.

— Я не об тебе, касатушка, не об тебе... ты ко мне и не подходила, — заговорил старик, — пуще всего эти вот молодые бабы да девки надоели: та «дедушка, подай», другая «дедушка, подай»; другая сама не знает, чего надо, а лезет... Иной раз своей торговле не рад, право: совсем затормошат; больше перероют, чем купят... така-то зрятина, право... Куда лошадь-то ставить?

— Вот сюда, сюда веди... — сказал Никанор, указывая под широкий навес, державшийся на толстых столбах.

Навес этот замыкал глаголем двор с двух сторон; третья сторона занята была амшеником, амбаром и клетью; изба и ворота, смотревшие на улицу, составляли четвертую сторону двора. Изба была в два этажа, подобно большей части сосновских изб; лестница, обшитая с боков досками, вела на галерею с тесовым навесом, которая служила сенями второму этажу, где помещались хозяева.

— Ты, дедушка, откуда? — спросила жена подрядчика, когда воз въехал под навес.

— Теперича, то есть?..

— Нет, спрашивает, родом откуда? — подхватил Никанор, подсобляя старику распрягать лошадь.

— Мы губернии Ярославской, — словоохотливо отвечал старик, — теперича пробираюсь в теплые места; давно уж там не был; побываю в Тамбовской губер-

нии, в Саратовской... а там проеду в Воронеж, угоднику поклониться, по обещанию...

— Бывал и я в тех местах; места хорошие, привольные. Только как же ты с телегой-то справишься? Недель через пять зима застанет...

— Ну, так что ж? Первый снег выпадет, променяю телегу на сани, переложу туда товар и поеду; мы и всё так-то.

— Да, ну это другое дело. Авдотья! — примолвил Никанор, поворачиваясь к жене,— ты, пока мы здесь управляемся, ты сходила бы, мальчика-то проведала. Ему хоша теперь и полегчало, а все ступить на ногу-то не осилит... Может, ему надобность есть до тебя, сходи-ка; да уж заодно ужинать собирай: время!..

Авдотья направилась к лестнице и минуту спустя застучала котами по ступенькам.

— Мальчик-то у вас болен, стало быть? — спросил старик.

— Нет, болезни, слава богу, никакой нет, да ногу только зашиб, ступить не может,— возразил Никанор.— Мальчик-то хорош, оченно жаль. Главная причина, мне угодить старался; через эсто и случай весь вышел. Ставил я избу по соседству,— подхватил подрядчик, помогая старику управиться с лошадью,— уж он мне усердствовал, усердствовал... ну, знамо, к делу еще не привычен, недавно к нашему ремеслу приставлен — недоглядел как-то: ему бревном по ноге и попало; да слава богу, нога-то цела, ничем не повредилась, только повихнул маленько. А все жаль: мальчик-то добре́ занятный, усердный такой!

— Как не жалеть! особливо коли один у вас. Сын он али сродственник?

— Нет, совсем чужой. Взял я его на поруки; ходил он сперва с нищими, да убежал от них; потом поймали его, к становому привели, в бродяги записать хотели, а я тут случился; вижу, мальчик такой хорошенький, ласковый, так и заливается, плачет, так и заливается... жаль стало. «Какой он, думаю, бродяга! так, чай, сирота брошенный...» Я его на поруки и взял.

— Ах ты господи!.. да уж не он ли это? Эх ты, скажи на милость... как его имя-то? — спросил вдруг старик, оживляясь.

— Петрушей зовут-то; а что?

— Он и есть! — воскликнул старик, опуская огло-

блю, которую начал было притягивать, чтоб свободнее уместить распряженный воз.

— Да тебя не Васильем ли зовут? — спросил Никанор, оживляясь в свою очередь,— он часто о тебе поминал, коли ты...

— Так, так; ну, он и есть, он самый! — подхватил дедушка Василий, суетливо потряхивая шапкой, макушка которой раза три обежала вокруг лысой головы его.

В самую эту минуту на галерее второго этажа показалась Авдотья.

— Никанор! Никанор! подь скорей сюда! — закричала она, размахивая руками,— и ты, дедушка, ступай, скорей; оба ступайте...

Никанор и дядя Василий торопливо перешли двор и стали подыматься по лестнице, между тем как Авдотья снова скрылась в избе. Дверь избы на галерею была отворена и позволяла обозревать просторную десятиаршинную избу с белой широкой печкой, с сосновыми широкими полатями; красный угол, обклеенный желтыми обоями с огромными красными разводами, украшался множеством образов и складней; кругом всей избы шли широкие лавки. На одной из них, устланной войлоком, сидел Петя; он рвался встать на ноги, но Авдотья держала его крепко в обхват обеими руками и не пускала.

— Ступайте скорей... не удержишь его никак! — говорила она, поглядывая на дверь.— Погоди, говорят, сейчас придут... слышь, по лестнице уж стучат. Так это, стало, тот самый старичок, о котором ты поминал нам?.. Да нет же, не пущу, неугомонь ты этакой! говорят, хуже нога заболит... ступайте скорей!..

Никанор и дядя Василий показались в дверях.

— Дедушка! дедушка!..— закричал Петя, радостно протягивая руки.

— Ах, ласковый!.. Ну, он и есть. Ах ты, ласковый, ласковый!..— подхватил старик, спеша к мальчику и хлопая ладонями по полам своего тулупчика.

— По голосу узнал тебя, дедушка; как услыхал голос твой, так весь даже затрясся. Он часто поминал нам тебя,— говорила Авдотья, между тем как старик обнимал и ласкал мальчика.

— Вот случай-то, значит! Ну, думали ли мы об этом, как на тебя с женою глядели, как ты с бабами-то возился? Вот уж подлинно не знаешь, где найдешь,

где потеряешь... — твердил в то же время Никанор.

Пошли тотчас же спросы-расспросы. Никанор и жена его, перебивая друг дружку, рассказали старику все слышанное ими от Пети о его странствованиях. Петя поминутно вмешивался в разговор и поправлял их; из этого дедушка Василий окончательно убедился, как добры были хозяева мальчика: они, по-видимому, даже баловали его. Дедушка Василий поспешил в свою очередь передать мальчику последние известия о его семействе; он был в Марьинском месяца два назад. Узнав, что отца, матери, сестры и братьев не было в Марьинском, что их выселили, Петя горько заплакал; он так много слышал во время бродячей жизни своей о ссылках, о Сибири, о каторжных; ему представилось уже, что семья его находилась теперь в Сибири и он никогда ее больше не увидит. Присутствующие не замедлили, конечно, объяснить ему, в чем состояло переселенье. Принимая в соображение обстоятельства семьи Пети, дядя Василий не сомневался, что всем им во сто раз лучше в степи, чем в Марьинском; он с особенною заботливостью описал приволье степной жизни вообще и не пропускал случая намекать об изобилии арбузов, точь-в-точь как делал это Сергей Васильевич Белицын, когда склонял Лапшу к переселению.

— Мне эти степные губернии хорошо известны, — сказал он, когда Петя утешился, — прежде, бывало, я часто туда ездил, живал там по целым летам. Я даже и место то знаю, где живут теперь твои родители. Как проведал я в Марьинском, куда их выселили, я сейчас сказал: «Ну, знаю!» — говорю; выходит это на самом рубеже к Саратовской губернии, будет Петровск город — так прозывается, — так, верстах в тридцати будет он от того места... Вот поди ж ты! Скажи на милость, случай какой! — подхватил он, обращаясь к Никанору и жене его, — точно кто надоумил меня остановиться против вашего дома, право; сама лошадь, и та даже как будто чуяла... так вот в ворота к вам и рвется. Совсем уж собрался ведь на постоялый двор ехать, право; вот и в одной деревне были бы, а все едино за тысячу верст... Ничегодки я этого не знал, что он, примерно, здесь у вас находится.

— И я то же говорю, — перебил Никанор, — не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Все это, значит, во власти господней; он всем этим управляет.

— Подлинно, господь управляет, подлинно... Да ведь случай-то какой, братец ты мой: как будто знал я обо всем этом, что в те-то места собрался, где его родители находятся, хотел даже по пути их проведать, потому люди оченно, то есть, хорошие, особливо его мать, уж надо сказать, настоящая, выходит, женщина! Вот, чай, обрадуется теперича, как увидит-то! И-и-и! Одна беда, как нам с ногой быть теперича? Придется обождать, делать нечего...

Никанор и Авдотья успели уже привыкнуть к Пете. Так как детей у них не было, они думали прикрепить его к себе и усыновить со временем, если в нем прок окажется. Им очень не хотелось расстаться с мальчиком. Петя не плакал теперь, но и не смеялся; сердце его и мысли сильно работали; он очень хорошо помнил житье у родителей; жизнь у подрядчика Никанора была во сто раз лучше; подрядчик и жена его ласкали его и баловали больше даже, чем родители; при одной мысли расстаться с ними сердце Пети сжималось тоскою невыносимой; но это самое сердце сильно опять-таки рвалось к матери, к отцу, к сестре и братьям; он истолковать себе не мог, как могло статься, что там, у родителей, было и хуже и лучше в одно и то же время? Похвалы, которые дядя Василий расточал Катерине, рассказ его о том, как она убивалась, когда нищие увели Петю, как она его отыскивала, как писала управителю (обо всем этом старик слышал от жителей Марьинского) — все это показало Никанору и Авдотье, что грех даже не способствовать к скорейшему возвращению малого в родную семью. За ужином решили распорядиться таким образом: дядя Василий поездит со своим возом недельку по окружности, чтоб дать время Пете окончательно поправиться с ногою; по прошествии этого срока старик вернется в Сосновку. Никанор не мог передать мальчика, не предупредив об этом станового. Он сказал, что свезет к нему дядю Василья, и уверил, что дело обойдется как нельзя лучше.

Все это происходило, если помнит читатель, в воскресенье. В субботу, то есть ровно через шесть дней, старый торгаш стучал уж в ворота подрядчика. Петя свободно становился теперь на ногу и слегка только прихрамывал. Подрядчик и жена его придрались было к этому обстоятельству, чтоб задержать приемыша еще на несколько дней, но дядя Василий не дал им до-

говорить: во-первых, не время было дожидаться; во-вторых, он ни за что не дозволит мальчику с больною ногою идти пешком; Петя не посмеет у него слезть с воза. Муж и жена больше не настаивали. Никанор повез дядю Василья в знакомую нам становую квартиру.

Соломон Степаныч, следуя системе, обратившейся уже в рутину — так она обыкновенна,— начал было ломаться: требовалось списаться с тем-то лицом, снестись с таким-то местом и проч.; вообще Соломон Степаныч был не так уж сговорчив, как два месяца назад; умягчающее влияние медового месяца заметно проходило: уменьшительное имя Салиньки, казалось, не трогало его; словом, он превратился в прежнего Соломона Степаныча, каким знали его до женитьбы. Но дядя Василий был так стар и опытен, что не мог не знать обычая; к тому ж Никанор предупредил его. Выслушав Соломона Степаныча с подобающим вниманием, дедушка Василий поклонился ему отличными тульскими ножницами, которые тотчас же как будто принялись за дело и начали подрезывать препятствия; чтоб окончательно дорезать препятствия, торгаш присовокупил к ножницам перочинный ножик и гребенку из композиции, долженствующую украсить голову супруги Соломона Степаныча. Дело приняло тотчас же другой оборот: оказалось вовсе ненужным списываться и сноситься; торгаш мог взять мальчика и везти его к родным или даже куда захочет.

Возвратившись в Сосновку, подрядчик стал просить старика переждать воскресенье; но дядя Василий, суетившийся более, чем когда-нибудь, напрямик отказал в такой просьбе: он и без того много истратил времени; наконец, переждать воскресенье значило выехать в понедельник, в тяжелый день, чего ему никак не хотелось. Он обещал, впрочем, уведомить их о мальчике: если мать, а за нею господа, согласятся отдать Петю обучаться плотничному ремеслу, он тотчас же отпишет им об этом. В тот же вечер после ужина Никанор и Авдотья простились с Петей, который долго обнимал их и несколько раз принимался плакать. В воскресенье, к солнечному восходу, и дядя Василий и Петя, спавший на возу, были далеко от Сосновки.

V
В ДОРОГЕ

Во всю дорогу со стариком и с Петей ничего не произошло особенного, кроме встречи, о которой нам необходимо сказать несколько слов. Они находились уже верстах во ста от Сосновки. Они ехали большой дорогой и недавно покинули деревню, где отдохнули и пообедали. Сытая лошадка везла очень бодро, несмотря на то, что в придачу к товару на возу сидели дедушка Василий и мальчик.

— Дедушка, погляди-ка, никак, солдаты идут?..— сказал Петя, правивший лошадью.— Слышь, чем это они гремят так?

Старик тряхнул шапкой и прищурился.

— Должно быть, колодники...— проговорил он.

Народ, видневшийся на дороге, шел вперед по одному направлению с нашими путешественниками. Петя, движимый любопытством, принялся легонько передвигать вожжами. Старик не ошибся: это были, точно, колодники. Уж можно было отличать мундиры солдат от одежды людей, которых они сопровождали; мерный, однообразный звук цепей позволял даже считать шаги преступников. Воз не замедлил догнать конвой. Человек пятнадцать колодников, в оборванных кафтанах и полушубках, с мешками за спиною, с цепями на ногах и шапках, лепившихся криво и косо на бритых головах, медленно подвигались между авангардом из трех и арьергардом из пяти солдат; в числе последних двое были верховые и держали пики. В обращении конвойных и колодников не было, казалось, ничего враждебного; они преспокойно разговаривали между собою; преступники рассказывали свои истории, солдаты — свои. Особенною разговорчивостью отличался один из арьергардных, произношение которого обличало хохла; он шел рядом с преступниками и вел с ними самую непринужденную беседу. Подъехав к конвою, дедушка Василий и Петя, переставший уже хромать, слезли с воза; последний побежал вперед. Старик вынул из кармана несколько копеек для раздачи преступникам, как вдруг Петя пронзительно крикнул, бросился сломя голову к торгашу и крепко обхватил его руками. Испуг изображался

в каждой черте побледневшего лица мальчика; в первую секунду он слова не мог выговорить.

— Дедушка!.. — вымолвил он, наконец, изменившимся голосом и крепче еще прижался к старику. — Верстан... Верстан... тут...

— Ой ли?..

— Поедем, скорей... поедем, дедушка!.. — подхватил Петя, дрожа всем телом.

Все это происходило в двух шагах от конвоя. Солдаты и колодники остановились и оглянулись.

— Ну, чого там? Що не выдалы? — проговорил хохол, как бы удивляясь любопытству, овладевшему товарищами. — Ступайте, братцы, уперед... Пошел, пошел!.. чего сталы?

— Дай, братец, вздохнуть маленько; у меня и то ноги припухли... цепью добре́ перетерло... смерть! — сказал один из преступников.

— Мало що; меня самого ноги-то упухли... ступай, говорят, начальство не приказывает останавливаться! — возразил хохол.

Конвой тронулся, и цепи снова загремели.

— Полно, ласковый, чего бояться? Он теперь не страшен, как цепью-то скрутили... Чего бояться? — уговаривал между тем дедушка Василий. — Пойдем к ним; вот я дам им копеечки... а тем временем спросим, что за причина такая...

— Нет, дедушка, я лучше на воз сяду... я не пойду... он убьет меня...

— Э, глупенький! — подхватил старик, — да как же ему убить-то?.. Не бойсь, не тронет теперича; говорю, не страшен!.. Пойдем-ка, пойдем...

Он взял лошадь под уздцы, другую руку дал мальчику и минуты через три они снова догнали солдат. Хохол шел теперь позади всех; к нему обратился дедушка Василий.

— Вот, служба, — сказал он, ободряя Петю, который начал пятиться, — раздай-ка им по копеечке; на дорогу пригодится... Слышь, — промолвил он, указывая солдату на широкий выбритый затылок, который возвышался над остальными, — этот нам знакомый... Как нищим был, вот этого мальчика с собою водил... Скажи, брат, на милость, за какие он провинности?..

— За душегубство... — словоохотливо возразил солдат, принимая деньги и передавая их ближайшему

преступнику с наставлением: «обделы усех», что тот сейчас же и сделал – С ним такой старик ходив,– продолжал солдат,– такой же нищий... так у него гро́шей много было, он его и убыв... с товарищем его упечаталы... Вишь, тут и товарищ его идет... Може, и его знаете?.. Эй, Балдай! – крикнул солдат,– знакомые тебя спрашивают...

Торгаш и Петя тотчас же узнали рябого Балдая; вместе с Балдаем обернулся также и Верстан; но как тот, так и другой не выразили даже удивления при виде Пети и старика. Шершавые седые брови Верстана с мрачною неподвижностью насупились над глазами; бросив холодный, равнодушный взгляд на мальчика, Верстан и Балдай отвернулись, не проговорив ни слова.

– Пойдем, дедушка, пойдем! – твердил Петя, дергая за рукав старика.

– Погоди,– вымолвил тот,– надо узнать о слепом, которого ты хвалил-то... что добрый такой был... как, бишь, его звали?..

– Фуфаев, дедушка...

– Слышь, служба, с ними еще слепой ходил: куда ж делся?.. Спроси-ка; звали его Фуфаев...

– Какой що там Хухаев?.. С нами нет... Эй, Балдай,– присовокупил солдат,– спрашивают Хухаева... с вами ходыв...

Но Балдай и Верстан не отвечали; они даже не обернулись.

– Не знают,– произнес словоохотливый хохол,– Хухаева с ними не було...

Как ни безопасны были убийцы старого Мизгиря, Петя не переставал жаться к старику, пятился назад и дергал его за руку. Дядя Василий уступил, наконец, мальчику; он отстал от конвоя, помог Пете взлезть на воз, сам сел, взял вожжи и рысцою погнал лошадь. Немного погодя они обогнали конвой и вскоре потеряли его из виду.

Во все продолжение этого дня и даже весь следующий день Петя ни о чем больше не думал, ни о чем не говорил, как о Верстане, Балдае и убитом дяде Мизгире. На третий день он только раза два о них вспомнил; на четвертый у мальчика только и речи было, что о Никаноре, об отце, матери и степи, к которой они приближались. Они ехали, однако ж, очень долго. Дедушка Василий останавливался по пути почти в ка-

ждой деревне; раза два потребовалось прожить целые сутки в уездных городах, где старик забирался новым товаром. К замедлению пути немало также способствовало время: стояла глухая осень; дожди лили беспрерывно, превращая дороги в трясины и непроходимые топи; потом дожди миновали, и наступили морозы: дороги сделались еще хуже, извилистые колеи и глубокие котловины, скованные холодом, превращались в кремень – надо было ехать шагом. Дедушка Василий нетерпеливо ждал первого снега, чтоб променять телегу на сани; но зима никак не хотела установиться; снег выпадал несколько раз, но, как нарочно, всякий раз наступала оттепель, и снова приходилось колесить на телеге.

Но худо ли, плохо ли, они все-таки, однако ж, подвигались. В последних числах октября под вечер прибыли они в сельцо Васильевку, приход Анисьи Петровны Ивановой. Расспросив дорогу в Панфиловку, они тотчас же туда отправились.

– Там уж лучше переночуем,– промолвил дедушка Василий,– дорога теперь хорошая, степью-то; к тому и лошаденка не пуще, чтоб устала, довезет... Ну, ласковый! – прибавил он, обращаясь к мальчику, который поминутно забегал вперед и не отрывал глаз от горизонта,– ну, завтра родителей увидишь. Рад, что ли? а?..

Было уже совершенно темно, когда они въехали в околицу маленького хутора. Торгаш постучал в первое окно; из него выглянул старик. Но прежде чем попросить о ночлеге, дядя Василий осведомился о переселенцах. Узнав, что до мазанки оставалось всего-навсе четыре версты, он тотчас же переменил намерение, сказал, что не стоило заночевать, и расспросил, как проехать к переселенцам.

– Ну, котенок, теперь недалеко; ну, понатужься маленько, ну, бог с тобой! ну! – вымолвил дядя Василий, снова поворачивая лошадь к околице.

Петя между тем бежал по дороге и кричал:

– Сюда, дедушка, сюда! Я дорогу-то вижу, сюда ступай: я укажу тебе!..

VI
СТЕПНАЯ МАЗАНКА

Усталость не замедлила, однако ж, угомонить резвость мальчика; он и без того уж в радости своей так много скакал и прыгал в этот день, что дедушка Василий не раз советовал поберечь ноги, говоря, что дороги впереди осталось еще порядочно. Петя усаживался тотчас же на воз; но не проходило двух минут, он снова бежал по дорогс и даже подскакивал, думая скорее увидеть мазанку, что вызывало всегда улыбку на добродушно-сустливом лице старичка. Так и теперь: узнав, что осталось четыре версты, он сказал, что это близехонько, что он духом добежит, но на первой же версте шаг его замедлился; на второй он присоединился к старику. Если ноги Пети отказывались производить скачки, язык его, наоборот, получал с каждым шагом вперед все больше и больше развязности; он болтал без умолку. Впрочем, дедушка Василий, который также, казалось, был очень весел, немного чем отставал от маленького своего товарища. Разговор их, разумеется, вертелся на одном предмете: оба беседовали о предстоящем свидании.

Ночь была чудная. Месяц не показывался, но в небе блистало столько звезд, такою белизною сиял Млечный Путь, что в степи, слегка посеребренной морозом, легко было разбирать дорогу. Мороз был порядочный: градусов шесть или семь; холод не чувствовался, однако ж, благодаря совершенной неподвижности воздуха. Промерзлая земля и звонкий морозный воздух, казалось, прислушивались и ждали звука, чтоб разнести его далеко по всей окрестности; но безмолвие, царствовавшее по всему видимому необъятному кругозору, нарушалось только нашими путешественниками: сухое постукиванье колес, хрустенье ледяных игл, ломавшихся под их ногами, голоса старика и мальчика одни раздавались в опустелой степи. Мириады звезд, которые мигали и как бы пересыпались над степью, сообщали как будто жизнь и движение синему небесному своду; часто в той или другой стороне одна звездочка зажигалась ярче, отрывалась от других и стремглав, как бы скользя по серебряной нитке, летела к далекому горизонту. Дедушка Василий каждый раз торопливо крестился.

— Дедушка, вона, вона еще одна падает! — воскликнул Петя, — нет, потухла, дедушка, потухла!

Дедушка торопливо, однако ж, обернулся и снова осенил себя крестным знамением.

— Еще, дедушка! вишь, скоро, как скоро... Что это они падают, дедушка? А ну как на ригу другая упадет: ведь, чай, дедушка, загорится небось рига-то?.. ведь звезды-то из огня?

— Это, касатик, не звезды падают.

— Как же так, не звезды?

— Нет, касатик, — возразил старик, — это, значит, ангелы божии со свечами летают... Как в небе покажется такой огонек, значит, где ни на есть человек добрый умирает: вот ангел и летит на землю за душою его христианской; господь его туда посылает!.. Петя, Петя! — подхватил вдруг старик, переменяя голос, — Петя, взглянь-ка! — заключил он, повертывая мальчика за плечи и указывая на огонек, который сверкнул вдруг в степи, — ведь это в мазанке, у твоих огонек-то!.. Право, будто у твоих.

Петя начал скакать, прыгать, вскрикивать и радостно бить в ладоши; он тотчас же, однако ж, угомонился, когда старик сказал, что надо подъехать потихоньку, чтоб никто не догадался, и потом разом вдруг показаться — веселее будет.

— И то, дедушка, и то! — возразил Петя, с трудом побеждая нетерпение.

— Ну, котенок, ну, теперь близехонько, понатужься еще маленько, ну! — произнес старик, подергивая вожжами. Усталая лошадь, как бы почуяв скорый отдых, ободрилась и пошла ходче.

Огонек заметно приближался; на светлом небе стала обозначаться темная профиль кровли; Петя и старик подъехали, наконец, к колодцу.

— Тише... шт... нишкни! — прошептал дядя Василий, привязывая лошадь и поворачивая голову к Пете, которым овладели вдруг и страх какой-то и радость, — надо подойти потихоньку, чтоб не слыхали. Должно быть, все спят... диковинное только дело, зачем огонь горит.

Старик взял мальчика за руку и подошел к двери; он готовился уж постучать, но дверь отворилась и пропустила человека, который при виде посторонних поспешил запереть дверь за собою. Старик пригнулся к лицу человека, чтоб рассмотреть его; но черты его

были ему вовсе незнакомы. Незнакомец, с своей стороны, пригибался и рассматривал прибывших.

— Ваня! Ваня! — закричал вдруг мальчик, выпуская руку старика и бросаясь на шею незнакомца.

— Петя... Господи!.. он!.. Петя!.. — крикнул в свою очередь столяр.

В мазанке, погруженной до сих пор в молчание, раздались торопливые шаги; дверь настежь вдруг раскрылась, и показалась Катерина; за ней бежала Маша. Первый же взгляд объяснил Катерине все дело, страшный, раздирающий крик вырвался из груди ее; как безумная, рванулась она к мальчику, которого подставил ей Иван, подняла с земли, бросила к себе на грудь и крепко обхватила обеими руками.

— Батюшка... батюшка мой... батюшка!.. — проговорила она, зарыдав вдруг так громко и таким голосом, что все присутствующие заплакали, — точно ножом подрезали ей сердце.

Иван, Маша и старик поспешили подхватить Катерину под руки и усадили ее наземь; но она будто ничего не замечала, что с ней делали и что вокруг происходило; крепко обхватив голову мальчика и прижимая его к груди, она продолжала страшно рыдать и повторяла:

— Батюшка!.. ненаглядный ты мой!.. батюшка мой!..

— Полно, тетка, перестань! О чем теперь плакать? — сказал старик, останавливаясь перед нею и потряхивая головой. — Не плакать, а радоваться надо да бога благодарить — вот что! Ну, о чем? о чем?.. Эх, неразумная твоя головушка, право! эх!..

— Оставь ее, дедушка, — перебил Ваня, смекнувший уж, что старик был тот самый, о котором так много говорила ему Катерина. — Уж это лучше теперь оставить ее, право; добре́ уж оченно это вдруг-то, знаешь, добре́ обрадовалась. Пойдем в избу, — примолвил он, понижая голос, — там у нас неладно: дядя Тимофей почитай умирает, никакой даже надежды нет; вечор причащали... Пойдем, она тем временем с дочерью здесь останется; дай ей выплакаться хорошенько; оно пройдет! — заключил он, следуя за стариком, который торопливо заковылял к мазанке.

Ваня отворил дверь, и они вошли. Светильня, прислоненная к краю черепка, наполненного жиром, тре-

петно освещала край печи, на которой крепким сном спали ребятишки; свет едва досягал до угла, где лежал умирающий. Дядя Василий подошел к нему, бережно сел к ногам Лапши и назвал его по имени. Лапша не откликнулся, даже не пошевелился. Старик покачал головой и шепнул Ване на ухо; тот взял черепок с светильней и поставил его на лавку в двух шагах от умирающего. Дядя Василий откинулся даже назад — так сильно поразила его худоба Тимофея: он точно весь высох; самые кости его как будто засохли и сузились, впалая грудь, посреди которой изгибалась черная, глубокая тень, едва приметно поднималась. Старика немало также удивили полураскрытые глаза Тимофея; они, по-видимому, прямо на него устремлялись и между тем ничего как будто не видели. Старик опять пригнулся к умирающему, опять окликнул его и снова назвался, но Тимофей не подал знака сознания или жизни: глаза его по-прежнему остались бесчувственны.

Дядя Василий встал, отвел Ваню в противоположный угол и безнадежно как-то покачал головой. Ваня сообщил ему, что вот уже пятый день, как Тимофей находится в таком положении, пятую ночь Катерина, Маша и сам он проводят у его изголовья, боясь, чтоб он не отошел, не имея подле себя никого, кто бы закрыл глаза ему: все они страх измучились столько же от сомнения, сколько от усталости. Разговор продолжался недолго, но все-таки настолько, что оба собеседника успели ознакомиться друг с другом. Иван направился распрячь лошадь и задать ей корма; дядя Василий последовал за ним, частью, чтоб помочь ему, частью, чтоб проведать Катерину. Он уже готовился пройти в дверь за столяром, когда встретился с Катериной и ее дочерью.

Лицо Катерины дышало необыкновенным одушевлением; слезы текли по щекам ее, но она не рыдала. Войдя в мазанку, она опустила наземь Петю, которого держала на руках, как маленького ребенка, и, бросившись к старику, стала обнимать его и осыпать благословениями; потом она вдруг остановилась; лицо ее сделалось озабоченным; она провела ладонью по мокрым щекам, взяла Петю за руку и повела к отцу. Маша и дядя Василий последовали за ними. Но мутные глаза Тимофея сохраняли все ту же напряженную неподвижность: они по-прежнему ничего не различа-

ли. Слух его точно так же, по-видимому, оставался бесчувственным к словам жены, которая говорила о возвращении сына и просила мужа благословить мальчика: Тимофей не обнаружил признака сознания. Все это, без сомнения, возобновило бы слезы, которые и без того уже много текли в эти пятеро суток над изголовьем умирающего, если б Иван, вернувшийся к этому времени, не поспешил отвлечь внимание присутствующих: по словам его, дядя Василий и Петя умирали с голоду, и надо было позаботиться накормить их.

Несколько минут спустя старик и мальчик усажены были за стол. Во время ужина Петя, по просьбе сестры и Вани, начал было рассказ о своих похождениях, но мать ничего не хотела слушать; она говорила, что Петя здоров, жив, возвратился и, следовательно, не все ли равно, что прежде с ним было; теперь надо только благодарить господа бога, надо думать, как бы посытнее накормить мальчика и уложить его спать. «Мальчик ног под собой не слышит: какие тут разговоры! Завтра, бог даст, живы будем, наговоримся!» – повторила она. Петя и старик уверяли, что всю дорогу сидели почти на возу и нимало не устали; но Катерина опять-таки отказывалась слушать. Она сняла с себя полушубок, велела Ване принести скорее сена и принялась устраивать на лавке две постели. Сколько ни отнекивался Петя, сколько ни говорил, что спать еще не хочет, что хочется ему посидеть со всеми ими подле отца, Катерина взяла его снова на руки, отнесла на лавку и, крепко обхватив руками, начала убаюкивать, как делала это в былое время.

Нежданно Катерина замолкла и подняла руку кверху: Петя заснул. Осенив его крестным знамением и сама перекрестившись несколько раз сряду, она возвратилась к старику и стала также уговаривать его пораспрavить старые косточки. Но так как дядя Василий напрямик отказался и Катерина, с своей стороны, не могла взять его на руки и уложить силой, то она больше не настаивала. Все уселись опять к столу: Катерина подле дяди Василья, Маша подле Ивана, и началась длинная-длинная беседа; но самой плохой слушательницей была Катерина: она поминутно отрывалась – то подходила к мужу, то к Пете, бережно садилась к изголовью последнего, засматривалась

в лицо его, целовала его в голову, шептала непонятные какие-то слова и крестилась.

Но Ваня поддерживал беседу с таким усердием, что вмешательство Катерины и даже лишних трех рассказчиков ничего бы не могло прибавить. Он передал старику все житье-бытье, все стесненные и жалкие обстоятельства, которые претерпели Катерина и семья ее со времени их переселения; передал о смерти Дуни, той безумной, которую старый торгаш должен был помнить: известие о ее смерти получено было три недели назад. Затем перешел он к повествованию о пожаре и происшествию с Филиппом. До последнего он коснулся, однако ж, мельком; подробности, как видно, берег для объяснения старику своих собственных обстоятельств.

Дядя Василий узнал с первых же слов, что столяр считается уже в семье женихом Маши. Они ждали только дозволения от управителя Герасима Афанасьевича, которому писано было по этому предмету в Марьинское: дозволение не могло замедлить и не быть благоприятным; письма этого ждали со дня на день: это собственно и заставило теперь Ивана понаведаться в степь; сам же он живет в четырех верстах от уездного города (тут последовала история о помещике и о сорока оконных рамах, из которых тридцать уже сделаны и даже деньги за них получены); из Марьинского ждали еще другого письма, которое легко даже могло изменить всю жизнь переселенцев. Гуртовщик Карякин (дядя Василий знал уже о нем из истории о пожаре) получил согласие от родителя купить луг, на котором жили переселенцы. Карякин писал об этом еще прошлый месяц в Марьинское и также ждал со дня на день ответа. Легко могло статься, что ответ также будет благоприятен, то есть господа согласятся на продажу луга, и тогда семья снова вернется на родину, в Марьинское.

Последнее это известие дало повод к разным толкам и предположениям: будет ли лучше тогда? будет ли хуже?.. Иван и Маша начали было утверждать, что непременно лучше будет; но Катерина указала им на умирающего – и оба замолкли. Разговор перешел тогда к Лапше и его болезни. Словом, беседа продолжалась далеко за полночь; она, вероятно, продлилась бы еще долее, если б дедушка Василий не сознался наконец, что сильно позывает его соснуть часок-другой.

Старик поднялся с места, распоясался, снял с себя полушубок и начал молиться перед образом, поставленным над головою умирающего. Всякий раз, как дядя Василий подымал голову после земного поклона, глаза его встречали заостренную профиль Тимофея и его впалую грудь, которая едва приметно теперь подымалась. Хотя старик утешал Катерину и семью ее, однако ж он не сомневался, что смерть близка и стучит даже в дверь мазанки. Он кстати положил несколько лишних земных поклонов за упокой души раба божия Тимофея.

Немного погодя все стихло в мазанке. Дядя Василий спал; Иван и Маша, оба прикурнули – одна в головах отца, другой подле, на соседней лавке; одна Катерина бодрствовала: скрестив на груди руки, опустив голову, она молча сидела у изголовья мужа.

Первые лучи восходящего солнца били в окно мазанки, наполняя ее золотым светом, когда дядя Василий внезапно был пробужден криками и воплем.

Вся семья, от мала до велика, теснилась в углу, где лежал Тимофей. Рыданья, крики и голошенье наполнили мазанку. Дядя Василий понял, что в настоящую минуту утешения ни к чему не послужат. Он отозвал Ваню, велел ему запрячь лошадь и ехать в приходское село переговорить с священником насчет похорон; сам он вызвался остаться в мазанке и не покидать семьи во все это время. Дорогой к приходу Иван заехал в Панфиловку известить Андрея о кончине Тимофея; он сообщил также о возвращении Пети.

– Ну, слава тебе господи! все, значит, не оставил он ее своею милостью: одного отнял, другого дал; все не так тяжко ей будет, – сказали в один голос Андрей и жена его.

– Вы пуще всего мальчика-то к ней чаще на глаза пущайте, – подхватила Прасковья, – мало ли она о нем убивалась, горькая!.. Поглядит на него – все сколько-нибудь легче будет.

– Что ж делать-то? К тому уж дело шло, – сказал Андрей. – Я, признаться, не говорил только, а последний раз, как был у вас, как поглядел, не чаял ему живности... царствие ему небесное! Когда же хоронить-то думаете?..

— Да послезавтра,— возразил Иван.

— Вряд можно, послезавтра священнику не время... рази уж рано утром.

— А что?

— Да рази ты не слыхал?

— Нет...

— Ведь послезавтра свадьба: венчают Федора Иваныча с нашей барышней. Отец Михаил не поспеет управиться.

— Я к нему теперь: он скажет, когда послободнее будет,— произнес Ваня, делая шаг, чтоб удалиться.

— Погоди, Ваня,— сказал Андрей.— Вечор наш мужичок в город ездил, два письма привез, Катерине велел отдать. Одно, должно быть, о луге пишут. Вечор Пьяшка приходила, сказывала, Федор Иваныч сам, вишь, письмо получил с ваших мест от управителя: ведь луг-то ему продали.

Прасковья принесла письма. Андрей сказал Ивану, чтоб он, когда поедет назад, завернул к ним на минуту. Отец Михаил подтвердил все сказанное Андреем касательно свадьбы Карякина и племянницы Анисьи Петровны. Он просил распорядиться похоронами на завтра или переждать еще день. Иван не мог дать положительного ответа; он сказал, что посоветуется с Катериной и привезет к нему ответ. В ожидании этого он подал священнику письма, которые тот прочел очень охотно. Оба письма были от Герасима Афанасьевича. В одном находилось позволение на бракосочетание Ивана с Машей, в другом объявлялось о продаже луга. Герасим Афанасьевич объявлял вместе с тем, чтоб Катерина по получении этого письма приступила к продаже мазанки и на вырученные деньги немедленно отправлялась со всею своею семьею в Марьинское — такова была воля господ, прибавлял старый управитель.

Иван поспешил вернуться назад, чтоб передать обо всем этом Катерине. По пути, согласно обещанию, заехал он в Панфиловку. Андрей и жена его переговорили между тем и решили навестить переселенцев, проститься с покойником и утешить по возможности Катерину. Они сели вместе с Иваном, и все трое поехали к степной мазанке.

VII

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В тот год, как совершались происшествия, избранные нами частью для развлечения читателя, частью для назидания (да простят нам такую претензию!), зима в Петербурге была особенно как-то богата увеселениями. Итальянская опера была еще лучше, чем в предыдущие годы; две-три европейские знаменитости украсили сцену других петербургских театров; огромные афиши беспрерывно возвещали о концертах, и, что достойно замечания, в этих концертах являлись иногда истинно замечательные таланты; никто не помнил, чтоб когда-нибудь давалось такое множество блестящих праздников и великолепных вечеров, как в эту счастливую зиму.

В числе вечеров не последнюю роль играл вечер, данный Белицыными. О нем говорили три дня в том обществе, к которому принадлежали Сергей Васильевич и Александра Константиновна. Впрочем, вечер Белицыных, обязан был своей renommée [1], как справедливо заметил один молодой человек, числящийся с недавнего времени в Иностранной коллегии (и потому, вероятно, говорящий не иначе, как по-французски), renommée своей вечер не столько был обязан особенному великолепию, сколько гостиной во вкусе Людовика XV, которую отделал Сергей Васильевич, имевший в виду другие петербургские вечера и другие гостиные. Гостиная действительно очень удалась. Брюхастые комоды, зеркала в старинных резных рамах, стулья и кресла, привезенные по первому зимнему пути из Марьинского, явились очень кстати; очень кстати также присланы были Герасимом Афанасьевичем деньги, вырученные за муку, овес, горох и другие продукты Марьинского. Сергей Васильевич находился в отличном расположении духа. Требовалось ему прикупить для большего эффекта гостиной множество фарфоровых безделушек, обтянуть штофом мебель, приобрести пастели Латура, которые, как нарочно, явились в это время в одной антикварной лавке и сами собою напрашивались, так сказать, в гостиную стиля Людовика XV. Но что могут значить жертвы,

---

[1] Славой *(фр.)*.

даже большие, даже непосильные жертвы, когда имеется впереди верный, несомненный успех? Все были в восхищении от гостиной, кроме, впрочем, архитектора, который не переставал утверждать, что сильно, сильно ошибся в расчете — не артистическом расчете, а финансовом. Но на всех угодить невозможно — это уже дело давно известное. Мы можем даже по этому случаю привести в пример самого Сергея Васильевича. Чего ему недоставало? Гостиная его произвела эффект; вечер удался даже сверх ожидания, а между тем он вдруг, ни с того ни с сего, впал в ужаснейшую хандру. Хорошее расположение духа продолжалось всего три дня, то есть ровно столько времени, сколько говорили о его вечере и гостиной. По прошествии этого срока добродушное лицо его потеряло всю свою веселость; им овладело даже чувство, похожее на то, когда человек горько ошибается в людской благодарности и видит вокруг себя одну страшную пустоту и мелкое тщеславие. Он реже стал посещать итальянскую оперу, в концерты совсем перестал ездить, в Английском клубе показывался реже и реже и если показывался, то не садился уже играть в карты, хотя, как известно, имел к этому полезному препровождению времени большую склонность. Необыкновенная терпимость и та легкая, приятная беспечность, отличавшие всегда Сергея Васильевича, стали изменять ему; он раздражался из-за каждой мелочи: повар, подавая ему счет в конце месяца, встречал всегда барина с нахмуренными бровями; книжки зеленщика и мясника возбуждали в нем какую-то беспокойную подозрительность; счет модистки положительно действовал на его нервы; словом, самая ничтожная бумажка с изображением цифры усиливала его хандру. Разумеется, он тщательно скрывал все это от жены: каждый раз, как являлась Александра Константиновна, он спешил протянуть ей руку и старался улыбнуться, хотя при всем старании своем не мог скрыть выражения грусти и меланхолической задумчивости, которая тотчас же проглядывала в чертах его. Во всю длинную зиму добродушное лицо Сергея Васильевича изобразило, можно сказать, только две искренно веселые улыбки. В первый раз это случилось в тот день, как получил он запрос от марьинского управителя касательно продажи саратовского луга. Прочитав письмо, Сергей Васильевич даже оживился

и под влиянием этого оживления немедленно написал ответ, смысл которого заключался весь в этих простых, но выразительных словах: «Продать, продать как можно скорее!..» Он искренно повеселел еще в тот день, когда Герасим прислал ему деньги, полученные за луг от гуртовщика Карякина.

Хорошее расположение духа, овладевшее Белицыным, было, однако ж, очень непродолжительно, к великому огорчению Александры Константиновны. Съездив два-три раза в Английский клуб и дав в своей новой гостиной маленький thé dansant[1] в день рождения Мери, Сергей Васильевич впал снова в хандру. Александра Константиновна прибегала ко всем возможным средствам и мерам, чтоб рассеять, развлечь мужа, — все было напрасно. Белицына была так умна, что не могла не заметить усилий, какие делал муж, чтоб скрыть от нее причины своего расстройства; она была такою честною и доброю женою, что не могла этим не огорчаться. Так как Сергей Васильевич не переставал день ото дня все более и более ожесточаться против Петербурга, и так как, с другой стороны, Александра Константиновна начала уже проникать в тайну хандры мужа, она предложила ему ехать в Марьинское.

Сергей Васильевич давно думал об этом; он молчал до сих пор единственно из чувства деликатности: он знал, что жена его согласится исполнить его желание, но ему не хотелось этим пользоваться, не хотелось подвергать ее деревенской скуке, не хотелось разлучать с Петербургом и столичными увеселениями, которые, по его мнению, были так же необходимы Александре Константиновне, как вода для рыбы, воздух для птицы. Сергей Васильевич, подобно многим супругам, имел слабость думать, что жены вообще несравненно легкомысленнее и тщеславнее мужей своих. Предложение Александры Константиновны, высказанное чрезвычайно просто, без натянутой радости и грусти, несказанно обрадовало мужа. Они согласились ехать как можно скорее. Наступление весны делалось ощутительным даже в Петербурге. Три дня посвящены были на прощальные визиты, три другие дня — на приготовления и снаряжение в путь. Гостиная во вкусе Людовика XV завешена, наконец, чехлами, и Бе-

---

[1] Танцевальный вечер *(фр.)*.

лицыны, сопровождаемые бордоской гувернанткой, Мери, горничной Дашей, поваром и другими людьми, бывшими прошлый год в деревне, отправились в путь.

В первых числах мая на улице Марьинского снова раздаются крики: «Господа едут!..» Народ сломя голову бежит за ворота, кланяется господам и снова преследует знакомый нам дормез, между тем как барыня посылает поклоны в одну сторону, барин в другую, а гувернантка снова повторяет: «Mais saluez donc, Mery, mais saluez donc!..»[1] Управитель Герасим по-прежнему стоит у главных ворот и торопливо обдергивает сюртук; Сергей Васильевич издали еще кричит ему: «Здорово, старик!» – гувернантка восклицает: «Voici Karassin!»[2] – и дормез торжественно подъезжает к крыльцу, куда снова стремится дворня.

Хотя Сергей Васильевич не знает, как освободиться от тесноты и лобызаний дворовых, но радостное чувство наполняет теперь его помещичью грудь: он никого не хочет оскорбить отказом и охотно подставляет свои руки и щеки дворовым. Француженка кричит: «J'étouffe!»[3], Александра Константиновна опять подвергается особенному вниманию белоголового мальчика с красным лицом и веснушками; мальчик снова проходит сквозь батальный огонь щелчков, снова ныряет в толпе и с диким азартом в сотый раз припадает к прекрасной руке барыни; одним словом, все происходит точно так же, как прошлого года. Белицыны обошли комнаты прадедовского дома, разместились на прежние половины, прошлись потом по саду и, нагулявшись досыта, вернулись на террасу, где пили чай, любовались солнечным закатом и наслаждались свежим воздухом. После этого они предались отдыху и спали, как только спят после долгого пути.

Прошло несколько недель после приезда Белицыных. Нельзя было не заметить, что образ жизни Сергея Васильевича и даже самый взгляд на вещи значительно изменились против того, какими были прошлого года. Он так же добродушно и ласково разговаривал с крестьянами, по-прежнему рассуждал он, что

---

[1] Да поклонитесь же, Мери, поклонитесь же!.. *(фр.)*
[2] Вот и Карасен! *(фр.)*
[3] Я задыхаюсь! *(фр.)*

помещику, который думает только об увеличении своих доходов и не обращает внимания на средства и способы, какими достаются эти доходы, такому помещику не следовало бы иметь крестьян (как честный и благородный человек, Сергей Васильевич не мог иначе рассуждать); по-прежнему отправлялся он по утрам в кабинет и запирался часа на два с Герасимом Афанасьевичем.

При всем том, как мы уже сказали, в самой жизни, характере и мыслях Белицына произошла резкая перемена. Он уже не выказывал той бестолковой суетливости, которая заставляла его прежде разом предпринимать двадцать дел; он несравненно меньше говорил, но несравненно больше прислушивался к толкам старого управителя, старост и, очевидно, старался серьезно вникать в дело. Довольно сказать, что Сергей Васильевич до сих пор не подал ни одного проекта. Говорил ли Герасим о починке кровель — Сергей Васильевич внимательно слушал, одобрял намерение и внутренно даже сознавался, что это будет полезнее, чем тратиться на сооружение готической беседки и распространение пруда, которые должны были бы придать саду великолепный вид. Толковал ли Герасим о посадке новых яблонь — Сергей Васильевич не переносился теперь к огромной липе, которая должна была придать красному двору английский характер; заводил ли Герасим беседу о полевых работах — Сергей Васильевич делался еще внимательнее и не стремился воображением к фигурной решетке, и т. д. Сергей Васильевич так удивлял и вместе с тем радовал старого своего управителя, что Герасим, возвращаясь в свою комнату, забывал даже своих птиц, которых между тем развелось еще более, чем в прошлую весну.

Ясно, что такая перемена в образе мыслей и действиях Белицына не могла произойти без причины. Вот что случилось. На другой день после приезда в Марьинское Сергей Васильевич, разговаривая о том о сем с Герасимом, случайно вспомнил о переселенцах и спросил о них. В это самое время в кабинет вошла Александра Константиновна. Она видела, как управитель пошел к мужу, и явилась именно затем, чтоб расспросить его о своих protégés[1]. Узнав о смерти Лапши, она взглянула на мужа и задумалась. Герасим

---

[1] Протеже *(фр.)*.

сообразил верно, что продолжение рассказа будет не совсем приятно господам; он начал заминаться и, наконец, совсем остановился; но Сергей Васильевич и Александра Константиновна потребовали, чтоб он передал им все, решительно все, и ничего не утаивал. Старик рассказал тогда всю правду, все, что знал о житье-бытье переселенного семейства. В наивной, простодушной речи его так ясно выступала нелепость проекта Сергея Васильевича касательно луга, в таких ярких красках обрисовались лишения и тягости, которые претерпели Катерина и семья ее, что Сергей Васильевич и жена его, оставшись наедине в кабинете, долго сидели в раздумье и слова не говорили.

— О чем ты думаешь? — спросил, наконец, муж, прикасаясь ладонью к руке жены.

— Я думаю об этой бедной женщине и ее детях, думаю также о помещиках... таких, как мы... — вымолвила Александра Константиновна.

Сергей Васильевич сильно потер лоб ладонью и опустил голову.

— Надо сознаться, Serge, оба мы поступили непростительно опрометчиво, — подхватила Александра Константиновна, — нет, мы живем совсем не так, как бы нам следовало!..

— Что ты хочешь этим сказать? — краснея, проговорил муж.

— Я хочу сказать, — кротко возразила Белицына, — что если уж существует наше положение — положение помещика, оно налагает на нас, помещиков, обязанности... строгие, святые обязанности — право, так! Это не пустое слово, не фраза. Сколько раз думала я: если б владели мы только землями да лесом, наша беспечность была бы простительна, нас можно было бы извинить за наше незнание; но ведь в руках наших живые люди, мы имеем сотни семейств, судьба которых в нашем полном распоряжении, — с горячностью подхватила она. — Как христиане, как граждане, наконец просто как честные люди, можем ли мы быть беспечными? Имеем ли мы право бросить этих людей на произвол судьбы, не знать их жизни, их потребностей?.. Наше равнодушие, наше невежество в отношении к быту этого народа, который круглый год, всю свою жизнь для нас трудится и проливает пот свой, — наше равнодушие и незнание постыдно и бесчестно!.. Мы наряжаемся, пляшем, безумно тра-

тим деньги, уважаем и принимаем за серьезное то, что в сущности вздор, и почти презираем то, к чему обязывает нас совесть, религия и все человеческие чувства... Сердце возмущается, и страшно делается, как подумаешь обо всем этом! Нет, мы живем не так, далеко не так, как бы следовало!..

Но мы считаем лишним досказывать то, что говорила Александра Константиновна. Мысль, которая одушевляла ее, и без того понятна — мысль, по нашему мнению, в миллион раз дороже самого пылкого, блестящего красноречия.

Во все время, как говорила Белицына, Сергей Васильевич не поднял головы. Когда она кончила, он продолжал сидеть в том же положении. Видно было, однако ж, что слова Александры Константиновны произвели на него сильное впечатление. Доброе лицо его выражало столько грусти, что, взглянув на него, Белицына быстро подошла к мужу и взяла его за обе руки. Она подумала, не зашла ли уж слишком далеко в своем увлечении, не оскорбила ли как-нибудь нечаянно мужа, который в сущности был главным виновником проекта о переселении и подал повод к ее упрекам.

— О чем ты думаешь? — спросила она с ласковой улыбкой.

— О чем я думаю? — вымолвил Сергей Васильевич, подымая голову, причем жена увидела слезы на глазах его. — Я думаю, что ты во сто тысяч раз умнее и честнее меня, — вот что я думаю. Начинай же то дело, о котором ты говорила! — подхватил он с воодушевлением. — Начинай это дело с богом, и я твой верный, неизменный помощник!..

Так много слышали мы горячих речей, вырывавшихся, казалось, из самой глубины сердца, но в сущности зародившихся только на кончике языка; так много видели мы благородных порывов, которые ни к чему не вели, что не дали бы ровно никакого значения словам Белицыной, если б она, точно, не нашла в себе довольно энергии, чтоб применить к действительной жизни свои слова и благородные убеждения. Не можем мы то же сказать о Сергее Васильевиче. Мелкое тщеславие и безграничная пустота пустили в него такие глубокие корни, что он не мог от них

освободиться. Но, как человек незлобный и легко увлекающийся, он невольно поддался в первое время влиянию жены своей.

Первым делом их было заняться судьбою Катерины и детей ее. Александре Константиновне стоило раз серьезно вникнуть в отчеты скотницы, чтоб понять ее плутни: Катерина заступила место Василисы. В первый же месяц все пошло иначе на скотном дворе. Герасим Афанасьевич не мог нахвалиться; он положительно утверждал, и даже с некоторою гордостью, что через год во всем уезде не будет такого скотного двора, как в Марьинском. В первое время милости, которыми господа осыпали семью Катерины, возбуждали сильную зависть дворни; но так как Катерина ни на кого не наговаривала, никого не трогала и так как, с другой стороны, господа входили теперь в дела, дворовые рассудили наконец, что не совсем безопасно давать волю страстям своим. Гибель Филиппа и смерть Лапши вскоре примирили с Катериной самых закоснелых врагов ее.

Маша оставлена была при матери в качестве ее помощницы. Муж Маши, столяр Иван, освобожден был от оброка до полного возраста сыновей Катерины. Петю, которого часто ласкала Александра Константиновна, оставили при Иване с целью обучаться столярному ремеслу. Добрые начала, посеянные в нем матерью, были так прочны, что в душе его не осталось следа от бродячей жизни: он вынес из нее только рассказы, и в досужее время стоило появиться где-нибудь Пете, чтоб тотчас же составилась вокруг него толпа жадных слушателей. Иногда, работая подле Ивана, или даже в самом оживленном месте рассказа веселое, миловидное личико Пети как будто омрачалось. Это бывало в тех случаях, когда, перебирая прошедшее, вспоминал он маленького своего товарища, вожака Мишу: воображение мигом переносило его в отдаленную, глухую, никому неведомую деревушку, в мрачный, обветшалый сарай; перед ним как наяву выступало вдруг бледное, изнеможенное лицо Миши, который простирал вперед руки и усиленно тянулся к восходящему солнцу, как бы предчувствуя, что видит солнце в последний раз... Воображение Пети быстро влекло его тогда в какой-то незнакомый, пустынный край. Он сам не знал, почему именно представлялся ему этот край, когда думал он о могиле

маленького товарища; но сколько ни напрягал он воображения, могила Миши нигде не отыскивалась; густая трава, усеянная голубыми колокольчиками, застилала все дороги, все пути и, переливаясь из края в край, как волны морские, убегала в необъятную даль отдаленного, неведомого края...

Петя вообще мальчик славный; он обещает сделаться со временем отличным столяром и, что всего важнее, обещает быть надежной подпорой матери в ее преклонные лета. Остальные ребятишки Катерины процветают по-прежнему; с утра и до вечера в окрестностях скотного двора раздаются веселые голоса их и лай Волчка, который продолжает быть неизменным их спутником. Присутствие ребятишек на скотном дворе делается еще заметнее, когда, случается, заглянет туда дядя Василий и даст каждому из них по муравленому глиняному свистку, изображающему утку.

Привлеченный, вероятно, трескотнею этих свистков, зашел однажды на скотный двор слепой, оборванный нищий. К великому удивлению Катерины и совершенному недоумению Ивана, который, страшно улыбаясь, подкидывал кверху трехмесячную дочь свою, Петя радостно крикнул и побежал навстречу нищему. Дело тотчас же объяснилось: нищий был не кто другой, как Фуфаев. Александра Константиновна, проходившая мимо и знавшая Фуфаева из рассказов Пети, предложила слепому угол в Марьинском и верный кусок хлеба. Но Фуфаев напрямик отказался.

— Мое дело такое, барыня, добрая христианская душа твоя! — сказал Фуфаев, весело отдувая свои щеки.— Мое дело такое: под окошечком выпрошу, под другим съем, под третьим высплюсь... Корочка-то се́ра, да волюшка-то своя — вот что!

Он часто, однако ж, заходит в Марьинское и всякий раз уходит с такою полною сумою, что считает непременным долгом зайти в ближайший кабак, чтоб оставить там половину.

Белицыны проводят теперь ежегодно месяцев восемь в Марьинском. Александра Константиновна продолжает до сих пор быть верною благородным своим убеждениям. Она занимается делами, хозяйством и судьбою вверенных ей крестьян с прежнею настойчивостью, с прежнею твердостью. Она так умно распо-

ряжается, что Сергей Васильевич не видит уже надобности подсоблять ей: он дает только советы, много гуляет, много ест, читает романы и газеты (его сильно занимает судьба африканских племен и распоряжения англичан в Индии), делает более или менее замысловатые проекты, обдумывает сложные политико-экономические вопросы и кушанья к обеду и не пропускает ни одного мужика, чтоб ласково не поговорить с ним.

Благодаря усиленному труду Александры Константиновны дела Белицыных заметно улучшаются. Сергей Васильевич находится постоянно в отличном расположении духа. Возвращаясь в Петербург на зиму и являясь в своем обществе, Александра Константиновна снова делается одною из самых милых, образованных женщин большого света; она точно никогда даже и не живала в деревне.

Сергей Васильевич, наоборот, возвращаясь в Петербург, превращается вдруг в самого закоренелого помещика, который никогда как будто не покидал деревни. Он ни о чем больше не говорит, как о посевах, полях, постройках и разных хозяйственных улучшениях. Стоит только коснуться об обязанностях помещика, Сергей Васильевич разгорячается мгновенно. Так как мысли его по этому предмету совершенно сходятся с мыслями жены и так как Сергей Васильевич не наделен большим красноречием, то он с жаром и увлечением повторяет почти от слова до слова монолог, произнесенный когда-то женою и который он на досуге изучил в совершенстве. В обществе своем слывет он замечательным агрономом, примерным хозяином и образцовым помещиком. Мнение это доставляет неизъяснимое удовольствие Сергею Васильевичу, но, по-видимому, оно еще больше радует Александру Константиновну, которая ласково следит глазами за мужем и всегда весело ему улыбается. Она редко вмешивается в разговор и никогда слова не произносит о хозяйстве. Из этого свет заключает, что Белицына очень милая, добрая, но обыкновенная светская женщина, которая ездит в деревню для того только, чтоб угождать агроному-мужу.

Мнение света всегда верно, и мы поступили бы весьма неловко, если б не воспользовались случаем выразить наше глубокое уважение к меткости его приговоров.

1855–1856

КОММЕНТАРИИ

КОРАБЛЬ «РЕТВИЗАН»

Печатается в отрывках: гл. I, IV и VI.

Впервые – «Морской сборник», 1859, кн. 5, 11–12; 1860, кн. 2–4; 1861, кн. 10; 1862, кн. 5–6. Отдельным изданием: «Корабль «Ретвизан», год в Европе и на европейских морях», СПб., 1873.

Очерки Григоровича остались незаконченными: «Путевые мои записки от Петербурга до Генуи, помещавшиеся сначала в «Морском сборнике», собраны потом в отдельный том. Я начал было писать дальше о нашем пребывании в Афинах, Иерусалиме, Палермо и т. д., но остановился по разным обстоятельствам» (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1961, с. 162). По-видимому, работа над новым романом отвлекла Григоровича от путевых записок, которые составлялись им «по горячим следам событий». Записки не претендовали на глубокие социальные или философские обобщения, они рождались под непосредственным впечатлением от увиденного и должны были «правдиво и живописно» отобразить это впечатление – в тонах и подробных деталях незнакомого читателю морского быта и чужеземной жизни.

Едва ли можно сказать, что Григоровича более всего интересовала корабельная и вообще морская жизнь, хотя цели, которые были поставлены перед ним и другими писателями-маринистами, преследовали именно задачу освещения морской жизни, привлечения общественного мнения и правительственных учреждений к нуждам русского флота.

Один из первых критиков очерков Григоровича Н. Рыкачев как раз и обратил внимание на этот, с его точки зрения, недостаток путевых записок. «Было время, – писал он, – когда русская публика знала море из одних только романов

Фенимора Купера и капитана Мариета; о наших мореплавателях имели тогда самое смутное понятие и едва подозревали, что у нас есть флот, есть моряки, есть несколько тысяч людей, житейская обстановка которых совершенно не та, что прочих смертных. Время это миновало благодаря «Морскому сборнику», книге Гончарова, путевым запискам гг. Григоровича, Вышеславцева, Максимова и Льховского. Теперь у нас начинают интересоваться морскою жизнью, начинают знакомиться с нею; но знакомство это еще далеко не полное. Все вышеприведенные писатели очень мало касались главных вопросов морского быта ⟨...⟩ Мы позволим себе указать вначале на неполноту очерков морского быта гг. Григоровича и Гончарова, постараемся показать, насколько они обошли интересующие нас вопросы ⟨...⟩ Вообще случайные мореплаватели, люди, заброшенные какими-нибудь обстоятельствами на палубу военного корабля, по большей части смотрят неверно на морскую жизнь и нередко основывают свои заключения на благополучном трехдневном переходе по зеркальной поверхности вод или на восьмидневной пытке постоянной и беспрерывной качки. Услышав несколько морских терминов, которые в ушах их не имеют никакого значения, они примешивают их к своему рассказу и уверяют публику, что знают морскую жизнь. Для них малейший шум на палубе представляется чем-то ужасным, свежий ветер вырастает, принимает размеры бури, урагана. Познакомившись с простыми натурами матросов, они полагают, что изучили морской быт в самом живом, неиспорченном источнике его. Палуба корабля представляется им чем-то вроде золотой нивы, бархатных лугов с одиноко растущими ветлами и серыми, вросшими в землю избами. Везде ищут они народный элемент и радуются, когда под синей матросской рубашкой и лакированной шляпой, где-нибудь на поэтических берегах Средиземного моря, на пустынных островах Бонин-Сима или на мысе Доброй Надежды, встречают старых приятелей, дядю Карпа, сына его Петра, под новыми образами ⟨...⟩ Отдавая должное их наблюдательности и желанию отыскать в матросе черты национальности, мы не можем, однако же, согласиться с мыслью, что в этих неполных очерках заключается морская жизнь. Все выше сказанное касается вообще случайных мореплавателей и скорее относится до г. Григоровича, чем до г. Гончарова. Будем вполне откровенны и скажем больше: нам кажется, что г. Григорович, прогуливаясь под тенью мачт, вант и дымогарной трубы, воображал себя среди мирных конопляников, искал тех же идеалов сельской при-

роды, увлекался и увлекал за собою читателей. «Год в Европе и на европейских морях», «Корабль «Ретвизан», «Уголок Андалузии» — все это прелестные картинки, художественные рисунки с заманчивыми названиями, но напрасно искать в них что-нибудь серьезное, что-нибудь полное, а главное, напрасно искать в них что-нибудь существенное в морской жизни» (Морской сборник, 1862, т. 59, № 5, с. 1—3, раздел «Критика и библиография»).

И первый критик, и современная критическая литература находят много общего между «Фрегатом «Паллада» Гончарова и «Кораблем «Ретвизан»: «Григорович ориентировался на то лучшее, что ставило «Фрегат «Палладу» в ряд шедевров жанра путешествия. Вслед за Гончаровым писатель стремится не запечатлеть экстраординарные случаи, а, напротив, сводит героику и экзотику происходящего до уровня обыкновенного, представляя события такими, какими они могли казаться участнику длительного и утомительного похода. В «Корабле «Ретвизан» вновь отчетливо проявляется былая склонность Григоровича к «физиологическому» очерку» (М е щ е р я к о в В. П. Д. В. Григорович — писатель и искусствовед. Л., Наука, 1985, с. 78).

Тем не менее, разрабатывая сходную тему, Григорович не повторяет Гончарова. Как отмечает автор монографии о писателях-маринистах, Григорович по сравнению со своими предшественниками уделяет корабельной жизни большее внимание «и вносит в ее трактовку некоторые новые важные для нас черты. Эта новизна заключается прежде всего в стремлении автора «Антона-горемыки» присмотреться к матросской массе, понять смысл морской службы ⟨...⟩ В отличие от своих предшественников, в том числе от Гончарова, автор очерков не остается равнодушным к корабельному быту» (В и л ь ч и н с к и й В. П. Русские писатели-маринисты. М.—Л., Наука, 1966, с. 97).

Более всего, как признано критикой, удалось Григоровичу описание искусства тех стран, которые он посетил: «Повествуя о живописи, писатель ссылается на специальные труды по искусству, при этом речь автора становится яркой и выразительной. Писатель не таит и собственного мнения. Григорович не просто пересказывает содержание картин или скульптур, а рассматривает их, как бы следя за процессом их создания» (М е щ е р я к о в В. П. Д. В. Григорович — писатель и искусствовед, с. 79).

Стр. 8. *...сказал П*, хозяин дома...* — И. И. Панаев договаривался о поездке Григоровича. 2 апреля 1858 г. он

сообщил: «Спешу уведомить Вас, что А. В. Головин и контр-адмирал Краббе дали мне знать, что Вам необходимо приехать в Петербург к 15 мая. Эскадра идет в июне и Вам должно будет две недели на знакомство с морскими властями и с офицерами, идущими с Вами. Ради бога, любезный друг, распорядитесь так, чтобы не опоздать, покажите себя аккуратным и меня не введите в недоразумение» (Литературная мысль. — Пг., Мысль, 1923, т. 2, с. 198).

Стр. 9. *...как Гончаров ездил в Японию...* — И. А. Гончарову не просто было добиться поездки. «Миссия морской экспедиции, возглавлявшейся адмиралом Е. В. Путяниным, была чрезвычайно важной и ответственной: под видом обозрения российских колоний в Северной Америке экспедиция должна была (в который раз!) попробовать подготовить почву для заключения русско-японского договора о торговле и границах. И вот в составе этой экспедиции после энергичных собственных хлопот оказался столоначальник Департамента внешней торговли Министерства финансов коллежский асессор И. А. Гончаров, «редактор докладов, отношений и предписаний» (Орнатская Т. И. История создания «Фрегата «Паллада». — В кн.: Гончаров И. А. Фрегат «Паллада». Очерки путешествия в двух томах. Л., Наука, 1986, с. 765).

Стр. 11. *Линейный корабль* — большое военное, хорошо вооруженное судно.

Стр. 14. *Яйцо Колумба.* — Христофору Колумбу (1451 — 1506) приписывают постановку яйца в вертикальное положение на пиру у кардинала Мендозы; в перен. смысле — простое решение сложного вопроса, остроумный выход из затруднительного положения.

Стр. 30. *...мафусаиловы лета...* — По библейскому преданию, Мафусаил — прадед Ноя — жил 969 лет.

Стр. 31. *Ют* — кормовая часть палубы; надстройка на корме, в которой размещаются каюты и служебные помещения.

Стр. 33. *Coucou* — общественный двухколесный экипаж, прозванный кукушкой.

Поль де Кок (1793—1871) — французский писатель; особым успехом пользовались его романы с запутанной интригой, комическими похождениями героев и неизменно благополучной развязкой.

Стр. 34. *Place de l'imperial* — открытые места на крыше дилижанса.

Стр. 36. *...восемнадцати футов вышины* — около пяти с половиной метров.

Стр. 38. *Лазарони* — босяки, нищие.

...драмой, которую представляет история Бретани. — В Столетней войне (1337—1453) между Англией и Францией Бретань подвергалась постоянным нашествиям и разорениям. Долгое время она отстаивала свою самостоятельность, вела борьбу за экономическую, культурную и политическую независимость, была присоединена к французской короне в 1547 г.

...монумент... в память тысячелетия. — Памятник «Тысячелетие России» (1862) скульптора М. О. Микешина и архитектора В. А. Гартмана был установлен в Новгороде.

Стр. 39. *Марфа-посадница* — вдова новгородского посадника И. А. Борецкого, возглавившая в Новгороде антимосковскую партию; после падения Новгорода как столицы Новгородской республики в 1478 г. была пострижена в монахини и вскоре погибла.

Стр. 41. *...знаменитый собор...* — готический собор в Шартре XII—XIII вв., известен богатейшими скульптурными изображениями, витражами и резным порталом.

Стр. 42. *...купол Инвалидов...* — Дом Инвалидов был построен в 1670 г. Людовиком XIV для лечения офицеров и солдат. В 1848 г. в церковь были перенесены останки Наполеона I. Строительство начато архитектором Либералем Брюаном и закончено Жюлем Ардуэн-Мансаром.

...адрес Дюма-отца... — Знакомство с Александром Дюма (1802—1870) состоялось в Петербурге в 1858 г. у графа Г. А. Кушелева-Безбородко (Григорович Д. В. Литературные воспоминания. М., Гослитиздат, 1961, с. 160).

Политипаж — гравюра на дереве, используемая как виньетка в книге, чаще всего в виде орнамента или небольшого рисунка в начале и в конце текста.

Тюльерийский дворец. — Правильнее — Тюильри (Tuileris); дворец в Париже, построенный в 1564—1670 гг. архитектором Ф. Делормом и другими, служивший резиденцией французских королей; во время Парижской Коммуны (1871 г.) дворец сгорел.

Стр. 45. *...зеленый трельяж на стенах...* — увитые вьющимися растениями тонкие решетки на стенах.

Стр. 48. *...террасу... превращают в крепостной гласис...* — т. е. делают пологую насыпь к реке, создавая удобную позицию для обстрела противника.

...Наполеон... печется об украшении столицы. — Имеется в виду Наполеон III (1808—1873), известный более своими милитаристскими и колониалистскими устремлениями.

Стр. 51. *Comédie Française* — театр, основанный Жаном

Батистом Мольером в 1680 г. в результате слияния его труппы с актерами труппы театра Марре (одного из парижских кварталов). В 1792 г. театр распался, а в 1804 г. был восстановлен.

Стр. 52. *Ambigu Comique* — театр мелодрамы, организован в 1827 г., особенно был популярен в 1830—1900 гг., прекратил существование в 1966 г.

Стр. 53. *Гризетка* — молодая девушка, зарабатывающая на жизнь трудом (швея, мастерица и т. д.), носившая форменное серое платье (фр. grise — гриз — серая).

Кринолин — широкая юбка на тонких стальных обручах.

Vert-Vert — бульварный листок скандальной хроники, сплетен и т. д.

Стр. 54. *Gymnase* — театр на Монмартре.

Автор, Денери, взял из «Фауста» Гете одно только название... — Адольф Филипп Деннери (1811—1899) — французский драматург, автор многочисленных мелодрам. Наиболее известны его пьесы «Мари Жан» и «Две сиротки». Он писал либретто опер, адаптировал для театра произведения Жюля Верна и других авторов.

Стр. 55. *...вспомнишь декорации... написанные Роллером.* — Роллер Андреас (1805—1880) — немецкий художник; с 1833 г. работал в Петербурге, был главным художником императорского театра.

Стр. 59. *...в музее Торвальдсена.* — Торвальдсен Бертель (Альберт) (1768 или 1770—1844) — датский скульптор; еще при его жизни начал сооружаться в Копенгагене музей его имени по проекту архитектора Биндесбёля; во дворе музея был погребен великий скульптор.

...картины Вато, Буше, Грёза... — Ватто Антуан (1684—1721) — французский художник, писал по преимуществу жанровые картины, галантные или театральные сцены; стиль рококо в его творчестве отличается изысканно нежным колоритом, передающим тонкие душевные переживания; Буше Франсуа (1703—1770) — французский живописец и гравер; его деятельность как живописца весьма разнообразна: портреты, пейзажи, жанровые и пасторальные сцены, роспись плафонов, создание театральных декораций и костюмов и т. д.; Грёз Жан Батист (1725—1805) — французский художник; прославился так называемыми «сценами домашней жизни» и другими картинами демократического направления.

...под именем «Vierge d'Edélink»... — Эделинк Жерар (1640—1707) — французский гравер, фламандец по происхождению.

Свадьба в Кане Веронеза... — Веронезе Паоло (1528—1588) — итальянский художник; речь идет о его картине «Брак в Кане Галилейской» (1561), находящейся в венецианской Академии.

...блюд Бернара де Палисси... — Палисси (1510—1589/90) — художник-самоучка, раскрыл секрет состава эмалей. Мотивы его рисунков — цветы, фрукты, животные. Был заключен в Бастилию, как гугенот, где и погиб.

Джиорджоне — Джорджоне (наст. имя — Джорджо Барбарелли да Кастельфранко) (1476 или 1477—1510) — итальянский художник; писал по преимуществу картины на религиозные, мифологические и исторические сюжеты.

Веласкес — Веласкес Диего Родригес де Сильва (1599—1660) — испанский художник; родился и учился в Севилье, с 1623 г. в Мадриде при дворе короля Филиппа IV; величайший портретист.

Стр. 60. *Кастильоне* — Кастильоне Джованни Бенедетто (1610—1665) — итальянский художник; излюбленные темы — религиозные и мифологические, аллегории, пасторали и портреты.

...холстов Рубенса, изображающих историю Марии Медичи... — Рубенс Петер Пауэл (1577—1640) — фламандский художник; речь идет о цикле картин, монументально-декоративных композициях, под названием «Жизнь Марии Медичи» (1622—1625), восхваляющих французскую королеву. Из двадцати композиций большинство выполнено учениками Рубенса.

Стр. 61. *«Notre Dame»* — Собор Парижской Богоматери; заложен епископом Морисом де Сюлли в 1163 г., закончен в основном в 1245 г.; сочетает элементы романского и готического стилей.

...Карл IX стрелял в народ... — Карл IX (1550—1574) правил с 1560 по 1574 г. Второй сын Генриха II и Екатерины Медичи; по его приказу в Варфоломеевскую ночь католики устроили резню гугенотов.

...части Фонтенблоского дворца, которые выстроены при Франциске I... — Замок был построен для Франциска I (1494—1547), архитекторами Ле Бретоном, Серлио и Делормом и украшен Ле Россо и Ле Приматисом. Замок расположен недалеко от Парижа.

Стр. 62. *...и романом Виктора Гюго.* — «Собор Парижской Богоматери» (1831).

Стр. 64. *...музей Клюни...* — Музей прикладного искусства в Париже, получивший свое название от здания (отель

Клюни) в клюнинском аббатстве в Верхней Бургундии. Был основан любителем искусства Дюсоммераром в 1833 г., с 1844 г. стал государственным музеем.

Стр. 66. *«Demi-monde» отличается... отсутствием драматического движения...* – Григорович прав только отчасти, как драматург Александр Дюма-сын (1824–1895), по утверждению исследователей его творчества, хорошо понимая законы сцены, умело строил интригу и в живых диалогах воссоздал характеры, не лишенные жизненной правды.

...Мери, который нашел не бесполезным сочинить... гимн Людовику-Наполеону... – Жозеф Мери (1798–1865) – французский писатель. Написал сатирическое произведение «Отмщение», направленное против июльской монархии, но затем изменил своим взглядам.

Стр. 67. *...у Иверских ворот в Москве...* – Бывшие Воскресенские ворота Китай-города, переименованные в честь Иверской иконы – точной копии той же иконы из Афонского монастыря, доставленной в Москву в 1648 г. Иверские ворота во время реконструкции Красной площади снесены.

Абсент – настойка на полыни.

Стр. 70. *...с фероньеркой на лбу...* – цепочка или повязка, украшенная в середине камнем-самоцветом.

Стр. 73. *...посреди Луксорский обелиск...* – Обелиск вывезен Наполеоном I из древнеегипетского города Луксор, известного статуями-колоссами, аллеей сфинксов, древним храмом. Представляет собой четырехгранную стелу, испещренную египетскими письменами.

...cafe chantant – ресторан с эстрадой.

Ферула – строгое обращение.

Стр. 77. *...и средства для приманки жобаров.* – Жобар – дурачок, наивный человек, которого легко провести.

Стр. 79. *Жардиньерка* – подставка для комнатных растений.

Стр. 83. *...самодовольной физиономией фарсера...* – т. е. шутника, обманщика.

Стр. 86. *Quartier Latin* – Латинский квартал – университетский район Сорбонны в центре Парижа. Своим названием обязан тому, что преподавание в средние века велось на латинском языке.

Бернерета Альфреда де Мюссе... – героиня романа «Исповедь сына века» (1836).

Стр. 88. *...ничего не читать, кроме St. Augustin...* – Среди богословских сочинений «блаженного» Аврелия Августина

(354—430) выделяются «О граде божьем» и особенно «Исповедь».

...роман Фейдо... — Фейдо Эрнест (1821—1873) — французский писатель. Первый свой роман «Фанни» написал в 1858 г., по-видимому, о нем и говорит Григорович.

Стр. 91. *Маркиза* — см. коммент. к «Городу и деревне», т. 2, с. 589.

Стр. 94. *...к давно изгнанным арабам...* — Арабы завоевали Испанию в 711—718 гг. и были окончательно изгнаны после разгрома в 1492 г. Гранады — столицы Гранадского эмирата.

...облагородить свое положение званием гидальго... — т. е. рыцарским званием, возникшим в XII в.

Стр. 101. *...описывает Купер.* — Купер Джеймс Фенимор (1789—1851) — американский писатель. Мировую известность ему принес цикл из пяти романов, главным героем которых был Натаниэль Бумпо: «Зверобой, или Первая тропа войны», «Последний из могикан», «Следопыт, или Озеро-море», «Пионеры, или Истоки Сусквеганны», «Прерия».

Стр. 115. *...аль-Гебором, изобретателем будто бы алгебры...* — Джабир ибн Хайян (в латинском произношении — Гебер; ок. 721 — ок. 815) — арабский ученый, занимавшийся различными отраслями знания, но происхождение алгебры с его именем не связывают.

Стр. 117. *...Ивановская колокольня* — колокольня Ивана III Великого, построенная в Кремле первоначально как звонница в 1505—1508 гг. и достроенная в 1600 г. несколькими ярусами.

Мурильо — Мурильо Бартоломе Эстебан (1618—1682) — испанский художник; жил, творил и умер в Севилье.

Стр. 119. *Лучшие художники, Берругует... Бехéра... Кано...* — Берругете Алонсо (ок. 1490—1561) — испанский живописец и скульптор, ученик Микеланджело; с 1520 г. работал в Испании при дворе Карла V; Бессера Гаспар (1520—1570) — испанский живописец и скульптор; учился в Италии, прославился анатомическими рисунками, с 1562 г. работал при дворе Филиппа II; Кано Алонсо (1601—1667) — испанский архитектор и скульптор, сосредоточивший главное внимание на церковной архитектуре.

Стр. 120. *...выстроил ее дон Хуан де Марана...* — По-видимому, Григорович вслед за В. П. Боткиным («Письма об Испании») пересказывает ошибочную легенду, известную по книге А. Дюма «Дон Хуан де Маранья». В церкви de la Caridad похоронен Мигуэль де Маньяра, по легендам XVII в. превратившийся в Дон Жуана Тенорьо.

Стр. 121. *...видел я страшную картину Хуана Вальдеса...* — Вальдес Леал Хуан де (1622—1690) — испанский живописец, наиболее известные его картины находятся в больнице Каридад. О картине Вальдеса «Два трупа» Мурильо говорил, что, глядя на нее, невольно хочется заткнуть себе нос.

Стр. 124. *...в книгах Виардо, Боткина, Готье...* — Viardot L. Lettres d'un Espagnol, vol. 1—2, Paris, 1826; Viardot L. Etudes sur l'Histoire des institutions de la littérature, du théâtre et des beau-arts en Espagne, Paris, 1835; Боткин В. П. Письма об Испании, СПб., 1857; Gautier T. Voyage en Espagne, Paris, 1845.

...найдете вы у Рачинского... — Рачинский Афанасий (1788—1874) — польский граф, любитель искусства; служил прусским посланником в Мадриде, автор книги «Искусство Португалии» («Les arts Portugal», Paris, 1846).

Стр. 139. *Ола* (точнее: òле) — андалузский танец.

Стр. 142. *...типом Клеопатры в молодости.* — Клеопатра (69—30 гг. до н. э.) — египетская царица; образ ее воссоздавали в литературе У. Шекспир, в живописи — Д. Тьеполо и П. Рубенс.

ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ

Впервые — «Отечественные записки», 1855, т. 103, кн. 11—12; 1856, т. 105, кн. 4; т. 106, кн. 5—6; т. 107, кн. 7—8.

Роман «Переселенцы» справедливо считается одним из лучших произведений Григоровича. И, может быть, это оттого, что рождался он мучительно трудно. В письме к А. В. Дружинину в ноябре 1855 г. Григорович поделился сомнениями, одолевавшими его в ту пору: «Я начинаю уже думать, не ошибаюсь ли я, принимая литературу как поприще и средство жизни. Никогда еще не сомневался я в себе так сильно, как теперь; бывают дни, что я совершенно падаю духом. Стоит ли, в самом деле, просиживать шесть-семь месяцев взаперти, каждый день беспокоиться, волноваться, сомневаться,— и ценою всего этого производить на свет какой-нибудь дюжинный роман или посредственную повесть? Не ребячество ли это? Чтобы быть литератором серьезным, настоящим, надо иметь в себе запас энергии и твердости, которые, в случае надобности, могли бы держать на привязи мелкие страсти и стремления; нужно присутствие какой-то спокойной жилы внутри себя — у меня ничего этого нет» (Письма к А. В. Дружинину (1850—1863). М., изд. Гос. лит. музея, 1948, с. 91).

Едва ли из этого признания следует делать поспешный вывод об отсутствии цельного мировоззрения у Григоровича.

Писатель всегда оставался на позициях либерального, демократического и просвещенного дворянства, он не стал да и не стремился подчинять свое творчество революционно-демократическим задачам. Понимая это, Н. Г. Чернышевский писал о «Переселенцах» в обозрении августовской книжки «Отечественных записок» за 1856 г.: «Скоро это замечательное произведение явится отдельною книгою, и тогда мы будем иметь возможность подробно говорить о нем и, по поводу его, обозреть всю литературную деятельность г. Григоровича. Здесь мы можем только вскользь коснуться некоторых мыслей, вызываемых прекрасным рассказом, начало которого было встречено публикою с тем интересом, какой всегда возбуждают произведения автора «Деревни», «Антона Горемыки» и «Рыбаков», а последние части которого все более и более приковывали к себе живое сочувствие читателя. Была мода на романы из простонародного быта. Мода, как всегда, так и в этом случае, излишествами своими привела к сомнениям, за увлечением последовало охлаждение, и теперь так же трудно заинтересовать публику простонародным рассказом, как легко было пять-шесть лет тому назад привлекать ее внимание модным выбором простонародного сюжета 〈...〉 Отчего г. Григорович без всякого труда приковывает к себе внимание публики, когда многих других повествователей о сельском быте не хочет она и слушать? Г. Григорович не забавляет себя и публику набиранием странных слов и странных обычаев (чем ограничиваются другие): в его «Переселенцах» есть живая мысль, есть действительное знание народной жизни и любовь к народу; у него поселяне выводятся не за тем, чтобы исполнять должность диковинных чудаков с неслыханным языком: нет! они являются как живые люди, которые возбуждают к себе полное ваше участие. В этом и причина постоянного успеха его повестей и романов из сельского быта» (Чернышевский Н. Г. Полн. собр. соч. в 15-ти томах, т. 3. М., Гослитиздат, с. 689–694).

Положительный отзыв о романе прозвучал и в «Библиотеке для чтения»: «Излагать во всей подробности сюжет «Переселенцев» считаем лишним. Мы обратим внимание только на главное: на характеры действующих лиц, на сцены, замечательные в том или другом отношении, на торжество, удачи и неудачи автора 〈...〉 Характеры, рельефнее других выдающиеся в романе: переселенец Лапша, жена его Кате-

рина и нищий Фуфаев, не говоря уже о некоторых эпизодических лицах, слегка, но мастерски очерченных. Лапша ⟨...⟩ преоригинальное лицо: деревенский трутень ⟨...⟩ А уж как труслив и что за размазня-человек этот Лапша. При первой маленькой неудаче он теряется до основания, безнадежно заваливается на печку, стонет так жалостливо и томно, что вчуже делается жаль человека. «Эх – подумаешь – убили совершенно обстоятельства бедного горемыку!» Ничего не бывало: Лапше до обстоятельств и дела нет, он все заботы взваливает на жену, ему и нуждушки нет, как бы пособить стеснительному положению своего семейства ⟨...⟩ Другой, еще более замечательный тип в «Переселенцах» – тип истинно деловой русской крестьянки – представлен в лице Катерины, жены Лапши ⟨...⟩ Это прекрасное лицо, энергическое, простое, не сознающее вполне своего достоинства, характерное и мягкое – одно из знаменитых лиц Григоровича, которым он может смело гордиться. Попытки создать подобное лицо встречались у многих писателей простонародного быта, они были отчасти и у самого Григоровича в прежних его произведениях, но все эти попытки оставались только попытками. Дело в том, что подобное лицо всегда выходило точно выколоченное из стали, накаленной докрасна, все другие стороны были приколочены и забиты слишком усердным художественным молотком, так что подобное лицо, вместо истинной характеристики, обыкновенно торчало каким-то напряженным колом. Между тем, посмотрите, какие естественные переливы в энергическом характере Катерины: как она слаба, безрассудна во время пропажи своего Петруши, похищенного нищими... Посмотрите, как эта Катерина, стесненная обстоятельствами, в своей лачужке – мазанке, караулит саратовский луг, безнадежно поджидая гуртовщиков со стадами ⟨...⟩ Отношения Катерины к семейству и мужу обрисованы удивительно: она щадит этого несчастного трутня, несмотря на то, что он был причиною потери бедного Петруши ⟨...⟩ Честь и слава Григоровичу, что он сумел совладать с такими трудными типами, как Лапша и в особенности Катерина. Признаемся, что во всех наших произведениях из простонародного быта – лица, подобного Катерине, мы еще не встречали. Это лицо – истинное торжество таланта Григоровича ⟨...⟩ К сожалению, подробно распространяться о лицах романа Григоровича мы не можем. Скажем только, что сцены с нищими прекрасны. Они нисколько не уступают самым интересным сценам из житья-бытья переселенцев и возбуждают одинаковое внимание. К числу не слабых, но

более бледных сцен мы относим последние заключительные страницы: Белицыны дорисованы как-то наскоро. Они производят впечатление торопливого и неполного финала, приделанного к прекрасной вступительной увертюре и к самому отчетливому выполнению всего остального ⟨...⟩ По нашему мнению, «Переселенцы» выше всех романов Григоровича; не говоря уже об их капитальных достоинствах, они еще замечательны в другом отношении. Прекрасный талант Григоровича всегда страдал огромным недостатком — растянутостию и утрированной подрисовкой, но здесь автор освободился от своего существенного недостатка. Это — лучшее доказательство того, что талант Григоровича развился, что он значительно двинулся вперед. Мы еще посоветуем избегать всеми силами лиц, вроде знахарки Грачихи. Они слишком напоминают французские романы.

Еще одно замечание. Описания природы были всегда хороши у нашего автора, но им вредило одно важное обстоятельство. Законы самой натуры не позволяют забегать глазом за видимый горизонт, между тем как наш автор часто грешил в этом отношении; он нередко перепрыгивал через этот горизонт, чересчур удлиняя перспективу, и, таким образом, в угоду картинности, отступал от правды. Мы этого не можем сказать об описаниях природы в «Переселенцах», где встречаются истинно великолепные картины, дышащие свежестью и правдой, не одной любовью к природе, но и пониманием ее. Пусть извинит нам любимый нами автор, но мы смотрели на многие из прежних его описаний не более, как на кокетничанье с природой; но и мы восхищены описаниями в «Переселенцах», потому что они чужды прежних недостатков ⟨...⟩

Последний роман Григоровича, «Переселенцы», окончательно убедил нас, что автор этот значительно шагнул вперед и что сфера, им избранная, дает ему возможность написать еще много хорошего и истинно дельного для русского читателя» (Цит. по кн.: Дмитрий Васильевич Григорович. Его жизнь и сочинения. Сб. ист.-лит. ст. Сост. В. И. Покровский. М., 1910, с. 98—104).

На неуверенность Григоровича в своих силах во время создания «Переселенцев», несомненно, повлиял отзыв Аполлона Григорьева о предыдущем его романе: «Мы ничего, например, не знаем напряженнее «Рыбаков» и фальшивее «Бобыля» (Москвитянин, 1855, № 4, кн. 2, с. 108). Народные сюжеты Григоровича из «пейзанских романов Занда», а его народный язык — из «Памятной книжки». Как бы ответом на критику А. Григорьева прозвучало письмо

Л. Н. Толстого Григоровичу, написанное в мае 1856 г.: «Давно, давно, собирался Вам писать, во-первых, о впечатлении чрезвычайно выгодном, которое произвел Ваш «Пахарь», и что я знаю об этом впечатлении, а во-вторых, о впечатлении – прекрасном, которое произвела на меня Ваша апрельская часть «Переселенцев». Теперь ничего не напишу, исключая того, что ужасно Вас люблю и желаю Вас поскорее видеть» (Цит. по: Тридцать дней, 1935, № 11, с. 59).

Все же григорьевское определение запомнилось и через сорок лет прозвучало несколько иначе в статье А. М. Скабичевского «Мужик в русской беллетристике». Он писал: «О Григоровиче составилось такое предубеждение, будто изображенные в его произведениях крестьяне более похожи на французских пейзан, выхваченных из романов Жорж Занд, чем на русских мужиков. Но такое мнение появилось, очевидно, под свежим впечатлением позднейших романов Д. В. Григоровича «Переселенцев» и «Рыбаков». Совсем иное мы видим в первых его рассказах из народного быта: здесь, напротив того, он еще в большей степени, чем Тургенев, является натуралистом, стоящим на безусловно отрицательной почве 〈...〉 Что же касается пресловутого предубеждения, будто бы в произведениях Григоровича, вместо русских мужиков, парадируют французские жоржзандовские пейзаны, то 〈...〉 это, по моему мнению, произошло не из-за чего иного, как из-за того, что в последних своих произведениях – «Рыбаках» и «Переселенцах» – г. Д. В. Григорович не ограничился уже простою передачей фактов из народной жизни, а старался придавать своим повествованиям характер обширных романов, со всеми атрибутами этого рода беллетристики, – сложными интригами и изображениями взаимной любви героев и героинь, борющихся с разными препятствиями. Это привело Д. В. Григоровича к изображению сентиментальных парней и девок, которые своими обьяснениями в любви, сценами ревности, отчаяния и разных любовных тревог действительно напоминают более жоржзандовских пейзан, чем русских деревенских парней и девок. Но и здесь мы можем найти скорее неестественность, фальшь; но никакой идеализации, в истинном смысле этого слова, мы не видим» (Скабичевский А. Сочинения. В 2-х томах, т. 2. СПб., 1903, стлб. 756 – 759).

Критика Скабичевского, односторонняя и крайне субъективная, не была подкреплена анализом. Отказав роману в выражении народного миросозерцания, критик не понял,

что в «Переселенцах» писатель «утверждает эстетику, не противопоставляющую искусство жизни, а проистекающую из народного миросозерцания. Григорович подчеркивает: «Поэтическое воззрение на предметы истекает... не столько от более или менее богатых свойств души, сколько от материального довольства вообще» (VI, 258). Это почти дословное повторение мысли Чернышевского о том, что «хорошая жизнь» для крестьянина представляется свободной от материальных невзгод и заполненной постоянным, но свободным трудом. Взгляд этот на крестьянскую психологию у Григоровича начинает развиваться в «Рыбаках» и находит свое завершение в «Переселенцах». Писатель не скрывает, что почти все время мужика уходит на заботы о хлебе насущном. Крестьянин «всюду ищет пользы, но вовсе не из жадности – нет. Не потому ли происходит все это, что в самом деле много, много нужд у простолюдина?» (VI, 258). Григорович подтверждает свое суждение рядом примеров, запечатлевая поэтическую любовь крестьянского парня и девушки, тяжелую сцену прощания переселенцев с землей.

Фабульная схема романа противоположна построению «Рыбаков», где единый сюжет раздробляется по мере развития действия на несколько параллельных линий, причем количество их постепенно уменьшается. В «Переселенцах» все сюжетные линии в финале стремятся к слиянию, так как такая архитектоника позволяла в итоге сфокусировать внимание на всех героях. Далась она писателю с большим трудом. По поводу планировки книги Григорович писал Дружинину: «Этот роман точно, право, какая-то безобразная гидра, у которой вместо голов – главы; чем больше уничтожаю глав, тем их больше впереди вырастает; до сих пор не могу владеть хорошо планом в больших вещах; назначишь две главы, смотришь, вышло четыре; а между тем, сам вижу, что содержание, расплываясь таким образом вон из рамки, замедляет ход интриги и все делается вдвое вялее и скучнее».

Благодаря своей антикрепостнической направленности книга Григоровича вызвала отрицательные отзывы реакционной критики. В рецензии, помещенной в «Сыне отечества», критик констатировал, что нашел в романе «заплаты, морщины, блестящие на солнце лысины, рубища, пыль, зной, черствые корки, косушки и другие атрибуты цинической жизни». Выступая с такой тирадой, критик «Сына отечества» не заметил, что с тех пор, как «Вестник Европы» иронизировал над «простонародностью» «Руслана и Людмилы» Пушкина, прошло очень много времени и мужик стал полно-

правным литературным героем» (Мещеряков В. П. Д. В. Григорович – писатель и искусствовед, с. 112–113).

Стр. 168. *Муравленый* – поливной, глазурованный.

Стр. 201. *Волоковое окно* – здесь: маленькое, задвигавшееся доской окно; сделанное вверху – служило для выхода (выволакивания) дыма из курной избы.

Стр. 218. *Петь Лазаря* – в перен. смысле: прикидываться несчастным, жаловаться на судьбу.

Стр. 277. *Омбрелька* (от фр. ombre – тень) – зонтик от солнца.

Стр. 284. *Лафатер Иоганн Каспар* (1741–1801) – швейцарский писатель, автор богословских сочинений; в философском сочинении «Физиогномические фрагменты для поощрения человеческих знаний и любви» развил теорию о связи и прямой зависимости черт лица и черепа от характера и духовного облика человека.

Стр. 292. *Графиня Даш* – псевдоним французской писательницы Габриэль-Анны Пуалон де Сен Маре (1804–1872), автора романов из великосветской жизни и исторических романов.

Поль Феваль (1817–1887) – французский писатель, автор авантюрных и приключенческих романов.

Стр. 331. *...привела в пример Патфайндера...* – герой романа Купера «Следопыт, или Озеро-море».

Стр. 364. *Мы читали Sandford et Merton...* – «Санфорд и Мертон» – роман Арно Беркена (1747–1791), французского писателя, автора элегических, довольно скучных пьес, называемых беркинадами. Беркен создавал короткие комедии для молодежи, такие, как «Друг детей», «Друг подростков», «Семейная книга», иллюстрирующие какое-нибудь моральное правило.

Ксавье де Монтепен (1823–1902) – французский писатель; в своих романах (с продолжением) писал о нужде рабочих, обличал пороки буржуазного общества; был также автором драм из народной жизни.

Стр. 383. *...как у маленького нищего на картине Мурильо.* – Возможно, имеется в виду картина «Милостыня Диего де Алькала» (1645) Бартоломе Эстебана Мурильо (1618–1682), испанского живописца, безвыездно прожившего в Севилье, художника лирического плана.

Стр. 410. *Пальмира* – древний античный город в Сирии, достигший расцвета в I–III вв. н. э. Археологические раскопки открыли уникальные памятники.

Стр. 415. *Береза... на верею хороша...* – на столб, на который навешивают створки ворот.

Стр. 418. *...последней ревизии.* — Имеется в виду перепись населения 1856 г.

Стр. 419. *Английский парк.* — Парк, следующий естественному стилю данного пейзажа. Выдающийся садостроитель князь Пюклер-Мускау (1785—1871), давший направление благоустройству парков, смотрел на сад как на картину, избегая в ней преувеличенного, контрастного; вводя в состав парка окружающую местность, раздвигал горизонт; таким образом для английского парка характерно сочетание участков естественного и организованного (регулярного) характера.

Стр. 543. *...как пороховой стопін...* — фитиль, пропитанный порохом или селитрой.

Стр. 575. *Паникадило* — подвесной светильник, в который устанавливается много свечей.

Стр. 597. *...пастели Латура...* — Латур Морис Кентен де (1704 — ок. 1788) — французский художник — пастелист и график.

...стиля Людовика XV — стиль режанс (régence), особенно проявившийся в мебели; глубокая резьба по дереву, инкрустация, позолота, гнутые и витые формы.



СОДЕРЖАНИЕ

Дмитрий Васильевич
ГРИГОРОВИЧ

Сочинения в трех томах

Том третий

Редактор *О. Голуб*

Художественный редактор
Г. Масляненко

Технический редактор
Л. Изгаршева

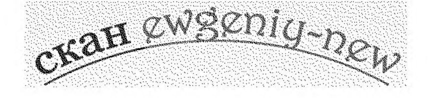
Корректор
Г. Ганапольская

ИБ № 5225

Сдано в набор 19.08.87. Подписано к печати 01.03.88. Формат $84\times108^{1}/_{32}$. Бумага кн.-журн. Гарнитура «Таймс». Печать высокая. Усл. печ. л. 32,76. Усл. кр.-отт. 33,18. Уч.-изд. л. 34,29. Тираж 200 000 экз. Изд. № II-2802. Заказ № 1118. Цена 3 р. 20 к.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Художественная литература». 107882, ГСП, Москва, Б-78, Ново-Басманная, 19

Ордена Октябрьской Революции, ордена Трудового Красного Знамени Ленинградское производственно-техническое объединение «Печатный Двор» имени А. М. Горького Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 197136, Ленинград, П-136, Чкаловский пр., 15



3р.20к.

Созданием файла в формате DjVu

занимался ewgeniy-new

(ноябрь 2014)